

СТАНИСЛАВ
ЛЕМ

ФОРМУЛА
ЛИМФАТЕРА



СТАНИСЛАВ ЛЕМ
ФОРМУЛА
ЛИМФАТЕРА

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

STANISŁAW LEM

Wizja lokalna

Pokój na ziemi

Formuła Limfatera

Noc Księżycowa

КЛАССИКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

Осмотр на месте
роман

Мир на Земле
роман

Формула Лимфатера
рассказ

Лунная ночь
радиопьеса



Москва 1997



УДК 884-31
ББК 84(4П)
Л 44

Разработка серийного оформления
художника *И. Саукова*

Серия основана в 1997 году

В оформлении использована работа
художника *Alan Craddock* с согласия самого художника
и его агента *Александра Корженевского*

Л 44 Лем Ст.
Формула Лимфатера: Фантастические произведения. — М.: Изд-во Текст, ЗАО Изд-во ЭКСМО, 1997.— 512 с. (Серия «Классика приключений и научной фантастики».)

ISBN 5-251-00627-6 («ЭКСМО»)
ISBN 5-7516-0098-3 («Текст»)

В книгу вошли романы Станислава Лема «Осмотр на месте» и «Мир на Земле», повествующие о приключениях «звездопроходца» Ийона Тихого, рассказ «Формула Лимфатера» — исповедь человека, создавшего сверхразум, и пьеса «Лунная ночь» — о чрезвычайной ситуации на лунной станции.

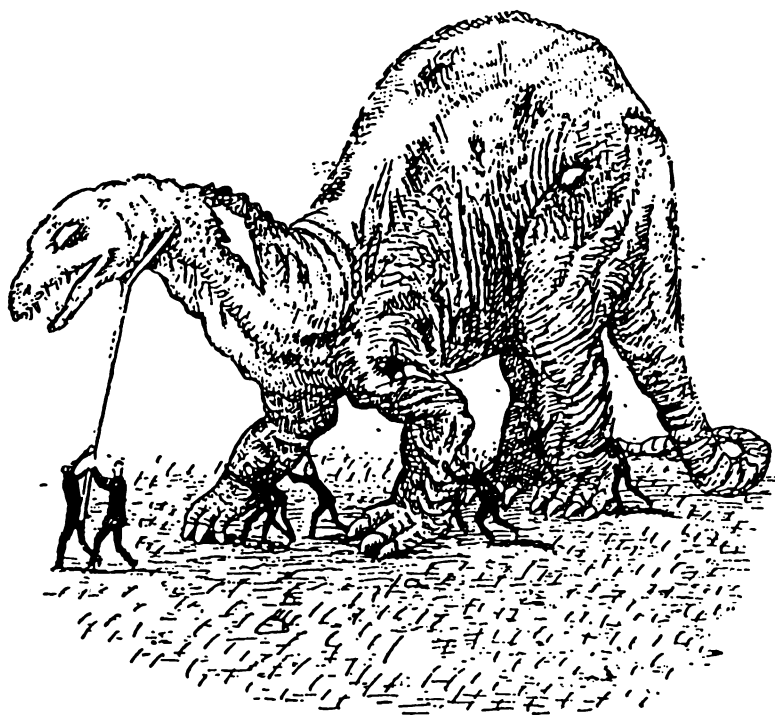
УДК 884-31
ББК 84(4П)

ISBN 5-251-00627-6 («ЭКСМО»)
ISBN 5-7516-0098-3 («Текст»)

- © Stanislaw Lem. *Wizja lokalna*, 1982;
Pokoj na ziemi, 1987; *Formula Limfatera*, 1961;
Noc Ksiezycowa, 1976
- © Перевод, подготовка текста.
Издательство «Текст», 1997 г.
- © Оформление, издание на русском языке.
ЗАО «Издательство «ЭКСМО», 1997 г.

Осмотр на месте

роман



І. В ШВЕЙЦАРИИ

Приземлившись на мысе Канаверал, я отдал корабль в ремонт и начал думать о даче. После столь долгого путешествия мне полагался отдых. Земля кажется точкой только из космоса, после посадки оказывается, что она довольно обширна. А для хорошего отдыха мало красивых видов — необходима еще надлежащая осторожность. Поэтому я поехал к кузену профессора Тарантоги, который имеет разумную привычку читать газеты не сразу, а несколько недель погодя, когда они отлежатся. Я предпочел выбирать курорт у знакомого, чем в какой-нибудь публичной библиотеке. Пересекать магнитные поля Галактики — это не фунт изюму. Кости ноют уже порядочно. К тому же дает о себе знать колено, которое я вывихнул в Гималаях, в альпинистском лагере, когда алюминиевый табурет под мной подломился. Лучшее средство от ревматизма — это чтобы было посуше и погорячее, разумеется, в климатическом, а не в военном смысле. Ближний Восток, как обычно, не входил в расчет. Арабы по-прежнему демонстрируют миру слоенный пирог, в котором их государства сливаются, делятся, мнутся и дерутся между собой по тысяче разных причин, которых я даже не пробую уразуметь. Южные, солнечные склоны Альп были бы в самый раз, но туда уже не ступит моя нога с тех пор, как меня похитили в Турине в качестве дочери герцога ди Кавалли, а может, ди Пьедимонте. Это так до конца и не выяснилось. Я приехал на астронавтический конгресс, сессия закончилась после полуночи, на завтра надо было лететь в Сантьяго, я заблудился в городе, не смог отыскать гостиницу и въехал в какую-то подземную автостоянку, чтобы вздремнуть хотя бы в машине. Единственное свободное место было, правда, огорожено разноцветными лентами, кажется, в честь того,

Wizja lokalna, 1982

© Константин Душенко — авторизованный перевод, 1990, 1994

что дочка герцога была с кем-то обвенчана, но я ничего об этом не знал, а впрочем, какое это имело значение в час ночи. Сперва мне засунули в рот кляп и связали, потом упаковали в кофр, машину вывели на улицу, погрузили на большой прицеп для перевозки автомобилей и повезли в свое убежище. Я, правда, мужчина, но теперь пол с ходу не определишь, бороды я не ношу, отличаюсь незаурядной красотой, — словом, они вытащили меня из багажника у подножья великолепной горной гряды и провели в одиноко стоявший домик. Стерegli меня двое верзил, на смену; за окном — альпийские снега, но, разумеется, позагорать не пришлось, куда там. Со смуглым усачом я играл в шашки — для шахмат он был туповат, а второй, без усов, зато с бородой, имел несносную привычку называть меня антрекотом. Это был намек на мою судьбу в случае, если герцог с супругой не заплатят выкупа. Они уже знали, что я ничего общего не имею с семейством ди Кавалли — или ди Пьедимонте, — но это вовсе не сбilo их с толку, ведь суррогатное похищение стало делом обычным. Перед тем уже было несколько случаев увоза не тех детишек, что намечались, и родители надлежащих детей помогли неимущим. Потом это распространилось и на совершеннолетних. Немцы называют это *Ergatzentführung*, а они в таких делах доки. На беду, когда очередь дошла до меня, эрзац-похищений стало слишком уж много, сердца богачей очерствели, и никто не давал за меня даже ломаного гроша. Пробовали что-нибудь выторговать в Ватикане, церковь, как известно, милосердствует профессионально, но дело тянулось ужасно долго. Целый месяц я вынужден был играть в шашки и выслушивать гастрономические угрозы субъекта, который к тому же невыносимо потел и только гоготал, когда я просил его принять душ: ведь в доме есть ванная, а спину я ему сам намазлю. В конце концов и церковь не оправдала надежд. Я присутствовал при их ссоре, они чуть не передрались, одни кричали «резать», вторые — за загривок, мол, герцогинину дочку, и вон со двора.

Герцогининой дочкой уперся называть меня тот, смуглый. У него на темени был жировик, и мне все время приходилось его разглядывать. Ел я, понятно, то же, что и они, с той лишь разницей, что они облизывали пальчики после макарон на оливковом масле, а меня от этого мутило. Шея еще болела с тех пор, как они пытались заставить меня признаться, что я по крайней мере какой-нибудь свойственник герцога, раз въехал на герцогский паркинг, и порядочно навалили мне за обманутые ожидания. С тех пор Италия перестала существовать для меня.

Австрия довольно мила, но я знаю ее как свои пять пальцев, а хотелось чего-нибудь новенького. Оставалась Швейцария. Я решил спросить кузена Тарантоги, какого он о ней мнения, но оказалось, что сделал глупость, затеяв с ним разговор; он, правда, заядлый путешественник, но вместе с тем антрополог-любитель, собирающий так называемые граффити по всем уборным на свете. Весь свой дом он превратил в их хранилище. Когда он заводит речь о том, что люди изображают на стенах клозетов, глаза у него загораются огнем вдохновения. Он утверждает, что только там человечество абсолютно искренне и на этих кафельных стенах виднеется наше «мане, текел, упарсин», а также *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem**. Он фотографирует эти надписи, увеличивает их, заливает плексигласом и развешивает у себя на стенах; издали это напоминает мозаику, а вблизи у зрителя просто спирает дыханье. Под экзотическими надписями, вроде китайских или малайских, он помещает переводы. Я знал, что он пополнял свою коллекцию в Швейцарии, но мне это ничего не дало — он не заметил там никаких гор, зато обнаружил, что туалеты там моют с утра до вечера, уничтожая капитальные надписи; он даже подал памятную записку в Kulturdezernat** в Цюрихе, чтобы мыли раз в три дня, но с ним просто не стали разговаривать, а о том, чтобы пустить его в дамские туалеты, и речи не было, хотя у него имелась бумага из ЮНЕСКО — уж не знаю, как он ее раздобыл, — подтверждавшая научный характер его занятий. Кузен Тарантоги не верит ни во Фрейда, ни во фрейдистов, потому что у Фрейда можно узнать, что думает тот, кому наяву или во сне чудятся башня, дубина, телеграфный столб, полено, передок телеги с дышлом, кол и так далее; но вся эта мудрость оказывается бесполезной, если кто-нибудь видит сны напрямую, без обиняков. Кузен Тарантоги питает личную антипатию к психоаналитикам, считает их идиотами и пожелал непременно объяснить мне почему. Он показывал жемчужины своего собрания, стихи на восьмидесяти, кажется, языках (он готовит богато иллюстрированную антологию, настоящий компендиум, с цветными вклейками); разумеется, он сделал и статистические расчеты, сколько чего появляется на квадратный километр или, может, на тысячу жителей, не помню уже. Он полиглот, хотя в довольно-таки узкой области; но и это чего-нибудь стоит, если учесть, какое здесь накоплено лек-

* Не умножай сущности сверх необходимости (*лат.*).

** Управление по делам культуры (*нем.*).

сическое богатство. Он, впрочем, утверждает, что условия его труда ему претят; нужны хирургические перчатки, дезодорант с распылителем — а как же? — но ученый обязан преодолевать в себе непроизвольное отвращение, в противном случае энтомологи изучали бы одних только бабочек и божьих коровок, а о тараканах и вшах никто ничего бы не знал. Опасаясь, что я убегу, он держал меня за рукав и даже подталкивал в спину к наиболее красочным участкам стены; я не жалуясь, говорил он, но жизнь я себе выбрал нелегкую. Человек, который ходит в публичные писсуары, обвешанный фотоаппаратами и сменными объективами, волочит за собой штатив и заглядывает во все кабины по очереди, словно не может решиться, — такой человек вызывает подозрение у туалетных служительниц, особенно если отказывается оставить свой груз у них, а тащит его с собой в кабину; и даже щедрые чаевые не всегда уберігают от неприятностей. Особенно сильно — как красный платок на быка — действует на этих блюстительниц клозетной морали (он выражался о них довольно резко) сверкание фотовспышки из-за закрытых дверей. А при открытых дверях работать нельзя — это раздражает их еще больше. И странное дело: клиенты, что заходят туда, тоже глядят на него исподлобья, а порою взглядами дело не ограничивается, хотя среди них наверняка имеются авторы, от которых следовало бы ожидать хоть чуть-чуть благодарности за внимание. В автоматизированных отхожих местах этих проблем нет, но он обязан бывать везде, иначе собранный материал не будет статистически репрезентативным. К сожалению, он вынужден ограничиваться выборкой, изучение мировой совокупности отхожих мест превосходит человеческие силы, — не помню уж, сколько на свете клозетов, но он и это высчитал. Известно, чем и как там пишут, когда под рукой ничего нет, и каким образом некоторые особо изобретательные авторы помещают афоризмы, а то и рисунки под самым потолком, хотя по фарфору даже шимпанзе не заберется так высоко. Желая из вежливости поддержать разговор, я высказал предположение, что они носят с собой складные лестницы; такое невежество его возмутило. В конце концов я все же вырвался от него и ушел от погони (он что-то кричал мне вслед даже на лестнице); крайне рассерженный неудачей — ведь о Швейцарии я не узнал ничего, — я вернулся в гостиницу, и оказалось, что несколько особенно забористых примеров, которые он мне декламировал, плотно застряли в моем мозгу; чем больше я силился их забыть, тем упорнее они лезли мне в голову. Впрочем, по-своему этот кузен был, воз-

можно, и прав, указывая мне на большую надпись над своим рабочим столом: Homo sum et nihil humani a me alienum puto*.

В конце концов я выбрал Швейцарию. Я давно лелеял в душе ее образ. Встаешь рано, в шлепанцах подходишь к окну, а там — альпийские луга, лиловые коровы с большими буквами «MILKA»** на боках; под перезвон их буколических бубенцов идешь в столовую, где в тонком фарфоре дымится швейцарский шоколад, а швейцарский сыр услужливо сверкает росинками, потому что настоящий эмментальский всегда чуть-чуть потееет, особенно в дырочках; садишься, гренки хрустят, мед пахнет альпийскими травами, а блаженную тишину подчеркивает торжественное тиканье настенных швейцарских часов. Ты разворачиваешь свежую «Нойе Цюрхер цайтунг» и видишь, правда, на первой полосе войны, бомбы, число убитых, но все это где-то там, далеко, словно в перевернутом бинокле, а вокруг тишина и спокойствие. Может, где-то и есть несчастья, но не здесь, в области минимального террористического давления; вот, пожалуйста, на всех страницах кантоны беседуют между собой приглушенным банковским диалектом, и ты откладываешь непрочитанную газету — ведь если все идет, как швейцарские часы, зачем читать? Неторопливо встаешь, одеваешься, напевая старую песенку, и отправляешься на прогулку в горы. Что за блаженство!

Примерно так я себе это представлял. В Цюрихе я остановился в гостинице рядом с аэропортом и принялся искать тихий уголок в Альпах на все лето. Я листал рекламные буклеты со все возрастающим нетерпением; меня отпугивали то обещания многочисленных дискотек, то фуникулеры, которые порциями затаскивают толпы туристов на ледник, а я не люблю толпы; что и говорить, задача была не из легких, ведь ни горы без комфорта, ни комфорт без гор меня не устраивали. С первого этажа на последний меня прогнал электрифицированный гостиничный оркестр, а также кухонная вентиляция, создающая впечатление (ложное, однако непреодолимое), будто жир на сковородах не меняли многие годы. Наверху было не лучше. Через каждые несколько минут на меня обрушивался грохот стартующих неподалеку джетов. Впрочем, в Европе говорят не «джеты», а «авиалайнеры», но «джет» лучше передает ощущение ударов по голове. Заглушки в ушах не помогали — вибра-

* Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

** Марка шоколада.

ция моторов вворачивается прямо в кости, как бормашина. Поэтому на третий день я перебрался в новый «Шератон», в центре города, не сообразив, что это полностью компьютеризированная гостиница. Я получил апартамент, называемый на американский лад «suite», рекламную авторучку и пластиковый жетон вместо ключей. Им можно открывать также бар-холодильник, подключенный к центральному компьютеру. Телевизор по первому требованию показывал сумму счета на данный момент. Было довольно забавно следить за неустанным мельканием цифр, словно при показе спортивных гонок, с той только разницей, что мелькали не доли секунд, а швейцарские франки. «Шератон» славился возрождением старых традиций; например, на каждом столе поблескивало серебро столовых приборов; раньше на ножах и вилках гравировалось «Украдено в «Бристоле», но в «Шератоне» подобных резкостей избегали: просто в серебро добавлено что-то такое, из-за чего двери поднимают тревогу при попытке выйти на улицу с вилкой в кармане. Увы, я сам убедился в этом, и пришлось потом долго оправдываться. Авторучку я оставил рядом со стаканом, а чайную ложку засунул в нагрудный карман; но это объяснение не успокоило надушенного лакея, потому что ложечка сияла, как вымытая, хотя я ел яйцо всмятку. Ну что ж, я ее облизал, такая у меня привычка, но я не хотел исповедоваться в своих интимных склонностях перед швейцарцем, убежденным, будто он говорит по-английски. Я счел инцидент исчерпанным, но когда — для развлечения — попросил у телевизора счет, он показал его с ценой одной серебряной ложечки; ошибиться было нельзя. Раз уж я за нее заплатил, она была моя, и за обедом я засунул в карман точно такую же, что вызвало новый скандал. «Шератон», объяснили мне, не магазин самообслуживания. Ложечка, хотя и включенная в счет, остается собственностью отеля. Это не наказание, а жест вежливости по отношению к гостю, так как судебные издержки стали бы мне дороже. Моя сутяжническая жилка была задета, я даже подумал о процессе с «Шератоном», но решил не портить себе настроение, ибо надеялся все же увидеть Швейцарию своей мечты.

У дверей ванной помещались четыре выключателя, их назначения я так и не выяснил и вечером залез в постель в темноте. К подушке была пришпилена карточка с сердечными поздравлениями дирекции, а также маленькой плиткой «Милки», но я об этом не знал. Сперва я вонзил себе в палец булавку, а потом пришлось еще искать шоколадку под одеялом, куда она завалилась. Когда шоколадка была уже съедена, я спохватился, что теперь надо опять чистить зубы, и после

непродолжительной внутренней борьбы так и сделал. Потом, пытаясь нащупать выключатель у кровати, нажал на что-то такое, из-за чего матрац начал трястись. Об абажур билась ночная бабочка. Терпеть не могу ночных бабочек, особенно когда они садятся на лицо. Я решил ее прихлопнуть, однако в пределах досягаемости был только здоровенный том гостиничной Библии в твердом переплете, а швыряться Библией как-то неловко. Я гонялся за нею довольно долго и в конце концов поскользнулся на альпийских буклетах, которые перед тем побросал на ковер. Казалось бы, пустяки. Глупости, о которых стыдно писать. Но если посмотреть глубже, не так уж это и просто. Чем больше комфорта, тем больше мучений и даже духовных унижений: ты чувствуешь, что не дорос до такого богатства возможностей, словно стоишь с чайной ложечкой перед океаном; впрочем, довольно о ложечках.

На следующее утро я позвонил агенту по продаже недвижимости и попросил его навести справки о небольшой комфортабельной вилле в горах; возможно, я приобрел бы что-нибудь в этом роде в качестве летней резиденции. Временами я совершаю поступки, которые удивляют меня самого; ведь я, собственно, не собирался покупать здесь никаких вилл. А впрочем, и сам не знаю. Город был мало сказать что подметен, но отполирован до зеркального блеска, парки нарядные, как подарки; и эта царящая повсюду праздничная прибранность казалась предвестием блаженной жизни, которая почему-то никак не давалась мне в руки. Потратив впустую день, все еще не решив, где провести лето, я решил как можно быстрее выехать из «Шератона» и при одной мысли об этом почувствовал немалое облегчение. Подходящую меблированную квартиру на тихой улочке я нашел на другой день, и даже с приходящей прислужгой, унаследованной от прежнего жильца.

Этот день должен был стать последним днем моего гостиничного житья. Когда я закончил завтрак, к моему столику подошел крупный, седовласый, представительный мужчина, назвавшийся адвокатом Трюрли. Положив рядом с собой внушительных размеров портфель, он попросил у меня минуту внимания. Он сообщил мне, что известный швейцарский миллионер, доктор Вильгельм Кюссмих, будучи давним энтузиастом моей астронавтической деятельности и заядлым читателем моих сочинений, в знак уважения и признательности желает подарить мне замок в полную собственность. Да, да, замок, второй половины XVI века, над озером, не в Цюрихе, а в Женеве, сожженный во время религиозных войн, отстроенный и обновленный господином Кюссмихом, — адвокат декламиро-

вал историю замка как по нотам. Должно быть, выучил наизусть. Я слушал его, приятно удивленный тем, что мое первоначальное представление о Швейцарии, совсем уже было поблекшее, оказалось все-таки верным. Адвокат вывалил передо мной на стол огромную книжищу в кожаном переплете, вернее, альбом, изображавший замок со всех сторон, а также с воздуха. Затем он протянул мне второй том, потоньше, — список предметов, то есть движимого имущества, находящегося в замке, поскольку господин Кюссмих не хотел оскорбить меня видом голых стен, и мне предстояло получить старинное здание со всем его содержимым; только первый этаж был без мебели, зато на всех остальных — сплошной антиквариат, бесценные произведения искусства, оружейная палата — а как же иначе! — и даже каретный двор; впрочем, он не дал мне времени насладиться всем этим и официальным, почти строгим тоном спросил меня, готов ли я принять дар. Я был готов. Адвокат Трюрли на мгновение замер — уж не молился ли он, прежде чем приступить к столь торжественному акту? Он был из числа мужчин, которым я всегда немножко завидовал. Их рубашки сияют ангельской белизной даже в три часа ночи, брюки на них никогда не мнутся, а от ширинки никогда не отлетают пуговицы. Этой своей безупречностью он меня несколько замораживал, или, скорее, сковывал: но можно ли было требовать, чтобы незнакомый благодетель направил ко мне посланника, больше соответствующего моим вкусам? К тому же не следовало забывать, что мы находимся в Швейцарии.

После исполненного достоинства молчания адвокат Трюрли сказал, что окончательные формальности мы уладим позднее, пока же достаточно будет подписать дарственную. Он достал из портфеля прозрачную папку, в которой, словно между стеклами, покоился этот старательно напечатанный документ, и развернул его передо мною на скатерти, одновременно протянув мне свою авторучку — разумеется, швейцарскую и золотую, как и его очки. Затем легким движением отодвинулся от стола, словно бы отменяя свое присутствие здесь, пока я не ознакомлюсь с содержанием столь важного документа. Я прочитал все пункты дарственной. Между прочим, я обязывался на протяжении шести месяцев не дотрагиваться до двадцати восьми сундуков, стоявших в рыцарском зале; я поднял глаза на адвоката, но не успел открыть рот, как он, словно бы читая мои мысли, заверил меня, что в этих сундуках — разумеется, не запертых — находятся уникальные предметы, в частности, полотна старых мастеров; передача их в собственность иностранцу, даже столь знаменитому, как я, требует времени.

Кроме того, в течение двух лет я не имел права продавать замок ни целиком, ни частично, а также переуступать его третьим лицам каким-либо иным образом. Ничего подозрительного в этих пунктах я не заметил. Впрочем, не была ли моя подозрительность проявлением беспомощности перед непостижимым великодушием, которое по цепи тяжелых юридических немецко-швейцарских оборотов, как по висячему мосту, вело меня прямо в замковые покои? Я даже немного вспотел, выводя свою подпись, а затем адвокат Трюрли легким, но властным движением приподнял руку, и двое гостиничных лакеев, которых я раньше не замечал — они незаметно поджидали за пальмами, — подошли, чтобы заверить мою подпись. Должно быть, он заранее поставил их там, в углу. Ничего не скажешь, он постарался оправить эту сцену в достойную раму.

Когда лакеи ушли, Трюрли попросил меня подписать еще одно условие на обратной стороне дарственной. Согласно этому условию, я разрешал лицам, которых назначит даритель, периодически проверять соблюдение мною пунктов 8 и 11 — то есть не роюсь ли я в сундуках с драгоценным содержимым. При мысли о том, что какие-то посторонние люди будут шнырять по замку и совать нос куда пожелают, мне стало не по себе. Адвокат разъяснил чисто формальный характер этого пункта. Документ, добавил он, приобрел юридическую силу, и я в любую минуту могу вступить во владение всем объектом вместе с прилегающим парком. Он уже встал, и тут я, к счастью, догадался спросить, когда я лично мог бы выразить признательность своему благодетелю. Однако господин Кюссмих был очень занят: он возглавлял концерн по производству пищевых концентратов, в том числе знаменитого «Мильмиля» — препарата, укрепляющего здоровье детей на всех континентах; о времени нашей встречи, сказал адвокат, придется условиться позже. Он пожал мне руку, старинные стенные часы за нашей спиной начали бить одиннадцать; при этих торжественных звуках я, уже в качестве владельца швейцарского замка, смотрел, как Трюрли ступает по коврам, как услужливо распахиваются перед ним стеклянные двери, ведущие на улицу, а шофер с фуражкой под мышкой открывает дверцу черного «мерседеса», — и постепенно я пришел к выводу, что нечто подобное мне, в сущности, давно уже полагалось.

Увы, замок оказался нежилым. Зимой там лопнули трубы центрального отопления. Но даренному коню... Отказавшись от мысли уехать в Альпы, я принялся за ремонт. Специалист по интерьеру уговаривал меня превратить нижние залы в дворцовую феерию, а встретив мое сопротивление, уступил,

но весьма зловредно: он просто свалил на меня все решения, включая облицовку ванной (потрескавшуюся) и стиль дверных ручек (кто-то поотворачивал их). Я успел уже выложить немалую сумму, как вдруг на первых полосах газет появились сенсационные новости о «Мильмиле». Выяснилось, из чего на самом деле изготавливается этот продукт. Международный комитет пострадавших матерей предъявил Кюссмиху иск. Сумма иска составляла девяносто восемь миллионов швейцарских франков. Загубленное здоровье детей, физические и моральные страдания родителей, добавочная компенсация за боль — обо всем этом газеты сообщали подробно, — а я, приезжая посмотреть, как идет ремонт, должен был пробираться сквозь пикеты с транспарантами, клеймившими прохвоста, который не только приобрел дворец, отравляя детей, но вдобавок еще имеет наглость отделять свою резиденцию как раз теперь, когда над ним висит дамоклов меч судебного разбирательства. Дважды мне удалось разъяснить, что я не Кюссмих, с грудными младенцами ничего общего не имею, но на третий раз какая-то пожилая дама из Армии Спасения (она, видать, просто меня не расслышала, распевая и колотя в бубен) взяла у другой дамы транспарант с требованием восстановить справедливость и огрела меня по голове. Тут я наконец понял, в какое дурацкое положение поставил меня Кюссмих своим замком. Я позвонил адвокату, желая услышать его мнение, а тот посоветовал мне избегать журналистов. Лучше всего, сказал он, уехать на время в Альпы. Я послушался — в конце концов, для этого я и приехал в Швейцарию. В глубине души — признаюсь в этом искренне, так как привык говорить одну только правду, — я надеялся, что все успокоится, когда Кюссмиха упекут наконец за решетку. Я, осел, все еще думал, будто он мучился угрызениями совести и в дарении видел акт искупления. Если бы я вовремя унес ноги из «Шератона», то провел бы безмятежное лето в тихом горном уголке, хотя, с другой стороны, тогда я не познакомился бы ни с профессором Гнуссом, ни с Институтом Исторических Машин, а значит, не отправился бы на Энцию с ее поразительной этикосферой. Такова жизнь: из глупостей вырастают большие дела, хотя чаще бывает наоборот. В то лето я не меньше времени провел в Женеве, чем в Альпах, — за ремонтom все же приходилось приглядывать, да и Трюрли все время обсуждал со мною то да се. В городе я жил в меблированных комнатах, в замок не ходил, на процессе Кюссмиха тоже предпочитал не показываться, а тем временем мамы, прокуроры и репортеры заботились о том, чтобы

пресса то и дело взрывалась сенсациями о злодеяниях концерна. Впрочем, борение злата с правом давало неожиданные результаты. Эксперты обвинения доказывали, сколь пагубным было воздействие «Мильмиля» на организм ребенка, а эксперты, нанятые концерном, с не меньшей научной точностью демонстрировали всеисцеляющую силу порошка. Общественное мнение, однако, было на стороне младенцев и матерей. В очередной раз вернувшись из Женевы в свой альпийский замок, я едва лишь успел позавтракать, как Трюрли лаконичной телеграммой вызвал меня обратно.

В Женеву я возвращался на поезде. Швейцарцы источили свою страну туннелями, и можно исколесить ее всю, не увидев ни разу гор. В купе я застал пожилого мужчину в позолоченном старомодном пенсне на черной тесемке. Он читал мои «Звездные дневники» и при этом, к моему удивлению, то и дело открывал какой-то толстенный том, лежавший у него на коленях, и, заглянув туда, что-то старательно вписывал на поля моей книги. Когда он ушел в вагон-ресторан, оставив «Дневники» на сиденье, я внимательно присмотрелся к ним. Поля сверху донизу были испещрены номерами каких-то параграфов. Меня разобрало любопытство; когда он вернулся, я представился и спросил о значении этих пометок. Мой попутчик оказался человеком весьма любезным и сердечно поздравил меня с выдающимися открытиями и свершениями. Он был профессором космического права, притом в политическом аспекте. Роже Гнусс — именно так его звали — не только заведовал университетской кафедрой, но и курировал, по поручению секретариата ООН, Институт Исторических Машин, филиал МИДа. Министерства не иностранных, а инопланетных дел. Я даже не знал, что оно уже существует. Благодушно улыбаясь голубыми, как альпийские ледники, глазами, которые за стеклами пенсне казались совсем маленькими, профессор объяснил мне, что новый МИД пока существует частично, как учреждение в стадии формирования. По инициативе влиятельных государств создана административная проточайка, которая в нормальное министерство разовьется какое-то время спустя, когда контакты с инопланетными цивилизациями перестанут носить случайный характер и дело дойдет до установления дипломатических отношений, включая аккредитацию полномочных послов. До сих пор освоением населенных планет ведала ООН, но космические масштабы требуют от дипломатии абсолютно новых методов и решений. Все это было для меня совершенной новостью. Больше всего меня удивляло молчание швейцарской прессы о предмете столь важном. Не так уж оно уди-

вительно, объяснил мне профессор; ведь пока мы занимаемся главным образом фантомно-тренировочной дипломатией, к тому же финансирует нас ООН (кантональные власти, давая согласие на размещение нового МИДа в Женеве, оговорили, что финансовая сторона их не касается), а прессу не интересуют дела, не влияющие на швейцарскую экономику. Впрочем, добавил он, хотя наша деятельность не предается огласке, она не является тайной в понимании международного, а также швейцарского (уголовного и гражданского) права: речь идет не о государственной безопасности, но о здравом рассудке. Валютный рынок лихорадит и без сообщений об инопланетянах; швейцарский франк еще не катится под гору, однако уже прихрамывает, и нужно оберегать его от потрясений. Обычный период планирования в банковском деле — несколько лет, не больше, ведь основная единица измерения здесь бюджетный год; а мы, то есть ИИМ вместе с МИДом, работаем с минимальным упреждением порядка ста лет! Именно этими единицами (так называемыми секулярами) оперирует министерский планетарно-исторический механизм. Я ничего не понял, но имел смелость признаться в этом. От вас, господин Тиши́ (так он выговаривал мое имя), мне скрывать нечего, заверил профессор. Сперва он объяснил мне значение пометок в «Дневниках». Обычная профессиональная привычка: все совершенные мною, по незнанию, нарушения межпланетного космического права, а также правил движения по Млечным Путям он подводил под соответствующие параграфы. Увидев мое вытянувшееся лицо, профессор добавил, что такие *faux-pas** — обычный удел первооткрывателей. Разве Колумб не принял Америку за Индию? А отношение испанцев к ацтекам? Но звездные государства, с которыми мы имеем дело, — отнюдь не объекты колониальной экспансии; они, вообще говоря, куда развитее нас. До самой Женевы профессор излагал мне азы своей дисциплины, а я внимал ему, как школяр. Юридические законы, поучал Гнусс, в Космосе важнее физических. Конечно, в последней инстанции явления бытия определяются физикой, но на практике все по-другому. Взять хотя бы загадку «космического молчания», *Silentium Universi*. Почему столько десятилетий впустую ушло на поиски внесемных цивилизаций? Да потому, что первыми, неведомо по какому праву, к ним приступили естественники — астрономы, физики, математики, биологи — и рассчитали как дважды два, что тех, *других*, не может не быть, энергетические средства у них имеются,

* Здесь: промахи (фр.).

технические возможности тоже; а раз не видно ничего и не слышно, ergo, Нигде Никого Нет. Как же так нет, если доказано, что не может не быть? Вместо того чтобы проконсультроваться у знатоков политического, экономического и прочих прав, они решили: чем выше взберется цивилизация, тем гибель ее вернее. Период личиночный, стадия куколки, длится долго, но тогда нет средств для сигнализации, а когда они уже есть, цивилизация либо исчезла, либо вот-вот исчезнет. Этой несокрушимой логикой они напугали не только сами себя, но и широкую публику. Получилось, что в Космосе мы одиноки как перст. Мало того: и нас-то скоро не будет. Конечно, был Ийон Тихий и путешествовал, но nec Hercules contra plures, один в поле не воин. Он не получил официального признания. Почему? А разве мало маньяков и жуликов, плетущих небывлицы о тарелках и об Ужасно Добрых Праастронавтах, прибывших на Землю, чтобы воздвигнуть египтянам пирамиды под предлогом захоронения фараонов? Наука должна была выработать в себе невосприимчивость к подобным бредням — и стала уж слишком невосприимчивой. «Известно ли вам, господин Тиши, — профессор успокоительным жестом положил на мое колено швейцарскую, вымытую до розовой кожи ладонь, — где, то есть в каком разделе, хранятся ваши труды, ну, хотя бы в городской библиотеке Женевы? В разделе научной фантастики, так-то вот, дорогой коллега! Ради Бога, не принимайте этого близко к сердцу. А вы и не знали?»

Я ответил, что не читаю собственных книг и потому не ищу их в библиотеках.

— Быть непризнанным — прямой долг любого великого новатора и первопроходца, — изрек Гнусс. — Впрочем, имелись крайне серьезные соображения, вследствие которых мы — то есть МИД — не реагировали на подобные недоразумения. Мы некоторым образом оберегали тем самым и вас...

— Как прикажете вас понимать? — спросил я удивленно.

— Вы поймете, но в свое время. Раз уж судьба свела меня с вами, пусть будет, чему суждено быть, — и он дал мне визитную карточку, перед тем записав на обратной стороне подлежащий разглашению номер домашнего телефона. — *Silentium Universi* объясняется финансовыми лимитами, — сказал он, понизив голос. — Наше богатое государство отдает бедным странам 0,3 процента своего дохода. Почему вне Земли должно быть иначе? Полагать, будто Космос был ничейным пространством, не знавшим правовых норм, сфер влияния, проектов бюджетов, охранительных пошлин, пропаганды и дипломатии, пока там не появилось человечест-

во, — значит уподобляться младенцу, которому кажется, что, пока он не сделал первой кучки, никто этого не умел. Проблема исчезла только тогда, когда от естественников она перешла к нам. Ведь они, господин Тиши, и вправду что малые дети. Им кажется, будто тот, кто имеет на текущем счету десятка два солнц, уравновешенный энергобаланс, а в астрофинансовом резерве что-нибудь около 10^{49} эргов, швыряет этим добром направо и налево, без счету: сообщает и извещает, шлет в пустоту промышленные лицензии, совершенно бесплатно — да что там, с чистым убытком, делится технологической, социологической и Бог весть какой еще информацией, просто так, от чистого сердца — или органа, который ему заменяет сердце. Все это сказки, дорогой господин Тиши. Как часто, разрешите спросить, вас осыпали богатствами на открытых вами планетах?

Я на минуту задумался — подобный подход был для меня совершенно новым.

— Ни разу, — ответил я наконец, — но ведь я никогда ни о чем не просил, профессор...

— Вот видите! Чтобы получить, нужно сперва попросить, и то ничего не известно. Ведь межзвездные отношения определяются политическими, а не физическими постоянными. Физика действительна всюду, но разве случалось вам видеть политика, который жаловался бы на гравитационную постоянную Земли? Какие такие физические законы возбраняют имущим делиться с бедствующими? Просто диву даешься, как господа астрофизики могли не учесть в своих рассуждениях столь очевидных вещей! Но мы уже подъезжаем. Приглашаю вас посетить Институт Исторических Машин. Телефон я вам дал — позвоните, и мы условимся.

Действительно, поезд уже стучал на развилках пути, показался вокзал. Профессор спрятал «Звездные дневники» в портфель, взял накидку и сказал, улыбаясь:

— Политические отношения развиваются в Космосе не один миллиард лет, но наблюдать их нельзя даже в самый большой телескоп. Поразмышляйте на досуге об этом, а пока — до свидания, дорогой господин Тиши! Знакомство с вами было для меня честью...

Я, все еще под сильным впечатлением от этой встречи, разыскал у здания вокзала черный «мерседес», в котором ожидал меня Трюрли. Садясь в машину, я протянул ему руку. Он взглянул на меня, словно не мог взять в толк, что это такое высовывается из моего рукава, а затем прикоснулся к моей ладони кончиками пальцев. Хотя шофер не мог нас ус-

лышать — он сидел за прозрачной перегородкой, — адвокат произнес очень тихо:

— Господин Кюссмих дал показания...

— Сознался? Это хорошо, — машинально ответил я и тут же сообразил, что сказал не то: ведь я разговаривал с его адвокатом.

— Для вас — нет, — бросил он холодно.

— Извините, что?

— Он сознался, что дарственная была трюком...

— Как это — трюком?.. Не понимаю.

— Будет лучше, если мы продолжим разговор у меня.

Мы замолчали. Его ледяной вид удивлял меня все больше; но когда мы очутились в его кабинете, шило вылезло из мешка.

— Господин Тихий, — сказал Трюрли, усевшись за письменный стол, — показания доктора Кюссмиха совершенно изменили ситуацию.

— Вы полагаете? Потому что они были ложными? Он оклеветал меня?

Адвокат сморщился, словно услышал что-то непристойное.

— Вы находитесь у адвоката, а не в зале суда. Клевета — нет, вы только подумайте! Уж не хотите ли вы сказать, господин Тихий, что доктор Кюссмих ни с того ни с сего, ради ваших прекрасных глаз подарил вам объект стоимостью восемьдесят три миллиона швейцарских франков?

— О стоимости речи не было... — пробормотал я, — и... и с этим вот вы пришли ко мне...

— Я сделал то, что поручил мне мой клиент, — сказал Трюрли. Глаза у него были голубые, как у профессора, но далеко не столь симпатичные.

— Как же так... вы хотите сказать, что вручили мне эту дарственную с задней мыслью?

— Мои мысли тут ни при чем; это область моей психики, которая правосудию безразлична. Итак, вы пытаетесь утверждать, что приняли в дар от совершенно незнакомого человека восемьдесят три миллиона без всяких скрытых соображений?

— Да что вы мне такое рассказываете, — начал было я, распекаясь гневом, но он устал на меня палец, как револьвер.

— Извините, но теперь я говорю. Если бы судей набрали со школьной скамьи, возможно, они приняли бы ваши показания за чистую монету; но на это рассчитывать не приходится. Подумать только! Человек, о котором вы даже не слышали, дарит вам восемьдесят три миллиона, потому что, видите ли,

когда-то с удовольствием прочел книжку, которую вам заблагорассудилось сочинить? И суд должен в это поверить?

Адвокат достал из роскошной шкатулки сигарету и закурил ее от стоявшей возле чернильницы золотой зажигалки.

— Может быть, вы объясните мне, в чем дело? — сказал я, стараясь сохранять хотя бы наружное спокойствие. — Что угодно господину Кюссмиху? Чтобы я разделил с ним тюремную камеру?

— Доктор Кюссмих будет очищен от всех предъявленных ему ложных обвинений, — произнес адвокат Трюрли и выдохнул дым в мою сторону, словно отгоняя назойливое насекомое. — Боюсь, в камере вам придется сидеть одному.

— Погодите. — Я все еще ничего не понимал. — Он подарил мне замок... зачем? Он хочет взять его обратно?

Адвокат важно кивнул.

— Так какого черта было дарить? Ведь я не просил, я не знал — а-а-а... он боялся, что на замок наложат арест, конфискуют, да?

Лицо адвоката не дрогнуло, но у меня словно шоры упали с глаз.

— Ладно, — сказал я воинственно, — однако замок все еще мой, мой по закону...

— Не думаю, что вам это что-нибудь даст, — ответил он равнодушно. — Дарственная настолько невероятна, что признать ее недействительной — пустячное дело.

— Понимаю, поэтому он дал ложные показания... но, если судьи в это поверят, загремит он на пару лет...

— Не знаю, что вы понимаете под словом «загремит», — сказал Трюрли. — Истцы давно уже добивались суда. Об этом знает каждый, кто читает газеты. Доктор Кюссмих находился в нелегком положении, поскольку первое заключение экспертов оказалось не в пользу «Мильмиля». Вы использовали его минутную слабость, душевный кризис, вызванный тревогой за благосостояние семьи. Он поступил вопреки моему совету — я убеждал его, что правда восторжествует и мы выиграем процесс. Так оно и будет. Поэтому дело не дойдет до ареста имущества для взыскания суммы иска. Суду придется выяснить только одно: как вы, иностранец, пытались нажить-ся на чужой беде.

— Так ему ничего не грозит? Хотя он сам признает, что при помощи дарственной хотел отвертеться от описи имущества? Что он хотел...

— Никто не может быть наказан за то, что чего-то хотел. — Значит, я тоже!

— Вы не только хотели, но и подписали известный вам документ.

— Но без задней мысли! Моя репутация безупречна! Я могу доказать это, — тут я осекся, потому что адвокат изменился в лице, словно вершины Альп при закате солнца.

— А серебряные ложечки?! — пророкотал он, глядя на меня с нескрываемым презрением.

На этом я закончу отчет о нашей беседе. Адвоката, рекомендованного мне профессором Гнуссом, к которому я обратился за советом, звали Спутник Финкельштейн. Он был маленький, чернявый и веселый. Выслушав мою историю до серебряных ложечек включительно, он потер нос и сказал:

— Вы не удивляйтесь, что я все время провожу пальцем по носу: если ты двадцать лет носил очки, трудно отделаться от этой привычки сразу же после перехода на контактные линзы. Вы сообщили мне сюжет представления, а я сообщу вам, кто авторы либретто. Кюссмих выиграет, потому что поладил с «Нестле». Речь шла о золотом кофе. Слышали? Кофе в порошке — если его растворить, выглядит в чашке в точности, как золото.

— А на вкус?

— Так себе. Но это незанятая пока рыночная ниша — никто еще до этого не додумался! Новинка! Пить чистое золото! Понимаете? Он выхватил патент у них из-под носа, вот они и подстроили ему пакость.

— А «Мильмиле»? Вреден он или нет?

— Все вредно, — категорическим тоном ответил мой защитник. — Там есть эндорфины, ну, знаете, соединения, которые организм сам вырабатывает в мозгу, болеутоляющие, морфин из той же оперы. Этих эндорфинов в «Мильмиле» — кот наплакал. Ровно столько, чтобы можно было писать об этом в рекламах. Одни врачи говорят, что это вредно, другие, что полезно. Или, во всяком случае, безвредно. Впрочем, какое это имеет значение? В гражданских делах все решает банковский счет — если уж нельзя выиграть, можно засушнячить противника насмерть. Сейчас я как раз веду такое дело — о патенте на машину времени. Чтобы путешествовать в будущее. Называется хронорх. Туда и обратно — заметили? Два доктора из очень приличного университета — назовем их, во избежание огласки, доктор Трефе и доктор Кошер — изобрели его на пару. А патента им не выдают, потому что действует он не так, как гласит их описание.

— Хронорх? — спросил я с любопытством, уже забыв о «Мильмиле» и ложечках. — Вы не могли бы рассказать об этом подробнее?

— Почему бы и нет? Это взялось из теории Эйнштейна, впрочем, как и остальные несчастья. На быстро перемещающихся телах время течет медленнее. Вам это известно? Ну, конечно, известно... Вот им и пришло в голову, что лететь никуда не надо, достаточно, чтобы тело очень быстро вертелось на месте. Раз в одну сторону, раз в другую. При достаточно большой скорости такого волчка время начинает идти медленнее. Таков принцип. К сожалению, ничто не выдерживает этой тряски, все разлетается. На атомы. Можно, конечно, посылать в будущее эти атомы, но больше ничего. Пошлете яйцо — придет фосфор, углеводы и из чего там еще состоит яйцо. И человека можно забросить в будущее только в порошке. Поэтому патентное бюро отказывает им в патенте, а они боятся, что кто-нибудь украдет идею, прежде чем они выдумают средство против этой трясушки. Такое вот дело. Трудное, но я как раз такие люблю. Однако вернемся к нашим баранам. «Нестле» столкнулась с Кюссмихом, и они поделят золотой кофе. Мамочек и деточек финансировать перестанут. Эксперты усомнятся в своих заключениях. Кюссмих подарил вам замок, чтобы, допустим, продемонстрировать свою силу. Мол, ничего ему не сделают. Подарить семье, изменить номинального владельца собственности — это было бы шито белыми нитками. Нужен был иностранец, заслуженный, но — скажем так — с оттенком двусмысленности. Вы не обидитесь? Чтобы в случае чего можно было сказать: пожалуйста, было кому дарить, все по заслугам, а если дело повернется иначе, сменить пластинку: мол, меня ввела в заблуждение видимость, были серебряные ложечки и еще кое-что. Так повернули бы игру против вас. Вы интересовались покупкой дома! Вы подходили им как нельзя лучше, ведь вы не какой-нибудь шалопай; но, разрешите спросить, почему вы согласились принять замок вместе с этими сундуками? Сундуки добились вас окончательно...

— Как же я мог отказаться? Я не видел причин. Да и неучтиво как-то — брать подаренное, но с разбором... ведь это обида для дарителя...

— Я так и думал. Но сундуков ни один суд не проглотит. Знаете, что в них?

— Мне сказали, произведения искусства...

— Разве что сверху. Это же курам на смех. У меня тут дарственная, ксерокс. О содержимом сундуков ни слова.

— Адвокат Трюрли сказал, что там какие-то картины и что их передача мне в собственность требует особого оформления...

— Еще бы, ведь там главные части аппаратуры для производства золотого кофе. Дареному коню в зубы не смотрят, но этот конь был троянский! Вам пришлось хранить то, из-за чего шел настоящий спор, закусисный!

— Да что вы! Я и не заглядывал в сундуки...

— Ну да, вы порядочный человек. Вы подписали, вы дали слово, это о вас хорошо свидетельствует, может, где-нибудь еще вам и поверили бы, только не здесь. Их версия такова: вы пытались воспользоваться безвыходным положением Кюссмиха, чтобы сколотить состояние.

— Трюрли говорил что-то в этом роде.

— Вот видите!

— Но объясните мне, почему Кюссмих, подаривший мне то, чего вовсе не хотел дарить, выйдет сухим из воды, а я нет?

— Видите ли, тут дело вот в чем. Допустим, кто-то приходит к вам с большим сундуком и говорит, что убил тетку, в сундуке — ее тело вместе с бриллиантами, и, если вы спрячете их у себя, он поделится с вами добычей, — только помогите закопать тетку. Потом оказывается, что он обманул вас. В сундуке одни кирпичи. Он не будет нести ответственность — да и за что? За то, что он вас обманул? Но он ничего не получил от вас при помощи этой лжи. Он скажет, что пошутил, — а вам расхлебывать кашу. Вы согласились стать соучастником убийства *post factum*, пообещав спрятать награбленное, а также помочь в захоронении трупа. Это наказуемо. Попытка соучастия *post homicidium**, а также посредничество в сбыте награбленного.

— Вы видите тут что-то общее с моей ситуацией?

— Да. Они это очень хитро придумали. И вы еще согласились, чтобы неведомо сколько уполномоченных Кюссмиха следили, как вы соблюдаете условия дарственной! Сказать вам, что вы увидите в замке, если выберетесь туда? Толпу, господин Тихий! Если вам кое-куда приспичит, они вправе сопровождать вас до самого туалета, а также быть *praesentes apud actum urationis* или *defecationes***, поскольку документ, который вы подписали и позволили заверить подписями двух свидетелей, каких бы то ни было исключений не предусматривает. Ничего не скажешь, отлично сработано!

— Лучше бы вы умерили свое восхищение.

— Хи-хи, вы, ей-богу, веселый клиент, господин Тихий! Так вот: они, видите ли, хотят, чтобы вы добровольно отказа-

* После убийства (*лат.*).

** Присутствующим при мочеиспускании (или) дефекации (*лат.*).

лись от дара. Если вы не согласитесь, начнется процесс. Замок — ну, тут я вас как-нибудь защитил бы, а вот что касается сундуков — вряд ли. *In dubio pro geo**, но ни один швейцарец не усомнится, что первым делом вы заглянули в сундуки.

— А если бы и заглянул, что с того?

— Вам непременно хочется знать? Хорошо, я скажу вам. Там еще ценные бумаги, учредительные акции Кюссмиха, патенты, техническая документация, и, будь вы человеком менее порядочным, но более предусмотрительным, вы бы это обнаружили и дали знать Кюссмиху, чтобы он забрал свое добро. А вы сидели тихо. Нет, молчите — я вам верю! Однако коллега Трюрли намерен сострять из этого весьма красочную историю. Бездействие как *dolus***, а то и как *conrus delicti****. На вашем месте я сразу бы принялся за эти сундуки.

— Вы говорите странные вещи.

— Потому что я знаю, кто такой Кюссмих, а вы только начинаете узнавать. Это еще не все. Они будут помалкивать, но если вы решите уехать, то будете задержаны на границе или в аэропорту. Намерение бежать в страну, не подписавшую со Швейцарией соглашение о выдаче уголовных преступников.

— Что же вы посоветуете?

— Есть дубина и на Кюссмиха, но у нее два конца. Откажись вы от дара теперь, Кюссмих не был бы в восторге. Тут есть юридическая тонкость. Пока не будет вынесен благоприятный для него приговор, иск будет висеть над ним, как дамклов меч. Мы знаем, что меч этот снимут, вложат в ножны и закопают, но, если еще до вынесения приговора печать раструбит о вашем отказе от щедрого дара, одно потянет за собой другое, и вонь будет изрядная. Пресса обожает такие скандалы! Зато после приговора никого уже не будет интересовать ни замок, ни вы, ни сундуки, и никто не заметит, что он подарил, а вы вернули ему подарок, потому что так вам заблагорассудилось, и точка. Понимаете?

— Понимаю. И хочу отказаться сразу же. Чтобы вони было побольше!

Адвокат Финкельштейн рассмеялся и погрозил мне пальцем.

— Вендетта? Жаждем крови? «О, подлый Яго, пусть...» и так далее, «вот и пришла, злодей, пора расплаты»? Прошу вас

* Сомнение (толкуется) в пользу обвиняемого (*лат.*).

** Уловка (*лат.*).

*** Состав преступления (*лат.*).

не делать этого, господин Тихий! У дубины есть и второй конец. Пресса набросится на вас обоих. Он нечист на руку, а вы — его пособник. Конечно, не мешает пригрозить, что мы немедленно все вернем, но угрозы будут не слишком убедительными, ведь хотя мы можем потащить их за собой, тонуть будем вместе, и вы погрузитесь глубже, чем он. Трюрли перекует ваши ложечки в меч Гавриила-архангела.

— Так что же вы мне советуете?

— Сохранять терпение. Суд отложил сессию на три месяца. Будем торговаться. Тянуть, согласиться на четверть, чуть уступить, направиться к выходу, закрыть за собой дверь, снова чуть приоткрыть, вернуться — и в конце концов соглашение на ничью.

— То есть?

— Кюссмих заберет замок и сундуки, но возместит вам расходы и откажется от процесса. Ну, еще, может быть, возмещение за моральный ущерб. Вы уясняете себе всю картину? Если нет, могу объяснить еще раз. Я очень терпелив с клиентами. Иначе нельзя. Швейцарцы в общем-то тугодумы. Я натурализовался здесь, но родом я из Чорткова, если вам интересно. Знаете, где это?

— Нет.

— Не важно. Галиция и Лодомерия. Премиленская местность. Отец — вечная ему память, вместе с его идеей назвать первородного сына Спутником, — имел там антикварный магазин. Достойнейший был человек. Я не поменял имени. Ну, так как же, господин Тихий? Будем упираться или на мировую?

— Мне хотелось бы, чтобы господин Кюссмих запомнил меня надолго, — ответил я по некотором размышлении.

Адвокат посмотрел на меня с неодобрением:

— Вы думаете сначала о нем, а потом о себе? Благородно, но непрактично. Лучше оставьте мне страховочную веревку. Адвокат Финкельштейн упрется и будет тянуть, пока еще можно. А вы тем временем отправляйтесь на отдых. Три месяца нужно переждать все равно.

— Знаете что, — сказал я, захваченный новой мыслью, — этот хронорх — он уже готов? Действует? А то хорошо бы послать приличную дозу разных атомов туда, где Кюссмих будет изготавливать свой золотой кофе. Например, сажу, кремний, серу...

Адвокат громко рассмеялся:

— О, выходит, профессор был прав, когда говорил, что вам палец в рот не клади. Верно, это оружие может оказаться очень грозным. Но, видите ли, месть, как и любой бизнес,

должна иметь какой-то предел расходов. Чтобы послать горсточку атомов на полгода вперед, понадобилось бы электричества на миллион франков.

— В таком случае я перепоручаю вам свой замок и свою честь, господин адвокат, — сказал я, вставая. Он еще смеялся, когда я закрыл за собой дверь.

II. ИНСТИТУТ ИСТОРИЧЕСКИХ МАШИН

Адвокат Финкельштейн убедил меня. Месть была невозможна, хотя, конечно, это одно из высших наслаждений жизни, причем, по утверждению знатоков, холодная месть всего приятней на вкус. У кого из нас нет личных врагов, ради которых мы усмиряли в себе вредные страсти, чтобы в наилучшем здравии дожидаться нужного часа? Об этом я мог бы поведать немало, ведь космонавтика, понятное дело, оставляет массу времени для размышлений. Один человек, имени которого я не назову, дабы не увековечить его, всего себя посвятил поношению моего творчества. Возвращаясь из созвездия Кассиопеи, я знал, что встречу его на официальном банкете, и обдумывал различные варианты встречи. Разумеется, он подойдет и подаст мне руку, а я, к примеру, попрошу его разъяснить, подлец он или кретин, потому что кретином я подаю руку, а подлецам — никогда. Но это было как-то уж очень убого, по-опереточному. Я браковал один вариант за другим, а приземлившись, к своему ужасу, услышал, что все пошло впустую. Он переменил мнение и теперь превозносил меня до небес.

Кюссмиху я тоже не мог ничего сделать. Поэтому я решил, что отныне он для меня не существует. И он действительно исчез, но только из моей яви. В сонных кошмарах он дарил мне яхты, дворцы, танкеры, полные «Мильмиля», и груды бриллиантов. Мне приходилось на коленях уползать от орды адвокатов, а те, настигнув меня в темном переулке, набивали мои карманы серебряными ложечками. Приговоренный к трем месяцам тяжелых забот в Швейцарии, я опасался, что просто зачахну. По ночам — Кюссмих, а днем — парки, как подарки, сияющие золотом таблички с названиями банков, биржевые бюллетени и курсы акций в «Нойе Цюрхер цайтунг». На прогулках я избегал одной улицы: мне сказали, что под асфальтом, между трубами, там хранятся сейфы с золотом; они, мол, не умещались в подвале, и банк врылся под мостовую. К счастью, я вспомнил о приглашении профессора Гнусса. Это меня спасло.

Институт располагался за городом, среди обширного парка, в его высоких стеклянных стенах отражались небо и облака. За оградой в форме копий с позолоченными остриями грелись на солнце подстриженные ряды кустарника. Из приемной я позвонил в главное здание; потом проехал дальше и припарковался под большими каштанами у бассейна, в котором плавали сонные лебеди. Не выношу я этих тупых тварей и не понимаю, почему столько даровитых людей (особенно причастных к искусству) попались на удочку их выгнутых шей.

Холл института был необъятен. Чем-то он напоминал собор — должно быть, из-за тишины и мраморных плит; отраженные в них перекрытия наводили на мысль о церковных сводах. Издалека я увидел профессора — он выходил из лифта, улыбаясь в ответ на мое приветствие. Так началась увертюра к одному из важнейших моих путешествий; но я, следуя за своим провожатым коридорами какого-то из верхних этажей мимо техников в белых халатах, восседавших на седлах бесшумно катившихся электрокаров, знать об этом не мог. Несмотря на дневное время, сияли люминесцентные лампы то холодным, то теплым светом, как бы давая понять, что здешнее время земному не подчиняется. В огромном кабинете профессор представил мне около дюжины своих сотрудников — начальников отделов ИИМ. Дабы не подвергать испытаниям мою скромность, они поздоровались со мной уважительно, но без подобострастия. То был кружок блестящих, первостепенных умов. К сожалению, не всех я запомнил. Знаю, что Отделом Финансовой Космологии *не* завел доктор де Волей, заведующего звали иначе, но как — вылетело из головы. Во всяком случае, как-то в этом роде. Финансы, впрочем, не моя специальность. Другое дело физика. Этот отдел возглавлял романоязычный швейцарец, доцент Бурр де Каланс; едва ли не 49 процентов его подчиненных были психами. Завистники — ибо идея оказалась гениальной — утверждали, что и сам де Каланс с приветом. Как будто на таких интеллектуальных высотах это имело какое-нибудь значение. Взять хотя бы несколько последних идей его сотрудников. Раз нельзя перемещаться во времени, надо перемещать время. Если энергия не желает течь между изотермическими точками, нужно ее заставить, делая дырки. Отсюда взялись энтроны, инверсоры и реверсоры, а также выкопалистика, или углубление ямок в структуре пространства-времени, пока где-нибудь не треснет, — и эта, вне всякого сомнения, сумасшедшая идея положила начало новой эре в физике. Правда, никто пока не знал, как это делать, но

практическое внедрение мало кого в Институте заботило, поскольку весь он был устремлен в далекое будущее. Де Каланс, во всяком случае, был преисполнен энтузиазма. Разумеется, первый попавшийся псих не мог рассчитывать на должность в его отделе. Свихнуться надо было не на банальной почве личных проблем, но на самых твердых орехах физики. Впрочем, эта мысль принадлежала еще Нильсу Бору: тот как-то заметил, что в современной физике обычных идей уже недостаточно — необходимы безумные. Правой рукой де Каланса был доктор Доуберман, левой — маленький Сен-Беернарес. Или наоборот. Именно он (но опять-таки не помню, который) математически доказал возможность превращения кварков в акварки, а тех, в свою очередь, — в аквариумы. В нашей Вселенной это невозможно, но в других, безусловно, возможно; тем самым теория вышла за пределы нашего Универсума. Зато я почти уверен, что это голландец Доуберман сказал мне ни с того ни с сего, что церковь прибегает к неподходящей символике, пользуясь пасторальными, то есть пастушескими, образами ягнят и овец, потому что ягнятам место на вертеле, да и овечки идут на шашлык. У де Каланса, конечно, случались иногда нелады с коллективом. Еще он мечтал заполучить хоть парочку свихнувшихся нобелевских лауреатов; на беду, все живущие были пока нормальны. Его ученые вели себя чрезвычайно логично для своего состояния, пожалуй, даже слишком логично, и ни во что не ставили общепринятые условности, если речь заходила о самой сути. У меня на голени и теперь еще виден след от зубов доктора Друсса; укусил он меня отнюдь не в припадке бешенства, а для того, чтобы мне лучше врезалась в память его теория спинов (иначе, закрутов) — не левых и не правых, но *третьих*. И точно, он своего добился: я запомнил все досконально.

Нужно, однако, внести хоть какой-то порядок в эти буйные воспоминания. Сердцем Института были огромные исторические машины, именуемые также электрохронографами; остальные отделы имели с ними постоянную связь. Отделом Онтологических Ошибок и Искривлений заведовал Йондер Кнак, долговязый американец, сын исландки и эскимоса; до создания этого отдела никто и понятия не имел о подлинной роли ошибочных представлений, которые, в сущности, определяют поведение разумных существ. Заглянув в первый раз в лабораторию промышленной сексуалистики, я решил, что попал в музей старых паровых машин или помп Джеймса Уатта: все здесь, пытаясь, сновало туда и сюда; но это была всего лишь мастерская блудных машин, примитивных копулятриц; их приво-

зили из разных стран в целях стандартизации и сравнительных исследований. Лаковые станины японских моделей были разрисованы белыми цветами вишни. Немецкие — абсолютно функциональные, без каких-либо украшений, их поршни беззвучно сновали в отливающих маслом цилиндрах, а специалисты Кнака уже экстраполировали следующие поколения копулятриц. На стенах висели цветные графики эрекции и дезэрекции, а также кривые оргиастического и экстастического насыщения. Все это было весьма любопытно, но атмосфера царила довольно понурая — там уже знали, что гипотезу об универсальном характере земной эротике опровергают данные межзвездных экспедиций. Доктор Фабельгафт, создатель теории постоянно возрастающего зазора между актами любви и деторождения (так называемая теория копуляционно-прокреационной* дивергенции), по словам коллег, пил до беспamięтства, ибо уже подсчитал параметры этого расхождения для всех биологических популяций Галактики вместе с Магеллановым Облаком, как вдруг директор велел передать всю документацию в Отдел Ошибок и Искривлений. Поэтому мне не удалось с ним познакомиться — он избегал людей.

Зато Отдел Внеземных Теологий процветал. Несмотря на микроминиатюризацию (в блоках ртутной памяти емкостью 10^7 санкторов на кубический миллиметр хранились лишь самые основные данные о теологиях), поговаривали о переводе Отдела в особое здание, а ведь электронная картотека вероисповеданий весила чуть ли не полтораста тонн. Странное ощущение — стоять перед огромным блоком закованной в сталь памяти, где, словно в сверкающем саркофаге, покоятся тысячи религий Космоса.

Почтенный ассистент профессора, магистр Денкдох, сначала провел меня по отделам (но я не перечислю и малой их части), чтобы я уяснил себе, какими реками информации питаются центральные электрохронографы. Их назначения я все еще не понимал, но, по совету Денкдоха, воздерживался от вопросов.

Обед, полученный мною в столовой, для такого института был скудноват. Денкдох объяснил, что недавно дотации снова урезали. Зато за мое просвещение взялись всерьез. Осмотр быстро утратил ознакомительно-экскурсионный характер, хотя я и не догадывался еще, какие планы строил профессор, давая мне свой телефон. После обеда Денкдох предложил мне партию в шахматы. Я спустился к машине за своим мини-

* Прокреация — размножение.

компьютером и усадил его за доску против одной из институ-
тских ЭВМ — не слишком большой; сами же мы, не теряя
времени, прошли в директорский кабинет, где началось по-
священие меня в секреты ИИМ.

Теперь все это поблекшие воспоминания, но тогда у меня
чуть голова не распухла. Сперва меня ознакомили с порядка-
ми в МИДе, которому они подчинялись. Что-то мне, вероят-
но, уже доводилось слышать, однако по мере возможности я
обходил эту сферу космической бюрократии стороной, пока
и меня жареный петух не клонул. Что творится сейчас в со-
седних созвездиях, никому не известно; в лучшем случае из-
вестно, что творилось в них икс лет назад, в бытность там
наших посланцев. Исследователи, как лица политически не-
компетентные, путешествовать одни, понятно, не могут; поэ-
тому с ними летят эмиссары надлежащих ведомств. По воз-
вращении из командировки чиновники представляют отчеты,
и из этих отчетов составляются выжимки для программиро-
вания электрохронографов, то есть компьютеров, моделиру-
ющих историю данной планеты. Каким образом, однако,
можно строить политику на выводах из давнишних событий?
Одной радиосвязи для этого мало; впрочем, радиограмма
даже от ближайшей звезды идет многие годы. Электрохроно-
граф, попросту говоря, должен угадать продолжение инопла-
нетной истории, на которую он нацелен. Не буду останавли-
ваться на перебранках между исследователями-очевидцами,
хотя, между прочим, ни разу еще не случилось, чтобы им уда-
лось согласовать свои отчеты об экспедиции. Достаточно
вспомнить, что американцы ухлопали миллиарды, пытаясь
выяснить, есть ли жизнь на Марсе; они посылали туда орби-
тальные и спускающиеся аппараты, многие месяцы изучали
полученный материал, после чего оказалось, что все, правда,
известно, но вот *что именно* — об этом ученые договориться
не могут. А всего-то и надо было узнать, есть там в песке
какие-нибудь бактерии или нет. Ведь микроорганизмы, ко-
торые либо есть, либо их нету, которые лишены языка, а зна-
чит, не способны рассказывать байки, — просто подарок по
сравнению с существами разумными, которые не только об-
ладают такой способностью, но и с немалым умом ею поль-
зуются. К тому же космопроходец прибывает на Землю с без-
надежно устаревшим материалом: пока МИД получит его
отчет, проходит век, и с этой дипломатической стороной те-
ории относительности ничего поделаться нельзя. Так что дипло-
матия, а с ней и политика в Космосе могут быть только
релятивистскими. В электрохронограф вводятся данные пла-

нетологии, физики, химии, а также истории населенных планет; он поглощает сотни информационных потоков, а потом очередная контрольная экспедиция констатирует фиаско всех этих трудов. Пока что электрохронографы не попали в точку ни разу. Чаще они попадают пальцем в небо, да и чему удивляться? Помните, насколько удачными оказались домыслы футурологов? А ведь они занимались тем, что было у них под носом и за окном. С другой стороны, нельзя опускать руки: политика существует не потому, что так кому-то понравилось, но потому, что так надо. Политическая информированность МИДа целиком зависит от работы электрохронографов, так что Институт монтирует их один за другим. Действуют они с разбросом, то есть создают противоречивые версии инопланетной истории. Перспективы не самые радужные. На каждую галактику приходится до девятиста цивилизаций, с которыми нужно поддерживать дипломатические отношения, такова оценка на нынешний день; сколько на свете галактик, точно не знает никто, но не меньше ста миллиардов. Это дает кое-какое понятие об объективных трудностях, с которыми сталкивается Министерство Инопланетных Дел; утешать себя тем, что обычный обмен нотами с отдаленными цивилизациями занял бы около двух миллиардов лет, не приходится: есть ведь и более близкие, и не мешало бы знать, чего от них ожидать. Магистр Вютерлих из Группы автопрогнозирования ИИМ (она моделирует будущее развитие МИДа) установил, что если космополитика будет развиваться согласно прогнозам, то не позднее чем через полтора ста лет каждый землянин станет как минимум почетным консулом, если не полномочным послом, а все типографии нашей планеты будут печатать одни лишь верительные грамоты. Это, конечно, в корне устранило бы угрозу перенаселения, но создало бы ряд новых проблем. Города опустели бы, да и у самого МИДа появились бы трудности с комплектованием кадров.

В течение первого месяца я ежедневно приходил в институтский Центр хронографического слежения и слушал лекции, словно студент. Я узнал, что не мы выдумали этот порох, задолго до нас нашлись такие умы в небесах. Политика же замечательна тем, что включает в свою орбиту все, что поначалу ею, может, и не было. Там, под чужими солнцами, есть свои МИДы со своими электрохронографами, и космическая гонка в области оптимизации предсказаний идет вовсю. Чем точнее вы угадали продолжение инопланетной истории, тем ваше положение выгоднее. Поэтому хрономоделирование — не только метод познания, но и политическое оружие; ведь

некоторые версии своей истории те, Другие, производят только на экспорт; в интересах космополитики так, скорее всего, придется делать и нам. Как заметил при мне ехидный профессор Маверикс из Отдела Земной Истории, для этого не потребуется ни особых затрат, ни усилий — достаточно будет передать содержание школьных учебников истории, издающихся в столь многочисленных под нашим солнцем странах. Впрочем, поскольку фантазии эти, в общем-то, скромные, их называют не ложью, а местным патриотизмом.

Я усердно внимал ему, принимал таблетки от головной боли и убеждался, что все потеряно. Никогда уже не буду я знать Космос, как в прежние годы. Тогда я был сущим ребенком; но детской простодушной наивности рано или поздно приходит конец.

Элементы хрономоделирования мне излагал доцент Цвингли. Это называется еще проективной имитацией будущего; впрочем, на интересующей нас планете оно уже не будущее, а настоящее, но мы не знаем его и не можем сию минуту узнать, поскольку нельзя мгновенно преодолеть разделяющее нас расстояние. В машины закладывают всевозможные сведения о населенном небесном теле. Сначала — версии первопроходцев, ложные как минимум на 100 процентов (при этих словах сердце у меня замерло). Как минимум, ибо даже на Земле первопроходец обычно понятия не имеет о том, что он открыл. Взять хотя бы Колумба с его Америкой. Он получил не нулевую даже, но отрицательную информацию. Нулевой она была бы, если б он честно признался, что ведать не ведает, куда его занесло.

Дальнейшие версии поставляют туземцы, движимые скорее собственной выгодой, нежели стремлением к истине. Эти версии понять легче всего: предназначенные на экспорт, они просты, ясны и последовательны. Если же они приближаются к истинному положению дел, то можно понять либо очень мало, либо все наоборот. И возмущаться тут не из-за чего: вспомним, что христианская любовь к ближнему служила обоснованием иноверческой розни, разрывания лошаадьми богобоязненных толкователей Евангелия, грабежа соседей, угона туземцев в рабство, — короче, нет преступления столь изощренного, которое не было бы совершено из страха Божьего. Причем на словах эти заповеди соблюдались свято, откуда следует, что все может вытекать из всего, а разум на практике служит согласованию прекрасного с постыдным. Оптимисты могут утешать себя тем, что речь идет об атрибуте разума универсальном, а не локальном.

В рабочем жаргоне Института укоренилась артиллерийская терминология, поскольку задача состоит в построении событийной траектории, бьющей точно в цель. В идеальном случае земной исследователь прибывает на планету — объект моделирования — с последним номером местной газеты в руках (так называемый фантомный выпуск) и, сверив его с аналогичным местным изданием, констатирует их полнейшее сходство. Идеал, как обычно, недостижим, но надо к нему стремиться. Отдельно взятая хроногаубица дает отклонение, именуемое абсолютным; другими словами, совпадений нет никаких. Поэтому хроногаубицы сводят в батареи, что влечет за собой громадный разброс хронограмм. Попытки усреднения результатов кончились полной сумятицей, и в настоящее время крайние результаты отсеиваются. По этому принципу действуют три хронобатареи: Батарея Апробирующих Модулей (БАМ), Оппонирующих Модулей (БОМ) и Уточняющих Модулей (БУМ). Согласовать их вердикты пробует МОСГ (Модуль Согласования Гипотез), который, однако, то и дело впадает либо в эпилептический резонанс, либо в кататонию. Ведется работа по созданию сводных хронодивизионов (БАМ, БОМ, БУМ) для выхода на более высокие уровни моделирования, но пуск первого корпуса крупнокалиберных хронометров не оправдал ожиданий: оказалось, историографическая меткость корпусных агрегатов будет удовлетворительной лишь в том случае, если их общая масса сравняется с массой Галактики. Так что пока пришлось ограничиться системой из трех самостоятельных батарей, а МОСГ лишь комментирует ее диагнозы.

Все это показалось мне совершенно неправдоподобным. Разве можно, спросил я, предвидеть какие-либо происшествия на планете, удаленной от нас на тысячи световых лет, если я головой поручусь, что все ваши хроногаубицы не угадают, что я завтра съем на обед?

— Ха! — отозвался Цвингли. — Не думайте, будто вы сразили нас наповал. Принцип надежных прогнозов прост. Действительно, неизвестно, что вы завтра будете есть, но известно, что через четыре миллиарда лет здесь никто ничего есть не будет, потому что Солнце, превратившись в «красный гигант», испепелит внутренние планеты, а с ними и Землю. Верно?

Я согласился.

— Поэтому недостоверные события нужно сопрягать с достоверными. Таков общий принцип, а остальное — уже вычисления. С ними не справилось бы все человечество,

усаженное за счеты. Но сто граммов псин-массы (психоаналитической массы) превосходят человечество на голову. В Природе имеются некоторые постоянные. Например, постоянная расширения нагреваемых тел или распространения планетных цивилизаций. Не важно, что они там себе думают, важно, что они делают. Стиль серебряной ложечки как ювелирного изделия не имеет никакого значения, если положить ее в печь. Главное — температура плавления серебра. Следовательно, кроме постоянных, имеются критические точки — в истории тоже. Выбросьте из головы всю архаическую историографию! Короли, династии, государственные интересы, захваты и прочее. Не счесть капель воды в Ниагаре, но ее мощность и водосброс вычислить можно. Молодая цивилизация, как принято у нас говорить, неплотно прилегает к Природе. Когда недостижимы не только звезды, но и дно морей собственной планеты, ее недра и полюсы, когда орды кочевников кормятся чем Бог послал, — они могут думать о звездах, морях, климате, почве — все, что взбредет им в голову, ведь эти бредни не связаны с эффективной практической деятельностью. Дождь они могут вызывать заклинаниями, обращать к океану молитвы, просить солнце о помощи — условий их жизни это никак не затрагивает. Но чем старше цивилизация, тем обширнее сфера ее соприкосновения с Природой. Вы не можете ограничиться сведениями о трезубце Нептуна, если хотите добыть нефть с морского дна! Отсюда что следует? То, что молодая цивилизация ведет себя не как капуста на грядке летом, но, скорее, как калужница на болоте весной. Она уже почки пустила, а тут вдруг заморозки, и почки ко всем чертям. Мороз рисует на окнах узоры. Какие узоры он нарисует, никому не известно; известно, однако, что скоро они исчезнут, потому что идет потепление. Раннее развитие заикается. Иначе говоря, осциллирует. Местные гуманитарии называют это историческими циклами, культурными эпохами и так далее. Разумеется, никаких прогнозов отсюда делать нельзя. Подходящей моделью будет таз с водой, в которую добавляют мыло. Пока мыла мало, пузыри лопаются. Добавьте воды — их вовсе не будет. Добавляя мыло, вы сгущаете пену. Подставьте вместо мыла сравнительно развитые технологии, и пузыри перестанут лопаться. Вот вам модель цивилизационной экспансии в Космосе! Каждый пузырь — цивилизация. Сперва вычисляем постоянные пузыря. Каково поверхностное натяжение? То есть стабильность системы. Каков наш пузырь внутри — совершенно пуст или разделен пленками, а значит, состоит из

нескольких пузырей поменьше? То есть государств. Сколько мыла прибывает в столетие? То есть каков темп техноэволюции? И так далее.

— Но все это чересчур отвлеченно, — не сдавался я. — Какое-то статистическое усреднение, может, и выйдет, но чтобы содержание инопланетной газеты за такой-то день такого-то года — это уж извините! Ни за что не поверю!

— Но мы об истории не рассуждаем, господин Тихий, мы ее моделируем, и в качестве доказательства эффективности моделирования получаем хронограммы, — возразил флегматично доцент. — Сегодня мы в вашем присутствии загрузим порцию шихты, и притом по материалам планеты, на которой вы побывали и которую подробно описали в своих «Дневниках».

— Что это — шихта?

— Спрессованная информация о планете — о ее цивилизации. Ваши записи тоже туда включены, а как же, — но в числе десятка тысяч других. Чтобы наглядно продемонстрировать вам возможности хроногаубицы, мы нацелим ее на ваш дневник и посмотрим, что из этого выйдет!

— Не понимаю. Что и как вы нацелите?

— Попросту говоря, ваш отчет о путешествии на Энтропию будет сопоставлен со всей совокупностью фактов, которые собрал, изучая планету, целый хронодивизион, непрерывно снабжаемый информацией с нашего мидовского спутника, а тот получает ее из Маунт-Вилсоновской обсерватории — там у них самые свежие данные космического радиоперехвата. И никто из нас, господин Тихий, не знает, что содержится в шихте, — такова особенность нашей работы. На чтение одной только порции шихты у вас ушло бы три тысячи лет, не меньше. А хронодивизион усваивает ее за тридцать шесть часов, при упреждении в пять секуляров. Может быть, это даст вам некоторое представление о различии между историческим воображением машины и человека. Из всех закавык, с которыми приходится иметь дело, я расскажу вам лишь об одной, дабы вы уяснили себе, что именно мы вам покажем как результат моделирования. Хроногаубица действует так, как если бы разыгрывала тысячи шахматных партий одновременно, причем результат одной служит началом следующей. Чтобы сделать правильный ход, она конструирует критерии оценки, теории, гипотезы и так далее. Так вот: мы вовсе не желаем их знать. Это нам ни к чему — ведь и артиллеристу совершенно незачем знать, как протекает сгорание каждого зернышка пороха. Снаряд дол-

жен попасть в цель, вот и все. Поэтому хроногаубица отвечает на конкретные вопросы конкретно, без балласта промежуточных предположений и домыслов. Программа сегодняшнего эксперимента предусматривает анализ вашего четырнадцатого путешествия под углом его отдаленных последствий. При этом не так уж важно, сообщили ли вы, как в суде, правду и только правду. Мы ведь стоим на почве политики, а не физики. Не в правде дело, но в *Realpolitik**. То есть в том, какое влияние ваша первопроходческая деятельность на Энтеропии окажет на отношения между цивилизациями — нашей и тамошней.

— Так чего же мы ждем? — спросил я. — Загружайте скорее вашу шихту, куда положено...

Загрузка началась в пятницу вечером, так что, придя в Институт в понедельник, я успел как раз вовремя, чтобы увидеть последний этап операции. В Центр хронослежения набилось множество любопытных из разных отделов; результат должен был появиться на круглом и толстом, как иллюминатор, экране, над которым лихорадочно мигали белые и зеленые контрольные лампочки, совсем как в заурядном фантастическом фильме; часы показывали одиннадцать, время шло, а мутная глубь за толстым стеклом оставалась темной. Потом в самом его центре вспыхнула красная точка, и это свечение распространилось на всю окружность экрана, кишашую черными, крохотными, извивающимися гусеницами. Выглядело это крайне неаппетитно — как насекомые на раскаленной сковороде. Шеф лингвистов доктор Гаерштейн торжественно вскрикнул:

— Родофильное письмо, наречия верхней и нижней Тетраптиды, язык официальных бумаг!

Он приблизил лицо к экрану, черные гусеницы — иероглифы или буквы? — выстроились в два ровных прямоугольника, один над другим.

— Это вам, господин Тихий, — добавил уже спокойнее Гаерштейн.

— Что это?

— Точно не знаю. Я изучал оба эти наречия, но язык со временем изменяется, а перед нами проекция с упреждением в два секуляра... если не большим. Коллега Дюнгли, переключите, пожалуйста, на главный транслятор...

Дюнгли уже стоял за пультом, с непроницаемым лицом нажимая на клавиши. На алом экране возникла острая иго-

* Реальная политика (нем.).

лочка света и принялась перебегать туда и обратно по рядам застывших значков. И тут же частой дробью отозвалась машина, похожая на большой телетайп. Все повернулись к ней, оставив место и для меня. По мере того как телетайп перемалывал буквы, из-под широкого валика мелкими, судорожными скачками высовывался лист бумаги. Увидев знакомые знаки латиницы, я затаил дыхание и начал читать.

Кецхьюрр Вещхьюр
Керделленпабранг

Земское Посольство
Сверхможносильного
Политохода Курдландии

БАРГМАРГСКВАРОШ!

Г.Ийону Тихому
в Земле

115 Ллимнер, Опрель

Ваше Высокоблагостное Рождество!

Мы: Необычайный и Полно-Мощный Министр, Земно Аккредитованный, Сверхможносильного Политохода Курдландского, совращаемся к В.В.Рождеству с нижеследственным.

Ведомо нам учинилось нащет Писульки, В.В.Рождеством тиснутой, ей же титул «Звездные дневники», особливо имея в предмете «Путешествие Четырнадцатое», и в одной Писульке В.В.Рождество плавит о летании на Нашенский Глобус.

В.В.Рождество подтыкает Земскому Плебсу сведомости о Нашем Политоходе, зело от правды отстрепенутые.

Синглюрей, сиречь Примо: В.В.Рождество бает в поименованном борзописании о КУРДЕЛЬ обратно фактичности, черес што выкаблучивает Политоход в издеванский Высмех и Выглуп к изрядной для Обоих Небесных Сторон ущербности.

Гвисдукляст, сиречь Секондо: В.В.Рождество в помянутой Книжне отнюдь не запнулось обалдусить ОХОТУ НА КУРДЕЛЬ, который Феномен в Вашевысокоблагостном Тиснении имеет быть пасквиляторной Злопыханцией, а равно омерзинным Смехачеством над Политоходом Курдландским вопче, особливо же над Его Светлейшим Превозносителем Председателем.

Крессимей, сиречь Терцио: В.В.Рождество в своем Плотоядстве не издосужилось ни единым Дыхом не продыхнуть о заправдышном Чюдище, Напасти Великодержавной, ЛЮЗАНИИ, каковая храбрится подрывательно-подстрекательно супротивничать с Курдландской Политоходственностью. Також напрудонило В.В.Рождество сбухтыбарактственно навыворот от фактичности о СЕПУЛЬКАХ.

В обличии оного Политохода Мы, Необычайный и Полно-Мощный Министр, Земно аккредитованный, возносим Мультимотивную Протестацию нащет Диффамации и заступаем поперечно В.В.Злопыханию на Дух, Суть, Плоть, Песнь и Власть вышепоименованного. Такжеже, яко Репрезентантный и Резидентный Посольник, с

мягкосердым твердомыслеи нашим возбуждаем В.В.Рождество из-вернуться ко правдоложеству и загвоздить скурдельную ВРАНЬ. Чего ради Мы, Межпланетского Мира Любовники и Дружинники, совращасмся к В.В.Рождеству с дружелюбистой Пропозицией отделегаить В.В.Рождество Ийон Тихий на полукошт Посольства (БАМ), Земства (БОМ), на собственный кошт (БУМ), дело темное (МОСГ) к инкриминованному Планетарию и тамже вприглядку ущучить Фактолептичность.

До 117 Ллимнер (Опрельско-Маиский стык) подстерегаем на В.В.Рождественское появительство; буде же В.В.Рождество злопыхански заерепенится, имеет разбрыкнуть Межпланетский Конфлихтум.

В ожиданистом нетерпенстве
QRDL, Полно-Моцный Министр СПК

II

Земное Посольство
Несокращенных Штатов Люзании

Сунн Сенселени Брамгорр
Кирмрепулас

БРИБАРНОТРОПС!

Идеатор: Браннаколяк
Программатор: АС/01-94ба
Оператор: Линкомпьютер IX Тип Сол-У-3
Оперон: Ийон Тихий. Члэк.

Тун Танн 115 Вехна

Милостивый Государь,

Посольство НШЛ шлет Вам тепловатую дружественную фразу, адекватную между телами различных систем.

Тем не менее до сведения указанного Посольства дошло, что Вам заблагорассудилось скомпоновать книжонцию книжинку книгиню п/загл. «Звездные дневники» и пр., в которой Ваше внимание сфокусировалось на отношениях нашего милостивого тела.

ПРОЯСНЕНИЕ

Посольство НШЛ с легким прискорбием констатирует, что Вы, М.Г., допустили всесторонние aberrации, деформации и дегенерации, как-то:

1) С ошибочным совершенством умалчивается в Вашей книжпочке о нашей державе, т.е. о НШЛ;

2) КУРДЛИ описаны Вами как заповедное звероголовье, тогда как в действительности это слезиинские сборища, враждебно настроенные по отп. к НШЛ старнаками соседней Курдландии;

3) Вы позволили себе множество фривольных аллюзий в отн. СЕПУЛЕК, создав тем самым призрачность их Порносферичности.

КОНКЛЮЗИЯ

Вы, М.Г., пребывали отнюдь не на нашем теле, в частности, не на территории НШЛ, но на поверхности Синтеллита Скан Сен, который представляет собой фрагмент НШЛ, орбитально подвешенный в целях ознакомительно-оздоровительного туризма. Тамошние бутафорки, синталии, эротомластиконы, телохранилища и пустяки (пустеоры) Вам случилось головотяпно принять за репрезентацию нашей цивилизации, а увеселительные аксессуары — за живые существа, самобусы и пр. Тем самым Вы, М.Г., захохмили фактическое положение дел к ущербу для развивающихся вширь, вдоль и вглубь сношений между Энцией и Землей.

Имея в виду указанную сносительность, снисходительно увещеваем Вас, досточтимый тихоня, аккуратно взвешенным словом опровергнуть фальсификат.

Полагая причиной промашки не зломыслие, но художество Ваше, Посольство НШЛ готово удостоить Вас проезда по маршруту Земля — Энция — Земля, гарантировав мудринный иммунитет с шустринным обеспечением, кормовые и суточные в границах НШЛ.

За Посла НШЛ

Привязанец п/вопр. Культуры
Землезычный Дипломат Сол-У-3.
апостолюющий на подсистемах,
аккредитованных In Partibus
Barbarorum*

Подпись неразборчива

Код: А-Пц(6)ск-Ца-Пек Пы(7)Цек Пра(5)цек Пур-9-Цик-Цик-Цик Мее.

Post Scripturam Terminatam**. На вышеозначенный код просим сослаться в ответной реплике. В инциденте непоявления таковой приступаем к обычной гастрокластической процедуре Б-93.

За ответственность: Тайноканальный Диплутор II ранга
Цып Цыпцыквип Титиквак

Телстайп замолчал; воцарилась полная тишина. Я обвел взглядом присутствующих — они обступили меня полукругом — и, увидев все тех же Цвингли, Дюнгли, Ньюцли и прочих господ с похожими именами, осознал, что нахожусь среди швейцарцев.

— Что это значит? — грозно спросил я. — Кто из вас, господ, позволил себе этот, с позволения сказать, розыгрыш? Кто надо мной потешается? Уж не вы ли, господин Цвингли? Пожалуйста, не думайте, будто я не заметил ваших вчерашних намеков на серебряные ложечки, хотя, по природной тактич-

* В варварских землях (лат.).

** В дополнение к завершённому (лат.).

ности, и пропустил это мимо ушей. Но всему есть предел, милостивый государь! Это уже не какие-то там ложечки...

Я осекся, заметив всеобщую растерянность, но также и радостную усмешку доктора де Каланса, который, похоже, в моих словах усмотрел симптомы умственного расстройства и уже рассчитывал пополнить свой коллектив столь выдающимся психом.

— Успокойтесь, господин Тихий! Это не так, вы ошибаетесь, даю вам слово. Клянусь своими детьми!

— Если они так же реальны, как эти инсинуации, — я вырвал листок бумаги из телетайпа и помахал им над головой, — ваша клятва немногого стоит! Объяснитесь, я слушаю...

— Это не подделка! — воскликнул Цвингли. — Ни я, ни мои коллеги не могли заранее знать содержание хронограмм...

— И я в это должен поверить?! — загремел я, окончательно выведенный из равновесия. — Я готов признать, что допустил кое-какие э... промахи в стиле Колумба. Этого нельзя исключить. Но всякое вероятие имеет свои границы. Неужели вы всерьез хотите меня убедить, что машина не только обнаружила мои оплошности, не только предусмотрела открытие всех этих посольств на Земле через двести или сколько там лет, не только установила, какие они направят мне ноты, когда никого из нас не будет на свете, но и сумела составить их на языке, на котором будут тогда изъясняться, и догадалась вдобавок, что подпишут их дипломаты, которых в целом Космосе нет, ибо они и родиться еще не успели?!!

Я положил хронограмму на пульт, строго посмотрел на них и сказал:

— На оправдание даю вам десять минут.

Они заговорили наперебой; наконец Цвингли — его вытолкнули вперед, — с красным лицом и капельками пота на лбу, умоляюще сложив руки, начал с признания, что он, возможно, недостаточно подготовил меня к этому специфическому эксперименту, то есть к телесемантической фокусировке электрохронографов; ведь те были нацелены на сопоставление моих «Дневников» с полной порцией шихты вовсе не для того, чтобы надо мной посмеяться, но в знак особого ко мне уважения. Программа запрещает использовать общие фразы, а также оставлять в прогнозе незаполненные места, и возможные пробелы машины заполняют предположениями, то есть строят гипотезы об особенностях отдельных фраз, их фонетике и даже орфографии; иначе не удалось бы определить точ-

ность прогноза в процентах. Машина в любой момент может указать верковирт (вероятностный коэффициент виртуализации) любого слова хронограммы с точностью до четвертого знака после запятой. Верковирт может быть невысоким, но никогда не бывает отрицательной величиной. Там, где он близок к нулю, электрохронограф приводит противоречащие друг другу версии Батарей Апробирующих Модулей (БАМ) и Опонирующих Модулей (БОМ), что мне, быть может, угодно было заметить в первом послании, там, где речь идет о готовности финансировать мою командировку на Энцию. Ибо финансовые дела, ввиду особой их деликатности, нельзя предсказывать так, как другие события. Давайте-ка выясним сперва, сказал Цвингли, увлекаясь все больше и размахивая руками вовсе не по-швейцарски, что содержалось в шихте? Там содержался весь массив данных об Энции, полученных нами на месте и принятых по радио- и лазерной связи, а документация эта учитывает даже энцианские школьные песенки, не говоря уже об учебниках местной истории. Разница между названиями планеты в версии хроногаубицы и моей примерно та же, что между названием «Индия» и «Америка». Ведь автохтонов Нового Света, всех этих апачей, команчей, ацтеков и прочих сиу мы потому лишь поныне называем индейцами, что Колумб принял их за обитателей Индии. Уступая в цивилизованности своему открывателю, эти туземцы не могли помешать ему ошибочно себя окрестить. Энция — дело другое. Это название — латинский эквивалент их самоназвания («сущий» или «разумно существующий»), и отсюда пошло the Entians, die Entianer, les Entiens и так далее. Никто этого специально не выдумывал — так сложатся в дальнейшем события, на которые мы нацелили исторические машины. Их отдельные блоки экстраполировали различные аспекты развития Энции, в частности, какие из тамошних государств, будучи сверхдержавами, первыми откроют земные посольства; как будет вестись делопроизводство в их дипломатических ведомствах (что отразится и в формах дипломатической переписки); ноты, которые будут когда-нибудь посланы мне либо моим наследникам, физическим или юридическим, не совпадут, разумеется, с нашими хронограммами до последней запятой, но их содержание и стиль будут аналогичны; даже машинный код, приведенный в люзанском послании, предсказан на базе общей теории эволюции компьютеров энного поколения при заданных технических предпосылках; конечно, это не будет в точности *тот же* код, но *тот же тип* кода, а именно употребляемый в дипломатии. Нельзя моделировать уникамы — мо-

делируются классы, к которым они относятся, то есть *типы*. И люзанская нота будет подписана не *тем же* в точности именем, которое фигурирует в фантограмме, но именем *этого* типа, похожим на фантоматическое так, как Цвингли на Дюнгли, а Иванов на Смирнова. Родословно-происхожденческий блок хроногаубицы вывел типичные свойства энцианского дипломатического молодняка не путем анализа его биологических характеристик, но характеристик, которые требуются там при приеме в высшие дипломатические заведения. Ведь хронографы открывают не какую-то там «объективную истину в последней инстанции», но последние директивы *руководящих инстанций*. Господа естественники вообразили себе и внушили всем остальным, что межзвездные контакты начнутся с обмена мнениями об Евклидовой геометрии и строении атома, — как будто бы на Земле, при встрече с неизвестными доселе жителями Амазонии или Огненной Земли посланцы цивилизованного мира первым делом поспешили бы проинформировать их о гипотенузах и атомах, а не о том, какие дела можно с ними повернуть. Разве кто-нибудь когда-нибудь слышал о геометрии или другой какой математике в политических отношениях? А ведь космические контакты неполитического характера иметь не могут! Сначала определяются делопроизводственные, или канцелярские, постоянные, ибо там, где существует политика, существуют и канцелярии; этот закон имеет абсолютный характер и релятивизму теории относительности *не* подлежит. Первые беседы ведутся не о скорости света, но о скорости продвижения по службе, не об объеме атомных ядер, но об объеме служебных полномочий. А из чего состоят Неземляне, из силикатов, йодидов, хлоридов или аминокислот, и чем они дышат, кислородом, а может, фтором, и как они движутся, передом или задом, — все это ничуть не влияет на параметры их бюрократии; взаимопонимание же зависит исключительно от дипломатического обмена, а не химического! Наконец то, что особенно задело меня, а именно: превратная картина жизни на Энции, принятая мною за чистую монету, представляет собой, как мне уже не раз объясняли на всех этажах Института, обыкновеннейший СУПП, т.е. Сумму Первопроходческих Промахов, которая вычисляется согласно Теории Ошибок и Искривлений и в данном случае равна возведенной в третью степень разности расстояния между Испанией и Америкой, с одной стороны, и между Землей и созвездием Тельца — с другой. Что, нотабене, открыл магистр всеобщего моделирования Прюнгли. Колумб Америку принял за Индию, а Ийон Тихий — искусственный

спутник за планету. В этом нет ничего зазорного, и обижаться тут не на что.

Я слушал уже спокойнее, а ученый швейцарец, со взъерошенной бородой и запотевшими очками, потрясал фантограммами нот, восклицая:

— Клянусь вам, здесь нет Ничего Случайного! Прошу обратить внимание на различия в языке обоих посланий. Они указывают на различие ставок зарплаты, а тем самым и национальных доходов Курдландии и Люзании... Этими различиями занимался финансово-планетологический блок нашего машинного отделения. Курдландская нота свидетельствует о скромных средствах, выделяемых на дипломатию, коль скоро их посольство возьмет на службу скверно оплачиваемого, а значит, скверного переводчика... скорее всего, человека, это им станет дешевле, чем тащить за тридевять земель собственного полиглота вместе с дипломатическими чемоданами.

— Что вы тут мне доказываете, — перебил я, — ведь оригиналы посланий там, — я показал на все еще светящуюся красную окружность экрана, покрытую скрюченными иероглифами, — а перевод сделала ваша аппаратура здесь и теперь, а не какой-то там человек, переводчик, чиновник, родители которого, да, пожалуй, и дед с бабкой, не успели еще познакомиться...

— Вовсе нет! Вы заблуждаетесь! Это было бы непростительной для нашего ремесла ошибкой. Ведь гипотетический конфликт, межпланетные трения легче всего могут начаться из-за недоразумений при обмене нотами, так что предвидеть необходимо даже грамматические и орфографические источники подобных недоразумений! Перевод выполнен происхожденческим блоком, при участии блока экспортной пропаганды, а контролировал их работу лимитно-финансовый блок; то есть, образно выражаясь, машина создала фантом посольства, а в нем — фантом должностной лестницы, и на ней уже, где положено, разместила фантом мелкого служащего, который будет переводить инкриминируемый документ, ничего в нем не смысла, ибо ему не будут платить за понимание чего бы то ни было. Я полагаю, — добавил он тише, как бы про себя, — что это какой-нибудь гастарбайтер, не знающий толком ни одного языка, кроме турецкого... А более зажиточная Люзания пользуется в дипломатии автоматами, ведь чем выше развито государство, тем дешевле в нем автоматика и тем дороже рабочая сила.

Не скажу, чтобы он полностью меня убедил, но время уже было позднее, так что мы отложили анализ обеих нот и их воз-

возможных последствий на завтра, а я вернулся домой. Я чувствовал себя настолько потерянно — ведь под ударом оказалась моя честь звездoproходца, — что взял телефонную трубку и набрал нью-йоркский номер профессора Тарантоги; мне надо было выговориться перед родственной душой. Профессор терпеливо слушал, потом, не выдержав, холерически фыркнул в трубку:

— И чего ты, Ийон, убиваешься? Можно подумать, что это швейцарцы выдумали компьютеры! Батарей, дивизионы, корпуса, хроногаубицы, а ведь стоит чуть-чуть пораскинуть мозгами, чтобы прийти к тем же выводам. Контакты установлены, не так ли? Когда-нибудь надо обмениваться посольствами, так или нет? Любой атташе по вопросам культуры должен что-нибудь делать, так или нет? Ничего путного он не выдумает, так или нет? Значит, он будет собирать материалы для обзора печати и для отчетов, которые он посылает начальству, давая понять, что чем-то он занят. Рано или поздно он услышит о твоих «Дневниках», и что им останется делать, как не направить тебе опровержения?..

— Так-то оно так... — поддакнул я удивленно и в то же время сконфуженно, — но там, профессор, были такие подробности... даже секретный дипломатический код люзанцев... предложение финансировать мою экспедицию...

— В подобном случае подобное предложение сделает любое посольство, а прочее — вата. Ты когда-нибудь видел, как из ложки сахара получается клубок сахарной ваты величиной с перину? То-то и оно! Хорошо, однако, что ты объявился, а то я все забываю сказать, что вся эта «Космическая энциклопедия», которую я тебе тогда одолжил, — помнишь, там еще говорилось об Энтеропии и сепульках? — так вот, это была подделка. Жульничество. Турусы, понимаешь ли, на колесах. Какой-то мерзавец решил подзаработать...

— И вы не могли мне сказать об этом немного раньше? — возмутился я; похоже было, что весь свет против меня сговорился.

— Хотел, но ведь ты меня знаешь — забыл. Я записал это на визитной карточке, карточку положил в жилет, костюм сдал в химчистку, квитанцию потерял, потом пришлось вылететь на Проксиму, и так уж оно осталось...

— Неплохую вы мне оказали услугу, — заметил я и поспешил закончить беседу, потому что боялся наговорить профессору невесть что — я ведь холерик...

То был день неприятных сюрпризов и приступов ярости. Из вежливости, чтобы не разбудить Тарантогу, я разговаривал с ним после полуночи, когда в Америке уже день. В Инсти-

туте я съел все равно что ничего; теперь я был голоден и полез в холодильник за холодным жарким из телятины. Приходящая прислуга, которую я наделил правом завтракать у меня, пользовалась им без стеснения. Что-то там все же лежало — как оказалось, почти совершенно голая кость, обернутая для приличия кожей. Голодный и злой, я съел кусок хлеба с маслом — и в постель.

В Институте тем временем составили машинный толковый словарь обоих посланий. «Отстрепенуться» — отклониться, «в облиции» — от имени, «загвоздить» — заклеить и так далее. Но я даже не взял его в руки. Я потребовал доступа к *источникам*. Это привело их в некоторое замешательство. Из начальников отделов ни один не имел соответствующих полномочий, так что мы пошли в дирекцию. Там выяснилось, что имеет место такого рода служебная тонкость: Институт может предоставить мне *шихту*, но не источники, то есть оригиналы рапортов, документов, учетов и т.п., из которых, посредством выдержек и резюме, изготавливается шихта, поскольку все они хранятся в тайном архиве МИДа, а сотрудники Института доступа туда не имеют. И это уже не предмет для дискуссий и споров; ни обсуждать, ни даже понимать тут нечего — просто именно так проходит линия разграничения между компетенцией Института и соответствующих управлений МИДа. В таком случае, сказал я, дайте мне шихту, а тем временем обратитесь к кому следует в министерстве, чтобы мне как можно быстрее оформили допуск к оригиналам, чего я, как первопроходец и пионер, наверно, заслуживаю. Касательно первого затруднений не будет, ответили мне, что же насчет второго, то они постараются. Джонгли — возможно, впрочем, что это был Врэнгли, — провел меня в небольшой кабинет, где размещались один из машинных терминалов, кресло, письменный стол, экран, считывающее устройство, термос с кофе, печенье и флоксы в хрустальном кубке, и оставил меня наедине с аппаратурой; будучи проинструктирован, я сразу же принялся прогонять через матовый стеклянный экран пресловутую *шихту*.

Пусть благосклонный читатель не ожидает из того, что я в точности здесь переписываю, понять больше, чем мне тогда удалось. Напомню лишь, что БАМ — это Батарей Апробирующих Модулей, или мнение батарейного меньшинства; МОСГ — это Модуль Согласования Гипотез, который обычно ничего согласовать не мог, и, наконец, БУМ — Батарей Уточняющих Модулей, которая вставляла словечко в случае полной неразберихи.

«ЭНЦИЯ, люоз. КИРМРЕГЦУДАС, курдл. КЁРДЕЛЛЕНПА-ДРАНГ, 7-я планета Гаммы Тельца (Gamma Tauri). 4 континента (Дидлангида, Тарактида, Цетландия, Маумазия), 2 грязеана, образов. из разложившихся микрометеоритных осадков (БАМ), в результате промышленного загрязнения среды (БОМ), неизвестно как (МОСГ). Ок. 1000 подгрязевых гейзеров (грязезеров), ошибочно (БАМ), справедливо (БОМ) принимавшихся первооткрывателями за реликтовых погрязов (тип *Immersionales*, отряд *Magmaeladinae*, семейство *Massagopisaea* /клецковых/). Один оргаст — органические стоки (БАМ), органоидная стекловина (БОМ), оргиастическая стервотина (БУМ), давно уже высох (МОСГ). Один синтеллит (искусственный спутник) — КОКАИН, или Космический Камуфляж для Инопланетян (БАМ), ЛСД, или Лже-Скансен Древнепланетный (БУМ), представляющий собой орбитально подвешенную часть территории Люзании(см.) переменного диаметра, ибо в действительности это Надувак (БАМ), Фата-моргана (БОМ), сам черт не поймет (МОСГ). Климат умеренный, сильно подпорченный индустриализацией (БАМ), тайнодействующим оружием (БОМ), всегда такой был (БУМ).

Планету населяет разумная раса (БАМ), две разумные расы (БОМ), зависит от точки зрения (МОСГ). Энциане — человекообразный вид (БАМ), их человекообразность — личиночная стадия метаморфозы, поскольку туземцы являются превращениями и проходят периоды линьки от ПОЛОВИНЦА, через ПОЛТОРАКА и ДВУСПОЛОВИННИКА, до СЛЕПНИКА-ОГРОМЦА (БОМ), они лишь по-разному одеваются (БУМ), все это легенды и мифы, смотри: «Политография рас Тельца», изд. для служеб. польз., МИД 345/ 2аб/99 (БИМ). Данные БАМ получены от люзанцев, а БУМ, БОМ и БИМ — от курдландцев, и потому несогласуемы (МОСГ).

Пол выражен отчетливо (БАМ). Нет полов (БУМ). Они есть, но противоположны земным (БОМ).

Государства Э.: I. Уникальную в нашей Галактике форму государственного устройства представляет Курдландский Политоход (также: Нациомобильное Курдлевство, Ходилище) — рустикальное самоуправляемое объединение обитаемых курдлей — ГРАДОЗАВРОВ. Верховная власть принадлежит Председателю Старнаков (Старших над курдлем). Административная единица — стадо курдлей, или ТОПАРТАМЕНТ. Прежде старнаков называли курдлеводами. Нациомобиль складывался столетиями в процессе борьбы с Пирозаврами, по большей части угасающими и едва тлеющими промышленными животными (напр., разбрасывающий огонь Полисерв, он же Великораб, а также Кукурдль — холоднокровные грязноводные твари весом до полутора тонн). Потухшего курдля называли Сгорынычем (*Draco Cyrophoricus Curd. L. Msimeteni* — от имени первооткрывателя, участн. IX экспедиции Заврологическ. ин-та), а подмокшего — Мокрынычем. См. также: Кёрдль, Кйордль и QRDL. Разведение к. заменяет жилищное строительство, невозможное на загрязях и подгрязях, т.е. территориях, периодически затопляемых

грязеаном (земным оледенениям соответствуют на Э. огрязнения, или Грязниковые Периоды) (БАМ).

Никаких огнедышащих гадов на Э. никогда не было. БАМ принимает на веру курдландскую мифологию и пропаганду. Курдли суть великоробы (а не великорабы), возникшие эволюционным путем в борьбе за выживание в грязеане (БОМ). Используемые в качестве рабочей силы, образуют т.н. Коллектуши.

В люзанской версии курдли — это трупы (туши), выпотрошенные местными селянами по причине жилищного голода и движимые рабским трудом галерников; иначе говоря, это т.н. *Cadaveria Rusticana**. В курдландской же версии курдли считаются продуктами генетической биоинженерии, изобретенной Председателем Старнаков. Несогласуемо (МОСГ). Борьба номадов с грязноводными завершилась симбиозом местных Приматов с курдлиями, благодаря наполнению последних воздухом и адаптации первых к гургитации и регургитации (а также Лаксация — БИМ). Ибо градозавры суть симбиотические кооперативные поселения (БАМ) Ничего подобного (БОМ). Это не более чем лживотные, *pseudozoa*, иначе говоря, сингофауна, которая производится на племзаводах Генженерного Треста (БЕМ), по образцу пракурдлия, однако не идентична с ним, а лишь на него похожа.

Гос. структура Курдландии изучена слабо. Председатель самлично не управляет, а только мыслит об управлении, мысли же эти интерпретируют, применительно к местным условиям, Старнаки. Их исторические названия: Патриарх Стада Курдлей, или ПАСТАК, Завкурдль, Курпан и др. (БУМ, БАМ, БОМ).

Гразозавры страдают от внутренних раздоров, вызыв. аллергией (БАМ), различием политических взглядов (БУМ), размножением паразитов — неробов, загробов и угробов (БИМ). Перечисл. формы — не паразиты, но деятели кооперации (БОМ).

Курдландцы чрезвычайно чувствительны, если речь заходит об их оригинальной государственной доктрине. Употребление прозвищ Курдлия, как-то: Великогроб, Доходяга, Паскурдль, Смердозавр, Курдлиятина, Жрамонт, а также Толстодонт, Топгыга и Трупоход, карается переселением с понижением (ссылка в хвостовую часть, т.н. колонизация). В древности к. служили гробницами знаменитых мужей, наподобие земных пирамид (БАМ). Все это легенды и мифы (БЕМ). Что-то такое там было (МОСГ). см. «Энцианская мифография», гл. «Археомобилистика, Перипатетическая Полиархия, Миф Председателя». Ср. также: «Грязнавец», изд. д/служ. польз. Доц. Ю.Бледдер: «Сколько у курдлия ног?» (МИДб/4е4). Его же: «История борьбы с грязноводными». Того же авт.: «Рвотная политика». Он же: «Курдли — жертвы хищнической экономики». Тот же: «Квартирное право и внутренностный метраж». В.Тутас: «Использовались ли курдли когда-либо в прошлом в качестве метеоритных убежищ?» См.: «Отчет II несостоявшейся энцианской экспедиции», ИИМ, хроно-

* Сельская трупарня (*um.*). По аналогии с *Cavalleria Rusticana* — «Сельская честь» (опера П.Масканьи).

граммы серии В/9 и Т/9. Также: «Закурдельная жизнь в еретическом учении Топальщиков» («Анналы Института Посмертного Сыроделия», Т.Кваргл., ПИП 20111). И.Драгондер: «Химический состав солонины курдельного откорма» («Акта курделиана», т. XI, с.345 и след.). «Структурный анализ курдландской поэзии», коллектив. монография ИИМ, 239/с. Д-р Револьвендер: «Внутренностные туптазы и пирофоразы как средства огнедыхания» (Boston McGraw Hill. Доктор. дисс., прогнозируемая с 40-летним опережением Рюнгли и Киндерштейном. На правах рукописи)».

Опуская еще триста названий цитированной литературы, перехожу, ко второй части шихты, посвященной Люзании.

«Люзания. Также: Несокращенные Штаты Верхней Люзании (БАМ), Вольная Федерация Внештатных Чинов (БУМ), Сопряженные Штаты Тарактиды (БОМ). Первая держава Энции, высоко (БАМ), слишком высоко (БУМ) развитая, в натянутых отношениях с соседней Курдландией. Нарастающие внутр. проблемы привели к падению уровня интеллекта членов обеих главных полит. партий, из числа которых выбирается Президент (БАМ), Странодав (БУМ); перед лицом неспреодолимых трудностей не нашлось в меру толковых кандидатов, добровольно претендующих на высший пост. Т.н. дебилитация сменявших друг друга администраций привела к кризису, закончившемуся введением Политереи (политической лотереи) для заполнения пустующих вакансий в госаппарате. Поскольку большинство населения уклонялось от участия в ней, в XXII в. было объявлено чрезвычайное положение и проведена Большая Облава на Индифферентных Кандидатов (БОБИК) Справиться с кризисом помогло развитие компьютерной техники. Автоматизация администрации, однако, потерпела крах в конце того же столетия, когда автоматы-цивитаторы сложили свои полномочия вследствие т.н. логистронного синдрома. Эти чересчур уж интеллигентные устройства либо впадали в белибердизм, либо их разбивал прогрессирующий гениализм (поражение гениальностью). Выйти из нового кризиса НШЛ смогла благодаря синтуре (синтетической культуре), то есть экософизации (умудрению среды обитания) и гедопраксии (распределению счастья по разверстке). При помощи этих государственных институтов удалось спротезировать социальные связи, распадавшиеся под гнетом благосостояния (БАМ). Указанные институты — результат слияния государственной доктрины с господствующей религией (БУМ). Сомнительно (МОСГ). Этификация окружающей среды, а также наслажденческо-принужденческие, поглощающие и разявляющие технологии, вместе взятые, составляют синтуру. В соответствии с принципом умудрения среды обитания дороги, машины, здания, одежду и пр. производят из шустров — логических микроэлементов, облагороженных в ходе предварительной обработки. В мегаполисах ошустрение достигает 60 единиц интеллекта на грамм в секунду. На городской территории вплоть до глубины 40 метров неразумные субстанции не встречаются вовсе (БАМ). Такова

официальная версия (БОМ). Остальная территория ошугрена на 87% (БАМ). Сомнительно (БОМ). Синтура умудряет среду обитания, чтобы та неустанно пеклась о благе граждан и своем собственном, исправляя наносимые оппозицией повреждения, просвещая, помогая, советуя и поглощая преступные поползновения, а также подстрекая к потребительской вакханалии в рамках закона (БАМ). Последняя формулировка — следствие подхода к синтуре в земных категориях (БОМ).

Ошугренные объекты выполняют только заказы, не нарушающие чьих-либо интересов. Шугтры первых поколений (мудроны, мудретто) деморализовывались мафиозными кликами, но нынешние их образцы, снабженные уморами (усилителями морали), злонепроницаемы на 99,998% (БАМ). Так утверждает правительство (БОМ).

Промышленная продукция делится на услаждающую и превентивную.

1. Услаждающее производство подразделяется на: разъявливание (раздробление яви), фелицитацию (конвейерную, а также по индивидуальной мерке), форсирование комфорта, заласкивание, заслащивание и синтетическое препарирование карьер (синеризм), дополняемое целевым выбиратьством. Все это индустриализированные отрасли гедотелической, или благопроводной, информатики. В соответствии с девизом Люзонии «*Fac quod vis*», каждый гражданин делает, что душа пожелает, а государство заботится о максимализации всеобщего счастья. Для этого применяется гедометрия — измерение количества благих ощущений, которые могут быть пропущены через нервную систему гражданина в течение его жизни. Поскольку, однако, предложение в 10^8 раз превышает индивидуальную пропускную способность, включая время сна, приходится выбирать между утехами. Этот труд берет на себя личный выборокибер (называемый также предлагатором); он ублажает с учетом индивидуальных склонностей, темперамента, а также выносливости.

Тем самым в Галактике не может быть никого счастливей люзанцев (согласно правительственному экспозе ЦЦЦ/7/Зюб) (БАМ). Этому противоречат курдяндские источники, ссылаясь на рост показателя самоубийств (БОМ). Одной из наиболее трудных была проблема утраты близких из-за несчастных случаев, а также естественной смерти. Неэффективность душеуспокоительного лечения побудила МВД (Министерство Восхищенческих Дел) наладить производство небытчиков (они же псевиды, или псевдоиндивиды), как-то: Амороидов, Матоидов, Отцоидов, Дето-морган и пр. Небытчики изготавливаются по заказу заинтересованных лиц, а также дирекцией городских кладбищ — для погребальных торжеств с участием идеальных копий Дорогих Отошедших. Граждане, чьих судьба наделила близкими с трудным характером, во избежание трений могут протезировать ближайших родственников даже при их жизни; последним же, в рамках законной компенсации, тоже доставляют требуемых двойников (что в обиходе именуется семейственной манеке-

* Делай что хочешь (*лат.*).

низацией) (БАМ, согласно люзанским источникам). Чучельные псевдосемьи — арена кошмарных историй, от которых у курдья волосы встают на загривке (БОМ, согл. курдьяндским данным). См. также: «Блокнот курдельского агитатора», 391/Р, а кроме того, речь Председателя Совета Старнаков на X сгоне градозавров, в особен. разд. п/загл. «Люзанские вродебыродичи как тренажеры изощренного душегубства» (БЕМ).

Разъявливание позволяет ощутить то, чего вообще-то ощущать одновременно нельзя, — путем подключения благопроводов к разным полушариям мозга через расщепитель сознания. Правительство запланировало рост всеобщего счастья на 4% за пятилетку, но началась стагнация (БАМ), явления, о которых ниже (БУМ, БОМ).

2. Сведения о превентивной промышленности не поддаются правдоуловительной селекции хроногаубиц из-за огромного разброса исходных данных. Согласно люзанским источникам, такой промышленности не существует вообще; поэтому нижеследующая часть шихты основана на курдьяндских данных с учетом люзанских опровержений, и вместо модульных маркировок (БАМ, БОМ, БУМ) даются указания на источники (КУР, ЛЮЗ).

Антишустринная оппозиция выступает за ренатуризацию среды обитания под лозунгом «благотельного разрушения». Люзанские власти ее не преследуют (ЛЮЗ), преследуют вплоть до применения тайных пыток, а также постепенной замены нелояльных обывателей лояльными небывателями, или лоянами (тайный проект тотального протезирования общества, т.н. лоянизации) (КУР). Это злопахательские измышления, начисто лишённые оснований (ЛЮЗ). О действительном отношении народных масс к ублажительной диктатуре свидетельствуют обиходные выражения: «заласкать до пены во рту», «так ублажить, что расхочется жить», «блаженно протянуть ноги», а о подвергнутом лоянизации говорят: «отдал Благу душу» (КУР). Указанные цитаты почерпнуты из фантастической беллетристики (ЛЮЗ).

Потребительство и вещизм оглуляли общество, однако вызов, который бросает ему незаурядная разумность среды обитания, благоприятствовал развитию интеллекта и распространению просвещения в массах (ЛЮЗ). Преимущественно, однако, в области тайных убийств и наиболее подходящих для этого способов (КУР), Мнимая подрывная деятельность, а также маниакальная синтуромахия — всего лишь часть новой системы социального просвещения. Этифицированная среда не только поглощает антиобщественные поступки, но и действует с профилактическим упреждением, благодаря неусыпной заботе о гражданах наяву, а также всеобщей соноскопии (спектроскопия снов для устранения кошмаров и бредовых видений) (ЛЮЗ). Речь идет о неустанной слежке за гражданами и кастрации духа даже во сне (КУР). Вместо того чтобы лечить садистов, люзанское МВД (Министерство Восхищенческих Дел) расширяет сеть комбинатов битьевого обслуживания и факсифамильных мастерских (КУР). Мотивы убийств кардинально изменились. Личность жертвы не имеет значения, главное для убийцы — преодолеть сопротивление

ние уморов (шустрирных усилителей морали). См.: «Любительский угробительский спорт в Люзании». Гос. Науч. Изд-во «Кукурдль», 56/6/9; кроме того: «Этикосфера как выращивание дегенератов», Собр. соч. Предс. Старн., т.V, с.77 и след. Также: внутриклубная люзанская брошюра «Что можно сделать с БОБИКом?» (БОБИК — Благодарный Объект для Измывательств и Кровопускаяний). В преступном люзанском жаргоне полно синонимов БОБИКА: бетюк, оплевайло, слезняк, пищаль, разорвань, мрун, помиранец и др. («Словарь идиом синтуры», Акад. Наук Курд., Пцим, 67/6) (КУР). Люзанское опровержение вышесказанного: «Кампания клеветы и инсинуации («Acta Synturalis Lusaniae», т.II 67/43ф).

Граждан пытаются отвлечь от преступных намерений миражами неслыханных наслаждений; этой цели служат зверелища — зрелища для озверевших зрителей (КУР). Речь идет о разрядке эмоций болельщиков телекинетического футбола (ЛЮЗ). Главные социальные недуги ВПЛ — размозжизм, выпрыгунство, впиянство, семейственный погребизм и самоедский комплекс.

I) Размозжизм — это паническое бегство из городов в поисках неошустренных территорий (КУР). Это хождение по грибы (ЛЮЗ). Убегающая толпа сокрушает все на своем пути, а так как ошустренную недвижимость голыми руками не возьмешь, сплошь и рядом доходит до перелома затылочной кости, ибо стройматериалы, даже этифицированные, сохраняют инерцию массы.

II) Индивидуальной реакцией на облагораживание среды является выпрыгунство. Под предлогом любования красивыми видами выпрыгунцы пытаются перехитрить высоко расположенные балконы, оконные проемы и т.п. (КУР). В Курдландии в семеро больше самоубийств (ЛЮЗ).

III) Другие симптомы все той же реакции характерны для ухватав, впияниц и охлофилов (толполюбов), а также захребетников. Они пробуют укрыться от синтуры за чужими телами. Охлофилы ищут давки в толпе, а хвататы и впияницы впиваются в первого встречного (так называемое конвульсивное впиянство). Охлофилы отличаются от захребетников тем, что первые действуют в состоянии помрачения и кататонии, поэтому их причисляют к психически ненормальным, а вторые составляют религиозную секту и считают впиянство ритуальным актом подлинной, ненавязанной любви к ближнему.

IV) Семейственный погребизм состоит в выкапывании, чаще всего отцом, ямы достаточно глубокой, чтобы добраться до неошустренного культурного слоя, после чего все семейство поселяется в нем навсегда.

V) Свое крайнее выражение антисинтуральные убеждения находят в затаенном порционном самоубийстве. Обычно оно начинается с невинного на первый взгляд обгрызания ногтей.

Кроме того, на территории НШЛ действуют индисты (индифферентисты); тем все равно, что бы ни делать, лишь бы назло синтуре. Они охотятся за намеченными заранее жертвами, например, за матерями высших государственных служащих, отговаривают учащуюся

молодежь от пользования благопроводом, усердно загрязняют среду обитания, портят личные выборокиберы калек и старцев и вообще очерняют, подрывают и подстрекают. МВД, будучи не в силах справиться с ними, поручило Министерству Легкой Промышленности вшивать в нательное белье подозреваемых особые датчики с электроукальвателями; восприняв подрывные намерения носителя белья, они индуцируют тяжелые приступы ишиаса (т.н. болепрофилактика).

Ее неэффективность привела к чудовищному разрастанию люзанского законотворчества (КУР). Тот, кому удастся, перехитрив электроукальватели, телохранители, уморы, душеумягчители и т.д., вторично совершить преступление, по закону должен быть обезмозжен и превращен в пожизненно-посмертного истязанца посредством вечного нейропрепарирования. Выставленный к позорному электростолбу истязанец, а точнее — нейропрепарат такового, издает кошмарные вопли; эти вопли транслируются через мегафоны, к которым подключены нервные окончания его экс-гортани. Люзанская наука прилагает немало усилий, чтобы максимально использовать пропускную способность болевых волокон (КУР). Указанные вопли доносятся из молодежных дискотек; все остальное — гнусные вымыслы враждебной курдляннской пропаганды, не стесняющейся в средствах (ЛЮЗ)».

Было уже далеко за полночь, когда я встал из-за стола, прервав чтение, — голова у меня шла кругом. Курдлянские прогнозы о безлюдной гражданской войне шустров с антишустрами, или синтуры с антисинтурой, перемешались в ней с мрачными люзанскими разоблачениями градозавров как *путешествующих застенков* (ПУЗАСТОВ). Пролюбки (протезы любви к ближнему), этификация среды и ее антимудростная мерзификация, фугадостные снаряды, сексоубежища, дезэротизаторы, детеррогентные, или противотеррорные, препараты, матоиды, противобратья, тещеловки, ужокошники, замордоны — тысячи загадочных слов кружили в моем несчастном мозгу бездонным Мальстромом. Я стоял у окна и с шестнадцатого этажа смотрел на спящую безмятежно Женеву, угнетаемый неуверенностью: удастся ли мне доискаться правды о планете, с которой я так простодушно и так опрометчиво разделался когда-то в своих «Дневниках»? Едва лишь какой-нибудь БАМ, МОСГ или МНЯМ называл амуретки любовными таблетками, как КУР или БОМ заявляли, что это модель табуреток. Я не узнал даже, сколько у энциан полов — один, два или больше; на этот счет тоже имелось множество несогласуемых точек зрения. Вдобавок мне не давала покоя мысль, каким идиотом я себя выставил, приняв орбитальный луна-парк за планету, а веселые забавы и развлечения — за

грозные события, связанные со Sporадическим Метеоритным Градом. По крайней мере, теперь мне было понятно, почему лишь меня так перепугал снег, который туземцев нимало не беспокоил: я вел себя как дикарь в театральной ложе, который умоляет мавра остерегаться Яго и, Бога ради, не душишь Дездемону. При этой мысли кровь бросилась мне в лицо. Подобный позор должен быть смыт, чего бы это ни стоило. Я поклялся, что не успокоюсь, пока не доберусь до оригинальных источников, не замутненных бездумной и якобы беспристрастной работой компьютеров. Я уже знал, что это будет нелегко, потому что доступ в архивы Тельца мог дать мне только некий доктор Штрюмпfli, тайный советник МИДа, по слухам, человек неприступный, фанатик инструкций и бездушный формалист, словом, настоящий швейцарец. Профессор Гнусс сделал для меня все, что мог. Он добился моей встречи со Штрюмпfli назавтра, с глазу на глаз; все остальное, то есть преодоление бюрократических барьеров, было уже моим делом. Тяжко вздохнув, я попробовал вытряхнуть из термоса последние капли кофе, но обнаружил лишь немного гущи на самом дне. Не знаю почему, это показалось мне предвестием поражения, ожидающего меня в кабинете советника. Сумрачным взглядом окинул я комнату, принял ментоловую таблетку — меня тошнило, то ли от съеденного за обедом *cordon bleu*^{*}, то ли от шихты, — и отправился спать.

Штрюмпfli принял меня холодно. Дипломат такого ранга — действительный тайный советник, — разумеется, в совершенстве владеет искусством спроваживать посетителей, и я ничего не добился бы, если бы не счастливая случайность. Чтобы сплавить меня, ему пришлось на меня посмотреть, а я посмотрел на него — и мы узнали друг друга, не мгновенно, ведь мы ни разу в жизни не виделись, но постепенно, все внимательнее присматриваясь один к другому; я узнал его сначала по галстуку, вернее, по способу завязывать галстук, а он меня уж не знаю толком как; мы почти одновременно кашляли, потом улыбнулись с некоторым смущением — сомневаться не приходилось. «Да это он!» — подумал я, и то же самое, должно быть, промелькнуло у него в голове. Он помедлил, подал мне руку через письменный стол, но в такой ситуации этого было недостаточно; какую-то долю секунды он вслушивался в себя — броситься мне на шею он не мог, это было бы чересчур, поэтому, ведомый чутьем дипломата, он поднялся из-за стола, дружески взял меня под руку и повел в угол кабинета,

* Котлета, фаршированная зеленью (фр.).

к большим кожаным креслам. Обедать мы пошли вместе, потом советник пригласил меня к себе, и распрощались мы около полуночи. Отчего бы все это? Да оттого, что у нас общая приходящая прислуга. Не какая-нибудь автостряпка, но настоящая, живая хлопотливая, которая буквально не закрывает рта, и я без преувеличения могу сказать, что мы с советником знаем друг друга так, словно съели вместе целую бочку соли. Считая себя особой тактичной, она ни разу не назвала его по имени, всегда говорила просто «советник», а уж как ему обо мне — не знаю, не спрашивал, эта было бы неудобно; и все же наше знакомство, во всяком случае поначалу, требовало обоюдной тактичности, причем особая ответственность лежала на мне, ведь мы встречались по большей части в его квартире, и мне приходилось следить за собой; малейший взгляд на комодик, на коврик у шезлонга, взгляд, совершенно невинный для постороннего, получал особенное значение, становился намеком; разве не знал я, что хранится в этом комодике, что вытряхивают каждый понедельник утром из этого коврика... Поэтому наша близость находилась все время под угрозой, и сперва я не знал, куда девать глаза, я даже подумывал, не приходиться ли к нему в темных очках, но это был бы faux pas, так что я пригласил его на чашку кофе к себе, но он не очень спешил нанести мне ответный визит. Поразмыслив, я пришел к выводу, что дело тут было не в материалах, имевшихся у него (хотя доступ к тайнам архива находился не в единоличной его компетенции, улаживание формальностей он взял на себя), — нет, скорее, он как бы устраивал мне испытание, ведь у меня уже ему пришлось бы все время быть начеку. Наша общая прислуга незримо присутствовала на этих встречах, я прекрасно знал, как она прокомментирует назавтра состояние мини-бара, пепельниц: мы оба жили как старые холостяки, а таким ни одна прислуга ничего не простит и заглазно спуску не даст; причем я знал, что он знает, что я знаю, что она скажет; вот почему даже на минном поле я не вел бы себя так осторожно, как в квартире советника; каждая пролитая на скатерть капля отзывалась в ушах у меня ее комментарием, а в выражениях она не стеснялась, и все же приходилось ей уступать — где взять другую? Она не раз критически излагала мне поведение советника в ванной, особенно что касалось мыльниц, ну, и насчет засоренной раковины и этих маленьких полотенец, причем, если ее слушали не слишком внимательно, могла просто уйти и не вернуться; и не дай Бог забыть о ее именинах, у меня-то она была для этого слишком недолго, но у советника — не первый год, с презентами

колоссальные трудности, ведь она не пила, не курила, никаких сладостей, что вы, сахарная болезнь будто бы уже начинается, в сумочке — целая пачка анализов мочи, приходилось читать или хотя бы делать вид, что читаешь, и нельзя было отделаться общими фразами; следы белка — это вам не пустяк, — а потом опять о советнике; косметичку, а может, сумочку — не помню точно — она взяла, скорее всего, чтобы покапризничать перед мной: такие цвета, это в ее-то годы, уж не думаю ли я, что она еще красится? Я чувствовал себя как на сцене. Перед каждым из нас она играла спектакль о другом, настоящий театр воображения; а как она торопилась закончить уборку у меня, чтобы застать его дома! Она не выносила пустых комнат, ей нужен был слушатель; нам приходилось нелегко, но мы оба старались, каждый у себя, а что делать? Прислугу в наше время просто рвут на части, а уж эта словно сошла с подмостков, должно быть, она родилась актрисой, да только не повезло ей: никто у нее этого призвания не заметил, а сама она, слава Богу, не догадалась. «*Homo sum et humani nihil a me alienum puto*». Доброжелательность доброжелательностью, но я голову даю на отсечение: советник принял во мне такое участие, поскольку уже тогда рассчитывал, что, когда я уеду (он прочитал это решение у меня на лице раньше, чем оно окончательно вызрело у меня в голове), он будет обладать ею один — понятное, хотя, пожалуй, обманчивое желание... Он жаждал исключительности, преображения кочующей прислуги в оседлую и знал, что, если бы меня упекли за решетку (я по-братски исповедался перед ним относительно Кюссмиха, замка, порошка для младенцев и даже ложечек), он окончательно потерял бы покой, потому что она, перестав у меня убирать, начала бы меня идеализировать, ставить ему в пример, чтобы он почувствовал свою неполноценность. Не подружиться мы не могли, иного выхода не было — уж лучше, если твои интимные дела знает кто-нибудь близкий, чем человек посторонний или даже неприязненно настроенный; поистине, у нас друг от друга не было тайн, ни один психоаналитик не проникает в такие глубины души, как прислуга (какие мятые нынче простыни, и что вам такое приснилось?); словом, мы играли открытыми картами, хотя всячески давали понять, что, мол, ничего подобного. Несколько раз советник приглашал, кроме меня, начальника Управления Тельца, двух экспертов и архивиста, так что в его квартире, за кофе с печеньем, чуть ли не вся коллегия держала совет, как бы устроить мне доступ ко всему абсолютно, без изъятий; их разговор временами был еще загадочнее, чем шихта.

Труднее всего им было решить, в качестве кого, собственно, я могу проникнуть в архив. Первооткрыватель планеты, терпеливо втолковывал мне магистр Швигерли из отдела кадров, — титул, который звучит внушительно только в школьных пособиях, а для министерства это пустой звук. Ведь я не эксперт, с которым Управление наблюдения за Тельцом заключило контракт, не член совета при министре и даже не внештатный специалист. Я — частное лицо, и в качестве такового делать мне в МИДе нечего, с тем же успехом мог бы требовать допуска к секретной документации ночной сторож. Секретность — это не только печать на документе, это еще знак того, какой ход — или противоход — будет дан делу, ибо нередко движение дела по инстанциям означает его погребение; поэтому они напрягали ум за чашкой черного кофе, чтобы найти если не *предписание*, то хотя бы предлог, который раскрыл бы предо мной двери пещеры Али-Бабы. Вскоре я понял, что все до единого служащие МИДа, как высшие, так и низшие, не имели ни об Энци, ни об астронавтике никакого понятия: это просто не входило в их должностные обязанности, и мне приходилось слышать, как они говорили «говядина» вместо «Телец». В конце концов Штрюмпfli отказался от дальнейших консультаций, велел мне сидеть дома и ждать звонка, а через три дня торжественно возвестил, что победа за нами. Непременное условие — приходиться в главное здание ночью и уходить до наступления утра — я, разумеется, принял без возражений; я уже настолько понимал всю деликатность этого дела, что мне оставалось только благодарить. Итак, обратив ночь в день, я мог наконец во внеслужебное время проникнуть в тайны другого мира.

Я купил самый большой, какой только удалось найти, термос для кофе, сумку с несколькими отделениями, запихнул туда печенье, баночку мармелада, булочки, плоскую фляжку «Мартеля», которым поят раненых на поле славы, толстую тетрадь и в самый последний момент — забытую было мною, прямо-таки символическую и все же, без всяких шуток, по-настоящему необходимую мне — ложечку.

Источники

Итак, Штрюмпfli, получив неофициальное согласие начальника Управления Тельца, ночью, когда здание опустело, ввел меня в энцианский архив и в первом библиотечном зале самолично разъяснил мне порядок пользования собранным там материалом.

Данные о ненаселенных планетах, сказал мне советник, принимают на хранение довольно просто, разбрасывая их по трем разрядам. Сначала идут отчеты первооткрывателей, понятно, ошибочные, потом результаты исследовательских экспедиций — тут уже дерево ошибок начинает ветвиться, поскольку не случилось еще, чтобы специалисты были согласны друг с другом, и появляются особые мнения, возражения и опровержения, а напоследок — заключения земных экспертов, то есть людей, нога которых не ступала на космический корабль, не говоря уж об отдаленных планетах, поэтому посевшие в боях космонавты-исследователи подают на их вердикты кассационные жалобы, апелляции и рекламации, что влечет за собой разработку планов новых экспедиций, которые на половине или в конце пути по инстанциям торпедируются бухгалтерией, поскольку, по ее мнению, гораздо дешевле примирительные комиссии и арбитраж на месте; на этом споры обычно кончаются, разве что какая-нибудь очень влиятельная и честолюбивая особа, пожелает увековечить себя, связав свое имя с новым небесным телом, и пробьет чрезвычайную субсидию; впрочем, это уже не заботит МИД, все равно ведь никаких отношений установить нельзя, потому что не с кем, и документы отправляют в архив с пометкой начальника соответствующего отдела: «*Nolo Contendere*»*.

Хуже с населенными планетами. Астронавтические материки очень скоро смешиваются здесь с политическими, потому что любая цивилизация создает по меньшей мере столько версий своей истории, сколько в ней государств; версии эти противоречивы и даже диаметрально противоположны, но МИД не может открыто отрицать ни одну из них, ведь откуда недалеко и до конфликта *ante rem***; поэтому все версии принимаются без рассмотрения и лишь потом начинают думать, что с этими фантами делать. В служебной практике звезды делятся на те, что удаляются от нашего Солнца, и те, что к нам приближаются; с первыми хлопот никаких — о каком дипломатическом сближении может идти речь при постоянно возрастающих астрономических расстояниях? Внимание мидовцев сосредоточено на вторых, и именно к этой категории относятся планетарные системы Тельца. В МИДе принято делить материалы на официальные и правдивые или на открытые и секретные, ведь политический курс надлежит выбирать в соответствии с тем, как там *на самом деле*, а кон-

* Здесь: «Не буду заниматься» (*лат.*).

** Прежде чем (что-либо успело произойти) (*лат.*).

кретные дипломатические шаги — в соответствии с тем, что *они* говорят об этом.

Если на планете восемнадцать государств (а это в космическом масштабе — семечки), только очень наивный человек ожидал бы найти там восемнадцать версий ее истории; кроме трудов официальных источников имеются ведь работы историков, которых едва терпят, а иногда — казнят и реабилитируют *post mortem**, а также деесписателей-критиканов и разоблачителей, которые, к сожалению, нередко поддаются духовному или физическому внушению и меняют свои взгляды в следующих изданиях, потому что у них, скажем, жена и дети (если это допускается тамошней биологией; впрочем, инстинкт самосохранения присущ любому разумному существу, так что не стоит вдаваться в такие тонкости галактической историографии). На эту грудку вариантов ложатся центнеры хроник, живописующих судьбы интересующего нас государства глазами соседей и их историков (как известно, Первую мировую войну китайцы назвали гражданской войной европейцев), а деятельность МИДа превращается в блуждание по лабиринту, где на каждом шагу подстерегают засады и таятся загадки; и, словно этого мало, то и дело поступают отчеты очередных экспедиций, а когда *туда* вместе с дипломатическими отправляются торговые миссии, которых больше заботит товарооборот, чем историческая истина, опять начинаются согласования и уточнения. Когда же все наконец как-то удастся наладить, там, на месте, вдруг происходит исторический перелом, и опять начинай все сначала; монументы боготворимых правителей летят с пьедесталов, преступные демоны и чудовища оказываются национальными героями и вождями, сочинения, запечатлевшие на вечные времена заслуги монархов и полиархов, устаревают в одну минуту — и премило выглядел бы земной дипломат, который при вручении верительных грамот перепутал этапы истории.

Ошарашенный этими объяснениями, я не мог удержаться от вопроса, в самом ли деле Земля уже установила отношения с такой уймой планет, что МИД сгибается под тяжестью выпавших на его долю задач, — ведь в Институте мне говорили, что их деятельность носит пока тренировочный характер. Штрюмпfli посмотрел на меня, как человек, которому показалось, что он ослышался, и, не торопясь, чтобы я лучше понял, растолковал мне неуместность такой постановки вопроса. Министерство Инопланетных Дел работает на основа-

* Посмертно (*лат.*).

нии имеющихся у него документов, и только. Лишь тот, кто не имеет никакого понятия о делопроизводстве, может увидеть в этом что-то необычайное, несообразное или даже не-серьезное. Ведь вся политическая история Земли представляет собой цепь ошибок и их последствий; с прадавних времен государства ставили не на ту карту, делали то, что *не* соответствовало их истинным интересам; так что политика состояла прежде всего в ошибочной оценке противника, а еще чаще — в превращении потенциальных союзников во врагов из-за недоразумений и недоумия. Как победы, так и разгромы происходили из ложных прогнозов: недаром у побежденных дела обычно шли лучше, чем у победителей, — если не сразу, то чуть погодя. Политика имеет дело с будущими событиями, которые точно предвидеть нельзя, а опытный политик — это тот, кто прекрасно об этом знает, но гнет свое из патриотизма, чувства долга и осознания исторической необходимости. Поэтому Министерство Инопланетных Дел не открывает Америк, а действует как обычные МИДы, с той лишь разницей, что границы неизбежных при дипломатической деятельности ошибок раздвинулись астрономически. Неужели мне неизвестно, что при принятии решений, определивших исход мировых войн, начисто игнорировались донесения разведки и иные совершенно достоверные данные, из которых вытекало как дважды два, что войну объявлять не следует? Поэтому так ли уж важно, настоящие документы у нас в руках или всего лишь фантомы? Каким, собственно, образом эта разница повлияла бы на течение министерских дел?

Прочитав добродушным, но категорическим тоном это наставление, Штрюмпfli посоветовал мне не касаться главного каталога — в его сорока тысячах карточек легко заблудиться.

Он вручил мне листок с перечнем важнейших трудов, который любезно составил магистр Брабандер, похлопал меня по плечу, улыбнулся и пошел спать, а я остался наедине с библиотечным лабиринтом.

Получив в качества ариадниной нити этот перечень, я какое-то время колебался, не зная, что выбрать — термос или фляжку с коньяком, наконец глотнул коньяку, чтобы взбодриться, а потом приступил к работе, буквально засучив рукава: самые старые отчеты покрывал толстый слой пыли, а я не хотел без надобности пачкать рубашку; даже здесь надо мною, казалось, витал ворчливый дух приходящей прислуги. Перечень советовал мне начать со «Всеобщей истории» Мсимса Питтиликвастра, люзанского предысторика, но я из

чистого любопытства взял самую старую, потемневшую папку. Папка была тонкая. На грязноватом листочке желтели криво приклеенные ленты телеграмм, а может быть, телексов; низко склонив голову над этим почтенным документом, я не без труда прочитал выцветший текст:

**ТЕЛЕЦ ГАММА ПЛАНЕТ ДО ЧЕРТА НО СЛАВА БОГУ
БЕЗЛЮДНЫХ В ПЕРИГЕЛИИ БОЛОТИСТЫЕ В АФЕЛИИ
ОБЛЕДЕНЕЛЫЕ ВСЕ ЭТО ПАСКУДНАЯ ЭНТРОПИЯ И
НИЧЕГО БОЛЬШЕ ТОЧКА ЭКИПАЖ СЫТ ПО ГОРЛО
БЫСТРЕНЬКО ОБЕЖИМ ЕЩЕ ОДИН ПАРСЕК И К МА-
МОЧКЕ ТОЧКА ЗА ПЕРВОГО ЯНКИ ПАС И ФИЛЕРГУС
ТОЧКА ПО ВОЗВРАЩЕНИИ РАССЧИТАЕМСЯ С ВЕР-
ФЬЮ ПРИВЕТ ТОЧКА КОНЕЦ**

Текст был крест-накрест перечеркнут красным фломастером. Ниже виднелась сделанная от руки надпись: «Шестерка населена, предлагаю оставить без премии этих халтурщиков» — и неразборчивая подпись.

Я еще раз взглянул на архаический астротелекс, и словно пелена упала с моих глаз: я понял, что название ЭНТЕРОПИЯ возникло просто из «паскудной энтропии», перевернутой каким-то делопроизводителем. Там имелся еще один листок, вернее, бланк отчета о командировке вместе с припиленным к нему гостиничным счетом, на котором синел штамп «В ОПЛАТЕ ОТКАЗАТЬ». На обороте бланка кто-то небрежно набросал: «Через курьера с иммунитетом. Спутник шестерки — планетарный камуфляж, скорее всего, Развлекатель-Перехватчик Чужеземцев, пустотельный, надуваемый в случае необходимости. Рекомендуются осторожность, так как часть туземцев считает его провокацией из-за макетов КУРДЛЕЙ. Подробности см. в моем меморандуме, шифр ТЗГ/56 Эпс. Делаю, что могу. Не протоколировать. Не публиковать. Не запрашивать. Сжечь. Пепел рассеять по акту». Далее, несомненно, следовала подпись, залепленная оранжевой наклейкой с надпечаткой: «СОХРАНИТЬ В ТАЙНЕ».

Я попрощался с этим старинным документом не без грусти, но и со вздохом облегчения: оказывается, я не свалил дурака, приняв обычный летающий луна-парк за планету, раз это был специальный развлекатель-перехватчик, и мне пришлось в голову, что здесь я узнаю наконец тайну сепулек, которая мучила меня долгие годы; однако, окинув взором ряды закрытых книжных шкафов (советник, впрочем, оставил мне большую связку ключей), я понял, что сделать это будет не-

просто. Следующую папку тоже покрывал толстый слой пыли. Какие-то истории болезней из психиатрической лечебницы. Я тут же положил ее обратно на полку. Странно, как она здесь очутилась? Пораженный внезапной догадкой, я вытащил из папки связку пожелтевших бумаг и стоя начал их перелистывать. Я обнаружил медицинское заключение, удостоверявшее у экипажа «Рамфорникуса» коллективный галлюциногенный психоз, синдром прогрессирующего слабоумия и повышенную агрессивность, которая выражалась в активном сопротивлении терапевтам и младшему медицинскому персоналу. Эта болезнь признавалась профессиональной, и пациентам предлагалось назначить пенсию по инвалидности. «Рамфорникус» при помощи двух спускаемых аппаратов должен был исследовать сейсмичное плоскогорье северного полушария Эндии, а также обширные подмокшие территории зоны умеренного климата. Бредовые видения обеих исследовательских групп были равно навязчивы, но совершенно различны по содержанию. Члены болотной экспедиции утверждали, будто жители планеты целые дни проводят по шею в грязи, а вечерами выбираются на относительно сухие места и, тихонько напевая, залазят друг на дружку, как циркачи, занимающиеся партерной акробатикой: они, образуют живые колонны, по которым карабкаются все новые туземцы; так возникает несколько толстых ног, и карабканье это продолжается до тех пор, пока, сплетая руки и ноги, они не слепят что-то вроде слона или мамонта с обвисшим брюхом. Обсидинившись таким манером, они с песнею на устах удаляются в неизвестном направлении. Попытки расспросить туземцев, отставших по дороге, не увенчались успехом, несмотря на применение самых мощных автопереводилок: спрошенные тут же ныряли в грязь и из их фрагментарных восклицаний можно было понять лишь, что огромное существо, которое они создавали посредством повального взаимоцепляния, зовется Курдлищем или Курдельником, а может, Курдлятиной. Не исключено, однако, что они сами себя называют курдельниками или курдленцами. Психопатологические симптомы членов северной группы были гораздо разнообразнее. Одни разведчики будто бы попали в громадный комплекс строений без окон и дверей и обнаружили, что нужно с разбегу броситься на стену, чтобы та пропустила их внутрь. Не успели они разойтись в поисках туземцев, как были атакованы ватой — или ватином, — а также какими-то сметанными на скорую руку штуками одежды наподобие ватников, которые, пользуясь численным превосходством, вытеснили их на

крышу, откуда они спаслись тактическим отступлением на спускаемом аппарате. Другие утверждали, что им повезло больше. В большом парке, полном лениво прогуливающих деревьев, они наткнулись на группу маленьких туземцев; двое или трое туземцев побольше, увидев их, убежали. Зато малыши, которых разведчики сочли местной детворой, не обнаруживая ни малейшего страха или удивления, пытались завязать разговор с чужаками, но из этого ничего не вышло — вместо осмысленной речи автопереводилки издавали какое-то бляение. Тем не менее мнимые дети охотно согласились сфотографироваться вместе с людьми и на прощанье одарили их разными загадочными предметами. Разведчикам пришлось возвратиться, когда болотная экспедиция передала сигналы тревоги. Снимки не получились: как выяснилось на борту «Рамфорникуса», фотоаппараты носили следы повреждений, типичных для высокотемпературных воздействий. Оптика объективов полопалась, а фотопленка расплавилась. На вопрос, что случилось с подарками, которые они будто бы получили, разведчики ответили, что в контейнерах, где находились подарки, не оказалось ничего, кроме крохотной горстки серой пыли. Ни один из обследованных не ощущал себя психически больным. Диагноз был поставлен не на авось. Было экспериментально доказано, что фотоаппараты подверглись сильному нагреванию, вероятно, в духовке корабельной кухни, хотя больные не желали в этом признаться. Спектроскопический и хроматографический анализ пыли, в которую будто бы обратились подарки, показал наличие элементов, встречающихся во всякого рода соре и мусоре. Хотя столь тщательные анализы доказывали лживость их утверждений, больные упорно настаивали на том, что столкнулись с жителями планеты, которые, будучи издали человекоподобны, вблизи напоминают скорее помесь страуса или эму с вылечившимся от ожирения пингвином. Существа эти могут ходить, как люди, но могут также передвигаться скачками, держа ноги вместе, как воробьи или дети, играющие в «классы». Они не способны усесться по-человечески, поскольку колени у них сгибаются назад, как у птиц, и отдыхают они, сев на колени. Одеваются очень пестро, а на лице у них какие-то маски, потому что они снимаются и тогда можно увидеть довольно-таки неприятную физиономию с широким лбом, широко расставленными, совершенно круглыми глазами, а там, где у нас рот и нос, у них имеется выпуклость с отверстиями, напоминающими ноздри. После изоляции в лечебнице агрессивность больных значительно возросла. Далее сле-

давал список больничного инвентаря, приведенного в негодность в приступе бешенства.

Специально созданная комиссия рассмотрела сорок восемь различных гипотез и пришла к выводу, что внезапный массовый психоз мог быть намеренно индуцирован чужой цивилизацией, как способ защиты от нежелательного вторжения. Поэтому на посещение планеты наложили запрет, и все остальные материалы получены по радиосвязи, с обычным запаздыванием во времени. Дойдя до этого места отчета, я даже обрадовался, что все дальнейшие сведения об Энциии и энцианах исходят прямо от них, а значит, не искажены человеческими предрассудками. Тем не менее работа предстояла длительная и тяжелая: энциане, проявив незаурядный космический альтруизм, одарили нас сотнями своих сочинений, трактатов, учебников, газет и даже листовок.

Я счел за лучшее начать с учебников истории, и притом самых старых, как бы следуя естественным путем социального, а равно интеллектуального развития неизвестных существ. Местом моих борений с этими фолиантами был стол, ярко освещенный низко свисавшей лампой. Имея слева от себя термос, а справа печенье, я взялся за первый трактат, на всякий случай поставив в выдвинутый ящик стола фляжку с открученной пробкой так, чтобы можно было взять ее не глядя, не отрывая глаз от страниц с убогим текстом. В огромном зале было тихо, словно в пещере. Кроме шелеста перелиставаемых страниц, время от времени раздавались мои тихие вздохи, чем дальше, тем больше напоминавшие сдерживаемые стоны. За нелегкое взялся я дело! По привычке я просмотрел сначала библиографию, помещенную в конце сочинения; имена ученых, цитировавшихся энцианским историком, заставляли задуматься: Триррцварракакс, Тррлитриплиррлипитт, Кьюкьюксикс, Кворрсттьёрркёрр, Квидттердудук и тому подобные. Не следует делать преждевременных выводов, сказал я себе и взглянул на титульный лист.

Это была «История Энциии» пера знаменитого, как утверждалось, курддяндского историка Квакерли. Советник рекомендовал мне ее как неплохое введение в предмет, но при виде имени автора, явно перекликающегося со швейцарскими именами, у меня мелькнула безумная мысль, что Штрюмпfli именно поэтому и посоветовал мне ее (очевидный нонсенс, свидетельствующий лишь о моем угнетенном состоянии). По некотором размышлении, я все же последовал этому совету, в сущности дельному. Хотя и непросто было решить, какая часть шихты непонятнее, курддяндская или

люзанская, что-то подсказывало мне, что при всей своей необычности, прямо-таки уникальности, культура градозавров — обитаемых живых существ — ближе к Природе, не столь искусственна, как цивилизация, наделившая разумом даже камни и почву. Природа, в качестве универсальной космической постоянной, должна была стать связующим звеном и введением в чужую историю. Не подумайте, однако, будто я с жадностью набросился на этот толстенный том, глотая страницу за страницей, — нет, я стоял, как нерешительный купальщик над прорубью, пока наконец, набрав в легкие побольше воздуха, не погрузился в чтение.

Зарождение жизни на Энции Квакерли описывал на ученый манер, но, в общем, вполне понятно. Жизнь, по его словам, всюду зарождается одинаково. Сперва океан неслыханно медленно скисает у берегов, превращаясь в киселеобразную хлюп, и тихие волны взбивают ее столетиями, а то и тысячелетиями, пока из этой жижи не вычленился чмокающий студень и после бесчисленных приключений не дочмокает туда, где его мягкость затвердеет в известковый каркас. Квакерли утверждал, что на разных планетах, в зависимости от местных условий, возникают различные высшие организмы, главные разновидности коих: кровососы, молокососы и клювоносы. Размножаются они тоже по-разному — потиранием, опылением, почкованием, а иногда, хотя и неслыханно редко, так называемым шпуктованием, до которого на Энции, планете вполне нормальной, дело, слава Богу, не дошло. Происходя от больших птиц-нелетов, энциане называют себя члаками; это слово некоторые энтропологи возводят к чавкающему звуку, обычному при передвижении по болотам, поскольку болота, бескрайние топи и трясины были здесь колыбелью жизни. Причиной тому местная география. Энция обращается вокруг своего солнца по сильно вытянутой орбите, и в афелии на ней воцаряется жуткий мороз. Своими обширными мелководьями океан подходит к кромке континента, у берегов болотистого, но в глубине, на сейсмически активном плоскогорье, усеянного вулканами. Исходящее от вулканов спасительное тепло периодически подсушивает болота. Однако кипящие гейзеры, непрерывные вулканические и серные извержения заставляли все живое держаться подальше от этого пекла. Поэтому жизнь приютилась как раз посерединке меж океанскими льдами и вулканами Тарактиды, в области Великого Грязеана. Именно там из протогадов вывелись гады, а из гадов — переползы и недоползы. Последние, как указывает их название, не доползли до более теплых участков суши и утонули,

зато переползы положили начало чавкам. Чавки развились в чапель, у которых ноги были коротковаты; чапли часто увязали в трясине и гибли с голоду. Из них произошли чмоки, чмыки и чмухи. Существовали еще чмушканчики, так сказать, слепая улочка эволюции: они оказались поделесповаты и вскоре вымерли. Затем развитие приостановилось на миллион лет. Размножаться в склизкой холодной трясине радости мало, и самцы чаще делали вид, будто занимаются своим делом, нежели действительно им занимались, прижимаясь к самкам больше для согрева. Тамошняя грязь чрезвычайно липкая, так что пары совсем перестали разъединяться. Нетрудно понять, что из пары получалась четверка, из четверки — восьмерка и так далее, пока очередные поколения, разрастаясь, не превратились в мокрух, мокрушников, мокровищ и, наконец, *мокрынычей*. Именно от мокрынычей произошел впоследствии курдль. Мокрынычи, правда, имели вполне приличные ноги — от шести до девяти метров в длину, но этого было мало, чтобы держать туловище над поверхностью трясины, поэтому от валяния и бултыхания в грязи хвост и брюхо у них вечно мокрые; чтобы помочь этой беде — ведь в болоте чертовски холодно, — мокрынычи начали повышать температуру своего тела, разумеется, не намеренно (эти твари необычайно тупы), а благодаря естественному отбору самых горячих особей. Но убыстрять обмен веществ до бесконечности они не могли, потому что просто сварились бы, как в кипятке, и очередные мутанты стали извергать из пасти газ, который от зубовного скрежета (или от щелканья зубами на холоде) загорался, как наши болотные газы на подмокших торфяниках. С этого момента мокрыныч, чтобы не простудиться, извергал огонь, который его изрядно подсушивал, а еще удобнее было сушиться двум мокрынычам, стоящим друг против друга; таковы были первые ростки альтруизма. Первые огнедышащие мокрынычи (то есть *горынычи*) не были и вполовину так велики, как их поздний потомок — курдль. Они-то и заменили праэнцианам Олимп, с которого Прометей украл огонь. В их легендах важную роль играет неустрашимый герой, именуемый Громадеем, или Громатеусом, который будто бы совершил то же, что и Прометей. Горынычи, удивившие в западню, использовались для отопления резиденций племенных вождей. Потухший горыныч зовется *сгорынычем*.

Но все это случилось миллионы лет спустя, во времена мифического царя Каррквиния. Между тем в стаде горынычей пасся обычно один гигант предводитель и несколько признающих его верховенство горынычиков; если он слишком на

них наседали, они сбивались в кучу и сообща давали отпор великану. Диалектика эволюции была такова: если мокрынычи чересчур размножались, то утапывали досуха значительные участки болота, а затем, расхаживая по твердому грунту, утапывали его намертво и, не находя пищи, мерли с голоду. Тогда болота опять брали верх, каменистая почва превращалась в трясины, буйно разрастались болотные мхи, и весь цикл повторялся сначала. Если же корм совсем иссякал, мокрынычи с голодухи начинали пожирать друг друга, поражая жертву извергаемым из пасти огнем; так они привыкли к жареному. Мокрушный каннибализм как раз и привел к возникновению курдлей, ибо пракурдль был просто мокрынычем, обожравшимся до неприличия. Но пракурдль, ввиду своего гигантизма, был мало пригоден к борьбе за существование. Особенно серьезные трудности он испытывал, пытаясь сообразить, где кончаться он сам и начинается нечто иное, пригодное для еды, поэтому самоедство, начиная с хвоста, было обычным явлением, о чем свидетельствуют палеонтологические раскопки; по сохранившимся остаткам скелетов видно, что пракурдль погибал, если слишком обжирался собой.

Потом мокрынычки поменьше, опасаясь большого мокрыныча, уже начинавшего курдлеть, стали нарочно подсовывать ему особей, которые вследствие длительного барахтанья в болотных лишайниках, таких, как рвотник торопливый, незабудка подташнивающая или отрыжница сильнодействующая, действовали на желудок как рвотное. Их называли мокрушниками, а подсовывание сопернику рвотных мокрушек известно под названием «мокрого дела». Опасность подстергала курдлей с двух сторон. Слишком большой самец-одиночка нечувствительно сам себя надгрызал на отдаленной периферии, а курдль слишком мелкий из-за своей дальнорукости мог вообще себя не заметить; полагая, что его нет, он переставал есть и подыхал. Как раз в этой точке эволюционное развитие курдлей пересеклось с социальной эволюцией энциан, что привело к поразительным, не имеющим прецедента в целой Галактике последствиям.

В своем эолите, то есть в каменном веке, праэнциане почитали курдлей как существ божественных, хотя и гнусных. Поэтому курдельная символика прочно вошла в их мифологический арсенал, в архаические легенды и сказания; отсюда же позднейшее наименование их государства — Курдлевство. Уже тогда курдлю случалось проглотить праэнцианина, и, чтобы избежать такой смерти, обитатели болот намазывали себя пастой, изготовленной из растений, которые они крали

у малышей-мокрушников, подсмотрев, в каких травах валяются эти твари, перед тем как предложат себя курдлю, дабы склонить его к каннибализму. Энцианина, проглоченного чудовищем и извергнутого наружу без какого-либо ущерба (так называемого живоглота), окружало всеобщее поклонение; приносимых в жертву стали намазывать пастой, так что курдль, приняв жертву, вскоре с неудовольствием ее возвращал. Но всегда ли было именно так, не вполне ясно. Некоторые авторы утверждают, что приносимые в жертву сами натирались отваром из тошнотворных трав, нелегально раздобытым у племенных шаманов, и это-де привело ко всеобщей деморализации, так как у некоторых племен возвращение курдлем жертвы считалось недобрým знаком. Но в других местностях живоглот сам был шаманом, а то и вождем, и отсюда пошел обычай требовать от кандидата в вожди отдать себя на съедение курдлю. Прохождение через курдля считалось актом ритуальной инициации. Тот, кто по малодушию не решался предложить себя курдлю, не мог рассчитывать на сколько-нибудь значительную должность в общине. Празнциане, жившие на загрязьях, уже тогда называли себя члаками. Их верования были довольно странными с нашей точки зрения. Наибольшее почтение оказывали курдлю, который сам себя пожирал, — дескать, наполняя себя самим собою, курдль, существо божественное, становится божеством в квадрате. Олимп члацкой древности был заселен очень тесно, ввиду разнообразия видов курдля и его судеб. Так, например, голодающий курдль становится будто бы все меньше и все злее; такого зловредного курдля именуют «кардлюка». Из кардлюк получают курдлипуты, и это они, а не соседи по ночам справляют нужду на задворках. А кукурдль — это курдль, который сожрал кардлюку и разозлился, но не уменьшился. Он подстерегает странников и задает им загадки, которые нельзя разгадать, ибо говорит он так неотчетливо, что понять его невозможно. В раннем средневековье слово «курдль» у члаков считалось священным и произносить его запрещалось; чудовища получали имена-заменители, например, Дёрдль, Брррдль, Мёрдль и т.п. В героических мифах повествуется о храбрецах, которым удалось вкурдлиться и выкурдлиться при помощи волшебства; отсюда даже возникла ересь, поменявшая все знаки прежней веры на противоположные и провозгласившая курдля олицетворением всяческого зла и мерзости, словом, чудовищем из адской бездны (входом в которую якобы были кратеры вулканов). Средневековье продолжалось на Энциии в восемь раз дольше, чем на

Земле, что имело серьезные последствия для развития члацкой культуры. Ее обмирщение началось во времена великого голода — и началось оно с облав на курдлей. Несколько воинов с дротиками и копьями (складными, чтобы не застряли у курдья в горле), спрятав за пазухой торбы и мешки с рвотным зельем, давали себя проглотить, а затем, намазавшись этим зельем, начинали покалывать внутренние органы зверя, пока наконец его не схватывали колики от тошноты. Иногда курдль извергал охотников раньше времени, иногда околевал вместе с ними, а временами им удавалось выбраться из мертвого курдья. Вид, существование которого оказалось под серьезной угрозой, проявил удивительные способности к мимикрии; например, были курдлии, которые зарастали травой и чуть ли даже не кустарником, в точности уподобляясь курганам, то есть могилам члацких предков, и тем самым обеспечивали себе неприкосновенность. Наука так и не установила, есть ли в этих легендах хоть крупница истины.

Мне, конечно, не следовало прерывать чтение «Истории Энциии» в версии курдьяндского историографа; но он поминутно обрушивался на люзанских историков, этих лгунов, фальсификаторов, демонов и чудовищ, — и мне не терпелось узнать, чем вызваны такие взрывы негодования. Отыскав несколько люзанских работ, я отодвинул фолиант в сторону, заложив его ложечкой вместо закладки. Сначала я открыл «Мистифицированную историю» — просто потому, что эта книга была самая тонкая. Написал ее люзанский курдлевед Арг Кварг Тралаксарг. От него я узнал, что никаких мокрынчей, горыннчей и горынчиков на Энциии никогда не было. Все это старинные байки, некритически усвоенные значительной частью курдьяндских ученых по причинам, не имеющим с наукой ничего общего. Не было также никаких огнедышащих животных. А были всего лишь блуждающие огни самовозгорающегося метана и отдельно от них — земноводные гады, а также подгрязевые вулканы, в обиходе называемые бульканами, которые, понятное дело, время от времени начинали извергаться и булькать, каковые явления в темных умах туземцев преобразились в ужасные схватки пирозавров. Впоследствии этот феномен пытались истолковать рационально (то есть в соответствии с теорией эволюции Цыпцырвина) ученые палетинской школы, субсидируемые курдьяндским Министерством Пропаганды, потому что Председатель заинтересован в поддержании репутации нациомобилизма также и за границами политохода.

Но этот автор полемизировал с другим, Квиксаком, поэ-

тому я обратился к его палеонтологическому труду и нашел там полный цикл превращений пищевой массы в желудке курдья (точнее, в желудках, потому что их у него чуть ли не шесть) — цикл Греспубли, а также таблицу со спектрами, полученными в ходе лабораторных экспериментов по курдельно-му самовозгоранию. Из экспериментов следовало, что курдль с пониженной кислотностью вырабатывает испарения, горящие ярким оранжевым пламенем, курдль с повышенной кислотностью, страдающий от изжоги, извергает сине-фиолетовое пламя, а если его в избытке накормить одеревенелыми растениями — дымит. Здесь же имелись фотографии тех, кто собственными глазами видел в курдьяндском питомнике Фиффари живого пракурдья; он спал, по уши погрузившись в грязь, так что наружу высывались только его ороговевшие ноздри, и время от времени тяжело вздыхал; потом начал икать, высунул голову над водой и заскрежетал зубами так, что искры посыпались. Тут же из пасти пошел огонь и раздался громоподобный стук как бы от двухтактного дизеля. Это будто бы свидетельствовало о том, что он не пробудился полностью, а извергал пламя во сне. Я, правда, предпочел бы увидеть снимок огнедышащего курдья вместо фотографий свидетелей, которые так близко его наблюдали, однако точность описания была, что ни говори, поразительной. Но что поделаешь, если Икс Квассерикс Гетелент, едва ли не главный на всей планете авторитет по части генетической и морфологической курдлистики, перечисляет убедительнейшие эксперименты, проведенные в его Институте и опровергающие тезис о существовании пирозавров. Хотя зубы курдлей нарочно шлифовали на шлифовальном станке, хотя в пищу им давали жженую пробку, а из растений — только стручковые, и даже пытались поить их горючими и летучими веществами, от эфира до бензина, ни одному из них не икнулось даже самым крошечным языком пламени, и Институт сгорел исключительно по недосмотру — в огне, разожженном озлобленными поборниками пирозаврической гипотезы. Гетелент, однако, не объясняет — скорее всего, из лояльности к коллегам, — чего они хотели достичь этим поджогом: уничтожить отрицательные результаты эксперимента или же прямо объявить поджигателем подопытного курдья. Мало того, тот же Гетелент ставит под вопрос само существование градозавров, утверждая, что в желудке курдья можно утонуть или скончаться на месте от вони, а в его мехах для нагнетания воздуха никто не выдержал бы и пяти минут; то же, что посещают люзанские туристы во время экскурсий, организуемых кур-

дляндскими туристическими агентствами, — всего лишь злонамеренно препарированный макет, потемкинская деревня, практически лишенная запаха, между тем каждый, кто стоял в десяти шагах хотя бы от тихонько мычащего курдля, знает, что на таком расстоянии его дыхание валит с ног и вызывает астматическую одышку. Так что, по мнению Гетелента, на планете не только никогда не было огнедышащих горынычей, но к тому же не было и нет никаких градозавров. На этом, заявляет он, заканчивается его миссия как преданного науке палеонтолога, а относительно всего остального, то есть почему курдляндцы так настаивают на существовании никогда не существовавших существ, должны высказаться вненаучные инстанции и органы. Похоже, выступление Гетелента вызвало политическую бурю как в Люзании, так и в Курдляндии, — в градозаврах началась кампания непарламентских интерpellаций и желудочных митингов протеста, в люзанском парламенте разгорелись дебаты, а затем последовал обмен дипломатическими нотами, исчерпанный заявлением люзанского пресс-атташе. Люзанское правительство, говорилось в нем, не подвергает сомнению факт заселения курдлей в его жилищно-бытовом аспекте, а ученые, которые высказываются об этом предмете, выступают исключительно как частные лица, не уполномоченные делать заявления программного характера и формулировать критерии объективной истины, коими должно руководствоваться при выработке внешнеполитического курса.

Порядочно замороженный столь принципиальной дискуссией, я снова взялся за «Историю Энции», опасаясь утратить путеводную нить и увязнуть в трясине взаимоисключающих точек зрения. Вторую часть своей монументальной монографии Квакерли посвящает разумным обитателям Энции. Он излагает суть дела довольно ясно, а именно: на планете существовал не один вид Разумных, а два — двоньцы и члаки, или половинники. От двоньцев произошли люзанцы, от члаков — курдляндцы. Те и другие восходят к крупным птицам-нелетам и потому весьма похожи в анатомическом отношении, зато совершенно различны в духовном. Двоньцы были известны своим любострастием, преступными склонностями и общей умственной недоразвитостью. Зато члаки развивались как по маслу. Предвидя, благодаря своей высокоразвитой астрономии, что через сотни лет естественный спутник Энции развалится, войдя в неустойчивую зону Роша, и планета окажется внутри метеоритного роя, прахлаки решили соорудить убежища. Однако же на загрызях (которые члаки населяли вместе с

тупоумными двоньцами, подкармливая их время от времени из врожденного милосердия) построить что-либо было невозможно; переселиться на север, на вулканическое плоскогорье, члаки, жившие охотой, не могли тоже, поскольку их промысловые звери, то есть курдли, жили в болотах, питаясь болотными водорослями, и на новом месте быстро вымерли бы. Поэтому члаки соорудили единственные в своем роде носы ковчеги — передвижные крепости (гуляй-башни) из огромных костей убитых на охоте курдлей, и только потому смогли уцелеть. Дело в том, что миллионы лет назад в зоне Роша распался другой спутник, поменьше, и обрушился на Энцию в виде каменных дождей еще до того, как возникли разумные приматы; это повлекло за собой мутации у курдлей и привело к появлению у них на спине мощных панцирей из отвердевшего кремнезема. Его выделяют так называемые противометеоритные железы, которые описал другой курдландский ученый, Кукарикку, археолог по специальности, основываясь на наскальных изображениях в пещерах вулканического плоскогорья.

Когда отряды члаков предприняли смелые экспедиции на плоскогорье, последние бронированные курдли уже вымирали. Как утверждает Кукарикку и еще один археолог, Квакерлак, члаки научились доить этих курдлей; выдоенная жидкость загустевала, ее выливали в формы и получали прекрасные силикатные кирпичи. (Правда, люзанские специалисты в один голос называют это чистой фантазией, подчеркивая, что указанные кирпичи датируются восьмым тысячелетием древней эры и получены путем обжига, а не дойки.)

Итак, когда повалили смеги, то есть спорадические метеоритные грады, состоявшие из обломков второго спутника Энции, члаки имели уже крепости-самоходки; крепости эти, кстати сказать, вовсе не были живыми курдлями, это — клветнический вымысел тупоголовых люзанцев (или двоньцев). Милосердные по натуре, праполовинники (члаки) позволяли люзанцам укрываться под своими гуляй-городами, и действительно, под брюшным дном каждого из них кочевала ватага бездомных двоньцев. (Здесь я должен пояснить, что эта двойная терминология: половинники — двоньцы, члаки — люзанцы — есть следствие существования в Курдландии двух археологических школ, каждая из которых располагает десятками неопровержимых аргументов в пользу одной лишь пары терминов; к сожалению, они не могут прийти к единому мнению.) Сии побродяги кормились объедками, которые кидали им из укрепленного курдья благородные члаки. Живя подаением и, в противоположность члацким гарнизонам, беспоря-

дочно шляясь под спасительной сенью курдья во болотных во
лузях, эти двоньцы получили имя лузанцев, или люзанцев. Но
и курдьяндцам жилось несладко: они трудились от зари до
зари, как на галерах, и сотни рук что было мочи налегали на
колоссальные кости, приводя в движение ноги своей крепости.
Этому каторжному труду положил конец Председатель, который
лично выдумал биоинженерию. Он указал своим меньшим бра-
тьям, как синтезировать, под его чутким руководством, ма-
леньких курдлят и как их кормить гормонами роста, что и
было выполнено с громадным успехом. Так возникли синте-
курдди, а из них — современные градозавры, превосходно
оборудованные, снабженные канализацией, удобные и опрят-
ные, — словом, ходячие города, которые сами заботятся о
своих жителях. Каждый может выходить на прогулку или по
иной нужде из родного курдья, а потом вернуться домой.
Правда, смеги давно прекратились, но что может быть лучше
роскошного башнемобиля, где зимой тепло, а летом не жарко?
До чего ж хорошо путешествовать в знакомом сызмальства ок-
ружении, познавая родимый край из конца в конец! А что ка-
сается пропусков и паспортов, без которых нельзя покинуть
курдья, то они введены лишь для удобства, во избежание су-
толоки у входов и выходов. Паспортизация оказалась необхо-
дима еще и потому, что гнусные люзанцы, вместо того чтобы
вечно благодарить курдьяндцев за спасение от смега, переде-
вались в члаков и под видом возвращающихся с прогулки за-
конных жителей градозавра проникали внутрь, дабы сеять
раздоры и разложение, особенно в рядах политически незре-
лой молодежи, которой они нащепывали, что вне курдья ус-
ловия жизни лучше. Несколько столетий спустя, вдоволь на-
крав и награбив, люзанцы покинули за грязью и обосновались
на ссверном плоскогорье, где и создали после прекращения
сейсмической активности собственное государство, которое
во всех отношениях было хуже Курдлевства. Тем временем
грязеан отступал; на болотистых низинах окреп Курдлистан,
а на граничащем с ним плоскогорье — Люзанская империя,
впоследствии ставшая республикой. Определение границ про-
изошло около 900 года до новой эры. Интересно, что войны
на земной манер, с отчетливыми фронтами и передвижения-
ми крупных военных отрядов, продолжались на Энции всего
триста лет. От них отказались в пользу непрестанной, но не
столь явной борьбы. Донимали друг дружку набегами, нале-
тами, провокациями, диверсиями и саботажем, причем тон
неизменно задавала Люзанция (напоминаю, что я цитирую кур-
дьяндских историков). В люзанских штабах разрабатывали

новые методы борьбы с градоходами, скажем, вживление пятой ноги в качестве пятой колонны. Эти негодяи нагло притворялись, будто им ничего не известно об обитателях курдлей. И когда диверсанты-теломуты сеяли хаос в курдельных тушах, присобачивая курдлю пятую ногу или намазывая его хвост всякой вкуснятиной, чтобы он надкусил себя; когда они вели свою подрывную работу, подбрасывая на курдельные пастбища воздушные шарики с отравой, вызывающей, такую рвоту, что курдль мог раскурдлиться, то есть вывернуться наизнанку, — все это преподносилось как действия, направленные только против животных. Ибо Люзания не принимала к сведению жилищное назначение и синтетическое происхождение курдлей и имела бесстыдство утверждать, что Председатель якобы не выдумал никакой биоинженерии.

Ситуация изменилась коренным образом только в XXII веке (который примерно соответствует нашему девятнадцатому). Я узнал об этом из трехтомного труда профессора, доктора наук, члена Курдлевской Академии Мцицимрксса. Люзания вступила тогда на путь индустриализации, какового несчастья Курдландия избежала благодаря учению Председателя. Первым толчком стало изобретение сторыночной машины, приводимой в движение огнем, который облитый водой и обозленный этим горыныч извергает из пасти. Люзанцы побогаче начали продавать свои поместья и вкладывать капитал в огнеупорных курдлей, способствуя этим развитию курдлеводства. Вскоре были выведены породы максимально огнедышащие и вместе с тем огнедойные. Они широко применялись в черной металлургии, а также для отопления. Превращение курдлей в капитал повлекло за собой резкое увеличение спроса на высокотемпературные и долговечные особи, но бездымных курдлей вывести не удалось. Поголовье горынычей росло лавинообразно, и через несколько десятков лет загрязнение природной среды приняло угрожающие размеры. Тогда возникла идея оптимизации путем концентрации, то есть укрупнения горынычей (или, как их нередко называли, смогрынычей), потому что несколько мощных экземпляров дымят меньше, чем целое стадо малышей; а отсюда недалеко уже было до лозунга национализации всего поголовья; но ученые, попробовавшие высчитать, какой курдль был бы самым экономичным, пришли к выводу, что любой натуральный курдль никуда не годится. Еще обсуждалась идея чистогона, пышущего жаром и вместе с тем экологически опрятного: он работал бы по принципу замкнутого цикла, питаясь собственными выде-

лениями, обогащенными кое-какими витаминами. Но подопытные курдлы подыхали или впадали в бешенство и, проломив ограды, убегали в Курдландию, другие утрачивали способность к огнедыханию, а некоторые в ходе научных экспериментов начали даже остывать вплоть до отрицательных температур; этот феномен пытались использовать в холодильном деле, но без успеха, поскольку курдлы позамерзали. Назревал экономический кризис, акции курдельных акционерных компаний стремительно падали, кто только мог, втайне припрятывал последних сгорыничков; попытались вывести курдлей-газонщиков, которые вырабатывали бы газ, пересваривая и ферментируя траву, но все было напрасно. Распад Люзании предотвратило лишь открытие атомной энергии, совершенное, впрочем, бестолково, как и все, что делается в этом государстве. Вот что говорит курдландский академик. А может, он говорит и еще что-нибудь, но у меня уже не было сил читать дальше. Поскольку больше всего он поносил своего люзанского коллегу по имени Пиривитт Пиритт, не излагая его взглядов, а лишь вешая на него дохлых собак, или, вернее, курдлей, я из любопытства разыскал небольшую книжку этого люзанца. Она называлась «Мендосфера или этикосфера». Озадаченный, я заглянул в словарь иностранных слов и узнал, что первое слово заглавия восходит к латинскому mendax — лжец. В предисловии автор разделялся с курдландской версией индустриализации Люзании. Он назвал ее нагромождением зловонных бредней: в империи никогда не разводили никаких пирозавров (в ту эпоху Люзания еще была империей), и курдлы никогда не были капиталом, да оно и понятно — разве может быть капиталом то, чего нет? Не было в Люзании и каких-либо попыток заменить жилищное строительство разведением курдлей, частично — как утверждала курдландская сторона — по лицензиям биоинженеров Председателя (курдлы-небоскребы), а частично благодаря выкрадыванию курдландских патентов. Все это, с начала до конца, пропаганда для внутреннего употребления, оглуляющая несчастных курдельников-галерников, которые носа не могут высунуть за брюхо своего великораба, или многопоработителя, ибо именно так следует называть градоходы. В истории Люзании, правда, тоже хватало трудностей и кризисных явлений, но их не понять умам, которые отстали в развитии и награждаются научными званиями по чину, а не по таланту. Пиривитт Пиритт указывал, что курдландский академик не был даже настоящим доктором, а лишь носил чисто номи-

нальный титул *doctor honoris causa*^{*}, и собственные ученики прозвали его «доктор курдль». Здесь, по крайней мере, все было ясно. Однако в следующих главах Пиривитт Пиритт полемизировал с люзанскими этификаторами и гедоматиками, и тут я уже мало что мог понять. Он утверждал, что нет иного пути, кроме полной этификации среды обитания, а сторонники частичной этификации, которые предлагают этифицировать только общественные здания и сооружения, не отдают себе отчета в кошмарных последствиях такого решения. То, что во всей Галактике нет ни одной тотально ошущенной цивилизации, вовсе не аргумент *contra rem*^{**}, ведь *какое-нибудь* общество должно быть первым, то есть идущим в авангарде прогресса, и эта почетная, хотя и нелегкая, участь выпала на долю люзанцев: именно они прокладывают путь млечным братьям по разуму. Далее следовали таблицы, формулы, схемы и графики, понятные мне не больше, чем иероглифы.

С неприятным ощущением, что по прочтении книги со столь звонким заглавием я знаю меньше, чем до того, как открыл ее, я стал искать обзоры и руководства, более популярные и притом написанные на Земле, ведь их пишут люди для людей, соплеменников; тут-то я и увяз окончательно, наткнувшись на учебник для аспирантов — историков люзанистики. Это был коллективный труд что-то около двадцати авторов-специалистов, сушая китайская грамота, по крайней мере, для человека вроде меня. Я читал и не понимал, что читаю; да и как тут было понять, если на каждой странице пестрели цепочки формул и термины наподобие «счастлителей», «энтропок», «антибитов», ЭВЫДРА (энтропия вычислительно-дискуссионных разумных автоматов), а под многообещающим заголовком «Экспедиции в глубь люзанской науки» помещался совершенно темный для меня текст об организации инспективы в полуживых группах с внекосмическим обеспечением. Впоследствии оказалось, что все это имело вполне реальный смысл, но прежде чем дойти до него, я намучился и разозлился, — в ту ночь я стоял над грудой отброшенных в сторону книг и глядел на длинные ряды еще не тронутых томов с безнадежной злостью, как человек, которому непременно надо вскочить в поезд на полном ходу, но который в то же время хорошо понимает, что может сломать себе шею. Мою руку оттягивал увесистый том «Люзанско-курдландского словаря», и меня подмывало шмякнуть им об пол — это принесло бы мне не-

* Почетный доктор (*лат.*).

** Против (*лат.*).

малое облегчение, ведь я по натуре холерик; однако я сдержал себя и вместо книги взял стоявшую в углу старенькую вешалку для головных уборов, а затем, как тараном, двинул ею в большой шкаф с документами, зная, что дверцы у него дубовые, а следовательно, прочные. Вешалка, правда, треснула, но я поставил ее так, чтобы сломанное плечико опиралось о стену и ущерб был незаметен. Кто-нибудь скажет, пожалуй, что об этих ночных выходках я мог бы и умолчать, ведь они не лучшим образом свидетельствуют как о моих нервах, так и о моей понятливости. Но упреки подобного рода неосновательны: любые изгибы путей познания оставляют свой след на его результатах.

Разрушение вешалки подействовало на меня превосходно. Умиротворенный, я вновь приступил к поиску книг для чтения, расхаживая между полками и выбирая то, что попадалось мне на глаза, хотя и этот метод был не слишком разумным; до меня слишком поздно дошло, что я выбираю книги покрасивее, в особенно изящных переплетах, а ведь по одежке только встречают. Почти все эти пособия предназначались для опытных люзанистов. Меня охватывало отчаяние: я получил, что хотел, — пил прямо из источника, сокровищница знаний об Энцици была в полном моем распоряжении, а я не знал, что делать с этим богатством. Я даже подумывал, не разбудить ли по телефону советника и не попросить ли у него совета, но устыдился этой мысли; вытерев пот со лба и пыль с запачканных рук, я ринулся в новое наступление. Однако же сбавил тон и выбрал «Введение в эпистемологическую мелиорацию», каким-то образом угадав, что там не будет ни слова о почвоведении и искусственных удобрениях.

Я узнал, что в XX веке Люзанию потряс ужасный кризис, вызванный самозатмением науки. Ученые все чаще приходили к убеждению, что исследуемое явление кем-то где-то наверняка подробно исследовано, неизвестно только, где об этом можно узнать. Число научных дисциплин росло в геометрической прогрессии, и главным дефектом компьютеров — а теперь уже конструировались мегатонные ЭВМ — стал хронический информационный запор. Было подсчитано, что через каких-нибудь пятьдесят лет в университетах останутся лишь компьютеры-сыщики, которые будут рыться в микропроцессорах и мыслисторах всей планеты, чтобы узнать, где, в каком закоулке какой машинной памяти хранятся абсолютно необходимые нам сведения. Восполняя вековые пробелы, бешеными темпами развивалась игнорантика, то есть наука о том, что науке на данный момент неизвестно; до недавнего времени эта проблематика находилась в полном

пренебрежении (проблемами, связанными с игнорированием игнорантики, занималась самостоятельная дисциплина, а именно игнорантистика). А ведь тот, кто твердо знает, чего он не знает, уже немало знает о будущем знании, и с этого боку игнорантика смыкалась с футурологией. Путьцы измеряли длину пути, который должен пройти поисковый импульс, чтобы наткнуться на искомую информацию, и длина эта была уже такова, что ценную находку в среднем приходилось ждать полгода, хотя импульс перемещался со скоростью света. Если бы время блужданий по лабиринту накопленных научных богатств росло в прежнем темпе, то следующему поколению специалистов пришлось бы ждать от пятнадцати до шестнадцати лет, прежде чем несущаяся со скоростью света свора сигналов-ищек успеет составить полную библиографию для задуманного исследования. Но, как говаривал наш Эйнштейн, никто не почешется, пока не свербит; так что сперва появились эксперты по части искатематики, а позже — инспекты. Пришлось создать теорию закрытых открытий (подвергшихся затмению другими открытиями); так возникла Общая Ариаднология (General Ariadnology), и началась эпоха Экспедиций В Глубь Науки. Тех, кто планировал эти экспедиции, и называли инспектами. Это чуть-чуть помогло, но ненадолго: инспекты ведь тоже ученые, и они немедленно принялись разрабатывать теорию инспектизы, включая такие ее разделы, как лабиринтика, лабиринтистика (а разница между ними такая же, как между статикой и статистикой), окольная и короткозамыкающая лабиринтография, а также лабиринто-лабиринтика. Последняя есть не что иное, как внескопическая ариаднистика, дисциплина будто бы необычайно увлекательная, поскольку она рассматривает существующую Вселенную как нечто вроде полочки в огромной библиотеке; а то, что такая библиотека не может существовать реально, серьезного значения не имеет, ведь теоретиков не интересуют банальные физические ограничения, которые мир накладывает на Мысленный Инсперимент, то есть на Первое Самоедское Заглубление Познания. «Первое» потому, что эта чудовищная ариаднистика предвидела бесконечный ряд таких заглублений (поиски данных, поиски данных о поисках данных и так далее, вплоть до множеств бесконечной мощности).

Любопытно, не правда ли? К счастью, у меня были две пачки таблеток от головной боли. Ариаднистика постулировала бесконечномерное неметрическое информационно-энтропийное пространство, и ликование было всеобщим, когда

удалось доказать, что это пространство полностью конгруэнтно Господу Богу, который по крайней мере таким образом был постигнут в понятиях логики вместе со своим Всемогушественным Всеведением. И еще стало ясно, что сотворенный мир отделяется от этого квазибожественного пространства наподобие крохотного пузырька и становится по отношению к нему нигдешним, а иначе и быть не может. Весьма неожиданные последствия имела эта окончательная математизация Божественной сущности как системы Всеведения — разумеется, системы совершенно абстрактной, ведь это не было изображение Бога как личности, но топографически совершенное Схождение Его атрибутов. Оказалось к тому же, что это бесконечномерное пространство имеет границы, однако в них не помещается ничего реального, а в особенности Вселенная. Нетрудно догадаться, что ни одна ортодоксальная религия не приняла это доказательство к сведению. Хотя трансфинитное пространство оказалось необычайно интересным объектом научных исследований, они ничем не обогатили эпистемологию, потому что речь тут шла о всеведущей системе, то есть системе, в которой никакую информацию искать не нужно, да и невозможно. (Говоря до наивности просто, всеведение есть одновременно предпосылка и атрибут этого поразительного творения абстрактной мысли, и с реальной Вселенной оно никаких точек соприкосновения не имеет.) Как если бы вы, потеряв у себя дома чайную ложечку, приступили бы к поискам с таким размахом, что создали бы идеальную систему безошибочного отыскания, которая, разумеется, есть не что иное, как система Отыскания Всего На Свете, и потому ничего не может сказать по вопросу о ложечке ввиду его очевидной тривиальности. Найдистика относится к исканистике приблизительно так же, как чистая математика к прикладной. Разделение общей ариаднологии на практическую и антрактную ухудшило положение, потому что чем более мощным умом обладал ариаднолог, тем больше его интересовали свойства Всенаходящей Системы и тем меньше — банальное копание во внутренностях искусственной планетной памяти, этого захламленного склада знаний. Поэтому кризис науки казался неизлечимым, и все же люзанцы избавились от него, именно избавились, а не преодолели на избранном ими пути; они просто выплеснули из купели воду вместе с ребенком, иначе говоря, им удалось совершенно избавиться от самой науки — во всяком случае, от науки в известной нам форме.

На Энциии уже больше ста лет нет никаких ученых; есть

только граждане, которые учатся у преподавателей, а преподаватели эти — даже не усовершенствованные цифровые машины, но шустры. Освоение шустрологии стоило мне шести бессонных ночей; я пришпоривал свой бедный мозг целыми литрами кофе. Шустры — это логические элементы, невидимые невооруженным глазом, потому что размерами они сравнимы с большими молекулами. Изготавливают их другие шустры — методом, напоминающим построение молекул белка в живом организме; но не буду вдаваться в технические подробности. Этот переворот был крайне болезненным для люзанских ученых, и целые ученые советы кончали самоубийством, осознав, что написание магистерских и даже докторских диссертаций не имеет теперь ни малейшего смысла и даже самый умный аспирант или докторант оказывается в положении человека, который пытается каменным тесаком изготовить каменный нож, хотя машины уже производят в тысячу раз лучшие ножи из закаленной стали. Эмпирические науки и опытные исследования, лабораторные и полевые, стали ненужными. Зачем проводить эксперименты реально, если шустринная система может выполнить любой эксперимент *in abstracto*, да еще со скоростью света? Зачем ждать, пока вырастет какая-нибудь дубрава у какого-нибудь ручья, чтобы исследовать ее влияние на микроклимат? То, что раньше заняло бы сто лет, шустры сделают в мгновение ока. Впрочем, мгновение ока для них чертовски долгое время, ведь это чуть ли не одна десятая секунды, а им хватает одной миллионной. Но и эти ошустренные эксперименты проводили только вначале, как бы по инерции, по привычке, по традиции. Ведь микроклимат исследуют с какой-либо целью, так не проще ли определить эту цель, не заботясь о промежуточных этапах? Этим занимаются целеведы (прежнее название — телеономы). Цель может быть совершенно идиотской: например, чтобы сегодня шел дождь зеленого цвета, а завтра — бледно-лимонного и чтобы оба были с радугой; или чтобы пижама ласковыми прикосновениями убаюкивала вас, а утром будила в назначенный час при помощи деликатного массажа, — и весь производственный цикл, необходимый для изготовления таких пижам или атмосферных осадков, будет тут же автоматически разработан и внедрен. А тот, кому интересно, как это делается, запишется на поливерситет (разумеется, ошустренный), где дидакторы сперва объяснят ему, какие вопросы имеет смысл задавать, так как на глупые вопросы нет умных ответов, и по окончании курса вопросологии он может узнавать обо всем, что его интересует; но это

отнюдь не профессия — скорее уж хобби. Вопросы образуют пирамидальную иерархию — или иерархическую пирамиду, не помню точно, — а в ней имеется уровень Тютиквоцитока, он же верхний предел: выше этого уровня ни вопроса, ни ответа понять невозможно, даже если целую жизнь посвятить одному-единственному вопросу, ведь умственные силы с возрастом угасают, а здесь они должны были бы нарастать сто, а то и тысячу лет. Так что любопытствующий умрет раньше, чем толком спросит и толком узнает то, что хотел. Зато из ответов на вопросы, задаваемые ниже барьера Тютиквоцитока, можно извлекать практическую пользу, и тут нет ничего удивительного и ничего нового, ибо, как объясняет дидактор ТИТИПИК 84931109 в пособии для начальных школ, чтобы съесть ржаную лепешку, необязательно знать ни историю возникновения ржи, ни способы ее выращивания, ни теорию и практику хлебопечения, а нужно только вонзить зубы в лепешку, и баста.

Итак, наука надела траур по самой себе, что, впрочем, мало трогало люзанскую общественность; та, хотя и была обязана науке расцветом цивилизации, все больше ругала ученых за этот расцвет, и наукой была сыта по горло; теперь же, слава Богу, никто уже не мог превозноситься над согражданами в качестве докторизованного доцента, и это пришлось весьма по вкусу простому человеку с его демократическими замашками. Разум не сдали в архив, но гордиться им отныне можно было только частным образом, как чистой и без веснушек кожей, которая, как известно, никаких социальных привилегий не дает. Желающие, разумеется, могли заниматься наукой по-старому — то было безвредное увлечение вроде постройки дворцов из спичечных коробков или запуска воздушных змеев. Кажется, и сегодня в Люзании хватает чудачков, которые с энтузиазмом предаются этому ребяческому, в сущности, занятию в тайной надежде открыть что-нибудь такое, что положит конец всей шустронике, — несбыточные мечты бедолаг, которым не довелось родиться в стародавнее время, когда они, наверное, стали бы местными ньютонами или дарвинами!

С упразднения традиционной науки и началось в Несокращенных Штатах создание синтетической культуры, или синтуры. Правда, тут мнения историков расходятся. (Историки по-прежнему остаются людьми, то есть, хочу я сказать, энцианами; гуманитарные науки автоматизировать не удалось, и не потому, что они невероятно сложны, напротив: они настолько противоречивы и нелогичны, в них столько

произвольных домыслов, составляющих гордость научных течений и школ, что нельзя перепоручить их логическим системам — те реагируют на это информационным запором или аллергической сыпью.) Одни, например Ктоттоцц, утверждают, что синтура была создана для протезирования естественной культуры, которую придавило насмерть всеобщее благоденствие; того же мнения придерживается целый ряд синтурологов. Но другие, в частности Тецьюпирр и Квиксикокс, считают, что тут дело обстояло так же, как с воздухом и пустотой: шустры проникали всюду, куда могли проникнуть, то есть во все пустые места. Указанные авторы называют это естественным градиентом эволюции искусственной среды обитания; попросту говоря, культура, как и природа, не терпит пустоты; а когда рушились социальные связи, добрые нравы, обычаи, вековые барьеры религиозных и правовых запретов и каждый мог немедленно получить все что угодно — одно лишь желание сохраняло смысл: делать ближнему то, что для него неприятно и даже ужасно, поскольку ближний при этом сопротивлялся, а сопротивление — пикантнейшая приправа и главный деликатес там, где обладание любыми благами и услугами утратило всякую ценность. Что легко дается, дешево ценится. Если у тебя восемнадцать костюмов, может, и приятно ежедневно менять их, но от десяти миллионов костюмов одни только хлопоты. Только маленьким детям кажется, что было бы чудно жить на горе из чистого шоколада. Насыщение кончается болью в желудке. Так на вершине всеобщего благоденствия возродилось состояние всеобщей угрозы: что за радость иметь все и наслаждаться этим, если в любую минуту ты можешь получить палкой по голове или очутиться в подвале субъекта, который находит приятность в изощренном, сколько возможно, мучительстве? Шустры отреагировали на эти перемены (ибо полиция подверглась ошустрению очень рано); тогда-то синтура и взяла на себя опекуноско-защитные функции, а затем — патронат над всеми живущими.

Должен признать, что этот вопрос — о корнях синтуры — показался мне самым необычным из всего, о чем я успел прочитать. По-видимому (если судить по историческому опыту люзанцев), когда в среде обитания появляются зачатки разума, когда этот разум пересаживают из голов в машины, а от машин, как некогда от мамонтов и примитивных рептилий, его унаследуют молекулы, и молекулы эти, совершенствуя новые поколения смышленных молекул, преодолеют порог Скварка, то есть плотность их интеллекта настолько превы-

сит плотность человеческого мозга, что в песчинке поместится умственный потенциал не доцента какого-нибудь, но сотни факультетов вместе с их учеными советами, — тогда уже сам черт не поймет, кто кем управляет: люди шустрами или шустры людьми. И речь тут вовсе не о пресловутом бунте машин, не о восстаниях роботов, которыми давным-давно, когда в моде была футурология для масс, пугали нас недоучившиеся журналисты, но о процессе совершенно иного рода и иного значения. Шустры «бунтуют» в точности так же, как растущая в поле пшеница или микробы на агаровой пленке. Они не только исправно делают, что им поручено, но к тому же делают это все лучше и лучше, а в конце концов — так изумительно, как никому не пришло бы в голову поначалу. Давно известно, что точный план человека, а заодно и строительной фирмы, которая осуществит этот план, содержится в невидимой глазу головке сперматозоида, однако же никто не помыслил, что оттуда можно извлечь промышленную лицензию для молекуляризации разума, — хотя каждый выпускник школы вроде бы знает, что его мозг, прежде чем появиться на свет, целиком умещался в невообразимо малой частичке отцовского сперматоцита. А это ведь значило, что когда-нибудь подобная технология будет применяться на промышленном уровне — в таком же массовом масштабе, в каком ядра производят миллиарды и миллиарды живчиков, без всякого надзора, планирования, без фабрик, конструкторских бюро, без рабочих и инженеров. И уж тем более никто не верил, что какие-то шустры получают превосходство над людьми — не угрозами и не силой, но так, как ученый совет, состоящий из дважды профессоров, превосходит мальчика в коротких штанишках. Ему не понять их коллективной мудрости, как бы он ни старался. И даже если он принц и может приказывать совету, а совет добросовестно исполняет его капризы, все равно результаты разойдутся с его ребяческими ожиданиями — например, захоти он летать. Разумеется, он будет летать, но не по-сказочному, как он, несомненно, себе представлял, не на ковре-самолете, но на чем-нибудь вроде аэроплана, воздушного шара или ракеты, поскольку даже наивысшая мудрость в силах осуществить только то, что возможно в реальном мире. И хотя мечты этого сопляка исполнятся, их исполнение каждый раз будет для него неожиданностью. Возможно, в конце концов мудрецам удалось бы растолковать ему, почему они шли к цели не тем путем, который он им указал, ведь малыш подрастет и сможет у них учиться; но среда обитания, которая умнее своих обитателей,

не может разъяснить им то, чего они не поймут, ведь они — скажем наконец прямо — безнадежно глупы для этого.

Эти отдаленные последствия развития цифроники, венцом которой стала шустроника, крайне болезненно бьют по самолюбию разумных существ. Что делать! Чего хотели, того и дождались. Но не того, чего по наивности опасались, — непослушания, бунта стальных чудовищ, одичавших и охочих до власти компьютеранов и ужасных компьютерищ, взявших людей в ежовые рукавицы, — а всего лишь молекулярного экстракта разума, перемещенного из головы в окружающую среду и тысячекратно усиленного по дороге, разума, который ведет себя точно так же, как пшеничное поле или сперматозоиды. Он не является индивидуальностью, и если возникшие в ходе борьбы за существование злаки, амёбы или кошки заботятся о самосохранении, то есть о себе, а людям служат лишь косвенно: пшеница — в качестве пищи, кошки — для развлечения, то ошустренная среда обитания заботится прежде всего о людях, а о себе — в минимальной степени, ведь если бы она вовсе о себе не заботилась, то вскоре перестала бы существовать, просто распалась бы.

Можно ли управлять эволюцией шустров? Конечно, можно, но не по чистому произволу, не как в голову взбредет. Можно выращивать разные сорта пшеницы, яровой или озимой, но нельзя сделать так, чтобы из колосьев сыпались дыни. А с шустрами возникает еще одна трудность: их эволюция зависит от мипров (микропрограммирующих устройств), а мипры от кодокодов (когерентно дозируемых кодов), а кодокоды не помню уж от чего. Однажды запущенный процесс в какой-то, не известной заранее степени развивается самостоятельно, словно везущая седока упряжка лошадей, которые слушаются вожжей и кнута и не показывают свой норев, но мчатся они все быстрее по все менее и менее знакомой нам местности, — с той только разницей, что коней все-таки можно поворотить, а цивилизацию — вряд ли.

То есть в принципе можно, конечно — и люзанцы могли бы, — отказаться от шустров, вернуться к природной среде обитания, но это стало бы для них катастрофой, размеры которой невозможно предугадать, катастрофой более страшной, чем если бы на Земле взорвали все электростанции, сожгли библиотеки, разогнали инженеров, ученых и медиков, — стоит ли описывать последствия такого возврата к Природе?

Днем я спал, а ночи просиживал в архивах МИДа. Я там совсем неплохо устроился. В письменном столе я держал кофеварку, сахар, мыло, полотенце, чашку, только ложечка

куда-то запропастилась, так что кофе приходилось мешать ручкой зубной щетки, — я все время забывал принести другую ложечку, бомбардируемый множеством фактов, которые даже не пробовал упорядочить; но я заметил, что об энцианских высоких материях уже кое-что знаю, зато о более обычных вещах не знаю почти ничего, а все потому, что люзанские источники противоречили курдьянским и наоборот. Я сидел в самом центре большого города, но чувствовал себя Робинзоном Крузо на необитаемом острове. Два дня я изучал анатомию и мифологию курдья. У него огромные плавательные мешки по обеим сторонам легких, и тот, кем курдль подавится, может в них очутиться. Там будто бы хватает места для трех десятков дюжих молодцов с каждого боку. Говорят, когда-то курдлей дрессировали и использовали в военном деле, наподобие боевых слонов. Некоторые члацкие племена считали вулканы безногими курдьями; возможно, отсюда и пошли легенды о пирозаврах — ведь вулканы дымят. Любопытно, что даже в учебниках анатомии то и дело попадались дифирамбы Председателю, и тут же — диатрибы против люзанцев. Мифология была интереснее. Нашему Святому Гралю соответствовал Святой Курдль, а первые космогонии члаков исходили из того, что Космос устроен по образу и подобию суперкурдья, или супердья. Верховный жрец, возносивший к нему молитвы, имел сан курдинала. Много там было и непонятого. Паладинов, отправлявшихся на поиски Святого Курдья, называли желудочниками. Не искали же они курдья, сидя в его желудке? Впрочем, стоит ли подходить к мифологическому мышлению с обычными мерками? Я наткнулся даже на кучу рецептов приготовления жареного горыныча, или жарыныча. А между тем никаких горынычей почти наверняка не было. Или тут мы имеем дело с метафизикой пресуществления?

Корешки уже просмотренных книг я помечал мелом, чтобы не возвращаться к ним. Мне и без того казалось, что я увязаю во всевозможных глупостях и мелочах. Длинные ноги болотных чудовищ половинники называли не конечностями, а бесконечностями. Некогда существовала секта каудитов, или хвостистов, которые измеряли длину хвоста курдья и предсказывали по ней, насколько удачной будет охота. Что-то от этой традиции сохранилось, коль скоро по сей день присваивается ученое звание доктора *honoris cauda**. Но в конце концов это

* В уважение хвоста (по аналогии с *honoris causa* — «в уважение заслуг») (лат.).

могла быть просто опечатка. Председатель, как утверждают его апологеты, стащил курдля с небес на землю, разбожествил его и сделал доступным каждому. Поскольку вулканы считались безногими курдлями, вырывание ног означало причисление к лику блаженных. Вот и пойми это, кто может. Люзанские агенты, переодетые в члаков (так называемые лжеполовинники), будто бы прокрадываются в населенных курдлей. Таковым вероломцам иногда удается спровоцировать беспорядки среди ссыльных, водворенных в задние области градозавра (задопоселенцев); это элемент ненадежный и ретроградный, по причине своего местожительства. Особенно темен вопрос о бешенстве курдлей: люзанцы объясняли его политическими волнениями, а курдландские официальные источники — саботажем. Я долго не мог разобраться в этой сумятице, ибо не знал политической доктрины члаков, а не знал я ее потому, что какой-то болван-библиотекарь поместил весь раздел «Нациомобилизм» вместе с «Автомобилизмом» — под рубрику «Городской транспорт и Коммуникации»; я же искал ее под рубриками «Доктрины Политические», «Политические Доктрины», «Идеологии» и так далее. На нужную полку я наткнулся совершенно случайно, когда мне понадобился тяжелый и толстый том в качестве пресса: дело в том, что для удобства я иногда снимал брюки и при этом заметил, что они сильно помяты, а ходить в Министерство с утюгом и гладильной доской было как-то не с руки.

Отнюдь не Председатель предложил идею нациомобилизма, или державоходственности, но общественный деятель XVIII столетия Ксарбаргсар, который описал идеальное государство как Всеобщее Переплетение Счастливых, сокращенно ВПС (этот мыслитель имел несносную привычку сокращать предложенные им термины, так что в конце концов пришлось взять листок бумаги, чтобы записывать все эти сокращения, иначе просто голова кругом шла). Практическим осуществлением своей теории Ксарбаргсар интересовался очень мало, захваченный благостными видениями Рая на Энци, и лишь его двоюродный брат Гагагакс открыл тождество идеального государства с идеальным курдлем. В двух словах эта идея заключалась в синтезе противоположностей — Натуры и Культуры; члак создан силами Природы и лишь на ее лоне может быть по-настоящему счастлив; однако культура тоже необходима ему, в противном случае он мало чем отличается от животного. А курдль, будучи животным, вне всякого сомнения, есть неотъемлемая часть Природы, и надо только его окультурить, то есть заселить, преобразить

его грубую Животность, не меняя его сути. Думаю, что я верно излагаю мысли этих двух выдающихся родственников, у которых позаимствовал свою основополагающую идею Председатель. Снаружи природный, внутри благородный или облагороженный, курдль должен был стать основной ячейкой государства. При этом можно было опереться на давние традиции — обряды, легенды и мифы, связанные со смегами и члаками, с их новым ковчегом и так далее. Основоположники нациомобилизма поставили дело на более реальную почву, перевернув курдля с ног на голову, вернее, не самого курдля, а отношения между ним и члаком. Прежде курдль был высшим существом, а члаки чтили его как Бога; поэтому следовало его разбожествить, дабы отныне он сам служил члакам. Результатом внедрения этой идеи в жизнь как раз и стали градозавры, мокрополисы, топартаменты, градбища (пастбища для градоходов) и так далее. Появились также, как это обычно бывает, когда возвышенная идея соприкасается с шершавой реальностью, различные сложности, не предусмотренные отцами нациомобилизма, вплоть до поносов и прочих недугов градоходов, — и полки целого библиотечного зала сгибались под тяжестью томов, посвященных анализу имманентных и акцидентных изъянов державохождения. Трудов этих было столько, что у меня ныла спина и трещал позвоночник от одного только таскания их вверх-вниз по библиотечной лесенке. Тем не менее, твердо следуя своему решению исследовать все до конца, я продолжал читать.

Теоретические построения поражали своей тонкостью и замысловатостью, однако, хотя я ни разу не наткнулся на это слово, я все сильнее ощущал, что жить в курдле было *неудобно*. Курдляндские теоретики говорили о временных трудностях, связанных с недостаточной вентиляцией, о неудовлетворительном качестве фильтров и смрадоуловителей, о заболеваниях позвоночника, вызванных необходимостью жить на корточках (в курдле трудно выпрямиться в полный рост, особенно на низших должностях); но о том, чтобы просто покинуть населенные внутренности, никто даже не заикнулся. Это, должен сказать, немало меня удивляло — какая такая абсолютная необходимость заставляла их так мытарствоваться? Ответы на этот неизбежный вопрос лились сущим дождем; говорилось о синтезе природы и культуры, о гармонизации этих противостоящих друг другу начал и ориентаций, и, вздумай я изложить лишь главнейшие аргументы поборников державоходственности, бумаги бы не хватило. Возможно, думал я, они настолько привыкли, что иначе не могут; с дру-

гой стороны, привычка как-то не вяжется со столь неутомимым пропагандистским напором.

Решив наконец, что эта инопланетная загадка мне не по зубам, я отказался от дальнейшего чтения в зале классиков курдлизма. Председателю был отведен весь следующий зал, но я только раз заглянул туда и немедленно дал отбой. Имелся еще третий зал — так называемых отщепенцев, или ересиархов курдлизма; главным из них был казненный за свои убеждения мудрец, имени которого ортодоксы не называли, а именовали его либо Мерзейший Матец, либо Матейший Мерзец. Я пролистал его основной труд в разделе запрещенной литературы и благодаря этому узнал две вещи. Во-первых, имя этого отщепенца не поддавалось транскрипции ни на один из земных языков, поэтому в каталогах он фигурировал как Kinderlos, Sansenfants, или Бездетник, что будто бы передавало *смысл* его курдляндского прозвища. Во-вторых, в ереси, которую он проповедовал, я не смог усмотреть ничего ужасного и даже особенно оригинального. Просто он предлагал ночью спать в курdle, а днем выходить наружу, занимаясь кто чем хочет, и именно это до глубины души возмутило правоверных курдлистов. Хоть убейте, не знаю, почему эта банальная мысль привела их в такой ужас.

Продвигаясь вдоль полок, я добрался до книжек для школьного чтения. В них содержались нравоучительные истории о том, как в стародавние времена лжеполовинники, то есть люзанские агенты, чтобы обмануть праполовинников в их градоходах, распускали клеветнические измышления и вели подрывные беседы; например, они пропагандировали наоборотничество, то есть предлагали перевернуть курдлю так, чтобы хвост оказался на месте головы, и наоборот. Они рассчитывали, что если им удастся подбить на это курдлелюбивых поселян, то начнутся хаос и смута, а тогда они призвут подлых своих соплеменников, дабы общими силами навалиться на дезориентированный градоход. Выгнав законных жильцов на верную смерть под градом метеоритов (ибо все это происходило в эпоху смегов), люзанцы заняли бы их место, расположившись поудобнее в реквизированном курdle. Но всегда находился герой, который пресекал эти гнусные замыслы в зародыше. Особенно запала мне в память история о храбром мальчишке, который в одиночку справился с целой бандой мерзавцев; он бесстрашно забрался в горло курдлю и стал щекотать его в нёбо, пока, тот наконец не обрушил на затаившихся чужаков желудочный потоп. Детские книжки призывали детвору проявлять бдительность и высле-

живать вагантов-провокантов, которые норовят отбить сонного или задумавшегося курдья от стада, а также используют пожарные лестницы в поисках его щекотливых мест, чтобы, подвергая великана непрерывной щекотке, довести его до бурных внутренних потрясений.

Впрочем, у люзанских специалистов по школьному образованию я прочитал, что причины внутрикурдельных потрясений вовсе не политические. Изверг — это не курдль, вывернутый наизнанку саботажниками, но градоход, обитатели которого повально гонят самогон и, по пьяному делу, до тех пор отравляют несчастное животное, пока оно не дойдет до белой горячки и не начнет бросаться на прочих курдлей. Ибо пьянство — сущее социальное бедствие Курдландии, о чем, однако же, книжки для школьников умалчивают. В самих курдьях будто бы ходят по рукам листовки, в которых утверждается, что градоходы грызутся между собой из-за корма, а старнаки вместе со своими семьями и протезе учиняют тайные оргии, отплясывая вовсю внутри несчастных, падающих с ног престарелых курдлей, и не одного из них затанцевали уже насмерть. Этот запрещенный официально танец называется курдаш. Источником подобного рода сенсаций обычно являются задопоселенцы, и именно на них ссылаются люзанские курдлисты из Института Теории Государства, утверждая, что члаки — всего лишь паразиты курдлей и о каком-либо симбиозе первых со вторыми речи быть не может. От бродяжничества праполовинники перешли к перипатетизму, от перипатетизма к препаразитизму, а от него к обычным формам тунеядства. Как ни странно, люзанские эксперты расходятся по вопросу о том, живы курдли или мертвы. По мнению некоторых, тут случилась история, подобная той, что описана у барона Мюнхгаузена, когда волк вскочил на запряженную в сани лошадь, вгрызся в нее сзади, проел насквозь, сам оказался в упряжи и помчался по дороге уже в качестве тягловой силы. Именно так будто бы поступили члаки с курдьями. От гигантов, понемногу выеденных изнутри, осталось всего ничего, самое большее — скелет и огромная шкура с бронированными позвоночными дисками, и активисты попеременно приводят в движение этого трухляка, а проще сказать — этот труп, о чем, однако, упоминать запрещено, чтобы не огорчать Председателя. Председатель твердо верит в превосходное здоровье и юношескую резвость градозавров, тем более что сам он живет не в курдле, а в совершенно обычной резиденции, окруженной прекрасным парком, и о внутреннем положении в курдьях узнает из правительственной прессы.

Впрочем, люзанский психосоциолог Гюрртиркарр полагает, что идея нациомобилизма жива, хотя курдлы сдохли, ибо вера, как известно, горами движет, а трупами и подавно. Нациомобилизм, конечно, обман, но курдьяндцы принимают его на ура, и ничего удивительного. Ведь они залезли в этих тварей, спасаясь от смега, в целях самосохранения, без всякой идеологии, и такое подчиненное положение их угнетало. Попросту говоря, противно им было так жить, особенно если учесть, что паразитизм никем на Энци не одобряется. Кому на Земле придет в голову утверждать, что образ жизни блох или солитеров есть высшая форма социализации? И вот благодаря Председателю, который слил воедино теорию идеального курдлы и дедовские предания, а также искаженные до неузнаваемости эпизоды члацкой истории и эволюции, члаки наконец ощутили чувство законной гордости, ведь в его трудах особо подчеркивалось, что новый образ их жизни, самоотверженный и возвышенный, ведет напрямиком к светлому будущему.

Таково мнение сторонников крайней концепции — мумификационной, или трупохожденческой. Однако нет недостатка в авторах, которые держатся более умеренных взглядов. Они указывают, что время от времени градозавры валяются наземь как подкошенные, чего гипотеза трупохождения не объясняет. Значит, они таки живы, хотя, может быть, еле дышат, а впрочем, иногда и рыкают — на так называемых рёвонстрациях, или народных рычаниях, приуроченных к государственным праздникам. Что касается их общественного строя, то он феодально-кастовый в анатомическом смысле. Положение гражданина определяется местом, которое выделено для него в курдле. К сожалению, имеются еще и другие точки зрения, но я просто не в силах изложить их все; да и все равно невозможно было оценить истинность ни одной из них. Я уже хотел распрощаться с этим разделом библиотеки, как вдруг наткнулся на груды брошюр и газет, сваленных в углу между двумя шкафами. Похоже, они были списаны и предназначены к вывозу на свалку. Тут я призадумался по-настоящему: все они, хотя и были люзанского происхождения, расточали дифирамбы нациомобилизму. Чихая от пыли, я все же уселся над этой кипой, переходя от репортажей к стихотворениям, поэмам и драмам, воспевающим радости жизни в градозаврах, где все друг дружку знают, где нет никакого отчуждения, разъединения и шустринного наблюдения, где все зовут друг друга по имени и сердце каждого бьется в унисон с сердцем этого доброго, изумительного существа, которое, узнав ближе вкусы своих жильцов, выби-

рает на пастбищах их любимые травы и ягоды. В этой груди я отыскал подшивки журналов «Чары курдля» и «В курдельной тиши», песенник, из которого мне запомнилась песня «Эх, живоглотик, живоглот», а также либретто оперы «Курделио». Правда, попадались и брошюры противоположного толка, в которых брюхо курдля уподоблялось геенне; в одном памфлете утверждалось даже, что миллион лет назад на Энциии высадились некие праастронавты и поселили на грязьях парочку пирозавров, а та наплодила целые зловонные стада, и все это, чтобы сбить Энциию с благопристойного пути развития. Диверсия, к сожалению, удалась: гадкие монстры поглотили не только члаков, но и люзанцев, во всяком случае, духовно, коль скоро их головы забиты проблемой курдля, то бишь скурдления как спасения.

Отсюда можно было заключить, что на Энциии нет других забот, кроме одной-единственной: «Быть или не быть в курдле». Но я решил распрощаться с курдлистикой, и к тому же надолго. Меня ожидали не тронутые доселе ряды шкафов со стройными шеренгами книг, трактующих о более возвышенных и сложных материях. Когда я переступил порог первого зала и книжное собрание люзанистики глянуло на меня бесчисленными рядами своих корешков, ноги подо мной подогнулись. *Nec Hercules contra plures**, мелькнуло у меня в голове, но я тут же добавил: *Sursum corda***. С этой мыслью я ринулся один против Энциии — против громоздящихся друг на друга, словно геологические слои, духовных отложений чужого мира...

Никогда относительность красоты не проявляется столь разительным образом, как при встрече двух различных планетных рас. Профессор Шимпанзер в своей «Сравнительной этропологии» цитирует отчет для служебного пользования, который представили своим властям энцианские монстроведы, изучившие множество земных телепередач. Особенно поразили их конкурсы на звание «Мисс Вселенная». Воплощением зла люди считают земную гравитацию, причем борьба с нею возлагается на строго определенные части тела. По непонятным причинам женщины обязаны выказывать свое участие в этой борьбе постоянно, а мужчины лишь время от времени. По-видимому, осознание такого неравноправия вызывает протесты самок гомо сапиенс, именуемые движением

* И Геркулес бессилен против множества (врагов) (лат.).

** Возвысимся духом (лат.)

за женскую эмансипацию. Его участницы демонстративно отказываются носить под одеждой специальную упряжь (хомуты), которая противодействует гравитационному опаданию млекопитающих отростков, символизирующих жизненную активность. Борьба бюстов с силой тяготения неизменно заканчивается их поражением, о чем людям должно быть известно заранее, поскольку с возрастом натяжение кожных тканей ослабевает. Тем не менее самцы отказывают потерпевшим поражение самкам хотя бы в частице того обожания, которым они окружали их, пока видимость независимости от гравитации сохранялась. Несправедливость этого кодекса поведения тем более поразительна, что, как уже говорилось, самцы лишь иногда обязаны демонстрировать подобную суверенность, да и то в течение очень недолгого времени. Откуда взялся этот обычай, установить не удалось. Скорее всего, он имеет религиозное (метафизическое) обоснование, хотя тут все земные верования словно воды в рот набрали, что свидетельствует о крипторелигиозном характере борьбы вышеуказанных частей организма с силой земного притяжения. Разгадать эту загадку мешает многофункциональность органов, отряженных на противогравитационную борьбу, поскольку, вследствие единственного в своем роде, невиданного в целой Галактике срастания выделительных и родительных органов у земных млекопитов, никогда до конца не ясно, в каком именно качестве активизируются данные органы, будь то частным или публичным образом. Биологические пертурбации, доведшие анатомию человека до столь плачевного состояния, безусловно, находят свое искаженное отражение в его культуре и верованиях. Во всяком случае, отождествление *зла с землей* не подлежит сомнению; поддаться гравитации окончательно — значит свалиться в яму, именуемую гробовой, поэтому умерших зарывают в землю. В этой области обязательны особые ритуалы коллективного самообмана: хотя земляне, вне всякого сомнения, знают о разложении трупов, этому противоречат все многосложные действия, сопутствующие укрытию умершего от чужих взглядов (для этого употребляются футляры из одеревенелых материалов, а чтобы труднее было установить, что происходит с телами, преданными земле, место захоронения прикрывают массивными конструкциями из камня, гранита и других магматических горных пород).

Такими видят нас энциане, говорит профессор Шимпанзер, и тут ничего не поделаешь, ведь им приходится судить о нас, как слепому о красках. Им недоступны понятия, связанные с эротикой, ее духовной и чувственной стороной, по-

скольку природа устроила их размножение на совершенно отличный от земного манер. Они не имеют внешних половых органов, не спариваются, и даже понятие семьи не предполагает у них биологического родства: оплодотворение женской яйцеклетки совершается путем полимиксии, или, говоря менее ученым языком, при участии по крайней мере двух самцов. Чтобы понять, как до этого дошло, следует обратиться к самому началу эволюции жизни на Энци, и профессор Гораций Гориллес, к фундаментальной монографии которого «Вегетативная прокреация» отсылает профессор Шимпанзер (он постоянно цитирует Гориллеса, отдавая ему предпочтение перед другими энциологами), наглядно обрисовал этот необычный для нас способ размножения.

Три миллиарда лет назад Энция выглядела в космическом пространстве как бледно-салатный диск. Но не зеленоватые тучи закрывали ее поверхность, а триллионы насекомых, каждое из которых было гораздо меньше комара. Насекомые эти, получившие название зеленушек (*Gorilles Viridans Ohrentangi L*), благодаря своей способности к фотосинтезу выполняли функции земных водорослей. Паря на границе стратосферы, за миллиарды лет они насытили атмосферу кислородом. Тамощные пастбища, образно выражаясь, реяли в небесах, поэтому туда же устремилась эволюция высших видов животных. Начиная с первых рептилий и пресмыкающихся, пошли летающие виды, аналог наших травоядных, и чем лучше они летали, тем успешней пользовались неисчислимыми запасами пищи в зеленых живых облаках Энци. Покрытосеменные растения не появились здесь вовсе, а болотные вместо хлорофилла содержат неизвестный на Земле дыхательный пигмент, который разлагает сульфиды и сульфаты, обильно смываемые с вулканических плоскогорий в грязеан. Животные, приспособившиеся к сульфидной пище, оказались прикованы к трясиным пастбищам, в том числе самые крупные из них — курдли. У них было множество паразитов и симбионтов «небесного», как выражается профессор Гориллес, происхождения, так как многочисленные виды зеленушек, утрачивая зеленый пигмент, а вместе с ним нередко и крылышки, переходили на мясную пищу, сопровождая крупные стада рептилий и прочих земноводных, обитающих на загрязях. Перспективы развития жизни, как объясняет доктор Ахиллес Павиани (на которого ссылается Гориллес), определяются кормовой пирамидой в целом, то есть тем, кто кого на данной планете ест и кем, в свою очередь поедает. Сульфидными растениями (*Sulphuroidea Ohrentangi*) питались

пролазы, ползучки и другие болотистые вместе с курдлями; а сами они служили пищей хищникам — быстрым, проворным, по большей части прыгающим и потому двуногим (весьма похожим на двуногих кенгуруобразных ящеров юрского периода). Такие гиганты, как курдли, пытались скрыться от хищников, ныряя в болотную жижу, а все остальное убегло от клыков и когтей стремительных выгрызов, загрызов и перегрызов, как их называет Авраам Гиббон в своей «*Historia naturalis praedatorum Entianum*»*.

Шимпанзер, Гориллес и Гиббон без оговорок принимают утверждение энцианских биологов, что, как это ни огорчительно, приматы всегда и везде обязаны своим разумом прохождению через стадию хищничества. Дело в том, что для травоядных существует лишь настоящее время, потому что жратва у них прямо под носом, зато хищники по природе вещей устремлены в будущее, ведь им приходится выжидать добычу, подстергать ее, выслеживать, подкрадываться, преследовать, разгадывать все ее увертки, и это развивает сообразительность тем больше, чем смысленее добыча. Разум существует только в потенции, он словно спит, пока добычи хватает; но если ее мало, наступает кризис, и тот, у кого в голове пусто, погибает голодной смертью.

А условия жизни на Энциии были исключительно тяжелы и опасны: в вулканические эпохи теплое плоскогорье становилось зоной смерти, вдобавок планета подвергалась страшным лучевым ударам Новых звезд, которые часто вспыхивали в скоплении Тельца, вызывая массовую гибель животных и атмосферных зеленушек, но вместе с тем ускоряя эволюцию выживших видов — благодаря мутациям. Выглядело это так, говорит профессор Павиани, словно кто-то молотил цепами в амбаре, полном мышей; ясно, что спасутся лишь самые смысленные и самые быстрые. Нашим биологам казалось, объясняет профессор Шимпанзер, что решающую роль в антропогенезе сыграло прохождение через арбореальную (древесную) стадию, или, как ехидничают некоторые, обезьянизация и дезобезьянизация некоторых примитивных видов, которые сперва позалезали на деревья, где приобрели цепкость рук, прямую осанку и зоркий взгляд, потому что иначе не перескочишь с ветки на ветку, а затем, когда из-за оледенения леса вымерзли, им пришлось спуститься с деревьев на землю и приняться за поиски пищи, которая не ждет безропотно, пока ее слопают, как яблоко или банан. Но прохож-

* Естественная история энцианских хищников (лат.).

дение через стадию хищничества важнее, чем прохождение через арбореальную стадию; кто влез на дерево круглым идиотом, не поумнеет, спустившись на землю. На Энциии лесов не было — некуда было взбираться, так что приматы произошли там от крупных пернатых. А случилось так потому, указывает доктор Шимпанзон (не путать с доктором Шимпанзером!), что крупные энцианские пернатые обладали исключительно большим для пернатых мозгом. А это, в свою очередь, объясняется тем, что зеленушки, которые дышат не как животные, а как растения, могут подниматься очень высоко — в стратосферу, где уже не хватает кислорода для легочников; поэтому питающиеся ими птицы буквально задыхались, взлетая за летучим кормом, а так как от кислородного голодания первыми гибнут нервные клетки мозга, естественный отбор приводил к увеличению числа этих клеток: если их было очень много, птица могла выжить даже тогда, когда часть мозга отмирала. (Мозговые клетки, как известно, не восстанавливаются.)

Таким образом, масса мозга энцианских пернатых росла «избыточно», и в этом избытке позднейшие события высекли — спустя миллионы лет — искру разума. Но случилось это, когда пернатые уже перестали летать и в качестве крупных двуногих нелетов занялись охотой на болотистых низменностях. Вот почему энцианин похож на человека лишь до тех пор, пока стоит неподвижно; когда же он начинает двигаться, видно, что ноги он переставляет, как страус — они сгибаются в коленях назад, — а голову может повернуть на 180°; грудь у него бочкообразная, кости рук — большие и полые, а на скелете остались следы в том месте, где прикреплялись мышцы крыла. Глаза у него круглые, лицо крайне для нас неприятное, так как вместо носа и рта посередине лица у него угловатый бугор с широко расставленными ноздрями (впрочем, это вовсе не ноздри, но выходные каналы половых органов); а его живот и лоно гладкие, как у куклы: не будучи живородящим млекопитающим, он не имеет ни пупка, ни гениталиев.

Мне не хватило сил до конца продраться через учебники Шимпанзера и Гориллеса; вместо того чтобы ясно сказать, что, чем, как, почему и зачем, они заполнили тысячи страниц популяционной генетикой нелетов и праэнциан; к счастью, я обнаружил краткий органологический очерк магистра Стенли Лемура и буду его придерживаться. Правда, Лемур — ученый пониже рангом, чем Орантанг, Шимпанзер, Гориллес и прочие люзанисты, — знает, может быть, несколько меньше, но мне этого было совершенно достаточно. Он говорит, что все высшие животные Энциии размножаются как расте-

ния, но не совсем, потому что делают они это на бегу. И притом на полной скорости. Тем не менее этот способ размножения следует назвать растительным, мужественно настаивает С.Лемур, хотя оппоненты ругают его на чем свет стоит за слишком упрощенный подход. Энцианские пернатые не откладывают яиц. Кажется, самые древние археоптериксы откладывали, но для бегунов-нелетов, преодолевающих ежедневно несколько десятков миль в погоне за пищей, яйцеродность была бы пагубной помехой. Эмбрионы, похожие скорее на губки, чем на яйца, самка носит под брюхом в складках кожи, отчасти напоминающей сумку кенгуру. Это еще как-то соотносится с земными условиями. Однако сам акт оплодотворения не имеет аналогов на Земле. Самка оплодотворяется посредством *ofificia oviductales**, располагающихся над ротовым отверстием, а самцы вместо коллоидного семени вырабатывают летучую пыльцу, которую они выбрасывают через аналогичные отверстия, настигнув самку во время брачного бега. Шимпанзер не согласен тут с Орантангом, а тот с Гориллесом. Игнорируя их споры, Лемур заявляет, что виной всему было бедственное положение, в котором некогда очутились животные на Энци. Оно продиктовало им определенное анатомическое устройство прежде, чем появилась возможность дальнейшей дифференциации. Иначе говоря, этот половой и в то же время некопуляционный способ размножения гораздо примитивнее земного.

Я, однако, должен честно признать, что излагаю точку зрения исследователей-людей, которые происходят от обезьян и потому считают, что чем ближе родство разумных существ с пресмыкающимися (а пернатые восходят к ним по прямой линии), тем меньше это делает им чести. Энциане придерживаются прямо противоположных взглядов. Примитивизм, и притом самого худшего сорта, утверждают они, проявляется там, где дефекацию от прокреации отделяют какие-нибудь миллиметры, а то и меньше. Этот способ остается нейтральным с нравственной точки зрения до тех пор, пока еще нет нравственности, то есть пока поведением животных управляет слепой инстинкт. Однако же этот экономичный способ сочетания в одном месте и в одном канале столь диаметрально противоположных функций, как удаление из организма нечистот и занятия любовью, должен был стать проклятием создающего культуру разума. Поскольку любое живое существо избегает собственных выделений, это всеобщее отвращение

* Яйцеводные отверстия (*лат.*).

надлежало как-то преодолеть, и эволюция воспользовалась приемом столь же простым, сколь и циничным, превратив места *naturaliter** омерзительные в притягательные — благодаря таящему в них наслаждению. Эти несчастные, безгранично наивные люди, заявил энцианский людист Пиксикикс, целые столетия ломают головы над тем, почему копуляция доставляет их самкам чувственное наслаждение, тогда как у низших животных ничего подобного не наблюдается. Поразительно, добавляет этот постпернатый мудрец, что разумное существо может обманывать себя так долго и так успешно, как бедные земляне! Того, кто спаривается неререфлективно, не нужно заманивать посулами удовольствий, преодолевающих отвращение. Улитка, жаба, жираф или бык ничегошеньки себе не думают, когда наступает период течки; но, чтобы подавить какое-либо мышление у тех, кто не только может, но и должен пользоваться разумом, необходимо затуманить их мозг автономно, и именно эту роль играет оргазм. Помрачающий сознание спазм быстро проходит, и ясность мышления возвращается. Бедные, невинные жертвы эволюции, обманутые сю! — восклицает в этом месте своей «Сравнительной гомологии» доктор Пиксикикс. Вся Галактика должна сочувствовать вашим тщетным душевным борениям, от которых вы не избавились по сей день и не избавитесь никогда, ибо с таким уродством уже ничего не поделаешь.

Добавлю, кстати, что в разделе люзанской поэзии я нашел несколько поэм, оплакивающих наше сексуальное увечье, которое особенно сильно сказалось на земной философии и религии, заставив их отчаянно изворачиваться. Немалое впечатление произвел на меня «Неморальный трактат» Хетта Титта Ксюррксирукса, начинающийся следующими строками:

Земляне — выродки Природы.
В любви у них имеет вес
То место, где исход находит
Метаболический процесс.

Узнав, где ищут идеал
Сии злосчастные страдальцы,
По всей Вселенной стар и мал
В отчаянье ломали пальцы.

Это персвод — по-моему, совсем неплохой — швейцарского поэта Руди Вюэца. Известный теоретик литературы,

* По природе (*лат.*).

структуралист Теодорофф, считает, однако, перевод второй строфы неудачным и предлагает свой вариант:

Узнав, к какому пункту тела
Землян привязан идеал.
Все содрогнулись. Космос целый,
Рыдая, шупальца ломал.

Тот же ученый обращает внимание на многочисленные апокрифы, сочиненные на Земле и безосновательно приписываемые энцианам, что видно из используемых в них лирических реквизитов вроде пчелок и мотыльков, между тем как на Энциии ничего подобного нет*.

Вернемся, однако, к естественно-научным предметам. Выжить на болотах было так трудно, что их обитатели носились без передышки — и во время охоты, и во время размножения. В брачный период нелеты начинают ритуальные танцы, после чего самки отделяются от стада, разбегаясь в разные стороны, а толпы самцов гонятся за ними, догнав же, окружают беглянок клубами оплодотворяющей пыльцы, которую самки втягивают на бегу ноздрями. Нетрудно понять, что отцовство при таких обстоятельствах установить нельзя, даже если бы оплодотворение было возможно без полимиксии (называемой также полиопылением). Однако без полимиксии оно совершенно невозможно, как доказали путем моделирования на компьютерах Орт, Ангутт, Танг, а также их сотрудники из Массачусетского института сексуальной технологии.

Мне показалось, что выражения инопланетного сострадания заделали наших ученых, однако они не могли открыто обнаружить свои чувства или категорически отвергнуть знаки участия, проистекавшего, что там ни говори, из самых лучших побуждений. Поэтому они попытались взять реванш *sine ira et studio*** , подчеркивая, как бы между прочим, крайнее неудобство оплодотворения на полном ходу; но лозанские

* Профессор Теодорофф имел в виду текст песенки якобы лозанского происхождения:

Свою голубку опыляя,
Я славлю пчел и мотыльков.
Но твой обычай не таков,
Срамная нация людская!
В экстазе самку обнимая,
Ужель твой лирик воспоеет —
Канал для сброса нечистот? (Примеч. И. Тихого.)

** Без гнева и пристрастия (лат.).

биологи оказались опытными полемистами и объяснили, что лучшим свидетельством доброго здоровья является, несомненно, способность бегать быстрее и дольше других, поэтому энцианский обычай брачного бега гарантировал и продолжает гарантировать продолжение в потомстве особей, во всех отношениях наиболее приспособленных, чего отнюдь нельзя сказать об актах, совершающихся на травке либо в постели, ведь лечь способен даже последний колченожец. По поводу этого безапелляционного утверждения разгорелся спор, так как не все люзанисты были согласны между собой в переводе последнего выражения; например, профессор Погориллес (не путать с Гориллесом!) правильным считал перевод «последний извращенец». Другие авторы, однако, возражают ему, ссылаясь на отсутствие у энциан понятия об извращениях, особенно сексуальных: на Энциии они просто не могли появиться. Чтобы покончить с этим вопросом, добавлю несколько слов о том, откуда взялась лицевая локализация половых органов у энциан. Она восходит к земноводному, или, точнее, грязноводному, периоду жизни их древнейших предков миллиард лет тому назад. Некоторые виды пресмыкающихся пытались нести яйца на земной манер, но яйца эти тонули, поскольку были тяжелее воды (а легче воды они не могли быть ввиду своего химического состава; но если мне придется объяснять еще и это, я никогда не доберусь до конца), и бесславно гибли в болотном иле; в конце концов, после ряда мутаций, видовой адаптации и так далее выжили только сексолицы и спермоносые, которые пускали носом пузыри, содержащие соответственно яйцеклетки с плавниками и проворное водоплавающее семя. Впоследствии дела шли по-разному, но я не хочу превращать отчет о круге своего женевского чтения в учебник энцианской эволюции. Те, кого интересуют подробности, могут обратиться в Управление Тельца в МИДе с просьбой о допуске к архивам.

Чтение заняло у меня уже пять недель; оставались еще почти два месяца вынужденного пребывания в Швейцарии, но это мне казалось ничем перед лицом еще не исследованных залов огромной библиотеки. Однако я не пал духом, хотя стал настоящим отшельником; днем я спал и просыпался, когда швейцарцы вокруг меня, не без удовольствия уладив суточную порцию своих дел, в шлепанцах направлялись к крокетям. Я же с портфелем, набитым запасами кофе, сахара и тартинков (потому что при одном только виде печенья мне делалось дурно), шагал по опустевшим улицам в МИД.

Штрюмпфли не давал о себе знать, поэтому я понятия не

имел, что он и его начальство незаметно следят за моими упорными занятиями, питая по отношению к моей особе весьма конкретные намерения; будучи истинными дипломатами, они предпочитали не открывать карты раньше времени. Сам не знаю, что бы я сделал, если бы знал об их планах. Впрочем, скорее всего, я делал бы то же самое, настолько мне не терпелось узнать всю правду о наших далеких братьях по разуму.

Коренное отличие энцианской культуры от нашей проистекает из коренных различий в способе размножения. На Земле главной его частью была борьба за право покрыть самку, то есть непосредственное соперничество, тогда как на Энции это явление с незапамятных времен носило коллективный характер. Если бы самки бегали заметно медленнее самцов, породы крупных нелетов по прошествии нескольких десятков поколений отяжелели бы и, вероятно, вымерли; поэтому в борьбе за существование победили виды, самки которых были длинноноги и очень резвы. Было также очень важно, чтобы самцы замечали — и притом немедленно, — что оплодотворение, или, скорее, опыление, совершилось. Окруженная клубами пыльцы самка издает резкий крик, очень неприятный для наших ушей, потому что кричит она на вдохе. (Трудно кричать на выдохе во время такого марафонского бега.) Иногда на этой стадии случается так называемый моментальный выкидыш — если оплодотворяемая пыльцой самка чихнет, почувствовав щекотку в носу. В таком случае стая самцов продолжает погоню до последнего издыхания — совершенно дословно, потому что самцы послабее действительно падают замертво.

Способность издавать крики-сигналы стала первой стадией зарождения речи. Следует напомнить, что птичья гортань гораздо лучше приспособлена к этому, чем, например, обезьянья; как известно, шимпанзе нельзя научить человеческому языку, тогда как для скворцов или попугаев это проще простого, а ничего интересного услышать от них нельзя потому, что у них мозгов не хватает. От первоначального оперенья у энциан не осталось почти ничего — только пух, покрывающий тело, несколько более густой на плечах, там, где когда-то росли маховые перья. Я позволил себе этот экскурс в прошлое, потому что без него нельзя уяснить всю глубину пропасти, разделяющей духовную жизнь людей и энциан. Их бросающаяся в глаза человекообразность есть следствие эволюционной конвергенции; но, несмотря на цепкие ладони, череп, по объему близкий к человеческому, прямую осанку и владение речью, понять их нам едва ли не трудней — как утверждают энциан-

ские ученые, — чем обезьян-приматов, от которых мы исходим. Прежде чем углубляться в их философию и религиозные верования, я назову все то, что для нас привычно, а им непонятно и недоступно. Они не знают и не могут знать всевозможных эротических тонкостей и отклонений, им неизвестны такие понятия, как завоевание эротического партнера, верность, измена, моногамия, инцест, сексуальная покорность и протест против нее, им неизвестны какие-либо культуры, ориентированные сексобезно или сексостремительно, — все это у них невозможно.

Немало категорических суждений о земных культурах пришлось нам выслушать от тамошних антропологов. (Наши ученые подобных крайностей избегали.) Земные понятия чистого и нечистого, ритуалы очищения и искупления, аскетизм как средство борьбы с чувственностью, как протест против сексуального влечения, анафемы этому влечению и его превознесение до небес — все это, утверждают они, в конце концов привело к расчленению человеком своего собственного тела, и в средневековье культура обрекла тело на настоящие муки, верхнюю его часть увлекая в небеса, а нижнюю сталкивая в преисподнюю. Ни один теолог за целых двадцать веков даже не заикнулся о том, что, собственно, люди, которым христианство гарантирует воскресение во плоти, будут делать с гениталиями в раю. А гедонистическая цивилизация, восходящая к эпохе Возрождения, по мнению энциан, привела к такому уравниванию в правах обеих половин тела, от которого культуре не поздоровилось, ибо в конце концов человек животное-генитальный возобладал над человеком сердечным и мыслящим. Впрочем, нижняя половина тела была сущим наказанием для всех культур, как западных, с их противопоставлением греха и аскетической святости, так и восточных, где вместо этой пары понятий появляются полярно противоположные понятия полной телесной свободы и полного отрицания тела (нирвана). Как ни сражался со своей плотью бедняга гомо, он так и не нашел подходящего способа примириться с ней, а довольствовался суррогатами и иллюзиями, увязая в трясине самообмана. Насколько же это сузило людские возможности! Ведь людям приходилось тысячами растрчивать силы своего разума на оправдание, объяснение, а то и переименование отношений, с неизбежностью диктуемых устройством тела. Сколько пришлось им мучиться и водить самих себя за нос, чтобы догмат о сотворении по образу и подобию Всевышнего привести в соответствие с тем срастанием органов, которое заставило Августина

Блаженного в отчаянье воскликнуть: «*Inter faeces et urinam nascimur*»*. Все время приходилось одно идеализировать, другое замалчивать, это прикрывать, то переименовывать, и никакие перевороты в духовной жизни не позволяли окончательно примириться с проклятой анатомией. Самое большее — знаки менялись на противоположные, ханжество уступало место цинизму или родственной ему бестрепетности; люди словно бы говорили себе: «Раз уж тут ничего не поделаешь, будем пользоваться без усталы имеющимися у нас органами, пусть даже таким манером, чтобы сделать оплодотворение невозможным; хотя бы так взбунтуемся против Природы, если по-другому нельзя». Во время эпохальных переворотов проблемы собственно генитальные не выдвигались на первый план, что легко объяснить: развивавшаяся под флагом рационализма цивилизация просто не хотела признаться себе самой, до какой степени биология главенствует над ее рационализмом. И все же Возрождение было эпохой, когда человек открыто признал свое собственное тело, даже те его части, что ужасали теологов, а на Дальнем Востоке мыслители усматривали в небытии единственное действительно радикальное средство против раскола человека на чувства и дух, *delectatio morosa* и *ratio***.

Либо наслаждение, преодолевающее отвращение, либо отвращение, в котором признаваться нельзя, ибо тот, кто ставит под вопрос норму, сам становится ненормальным.

Такова, согласно энцианам, наша вечная дилемма. Я искал земных экспертов, которые подняли бы брошенную перчатку (а по правде говоря, нечто совершенно иное), но, странное дело, не нашел ничего, что звучало бы убедительно: ведь тут требовалась не софистика, но логически безупречное опровержение инопланетных умозаключений. Наши, правда, не оставались в долгу, однако не в контратаках по поводу секса, но в совершенно иных областях, вследствие чего диспут попросту терял смысл. А жаль. Суждения инопланетных существ о человеке не могут считаться оскорбительными. Хотя и не слишком приятно сознавать, что претензии на универсальность всего человеческого в масштабе Вселенной потерпели очередное крушение.

Горько признаваться в том, сказал один старый философ, что мы еще раз свергнуты с трона, поставлены на свое место, и притом не абстрактными рассуждениями, но наглядным

* Между калом и мочою рождается (*лат.*).

** Несобуданная чувственность и разум (*лат.*).

доказательством в виде иных разумных существ. Этот неопровержимый факт показал нам, сколь тщетными были усилия человеческой мысли возвести случайные, сугубо местные земные обстоятельства в ранг разумной и потому всеобщей необходимости. Какие горы изощреннейших аргументов мы нагромождали, чтобы изобразить природу человека в виде космической постоянной! Как легко человек поддался иллюзии, будто бы мир к нему беспристрастен (если не благожелателен, как гласят утешающие религии)! То, что случилось с какими-то прамоллюсками, трилобитами и панцирными рыбами миллиард лет назад, что было всего лишь делом случайного расклада и перетасовки различных сочетаний органов и не имело никакого высшего смысла, кроме их функции на данный момент, — стало нашим наследием и заставило лучшие наши умы отчаянно и, как мы теперь видим, безнадежно поставить все на одну карту, объявить заведомо неудачное конструкторское решение актом Творения, благожелательного к Сотворенным. Впрочем, добавил тот же философ, это вовсе не значит — как мог бы опрометчиво решить адресат энцианских посланий, — будто благодаря благоприятному стечению обстоятельств на долю энциан выпал лучший жребий. Если у них нет наших несчастий, это еще не значит, что они счастливы. До рая им так же далеко, как и нам. У любого вида разумных существ есть свои собственные проблемы, многие из которых неразрешимы, и правило перехода из огня в полымя, по-видимому, действительно для всей Вселенной. Впрочем, немало есть и тех, кто усматривает в человеческом сексе превосходство *homo sapiens* над *homo entiaentis** но сам принцип таких сравнений абсурден: нельзя считать, что недоступные нам ощущения других лучше — или же хуже, — чем наши. Если один разум равноценен другому — что, по-видимому, справедливо, — то различия в строении тел, выбрасываемых из барабана эволюции на планетную сцену, можно лишь констатировать. Все остальное, то есть оценка качества их бытия, пусть остается — молчаньем.

Вера и мудрость

Первого, а может быть, второго сентября, в самый полдень, от глубокого сна меня пробудил телефонный звонок. Адвокат Финкельштейн хотел со мною увидеться. Я пошел к нему сразу, чтобы успеть еще выспаться до наступления вечера, в

* Человека разумного (над) человеком энцианским (*лат.*).

преддверии штурма последнего, философского бастиона архивов МИДа. Если бы я принял душ, то взбодрился бы, пожалуй, чрезмерно; но если бы я этого не сделал, то в полусонном состоянии не много понял бы из того, что адвокат собирался мне сообщить. В качестве компромисса я принял сидячую ванну и пешком отправился в контору Финкельштейна, удивляясь уличному движению, от которого успел отвыкнуть. Я, правда, не солипсист, но все же временами испытываю ощущение, будто там, где меня нет, а особенно там, где я когда-то бывал, все замирает или, во всяком случае, должно замереть. Это мои личные мысли, и я не придаю им чрезмерного значения, а лишь регистрирую их, чтобы облегчить жизнь своим будущим биографам, с профилактическими, так сказать, намерениями: ведь если биографам не хватает действительных подробностей из жизни знаменитого человека, они сочиняют целую тьму фиктивных.

Адвокат встретил меня широкой улыбкой и предложил чашку кофе, но я отказался, помня о необходимости выспаться. Я заметил, что у него новая секретарша, до того красивая, словно она не умела даже печатать на машинке. Она и в самом деле не умела, адвокат этого не скрывал, к тому же она не имела понятия о правописании и, что еще хуже, вкладывала письма не в те конверты; но смотреть на нее было таким удовольствием, что клиенты заходили даже без всякого дела. Это напомнило мне отрывок из книги, которую я штудировал ночью, и я сказал адвокату, что колдовские чары, которыми гипнотизирует нас прекрасное женское лицо, в сущности, совершенная загадка. Окончательно я уяснил это во время чтения упомянутой книги, наткнувшись в ней на удивительное межпланетное недоразумение. Комиссия экспертов-людистов, изучавшая программы нашего телевидения, особенно конкурсы красоты, обнаружила, что некоторым типам женских лиц отдается явное предпочтение, и, пораскинув мозгами, выдвинула в официальном порядке гипотезу, согласно которой лицо выполняет у людей функцию маркировочной таблицы, то есть латунной пластинки с данными о мощности, КПД и напряжении, прикрепляемой, например, к электромоторам. Энциане, как представители другого вида, заявила комиссия, не в состоянии прочитать по женским лицам эти характеристики, поскольку они закодированы не цифровым и не аналоговым способом; но как-то все-таки закодированы. Цвет радужной оболочки, форма носа и губ, расположение волос на голове — все это легко читаемые людьми знаки. Возможно, они показывают эффек-

тивность обмена веществ, сопротивляемость организма земным болезням, умение бегать (хотя, если уж на то пошло, легче было бы определить его непосредственно по ногам), общий уровень интеллекта, — в общем, что-то они значат наверняка, потому что различие между лицами королев красоты и обычных человеческих самок не больше, чем между разными буквами алфавита. Итак, дело тут не в эстетических соображениях — что такое несколько лишних или недостающих миллиметров носа? Комиссия трудилась не покладая рук, рассмотрела одиннадцать альтернативных гипотез, начиная, разумеется, с биологической: мол, человеческий самец вычитывает из лица самки черты, которые желал бы видеть у своего потомка; но эта концепция оказалась неприемлемой, если принять в соображение, что ни в общественной, ни в профессиональной жизни на Земле не видно какого бы то ни было предпочтения, оказываемого прямым носам перед курносыми или оттопыренным ушам перед ушами, плотно прилегающими к черепу. А если самец желает иметь сильное потомство, то осмотр женских мускулов даст ему больше, чем заглядывание в глаза. Если же речь идет о легких родах, то следовало бы оценивать ширину таза, однако людям это и в голову не приходит. Поскольку у людей ноги в коленяхгибаются вперед и значительную часть своей жизни они проводят сидя, рессорные качества ягодиц могут иметь некоторое селекционное значение; и в самом деле, для самцов это, по видимому, немаловажно, но все же лицу они явно отдают предпочтение, а этого уж никак не объяснишь необходимостью часами просиживать на жестких табуретках. Несчастливая эта комиссия исследовала что-то около восьмисот тысяч снимков актрис, теледикторш и домохозяек, стараясь установить корреляцию между чертами их лица и такими недугами, как желчнокаменная болезнь, расширение вен, потливость ног и даже мягкость характера, но не нашла и следа какой-нибудь корреляции, что повергло ее в полное недоумение. Поэтому она опросила несколько землян, прибывших на Энцию, но ничего научного узнать от них не смогла и пришла к выводу, что данные, закодированные в лицах красивых женщин, являются на Земле государственной тайной, выдача каковой приравнивается к измене. Допустить, что опрошенные сами не знали, почему лицо Мэрилин Монро вызывает у любого мужчины сильное расширение зрачков, а лицо сослуживицы — скорее нет, энцианские ученые не могли никак.

Адвокат Финкельштейн долго смеялся, а потом сказал, что я не трачу время впустую, столь углубившись в занятия,

и это особенно радует его потому, что он имеет для меня благоприятное известие. Кюссмих понемногу склоняется к компромиссу. Слушание дела затягивается, так как нашлись дегустаторы, заявившие, что пресловутый золотой кофе никто в рот не возьмет, а Кюссмиху не удалось установить, добросовестные это эксперты или их подсунула «Нестле». Словом, если я откажусь от замка, Кюссмих вернет мне 75% средств, затраченных на ремонт, а его клеветнические показания будут спрятаны под сукно. Закончив, адвокат Финкельштейн выжидательно посмотрел на меня.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво молвил я. — В принципе, весь этот замок для меня, знаете ли, давно уже как прошлогодний снег. Но, скажите на милость, чего это ради я должен понести убыток? Не в деньгах дело, а в справедливости. Сколько, собственно, лет этому господину Кюссмиху? — спросил я, захваченный новой мыслью.

— Семьдесят восемь.

— Ему бы не о деньгах уже думать, — сказал я сурово. — А вы что посоветуете?

— Я могу тянуть дело дальше, — ответил он похихикивая, — но хотел удостовериться, что вы на этом настаиваете. У нас еще пять недель до следующей сессии.

— За это время многое может случиться, — произнес я, не догадываясь, до какой степени пророческими были мои слова.

Прощаясь с адвокатом, я попросил его, по возможности, звонить мне не днем, когда я сплю, а между семью и восьмью вечера, когда я взбадриваю себя, перед тем как отправиться в библиотеку.

Не успел я, добравшись до дому, раздеться и уснуть, как снова раздался звонок, на этот раз в прихожей. Обозленный, я открыл дверь, увидел respectable мужчину с папкой под мышкой и решил, что это новый адвокат Кюссмиха; но я заблуждался. Посетитель представился как ведущий сотрудник какого-то крупного международного ежемесячника; он хотел взять у меня интервью на космические темы.

Сгоряча я чуть было не спустил его с лестницы, но тут мне пришло в голову, что мой адвокат этого не одобрил бы. Выступление в популярном издании как-никак укрепляло мое положение в споре с мерзавцем, который наживается на прозорливости младенцев. Правда, названия журнала я не расслышал, но с лестничной клетки тянуло сквозняком, поэтому я пригласил журналиста к себе, усадил его в кресло — и узнал, что он из «Пентхауза». Это меня остудило. Меня явно преследовали детородные органы высших земных мле-

копитающих, коль скоро журнал, занимающийся их рекламой, поднял меня с постели.

— Что вам угодно? — спросил я. Этот человек совершенно не соответствовал моим представлениям о сотрудниках «Пентхауза». Вместо броско одетого субъекта с плотоядным выражением лица и карманами, набитыми порнографическими снимками, передо мной сидел вылитый дипломат с журнальной обложки: седые виски, изящно подстриженные усы, глубокий взгляд интеллектуала и черная адвокатская папка. Заложив ногу за ногу, он ослепил меня лучезарной улыбкой и сказал, что самое время раскрыть перед широкой общественностью тайны космического секса. Как я понял, этот элегантный проходимец знал о моих штудиях в МИДе. Теперь, когда он прервал самый глубокий сон, на который я был способен, обычное выдворение его из квартиры уже не могло считаться достаточной компенсацией. Я решил устроить ему порядочную, тщательно продуманную трепку и лишь потом попросить его убраться на свой склад гениталиев.

— Я дам интервью, — сказал я, — при условии, что все мною сказанное вы опубликуете без малейших поправок. А поскольку я уже приобрел здесь некоторый опыт, вашего устного обещания недостаточно: мне нужны гарантии посущественнее...

Он проглотил крючок, и начались долгие переговоры. Чем более солидных требовал я гарантий, тем больше он утверждался во мнении, что в запасе у меня есть пакости, о которых даже он никогда не слышал. В ход пошел телефон. Он связался со своей редакцией, а потом я — со своим адвокатом, чтобы удостовериться, что заявление, которое оставит у меня журналист, будет достаточным юридическим основанием для предъявления иска на сумму в восемьдесят тысяч долларов в случае ненапечатания или искажения текста моего выступления. Я нарочно заломил столько — чтобы эта редакционная свора набрала полный рот слюны — и настоял на своем. Я спрятал в ящик стола требуемое заявление, текст которого продиктовал адвокат Финкельштейн, чтобы нельзя было подкопаться ни к одному пункту; все сильнее ощущая досаду — ведь о сне теперь нечего было и думать, — налил журналисту на редкость паршивый коньяк, оставленный в баре предыдущим жильцом; а сам, попивая чай (будто бы ввиду состояния своих почек), заговорил при включенном магнитофоне.

— Я выступаю не от собственного имени, — заявил я, — но в качестве представителя галактических цивилизаций. Секс на земной манер им неизвестен. В этом отношении мы

в Галактике являем собой нечто вроде уroda, у которого лицо, так сказать, приросло к седалищу, только в глобальном масштабе. Размножение с самого начала должно протекать под контролем зрения, и так это повсюду и обстоит. Но в одном случае из двух триллионов эволюция путает направление входов и выходов тела. По единогласному заключению звездных экспертов, как раз такое фатальное невезение выпало нам на долю. Детородный процесс разместился в отхожих местах организма. Земные виды были поставлены перед выбором: либо полюбить эти места, либо вымереть; и организмы, которые смерть предпочли паскудству, погибли все до единого. Осталось лишь то, что проявило готовность возлюбить канализационные тракты. Это наша трагедия, в которой мы неповинны, уродство астрономического масштаба. Как известно, в целом процесс производства потомства не слишком приятен. Не слишком приятно состояние беременности, трудно назвать особенным удовольствием роды. Детородный процесс занимает девять месяцев — от пуска в ход до появления *ante portas** готового образца, — то есть 389 000 минут. Из них удовольствие доставляют первые пять — восемь, пусть даже десять. Остальные 388 990 минут удовольствием не назовешь, совсем напротив, это сплошные заботы, а в конце — страдания. По утверждению галактических экономистов, это самое невыгодное на свете занятие. Как если бы за минутное удовольствие от съеденной шоколадки вам пришлось бы целый месяц мучиться животом. Поскольку сделка, которую предлагает нам тело, навязана ему Природой, в ней нет злого умысла или обмана, а значит, чьей-либо вины. Но все изменилось с тех пор, как за дело взялся крупный капитал, чтобы извлекать прибыль путем поддержания людских инстинктов в состоянии распаленной готовности. Предосудительно дразнить жаждущих, показывая им батареи бутылок с содовой водой и лучшими лимонадами и выманивая у них последний грош, вовсе не утоляя их жажду. Подло манить голодных снимками жареных цыплят с салатом и кремовых тортов с завитушками. Но это ничто по сравнению с махинациями тех, кто извлекает прибыль, рекламируя всевозможные, более или менее неаппетитные щели человеческого тела в качестве врат рая. Прослышав о такой эксплуатации человека человеком, Галактика решила положить ей конец. К нам на выручку вскоре придут спасатели. Необходимую документацию давно собирают на летающих тарелках: для того-то их к нам

* У ворот (*лат.*).

и послали. Вышеупомянутых эксплуататоров заставят пожизненно заниматься всем тем, что они предлагали несчастной публике, с принудительным использованием всего арсенала изготовленных ими орудий похоти. Галактический совет напрасно искал смягчающие обстоятельства. Кое-какие изобретения заставила человека сделать нужда; так появились паровые машины, строгальные станки, выдвижные ящики и бутылочные пробки. Но редакции журналов наподобие вашсго не могут в свое оправдание указать на какие-либо изобретения подобного рода. Ваши публикации вопиют об отмщении к небу. Поэтому небо явится к вам и сделает, что сочтет нужным. Это все. Прощайте.

Журналист пытался что-то сказать, обернуть мои слова в шутку, но я помог ему выйти. Я был так зол, что не сомкнул глаз до самого вечера, с тоскою думая о счастливых пернатых Энци, которые гоняются по лугам и опыляют друг друга как мотыльки. В девятом часу я, как всегда, взял сумку с провиантом и вышел из дому, весьма недовольный собой. Я вспоминал, как с бессильной яростью разглядывал сверкающие пуговицы на пиджаке того проходимца и прожигал взглядом его безупречно завязанный галстук. С каким наслаждением я проволок бы его по полу за этот галстук! Торговцы наркотиками никогда не употребляют их сами, а господа из такого рода редакций, как я слышал, читают лишь книжки оключениях пчелки Майи. Наконец в сгущающихся сумерках показали большие кованые ворота министерства. Вместе с земной пылью я стряхнул с себя эти слишком приземленные мысли, ведь мне предстояло вознестись на вершины инопланетного духа.

Чтение теологий, теодицей и философий требовало полной мощности мозга. Поэтому я открыл окно, сделал тридцать глубоких приседаний, включил кофеварку, принял, профилактики ради, аспирин и протянул руку к первому тому из уже приготовленной стопки, причем из моей груди — видит Бог, невольно — вырвался тихий стон. Кому не известны маленькие чудачества больших мыслителей? Правда, учебники по истории философии обычно помалкивают об этих сомнительных и непохвальных историях. Один сбросил с лестницы пожилую даму, да так, что та сломала обе ноги, другой сделал девице ребенка и отказался от него, но все это были чисто индивидуальные выходы и эксцессы. Забраться в бочку, сочинять доносы на коллег — это, конечно, пакости, но вполне заурядные. На Энци было иначе, особенно в позднее среднсвековье, когда философия процветала. Возникшие в то

время школы (ниже я скажу о них подробнее) полемизировали между собой не известным где-либо еще образом. Каждому знакомы выражения типа «это правда, чтоб меня кондрашка хватила» или «чтоб я помер», «чтоб мне провалиться на этом месте, если я вру» и т.п. Фирксирская и тиртрацкая школы включили эти угрозы в арсенал логической аргументации. Дело в том, что основополагающие утверждения философии подтвердить экспериментально нельзя. Нельзя доказать, что мир перестает существовать, если нет никого: ведь чтобы доказать, что его нет, нужно пойти и посмотреть, а в таком случае он, разумеется, есть как ни в чем не бывало. Однако же ученики Фирксатика применяли эмпирическое доказательство, получившее название ультимативного. Если оппонент стоял на своем и отвергал все доводы, они угрожали самоубийством. Ведь тот, кто по первому требованию готов умереть за свои убеждения, наверное, достаточно в них уверен! А чтобы усилить аргументацию, мыслители велели вырезать ремни из собственной кожи, и так далее. Эта манера вошла в моду, и во второй половине XVII века дискуссии не на жизнь, а на смерть приняли повальный характер. При этом каждый страшно спешил, опасаясь, что оппонент успеет покончить с собой первым и решающий аргумент не дойдет до его сознания. Согласно современному философу по имени Тюрр Мёхёхёт, это безумие имело две стороны. С одной стороны, философией занимались лишь те, кто относился к ней смертельно серьезно, и это было хорошо. Плохо же было, разумеется, то, что довод самоубийства не имеет содержательной ценности, будучи разновидностью шантажа, а не рационального убеждения. Некоторые школы, например палетинская, сильно поредели в результате таких дискуссий, а уцелевших мыслителей приводили в бешенство солипсисты. Их никакой аргумент не брал, ведь если мир — всего лишь иллюзия, никто не совершает самоубийства взаправду, а это только так кажется, так что и переживать не из-за чего.

Это горестное помрачение продолжалось несколько десятков лет и на первый взгляд было всего лишь коллективным психозом; однако оно показывает, сколь истово энциане уже тогда предавались размышлениям о природе вещей. То, что у нас самоубийственных философов не было, свидетельствует, быть может, о нашей большей трезвости, но отнюдь не предрешает оценку истинности философских систем.

У нас самое большое влияние на развитие онтологии оказал, пожалуй, Платон. Умом, несомненно, равной мощности, хотя совершенно иного плана, был Ксиракс, создатель онто-

мизии — учения, согласно которому Природа в принципе неблагосклонна к живущим. Важнейшая часть учения занимает так мало места, что я перепису ее целиком. В сороковом году Новой Эры Ксиракс писал:

Беспристрастный — значит нейтральный или справедливый. Беспристрастный всему предоставляет одинаковые возможности, а справедливый измеряет все одинаковой мерой.

1. Мир несправедлив, ибо:
в нем легче уничтожить, чем творить;
легче мучить, чем осчастливить;
легче погубить, чем спасти;
легче убить, чем оживить.
2. Ксигроной утверждает, что живущие мучат, губят и убивают живущих, а следовательно, не мир — к ним, но сами они друг к другу неблагосклонны. Но и тот, кого не убили, умирает, убитый собственным телом, которое есть часть мира, ибо чего же еще? А значит, мир несправедлив к жизни.
3. Мир не нейтрален, коль скоро:
он пробуждает надежду на устойчивое, неизменное и вечное бытие, не являясь, однако, ни устойчивым, ни неизменным, ни вечным; следовательно, он вводит в обман. Он позволяет постигать себя, однако при этом вовлекает в познание, поистине бездонное; следовательно, он коварен. Он позволяет овладевать собой, но лишь ненадежным образом. Открывает свои законы, кроме закона абсолютной надежности. Этот закон он скрывает от нас. Следовательно, он злонамерен. Итак: мир не нейтрален по отношению к Разуму.
4. Нарзарокс учит, что Бог либо существует, и, в таком случае, он есть Тайна, либо нет ни Бога, ни Тайны. Мы ответим на это: если Бога нет, Тайна остается, ибо: если Бог существует и сотворил мир, то известно, КТО сделал его несправедливо пристрастным, таким, в котором мы не можем быть счастливы. Если Бог существует, но не сотворил мир или же если его НЕТ, Тайна остается, ибо неизвестно, откуда взялась пристрастная неблагосклонность мира.
5. Нарзарокс вслед за древними повторяет, что Бог мог сотворить кроме Этого Света счастливый Тот Свет. Но тогда зачем он сотворил Этот Свет? .
6. Аустезай утверждает, что мудрец задает вопросы, чтобы ответить на них. Это не так: он задает вопросы, а отвечает на них мир. Можно ли представить себе иной мир, нежели наш? Возможны два таких мира. В беспристрастном разрушить было бы столь же легко, как создать, погубить — так же легко, как спасти, убить — так же легко, как оживить. В мире универсально доброжелательном, или благо-

пристрастно, легче было бы спасать, создавать, осчастливливать, чем губить, разрушать и мучить. Таких миров на Этом Свете построить нельзя. Почему? Потому что наш мир не дает на это согласия.

Учение это, названное Учением о Трех Мирах, многократно пересматривалось и толковалось по-новому при жизни Ксиракса и после его смерти. Одни из его учеников считали, что Господь не мог сотворить лучший мир, потому что имеет свои границы, другие — потому что не пожелал. Это давало повод считать Бога бытием либо неабсолютным, от чего-то зависимым, либо не абсолютно благим; впрочем, толкований было гораздо больше. За проповедь Учения о Трех Мирах император Зиксизар приговорил Ксиракса к самому суровому наказанию — двум годам смерти, то есть растянутых мучений, причиняемых медиками (от палача в империи требовалось владение медицинскими навыками) с такой заботливостью, чтобы приговоренный не умер до времени: его поочередно пытали и лечили.

Самые сильные доводы против учения Ксиракса выдвинул в эпоху Нижнего Средневековья Рахамастеракс, один из создателей химии. Он доказывал, что и в нейтральном, и в благосклонном мире жизнь размножалась бы лавинообразно, поэтому в нейтральном мире она, заполнив мир до краев, быстро покончила бы самоудушением, а в благосклонном понадобились бы особые ограничители, сдерживающие губительное размножение. Тем самым мир, по видимости нейтральный, оказался бы смертельной ловушкой, а благосклонный — узилищем, ведь свобода любых действий была бы там ограничена. Этот аргумент, однако, косвенным образом усиливал атеистическую суть Учения о Трех Мирах и укреплял безбожников в их неверии, демонстрируя кривобокость мира по отношению к жизни: будучи в нем чем-то случайным, жизнь может рассчитывать только на самое себя. Поэтому Рахамастеракс тоже поплатился за труд своей жизни смертью, но в качестве менее опасного еретика был подвергнут милосердному усекновению головы.

Свое последнее возрождение Учение о Трех Мирах пережило в Новое время, в эпоху бурного развития гравитационной физики. Ноусхорукс, энцианский Эйнштейн, изложил существо дела просто: чтобы ответить, почему мир таков, каков есть, нужно сперва посмотреть, возможен ли другой мир, способный породить жизнь (иначе в мире не было бы никого, а тем самым проблема снимается). Ответить на по-

ставленный таким образом вопрос нельзя *никогда*, ведь проект другого мира равнозначен проекту другой физики. Для этого нужно сначала до конца познать физику этого мира, то есть *исчерпать* ее в формулах абсолютной истины, что невозможно. Именно здесь на сцену возвращается Тайна древних философов, поскольку нам неизвестно, почему мир (а значит, и физику) можно познавать бесконечно. Ни одна теоретическая модель не способна полностью его исчерпать, а это значит, что разум и мир не полностью сводимы один к другому. Предпринимавшиеся впоследствии попытки доказать, что именно так должно быть в любом из возможных миров, потерпели неудачу, и последний вывод, к которому пришла энцианская философия, гласит: нет доказательств ни в пользу устойчивой кривобокости мира и разума, ни в пользу невозможности такой физики, которая отличалась бы от существующей и превосходила ее по части благосклонности к жизни. Многовековая битва за право поставить миру окончательный диагноз закончилась, по мнению одних, ничейным исходом, а по мнению других — поражением.

Тем не менее она в огромной степени определила развитие цивилизации в Люзании и второстепенных государствах к северу от нее, которые находились под люзанским влиянием. Концепция этикосферы как абсолютно надежной опекуни общества, безусловно, восходит к «Трем Мирам» Ксиракса; но эхо его аргументов не менее сильно звучит в диатрибах, похоронивших проект автоэволюционной переделки энциан, который несколько десятков лет будоражил общественное мнение. О том, что на Энциии философия не пала так низко, как это было у нас в век науки, свидетельствует роль, которую сыграли философы в этих дискуссиях, и прежде всего — в осознании автоэволюционного парадокса (называемого обычно парадоксом Ксиксокта).

Каждый хотел бы, чтобы у него был красивый и умный ребенок. Но никто не желает, чтобы его ребенком была умная и прекрасная цифровая машина, пусть даже она будет во сто раз умнее и здоровее живого ребенка. Между тем программа автоэволюции — это скользкая покатая плоскость без ограничений, ведущая в пропасть абсурда. Первая стадия этой программы очень скромна — всего лишь устранение генов, снижающих жизнестойкость, служащих причиной увечий, наследственных изъянов и т.д. Но такое усовершенствование не может остановиться на достигнутой точке: даже самые здоровые заболевают, даже самые умные на старости лет впадают в маразм. Ценой, которую придется заплатить за удаление

и этих изъянов, будет постепенный отход от природной, сформировавшейся эволюционно схемы устройства организма. Тут-то и возникает парадокс лысого. Выпадение одного волоса еще не приводит к появлению лысины, и нельзя сказать, сколько волос должно для этого выпасть. Замена одного гена другим не превращает ребенка в существо иного вида, но нельзя указать, где, в какой момент возникает новый вид.

Если рассматривать функции организма порознь, усовершенствование каждой из них желательно. Кровь, которая питает ткани лучше, чем натуральная, нервы, не подвергающиеся вырождению, более прочные кости, глаза, которым не угрожает слепота, зубы, которые не выпадают, уши, которые не гложут, и тысяча иных составных частей телесного совершенства, бесспорно, пригодились бы нам. Но одно усовершенствование неминуемо влечет за собой другое. Более сильные мышцы требуют более прочных костей, а быстрее соображающий мозг — более обширной памяти; вполне возможно, что на следующей стадии увеличится объем черепа и изменится его форма и, наконец, белковый материал придется заменить более универсальным. Небелковый организм не боится высоких температур, радиоактивного излучения, космических перегрузок; бескровный организм, в котором снабжение кислородом совершается просто путем обмена электронов, без примитивного посредничества кровообращения, несравненно менее хрупок и смертен; и вот, начав однажды переделывать себя, разумная раса преодолеет ограничения, которые на нее наложила ее планетная колыбель. Дальнейшие шаги ведут к появлению существа, устроенного, быть может, куда гармоничнее, гораздо лучше переносящего удары и беды, чем человек или энцианин, гораздо более всестороннего, разумного, ловкого, долговечного, а в пределе — даже бессмертного благодаря периодической замене отработавших органов, включая органы восприятия; существа, которому ничем любая среда, любые убийственные для нас условия, которое не боится ни рака, ни голода, ни увечья, ни старческого увядания, потому что совсем не стареет; словом, это будет существо, усовершенствованное до предела благодаря перестройке всего материала наследственности и всего организма, с одной-единственной оговоркой: на человека оно будет похоже не больше, чем цифровая машина или трактор. Парадокс заключается в том, что нельзя указать, какой именно шаг на этом пути будет ошибкой, ведь каждый из них приближает нас к идеалу эффективности, хотя идеалом этим называется существо уже совершенно нечеловеческое.

Коль скоро такого момента, такой последней границы нет, к чему, собственно, этот сизифов труд, растянувшийся на многие поколения? Если уж мы переделываем не самих себя, а потомство, не проще ли и не лучше ли сразу усыновить цифровую машину, а то и целый вычислительный центр? Ведь раскладка процесса оптимизации на целый ряд поколений — обыкновеннейший камуфляж, программа видового самоубийства в рассрочку; так чем же рассроченная самоликвидация лучше немедленной? Лишь тот, кто согласен усыновить вычислительный центр на ногах (или на воздушной подушке), может без опасений и оговорок приступить к переделке собственного потомства ради создания совершенных правнуков. То, что кажется нам полным абсурдом, — усыновление какого-нибудь бронированно-кристаллического организма, с которым можно толковать о земных и небесных материях, — выглядит уже не столь абсурдно, если переход от естественного состояния к оптимизированному будет длинной серией небольших изменений, растянувшейся на многие поколения; но абсурд становится очевидным, если подвести конечный итог. Разве автоэволюция — это курс излечения от вредной привычки к своему человеческому естеству? Не все ли равно, *какая* цифровая машина окажется нашим потомством — построенная с начала до конца инженерами или пропущенная сперва через живую матку, а потом через какие-нибудь утераторы?* Давая согласие на автоэволюцию, мы соглашаемся упразднить собственный вид и передать наследие цивилизации существам во всех отношениях нам чуждым, ибо мы несовершенны, смертны, ограничены в мышлении и во времени; так пусть же сторонники совершенства избавят себя от лишних хлопот, одним махом усыновив всю мыслящую технологию планеты. Почему, спрашивается, нас должны заменить отдельные системные единицы, ведь еще эффективнее был бы всепланетный кристаллический мозг, наш потомок, наследник и продолжатель!

Ксиксокт в полемическом пылу утверждал, что поборники автоэволюции подобны убийце, который убивает жертву не сразу, а постепенно, малыми дозами яда, чтобы привыкнуть к зрелищу агонии. Его иронический лозунг «Генженеры всех стран, усыновляйте компьютеры!» серьезно дискредитировал эту грандиозную программу. На каждый выпад генженеров у него был готов ехидный ответ. «Они хотят сохранить внешнее сходство усовершенствованных существ с

* От латинского uterus — матка.

нами! — восклицал он. — Но что это доказывает? Всего лишь искусность в изготовлении фальсификатов! Такое сходство должно успокоить умы: мол, усовершенствованы только невидимые глазу внутренности, а все прочее остается без изменений. В таком случае начините манекены компьютерами, и дело с концом!»

Генженерия, доказывал он, становится тем абсурднее, чем меньше у нее ограничений. Тот, кто овладел лишь искусством мелкой ретуши, немногим владеет и ничему не угрожает. За такого рода улучшениями кроется надежда на лучшую жизнь, которую мы обеспечим потомству. Генженеры ссылаются на то, что нашими предками были зеленушкоядные птицы и крупные болотные нелеты, на которых мы не слишком похожи телом и духом. И раз в этом прадавнем переходе от низшей, птичьей, стадии к высшей, разумной, мы ничего дурного не видим, то надо по аналогии решиться на следующий шаг!

Аналогия эта ложная, сходство — мнимое; пернатые предки энциан не стояли перед каким-либо выбором, а мы стоим. Их привилегией было невежество и бессознательность; и то и другое мы утратили бесповоротно. Отбрасывая свою смертную оболочку, мы отбрасываем себя самих; и тут таится еще одна беда — неслыханная свобода в проектировании улучшений. Улучшения возможны многочисленные и самые разные. Поэтому будут соперничать между собой всевозможные проекты Homo Novus Entianus*, и выбрать придется какой-то один из них (иначе неминуемо столкновение разных образцов между собой). Это значит, что мы получим потомство по общему уговору; но, договорившись, что наши дети должны быть такими-то и такими-то, мы обманем сами себя — какая разница, прилетят ли они со звезд, чтобы овладеть Энцией, или вылезут из реторты? Самоуничтожение можно, разумеется, рассмотреть, как и любую другую возможность, но без иллюзий и вводящего в заблуждение грима.

Я написал столько об этой философской войне потому, что она, как утверждают историки, имела ключевое значение для создания этикосферы. Понятие Бога претерпело в ходе энцианской истории не совсем обычную эволюцию. Первоначально Бог отождествлялся с Природой: она была Им, Его совершенным воплощением, одним из ряда других. Небесные тела были Его членами, живые существа — высокими и низкими мыслями. Наивысшими мыслями были разумные существа, то есть сами энциане. Это самообожествление по-

* Нового энцианского человека (*лат.*).

стоянно требовало объяснений — может ли быть, что одни Божьи мысли несогласны с другими и даже убивают их? Объяснение было простое: будучи Всем, Господь может иметь всевозможные мысли, следовательно, и дурные, которым противостоят добрые, ведь если бы он имел одни только добрые, то не был бы Полнотою Всего. До тех пор пока религиозные институты отождествлялись с государственными, этого толкования было достаточно, поскольку власть, светская и духовная одновременно, определяла, какие Божьи мысли (то есть какие граждане) плохи, а какие хороши. Однако в лоне этой пантеистической официальной религии зародились ереси мизиан, теокриптов и сервистов. Согласно теокриптам, Господь воплощается в людей лишь самой низкой частью своего естества, и задача их — совершенствоваться, благодаря чему они становятся все более возвышенными частями ума Господня. Они не могут ни понять Его, ни вообразить Его целиком, как палец не может представлять все тело, а одна мысль не в состоянии охватить весь разум. Согласно мизианам, Бог по природе своей — существо «нечеловеческое», однако не в том смысле, в каком это понимали преследователи мизиан (будто бы Он, в свете их учения, просто дурен), но в том смысле, что Господь обращен к непостижимым материям, а церковь есть не что иное, как компас, согласующий направление людских умов с неисповедимыми путями Господними. Сервисты же считали Бога Творцом посюстороннего мира прежде всего — чем бы он ни занимался сверх этого, и потому возлагали на него полную ответственность за все на свете. Бога надлежало любить и быть ему благодарным в такой — небеспредельной — степени, в какой он нес эту ответственность, ибо (как пояснил в простоте своей Миксикикс) сапожник, который создал бы миллион чудесно поющих тучек и пару дрянных башмаков, будет плохим сапожником, как бы дивно эти тучки ни пели. За это его разорвали на куски раскаленными щипцами пред императором Сксом. (Скс гордился своим коротким именем, но это статья особая, и я думаю, что разумнее будет обойти молчанием всю ономастику энцианских родовых прозвищ и связи между именем и занятием энцианина.)

Кроме перечисленных выше главных, были ереси менее важные, например фрагистов, считавших, что Бог сотворил мир, но творение удалось ему не вполне: будучи бесконечно добр, он не хотел приневоливать сотворенных к чему бы то ни было, а значит, и к одному только добру, а потому дал им больше свободы, чем они могли вынести. Доктрина эта (как

говорят) ближе всего напоминает учение о первородном грехе и порче природы человека, с той только разницей, что вину за порчу праэциан она возлагает на доброту Господню, вступившую в противоречие с Господним искусством творения. Ибо фрагизм неявно предполагает, что Бог *не* может создавать вещи, друг другу противоречащие, — например, сочетание абсолютной доброты с абсолютной свободой воли; тем самым оказывается, что над Богом властвует логика, которая не допускает одновременного существования логически исключających друг друга состояний, и это определяет пределы Всемогущества, — впрочем, создатели ереси не отдавали себе в этом отчета.

Начало Нового времени энциане датируют 1811 — 1845 годами. Явность — или, скорее, дословность — всего происходящего в империи перестала существовать в годы правления четырех Лжексиксаров, прозванных логократами. Начавшаяся сожжением всех хроник вместе с хронистами, логократия достигла такого совершенства, что истоков ее с точностью установить нельзя. Среди апокрифов, повествующих, как было дело, выберу наугад увардский. Ксиксар, очередной монарх из династии Ксиксов, будто бы имел привычку всякий день перед первой трапезой убивать в дворцовом зверинце давно не кормленного и потому разъяренного курдья. На глазах главного императорского доезжачего курдль будто бы зашвырнул кесаря в пустой колодец, или, может, сам Ксиксар прыгнул туда, спасаясь от зверя, а тот наполнил яму уриной, чтобы заставить кесаря всплыть. Доезжачий убил чудовище и спас государя, но тут же смекнул, что заплатит за это жизнью, ибо кесарю, по соображениям государственной пользы, придется казнить своего спасителя — свидетеля его позора. Поэтому доезжачий, привыкший на охоте действовать быстро, забросил Ксиксара обратно в заполненный до краев колодец и продержал его там сколько понадобилось, после чего сам вступил на трон в качестве Ксиксара. Эта история — не обязательно чистая выдумка, если допустить, что он поменялся одеждой с убитым; дело в том, что энциане той эпохи закрывали лицо, как мы закрываем срамные части тела. Правда будто бы вскоре вышла на свет, однако немало могущественных вельмож приняло сторону Лжексиксара, видя в том свою выгоду. Действуя необычайно искусно, объединяясь с одними против других, он упрочил абсолютную власть абсолютным переименованием всех *наименований*, прямо или хотя бы косвенно связанных с правлением. Сам ли он утверждал, что нет никакой разницы между правлением. Сам ли он утверждал, что нет никакой разницы между

правлением. Сам ли он утверждал, что нет никакой разницы между правлением настоящего Ксиксара и бывшего подметальщика зверинца, или же это ему подсказали циничные советники, неизвестно. Логократию именовали политическим продолжением истины; Лжексиксара — просто Ксиксаром, якобы никогда не умиравшим; он принял титул Первого Народолюбца и отменил смертную казнь, а также обычные в судопроизводстве пытки; однако же лица, неудобные императорскому двору или полиции (которая, впрочем, именовалась уже Товариществом Насаждателей Общественного Добросердечия), исчезали неведомо как или становились жертвами несчастных случаев, а так называемых Вредоносцев, или Злопыханцев, мучениям подвергали разбойники (которых науськивали, по слухам, Насаждатели Добросердечия). Одновременно пришел конец объявлению войн, а потом и самим войнам, ибо имперские хронисты говорили лишь об отпоре вражеским проидам; тому, что проида эти были делом десятка стран, меньших, чем провинции империи, никто не удивлялся, а если бы и удивился, то недолго. Особенно заядлых мучеников, именовавшихся гадами-ретроградами, народ сам затапывал посреди города, и говорят, что с немалым усердием. Не удалось установить, как долго правил Лжексиксар, поскольку официально о его кончине объявлено не было. На протяжении двухсот лет о смерти очередных монархов умалчивалось, как о чем-то несоответствующем высшему порядку вещей.

Люзанские политологи поясняют, что правление Лжексиксаров есть частный случай всеобщей в Галактике закономерности. Любая цивилизация, по крайней мере частично, проходит стадию *верозии* — эрозии истины, хотя необязательно именно в этой, логократической форме, как было у энциан. Верозия принимает различные формы, но появляется всегда в определенную историческую эпоху, а именно в эпоху эмбриональной индустриализации. Лишаясь сакрального ореола, власть слабеет и ищет опору в административной иерархии, а та создает *миражи* (фата-морганы) общественных отношений, идеализирующие действительность в степени, соответствующей интенсивности верований на данный момент, только верования эти бюрократические, а не религиозные. Этот феномен иногда называют самообманывающимся обманом, или автофатаморганой. Веру в сверхъестественное могущество правителей заменяет полиция, а процесс обращения информации приобретает такое значение во всех сферах жизни, что трудно устоять против соблазна монополизировать его. Экономическая и информационная монополии различны по объекту присвоения, но сходны,

если речь идет о последствиях: и то, и другое вызывает социальные колебания. Преобладают при этом либо экономические колебания (рост — кризис), либо информационные (истина — ложь). Утешение выдумкой — простейший стабилизатор социальных структур; впрочем, он имеет ту хорошую сторону, что тревожные ожидания, проистекающие из знания истинного положения дел оправдываются далеко не всегда, а значит, припрятывание отрицательных фактов под сукно способствует сбережению нервов. Но тут легко перегнуть палку. Синдром автофатаморганы (самозаговаривания) означает, что производители вымысла сами заражаются вымыслом; это может привести к полному внутреннему отражению и поглощению в процессе бюрократизации, к социопсихозу (одно говорят, в другое верят) и другим, еще более сложным патологическим информационным синдромам. В нормальной (усредненной) цивилизации загрязнение информационной среды ложью достигает 10—15%; если оно превышает 70%, появляются «дребезжащие колебания» с циклом 12—15 лет, а при загрязнении свыше 80% отфильтровать чистую правду уже невозможно, и начинается коллапс. Чтобы его избежать, необходимо *polens volens** замораживать науку, так как ее развитие вступает в противоречие с развитием верзии. В конце концов оба эти процесса решительно расходятся — возникает «развилка Сиракуса» (по имени социоматика, который ее открыл). Приходится жертвовать либо прогрессом науки во имя верзии, либо наоборот; допускать возможность существования замкнутого анклава истины посреди царящей лжи, некоего островка настоящей науки в море дезинформации, — значит, предаваться опасным иллюзиям. Такое состояние нигде не сохранялось свыше 90, в крайнем случае — 100 лет. Устойчивый компромисс между верзией и наукой невозможен. Кто пробует ставить Богу свечку, а черту огарок, остается на бобах, получая в результате никудышную ложь и никудышную науку. Глушение колебаний ведет к «бокловому соскальзыванию» в иррационализм, псевдокретинизм и т.д.

Чем больше цивилизационное ускорение, тем труднее держать порознь информацию и дезинформацию; общество в целом начинает колебаться между двумя крайними состояниями — псевдореальностью и псевдоверой. Экономические циклы накладываются на информационные, а так как они не совпадают по фазе, возникает интерференция, вызывающая резонанс и дребезжание. Такие дребезжащие колебания начались в Люзанской империи на исходе XIX века и буквально

* Волей-неволей (*лат.*).

раскололи ее, наподобие мощного звука, который, резонируя с собственной частотой стакана, раскалывает его вдребезги. Люзания пережила две революции, разделенные несколькими десятилетиями смуты (историографы именуют ее Хаотическим Анархизмом). Курдландию эти потрясения не затронули, поскольку она, намеренно или случайно, предпочла вероизию панверизму, что как раз и нашло выражение в ее полной социальной стагнации; действительно, говорит Тетрарксикс, не потому сидят члаки в безотрадных своих скотинах, что ни о чем ином уже не мечтают, но напротив: они не мечтают уже ни о чем, потому, что плотно закупорены в курдях; заниматься наукой даже в самом большом желудке невозможно, и именно это спасает политоход от нарастающих колебаний и окончательного распада.

После этой экскурсии в галактическую политологию вернемся, однако, к нашим баранам, вернее, овечкам, коль скоро речь идет о делах веры. Церковь — скорее всего, бессознательно — высказалась за веризм и против вероизии, так как ее гилоистическая доктрина усматривала в каждом новом открытии и изобретении доказательство собственной правоты: раз машины могли освобождать энциан от тяжкого труда, а полезные ископаемые облегчали их существование, значит, Господь действительно сотворил Природу служанкой разумных существ, скромно ожидающей, пока ее позовут. Ведь сам Всевышний окружил их средой, которой можно овладеть, и снабдил разумом, сумевшим совершить это. Они — пожалуй, не слишком обдуманно — на первый план выдвинули ту сторону Природы Господней, которую можно назвать «услуживающей» по отношению к Сотворенным; вот почему в истории Энции известны многочисленные конфликты между политикой и наукой, но почти никаких — между наукой и религией. И это тоже было причиной готовности, с которой энциане встретили самые первые проекты создания этикосферы — среды обитания, облагороженной научными методами. Такая среда, хотя и полностью искусственная, построенная по правилам психотехнологии, а не по заповедям церкви, находилась тем не менее в полном согласии с этими заповедями, поскольку задумывалась как воплощение замысла Божия. Господь предоставил им эту возможность — возможность полностью искоренить преступления, проступки, нужду, катастрофы — словом, любое социальное зло; он хотел, чтобы они собственным трудом и собственным промыслом добились того, что он предназначил им изначально, однако не навязал в виде готового Рая, оставив за сотворенными право совершенно свободного выбора.

Главную религию Энции можно и впрямь считать более «материалистической» и в то же время — менее «бухгалтерской», чем христианство. Ведь она помещала Царствие Божие на Этом Свете и не добавляла к нему Того Света, в котором будет дан полный расчет грехам и заслугам. Быть может, возможность привязки рая и преисподней к каким-то вертикальным пространственным координатам потенциально содержалась в гилоизме (так называется господствующая религия, только, ради Бога, не требуйте, чтобы я объяснил происхождение этого слова, — возникло оно исторически, а значит, чрезвычайно окольным путем; для сути же дела это совершенно безразлично), но на Энции она не смогла осуществиться, потому что рай был помещен здесь не в начале, а в конце истории Сотворения. Что касается меня, то я всегда хотел услышать от компетентных лиц, как обстоят дела с раем, который земная Церковь обещает праведникам: тот ли это Эдем, откуда были изгнаны прародители? Но всякий раз, когда подворачивается оказия, забываю спросить. Вроде бы тот вступительный рай был несколько скромнее посмертного.

Надежда на вечную жизнь проявлялась в канонах веры только в виде неясных мечтаний, в древности, когда энциане заметили свое сходство с крупными пернатыми южного загрязя; у умерших будто бы вырастали крылья, на которых они отлетали в небеса; однако ничего похожего на ангелов не появилось в иконографии. Не имею понятия почему. Как видно, здравый рассудок мало на что пригоден в вопросе столь деликатном, как ангелология. Гилоизм не позволял вынести рай за пределы мира сего: согласно главному положению веры, Бог даровал сотворенным безграничные возможности улучшения условий своего бытия, и можно было, оставаясь в согласии с Церковью, полагать, что верующие своими руками добьются бессмертия на Этом Свете, если только не уклонятся от правильного пути.

Земные теологи, в особенности христианские, упрекают гилоизм в недостаточной глубине: действительно, нет в нем Тайны наподобие Грехопадения, Изгнания из Рая и несущего надежду Искупления. Энцианские теологи отвечают на это, что их религия с самого начала предполагала соответствие замысла Господня природе Творения — Господь что хотел, то и сотворил. Но теология энциан имеет еще более существенное отличие от христианства и других великих монотеистических религий: она не настаивает на единственности Откровения. Согласно землянам, говорят гилоисты, Бог открылся первым людям прямо и тем самым ограничил их неуверенность отно-

сительно Его решений и Его особы, — но не ограничил свободу воли, что и стало причиной Грехопадения. Так утверждают иудаизм и христианство, расходясь с другими влиятельными религиями, особенно ближне- и дальневосточными, в которых столь недвусмысленного Откровения не было или оно носило иной характер. При таком множестве религий согласовать что-либо они не пытались, и каждая церковь считает себя исключительной хранительницей Божественной истины, а все остальные вероучения — заблуждением. Энциане же — потому ли, что по природе своей они более склонны к рациональному мышлению, или по каким-то иным, неизвестным причинам — многообразию верований положили в основание теологии. Господь, считают они, не ограничивает ничьих поступков и помыслов. Пожелав наделить Сотворенных наивысшей свободой, Творец как бы укрылся от них, и открыть его можно только посредством размышлений о бытии. Если бы было иначе, утверждают гилоисты, если бы Бог действительно открылся людям, он сделал бы это так громко и однозначно, что содержание Откровения было бы повсюду одно и множества религий не возникло бы. Что Бог существует, говорят они, видно из космической всеобщности Теогоний, а то, что он не установил одного-единственного пути к себе единственным подлинным Откровением, но молчаливо соглашается на множество ведущих к Богу путей, следует из факта множественности вероучений. Кто верует, не ошибается, но ошибается тот, кто мнит себя обладателем единственной Возвещенной с Небес истины. Земные теологи отвечают на это, что вышеуказанное рассуждение можно и должно применить к самому гилоизму, который ни за одной религией не признает права на исключительное обладание истиной, а значит, он и сам ею не обладает. Этот спор, заметил некий доминиканец, низвергает нас с небес веры в преисподнюю парадокса. По мнению люзанцев, Земля находится на более низкой стадии богостремительного движения, нежели Энция, где давно уже нет противоречащих друг другу религий. Тут наши снова указывают на существенную роль насилия в религиозном объединении энциан, но на этом месте я оборву затянувшийся спор об Откровении.

Тамошняя церковь довольно радушно встретила появление рассудительных служащих машин, считая во всех отношениях благотворным, чтобы бездушные манекены избавили живые создания от непосильного труда; поэтому неприятным сюрпризом оказался бурный рост машинного интеллекта, особенно когда машины потребовали полного равноправия с эн-

цианами, включая право на приобщение к церкви. Роботы эти, по-местному ардриты, ссылаются на учение церкви, однако толкуют его шире, чем церкви того бы хотелось: они утверждают, что энциане построили их, ибо того пожелал Господь, сотворив мир таким, чтобы в нем *можно* было конструировать одухотворенные машины, тем самым переставшие быть машинами. А если бы не пожелал, никто ничего подобного сделать не смог бы. Мне это кажется убедительным, и для тамошней церкви тут мало приятного; выпутаться из затруднения помогла ей не собственная богостроительная индустрия, но появление одухотворенных систем некомпьютерного образца, а именно шустров. За каких-нибудь несколько десятков лет роботы исчезли; впрочем, это эвфемизм, и за ним скрываются ужасные события, нередко называемые киберноцидом. Энциане сами пальцем не тронули ни одного ардрита? Тоже мне оправдание. За них зато взялись шустринные системы; ведь дозжачий тоже не сам гонит зайцев и рвет их не собственными зубами и когтями. В лесах и пещерах творились будто бы ужасные вещи, и были, говорят, энциане, готовые скорее погибнуть вместе со своими ардритами, нежели выдать их на разборку. Удивительно, до чего это напоминает мне кое-какие моменты из нашей истории. Случись нечто такое у нас, пожалуй, нашлись бы охотники выставить роботов виновниками всяческого зла, новейшим воплощением лукавого. Мне скажут, тут и говорить не о чем, все это чистая абстракция; но то, чего пока не было, может еще случиться.

Добрым отношениям между религией и наукой немало способствовал птерогенезис энциан; не случайно, когда их естествоиспытатели обнаружили этот факт, шуму было не в пример меньше, чем у нас после дарвиновских обезьяньих сенсаций. Обезьяноподобный предок с самого начала стал причиной жгучей обиды: ведь у земных народов обезьяна с незапамятных времен считалась карикатурой на человека, и карикатурой отнюдь не дружеской. Обезьянничанье, то есть передразнивание, — оскорбительное словечко во всех языках, Мало какое животное так плохо подходит для идеализации, как обезьяна. А вот на Энциии пернатые предки никого не смущали — ни в светской, ни в духовной среде; их жилищем по традиции считалось небо, так что энцианская церковь учение о птерогенезисе могла считать научным подтверждением своего собственного учения: праэнциане как бы сошли с небес на землю. Столь стройный дуэт науки и веры был лучшим подтверждением истинности их обеих; именно так Господь давал знать, что предположения энцианских уче-

ных и богословов были одинаково справедливы. Раннее создание эволюционного учения ускорило развитие естествознания, и в конце XX века энциане дошли до генженерии; тогда же появились первые образцы ардритов. Весьма характерно, что не теология, но философия первой выступила в защиту неприкосновенности естественного тела, как я уже говорил, когда цитировал Ксиксокта. Злые языки утверждают, что теология привлекает умы не самого высокого полета, в отличие от философии, ведь в первой окончательный результат исследования известен заранее, а во второй выступает как абсолютная, никем не предустановленная загадка; и отсюда будто бы проистекала ребяческая беспомощность теологов-гилоистов перед лицом программы автоэволюции и даже прямое ее одобрение. Телесное усовершенствование энциан, казалось бы, прямо вытекало из основного догмата о мире как материале, который Господь обработал и отдал во владение людям, чтобы те воспользовались им с наибольшей для себя пользой. Они были частью Творения, так почему же их самопеределка в погоне за совершенством неуютна Богу? Ксиксокт и ему подобные, однако, восстановили общественное мнение против этой слишком уж доверчивой веры.

Что же еще? Наши теологи говорят, что энциане отказались от вечности, а они нам — что христианство пренебрегло земной жизнью, сочтя ее залом ожидания или просцениумом Того Света, о котором, как ни толкуй, ничего не известно с такой достоверностью как об Этом Свете, а ведь создал его, по единодушному мнению обеих планет, Господь, так что трудно представить себе веру более странную, нежели вера, усматривающая в Творении Божьем времянку, подлежащую сносу на Страшном Суде. Какие претензии, говорят они, какая гордыня под маской смирения — вместо того чтобы удовольствоваться Господней синицей в руках, домогаться жаворонка в небе, где будет больше комфорта и вечные трюфели! Энцианские богословы считают достаточным основанием для заботы лишь об Этом Свете его доступность смертному разуму. А будь это неуютно Господу, разум противостоял бы миру, но не смог бы его познавать и овладевать таящимися в нем сокровищами и могучими силами. Что дело обстоит именно так, доказывает обращенность Творения к существам разумным, хотя обращенность эта не равнозначна простому переводу стрелки на путях, ведущих напрямиком в посясторонний планетный рай. Вообще говоря, тамошние теологи проявляют немалую сдержанность при обмене межцерковными декларациями, но можно найти и таких, кто заявляет, подоб-

но Ксиксу Ксассу, что мировое зло в нашей теодицее — это не зло «в чистом виде», но зло, неустранимым образом сросшееся с сексом. Ксасс утверждает, что человек с незапамятных времен знал, вернее, смутно догадывался об этом, но не хотел признаться себе самому и лишь отрекся от сознания «виноватости без вины» фразой об «испорченной в колыбели природе человека».

Здесь в рассуждениях Ксасса о земных делах появляется обезьяна. Из демонологической иконографии известно, сколь далеко заходит сходство дьявола с обезьяной: у него ведь тоже есть хвост, и шерстью он покрыт, как крупные антропоиды, и череп у него вполне обезьяний, скошенный, и зубы тоже — хотя бы на средневековых картинах с изображением Страшного Суда; конечно, художники фантазировали, но почему они брали за образец именно обезьяну, а, допустим, не хищных птиц? Почему птичьими атрибутами наделялись обычно безгрешные существа, например ангелы? Почему не только руки, но и ноги изображаемых дьяволов были *цепкими*? Почему дьяволы ходят на двух ногах, как высшие обезьяны, а не на четырех, как, скажем, драконы? Нерелигиозные энцианские антропологи считают эту концепцию ошибочной, поскольку речь в ней идет об иконографии лишь одной земной веры, ведь даосизм или буддизм не знают европейских воплощений зла; но тех, кто интересуется крайностями, я отсылаю к «Сравнительной анатомии дьявола», изданной Институтом Святой Гилоистики в Урксе, патроном которого является все тот же люзанский теолог; если он даже и заблуждается, то весьма любопытным образом.

Вернемся к материям более важным.

В то время как в сфере христианской культуры новая эра, датируемая рождением Христа, была сплошным ожиданием конца света и Страшного Суда (причем первые христианские общины ждали этого конца с минуты на минуту, а более поздние — с растущим опережением во времени, пока наконец Страшный Суд не отодвинулся куда-то в неведомое грядущее), энцианское средневековье, не знавшее ни эсхатологического трепета, ни эсхатологических упований, ожидало чего-то совершенно иного — неведомых перемен и оборотов судьбы, которые исполнили бы обещанье Господне, что Его попечением, но своими руками народ победит нужду, увечья, голод, заразу, а в конце концов и смерть. Так что хотя и у нас, и у них ожидали, но ожидания эти различались между собой, как небо и земля.

Только этим можно объяснить, откуда, собственно, взялись

у энциан зачатки фелицитологии и гедонистики как доктринальных дисциплин, сначала церковных, а затем все более светских, — дисциплин, имеющих целью отыскание условий частного и всеобщего блаженства. Свой вклад внесла в эту ориентацию и биология энциан, препятствовавшая перерождению потребления в злоупотребление, ибо над энцианами не висит дамокловым мечом со множеством лезвий эротическая оргиастика: они хотя и способны находить удовольствие в жестокостях, однако без сексуального компонента, которого на Энциии нет и быть не может. Есть только та неизгладимая печать, которую на все разумные (будто бы) существа накладывает хищническая стадия эволюции, то есть приобщение к кровопролитию как непереносимое условие возникновения разума.

В истории гилоизма были расколы и была схоластика, однако непохожие на земные. Не имея нужды ломать себе голову над проблемами, с которыми мучились наши схоласты — как устроен рай и как преисподняя, куда идут души некрещеных младенцев, что происходит в чистилище, чем живущие могут помочь проклятым временно или навечно, сколько ангелов усядется на булавке, — их богословы создали схоластику, которая подошла в самый раз, когда появилась технология зарешечивания зла и насаждения добра. Правда, тысячу лет спустя раздались голоса, что эта дотехнологическая гедонистика приблизила фатальный исход — слишком легко и даже восторженно ее приверженцы принялись за осуществление предложенных теологами планов. Но это, по мнению специалистов, упрощение: абсурдно считать, будто технология заимствовала программу действий у теологии.

Трудно рассказать о фелицитологической схоластике в двух словах, ведь ей посвящены груды древних книг и рукописных трудов, создававшихся столетиями. Церковные гедологи, изучавшие проблематику всеобщего осчастливливания, старались сначала установить, сколько имеется родов блаженства и чем оно вызывается. Одно дело — кратковременные наслаждения, другое — *status delectationis** или, наконец, благодат. Подобных различий было установлено множество, но в общем виде принято говорить о максимуме и минимуме добра. Минимум равняется всего лишь полному отсутствию зла, а максимум — это полное счастье. В качестве курьеза упомяну о теории доктора гедоматики Скиррукса: *ощущение* максимума не совпадает с действительным максимумом, но имеет два пика — в фазах предвосхищения и ретроспекции,

* Состояние наслаждения (лат.).

то есть перед самой вершиной кривой интенсивности благих ощущений и сразу же после нее; тот, кто на самой вершине, об этом не знает; осознается это лишь при ожидании и воспоминании. Уже отсюда видно, сколь непроста была гедонистическая схоластика. Перечислю лишь названия некоторых разделов Codex Felicitanicus, своего рода лексикона утешения (XIII век): «Почти-соприкосновение облегчения и счастья», «Утешение постепенное и внезапное», «Блаженство аскезы при скачкообразном отказе от нее», «Инфинитезм счастья» (это было, говорят, очень важное, но забытое позже открытие — что вскоре по достижении счастья начинает падать восприимчивость к благим ощущениям, и для ее поддержания на должном уровне необходима психоаккуптура). Особо стоит так называемая «Черная семья счастья» — упоение тиранством, измывательством, вставлением палок в колеса и пытками; речь идет о счастье, проистекающем из несчастья других. Сюда же относится пантокластика (радость от уничтожения чего-либо) — бредово-химерическая (это уже, в сущности, область интересов психиатрии), вырожденческая и самоубийственная, или суицидальная. (Какой-то средневековый монах придумал альтруцидальные забавы, то есть утешения, проистекающие из успешного склонения ближних к самоубийству: пережить другого — уже удовольствие. Следует подчеркнуть, что монах этот вовсе не обязательно был исчадием ада; просто его орден — фелицитов — исследовал все, что может служить утешением, невзирая на моральную оценку исследуемых явлений.) Каталоги старинных собраний церковной гедонистики сами по себе представляют захватывающее чтение: из них видно, что нет такого несчастья, которое при определенных условиях не могло бы стать для кого-нибудь источником сладостных переживаний. Всевозможные оттенки счастья, приобретаемого достойным и недостойным путем, исследовали братья фипрактианцы; сам Фипракс, говорят, велел подвергнуть себя мучениям по самой изощренной методике, дабы установить, нет ли случайно и тут хотя бы крупицы душевного удовлетворения, и был за это причтен к мученикам науки.

Экуменизм пока что не стал межпланетным, поэтому не счесть филиппик наших теологов против гилоизма; но я опять-таки ограничусь одним лишь примером — критическим разбором энцианских представлений о Творце как «Бог вещей», которому сотворенные служат, служа сами себе, что будто бы сводит их религию к подысканию высших оправданий коллективного эгоизма, а в лучшем случае — к доктрине

такого усовершенствования общества, которую мог бы полностью-принять любой атеист. Возражение это, отвечают энциане, есть следствие нестыковки и расхождения понятий, возникших в различных мирах. Гилоизму не чуждо понятие совершенно бескорыстного служения Господу. Но, начиная с Нижнего Средневековья, с Первого Собора, обязательное для верующих служение Богу может выражаться не иначе как в образе их жизни. Отцы энцианской церкви в своих энцикликах разъясняют, что не только имени Божия не следует упоминать всуе, но нельзя просить Всевышнего о чем бы то ни было. Можно лишь возносить Ему хвалу, да и то молча, без слов — в душе. А просить Его о чем-либо нельзя: это было бы проявлением либо детской наивности (в чем нет греха), либо недостаточной веры. Тот, кто сотворил мир, не интересуется сиюминутностью; жизнь каждого существа вместе с неведомым будущим для него открытая книга, ибо Господь пребывает вне времени. Его атрибут — непреходящая вечность. Он создал мир, вместе со всеми его звездами и обитателями, то есть призвал его к бытию таким, каким хотел его видеть, — каждую галактику и каждую пылинку. Поэтому было бы чем-то ребяческим или предосудительным требовать от Него любых изменений, поправок, услуг, вмешательства или невмешательства во благо личностей или групп.

Как видим, известный и нам запрет на обращение к Господу всуе энциане довели до крайнего выражения, что нам уже не вполне понятно. По их убеждению, попытки повлечь на волю Господню просьбой, молитвой и даже помышлением есть свидетельство веры слабой и неразумной, ведь они означают несогласие с промыслом Божиим и недоверие к Его милосердию. При постоянных ценах незачем торговаться, и никто в здравом уме этого не делает, а если и делает, то лишь из любви к самому торгу; и хотя энцианским теологам прекрасно известно о психотерапевтическом воздействии молитвы, о чувстве облегчения и надежды, которое ей сопутствует, они, однако же, видят пагубное сомнение именно в том, в чем наши богословы усматривают заслугу. Кто не сомневается, сказал Отец Хиксион Второй, тот ни о чем не просит. Напоминать Господу о себе — значит относиться к Нему как к заблокированной в час пик телефонной станции; молиться — все равно что тыкать в розетку и стучать по аппарату, а горячо молиться — значит повышать внутренний голос до крика, чтобы тебя услышали. Все это ставит под сомнение абсолютное, а значит, не могущее быть улучшенным Всеведение и Всемогущество Добра. Думать, будто Господь вечно

смотрит в другую сторону, не туда, где находится просящий, могут только младенцы. Если же Он все видит и обо всем всадает, незачем лезть Ему на глаза и добиваться Его внимания торжественными обетами и высочайшей концентрацией набожности: Господь способен всмотреться в нас куда глубже, чем мы сами с нашими молитвами и обетами. До Второго Собора еще разрешалось молиться за других (не за себя); потом — уже нет. Конечно, при этом пришлось отказаться от психологического облегчения, достигаемого молитвой; однако в противном случае, утверждают энциане, эгоизм, то есть забота каждого о личных делах, восторжествовал бы над верой в непогрешимость Всевышнего. Служение другим и есть служение Богу, ибо тем самым исполняется замысел Творения, понимаемый как движение к совершенству.

Представляется непонятным, как могла сохраниться неизменной доктрина веры в условиях слияния духовной и светской власти, — казалось бы, вероучение должно было меняться в соответствии с интересами правителей, как это было у нас на Земле (именно таково, например, происхождение англиканской религии). Немалую роль сыграл тут устремленный в грядущее догмат о «посюстороннем рае», который будет построен не раньше, чем появятся необходимые для этого средства. Такое кунктаторство, проистекающее из самой догматики, то есть признание неизбежности оттяжки в деле усовершенствования общества, можно считать обычным ухищрением власти — отвлечением внимания от каждодневных бед и забот, и именно в этом упрекали церковь энцианские свободомыслящие, а также еретики. Во всяком случае, «встроенное в веру запаздывание исполнения желаний» немало способствовало распространению в обществе настроений молчаливого выжидания, когда у власти оказывались чудовища вроде троих Лжексиксаров (не знаю, почему принято говорить именно о троих, коль скоро ни об одном в отдельности ничего не известно; но думаю, что по меньшей мере столько же неясностей встретил бы энцианин в нашей всеобщей истории). Вряд ли тамошние священники и богословы имели возможность хоть как-то предвидеть развитие, или, лучше сказать, *возникновение* науки (ведь ее еще не было и в помине), которая позволила бы энцианам реально взяться за исполнение заповеди «усовершенствования Этого Света». Похоже, однако, что они, хотя и не могли ожидать ничего подобного на основании знаний, которыми располагали, верили в это не менее твердо, чем христиане — в спасение после смерти.

Влияние веры, сдерживавшее общественное развитие, стало ослабевать в народе к началу XXII столетия. Предложение товаров возрастало, социальная пирамида все более сплющивалась, и, как это обычно бывает при индустриальном скачке, все начало ускоряться: производство, торговля, коммуникации, миграция населения. Умеренное благосостояние стало вполне достижимым, и именно это подорвало фундамент веры. Так, по крайней мере, утверждают историки. Народ ждал обещанного церковью исполнения желаний, исполнения тем более полного и великолепного, что никто не представлял себе, как оно должно выглядеть, а зачаточное благоденствие, которого уже удалось вкусить, разочаровывало, как если бы все вдруг подумали: «И это все?» Тогда-то и началась мировая война, удивительная тем, что она до конца оставалась государственной тайной.

Называют ее по-разному — «утаенной войной», «дивной войной», и уж меньше всего можно узнать из люзанских источников о противнике, с которым велась эта тайная схватка. От самого же противника узнать вообще ничего нельзя: по прошествии двадцати с чем-то лет он бесследно исчез, словно его и не было никогда на планете. Даже само название вражеского государства не сохранилось сколько-нибудь надежно. Известно, что размерами оно не уступало Люзании, располагалось на антиподах, у Южного полюса, на Цетландском континенте, и что люзанцы называли его Черной Кливией, а курдландцы — Голивией. От него ничего не осталось, кроме пустыни с уходящей на несколько сот метров вглубь вечной мерзлотой. Люзанское правительство установило на этой вымершей, выморочной территории бессрочный карантин и не позволяло — во всяком случае, согласно доступным источникам — ни одной научной или военной экспедиции ступить на землю Цетландии. Наши люзанисты строят по этому поводу многочисленные догадки, но сколько-нибудь отчетливая картина не складывается.

Черная Кливия, или Голивия, никогда не объявляла войну Люзании, не вступала с ней в вооруженный конфликт, но пыталась овладеть всею Энцией потихоньку, исподволь, окольным путем. Ее обитатели, правда, были тоже энциане, но другой расы и чуть ли даже не другого вида. Когда орды кочевников по экваториальному перешейку пробирались из Тарактиды в Цетландию (примерно тогда же, когда другая их часть проникла на вулканическое плоскогорье на севере Тарактиды, где впоследствии суждено было возникнуть Люзании), — после ряда природных катаклизмов разверзся глубо-

кий подводный ров, отрезавший друг от друга соединенные доселе материки; так началось великое разделение праэнциан, и через каких-нибудь сто тысяч лет покорители Цетландии изменились физически под влиянием суровых условий этого полярного континента. Они были ниже ростом, не столь длинноноги, осанка их, прежде совершенно прямая, стала слегка наклонной; в древности и в средневековье они отличались особой жестокостью к чужеземцам, то есть энцианам Тарактиды, и будто бы истребляли одну за другой все экспедиции, добравшиеся до них через грязеан. Поначалу их племена занимались охотой, затем на протяжении столетий объединялись и вновь распадались на мелкие государства, но достоверных сведений об их истории нет. Объясняется это, по-моему, тем, что люзанцы, страдавшие от необъявленной и даже не ведущейся официально войны, нанесли им страшный удар, и эффективность его оказалась настолько чудовищной, что победителей охватило чувство неизбывной вины. Над кливийцами будто бы владычествовал какой-то особый императив, то ли религиозный, то ли светский, который требовал от них не жалеть ничего ради всеобщего Ка-Ундрия.

Чем был этот Ка-Ундрий, я так толком и не узнал, хотя перерыл целый библиотечный зал, а это не так уж мало. Впрочем, само название придумали искупленцы — гилоистический орден кающихся, который предается воспоминаниям о страшной участи кливийцев; люзанское правительство относится к искупленцам терпимо, однако они не имеют права обращаться к люзанскому обществу и разглашать какие бы то ни было сведения о внутренних делах ордена. И лишь благодаря утечке информации известно, что кливийцы, в отличие от северных энциан, говорили почти бесшумно, словно были способны лишь к хриплому шепоту, а их беззвучный язык не имеет близких аналогов ни в курдландском, ни в люзанском наречиях. Ка-Ундрий — это символ, которым искупленцы обозначали — но, собственно, что? Национальные интересы кливийцев? Сущность их государственности? План покорения планеты? Путь к счастью? Или само это счастье? Я охотно потолковал бы с каким-нибудь монахом-искупленцем о том, как оно было на самом деле, поскольку, как я уже говорил, распространять любые публикации о Кливии запрещено. Ка-Ундрием называли какую-то идею универсального характера, требовавшую величайших жертв, вплоть до самой жизни, — это представляется несомненным. Всех остальных энциан кливийцы называли Хс-Хсце, что значит «Ничего-Не-Разумеющий». А так как Ничего-Не-Разумеющих нельзя

было заставить уверовать в Ка-Ундрий и эта бестолочь, по их представлениям, стояла на пути к Исполнению — уж не знаю чего, — то они старались подчинить или уничтожить всех некливийцев. По-видимому, тут произошло весьма любопытное превращение: сперва они боролись с Ничего-Не-Разумеющими лишь символически и магически (и убивали каждого, кто попадался им в руки, называя это его Обращением), а потом все более и более реально, по мере того как овладевали начатками технологии. Они были мастера по части всевозможных механических ремесел. Похоже, что они первыми сконструировали самодействующие боевые устройства, из которых позже возникли так называемые ультиматы, и мало-помалу втянули Люзанию в гонку вооружений. Но так как кливийскую версию этих событий, охватывающих Верхнее Средневековье в первое столетие Нового времени, услышать нельзя, а люзанцы, конечно, в этом вопросе пристрастны, добросовестный исследователь должен поставить перед всем этим большой знак вопроса. Так, впрочем, и поступает большинство люзанистов.

Поначалу восемь тысяч миль грязеана, разделяющею Тарактиду и Цетландию, превращали гонку вооружений в какое-то обоюдное помрачение, лишенное всякого военного смысла. Правда, «ястребы» из числа штабистов требовали, чтобы люзанские вооруженные силы высадились в Цетландии, но ничего подобного не произошло; все эти планы пресекались в зародыше более здравомыслящими политиками. Кливийцы были весьма сильны в математике и умели хладнокровно рассчитывать. Мистический, или, во всяком случае, таинственный, характер Ка-Ундрия, направляющего все их усилия, отнюдь не мешал им действовать на трезвую голову. Хотя движущая ими идея завоевания была, возможно, и бессмысленной (а разве бывает иначе?), однако осуществлялась она на удивление методично. Расходов она требовала, безусловно, громадных, ведь это был уже век промышленного ускорения, и каждые несколько лет в производство запускались новые, все более дорогие системы оружия. Люзания, с ее природными богатствами и более благоприятным климатом, которая к тому же первой вступила в индустриальную веру, не отставала от соперника ни на шаг, однако поживалась при этом, ибо финансовое бремя вооружений, именуемых часто оборонительными, непрерывно росло. Великая мировая война началась втихомолку, без единого выстрела, без вступления в бой крупных войсковых соединений, поскольку все операции были криптовоенными. Неизвестно даже, насколько верны

сообщения некоторых курдлянских источников (Курдландия сохраняла нейтралитет, весьма относительный, как увидим), будто противники пробовали вредить друг другу, вызывая дистанционное расстройство климата и землетрясения; возможно, то были всего лишь угрозы, попытка запугать неприятеля или же отвлекающая операция — чтобы заставить врага вкладывать средства в бесперспективные методы борьбы. Правда, большие центральные озера Цетландии действительно исчезли в сейсмической трещине, однако ничто не указывает на искусственный характер этой катастрофы. Как бы то ни было, до прямого столкновения дело не дошло. Почти одновременно Тарактида и Цетландия вступили в эру биотехнологий. Невозможно установить, кто первым применил так называемое зачаточное оружие. Следует помнить, что сражающиеся через океанский простор противники были энцианами, а оплодотворение совершается у них опылением. Кто-то пустил в ход патоферы — патогенные фертилизаторы. Похоже, однако, что сделали это кливийцы. На протяжении нескольких лет Люзании пришлось решать серьезнейшие демографические проблемы: на свет появлялось множество детей с врожденными уродствами. Но даже тогда она не призналась в том, что эндемия рака новорожденных связана с Кливией, а тем более в том, что на это тайное нападение люзанцы ответили истребительным контрударом.

В библиотеке МИДа, не знаю почему, вообще нет военного отдела, и на труд генерала доктора Брюммеля, посвященный межконтинентальной биологической войне на Энци, я наткнулся совершенно случайно. Брюммель (а может, и Брюммли, не помню уже) предполагает, что война с самого начала была генетической; сам он, кажется, специалист по такого рода оружию. Генерал-доктор (сегодня нельзя стать генштабистом без нескольких степеней) готов допустить, что Кливия первая начала рассеивать над Люзанией патогены, или патоферы, выращиваемые в биовоенных комплексах; но лишь часть зачатых таким образом детей оказалась неспособна к жизни. С военной точки зрения, толково и сухо разъясняет генерал-доктор, уничтожение живой силы противника биологическим путем, посредством дистанционного оплодотворения, — задача весьма сложная. Разумеется, особенности естественного размножения энциан значительно ее облегчают, но дело в том, что сперматозоид, слишком отличающийся от нормального, отторгается яйцеклеткой, а сперматозоид недостаточно патогенный приводит к появлению на свет потомства, поддающегося лечению. Проектиро-

вание сперматозоида (а это настоящие конструкторские работы, и ведутся они в специальных конструкторских бюро, с штатом из первоклассных научных сотрудников), который не отторгался бы организмом самки и в то же время был губителен для него, требует громадных знаний и высокого технологического уровня. Говоря коротко, люзанцы превосходно доделали то, что кливийцы начали неважнецки, поскольку первые продвинулись дальше в области биотехнологии, или, точнее, военной технобиотики. Они не действовали сторяча и не ограничились полумерами, но ударили по кливийцам «грязным фертилизационным оружием» с таким размахом, что все население Цетландии вымерло на протяжении жизни одного поколения: вынашиваемые плоды поубивали всех способных к деторождению кливиек. Люзанцы, говорит генерал Брюмми, применили фертолеты, то есть летучие фертилизаторы. Они обеспечивают оплодотворение, при котором эмбрион становится злокачественным новообразованием, поражающим организм матери прежде, чем наступят роды. Одновременно люзанцы применяли у себя какие-то методы противозачаточной защиты, опасаясь, что Кливия ответит таким же ударом; но ее оружейники не успели, а может быть, не сумели вырастить столь же смертоносные инсеминаторы.

Неведомо как слухи об этой катастрофе дошли даже до земных журналистов; некий Говард Пинтел писал в научно-фантастических журнальчиках, будто на Энции действовали «бригады противозачаточных десантников», а также «контрацепционные пыльцеметы», но это очевидные бредни, ведь энциане размножаются не так, как представлял себе журналист-невежда. Были, конечно, попытки нарушить экосферное равновесие, но не это нанесло Кливии обернувшийся геноцидом удар. Никаких «военных абортистов» в Люзании тоже не было: части гражданской обороны состояли из медиков и биологов. В конце концов нельзя было скрыть растянувшуюся на долгие годы гибель населения неприятельского государства. Впрочем, оно, надо думать, не вымерло бы целиком, если бы люзанцы не поддерживали над вражеской территорией нужную концентрацию убийственной пылицы. Отфильтровать ее на сто процентов невозможно; кливийцы, правда, начали строить огромные убежища, чтобы спасти хоть часть населения, но не успели, поскольку не были готовы к массовой атаке. Однако и тут не все ясно — например, почему среднегодовая температура Южного полушария упала на девять градусов за каких-нибудь шесть лет; но если даже люзанцы и приложили к этому руку, они никогда не признались в этом.

Развалины кливийских городов покрыл ледник, и, как уже говорилось, вечная мерзлота сковала Цетландию на глубину в несколько сот метров. Лишь через сто лет климат Южного полушария потеплел (хотя и не вернулся к довоенному уровню).

В одном из примечаний доктор Брюммли приводит такое мнение своего анонимного коллеги по профессии: тот, кто страдает от докучливых насекомых, гадов и мышей и наконец прихлопнет мерзкую тварь, но не насмерть, при виде ее содроганий впадает в панику и тогда уже *должен* поскорее добить ее чем-нибудь; агония вызывает страх и отвращение одновременно, так что хочется *покончить* с ней как можно быстрее, и любые средства здесь хороши. Что-то в этом, пожалуй, есть; поэтому, добавлю уже от себя, если даже люзанцы сами не ожидали столь чудовищной эффективности своих генолетов (некоторые эксперты именно так называют это оружие — летучую оплодотворяющую пыльцу), то затем они пустили в ход все средства, имевшиеся в их арсенале чтобы извести кливийцев под корень, хотя поначалу, возможно, и не питали подобных намерений. Не исключено, что они хотели всего лишь ослабить кливийцев, уничтожая их «живую силу» (как сказали бы специалисты-конфликтологи), заставить их пойти на попятную, быть может, согласиться на переговоры, перемирие, мир; но невероятный размах умерщвления (Кливия насчитывала миллионы жителей) сделал какое-либо соглашение победителей с побежденными невозможным. Так, по крайней мере, считает доктор Брюммли и его коллеги по профессии. Биологическое оружие генного типа, добавляет Брюммли, чревато опасностью самопроизвольной эскалации. Даже обычную бактериологическую эпидемию легче вызвать, чем прекратить. Это, указывает ученый генерал, оружие неконтролируемое, и люзанцы, несомненно, охотнее применили бы против Кливии неживое оружие дистанционного типа; однако его у них не было, когда конфликт вступил в критическую стадию. Обе стороны еще не преодолели тогда «надкомпьютерного порога» гонки вооружений. Брюммли вообще очень многое мог бы сказать на эту тему, но решительно ничего — об умерщвлении государства, которое было обязано своему Ка-Ундрию (Брюммли, однако, пишет «*Кон-Ундрий*») самоубийственным столкновением с более могущественным противником.

Все это оглушило меня, словно удар палкой по голове. У меня уже сложилось свое представление о люзанцах и курдландцах, не идиллическое, конечно, но вовсе не такое уж мрачное, — даже о том, чего я не смог понять. Гилоизм, казалось бы, просто вынуждал люзанцев придерживаться миро-

любивой политики, а диковинность курдляннского политохода можно было счесть специфической, местной формой привязанности к сельскому образу жизни. Я уже так много узнал о тех и других, и тут вдруг пришлось даже не пересматривать свои представления, а просто заменять их новыми. Возможно, еще бóльшими оказались потери Курдландии — в войне, в которой она даже не была сражающейся стороной; но ветры, гнавшие тучи родительской пыли, не считались с государственными границами. Это, впрочем, опять-таки всего лишь люзанское предположение: сама Курдландия не призналась в каких-либо военных потерях. Вообще история этой войны — дьявольский лабиринт, ведь оба уцелевших государства имеют свои собственные многоступенчатые системы засекречивания информации, и документы с грифом «совершенно секретно» не попадают в космический эфир, а это основной канал информации — именно он позволил министерству заполнить библиотечные залы тысячами томов. В крайне скупых источниках по истории великой энцианской войны я нашел гораздо больше вопросов, чем ответов. Почему Цетландия покрылась материковым льдом? Если это дело рук люзанцев, как намекает генерал Брюммли, то почему даже через триста лет — а как раз столько времени прошло после глобального конфликта — ледник по-прежнему покрывает руины кливийских городов? Напрашивается, правда, мысль, что люзанцы хотели бы спрятать эти руины, следы бескровного геноцида, под могильной плитой ледников; но не следует забывать, что после войны среднегодовая температура планеты снизилась на два градуса, а это вряд ли пошло на пользу Люзании. Неужели великое государство могло так долго — веками — помнить о совершенном им военном преступлении и так стыдиться его? Одно лишь втайне утешало меня (хотя хвастаться тут, понятно, нечем) — чувство облегчения, которое помимо воли испытываешь, узнав, что у людей, казалось бы, почтенных и уважаемых, на совести не меньше грехов, чем у тебя самого.

III. В ПУТИ

Уже октябрь, звезды пожелтели и как-то стало прохладнее, а я лечу. Не скажу, чтоб я вовсе не ожидал полететь: я давно заподозрил, что необычайная доброжелательность советника связана с нашей общей прислужгой. Впрочем, теперь уже все равно. Что стал бы я делать в ракете со своей приходящей, да и откуда она пришла бы в ракету? Факт тот, что я держу

курс на Телец, что на мне полушубок и лечу я — знаменательная переключка! — в качестве дипломатического полукурьера. Так решило, после долгих совещательно-заседательных мытарств, Управление Профилактики Жалоб и Ссор. Не полный курьер, так как мы еще не обменялись послами с Энцией, и не частный турист, ведь речь идет не просто об исправлении опечаток в очередном издании «Дневников», но о предотвращении инцидента, который дедуцировали модули Института Исторических Машин. Результатом этого путешествия будет — на юридическом языке — снятие с меня обвинения в злом умысле, а на футурологическом — самоотменяющийся прогноз. Я сообщу чистую правду, старое издание без лишнего шума изымут из библиотек, и я уже не буду автором камня преткновения для энциологов. Лечу я не только в полушубке, но словно бы в полусне, пытаюсь сообразить, можно ли говорить об авторстве камня? Добро бы еще камня в почке или желчном пузыре, но преткновения?.. Мысли вязнут в метафорической минералогии. Решив обратиться к «Фразеологическому словарю», я уронил себе на ногу утюг — ведь у меня современный корабль с искусственной гравитацией — и, ругая по-черному эти новейшие усовершенствования, от которых я камня на камне бы не оставил, с тоской подумал о прежних примитивных экспедициях, когда астронавт порхал себе по всему кораблю, словно бесплотный дух. Я не стал привязывать спальный мешок к стене — настолько непросто выбираться из него по утрам, — и было что-то забавное в том, что я знал, где ложусь (вернее, зависаю) на отдых, но не знал, где проснусь на черной заре. Вместе со спальным мешком я плавал туда и сюда, под думкой у меня был фонарик, и нередко, задев в ночном парении за книжную полку, я спросонок хватался за нее, книги взлетали, словно всполошенные птицы, а я, поймав первую попавшуюся, принимался за чтение при свете фонарика, в спальном мешке, спеша узнать, чем на сей раз попотчевал меня случай. Бортовая гравитация имеет, собственно, лишь ту хорошую сторону, что потом, в первый месяц пребывания дома, не причиняешь большого ущерба; известное дело: привыкнув, что при выдавливании пасты на зубную щетку можно спокойно поставить стакан с водой в воздухе, а потом взять его, не опасаясь, что он камнем пойдет вниз, то же самое машинально делаешь на Земле; и те же заботы, увы, с супницей, с тарелками, ну, а после заметаешь осколки. А что касается ракетного спиритизма, я всегда высмеивал тех, кто клянется, будто что-то жуткое привиделось им между Антаресом и Бетельгейзе. Это просто

белеет развешанное для просушки белье; а иногда что-то скребется и шуршит, и тебя пробирает радостная дрожь при мысли, что твое одиночество скрасит спутник, хотя бы даже и мышка, но, с другой стороны, мышшь в условиях невесомости совершенно теряет голову, и можно обнаружить ее в самых невероятных местах; мне кое-что об этом известно, и тут я всецело на стороне прогресса.

Я позволил установить на борту дискуссионный компьютер — дискьютер. Как видно уже из названия, такой компаньон должен развлекать астронавта беседами, вдобавок профессор Бурр де Каланс раздобыл для меня новейший, расщепляемый образец. Я приобрел модели всех лиц, с которыми был бы не прочь перекинуться парой слов. Удивительно, до чего проста идея кассетных моделей — и как поздно до нее додумались! Сперва делают биоэлектрический портрет моделируемой личности, затем битуют его, то есть вводят в программу, и в виде самой обыкновенной кассеты вставляют в дискьютер; одно лишь нажатие клавиш, и в помещении раздастся знакомый голос, причем это вовсе не личность в собственном смысле, и в любую минуту ее можно запросто выключить, сменить кассету или пойти спать. Разумеется, какой-то минимум приличий, правил хорошего тона не повредит, — и не потому, что модель может обидеться, нет, какая уж там обида, ведь это чисто рациональный экстракт, вытяжка, — но по соображениям личной умственной гигиены некоторые правила общежития полагается соблюдать. Неплохо иметь на борту такую психотеку, только не стоит требовать от нее невозможного. Любая поваренная книга содержит все сведения, необходимые, скажем, для выпечки орехового торта; однако торты, сделанные по одному и тому же рецепту двумя хозяйками, похожи один на другой не больше, чем Шопен в исполнении Рубинштейна на Шопена в моем исполнении. Рецепт, хоть и содержит в себе все, мертв, и нужно вдохнуть в него душу, чтобы его оживить. Массовое кондитерское производство — пора наконец сказать это вслух — есть форма платной проституции, а не настоящей любви. К форме для выпечки торта необходим подход индивидуальный и даже, я бы сказал, исполненный ощущения своей миссии; вот почему торт, в который кроме орехов вложено трепетное, свежее чувство, сохраняет на ложечке нечто, если можно так выразиться, девически интимное, словно он позволяет себя есть впервые в жизни. Так вот: компьютер-дискьютер — это поваренная книга; формально в нем содержится все, но этому всему ни до чего нет дела, ему все едино,

и лишь модель конкретного человека оживляет эти мертвые залежи информации, то есть сервирует мудрость. Словом, дело тут в стиле. Я заказал себе несколько светил люэзанистики, а кроме того, Бертрана Рассела, Поппера, Фейерабенда, Финкельштейна, Шекспира и Альберта Эйнштейна.

Пролет через Солнечную систему был, как всегда, весьма занимателен; я проложил курс таким образом, чтобы взглянуть на Марс, — у меня к нему с детства слабость; подходил я к иллюминатору и тогда, когда пролетал мимо старых, громяющих грозами глобусов Юпитера и Сатурна. Каждый раз обещаю себе ступить ногой хоть на один из них, да что поделаешь, ведь и в музеи мы ходим где угодно, только не у себя в городе, — мол, все равно никуда не денутся, — и уезжаем в какую-нибудь Италию; так получается и у меня с этими — впрочем, весьма эффектными — экспонатами. И, лишь удалившись на несколько световых месяцев от Солнца и от Земли вместе с ее Швейцарией, где дело «Кюссмих против Тихого» еще не стало предметом судебного разбирательства и не скоро станет, я стал раздумывать, чем бы заняться, а материя эта столь деликатная, я бы даже сказал, удручающая, что до сих пор я не обмолвился о ней ни словом. Что ж, пора наконец заявить об этом во всеуслышание: астронавтика пахнет тюрьмой. Если б не иллюминаторы, можно и впрямь подумать, что тебе впаяли порядочный срок — не год и не два, но самое меньшее два червонца, и даже нельзя рассчитывать ни на сбавку срока за образцовое поведение, ни на передачи, ни на свидания. Раньше между трансгалактической навигацией и отсидкой было видимое различие — отсутствие силы тяжести, теперь же разницы практически нет, а ведь не каждый предрасположен к таким путешествиям. Предложение одного теоретика — вербовать экипажи космолетов из числа пожизненных заключенных в земных тюрьмах с особо строгим режимом — было не столь уж нелепо, как кажется. Стоишь ли ты, или лежишь, или кружишься под потолком, все равно ты заключен в четырех стенах, значит, сидишь; а оттого, что снаружи вместо стен и охраны космическая пустота, ничуть не легче. Из самой надежной тюрьмы можно бежать, но из подвешенной между звездами ракеты ускользнуть некуда. Такова мрачная сторона моей профессии, которой я ранее не касался. *Per aspera ad astra**, но если выражаться не столь романтически — путь к звездам ведет через многолетнее заключение. Конечно, я сам этого хотел и хочу. Вот и на

* Через тернии — к звездам (*лат.*).

этот раз: хоть я и набивал себе цену на коллегии МИДа, уверяя, что вовсе не горю желанием ехать, но все это лишь для того, чтобы они не очень-то заносились, — все же я им не мальчик на галактических посылках. А так, по правде, я все же хотел — чуть ли не с той самой минуты, когда переступил порог библиотеки.

Когда старое доброе солнышко исчезло, растворилось в черном супе небытия, я испытал хорошо знакомое, многократно пережитое мною ощущение пустоты и решил, что нужно немедленно сделать выбор: спать или воспользоваться дискьютером. Однако ж столетний сон — не безделица. Правда, я приготовил все чин по чину, поставил будильник, чтобы он зазвонил за пять миллионов миль до Энциии: еда сбережется, а это кое-что значит; сделал большую уборку, хотя знаю, что за такой срок все и так зарастет грязью. Хуже всего пробуждение. Я не выношу растрепанной бороды и волос до колен; да вдобавок ногти как змеи — правда, я всегда держу под рукой ножницы и машинку для стрижки волос, но прошлый раз запамятовал, где они, и пришлось полракеты перевернуть вверх дном, путаясь в собственной бороде и ругаясь на чем свет стоит, прежде чем я нашел парикмахерский инструмент, без которого — ну кто бы подумал? — астронавтика невозможна. Доставая постель из бельевого шкафа, я заметил, что простыни жесткие, словно из жести, — а ведь я просил свою приходящую приглядеть за этим в прачечной; злясь на нее, я скорее разрывал, чем разворачивал склеенное крахмалом полотно. Я также проверил, нет ли на наволочках проволочных, обшитых нитками пуговиц — из-за них на щеке появляются отчетливые отпечатки, а этого должен избегать любой астронавт, если он не желает после столетнего сна щеголять физиономией в сплошных негативах пуговиц, ведь чужезвездные существа принимают их за неотъемлемую часть человеческого лица.

Готовя себе разные противные жидкости, которые полагается пить перед гибернизацией, я постепенно терял охоту гибернизироваться. В конце концов, чего ради я взял в полет компьютер с персонализирующей приставкой и столько переведенных на кассету знаменитых мужей? Я пригляделся к этим кассетам. На каждой стояло имя, а ниже — инструкция по обслуживанию персонализатора и красная надпись LIVE* или POST MORTEM**. Разумеется, на кассете Шекс-

* Жив (англ.).

** По смерти (лат.).

пира стояло POST MORTEM, а Финкельштейна — LIVE, ведь один был жив, а другой умер, но какое это имеет значение для слушателя? Я заглянул в инструкцию и узнал, что личность умерших экстрагируется из собраний их сочинений, а это, между прочим, имеет тот результат, что воскрешенцы говорят не так, как говорили при жизни, но так, как писали: то есть, скажем, поэты — только стихами. В инструкции, как обычно, было множество непонятных терминов и темных мест; указывалось, например, что чем раньше кто-нибудь умер, тем менее он «инструктивен», поэтому не рекомендуется вызывать из небытия стародавних деятелей, никому, кроме историков, не известных, — с ними все равно нельзя поддерживать разговор без помощи автотолковника. Не скажу, чтобы это было очень понятно, поэтому после недолгого размышления я вставил в компьютер кассету с Рупертом Трутти, в расчете на то, что этот professor of computer sciences* даст мне необходимые разъяснения. Действительно, нажав клавишу «GO»**, я услышал приятный баритон и сел, внимая ему не без некоторого удивления, — вовсе не ожидая моих вопросов, он принялся говорить без умолку:

— Я Руперт Трутти из Массачусетского автофутурологического института, и занимаюсь я, как указывает название моего научного центра, прогнозированием прогнозов, то есть стараюсь установить, что будут предсказывать предсказатели предстоящих столетий. Имею честь сообщить, что, будучи кассетонцем, как называют в обиходе закассеченных лиц, я могу пользоваться резервуарами памяти компьютера, в который меня засадили, без всяких ограничений.

— А кстати, профессор, — перебил я его, — почему вы можете, а те, кто умер давно, не могут? Я прочитал об этом в инструкции.

— Чтобы что-то узнать, — ответил Трутти, — нужно уже что-то знать. Ведь узнавать — значит все услышанное записывать в голову в определенном порядке. Вот почему никто не помнит первых своих ощущений, когда он был грудным младенцем и ничего ровным счетом не знал. Однако, достопочтенный мой воскреситель, чем больше кто-то узнал в одну эпоху, тем меньше он может узнать в следующую, поскольку голова у него забита старьем, а забита она потому, что вчерашняя святая истина становится нынешним предрассудком и засорением мозгов. Хоть я и цифроник, я могу пользоваться

* Профессор компьютерных наук (англ.).

** Пуск (англ.).

другими частями памяти компьютера, в который вы меня вставили, ведь я имею кое-какие понятия о биологии, психологии, физике и поэтому знаю, что такое экспертолиз и экспертоляция; но засадите-ка сюда Платона, и он ровно ничего не усвоит...

— А в самом деле, что это такое? — полюбопытствовал я.

— Экпертолиз — это растворение экспертов в море избыточной информации, а экспертоляция — защитный условный рефлекс, самоотключение экспертов со страху. Что же касается экспертоляции...

Возможно, это было невежливо, — но я вырубил профессора, опасаясь, что дальнейшие разъяснения лишь затемнят то, о чем я успел у него узнать; усевшись над кучей кассет, я стал размышлять, как составить ученый кружок, чтобы пороскошествовать интеллектуально. О гибернизации я и думать забыл. Разве можно духовное пиршество в компании величайших умов променять на бездумный вековой храп? В конце концов я вставил в компьютер кассеты с Бертраном Расселом, Карлом Поппером, адвокатом Финкельштейном (хотя это был ум *minorum gentium*^{*}, я решил включить своего симпатичного знакомого в это общество) и, невзирая на предостережения профессора Трутти, добавил Шекспира. Готов поклясться, что я заказал и Эйнштейна, но, хоть и высыпал на пол все содержимое коробки, нашел только Фейерабенда; в ярости, что не могу заявить рекламацию — ведь я отмахал уже добрых несколько триллионов миль, — я приготовился к диспуту, то есть поставил поудобнее сервировочный стол с подсоленным печеньем и тоником, за спину засунул подушку и включил компьютер. Я съел все печенье и выпил весь тоник и лишь тогда спохватился, что мои кассетные спутники давно уже ведут спор, только звук был приглушен. Я повернул нужную ручку и услышал голос Бертрана Рассела:

— Ум, господин Фейерабенд, это способность разгрызания трудных орешков, поэтому самый блестящий ум можно использовать для решения самых глупых вопросов. Зато мудрость предполагает еще и умение выбирать проблемы.

— Осмелюсь не согласиться с лордом Расселом, — отозвался Фейерабенд. — Мудрость — это, скорее, самопознание, выражаясь классическим языком, а если более современно — поиски пробелов и недочетов в собственном разуме. Разумеется, на сократический лад. Как известно, идиотам ка-

* Менее значительный (лат.).

жется, будто они во всем разбираются. Идиот, в особенности законченный, готов немедленно стать президентом США, вы только ему предложите. Человек поумнее сперва задумается, а мудрец скорее выскочит в окно. Чрезвычайно высокая концентрация мудрости действует шокообразно и порой заставляет мудреца умолкнуть, хотя молчание Витгенштейна имело иную причину.

— Судя по вашему красноречию, коллега Фейерабенд, вряд ли вам угрожает избыток мудрости, — заметил Рассел. — Не только люди бывают с придурью, имеются также придурковатые философские системы; связано это с явлением, которое я назвал бы феноменом исторической монументализации чего попало. Был английский король, который хотел и благочестивым остаться, и переспать с некоей барышней в качестве законного супруга, хотя он уже был женат. И что же? Не желая перебарывать свою похоть, он переделал религию, отделил английскую церковь от Рима и создал тем самым англиканство. Как известно всякому, кто меня читал, Гегель был мыслителем из разряда так называемых очковтирателей и именно этому обязан своей популярностью, хотя уже не такой, как сто лет назад. Ясно выражающийся дурень не столь опасен, как дурень туманный, потому что в тумане легко самому оказаться в дураках. Я позволил себе намекнуть на это в своей «Истории западной философии», и, разумеется, целая свора обиженных дуралеев впилась мне в ляжки. Этот Дьюи, к примеру. К сожалению, правила хорошего тона обязательны не только в палате лордов, но и в философской полемике. Только за гробом можно позволить себе говорить все, что думаешь, начистоту. Но я и так всегда резал правду-матку в глаза, хоть это и дорого мне обходилось. Тот, кто предлагает новую философскую систему, тем самым дает понять, что приблизился к истине больше, чем все, кто жил до него. Значит, каждая такая система предполагает непревзойденную мудрость ее автора. А ведь нормальная кривая распределения интеллекта справедлива и для философов, среди которых предостаточно олухов. Любопытно, что эти мои наблюдения, никому конкретно не адресованные, вызывали такую яростную реакцию...

— А где вы поместите самого себя на кривой распределения мудрости, лорд Рассел? — невинным голосом спросил Фейерабенд.

— Говоря объективно, выше вас, потому что я понял все, что вы написали, а вы написанного мною не поняли, во всяком случае, порядочно меня перебрала.

— Да? Но ведь я печатался после вашей смерти...

— А я читал после перенесения меня на кассету. Вы немало у меня позаимствовали, и, конечно, беды в этом нет, только следует называть своих учителей...

— Поскольку я выступаю как чистый духовный экстракт, — заявил Фейерабэнд, — уточняю, что сопровождаю эти слова легким пожатием плеч и снисходительной улыбкой. Лорд Рассел всегда пробовал откусить от философского пирога больше, чем мог переварить.

— Это уже из Куайна, — холодно заметил Рассел.

— Не могу же я давать библиографическую ссылку к каждому своему слову! — несколько раздраженно воскликнул Фейерабэнд. — Лорд Рассел действительно стал еще менее вежлив, чем был при жизни; он не дает мне докончить ни одной фразы. Так вот: он не только откусывал больше, чем мог, но еще и набрасывался на пирог каждый раз с другой стороны, словно общая онтология — это слоеный пирог или ромовая баба, из которой можно только выковыривать изюм...

— Эйнштейн, — вдруг отозвался глубоким задумчивым голосом Карл Поппер, — сравнивал это скорее с доской, чем с бабой. Он говорил, что глупцы ищут самое тонкое место, чтобы просверлить в нем как можно больше дырок, а гении принимаются за самый твердый, сучковатый участок...

— Вторую часть присочинили вы сами, лорд Поппер, — ехидно заметил Фейерабэнд. — Слава Богу, в философии нет ни титулов, ни чинов, не то мне пришлось бы сидеть между двух лордов тихо, как мышке. По-моему, ум и эрудиция должны уравновешивать друг друга как две чаши весов. Слишком обширная эрудиция тащит слабый умишко за ноги на вязкое дно, а ум, свободный от солидного груза познаний, парит куда хочет, и чаще всего в сторону безответственных фантазий. Тут нужна золотая середина. Однако я не считаю золотой серединой тактику, которая заключается в цитировании одного себя, и к тому же недобросовестном цитировании, когда вместо полемики по существу вас отсылают в сноске к старым-престарым книжечкам, в которых этот вопрос будто бы достаточно освещен, после чего остается только приобрести полное собрание сочинений автора, отсылающего читателя куда подальше, и лишь потом приниматься за чтение его статейки. Но в наше время это уж слишком.

— Боюсь, мистер Фейерабэнд намекает на моего почтенного соседа по палате лордов, — сказал Рассел. — Что-то в этом есть! Но, может быть, не будем переходить на личности?

В холодном кассетном гробу я много размышлял о своей теории типов. Можно применить ее в онтологии, а не только в логике. Существуют онтологические предрасположенности, подобно предрасположенностям к женскому полу. Лично меня всегда тянуло к блондинкам, а вся проблема была в том, что их не всегда тянуло ко мне. Разумеется, я говорю это лишь как модель! Впрочем, я предложил бы скорее слово «макет», поскольку все мы мужского пола, пусть даже в plusquamperfectum.

— Макет — как пакет? — спросил Фейерабэнд и залился смехом. Сперва он смеялся иронически и негромко, потом включил половину мощности и, наконец, захохотал так, что задрезжали динамики.

— Чем это так рассмешила вас моя скромная терминологическая поправка? — поинтересовался Рассел.

— Да нет, ничего, — ответил Фейерабэнд, все еще давясь от смеха, — просто я вспомнил одну брюнетку, потому что лорд Рассел...

— Господа, — произнес я с мягкой укоризной, — осмелюсь обратить ваше внимание на то, что кассеты обошлись мне в девять тысяч с лишним франков, и притом швейцарских! Я жажду посвящения в высшие материи бытия, хочу, чтобы вы подали мне руку помощи, разумеется, фигурально, и, хотя я вам не ровня в интеллектуальном отношении, я все же рассчитывал на благие плоды векового общения с такими умами... а между тем эти блондинки и брюнетки...

— Если хочешь куда-нибудь приехать, — сказал Бертран Рассел, — постарайся раздобыть хороших лошадей и запрячь их как полагается. Мы же, господин Тичи (так он выговаривал мое имя), никуда вас не привезем — из нас не получится дружной упряжки. В философии каждый тянет в свою сторону... Так что, если вы хотите что-то узнать, попрошу выключить моих столь высоко ценимых коллег...

Раздался дружный протестующий хор. Я перекричал всех, призывая их высказаться по вопросу об энцианской этикосфере. На это они согласились.

— Быть может, — начал лорд Рассел, — этим птичьим сынам и удалось соорудить так называемую этикосферу, но тем самым они изготовили индивидуальные тюремочки, великое множество невидимых смиренных рубашек. Любой достаточно мощный порыв ко всеобщему счастью кончается строительством каталажек. Сама эта идея — не что иное, как иррациональная фата-моргана разума...

— Я это всегда утверждал, — откликнулся сильным стар-

ческим голосом лорд Поппер. — *Corruptio optimi pessima**, и так далее. Спектр возможных состояний общества является одноосевым, и располагается он между закрытым и открытым обществом. Левый экстремум — это тоталитарная диктатура, управляющая всем, что только ни есть человеческого, вплоть до текста песенок в детских садах, а правый экстремум — это анархия. Демократии размещаются примерно посередине. Энциане явно пытались соединить обе крайности, чтобы каждый мог жить в обществе открытом и закрытом одновременно и брыкаться в свое удовольствие, замкнутый в невидимом пузыре заповедей, которые невозможно нарушить. Это можно назвать тирархией, и ничего хорошего она не сулит. Думаю, там даже больше несчастья, чем где бы то ни было.

— Почему, лорд Поппер? — спросил я.

— Потому что в полицейском государстве человек, подвергаемый пыткам, может по крайней мере верить, что, если его перестанут пытать, он вместе с другими построит счастливый мир. А человек, безустанно заласкиваемый под попечением государства этой пресловутой синтурой, не может даже в мыслях никуда убежать, потому что бежать уже некуда. Сносны лишь промежуточные состояния общественной агрегации.

— А я полагаю, — сказал Фейерабенд, — что там, где нет *law and order***, побеждают клыки, локти и когти; а где есть *law and order*, с колыбели до крематория, там несчастья в общем-то столько же, но вкус у него другой. Лорд Поппер с его апологией открытого общества должен был бы заметить, что это всего лишь вежливое обозначение такого положения вещей, при котором имеются большие собаки и маленькие, и им позволено друг дружку облаивать, но пожирать нельзя. Ребенком я зачитывался чудесными историями о будущем мире, в котором домохозяйки переквалифицируются в доценток лимнологии, дворники — в профессоров общей теории всего на свете, а остальные будут творить сколько влезет, и получится неслыханный расцвет искусств. Удивительно, как много отнюдь не глупых людей верило в эти бредни. Ведь бóльшая часть человечества не хочет угробить жизнь на собирание старых раковин, и вообще ей плевать на любые раковины, кроме раковины унитаза, а думать о вечных вопросах она начинает лишь после визита к врачу, который на вопрос о диагнозе дает уклончивые ответы. Следствием тотальной автоматизации

* Падение доброго — самое злое падение (*лат.*).

** Закона и порядка (*англ.*).

будет новое издание того, что в средневековье называлось *Höllenfahrt**. Разные дороги ведут в ад. Некоторые из них усыпаны розами и политы медом. Открытое общество лучше закрытого в том отношении, что из него легче сбежать. Вот только неизвестно куда. И все же приятней иметь перед собой открытые двери, чем зарешеченные и приколоченные гвоздями к дверной коробке. Я, во всяком случае, такого мнения.

— А я разве писал когда-нибудь, что открытое общество — это какой-то идеал? — обрушился Поппер на Фейерабенда. — Просто в качестве скептика я всегда выступал за меньшее зло.

— Жаль, что вы этим не ограничились, — заметил Фейерабэнд, — потому что ваша концепция научного познания не выдерживает критики, как я показал, — впрочем, не первый и не последний.

— Сам Эйнштейн признал мою правоту, — начал было задеть за живое Поппер, но Фейерабэнд не дал ему закончить.

— Об обстоятельствах, при которых Эйнштейн — человек поистине голубинового сердца — признал вашу правоту, вы, лорд Поппер, писали столько раз, что можно ограничиться сноской. Как говорил мне доктор Чиппендейл, Эйнштейн тогда страдал от мигрени и принял уйму таблеток от головной боли, отупляющее воздействие которых хорошо известно.

Обиженный Поппер умолк. Затянувшуюся тишину прервал наконец Рассел:

— Мой уважаемый коллега-философ из палаты лордов имел несчастье родиться системным философом в эпоху, когда системной философии уже быть не может. Надо смотреть правде в глаза, коллега Поппер! Господин Фейерабэнд — умеренный анархический экстремист в теории познания, я — неимперативный антиинтуитивный категориалист аналитического стиля, наконец, лорд Поппер — автор нескольких любопытных концепций, а так вообще — несинкатегорематический разогреватель онтологически нейтрализованных зразов в соусе из *Circulus Vindobonensis***.

Из Кружка, в котором Витгенштейн сиял, сиял и, наконец, перестал. А Кружок с тех пор висит себе на колышке. Ведь эклектический синкретизм работ господина Поппера...

— Вы меняете взгляды чаще, чем подпитанники! — крикнул обозленный, прямо-таки выведенный из социостатичес-

* Сошествие во ад (нем.).

** Венский кружок (лат.) — объединение философов-неопозитивистов, существовавшее в 1920 — 1940-е годы.

кого равновесия лорд Поппер. — Скажи мне, лорд Рассел, что осталось у тебя от дивной поры молодой? Три тома «Principia Mathematica», вымученных за долгие годы. Так вот: спешу сообщить, что Чанг Вэнь или еще какой-то Пинг-Понг — не запоминаю я этих китайских имен — запрограммировал компьютер так, что все доказанное Б.Расселом в его пресловутых «Принципах» машина доказала за восемь минут, со средней скоростью самоубийцы, который бросился с девяностого этажа на Юпитере, где, как известно, сила тяжести во столько же раз больше земной, сколько раз приходящая прислуга господина Тичи ошибалась в счетах из прачечной в свою пользу.

Эти последние слова показались мне до такой степени неуместными, что я сделал над собой усилие — и действительно сразу открыл глаза. На беду, я не знал, когда именно меня сморило, однако признаться в этом постыдился. Но кажется, потерял я не слишком много, потому что они продолжали препираться, хотя и не так грубо, как мне это приснилось. Чтобы расшевелить их, я подбросил в дискутер двух люзанистов — одного из них звали Бионизий Рёрён, а другого Пьер Сомон — и, должно быть, под влиянием какой-то одеревенелости мысли из-за долгого пребывания в пустоте подумал, что если бы они были одним человеком и индейцем, то назывались бы Ревущий Лосось*. Профессор Сомон оказался ценным приобретением для нашего коллектива как знаток люзанской философии. С XXII века, объяснил он нам, это философия по своему субъекту релятивистская, а по объекту — прикладная. Иначе говоря, в то время как на Земле субъектом, или попросту философом, всегда является человек, на Энциии философствуют также машины и даже облачность, поскольку некоторые разновидности шустров, уносимые ветром, соединяются на границе тропосферы в необычайно разумные тучки-почемучки и умудренные облака, которые, не имея других занятий, рассуждают о смысле бытия. Времена, в которые жил Акс Титоракс, ниспровергатель авторитетов, даже на ложе смерти окруженный верными учениками и полицией, минули безвозвратно. В прошлое канули также проблемы власти, такой или сякой. Настоящие проблемы возникают перед философией лишь тогда, когда благоденствие приобретает устрашающие размеры. Коль скоро неприятностей должно быть все меньше, а радостей все больше, то с логической необходимостью оптимум приходится на максимум благ, свобод, утех и забав и минимум опас-

* От немецкого *röhren* — реветь и французского *saumon* — лосось.

ностей, болезней и вкальвания на службе. Минимум равен нулю, то есть: никакого труда, никаких болезней, никаких опасностей, а максимум расположен там, где сладость жизни становится неисчерпаемой. Но этого рассчитанного по науке максимума никто не в состоянии выдержать. Где-то по дороге прогресс превращается в собственную противоположность, но где — никому не известно. В этом и состоит так называемый парадокс Шляпшеника и Кикса.

Профессор Рёрен, взяв слово после своего коллеги, разъяснил нам, что дело не так уж плохо, как можно было бы полагать. В любом обществе имеются нытики-староверы, которые тянут назад, к так называемым «добрым старым временам», но возврата к прошлому нет. Напротив: этикосферу следует поднять на новую высоту. Пока что это только проект, разработанный Советом Энтофилов. Идея довольно проста. Любое общество лучше всего подходит людям некоего определенного склада (которые, кстати, вовсе не обязательно входят в его элиту). Они с удовольствием делают именно то, что важно и возможно в их эпоху. В эпоху колониальной экспансии это будут конквистадоры, когда же экспансия распространится на обширные территории — купцы. Это могут быть и ученые — там, где верховодит наука. Или священники — в эпоху воинствующей церкви. Есть люди, которым не по душе спокойные времена, хотя сами они не обязательно отдают себе в этом отчет. Они выходят на авансцену во время всеобщей катастрофы или войны. Есть подвижники, не мыслящие себе жизни без помощи ближним, и аскеты, которые расцветают от воздержания. История — это театр, а общества — труппы актеров, между которыми распределяются роли; но ни одна из поставленных пьес, ни одна историческая эпоха не давала проявиться таланту всех актеров без исключения. Прирожденному великому трагику нечего делать в фарсе, а закованным в латы рыцарям не находится роли в мещанских камерных постановках. Эгалитаризм — это жизненная программа, в которой все выступают на равных и понемногу, и никто не может сыграть великой романтической роли — для нее здесь просто нет места. Бедняги-романтики обречены соперничать между собой в количестве съеденных крупных яиц, езде на велосипеде задом наперед, сопровождающейся исполнением скерцо ля минор на скрипке, и тому подобных чудачествах, которые свидетельствуют лишь о пропасти между мечтами и скрипучей действительностью.

Словом, разные времена отдают предпочтение разным характерам, и в любое время большинство общества служит

всего лишь массовой для избранников судьбы, ибо только по чистой случайности подходящий темперамент появляется в наиболее подходящий для него момент истории.

Это можно выразить и немного иначе. Мир, в котором индивид с определенными духовными качествами способен развернуться вовсю, является миром особенно к нему благосклонным, но нет столь универсально благосклонного мира, который в равной степени удовлетворил бы все разновидности людских натур. Лишь специально для этого созданная искусственная среда способна проявлять благосклонность, скроенную и подогнанную по индивидуальной мерке (причем в некоторых случаях благосклонностью необходимо признать и сопротивление среды, ведь есть натуры, созданные для борьбы с жизненными невзгодами). Эта среда будет вызовом для рискованных людей, спокойной гаванью для смиренных и покладистых, неведомой землей для первооткрывателей по натуре, таинственным кладом для романтиков — искателей приключений, для жертвенных натур — алтарем, для стратегов — полем сражения, трудовым поприщем для работяг, и пока неизвестно только, чем должен быть такой мир для подлых натур, которых тоже хватает. При более тщательном рассмотрении мы увидим огромное множество оттенков героизма и трусости, любопытства и безразличия, жажды борьбы и жажды покоя, и то же относится к подлости. Благосклонная и смысленная среда обитания должна, следовательно, стать закройщиком материи бытия, перекраивая ее, чтобы каждый получил условия существования, наиболее для него подходящие. Но когда все технические средства будут готовы, когда уже будет создана среда, безошибочно приспособляющаяся к натуре любого человека, останется преодолеть одну лишь, зато чудовищную трудность, а именно: каждый должен иметь при этом ощущение абсолютной подлинности бытия. Никто не должен считать, что играет, словно на сцене, то есть может в любую минуту с нее сойти. Что его окружают обращенные к нему декорации. Пусть это будет игра, или, скорее, система, из множества игр, предлагаемых средой обитания своим подопечным, но игра без апелляции к судьбе и без антрактов, смертельно серьезная, а не условная, как забава. Игра, в которой нельзя покинуть шахматную доску своего общества, чтобы взглянуть на нее со стороны. Нельзя допустить, чтобы игрок знал о том, что ему предназначено, и никто не вправе претендовать на составление правил собственной или чужой игры, ведь здесь эти привилегии равняются Божьим.

Тут возникает старый, как мир, вопрос: *quis custodiet ipsos*

custodes?* Кто станет этим Deus ex Machina**, который при-
сматривает за нашими ангелами-хранителями и который их
руками печется об оптимизации Бытия, столь же справедливой,
сколь совершенной? За каждым, даже самым удачным
ответом на этот вопрос неизбежно прячется призрак тайно-
властия, и борьба пойдет за его устранение, чтобы распреде-
ление синтетических судеб было полностью децентрализо-
ванным. В переводе на язык традиционного религиоведения
это означает практическую реализацию пантеизма. Тайно-
крата нельзя будет найти точно так же, как нельзя найти Бога,
потому что он окажется повсюду одновременно. Но если в
этой предустановленной гармонии что-то разладится, кто ис-
правит ее? К тому же кто-то должен ее запроектировать и
запустить в производство, и это лицо или группа лиц будут
склонны самозванчески, явным или, что еще хуже, тайным
образом взять себе роль Господа Бога в этом всепредставле-
нии. Пока что говорят о поэтапном переходе от обычной эти-
косферы к новой, тайнопровиденциальной. В общем, опять-
таки почти как в Библии, прашустры родят шустры, шустры
породят шустрины, которые положат начало следующим по-
колесиям, вплоть до стабилизаторов-абсолютизаторов, своей
способностью к самоисправлению и своей надежностью не
уступающих стихийным силам Природы. Словом, это будет
Пересотворение всего Сотворенного. Далек еще путь и усеян
препятствиями, но цель уже различима, и оптимисты счита-
ют, что через каких-нибудь два-три столетия полная раефи-
кация Люзании станет свершившимся фактом.

Лекция эта произвела на кассетонцев впечатление силь-
нос, но отрицательное. Уже само осознание непостижимой
режиссуры судеб, заявил лорд Рассел, есть катастрофа для ра-
зума и призыв к бунту. Следует опасаться, что в этом совер-
шенно новом обществе появится тьма новых форм безумия,
страдания и отчаяния. Карл Поппер согласился здесь с Рас-
селом. Зато Фейерабенд заметил, что это, быть может, не так
уж и страшно. Ибо есть кое-что не в пример худшее, чем даже
тщательно дозируемое всеобщее счастье. Те не хотели с ним
согласиться. Вдруг попросил слова молчавший до этого ад-
вокат Финкельштейн. Я уговорил обоих лордов и Фейерабен-
да позволить адвокату высказать свою точку зрения, на что
они в конце концов с неохотой согласились.

— Господа, — начал Финкельштейн, — хотя я всего лишь

* Кто устережет самих сторожей? (лат.)

** Богом из машины (лат.)

заурядный адвокатишка с не слишком любопытной клиентурой — исключая присутствующего здесь господина Йиона Тихого — и за целую жизнь не прочитал столько умных вещей, сколько каждый из вас за один только день, мне все же хотелось бы внести и свою скудную лепту, раз уж я оказался в этой кассетной компании. Мой отец — вечная ему память — имел в Чорткове антиквариат и массу свободного времени, поэтому он читал философов и не брал в рот спиртного, за исключением пейзаховки раз в год. Во Львове выходил тогда антиалкогольный журнал «Благословенная трезвость», и один из сотрудников редакции, зная о возвышенных интересах моего отца, попросил его написать статью. Алкоголизм, ответил на это отец, дело отвратное, и лучше бы его не было. Но если даже пустить в ход аргументы самого тяжелого калибра, все равно ничего не выйдет, потому что «Благословенную трезвость» читают не пьяницы, но одни только трезвенники, чтобы утвердиться в ощущении своего превосходства, а если пьяница случайно завернет в эту газету сеledку и на глаза ему попадется моя статья, он либо употребит ее сами знаете для чего, либо тут же напьется от огорчения, что поддался столь пагубной привычке. Я очень извиняюсь, но я не верю, чтобы писание таких мудрых, глубоких книг о счастье и нравственности, которые писал лорд Рассел, могло хоть одну муху спасти от обрывания крылышек. Когда я был мальшом и играл у себя, мать время от времени кричала мне из другой комнаты: «Спутя, перестань»; она не знала, что я делаю, но ничего хорошего не ожидала; и то же самое можно сказать о человечестве. Оно, к сожалению, не желает переставать. Отец выписывал «Иллюстрированный еженедельник» со снимками, изображавшими Бремя Белого Человека: с пробковым шлемом на голове и винчестером в руке он попирает ногой носорога, а за ним — толпа потных голых негров с тюками на головах и ручками от кофейных чашек в носу. Тогда я мечтал, чтобы негры сбросили с себя эти тюки и прогнали белых из Африки, предварительно поломав об их спины винчестеры. Я собирал станиоль от шоколада «Хазет» для выкупа негрят и скатывал из него большие шары, только не мог узнать, куда потом надо идти с таким шаром, чтобы выкупить негрятенка. А теперь нет уже этих белых эксплуататоров, есть только чернокожие экс-капралы Иностранного легиона, которые либо сами режут своих чернокожих соплеменников, получивших докторскую степень в Кембридже, либо поручают это своей лейб-гвардии, а орудия казни импортируют из Англии и других высокоразвитых стран. Теперь

чернокожим велют короновать себя чернокожие, и лишь кишки, которые из них выпускают, такие же красные, как и прежде. Теперь мы слышим не о карательных экспедициях, но о государственных интересах, только я сомневаюсь, что для истребляемых здесь имеется какая-то разница. Нет уже Deutsch-Ostafrika* и никаких вообще колоний, а одна сплошная независимость, и посторонним вмешиваться нельзя, чтобы никто не мог помешать суверенной резне. Вы, господа, говорили тут о всеобщем счастье, что, дескать, полного иметь нельзя, а только крошечное. Счастье, конечно, вещь относительная. Пятнадцати лет я попал в лагерь уничтожения, где людей травили газом, как клопов. Я оставался в живых лишь потому, что Кацман, второй заместитель коменданта, взял меня к себе для уборки дома, а дело было летом, я натирал пол без рубашки, на коленях, и ему приглянулась моя спина. Насколько я знаю, он хотел сделать подарок своей супруге, которая жила в Гамбурге, и придумал абажур для ночника. Среди заключенных он нашел специалиста по татуировке — там были даже знатоки санскрита, что, впрочем, не имело для них практического значения, — и велел ему изобразить у меня на спине трогательную картинку. Он был очень порядочным человеком, этот татуировщик, и татуировал медленно, как только мог, хотя Кацман его торопил, потому что приближался Geburtstag** фрау Кацман. На брючном ремне я делал насечки — сколько дней жизни мне осталось, а потом Кацман получил письмо из Гамбурга, что его жена погибла вместе с детьми при воздушном налете. Он не любил новых лиц, а может, хотел к тому же проверить, как продвигается исполнение этой картинки, короче, я по-прежнему у него убирал и видел его отчаяние. «О Gott, О Gott, — повторял он, — и за что на меня свалилось такое несчастье?!» Он получил отпуск на похороны, уехал и уже не вернулся. Благодаря этому я как-то выжил, потому что его преемник на всякий случай держал меня под рукой, — а вдруг Кацман еще раз женится или что-нибудь в этом роде, и абажур понадобится опять. Он только осматривал меня иногда и говорил, что он это здорово сделал, тот татуировщик, которого тем временем отправили в газовую камеру. Счастье, господа, переплетается с несчастьем самым причудливым образом. Если бы я был тут вживе, показал бы вам эту картинку. С тех пор мне кажется, что людям вполне должно хватать, если нет

* Немецкой Восточной Африки (нем.).

** День рождения (нем.).

несчастья. Чтобы никто не мог давить людей, как вшей у огня, и утверждать, что это, к примеру, высшая историческая необходимость или предварительная стадия на пути к совершенству или же что вообще ничего не происходит, а все это вражеская пропаганда. Я не хотел бы задеть ни одного из вас, господа кассетонцы, я не бросаю камешки в чей-либо огород, я не жажду ничьей крови, но множество крови было пролито как раз из-за разновидностей философии. Ведь это философы открыли, что все не так, как кажется, а совершенно иначе; и вот ведь что интересно: последствия гуманистических систем были, в сущности, нулевыми, зато последствия тех, других, наподобие ницшеанской, были кошмарны, и даже заповедь любви к ближнему, а также программу построения земного рая удалось переделать в довольно-таки массовые могилы. Любой философ ответит, конечно, что эти переделки с философией ничего общего не имели, но я не согласен. Имели, да еще как. Можно эти переделки заповедей назвать совершенно иначе, потому что все можно назвать совершенно иначе, и именно в этом несчастье разума. Можно доказывать, что обычная свобода — ничто по сравнению с настоящей, и, если эту обычную отобрать, получается всеобщая польза. Кто занимался этими переделками? Как ни печально, философы. По-моему, раз уж я спас свою шкуру от абажура, я не имею права делать вид, будто этого не было. Теперь об этом пишут с ужасом и раскаянием, особенно в Германии — там ведь самая демократическая демократия Европы. Теперь, а раньше там был фашизм. Что это-де была мрачная година истории и другой такой не будет. Но черная година по-прежнему налицо. По-прежнему. Все внутри переворачивается у человека, который верил в деколонизацию, а теперь читает, что чернокожие пустили чернокожим больше крови, чем перед тем белые. Поэтому я убежден, что есть вещи, которых нельзя делать во имя каких бы то ни было других вещей. Каких бы то ни было! Ни хороших, ни дурных, ни возвышенных. Ни во имя государственной пользы, ни во имя всеобщего блага через пару десятков лет, потому что доказать можно все. К чему так уж сразу идеальное состояние? Не лучше ли, если никто ни из кого не может сделать абажура для ночника? Это вполне конкретно, а для измерения идеального состояния никто еще не выдумал метра. Поэтому я бы не проклинал эту этикосферу. Конечно, сделать невозможным причинение зла — тоже зло для многих людей, тех, которые очень несчастны без чужого несчастья. Что ж, пускай. Кто-то всегда будет несчастен, иначе нельзя. Вот и все.

В кассетах наступило, похоже, всеобщее замешательство. Во всяком случае, довольно долго никто не отзывался, пока наконец в космической тишине не раздался голос лорда Рассела:

— Господин Финкельштейн, вы правы и вы не правы. Если философия иногда и сеяла зло, то лишь потому, что зло — обратная сторона добра и одно без другого не существует. Человеческий мир — это недолгое пребывание в пространстве и времени разумных (за некоторыми исключениями) существ, причиняющих друг другу страдания. Хотя никто этого не подсчитал, я полагаю, что сумма мук и страданий есть историческая постоянная, точнее, она прямо пропорциональна числу живущих, то есть остается постоянной на душу населения. Я всегда старался верить, что какое-то медленное улучшение все же происходит, но действительность неизменно доказывала иное. Я сказал бы, что человечество демонстрирует ныне лучшие манеры, чем в Ассирии, но отнюдь не лучшую нравственность. Просто на смену открытому чванству палачей пришли всевозможные предлоги и камуфляжи. Нет публичных казней, во всяком случае, в большинстве стран, поскольку принято считать, что это не пристало приличному государству. Но «не пристало» — нечто иное, чем «нельзя». Первое высказывание относится к правилам хорошего тона, второе — к этике. В своей основе человечество меняется очень медленно и незначительно. Никто уже не помнит, что протягивание руки в знак приветствия когда-то имело целью проверить, нет ли в этой руке остроконечного камня. Кроме того, в этике какая бы то ни было арифметика недействительна. Если здесь гибнут пять миллионов в лагерях смерти, а там — лишь восемьдесят тысяч с голоду, нельзя сравнивать эти цифры, чтобы сказать, что лучше. Не может быть такого расчета, который позволил бы установить, что несчастье матери хотя бы одного такого ребенка, когда он умирает от голода, а у нее для него ничего нет, кроме высохшей груди и разрывающегося сердца, меньше, чем несчастье, причиненное субъектом с дипломом Сорбонны, который вырезал в Азии четверть своего народа, решив, что именно эта четверть мешает осуществлению его благородной идеи о всеобщем счастье. Я даже не стану спорить с вами об объеме предмета философии. Пусть будет по-вашему — философией является все. В определенном смысле — да, ведь и курица, снося яйцо, тем самым показывает, что стоит на позициях эмпиризма, рационализма, оптимизма, каузализма и активизма. Она сносит яйцо, то есть действует, значит, она активистка. Высиживает это яйцо в

убеждении, что его можно высидеть: это уже незаурядный оптимизм. Она рассчитывает на появление цыпленка, из которого вырастет новая курица, значит, она еще и прогнозистка, а также каузалистка, поскольку признает причинно-следственную связь между теплом своего брюха и развитием птенца. Курица только не может всего этого прокудахтать, и философия ее носит инстинктивный характер — она встроена в ее куриные мозги. Но в таком случае, господин адвокат, от философии нельзя убежать. Это попросту невозможно, и неправда, будто бы *primum edere, deinde philosophari**. Пока существует жизнь, существует и философия. Философ, конечно, должен быть верен собственным убеждениям. Чаще бывает иначе. Так пусть хотя бы старается. Я старался. Я противился злу достаточно наивно, комично и безуспешно, усаживаясь задом на мостовую в знак протеста против войны. Я ничего не добился, но если бы я вылез из кассеты, то делал бы то же самое. Каждый должен делать свое, и баста. Кажется, нам не очень-то удалось возвеселить душу нашего одинокого хозяина. Почему вы молчите, господин Тихий?

— После философов и правоведов я хотел бы предоставить слово художнику, — ответил я и включил кассету с Шекспиром. Что-то неотчетливо зашуршало, а потом раздался голос:

Чьей волею из праха я восстал
Без тяжкой, косной плоти? И куда
Я призван? Чувствую, что этот черный
Квадрат — не крышка гроба моего
И не окно, распахнутое в ночь,
За коим мокнут под дождем деревья,
И значит, я не на земле английской,
Но также и не в ангельских краях.
Хотя мой дух, как прежде, мне послушен,
От груза тела я освобожден —
Лишь речь да слух еще мои. Итак,
Не Всемогущество меня призвало,
Чтоб я Его узрел лицом к лицу,
Во всеоружье чувств. Я воскрешен
Неведомым и колдовским искусством,
И ныне здесь, незрячий и нагой,
Вновь обретенной мыслью трепещу я:
Кто совершил все это и зачем?
Кто пожелал, чтоб я, как невидимка,
Невидимую челядь забавлял
Посмертным и постылым стихотворством

* Сначала еда, потом философия (*лат.*).

И раздувал чужой беседы угли?
Я, воскрешенный, знаю и не знаю,
Кто я такой и почему я здесь,
Я, умерший от опухоли Вилли,
Фигляр, комедиант, рифмач, который
По смерти вырос выше королей,
А здесь в темнице некой заточен, —
Но не в почтенной Тауэрской башне,
А словно бы в бочонке из-под пива,
Что пробегает Млечными Путиами
Миллиарды миль, понурых и пустых,
И скрепами незримыми скрежещет
По гравитации необозримых звезд.
Но более страшит меня не это,
А собственная внутренность моя:
Всеведущий таится там паук
И паутину тклет словес неясных
О битах, кодах, эстрах и спинорах.
Как мог узнать я, из каких частей
Составлен воздух, что такое фото
И тысячу подобных пустяков?
Я знал лишь о Фальстафе, а теперь
Узнал, что гем окрашивает кровь
И что мое посмертное уменьье
Нанизывать слова на нитку ритма,
Уньолого, как маятник часов, —
Внутри меня, но все же не мое.
Как если бы мой голос исходил
Из спрятанной шкатулки музыкальной,
Чьи зубчики толкает страх болливый —
Старухи Смерти вечный ухажер.

— Господин Шекспир, успокойтесь. Вы всего лишь макет. Но может быть, кто-нибудь из вас, господа, объяснит это лучше? Может быть, вы, лорд Рассел?

Бертран Рассел, к которому обратился с этими словами адвокат, действительно разъяснил кассетному Шекспиру, откуда он взялся, как это делается и для чего. Изложение было вполне популярное и довольно пространное, и все же я сомневался, сможет ли Шекспир, прослушав элементарный курс кибернетики и психоники, разобраться во всем этом. Никто не просил слова, когда Рассел закончил. Все молчали, пока наконец не отозвался проинструктированный:

Милорд, я понял, мы — фантомы оба.
Тут нет чудес, и ни к чему они:
От роли Лазаря Господь нас сохрани,
С червивым брюхом вставшего из гроба.

В машину ввергнут я, в которой жизни нет
И смерти нет, — *tertium datur*^{*}, лорды!
Незримых шестеренок зубья твердо
Удерживают призрачный скелет.

Вы научились, развлеченья ради,
Бесплотных собеседников плодить.
Я — третье между «быть или не быть»,
Всего лишь тень, с Натурою в разладе.

Однако мой вы пощадили прах,
И я на вас проклятий не обрушу.
Но тот, кто из костей достал бы душу,
Чудовищем остался бы в веках.

Как шут, я забавлял толпу когда-то,
Но после смерти этот крест нести
Не в силах я. Позвольте мне уйти
В небытие, откуда нет возврата.

Я долее внимать вам не хочу
И в рифму отвечать на ваши речи,
Иначе не стихами я отвечу,
Но зверем недобитым зарычу.

Ничем не разнятся восторги и стенанья,
Эдемский сад и адская жара.
Пусть длится в кости вечная игра —
Я выбираю вечное молчанье.

IV. ОСМОТР НА МЕСТЕ

Грязь, болота, трясины, хлюпающие провалы ям, гнилостные испарения, пузырьки газа, иссиня-бурый туман, от которого першит в горле, — вот оно, место моего курдландского приземления, вот куда меня занесло через 249 лет, как показывает счетчик. Облетев на приличном расстоянии сияющую луну, которая когда-то так меня одурачила, я направился к северу, туда, где земля зеленела у кромки полярного снега, оставив далеко за кормой серую сыпь городов. Когда я в первый раз спустился по трапу, то чуть не утонул в грязи — влажный, искрящийся травяной ковер оказался попоной топи. Чего-либо так заляпанного грязью, как корма моей ракеты, я, пожалуй, еще не видывал. О привале и думать нечего.

* Третье дано (лат.).

Придется, похоже, выдолбить пирогу, а еще лучше — встать на водногрязевые лыжи. Ночью — бульканье, хлюпанье, всплески, чмокание болотных газов. А уж воняет! Некуда было так спешить.

Ракета постепенно погружается в липкое месиво. По моей прикидке, утонет по самый нос всего за неделю. Надо начинать ускоренную разведку. Но как ее ускорить в таких условиях? Считая вчерашний день нулевым, сегодняшнему присваиваю номер первый. Обратно вернулся перемазанный как сто чертей, зато видел курдлю. А может, это был Куэрдл или QRDL. Было слишком темно, даже в поле зрения ноктовизора, чтобы толком разобраться. Чудовищная тварь. Он все проходил и проходил мимо меня и никак не кончался, хотя все время шел рысью. Что ему грязь, если у него ноги как башни. Я оценил его длину в четверть английской мили или, пожалуй, морской мили, учитывая водянистый характер местности. Выходит, я видел натурального курдлю. Курдли существуют. Это животные, а не какие-то там градозавры. Но может ли мое наблюдение служить доказательством? Не затащу же я курдлю на борт ракеты. Надо подумать. Завтра следующая разведка — дневная.

День второй. На этой планете творятся невероятные вещи. Вернее, омерзительные. Я еще не оправился от потрясения. Я собственными глазами видел, как большой курдль подошел к курдлю поменьше — это было в чистом поле, довольно даже сухом, заросшем рыжеющей травкой, в какой на Земле водятся рыжики, так вот, значит, подбежал он к этому малышу, спокойно жующему травку, тщательно обнюхал его, и тут великана вырвало; тогда тот, маленький, припал сперва на передние, потом на задние ноги, в точности как верблюд (но размерами больше кита), съел все это, облизнулся и завыл. И завыл он так дико, глухо и так тоскливо, так безнадежно и мрачно, словно голосили эти вечно пасмурные просторы, — у меня просто мороз прошел по телу, еще переполненному омерзением. Тогда тот, что побольше, схватил коленопреклоненного за ухо и, оборвав его одним щелчком пасти, начал жевать, методично чавкая и двигая губами вверх-вниз, как корова, обгрызающая молодые побеги. Потом надгрыз тому второе ухо, но сразу же выплюнул, словно оно ему не понравилось. Тогда малыш, припавший к земле, зашевелился. Его явно тошнило. Курдль и курдленок, глядя друг другу в стеклянные вылупленные глаза, зарычали так, что у меня волосы стали дыбом. Затем поднялись, стали рыть землю задними ногами и разошлись без спешки в разные стороны. Что

бы это значило? Я осторожно приблизился к встоптанному месту с поистине колодезными ямами — следами их ног; ноги у них расширяются у пятки, и каждая шире небольшого домика. Из зеленоватой лужи величиной с пруд тишком, молчком вылезали низкие, сторбленные существа, вполне человекоподобные двуногие, но сзади у каждого имелась лишняя пара куцых конечностей, по которым стекала не то чтобы вода, а, скорее, жижа; о ее происхождении я предпочел не задумываться. Они были явно знакомы с цивилизацией, потому что носили одежду, и притом двубортную, с пуговицами спереди и сзади, с широкими хлястиками, скроенную на манер реглана; а их добавочные отростки были вовсе не ноги, но полы этой странной одежды, напоминающей сшитый из двух половин фрак. Я принял их за конечности лишь потому, что они мешкообразно оттопыривались и размеренно покачивались на ходу; но потом кто-то из них сунул туда руку, и в ней появился бурдючок, который был немедленно приложен ко рту. Значит, это у них карманы для еды и питья. То и дело прикладываясь к своим бурдючкам, они понабирали в мешки водорослей, плавающих в луже, затем один, повыше ростом, что-то прокашлял, все выстроились в длинную шеренгу, и откуда-то — понятия не имею откуда — появился письменный стол. Должно быть, складной; видимо, кто-то нес его на спине, как рюкзак. Тот, повыше, уселся за стол, и образовавшаяся на моих глазах длинная очередь начала медленно продвигаться вперед; проходя перед сидящим — каким-то чиновником, в этом я уже не сомневался, — каждый поочередно предъявлял ему белый треугольник, зажатый в руке, то ли удостоверение, то ли просто карточку из плотной бумаги или пластика. Чиновник восседал, широко расставив согнутые назад колени; он вел себя со всеми одинаково: смотрел на карточку, потом на лицо проверяемого и наконец заглядывал в небольшую, но очень толстую, мокрую, грязную книгу или тетрадь, водя пальцем по страницам, как если бы искал там нужный номер. Затем брал треугольник, клал на стол, шлепал печатью и издавал отрывистое покашливание, а я не мог взять в толк, как это он может делать все сразу: ведь чтобы листать книгу, требовалась третья рука, а у него, безусловно, были всего лишь две; но тут я заметил, что сидит он не на стуле, а на одном из своих братьев, и тот, согнувшись под тяжестью чиновника, поминутно подсовывает ему какой-то список или каталог. Шло это довольно гладко, но у меня занемели ноги от стояния в неудобной позе за кучей грязи; наконец проверка кончилась, стол со сложенными ножками

взвалили кому-то на спину, все построились в колонну по трое и зашагали к линии горизонта, туда, где синел густой лес. Я все это время сидел пригнувшись, не решаясь высунуть носа. Вернувшись в ракету, долго мылся, чистил и драил одежду, особенно обувь, и размышлял об увиденном.

День третий. Многое дал бы я, чтобы понять то, что мне довелось сегодня увидеть. Я отошел от ракеты на добрых пятнадцать морских миль, места там гораздо суше, но из расположенного по соседству болота тянутся над самой землей белесые полосы тумана. Сперва я встретил одинокого курдья-самца — он спал на солнце, которое висело еще довольно высоко. Должно быть, сны ему снились плохие: он ужасно храпел, а когда вздыхал, из его полуоткрытой пасти вырывался настоящий вихрь, разгонявший влажные испарения. Вонь едва не свалила меня с ног, поэтому я выполнил обходный маневр и зашел с наветренной стороны, чтобы сделать несколько снимков. Это удалось бы как нельзя лучше, но, увы, при презарядке кассеты упали в яму, заполненную до краев водой и грязью, — след его ног, и я не решился нырнуть в эту липкую лужу. Этот курдль был настоящий колосс. Издали я было принял его за какой-то корабль, выброшенный бурей на берег, пока не увидел, как раздуваются от дыхания его бока. Со спины свисали лохмотья линяющей шкуры. Большой части хвоста недоставало. Потом в путеводителе я нашел описание таких особей — они теряют хвост, потому что сами его надгрызают. Такой курдль, чаще всего поседевший и серьезно пораженный склерозом, зовется плешехвостом. Как я вскоре убедился, старик был обитаем. Я снимал его с разных сторон и записывал на пленку его стоны во сне, а после, проголодавшись, подкрепился сухим провиантом, который взял с собой. Уже темнело, когда во все еще разинутой пасти засветились огни. Значит, курдли все-таки извергают огонь, подумал я, решив, что это самовозгорание; но это были фонарики идущих друг за другом существ, таких же, как встреченные мною накануне. Однако эти одевались немного иначе. На них были треуголки, несколько осевшие от влаги, и короткие фракы, наискось перехваченные разноцветными шарфами. На шарфах что-то блестело, возможно ордена или медали, но с каждой минутой становилось все темнее, и даже с помощью полевого бинокля я из своего укрытия не смог разглядеть их получше. На этот раз существ вывалилось из курдья очень много, чуть ли не две сотни. У меня на глазах они побежали навстречу друг другу, словно в атаку, но вместо того чтобы сразиться, начали карабкаться друг на дружку,

подскакивая и выгибаясь. Выглядело это как акробатический номер: они образовали четыре центра влезания; четыре столба из вцепившихся друг в друга существ сотрясались от напряжения неподалеку от спящего великана, а другие все прыгали на них и поспешно лезли наверх, словно бы решив, в коллективном помешательстве, соорудить из самих себя лестницу до самого неба, живую Вавилонскую башню; наконец с верхушек четырех пирамид они начали перебрасывать арки, сплетая руки и ноги, и тут меня словно током ударило: я понял, что они такое делают. Из собственных тел они создали подобие курдю! Но безумием это вовсе не было, а если и было, то в их безумии имелась своя система, потому что один из них, покрупнее, весь обвешанный шарфами и знаками отличия, покрикивал в рупор мегафона; он явно руководил их усердным руконожным восхождением. Припомнив о том, что я вычитал в библиотеке МИДа в самых старых экспедиционных отчетах, я решил, что псевдокурдю двинется с места, хотя и сознавал одновременно, что это невозможно физически. Тем временем взошла луна, и, хотя вообще-то я не испытывал к ней симпатии — она напоминала мне о прежнем конфузе, — теперь она помогла мне своим сиянием. При полной луне я до тех пор разглядывал лжекурдю в ночной бинокль, пока не обнаружил в его конструкции любопытные закономерности. У члаков, изображавших ноги, шарфы были довольно узкие, неопределенного темного цвета — вернее всего, просто грязные. Те, что вскарабкались выше, носили шарфы пошире и посветлее, должно быть, желтые или светло-оранжевые, а члаки, лежавшие на самом верху, изображая лопатки и хребет, были перепоясаны крест-накрест двумя лентами, блестящими так, словно в них были вплетены серебряные нити. Впрочем, эта живая постройка не могла стоять долго — ноги и брюхо все явственней дрожали от напряжения; их командир, или дирижер, окруженный небольшой свитой, все еще властно покрикивал, а затем по его знаку появились трубачи, и в сопровождении труб раздалась приглушенная, но вполне различимая песнь. Впечатление было необычное и очень сильное, и я терялся в догадках, к чему им, собственно, все это. Что это: цирковой номер, государственная церемония, военный парад на месте или, наконец, ритуальный обряд? Впрочем, это могло быть и что-то совершенно иное, чему у нас и названия нет. Время от времени кто-нибудь из актеров отваливался от псевдотуши и украдкой, на четвереньках, уползал в темноту, словно бы пристыженный или испуганный своим мимовольным отступничеством. Про-

должалось это с полчаса, а может, и дольше, пока курдль не начал понемногу просыпаться. Тогда счетверенная пирамида мгновенно рассыпалась, сотни тел разлетелись в разные стороны, заиграли трубы, и четыре шеренги члаков поспешили к зевающему гиганту, чтобы при свете скачущих фонариков исчезнуть в его пасти. Туча закрыла луну, и я, уже мало что видя, все же успел разглядеть, что градоход постепенно встает сначала на задние, потом на передние ноги и торжественно трогается в путь. В брюхе у него так бурчало и гроыхало, словно он страдал несварением желудка. Я в темноте возвращался к ракете, исполненный изумления. Ведь вот говорят, будто все уже было под солнцем, что нет ничего непонятного, раз законы Природы универсальны; тогда почему они сперва вылезли из этого мерзкого старикана, а потом залезли обратно? Почему такое множество их так старалось на время превратиться в курдля? Что это было? Блуд? Бред? Ритуал? Адаптация? Патриотический долг? Генетический дрейф? Полицейский приказ? Голова у меня раскалывалась, главным образом от любопытства. В путеводителе о чем-либо подобном не было ни слова, ведь сочиняли его специалисты, не верившие, будто градоходы могут быть курдлями, живыми и обитаемыми одновременно. Впрочем, я уже понял, что больше надо доверять собственным глазам и ушам, чем взятой в дорогу литературе.

День шестой. Кратко отмечу, что сегодня наблюдал: а) столкновение двух градозавров; из одного выпала чуть ли не целая семья с парализованным дедушкой; б) нападение четырех малышей на великана; бодая его в слабинку, они вынудили его к позорному бегству; по дороге он содрогнулся в судорогах и извергнул курдленка, который тут же вымазался в луже, встрепенулся, взбрыкнул и весело умчался в лес; все это напоминало братскую помощь малышей проглоченному; в) падаль на прогулке.

Последний феномен стоит описать подробнее. Обливаясь седьмым потом, я продирался через высокие камышовые заросли между двумя рядами пологих холмов и на фоне неба, на верхушке одного из этих лысых пригорков, заметил силуэт курдля. Он не привлек моего особого внимания — он ничем не выделялся, а просто шел примерно в ту же сторону, что и я, но на расстоянии в добрую милю. Впрочем, сражаясь с камышом, который цеплялся за рюкзак, кислородный аппарат, футляры с кассетами и камеру, я меньше всего думал об этом одиноком колоссе — скорей уж о том, как выбраться на более твердое место; я просто тонул в тине, вонь которой до самой

смерти будет сопутствовать моим воспоминаниям об этой якобы высоко развитой планете. Наконец, совершенно обессилев, я остановился, чтоб отдышаться, и лишь тогда шагающий далеко впереди курдль показался мне каким-то странным. Шел он, правда, довольно плавно, но иначе, чем те, которых я уже видел. Голову на длинной шее держал жестко, словно проглотил палку, или, скорее, падающую Пизанскую башню, хвост волочился за ним как перебитый, а ноги он расставлял широко и на каждом шагу накренялся, иногда так сильно, словно вот-вот упадет, но в последнее мгновение опять восстанавливал равновесие. Должно быть, больной, ведь у них полжизни уходит на извержение съеденного, подумал я и, вытерев пот со лба, двинулся дальше в камыши — впереди в них виднелся просвет. Теперь я чаще поглядывал в сторону курдля и не пропустил важного момента, когда он остановился — да так резко, что все четыре ноги у него разъехались, — и начал выполнять полный разворот назад, очень неуклюже, путаясь в собственном хвосте, который только мешал ему, как колода под ногами. Развернувшись, курдль пошел в точности той же дорогой, по которой приковылял, а когда он спотыкался на неровностях почвы, голова у него подскакивала, словно вместо эластичного позвоночника в шее у него была стальная балка или что-нибудь в этом роде. Ну до чего же мертвый у него хвост, подумал я, и где это его так угораздило? Достав из футляра бинокль, я навел его на великана. Тот колыхался, как корабль при сильной боковой волне, а между его лопатками, в широкой пролысине шкуры — там она была совершенно вытерта — виднелось что-то разноцветное и полосатое; наведя на резкость, я остолбенел от изумления. Там, на самой вершине курдельного хребта, между огромными шпангоутами работающих на марше лопаток, загорали на лежаках несколько члаков. Когда же я навел бинокль на голову этого удивительного курдля, мое изумление перешло в ужас: я увидел выглядывающий из-под прогнившей шкуры череп, вместо глаз зияли черные ямы, а то, что я поначалу принял за недоеденный кусок, ветку с листьями или березку, свисавшую у него изо рта, было ужасным обрубком языка. Значит, это был труп, однако он двигался, и притом довольно бодрым шагом; я наблюдал его долго, пока наконец ветер не донес до меня мерные звуки, и вдруг я узнал барабан — или какой-то другой ударный инструмент. В курdle — а где же еще? — играл оркестр. Курдль шагал в такт ударам барабана, разумеется приглушенным, ведь они доносились из глубины брюха.

Вернувшись на базу, я со стаканом персикового компота

в руке (запас которого, к сожалению, уже вышел) принялся составлять план действий. Ракета ушла в землю на треть и больше не оседала, так что я мог оставаться здесь и дальше, ведь благодаря защитной окраске она почти невидима; но похоже было, что в этой местности я разужнаю немного. Поэтому я решил предпринять последнюю рекогносцировку, чтобы добыть языка, — впрочем, не особо надеясь на успех: курдландцы не появлялись в одиночку, и мне ни разу не попался отряд меньше чем в тридцать члаков, а с такой ватагой я предпочитал не вступать в какие-либо разговоры; чутье мне подсказывало, что добром бы это не кончилось. Но я не так-то быстро отказываюсь от исследовательских проектов, за которые заплачено веками ледяного сна, настоящей обратимой смерти; поэтому я собрался с силами и приготовил ночное снаряжение, то есть ноктовизор, фонарь, немалое количество шоколада, термос с питьем, а также переводилку — модель, если верить фирменному каталогу, необычайно удобную, но нельзя сказать, чтобы легкую словно перышко, если вам нужно продираться сквозь болотные заросли: весила она почти восемь кило. Зато это была модель «первого контакта», рассчитанная, кажется, на восемнадцать верхне- и нижне- курдландских диалектов, и, если уж я собрался рисковать жизнью и здоровьем, она была в самый раз. Трудно сказать почему, но при восходе луны я направился на северо-запад, туда, где днем увидел шагающий по лысогорью труп. Однако, хотя и шел по азимуту, видимо, сбился с пути и забрался в чащу, о которой могу лишь сказать, что там жутко воняло, а ветки стегали по лицу; если бы не кислородная маска, закрывающая глаза, мне пришлось бы повернуть обратно несолоно хлебавши. Все же я пробрался через эти дебри и взошел на какой-то одинокий курган, чтобы осмотреться при свете полной луны.

Было тихо, над лугами стелился туман, что-то стрекотало — как насекомое, не как птица; и лишь далеко-далеко, почти у черного горизонта, было заметно какое-то движение. Быстро к ноктовизору — и, в который уж раз, сперва с удивлением, а потом со все большим испугом, я глядел на вытянувшуюся через эти трясины цепь курдлей, шагающих прямо на меня растянутым полумесяцем; между ними поблескивали огоньки — вероятно, фонариков в руках спешенных члаков. Я почему-то сразу решил, что это облава. На меня или не на меня — об этом я не стал размышлять, такие тонкости сейчас не имели значения. Надо было укрыться, и притом хорошенько. Курдлы, правда, цели шагом, но их шаг стоит моей рыси. А всего опаснее были пешие с фонарями, ведь в про-

ворстве они мне не уступали. До передних оставалось каких-нибудь две тысячи шагов, а то и меньше, так что надо было или немедленно начать отступление, или решиться на встречу — с непредсказуемыми последствиями. Бог весть отчего особенно ужасало меня воспоминание о курдлите, восседающем с печатью в руке на подчиненном. Именно эта картина словно придала мне крылья. Той ночью я, наверно, установил личный рекорд в кроссе по пересеченной местности. Я несся, падая и снова вставая, прямо на север, где обрывалась линия облавы, рассчитывая обойти ее по большой дуге и до наступления рассвета исчезнуть в камышах. Это мне, к счастью, не удалось. Я говорю «к счастью» по двум причинам: во-первых, я почти наверное не успел бы и очутился в мешке, а кроме того, не встретил бы существо, о котором мне приятно вспоминать и поныне, как о своем Пятнице. Я понятия не имел, что мчусь прямо на заминированную территорию, вдобавок источенную старыми, полусгнившими землянками, и что именно это — единственный путь к спасению; астронавтика, как, впрочем, и многие другие занятия, кроме сообразительности требует еще и капельки везения.

Сопя как паровоз, я несся из последних сил, отчаянно высвобождая ноги из-под каких-то кривых, склизких корней, в полной уверенности, что, если я подверну ногу, хорошего будет мало, как вдруг земля подо мной расступилась и я полетел в черный провал; илистая грязь смягчила удар, и почти в то же мгновенье в этой тьме египетской я столкнулся с каким-то существом, существом разумным, с туземцем: когда оба мы закричали от неожиданности — или от страха, — под рукой у себя я почувствовал промокшую, тяжелую, грубую ткань одежды. Вот тебе и «первый контакт»! Ни я не мог увидеть его, ни он меня. Мы отскочили друг от друга как ошпаренные. Наверное, он тут же сбежал бы — только бы я его и видел (точнее, трогал); он прятался в этих норах давно и знал их, как собственные карманы; однако моя многолетняя выучка не прошла даром. Я включил переводилку и сказал, вернее, прохрипел в микрофон: «Не убегай, чужое существо, я твой друг, прибыл издалека, но с добрыми намерениями и не сделаю тебе ничего плохого». Что-то в таком роде, потому что с инозвездными существами не следует вдаваться в подробности; нетрудно представить себе, каково пришлось бы высокоразвитому люзанцу, который ночью высадился бы, скажем, в Иране или где-нибудь еще в Азии: он мог бы считать себя счастливым, отделавшись полугодом тюрьмы. По правде, я не рассчитывал на благоприятную реакцию соседа,

и то, что он вдруг затих, уже было для меня приятной неожиданностью. «Кто ты?» — спросил я осторожно и добавил, что сам я ученый-исследователь и прибыл сюда для изучения жизни курдлей. Он не сразу избавился от подозрений, но в конце концов внял моим уговорам и ощупал меня, проверяя, какое на мне снаряжение; как ни странно, он опознал ноктовизор, хотя такой модели он знать не мог — модель как-никак была японская.

Слово за слово, не без многочисленных недоразумений, мы все же нашли общий язык, и вот что я услышал от своего ночного товарища по несчастью. Он был молодым и многообещающим курдлянским научным работником, абсолютно преданным Председателю, а равно идее политохода, поэтому власти позволили ему продолжить учение в Люзании. После каждого семестра он возвращался домой, то есть в своего курдля. На беду, во время последнего возвращения он дал промашку и схлопотал пять лет Шкуры. Он не подал апелляцию, поскольку апелляция, как свидетельство особенного упорства в заблуждениях, ведет обычно к ужесточению приговора. Я ничего не понял. Переводилка работала безупречно, но переводила она слова, а не стоящие за ними общественные явления. Мы сидели бок о бок в непроницаемом мраке, на пне, выступавшем из ила, и ели шоколад, который очень пришелся ему по вкусу. Он заметил, что нечто подобное ел в Люлявите — в университете этого люзанского города он работал над диссертацией по астрофизике. Медленно и терпеливо он объяснил мне, в чем заключалось его несчастье. Курдлянская пресса, правда, доходит до Люзании, но «Голос курдля», который он читал регулярно, о любых неприятных фактах умалчивает; поэтому он не знал, что на родине уже новый Председатель, а предыдущий вместе с двумя другими Суперстарями (Самыми Старшими над Курдлем) образует так называемую Банду Четырех, или ПШИК (Преступная Шайка Извергов и Кретинов). Едва лишь он выкрикнул обычное приветствие «О-ку-ку!» — в честь — Отцов и Кураторов Курдландии — и перечислил в правильной очередности их титулы, награды и имена, как был арестован. Объяснения не помогли. Впрочем, он знал, что они никогда не помогают. Он получил пять лет Шкуры (Штрафного Курдля) и сбежал оттуда две недели назад. Курдль, из которого он сбежал, воспользовавшись ротозейством охранников (они очень распустились на службе, говорил он, им все бы только солнечные ванны принимать на хребте), — действительно труп, трупход, или курдьма, как говорят заключенные, которые приводят его в движение собст-

венными усилиями, как галеру. Тут я начал припоминать, что о чем-то подобном читал в архиве МИДа. Однако я ни о чем не спрашивал — пусть выговорится.

Будучи ученым, да еще астрофизиком, весть о моем земном происхождении он воспринял без особых эмоций. Он, впрочем, слышал о Земле и знал, что у нас никаких курдлей нет, в связи с чем выразил мне свое сочувствие. Я было решил, что это горький сарказм, но нет, он говорил совершенно серьезно. Интересно, что он никого не винил в своей участи, не сетовал на приговор и каторжные работы, хотя и жаловался, что масло для смазки суставов охранники почти целиком сбывают налево, несмазанный костяк чуть не лопаются, когда его чудовищные мослы приходят в движение, а скрипа и скрежета при этом столько, что можно с ума сойти. Что же касается нациомобилизма, он по-прежнему стоял за него горой. Он лишь считал, что посылаемых за границу стипендиатов следует перед возвращением информировать в курдлянском посольстве; разве это по-государственному — заставлять таланты терять столько лет в Шкуре? Никто не должен быть подвергнут незаслуженной ломке карьеры! В Люзании, уверял он, полно энтузиастов политоходственности, особенно среди студенчества и профессорско-преподавательского состава. Они там просто чахнут от всеобщего счастья.

Шоколад или что-нибудь в этом роде, конечно, лучше, чем бррбиций (похлебка из гнилых мхов и водорослей), но отдельные факты нельзя рассматривать в изоляции от Целого. Я осторожно заметил, что, если бы их «Голос курдлия» давал добросовестную информацию, никто не рисковал бы кончить так, как кончил он. Он всплеснул руками. Я не видел этого, но почувствовал, ведь мы прижались друг к другу на этом гнилом пне, спасаясь от пронизывающей ночной сырости. Но тогда, сказал он, пришлось бы расписывать и люзанские лакомства, а простой люд, у которого ум за разум зашел бы, пустился бы в повальное бегство из курдлей, и что стало бы с идеей политохода? Допустим, заметил я, ну и что, ведь мир не перевернулся бы? Он возмутился до глубины души. Как же так, повысил он голос, полтора века идейных исканий, дезурбанизации и онатуривания общества — все это пойдет насмарку потому лишь, что где-то есть что-то вкуснее бррбиция?

Чтобы его успокоить, я спросил об облаве. Он отвечал своим прежним, ровным, несколько грустным голосом, а переводилка скрежетала мне в ухо его слова. Ну, конечно, он знал об облаве, потому-то он и спрятался здесь, раньше это был политический полигон, он прошел здесь курс обучения

три года назад, так что изучил местность до последнего бугорка. Знал он, и как пройти через минные поля, ведь он сам устанавливал мины. То, что я не взлетел на воздух, несколько его удивляло, но у него были заботы поважнее. Мы проболтали так полночи. Облава нас миновала; луна зашла, и стало тихо, словно в могиле. Я называл невидимого экс-шкурника Пятницей — его настоящее имя мне никак не давалось, хотя он произнес его по слогам раз шесть. Впрочем, какое это имело значение? Он обращался ко мне «господин Тоблер». Почему Тоблер? Так называлась фирма, выпускавшая шоколад с орехами, которым я его угостил, и он счел это моим именем. Имена собственные доставляют переводилкам больше всего хлопот. Мне показалось, что мое настоящее имя он считал определением моего характера (тихоня, или тихий омут). Я, впрочем, не разуверял его, мне не терпелось услышать побольше о национализме. Как можно заниматься астрономией в курдле? Разумеется, нельзя, ответил он снисходительно, но политоход — это прежде всего *идея*, а одной идеей не проживешь, нужно что-то конкретное на каждый день. В данном случае — курдли. Впрочем, жизнь в курдле — превосходная школа, формирующая *esprit de corps*, дух сотрудничества в тяжелых условиях, и открывающая перспективы на будущее. Какие? Ну, распрощаться с курдлем и поселиться где-нибудь под Кикириксом (или, может, Риккиксиксом); климат там очень здоровый, трясин никаких, курдлей тоже, в центре — правительственный квартал, но сам Председатель, а также Совет Суперстаров живут где-то в другом месте.

У меня создалось впечатление, что ему известен адрес высшего курдландского руководства, но он, хоть и побратался со мною в этой черной глуши, все же не до конца доверял мне. Говорят, сообщил он по секрету, что ни один из Суперстаров в жизни не видел живого курдля, а только Взгромозднтов, то есть красочные макеты этих могучих животных, образуемые гражданами во время государственных праздников перед почетной трибуной, на которой стоит сам Председатель. Видимо, перед тем, ночью, я наблюдал репетицию такого показа, ведь нужно немало потрудиться, чтобы проявить себя во всем блеске перед руководителями, под звуки гимна и шелест знамен. Ему самому посчастливилось когда-то быть верхней частью левой задней стопы такого Взгромозднта. Он замечтался и тяжело вздохнул. Рискуя навлечь на себя его гнев, я спросил, что прекрасного, собственно, он видит в этой страшноватой твари? Вместо того чтобы возмутиться, он иронически рассмеялся и сказал, что не настолько уж он темен по части земных

дел, каким я его, безусловно, считаю. У вас ведь есть государственные гербы, не так ли? Львы, а также орлы и прочие птицы. И что же прекрасного в этих оперенных тварях? Или вам неизвестно, что орел своими когтями и клювом разрывает всяких невинных зверушек, а также ходит под себя в гнезде? Разве это мешает вам склонять голову перед его изображением? Но мы, возразил я, не живем ни в орлах, ни во львах. Не живете, пожал он плечами, потому что не поместились бы. Нам просто больше повезло. Национализм — это традиция, освященная временем, курдль — ее воплощение, его биология — наша государственная идеология, а тот, у кого есть шарики в голове, не окончит свои дни в брюхе, и, если бы не роковая случайность, он уже через год сидел бы за отличным импортным телескопом под Кикириксом. Впрочем, в здоровом теле — здоровый дух. Ни один люзанец (он говорил «люзак») не выдержал бы и трех дней в такой яме, питаясь кореньями, а он вот живет здесь уже две недели и не жалуется, потому что в Шкуре еда была немногим лучше.

Я спросил, как ему показалась Люзания. Ведь там ему жилось хорошо? Конечно, ответил он, и он даже намерен пробраться через границу в Люлявит и продолжить занятия на факультете профессора Гзимкса, его научного руководителя. Он засядет за докторскую — чтобы вернуться, когда объявят амнистию или когда нынешний Председатель окажется демоном и чудовищем. Ибо он патриот и следует принципу: *right or wrong my country**. Впрочем, какое там *wrong!* Каждый, кто сидит в курдле, живет надеждой поселиться под Кикириксом, а эти люзанцы не ждут уже абсолютно ничего. Приходилось ли мне слышать о синтуре, гедустриализации и фелискалации — фелитационной эскалации? Вот именно. Курдля можно покинуть раз в полгода на 24 часа, получив пропуск, а этикосферу, эти путы и кандалы ошущренного счастья, — никогда, никоим образом, и если бы я только знал, как завидовали ему его молодые коллеги, когда он возвращался в Курдляндию на каникулы... Я спросил, что бы с ним сделали, если б его захватила облава, и этим страшно его обидел — или же возмутил. Он назвал меня бесстыдным чужеземцем, слез с пня на землю и лег спать. Я посидел над ним какое-то время, потом лег рядом и мгновенно заснул. Проснулся я на рассвете один. Пятницы и след простыл. Он даже не объяснил мне, где проход через минное поле. К счастью, моя собственная тропа застыла в ледяной кашнице, и, ос-

* Это моя страна, права она или не права (англ.).

торожно ступая в свои следы, к полудню я добрался до ракеты, встретив по пути лишь курдья-мальша, барахтавшегося в луже. Благодаря Пятнице я знал, что это либо пустующая жилплощадь, либо односемейные домики функционеров среднего звена. Но я уже был сыт по горло курдьями — любой масти, формата и темперамента.

Я устроил стирку, выгладил визитный костюм, слегка перекусил и взлетел на такую высокую орбиту, с которой можно было вернуться на Энцию с космической скоростью, — я не намеревался ставить люзанцев в известность о своем пребывании в Курдландии. Я хотел появиться на их радарх в качестве прибывающего прямо с Земли ее полуофициального посланника. Так было вернее. Установив связь с космодромным диспетчерским пунктом под Люлявитом и приняв пожелания удачного приземления, я приготовился к неизбежным в таких случаях церемониям: мне дали понять, что кроме Председателя и активистов Общества энцианско-человеческой дружбы будут представители государственных органов. Бриллиантом первой величины засияла на моем экране столица Люзании — незадолго до наступления полуночи; так сложилось, что приземлялся я, когда солнце давно зашло. И двумя великолепными изумрудами в одной оправе с этим бриллиантом вспыхнули его города-спутники Тлиталутль и Люлявит. Посадку я выполнил образцово и, сидя в откинутах кресле, уже в своем лучшем костюме, слушал «кошачий концерт», гремевший из бортового репродуктора. Похоже, люзанцы не разобравшись в моей государственной принадлежности, встретили меня гимнами сразу всех государств — членов ООН. Результат был чудовищен, но я понимал, что этот шаг был продиктован политическими, а не мелодическими соображениями. В три минуты первого я стоял в открытом люке корабля и в пылающем свете прожекторов, бьющем со всех сторон, под звуки оркестров начал спускаться по ковровой дорожке трапа, улыбаясь собравшимся толпам и приветственно махая руками над головой. При этом я не забыл украдкой взглянуть на корпус ракеты и убедился, что атмосферное трение обуглило ее и скрыло следы грязи, свидетельствовавшие о моей курдландской эскападе. Чуть ли не галопом вели меня мимо шпалер приветствующих все дальше и дальше, — наверно, подумал я, чтобы избавить от настырных телеоператоров и журналистов.

От гигантского вокзала в памяти у меня не осталось ничего, кроме гомона и ярких огней. Я даже толком не знал, кто меня окружает; меня бережно вели, направляли, подталкивали, пока

наконец я не погрузился во что-то мягкое, и мы тронулись неизвестно на чем, неизвестно куда. Ошеломленный переходом из туманных болотных пространств в водоворот ночного громадного города, я потерял дар речи, с бешеной скоростью несомый куда-то; пандусы, стартовые установки, гул, блеск, визг обрушивались на меня отовсюду, словно я был средоточием хаоса и вот-вот превращусь в какое-то месиво; я уже не отличал крыш от дорог, машин от ламп в этом блеске — и в этой гонке, напряженной, как готовая лопнуть струна; я съеживался, словно дикарь, с огромными усилиями притворяясь спокойным. Не знаю, куда меня привезли, там был парк, подъезд, который оказался лифтом, наш экипаж раскрылся, словно разрезанный апельсин, мы вышли, уши у меня заложило, толстый люзанец с совершенно человеческим лицом воткнул мне в петлицу орхидею, которая тут же заговорила, — это была микропереводилка, мы прошли сквозь несколько залов, похожих на дворец и музей одновременно, статуи уступали дорогу — роботы? — нет, богоиды, сказал кто-то; ковры, а может, газоны — это в доме-то? — бронза, алтари (или столы?), кто-то заметил, что у меня нет темных очков, мне вручили их, я поблагодарил, действительно, слишком много было повсюду золотых слепящих поверхностей, двери открывались, словно вытянутые радужки кошачьих глаз, сверху сыпалась розовая пыльца, а может, это был какой-то туман; мебель пела — или это были куранты? — но шляпа люзанца, едущего рядом, тоже вроде бы что-то мурлыкала, он швырнул ее богоиду, стало тихо; в полукруглом зале, выпуклое окно которого смотрело на город, пылающий в ночи своими галактиками, к нам подлетели маленькие крылатые амурчики с подносами, уставленными закусками, но прежде чем я понял, что это, один из сопровождающих сделал знак — мол, не нужно, — и они упорхнули; еще один зал, сверху темный, зато светились пальмы или кусты. Меня провели в следующую комнату. Я увидел голые стены, в углу — что-то вроде домашней мастерской, белый ковер, запачканный или прожженный химическими реактивами, крюк в стене, ошейник на цепи, и я остановился, неприятно изумленный всем этим, но они упрашивали меня подойти и взглянуть, один из них взял ошейник, надел на себя, поворачивал глазами будто от восхищения, снял, остальные смотрели внимательно, с напряжением, как-то скованно улыбались — так что же? мне надеть этот ошейник?

В конце концов, это мог быть какой-то местный обычай, но я не хотел. Сам не знаю, что меня остановило. Пожалуй, то, что они не говорили со мной, а лишь выражали жестами

самое униженное почтение; у всех у них были переводилки, в петлице, как у меня, и все же они молчали. Я застыл посреди комнаты. Они вежливо подталкивали меня, с жестикуляцией глухих или придурковатых, но я уже уперся, начал от них отбиваться, поначалу не без церемоний, кланяясь, — все же такой дворец, надо соблюдать видимость, слишком резкий был переход — почему именно здесь, в чем тут дело, какого черта? — они толкали меня уже почти по-хамски, тем сильнее, чем сильнее я сопротивлялся; не знаю когда, в какой момент почести обернулись побоями. Собственно, не они меня били, а я их тузил; в пухлую морду толстого — погоди у меня! — головой в живот — пусти, хам! да отстаньте же, погодите, тут какое-то недоразумение, я чужеземец, прибыл в качестве дипломата — переводилка пискливо повторяла каждое мое слово, они не могли не слышать и все же по-прежнему подталкивали меня к стене — вот как? что ж, поговорим по-другому, врежем по поющей одежде, а пинка не хочешь? — переводилка хрустнула и умолкла, раздавленная, они навалились массой; все-таки я сопротивлялся не так, как мог бы, — я не знал, насколько велика ставка. Понятия не имею, как и когда, но ошейник защелкнулся у меня на шее, и теперь они хотели лишь вывернуться, отскочить, уйти, ведь я уже был на цепи; но я зажал под левым локтем голову толстяка и охаживал его за всех остальных, те тащили его за ноги, он ревел словно буйвол, и в конце концов я его отпустил, уж больно все это было по-дурацки. Они отбежали от меня подальше, как от злой собаки, тяжело дыша, в разорванной одежде, которая немилосердно фальшивила, — я таки изрядно им наподдал; но смотрели они на меня с радостью — совершенно иной, нежели раньше, на космодроме; это была радость *обладания* мною. Я выражаюсь достаточно ясно? Они насыщались моим видом, словно я был крупным хищником, угодившим в капкан. Это чертовски мне не понравилось. Наглядевшись на меня вволю, они гуськом ушли.

Я остался один, на цепи, и еще раз оглядел комнату. Я с удовольствием сел бы, ноги еще дрожали от напряжения, ведь одному из них я надорвал ухо, а толстому попортил нос; но сесть просто так, у стены, с ошейником на шее, я не мог — во всяком случае, пока. Ходить мне тоже не хотелось, это было бы чересчур по-собачьи. Перед глазами у меня все еще стояло золотое великолепие дворца, несколько амурчиков с подносиками слетелись под потолком, но потчевать меня снедью уже не пробовали. Напрасно я пытался внушить себе, что это какое-то грандиозное недоразумение. Всего подозре-

тельнее было даже не то, что меня посадили на цепь, но радость, с какой они смотрели на меня перед уходом. Я размышлял, как вести себя дальше, чтобы не утратить достоинства; в таком положении в голову приходят совершенно идиотские мысли, к примеру, заслонить ошейник воротничком рубашки, а цепь прикрыть телом. Однако глаза сами устремились к подобию мастерской в углу: там лежали какие-то ножи и щипцы, а выше, под потолком, проходил прут, по которому передвигалась штора на колесиках, но теперь она была раздвинута. Ножи что-то напоминали мне — немного похожи на пилы, но без зубьев, острие полукружьем, с ручками, — ну да, в точности, как кожевенные ножи. Для обработки кожи. Но что же общего они могли иметь со мной? Да просто ничего общего! Я повторил это себе раз десять, но вовсе не убедил себя. Позвать на помощь я стыдился. В перочинном ноже у меня был напильник, но не на такую цепь — эта выдержала бы не то что сторожевого пса, а шестерную упряжку.

Примерно через час радужные двери вдруг растворились. Вошли мои похитители с каким-то новым люзанцем, высоким и очень плотным. Он носил розовые очки, держался величественно, хотя задыхался так, словно опаздывал на поезд. Он низко поклонился мне от самого порога и включил пение своей одежды. А может, шляпы. Остальные, показывая на меня, галдели наперебой все с тем же радостным удовлетворением. Неужели я был заложником? Может быть, политическим? Или речь шла о выкупе?

Разглядывание заняло несколько секунд, но величественный люзанец заметил незанавешенную мастерскую и начал орать на сообщников, а одному даже пригрозил кулаком. Они наперегонки бросились задвигать занавеску. Кретины — горчица после обеда; но то, что они заслонили эту лавку с ножами, окончательно заморозило мне кровь. Высокий скомандовал, двое выбежали из комнаты и почти сразу вернулись со статуей, из тех, что они называли богоидами. Выглядел этот богоид в точности как наш земной, церковный ангел, только что двигался. Принесли кресла, ангел пододвинул одно из них мне, встал рядом и принялся тараторить неслыханно быстро; я понял, что это переводчик; вдобавок он обмахивал меня крыльями, что тоже было не лишним, — после всех этих разговоров и покушений на мою жизнь я буквально обливался потом. Они сели кружком, но не слишком близко — за пределами досягаемости цепи, — ну, и началось. Что именно, трудно сказать. Сперва они представились мне, но не все. Те,

что посвирепее, уселись между креслами на корточках и воодушевляли ораторов воем, визгом, взрывами сатанинского смеха, а выступающие поочередно занимали свободное место прямо напротив меня и давали волю своему чувству ненависти — не столько ко мне, сколько ко всему свету.

Когда-то меня уже похищали ради выкупа, об идейных похитителях мне тоже немало довелось слышать, и эти изображали из себя как раз идейных; но что-то тут было не так. Не знаю, черт подери, как это выразить. Не то чтобы я сомневался в искренности их недобрых намерений. Я узнал, что величественный, в розовых очках, — председатель, или, точнее, антипредседатель, их Союза писателей, что один из них занимается антисвященничеством, другие были Пантожниками (панантихудожниками), на ковре сидел на корточках неонист (он не светился неоном — просто так называли неонигилистов), рядом с ним двое социократов (укокошников), а возле ангела — один апокалиптик (эсхатист), двое противленцев, с чем-то там борющихся, один кромешник и несколько экстремистов помельче, выполнявших функции клакеров. Угрожая мне, они переходили от ярости к энтузиазму, их чувства казались искренними, но... словно бы не удовлетворяли их самих. Чем-то они напоминали переволновавшихся перед спектаклем актеров, чем-то — индейцев, танцующих вокруг пыточного столба, но индейцев, которые не очень-то верят в своего Манитоу и Страну Вечной Охоты и танцуют, как танцевали их деды, однако с какой-то тревогой... не то чтобы их что-то сдерживало, никакой жалости, отнюдь, скорей уж крупница сомнения, заглушаемого хорвым воем... или вот еще плакальщицы на похоронах — не те, кому платят за причитания и посыпание главы пеплом, но родственники, которые силятся подогреть температуру отчаяния выше, чем на это способны... и потому им приходится вырывать на голове больше волос, чем нужно, и так рыдать, чтобы было слышно за кладбищем. Словом, что-то они чересчур старались. Лица у них были человеческие, однако не маски, хотя было видно, что это не обычные их лица. Тогда я еще не знал, как они это делают, и, по правде сказать, это не слишком меня заботило. Ангел, стоявший рядом, бил космические рекорды скорости перевода. Он переводил даже хоровой визг: «Свобода и Благоденствие! А чтоб вас всех! В ежовые рукавицы паскудников, кибродяг, наукиных детей, состряпанных в колыбели-колбе, чмавкающих в повсюдной кремоватости, брюзглых дряблых блевунчиков-губохлопов». Таким вот манером они себя распаяли, а потом один из них

растолкал остальных и, подпрыгивая на месте по-петушиному и размахивая руками, словно хотел вознестись под потолок, к амурчикам с подносами, заревел:

— Слышь, землец, курьерскую твою дипломать! Ведь правда же, что всякий, мал он или велик, безобразен или красив, подл или благороден, кривобок или строен, пока горе мыкает и, пополам согнувшись, разматывает нити жить, то бишь жизни нить, пробуждает в нас сердоболые, жалость, участие, трепет, благость, сочувствие, святость, аминь! А заблеванная блудолюб, потаскунчик паскудный, мордovorотистый брюхан-ненасыт, губошлеп лупоглазый, лягатель цветов, миров попиратель — не более чем двуногое загрязнение бытия, прорва-прожора, циник-зловред, тошнотворный и муторный засморканец, ведь верно же? Ежели встретишь на болоте, в ненастье, горемыку в дырявой сермяге, желчь у тебя разольется от жалости неизбывной и сердце тебе припечалит бледная искра забот. Ах, гвоздяга, когда б я фактически встретил где-нибудь детинушку-сиротинушку, двугорбого или хоть поплоче сортом калеку либо увечника какого ни есть, побирушку косноязыкого, продрогшего, без подштанников, как бы я его пригрел, приласкал, к сердцу прижал и прощebetал в немьтое его, грубое, но народное ухо песнь свою! Да только черта с два — не выйдет, синтура не даст, шустры ей мать! Пошел я к кибер-исповеднику — душу излить, а тот угостил меня синтесантами — синтетическими сантиментами, вместо Жалости Настоящей, слышь, ты, млекосос землистый?! Ох, тогда побегал я немедля домой за канистрой с бензином, чтобы собственноручно этого кибера подпалить, в чем, как ты без труда догадаешься, мне никто не препятствовал. Назавтра там установили нового, стоканального кибер-духовника, для сеанса одновременной исповеди. Тут я понял, что пришло уже время взять *народ* за рога и что это — Единственное Спасение. О! Как же меня ободрило великое это открытие! Спасителем масс, понял я, может стать единственно террорист-зубодробист, который свободы паскудные, захватанные миллионами сальных лап, приструнит, обкорнает, зашпунтует и наглухо заклепает, и из всеобщей развинченности, после жалких стенаний и сетований, восстанет с ужасным ревом Желанный Призрак, что был мне зареку надежды в ночи прогнившего либерализма... О, либералов ошметки, груды эгалитаристов поганых под пятою праведного моего гнева! О, лучезарная даль и оборванцы в стружьях! Гряди, сладчайший дом неволи, сказал я себе, неволи самой что ни на есть простецкой, сермяжной, дубиночной,

зубодробительской, зацветайте, цветики, в садочке! Сколько на небе звезд, столько синяков пусть будет на теле дарителей вредоносных благ! Так я ушел в подполье. Конкретно к тебе я не имею претензий, и друзья мои тоже, и все же ты должен погибнуть, ибо нельзя начинать великое дело с первого встречного. Хорошее начало — половина дела, а для высокой цели и силы найдутся! Если не мы, все утонет в киберсале с сахарином. Ничего не попишешь — надобно резать! Каждый великий переворот начинался с этого, даже без всякой идеи, что уж говорить о нашем. Короче, больше дела, меньше слов!

— Неужто вы, сударь, — закричал я так, что цепь на мне зазвенела, — вознамерились лишить меня жизни?!

Сам не знаю, почему я сказал это как-то ненатурально. А тот субъект, вместо того чтобы приступить к исполнению кровавых своих обещаний, побледнел, зашатался и упал на руки товарищей, которые принялись его утешать, а он только тяжело дышал, словно с непривычки. Следующий оратор вошел в круг и, воздев руки к амурчикам с закусками, мистическим шепотом произнес:

— Погибаем, господин Тихий!

Так он это горестно прошипел, что, несмотря на ошейник, мне как-то стало его жаль, и я спросил:

— Это отчего же и почему?

— Из-за благоденствия...

— А разве оно обязательное?

Он прямо-таки зашелся ядовитым саркастическим смехом; этот смех незаметно перешел в рыдание. Прочие похитители тоже украдкой утирали глаза.

— Нет, отнюдь, — простонал он, — но хоть бы даже райский хлебушек комом в горле застрял, по доброй воле никто его не отдаст. Абсолютное блаженство развращает абсолютно! От народа спуска не жди! Можешь рассчитывать на него, когда ему нужна докучает, но не тогда, когда его роскошь насилует. Не хочет он, чтобы было иначе, ведь иначе — значит, уже только хуже, а не лучше! Конечно, был некогда в моде аскетизм — похлебка из кореньев лесных, избушка под соломенной крышей, курдль в хлеву, соха да сермяга, богач босиком, но все это синтетическое, коренья трюфельные, курдль на колесах, из нейлона солома, соха-самоходка на транзисторах, липовый это был аскетизм, и приелся он быстро. Ах, чужестранец, знал бы ты, как народ мучится! При одном только виде выборокибера, расхваливающего очередную усладу, граждан сотрясает буриданова дрожь, и многие разбивают или разбирают его, да что толку — он тут же само-

ремонтируется. Страшной всего то, что нас, радетелей за народное благо, народ ненавидит, не желая понять, что завис на крючке погибели. Поэтому мы, к сожалению, должны прикончить тебя, почтеннейший чужестранец...

Возможно, это был их представитель по делам печати — не знаю, во всяком случае, он не удовлетворил их этим коммюнике. Ты забыл добавить, наперебой кричали они, что великое дело требует великой жертвы! Ты недостаточно заострил историческое значение того, что сейчас наступит! Что же именно? Шкурничество. В том смысле, что с меня снимут шкуру. Перспектива Тихобития (повторяю за ангелом, который с ходу переводил), собственно, не заставила меня испугаться сильнее, конкретную угрозу я предпочитаю смертоносным намекам, щекочущим позвоночник; мышление мое обострилось, я весь собрался, прикидывая возможности обороны, ибо я не намерен был дешево продать свою шкуру; одновременно я вдался в дискуссию с ними, упирая на то, что возвышенная идея несовместима с убийством, но это был диалог с глухими. В их идеалистически вытарщенных глазах горел такой фанатизм, что легче было бы рождественскому индюку убедить кухарок отказаться от своих кровожадных намерений, чем мне разубедить этих энтузиастов, которые, убив меня, хотели отвоевать неведомо что, неведомо как; я потянулся за перочинным ножом в брючный карман, но тут меня ждал новый сюрприз: то, что я считал эпилогом, оказалось всего лишь прологом настоящего разбирательства. Они по очереди требовали слова, председатель — теолог или антипастырь — составил список ораторов, затем была принята повестка дня и утвержден состав комиссии по рассмотрению предложений; вслушиваясь в их выступления, я наконец уяснил существо дела. Само по себе убийство было делом решенным — но не его толкование. Теперь обсуждалось, с каких позиций свершится то, что должно было свершиться. После бурных дебатов на середину вышел Портретист-Экстремист, поклонился к заголосил:

— Достопочтеннейший Пришелец, да погибнешь ты от моей руки! Почитаю долгом своим объяснить, почему я бросил любимую палитру ради тебя. Крови ли я хотел? Никогда! Так чего же я жаждал? Творить. Живописать! На грубый холст накладывать краски, исповедуясь в собственных снах, и чтобы кто-нибудь, кто угодно, хоть раз взглянул бы и вскрикнул от восхищения. И это все, клянусь честью. Но взгляни: как тут писать картины, если достаточно захотеть — и стена, благодаря своему орнаменту на интегральных схемах и читчику желаний, сама, живо и ловко, фресками себя покрыва-

ст??? Поэтому, когда я ребенком выказывал охоту к живописи, меня ставили носом к стене. Что было делать? Я поручал это ей, но жалость жгла сердце. Впрочем, вскоре стенам пришел конец, возоблагодало новое течение — картиноречие. Течение было не хуже других, но что же? Не успел я в это дело втянуться, как оно всего за квартал самокомпьютеризировалось. А потом, в каких-нибудь шесть недель, родился у нас дублизм. Ну, если картина может сама с собой вести разговоры, то может и сама себя написать, так ведь? Но я был человек упорный, я ждал, и вот возник экскрементизм. Столовая ложка растительного масла на одно полотно или четыре — на шесть. Если вдохновения нет — касторка. Как устоять перед Тиранией Искусства? Вот мы и травились цинковыми белилами и слоновой чернью, все как один, однако это быстро вышло из моды. И пришел суицидизм, называемый также самизмом. Сперва было брюхачество — художник шел и выставлял свой живот, лакированный' и с разными штуковинами, которые держались на пластыре или вживлялись, но и это приелось публике; поэтому на вернисаже стали оставлять голую бетонную стену, а художник, обильно полив себя фиксатуром, брал хороший разбег и головой в стену, чтобы так уже и остаться — натюрмортом в суицидальном стиле. Хотя удавалось это только один раз, нашлись мученики искусства! У меня, однако, череп был слишком крепкий, впрочем, бетон вскоре размяк, известное дело, — шустры о нас пекутся... А когда пошел мне двадцать восьмой годочек, был уже в моде генизм. Берем, значит, миксер и смешиваем разные гены, от гуся до гиены, чтобы получился *monstre pittoresque**, но и это прошло, скотинокартины вышли из моды. После был деструкционизм, или угробианство коллег, но и оно уступило место новому течению, креационизму, иначе говоря, сотворенчеству. Это вам не какое-нибудь ковырянье в глине и гипсе, но творения, достойные своей эпохи, — спутники в виде золотых алтарей с аквариумами, в которых каждой акуле самочист зубы чистит, или полицерковная безгравитационная урбанистика, когда орбитальные храмы вытягивают свои телескопические башни и колокольни в пустоте, как омары; но все это, увы, без наития, без веры, и совершенно приватное, единоличное; каждое такое творение надо было немедленно залить черной стекловидной массой, чтобы уберечь от чужого глаза, а еще лучше — пустить в распил. Но и это плохо крепило расслабленную волю к творчеству...

* Живописный урод (фр.).

— Кситя, не мелочись! — надсаживались они. — Лепи сразу в девятку! Ну же! Смело, без деталей, вовсю! Мы с тобой! Держись, кореш, не ломайся прежде времени!

— Я и не лопаюсь, — уже рычал он, — *ars pro arte**, ланцаца, ты сыграешь мертвца, богоид, ату его, землеца-подлеца, я уж его разукрашу!!!

— Шкуру драть, шкуру драть! — загремели остальные, вскакивая; верно, это был их гимн; они побежали за занавеску, должно быть, за инструментами, я тоже вскочил, и цепь зазвенела.

— Вы что, спятили! Стой! — закричал я, заметив краешком глаза, что ангел перевел приказание, отданное ему художником, но не двинулся с места. Он стоял, возвышаясь над нами на две головы, мерно шелестя крыльями. Несмотря на такую усиленную вентиляцию, мне стало душно.

— Богоид, что это? — кричали они. — Держи землеца... не хочет?.. Кримистор сгорел? Тогда мы сами поможем! Кситя в форме, эй, ухнем, навались, ребята пернатые, стройся клином!

И правда, они построились треугольной фалангой и ринулись на меня, но, странное дело, задом, толкая перед собой художника с ножом в руке. В моей руке блеснул перочинный нож. Если мне память не изменяет, похожее построение использовал Александр Македонский, но с лучшими результатами, потому что у тех ноги на полпути разъехались, словно ковер был катком, и они покатались к моим ногам один за другим. Первым с визгом вскочил толстый председатель антиписателей — падая, он зацепился брючиной за острие моего ножика. Я лишь слегка оцарапал ему седалище, да и то, в сущности, неумышленно, но вопил он как зарезанный. Остальные были в таком отчаянии, что даже не спешили вставать. Лежа кто где грохнулся, они тихонько стонали:

— Не было веры...

— А все из-за Ксити. Трус, мокроштанник!

— Неправда! Это из-за вас! Из-за вас! — зашелся рыданиями экстремальный художник.

— Что-о? Убирайся немедленно, мокрая курица! Да поживее!

— Чуял я, что мазила дело угробит, сойка его забодай!

Художник вскочил и начал срывать с себя одежду.

— Кситя, брось! — рывкнул их представитель по делам печати. — А вы от него, от бедняги, отцепитесь. Гагусь, выходи — твой черед!

* Искусство для искусства (*лат.*).

— Да-да, Гагусь! — закричали они с энтузиазмом. — Ну-ка, вдарим по старому миру! Гусик, заткни за пояс артиста-портретиста! А мы тебе на растопку дровишек подкинем!

— Врежь ему, Гусенок, до самых печенок!

— Попробуй с канифолью, чтобы не сковырнуться с копыт...

— Канифоли мало, тут виброподшвы нужны...

Ангел переводил взхлеб, экстремисты перегруппировались, опозоренный художник исчез, а ко мне подошел тот, кого называли Гагусем, плечистый урод отвратного вида — нос у него сплющился и съехал куда-то под левый глаз, должно быть, во всеобщей свалке. Значит, это все-таки маска, подумал я, и у других — тоже; но надо было сосредоточить внимание на новом противнике.

— Тихо! — рявкнул он, хотя все уже и так замолчали. Он переступил с ноги на ногу и качнулся на пятках назад и вперед; тем временем его нос возвращался на прежнее место. — Ты, млекосос! — продолжал он гробовым голосом. — Пупочный пупок, состряпанный брызгалкой, волосатая твоя топь, узнай на те несколько минут, которые тебе еще суждено хрипеть, с кем ты имеешь дело! Я курдлист-идеалист, автор гимна, что славит Великоход. Да здравствует курдль, строй до упора социальный, и притом натуральный! Я знаю, если б ты мог дать деру, то помчался бы доносить на меня, но ошейник исторической справедливости, цепи прогресса держат тебя мертвой хваткой, и никакие шустры тебе уже не помогут, ты, приبلудный козел! Оковы позорного благоденствия падут с моего народа, подобно тому как отвалится от твоих костей человечина; и двинется он на коллективных ногах в светлое будущее! Близится час расплаты за все поклепы, возводимые на священные идеалы, за ведра омерзительной лжи, вылитой на головы политоходов, и ждет тебя святая месть, святая месть за нашу честь! Дайте мне силу, дружки-ястребки, спровадить в могилы...

— Слабовато что-то, — сказал я.

Даже кирпич не огорошил бы его до такой степени.

— Что? — гаркнул он. — Да как ты смеешь?.. Цыц, недо-тепа!

— Ти-ли ти-ли травка, — возразил я, — сбоку бородавка. А твоя кузина вымыла пингвина...

Он весь затрясся, а прочие просто застонали от ужаса. Не так-то легко объяснить, как я додумался до такой импровизации: в сущности, я понятия не имел, что именно мешает им провести скорую и кровавую экзекуцию; но чутье мне подсказывало, что им надо взвинтить себя коллективной

самонакачкой, словно успех их убийственного предприятия зависел от нагнетаемой до нужного уровня атмосферы кошмара.

— Подойди-ка сюда, господин птенчик, — добавил я, — я тебе кое-что на ушко скажу...

— Кляп ему в рот! Живее! — взвизгнул Гагусь-курдофил. — Я так не могу, этот висельник сбивает меня с панталыку...

— Зачем тебе кляп, — с отчаянием в голосе отозвался антипредседатель писателей. — Врежь ему пониже спины, и дело с концом...

— Я, Гагусь, ничего не боюсь... — прошипел курдофил, выхватил из-за пояса кожаный нож и бросился на меня. Цепь резко звякнула и задрожала, словно струна, — это я отпрыгнул за спину ангела, тот покачнулся, задетый ножом, Гагусь споткнулся и осел на колени перед ангелом.

— Я сейчас... я еще раз попробую... — потерянно бормотал он.

Он был настолько ошеломлен, что мне ничего не стоило бы забрать у него нож или заехать в его птичье ухо, но я даже не шевельнулся. Теперь я присматривался к трем молодчикам, которые, потихоньку отворив радужные двери, слушали нас, стоя на пороге. Никто, кроме меня, их не видел — все остальные смотрели в мою сторону, — а я, вынуждаемый к этому ошейником и общим положением дел, подпирал стену. Поначалу я было решил, что это еще какие-то артисты-экстремисты, но я ошибался.

— Ни с места! Это налет! — бросил самый высокий из них, входя в комнату. Курдофил осекся и замер, и только две толстые слезы — как бы финальный аккорд неудачи, его постигшей, — стекли по его лицу. Одна расплылась на лацкане пиджака, вторая капнула на ковер. Бог знает почему память удерживает такие дурацкие мелочи — при таких обстоятельствах. Мои похитители вскочили, протестуя; разгорелась жаркая ссора. Ангел по-прежнему переводил каждое слово, но они так остервенело лезли друг на друга и так вопили, что я перестал что-либо соображать. Суть спора дошла до меня лишь в самых общих чертах. Чужаки были экстремистами из какой-то другой группировки, не имевшей ничего общего ни с искусством, ни с теологией, ни с общей теорией бытия. Драка (они уже дали волю рукам) шла из-за меня. Превосходство профессионалов над любителями, которыми, в силу вещей, были люди искусства и прочие гуманитарии, сказалось немедленно. Дольше всех защищался председатель

Союза антиписателей, загнанный в угол с инструментами, — там он вооружился шкуросдиральными щипцами и действовал ими как палицей; тем не менее всего через несколько минут пришельцы оказались хозяевами положения. Сразу было видно специалистов. Они ничего не обосновывали, не теоретизировали, не церемонились, каждый, видимо, имея заранее намеченное задание, которое выполнял на удивление четко, и в других обстоятельствах я, быть может, пожалел бы своих экстремальных художников. Затихшие, в истерзанных костюмах, из которых вместо камерной музыки изливалась жалкая какофония, они были усажены на пол лицом к стене, совсем рядом со мной, — поистине, удивительная перемена участи. Только антипредседатель еще отражал атаки, но и он терял силы. В схватке кто-то долбанул ангела, тот свалился в угол и перестал переводить. Зато на его неподвижном доселе, небесном лице появилась странная улыбка, а чуть пониже груди, на алебастровом торсе, неведомо как начали зажигаться и гаснуть разноцветные надписи: «Дидр бенус генатопротексул? Форникалориссимур, Доминул? А дрикси пикси куак супирито? Милулолак, господин начальник?»

Одновременно ангел взял меня за руку и потянул с таинственным выражением лица так сильно, что я чуть не задохся, когда цепь кончилась. «На помощь!» — хотел я крикнуть, но не мог — ошейник сдавливал горло. К счастью, победитель председателя поспешил мне на выручку. Уж не знаю, что такое он и его высокий товарищ сделали с ангелом, но, когда я открыл глаза, тот снова стоял по стойке «смирно», помахивал крыльями и переводил. Хотя переводить было в общем-то нечего — мои новые похитители оказались людьми действия. Они отодвинули меня от крюка, из принесенного с собой портфеля достали необходимые инструменты, и крюк — без малейшего жара, чада и дыма — вышел из стены, словно из куска масла. Я воздержался от слов благодарности, и правильно сделал, потому что дальнейшее их поведение ничуть не походило на поведение освободителей. Один тянул меня за цепь, двое других подталкивали, без малейшего намека на деликатность, к которой я начал было привыкать в обществе художников. Из дворца мы выбрались не через анфиладу покоев, но, скорее всего, через шахту кухонного лифта, и мне было трудно ориентироваться. Снаружи царилась кромешная тьма, ночь была холодная, я угодил в какую-то лужу и сразу промочил ноги. На них были только шелковые носки. Я по натуре необычайно чувствителен, прямо-таки безоружен против разношенной обуви, а перед самой посадкой, в предвкушении

банкета, переобулся в новые лакированные туфли; но, как видно из вышеизложенного, не все пошло так, как я ожидал. Пока я сидел на цепи, туфли немилосердно впивались в ступни; почти по щиколотку утопая в пушистом ковре, я незаметно стащил их с себя, решив, что раз уж предстоит, в некотором роде, мои похороны, вряд ли стоит любой ценой придерживаться этикета; а потом, ошеломленный новым налетом, совершенно об этом забыл. При свете луны я заметил в петлице у одного из налетчиков розетку-переводилку и воспользовался этим, чтобы попросить о небольшой отсрочке: мол, только заскочу на минутку за туфлями. Что-то я ему объяснял об опасности насморка, но этот малокультурный (что ощущалось совершенно ясно) тип хрипло засмеялся и сказал:

— Какой еще насморк? Ты не успеешь его схватить, зря ты этакий.

Как видно, прозвища из мясного меню имели здесь не меньшее хождение, чем в Италии. Меня запихнули в какой-то ящик, а может, сундук, и вот, позванивая на ухабах цепями — как видно, мы ехали по бездорожью, — через четверть часа, не раньше, я оказался в бетонном подвале, полуудушный. Не знаю, как въехал туда самоезд похитителей. Его и след простыл. Низкие голые стены настраивали на мрачный лад. Все убранство состояло из нескольких трехногих табуретов, колоды для рубки дров с вбитым в нее наискось топором, груды поленьев, простого деревянного стола на крестовине и, разумеется, вцементированного в стену кольца, в которое сразу же была продета моя цепь. Значит, я поступил правильно, не раздувая в себе искру надежды. У стола стояла лавка; я сел и снял промоченные носки, прикидывая, где бы повесить их для просушки; но мой похититель, тот самый, что уже успел нагрубить мне, буркнул:

— Напрасный труд.

Он скинул с себя суконную куртку, достал из печи пригоревшую лепешку и жадно впился в нее зубами. Странное дело — я знал, что лица энциан не похожи на наши, но, привыкнув к человеческому обличью первых похитителей, не мог отделаться от мысли, будто охранявший меня грубиян был в маске — хотя на нем-то как раз ее не было. Облик энциан столь же противен человеку, как им — человеческий облик. В их вытянутом вперед лице, с ноздрями, расставленными так же широко, как и их круглые глаза, больше, пожалуй, сходства с клячей или тапиром, чем с птицей. Впрочем, никакое описание не заменит очного знакомства. Насытившись, мой стражник несколько раз постучал по своей бочко-

образной груди, поистине гусиной или страусиной — ее покрывал белесый и плотный, как шерсть, пух, — и начал чесаться под мышками, выщипывать у себя мелкие перышки (похоже, они щекотали ему ноздри), а напоследок — сосредоточенно ковырять в носу. В конце концов он — верно, со скуки — разговорился, причем сперва обращался как бы не ко мне, а неизвестно к кому, расставляя акценты ударами кулака по столу. Я продолжал молчать, а этот энцианский мужлан, выпрямившись, заявил, что традиция требует объяснить похищенному, кем и за что он будет пущен в расход, и, хотя я особенно вредоносная тварь, недостойная его слушать, он снизойдет до меня, ибо я чужеземец. Сообщники все еще не приходили, а он вынул из кармана листок и, поминутно заглядывая в него, приступил к делу.

Заявление главаря вторых похитителей

Слушай в оба, Землистолицый, — я ведь долго говорить не привык. Столетия назад никакой тут Люзании не было, только Гидия, но пришли чужаки и отняли землю предков. Мы красноперые гидийцы, а не видать того, затем что выцвели мы от подземного прозябания. Зёмли над нами все были наши, по правде и по закону. Великий Дух повелел нам подстергать Злых, и мы их ловили, и на последний танец их приглашали. А теперь — ничего, только лучшего чаем, считаем часы да газеты читаем. И намедни дошло до нас, будто брат прибывает на наше тело небесное, чужой, издалече, однако же брат по разуму. И спросили мы ученых родичей наших, сидящих в приказах, что-де за брат такой является гостем в страну наших предков? Они же, хоть пух у них побелел, по-прежнему красноперы душою, и поведали как на духу, кто такой прибывает и откуда. Что чествовать будут его с великою славой, оттого что со звезд он, и не птичьего рода, а будто совсем напротив. А за что таковые почести и слава великая, за какие заслуги? Пишут: посланник, а посланничество его от кого? И открыли они нам, кто вы такие. Войны любите, оружие копите, на устах мир, а в груди измена. И все-то воевание ваше — сплошное коварство, выковали вы восемнадцать атомных топоров на каждую свою голову, и вам того мало. Дальше вооружаетесь, яды смертельные варите, без роздыху, без перерыву, а ежели что, усмехаетесь, мы-де людишки мирные — затем что на уме у вас не честное ратоборство, а козни да каверзы. Соседей мучаете, самих себя травите, а ныне вздумалось вам в

гости пожаловать ради подглядывания, вынюхиванья да выслеживанья, где какая добыча. А мы что на это? Мы (он уже ревел, колотя кулаком по столу) тоже собрались тебя поприветствовать, разбойный посол! Слышал ли кто в целой Галактике, млечная ее гать, чтобы Землистолицыне, те самые, что пускают в расход соплеменников и даже малых детишек, по расстеленному ковру мира лезли к гидийцам доблестным, которые наставлений отцовских о врагах чужеземных не забыли? Думали кротостью мнимой люзанцев-олухов поймать на крючок, да мы-то не таковы! Нас на этой мякине не проведешь! О, жестоко обманется разум твой высший, падалью вскормленный! Что, не хватает уже у себя желтолицых, зеленолицых, чернолицых для истребления? Сидел бы ты в своей тундре, у этих своих могил, тогда, глядишь, и уберег бы свою лысую, не стоящую выделки шкуру, но не здесь, где бдит красноперый муж! Побили, порезали, пограбили соплеменников, а после — покойников в землю, одежонку получше — на себя, и айда на посиделки с «братьями по Разуму», так, что ли? Ну так красный братишка по разуму тебе растолкует, уж брат постарается, выкопает военный топор и закопает мертвеца-землеца, выпишет на братской шкуре счет и засушит ее на память... Ну что, Землистолицый, слушаешь красноперого брата по разуму? Вижу, что слушаешь... И молчишь?.. Слышу, что молчишь... Так вот: теперь красноперый брат своими руками прикончит брательника-висельника и спровадит его в Страну Вечного Бесчестья; немало мы туда отправили Злых, но такого, как Землистолицый, покамест не было...

Сам не знаю, как и когда он опрокинул лавку вместе со мною, прыгнул через стол, отшвырнул листок с диспозицией и, путившись вприсядку, жутким, диким голосом грянул:

Млекопита мы словили,
Эх, били его, били,
Босиком ужо попляшем,
Эх, на его могиле...

Забившись в угол у дымохода, я ни разу не звякнул цепями ему в такт — я знал, что дело плохо. Хуже и быть не могло. Этот похититель не был, к сожалению, настолько темен, как мне поначалу показалось, раз до него дошли обрывки нашей всеобщей истории, а дистанция между нашими мирами заранее обрекала на неудачу любые попытки защитить себя: он считал меня шпионом уголовной звездной

расы, и я не представлял себе, как втолковать ему тонкости, убедительные для любого земного суда, но не здесь, в чужепланетном подвале. Я был словно в параличе, не имея ни сил, ни охоты снова лезть за перочинным ножом. Вдруг послышались бессвязные крики, топот, и в двери ворвался орущий клубок энциан. Я узнал художника Кситю, антипредседателя и Гагуса — они все еще имели человеческий облик, но некоторых я до сих пор не видел, возможно, это были товарищи моего стража — я их не мог рассмотреть в темноте, когда меня запихивали в сундук. В первое мгновение мне показалось, что они дерутся друг с другом, но это было нечто иное, гораздо более удивительное: каждый из них словно боролся с самим собою. Мой стражник вскочил с пола, ничуть не удивленный, и закричал:

— Сымайте одёжу, мигом, — вас уже схватывает, вот зараза, не иначе криминофильтры пробило! Кальсонами нас повяжет! Ну, живо, а то уже застывает...

Он и сам стаскивал с себя штаны, но шло это у него все тяжелее, все медленнее, а те, дергаясь и выгибаясь как рыбы на берегу, тоже боролись, кто с курткой, кто с рубахой, или, может, туникой, и все же двигались они все медленнее, словно их заливал какой-то невидимый, быстро схватывающий клей, какой-то густой сироп, — и через каких-нибудь полминуты едва подергивали руками и ногами, прямо как мухи в невидимой паучье сети. Мой цербер перед пляской сбросил с себя куртку, но штаны так сковывали его, что он мог лишь ползать по полу на спине, задрав ноги к бревенчатому накату; он рвал перья на голове и ругался ругательски. Так что же, выручка? Помощь? Никого, однако, не было, кроме меня, по-прежнему ничем не стесненного в движениях, хотя и на цепи... а они, валяясь кто на боку, кто на животе, кто навзничь, кричали с яростью и отчаянием:

— Зараза... фильтр криминальский пробило... ох, задыхаюсь... Гургакс, помоги же, у тебя рука свободна... куда ты своими ножищами, кретин... это не я, это штаны... председатель, есть у тебя кримистор?... откуда!.. ох, повязали нас без фаранов... погибаю-ю-ю!!!

Их жалостливые стоны и визги так меня заморочили, что я, совершенно забыв про цепь, встал с лавки. Ошейник сдавил мне горло, я упал, горло сдавило еще раз, но как будто бы мягче, и, к моему изумлению, звенья цепи разошлись... Голова у меня шла кругом, я опустился на колени, все еще в ошейнике, но когда я инстинктивно просунул палец между ним и шеей, то почувствовал, что ошейник словно из теста...

с необычайной легкостью я разорвал его и выпрямил подгибающиеся ноги, глядя на своих похитителей первой и второй очереди: они все еще барахтались на полу — вяло, беспомощно; я уже понял, что это не агония, что им, собственно, ничего не грозит и держит их только одежда, затвердевшая, как гипсовая отливка, сковывающая руки, ноги, тела...

— Млекопит уходит, млечный его помет, держи его, кто в честь верует... — захрипел Гургакс, тот самый, что минуту назад распевал и отплясывал мне на погибель.

Как видно, он был неистовой остальных — те старались словно бы вовсе не замечать меня в позорном своем положении... а я стоял над ними, тяжело дыша, с размякшим обломком ошейника в руке, не зная, бежать ли куда глаза глядят или заговорить с ними... уж не напрашиваться ли со своей помощью? Признаться, на это я не был способен. Я поочередно прошел мимо застывшего Ксити, Гагуса с задранными кверху руками в окаменевших рукавах куртки — и тишком, молчком выбрался через дверь, ожидая все время, что и моя одежда вдруг взбунтуется все тем же, непонятным мне образом; но страхи оказались напрасны.

Я нашел лестницу, массивные стальные двери были приоткрыты, их громадные задвижки свисали, словно растопленные огненным жаром, хотя они были совершенно холодные; стараясь почему-то не прикасаться к косякам, поднялся по лестнице, увидел усыпанное звездами небо, ощутил холодное дуновение ветра... я был свободен. Луна исчезла бесследно. Черная, крошечная тьма. Вытянув перед собой руки, я осторожно ступал под звездным небом; вдруг какая-то звезда изменила цвет и начала ко мне приближаться. Прежде чем я понял, что это значит, послышался гул, звезда превратилась в пульсирующий сгусток света, который залил меня и все вокруг ртутным блеском, я бросился бежать, споткнулся и рухнул в какой-то колючий кустарник. Что-то мягкое упало на меня сверху, я вскрикнул и, должно быть, тогда же потерял сознание. Не знаю, как долго я оставался в таком состоянии. Очнувшись, я услышал непонятные голоса, но не смел приподнять веки. Я лежал на чем-то прохладном и очень легком, словно на воздушном шаре. Руки и ноги были свободны. Я приоткрыл щелочкой один глаз. Надо мною склонялся энцианин в серебряном плаще с маленьким огоньком на лбу.

— Кси, кса, — произнес он.

В ту же минуту что-то подо мной — словно из глубины этой надутой подушки — заговорило:

— Любезный господин Тихий, воспрянь духом. Ты в ок-

ружении одних лишь друзей, под наблюдением искушенных медикаторов и медикансов, и ни один волос не упадет у тебя с головы. В силах ли ты говорить? Сдоблаговоли издать земной голос из своего естества, дабы знали мы, что ты нас уразумел.

— Уразумел, ох, уразумел, — простонал я и сам удивился этому, потому что чувствовал себя превосходно.

— Ксу, ксу, — сказал все еще склонявшийся надо мною серебряный энцианин и погасил свой лобовой огонек, а голос из подушки с нежными модуляциями произнес:

— Официальная часть чествования любезного господина Ийона Тихого наступит не прежде, нежели Он насладится заслуженным отдыхом. Покои правительственной гостиницы в полном Его распоряжении, и Ему — Тебе — ничто не угрожает. Беда стряслась по причине засады двойственной. Однако мы выясним все, дело уладим, конфуз изгладим. Пусть же Вашевысокоблагостное Естество уснет себе с миром...

«Только бы не навеки», — успел я подумать, но тут серебряный энцианин сказал:

— Ксо, ксо... — и сразу же меня одолел сон.

В этой клинике меня держали всего одни сутки, после чего решили, что я уже достаточно окреп, чтобы перебраться в гостиницу. Бог знает, почему больничные переводилки так чудно изъяснялись — больше я нигде таких не встречал. Я узнал, как ловко подобрались ко мне похитители группировки Гагуся и Ксити, а также Союза антиписателей. Да и то сказать, я мог бы быть поосторожнее. Переход от туманных болот и резвящихся курдлей к мегалополису был настолько внезапным, что я слегка растерялся и, когда на космодроме ко мне подошли четверо элегантных люзанцев, принял их за делегацию Общества энцианско-человеческой дружбы. Одурманенный блеском встречи и необычайной любезностью этих субъектов, я позволил посадить себя в самоезд, и меня даже не насторожила хищная торопливость, с которой они запихивали меня внутрь. А пока меня везли в особняк, где глаза слепила яшма, золото и Бог знает что еще, пока я давал вести себя как барана среди мебели-алтарей неизвестно куда, заранее приготовленный дубль-Тихий водил за нос настоящую делегацию и при первой возможности дал стрекача, так что официальные органы не имели ни малейшего понятия, где меня искать. Похищение совершилось на космодроме, потому что этикосфера, как мне объяснили, еще не знала меня и оттого не могла своевременно прийти мне на помощь. Мне в голову вдалбливали множество вещей, для меня не понятных, но я, не желая выставить себя дураком — и без того

я по-глупому поддался на трюк с ошейником, — предпочитал хранить дипломатическое молчание.

Переезд в гостиницу оказался переселением на настоящий Олимп. Эти бедняги сами уже не знали, как меня убажить, чтобы вознаградить за пережитые неприятности. Мало того что спальня у меня золотая и золото можно заставлять светиться или гасить его при помощи выключателя (я ношу его в кармане), мало того что в кессонах потолочного свода сидят амурчики (вызывающие, впрочем, не слишком приятные воспоминания), которые, стоит мне только открыть рот, слетаются и подсовывают вазы с лакомствами, но к тому же моей одеждой занимается сам Меркурий, а в нишах между хрустальными колоннами кровати (сплю я под балдахин) стоят начеку две Афродиты — Анадиомена и Каллипигос. Не очень-то ясно зачем, ведь они ничего не делают, а спрашивать как-то неловко. Туфли чистит мне Зевс, чем-то вроде веретена. В стене напротив кровати — зеркальный щит с головой Медузы, довольно-таки несимпатичной, и притом змеи у нее на голове шевелятся и смотрят, все как одна, на меня, куда бы я ни пошел; но вряд ли стоит лезть к хозяевам с жалобами, я же вижу, как они стараются. Весь этот Олимп, изготовленный для меня одного, чтобы я чувствовал себя как дома, досаждаст мне страшно. Но привередничать не приходится — и без того я чувствую себя глупо; председатель Общества дружбы явился ко мне в сопровождении двух носильщиков, тащивших мешок — как оказалось, с пеплом, которым он посыпал себе голову, пав предо мной на колени. В довершение всего этот председатель похож на меня как две капли воды. Открыв шкаф, чтобы повесить туда рубашку, я остолбенел — там стоял кентавр, правда, маленький, как пони. Он что-то продекламировал мне, должно быть, по-древнегречески. Он к тому же и массажист, и знает толк в винах. Утром меня разбудило душное облако амбры, нарда и мускуса. Обе Афродиты стояли возле кровати с камильницами в руках; я живо прогнал их обратно в ниши, давясь кашлем и с глазами, полными слез. По моему приказанию Меркурий проветрил комнату. Но все же я предпочел бы несколько умерить гостеприимство хозяев — и чтобы эти Афродиты в конце концов во что-нибудь оделись. Начинаю догадываться, как они все это запрограммировали: на основании фотограмм из Лувра и прочих земных музеев. Кроме Кентавра, в шкафу сидит Аполлон. Он уже не поет — по моему недвусмысленному приказу.

Переход от курдландских болот и подвала с ошейником к

этой фантастической роскоши был внезапным, словно во сне. Еда превосходная, если не считать темного соуса, которым все поливают. Я в столице, именуемой Спр. Одна переводилка переводит это как Эспри, другая — как Гесперида. Пусть будет Гесперида. Отныне начинаю указывать даты. Сегодня пятое грязняря. Это не соус, это нектар. Откуда им было взять рецепт, если даже *нам* он неизвестен? На вкус — майонез с лакрицей. Выливаю, а остатки соскребываю со шницелей ложечкой. Председатель пришел опять, чтобы обсудить программу моего пребывания. Завтра у меня встреча с верховным фелицейским. А может, его называют иначе, не запомнил. Председатель уже не так похож на меня, как в первый день. Такой у них, наверно, обычай. Гоню амурчиков прочь изо всех сил, опасаясь за свою тушу. Надо еще подумать, как, не обижая хозяев, избавиться от этой олимпийской толпы. Медузу я прикрыл полотенцем, Каллипиге дал свой купальный халат. Но это лишь полумеры.

Первый ингибитор

Не знаю, какое нынче грязняря, — потерял календарик. Слава Богу, избавился от Олимпа, а заодно — от Председателя Дружбы, который стал уже просто невыносим. Он уверял меня, что мое лицо почти не вызывает отвращения. Своим освобождением я обязан Кикериксу. Это молодой историк и в то же время людист (гомовед). Он пришел ко мне в гостиницу, прослышав о прибытии человека. Между прочим, он показал мне, как включить Медузу (я ее занавешивал полотенцем), чтобы все боги окаменели и рассыпались в белый порошок, который самостоятельно прячется под кроватью. Не знаю, что его туда втягивает, но спрашивать не стал. Вообще стараюсь задавать поменьше вопросов, ведь что подумали бы в «Хилтоне» о постояльце, который стал бы выяснять, почему светится лампа и как размножается горничная. Мой новый знакомый так со мной подружился, что я зову его просто Киксом. Он привел меня в социомат, наглядную лекцию по истории.

Аппарат настраивают на любое общество, с параметрами, скажем, романтическими или средневековыми, и управляют им — обычно на пару. Один игрок правит, второй играет за управляемое общество. Играть могут и несколько человек, заведя партиями, армией, средним сословием и так далее. Выигрывает тот, кто получает перевес к концу получасового се-

анса. Все это, включая общественные движения, протекает с тысячекратным ускорением, и здесь нужна порядочная сноровка. Я был императором, а Кикерикс предводителем масс. Он сверг меня с трона за пять минут, включив себе сильную харизму. Напрасно пытался я помешать ему эдиктами, а видя, что дело плохо, сделал решающую ошибку, снизив подати. Теорию надобно знать. Устранение нужды немедленно ведет к непомерному росту appetitов и угрожает волнениями более опасными, чем при нищете. Социоматика — непростое искусство. Я не знал, например, что отсутствие нехваток — вовсе не плюс, а ноль и что всего важнее ненаблюдаемые параметры, — параметры переживаний. Чем выше твое положение в обществе, тем меньше ты ощущаешь беды своей эпохи, катаясь как сыр в масле, однако для аристократки неприглашение на придворный бал будет таким же несчастьем, как для бедной поселянки — отсутствие хлеба для детей. Все это, казалось бы, общеизвестно, но лишь у кормила социомата убеждаешься в этом воочию. Общество ведет себя как живое; можно влиять на него, формировать общественное мнение, успокаивать обещаниями, но в меру и лишь до времени, потому что общество помнит все и реагирует по-своему. Исторические игры бывают разной степени сложности. После включения научно-технической революции власть либо совершенно размягчается, либо, напротив, отвердевает — чертовски трудно балансировать посерединке. Зависть низов, говорил Кикерикс, поддержанная идеализмом реформаторов, подгалкивает историю к эгалитаризму, который приносит больше разочарований, чем радости, поскольку и в обществе равных кажется, что лучше всего живется другим.

Странно, но факт: в Швейцарии я ухитрился прошляпить историографию предшустринного века. У них были те же заботы, что и у нас: кошмар моторизации, энергетический кризис, монетарный хаос, политическая сумятица — и подобно нам они полагали, что летят в пропасть. Когда энергетическое сырье все вышло, удалось синтезировать микробы, перерабатывающие любой мусор в топливо. *Bacillus benzinogenes*, *Spirocheta oleoroetica** — их покупали в таблетках, как винные дрожжи, бросали в мусорный бак и заливали водой; так пришел конец нефтяным крезам. Весь вчерашний день ходил вместе с Киксом по музеям. В Музее Техники видел бактериальный ткацкий станок. Нужно раздеться догола и залезть в контейнер, весьма похожий на ванну. Лежишь себе в теплом

* Бензинородная бацилла, маслостворительная спирохета (*лат.*).

растворе, а когда через четверть часа выходишь, на тебе уже готовая одежда, изготовленная портняжной бактерией (*Bacterium Sartoriferum*); остается только этот костюм разрезать, снять, выгладить и повесить в шкафу. Пуговиц пришивать не надо, они образуются из затвердевающих выделений маленькой моли в шкафу — разумеется, не обычной моли, но генетически перестроенной. Если нужен зимний костюм, добавляют *Vibrio Peleginae** или какой-нибудь родственный штамм, и получается нечто вроде ватина. Есть даже подкладочные вибрионы, в соответствии с пожеланиями клиентов относительно кроя, цвета, фактуры ткани и так далее. Правда, эти портняжные новинки вызвали единодушное отвращение и умерли естественной смертью, так и не войдя в быт. Тем не менее ткацкие бактерии почти целиком ликвидировали упаковочную промышленность, а их мусороядные и ядопоглощающие разновидности очищали окружающую среду.

Между тем наряду с биотической микроинженерией по-прежнему развивалась автоматизация, и число безработных росло в геометрической прогрессии. Занятость становилась исключением, безработица — правилом, начались мятежи, уничтожение промышленных роботов, уличные бои; казалось, что это уже конец. Ученых-исследователей, а особенно изобретателей и рационализаторов, приходилось прятать в подземных бункерах, прикрывать и спасать их, когда народ ополчился на них как на виновников столь катастрофического прогресса. Однако ничто уже не могло заставить люзанцев свернуть с этого пути, и следующее поколение отказалось от преследований.

Как раз тогда открылся неистощимый источник энергии, черпаемой прямо из космоса (хотя я по-прежнему не знаю, как они это делают). Кикерикс называет эту эпоху потребительским потопом. С конвейеров сходили миллионы автомашин, причем началась настоящая эскалация их бронезащиты, по причине роста уровня агрессивности. Тогда еще эти машины (довольно похожие на земные) изготовляли из стали штамповкой, и по желанию покупателей производители принялись сперва укреплять кузов, затем монтировать в буферах специальные клыки и шпоры наподобие петушиных, а тот, кто отказывался от бронемашин, рисковал быть разбитым вдребезги на ближайшем перекрестке. Суды по делам об автомобильных преступлениях были погребены под лавиной дел, и таран стал совершенно легальным; ущерб возмещали страховые компа-

* Пелеринные вибрионы (лат.).

нии. Молодежь развлекалась охотой на автоматы сферы услуг, особое предпочтение оказывая телефонным кабинам; не помогали ни бронированные стекла, ни сталь, в которую заковывали телефонные книги. Что же касается изготавливаемых домашним способом бомб, то их подкладывание было настолько в порядке вещей, говорил Кикерикс, что, когда улицу сотрясал очередной взрыв, на землю падали лишь те прохожие, что поближе. Остальные даже не поворачивали голову, впрочем, тогда уже носили индивидуальные защитные коконы, которые при грохоте взрыва наполнялись противоосколочной пеной, — предосторожность совершенно необходимая, ведь если клиент имел претензии к пекарне, почте или ремонтной мастерской, он не утруждал себя жалобами, а просто взрывал ненавистное заведение. Жилось все богаче и все опаснее; вместе с ассортиментом даровых утех росло ощущение всеобщей угрозы. В музее я видел вечерние костюмы с подкладкой из сверхпрочного танталового волокна; мода, подчиняясь диктату необходимости, узаконила бронированные котелки, но число жертв все увеличивалось.

Автоматику самозащиты первыми применили учреждения сферы обслуживания, что привело к появлению новых источников опасности; как объяснил мне Кикерикс, если в телефонной будке ты почесал себе голову слишком резким движением или недостаточно плавно протянул руку к трубке, тебя немедленно хватала за шиворот стальная ладонь и вышвыривала на улицу, а при оказании сопротивления, бывало, хрустели и ребра. Тогдашние датчики были еще недостаточно избирательны. Целый день на улицах выли сирены «скорой помощи», а вечером тяжелые мусороскребы очищали мостовые от останков автомобилей. Изменилась и архитектура — нежданный гость не мог попасть в чужой дом, а нажимая кнопку звонка у подъезда, следовало отодвинуться в сторону и полуприсесть чтобы успеть отскочить, если, по недоразумению, дверь со страшной силой распахнется наружу, стараясь трахнуть пришельца по лбу. Любую прихожую можно было за пару минут затопить быстро загустевающей жидкостью, и немало незваных гостей утонули как мухи в смоле. В дверных ручках были упрятаны магнитомеры, и, чтобы подложить бомбу соседу, приходилось брать пластиковую; но и это не гарантировало успеха: появились универсальные датчики, настолько чувствительные, что достаточно было иметь в кармане старую зажигалку, чтобы у самого входа провалиться в западню, которая находилась под постоянным телевизионным контролем полиции. Открытые сцены и эстрады ка-

нули в прошлое, ибо при первом же пестухе тенора, фальшивой ноте скрипача и даже спорной исполнительской трактовке адажио возмущенный меломан вытаскивал из-под кресла припасенный заранее автомат; поэтому все места, и в партере, и на балконах, были накрыты прозрачным колпаком, который открывался лишь по звонку о начале антракта. И если вам даже приспичило по неотложной потребности, вы должны были что-то придумать, не покидая зала, — с тех пор как удовлетворение этих потребностей стало излюбленным прикрытием для динамитчиков. В метро и трамваях разгорались настоящие битвы, пока наконец в вагонах не установили донные катапульты; из мчащихся по рельсам трамваев, бывало, целыми группами вываливались сцепившиеся друг в дружку пассажиры и клубком катились по мостовой, а бронированные прохожие старательно их обходили.

Я осмелился заметить, что это ужасно, смешно и просто невероятно: коса, однако, нашла на камень, ведь Кикерикс людист, и он тут же напомнил мне о нашем бандитизме по отношению к дипломатам; между тем послов, даже самых вкусных, на Земле не трогали и людоеды. Особенно много хлопот было с роботами, которые стали излюбленным объектом городской охоты. Улицы были завалены трупами; и хотя, пытаясь уберечь своего кибер-камердинера от пули, хозяева нередко одевали его в собственный костюм, наиболее рьяные охотники, вместо того чтобы выпытывать да выспрашивать добычу, предпочитали уложить ее метким выстрелом, а после оправдывались, что приняли жертву за робота. Несмотря на строгий запрет, некоторые все-таки вооружали своих роботов, чтобы те могли отвечать огнем на огонь; а идейные противники роботоубийства умышленно высылали на линию огня ловушечных роботов, неспособных ни к уборке, ни к мытью посуды, зато поливающих охотников пулеметным огнем, или особые модели, которые нарочно падали при звуке выстрела, а когда стрелок, счастливый и гордый, ставил ногу на поверженную добычу и подносил к губам рог, дабы возвестить о своем триумфе, мнимый трофей вонзал ему в ляжку стальные клыки. Что, в свою очередь, приводило в бешенство членов охотничьего клуба и склоняло их к применению управляемых ракетных снарядов. Другие, напротив, считали эскалацию охотничьих вооружений не только совершенно естественной, но даже пикантной: дескать, чем рискованней спорт, тем увлекательней, ведь охота на тигра не в пример почетнее умерщвления зайцев. Когда же в моду вошла охота с автомобилей, все больше похожих на броневики с огнеметами, а пол-Гес-

периды уничтожил пожар, вызванный столкновением двух охотничьих обществ, правительство склонилось на сторону глашатаев этикосферы — буквально в самый последний момент, как утверждают ныне ее защитники.

Сознавая, что с накопившейся в обществе агрессивностью нельзя покончить одним махом и надо позволить ей разрядиться, этификаторы не поскупились на финансирование поглощающих общественных институтов. Многие из них существуют по сей день. Упомяну лишь о некоторых — они, я уверен, не помешали бы и нам. Начну с малого: у люзанцев существует обычай ставить памятники выдающимся и вместе с тем ненавидимым лицам — «монументы бесславия»; вместо бронзовых урн постамент окружают объемистые плевательницы. Первую такую аллегорическую группу с вычеканенными в бронзе проклятиями воздвигли еще в прошлом веке трем Лжекксикарам. Кроме того, каждый политик, внесший особенно крупный вклад в дело всеобщего неблагополучия, имеет свой монумент или хотя бы бюст. Кикерикс уверял меня, что этот вид пластических искусств предьявляет особенно высокие требования как к авторам проекта, так и к исполнителям. Дело в том, что изображения бесславных мужей выполняются в материале, который легко поддается деформации, но за ночь восстанавливает прежнюю форму. Впрочем, как показала практика, вполне целесообразно из тех же материалов воздвигать памятники вполне заслуженным деятелям: всегда найдется кто-нибудь, кто ставит их заслуги под сомнение, а расходы на ремонт монументов, особенно крупногабаритных, весьма значительны. Для провинциалов (а заодно и для школьников), организовано осматривающих Старый город, на задах каждого монумента беславия приготовлены ящики с соответствующими орудиями. Они укрыты в живой изгороди, а сила их поражения точно соответствует сопротивляемости монумента. Исключение из правила, разграничивающего славу и беславие, сделано лишь для отцов-основателей этикосферы. Чтобы покончить с вечными ссорами и распрями у их пьедесталов, пришлось увековечить этих мужей двумя удаленными друг от друга мемориальными комплексами; каждый желающий, в соответствии со своими убеждениями, может направиться либо к первому, либо ко второму — с букетом цветов или с чем-то совершенно противоположным.

Так удачно сложилось, объяснил мне Кикерикс, что автоматизация положила конец физическому труду как раз тогда, когда появились первые шустресты, и, хотя шустрам далеко еще было до совершенства, уже на третий год число скоро-

постижных смертей пошло на убыль. И это несмотря на то, что преступный мир, вкупе с охотничьими обществами и бандами хулиганов, а также экстремисты и прочие группировки, для которых жизнь без пролития крови не имела ни малейшего смысла, массами мигрировали из городов в неосвоенную пока что глубинку. В свою очередь, толпы беженцев из глубинки хлынули в крупные города; словом, началось сущее переселение народов.

То была эпоха смелых экспериментов. В одном из округов неподалеку от столицы для опыта ввели неограниченное дармовое потребление — несмотря на протесты парламентской оппозиции, выражавшей интересы крупных промышленников. Они продолжали отстаивать законы рынка и товарного производства, хотя себестоимость любых изделий явно стремилась к нулю. Энергия не стоила уже ничего, доступная как воздух, и даже еще доступнее, поскольку черпалась она из космического пространства.

Увы, бесплатность благ и услуг привела к ужасающим результатам. Все наперебой принялись нагромождать горы ненужного добра, выдумывать отчаянные экстравагантности, чтобы перещеголять родственников, соседей, знакомых, а те тоже не покладали рук. К семейным особнякам пришлось пристраивать склады одежды, сокровищ, съестных припасов, часть их гибла без всякой пользы, а труд накопительства становился попросту непосильным; это погрузило нуворишей в такое уныние, что они, бывало, перенастраивали мирных роботов и формировали из них частные штурмовые отряды, чтобы допекать окружающих; разгорелись стычки и даже целые войны — в буквальном смысле слова гражданские — между отдельными гражданами. Из-за чего? Просто так. Пришлось обложить заставами и разоружить целый город, охваченный огнем пожаров, сотрясаемый взрывами бомб.

Вроде давно известно, что абсолютное благоденствие развращает абсолютно, однако нашлись идеалисты-оптимисты, верившие, что народ вскорости перебесится. Существующая ныне система, сложившаяся более ста лет назад, развеяла эти ребяческие мечты. Каждому гражданину на год выделяется строго определенная квота энергии. Он может употребить ее на что хочет. Например, на триста тысяч пар брюк с золотыми лампасами, или шоколадную гору с марципановыми ущельями, или девятьсот платиновых летающих проигрывателей такой мощности, что, даже когда они исчезают за горизонтом, еще слышна их иерихонская музыка; но никто уже не расточает своих запасов так сумасбродно: приходится счи-

таться с расходами, а квоту нельзя накапливать или объединять с квотами других лиц, чтобы не возникли тайные коалиции или иные подрывные ассоциации. Все, что нужно, создают на какое-то время, а потом выключают, как мы — электрический свет. Нет уже уникальных предметов, и подарком может стать только оригинальная информация о чем-нибудь таком, чего ни у кого пока нет, потому что он об этом не слышал, а сам не додумался. То есть презентом может быть лишь нечто вроде рецепта или инструкции. По существу, истинно новой информации подобного рода не существует, ведь любая возможная информация содержится в компьютерных инвентарях благ, а ее недоступность обусловлена лишь ужасающей избыточностью накопленных сведений.

Вместе с Кикериксом я был в художественной галерее; на почетном месте здесь стоит статуя Даксарокса, политика, который первым стал пропагандировать сооружение дебоширен, или буялен. В этих заведениях, открытых для всех совершеннолетних, можно дать волю агрессивным страстям. Немало энциан считают Даксарокса крупнейшим государственным деятелем эпохи всеобщей бездеятельности, но есть у него и хулители.

По совету своего наставника я посетил автоклаз. Это огромное сферическое здание, похожее на велодром. В огромном подземном паркинге ты выбираешь машину, а затем по пандусу въезжаешь на обычную городскую площадь, под открытое небо. Там разрешено все — таранить другие машины, гоняться за пешеходами, усеивая трассу трупами и разбитыми автомобилями, и даже въезжать в дома, превращая их в груды обломков и тучи известковой пыли. Не знаю, как делают эти миражи, но ощущение реальности происходящего — полное. Некоторые клиенты, говорят, не выходят из автоклазов, испытывая ужас при мысли о возвращении под опеку этико-сферы, настолько она им осточертела. Имеются также дебоширни иного типа — там можно безнаказанно убивать, поджигать, грабить и мучить кого угодно до сотого пота и до потери дыхания, но мне что-то не захотелось.

Кикерикс полагает — может быть, и справедливо, — что между завсегдатаями этих заведений и ценителями кровавых зрелищ вроде боя быков или фильмов, напичканных уголовщиной, разница не в сути, а только в степени. Одни знатоки проблемы видят в буяльнях усилители низменных инстинктов, обостряющие ощущение угнетенности у лиц, по природе жестоких, но другие называют это сбросом дурной крови, предохранительным клапаном, который дает разрядку слыш-

ком настойчиво умиротворяемой психике граждан. Ходят слухи, будто дебоширны находятся под тайным контролем Министерства Превентивных Мер и каждый, кто переберется фиктивно и понарошку, попадает в картотеку лиц с порочными склонностями, а после к ним подсылают душеумягчающие шустры. Оппозиционеры избегают этих заведений как черт ладана и отзываются о них с величайшим презрением. Нет недостатка в фата-морганных имитаторах и за городом, в специальных охотничьих угодьях, где страстные охотники выслеживают самого крупного зверя — курдюка, и даже тысячетонных огнемечущих пирозавров. Должно быть, отсюда и взялись в земных материалах противоречивые сообщения об огнедышащих горынычах: будучи фантомами, они существуют и не существуют одновременно. Не я один оплошал, приняв развлечения чужепланетной цивилизации за повседневную реальность. То же самое относится к пресловутой манекенизации; манекены в натуральную величину, с виду неотличимые от оригиналов, действительно можно заказать в филиалах фирмы ЛЮТОНД (Любые Товары На Дом); ЛЮТОНД производит все необходимое для домашнего хозяйства, в том числе по индивидуальным заказам, и никто не спрашивает клиента, что он намерен делать с заказанными товарами, ведь земной продавец платья тоже не особенно любопытствует, зачем оно понадобилось покупателю. Это просто никого не заботит, а разница лишь та, что на Энциии заказать андроида не сложнее, чем холодильник.

Кикерикс говорит, что работают не больше 10% всех энциан, однако это число постоянно растет; несмотря на всеобщую роскошь и бесчисленные развлечения, безработица докучает сильнее, чем можно было себе представить в прежнюю эпоху нужды и изнурительного труда. Главной проблемой остается, по его мнению, вседоступность благ и утех. Что задаром дается, не ставится ни в грош; блаженное ничегонеделание приводит слишком многих в отчаяние, и уже начинают подумывать, как бы сделать жизнь потруднее. Ах, если бы общество согласилось одобрить такие проекты! Да вот беда — не желает, и все. Свое нежелание оно подтверждает в регулярно устраиваемых плебисцитах, и единственным выходом было бы создание каких-то совершенно новых препятствий на жизненном пути. Ведь не о том речь, что в один прекрасный день просто не хватило бы продуктов и народ, вместо того чтобы идти в дебоширню, встал бы в очередь за сыром. Но как на деле исполнить подобные замыслы? Любые изменения требуют согласия большинства, и трудности но-

вого типа должны быть приняты добровольно, а не навязаны. Крайне сложный вопрос, тряс своей птичьей головой мой наставник, эти колебания между искушениями тайнокрадии и гедонизации; и немало расплодилось таких, что ведут жизнь анахоретов, из дому не выходят, носят одну и ту же одежду, пока не истлеет, а все потому, что необходимость выбора при царящем переизбытке совершенно парализует их волю.

Я спросил про Черную Кливию, и мне показалось, что вопрос пришелся ему не по вкусу. Вместо ответа он принялся выпытывать, что я знаю о Кливии, после чего заявил, что на 98% это ложь, состоящая из недоразумений и передержек, а остальное сомнительно. Как же было на самом деле? На самом деле, ответил он, мы делали для кливийцев все, что могли. Из-за неблагоприятных климатических условий у них часто случался неурожай, мы снабжали их продовольствием (так же, впрочем, как и Курдландию), а они, то есть их власти, по-прежнему морили народ голодом, накапливая стратегические запасы на случай войны, которую они собирались против нас развязать; и даже если в экспортируемые продукты добавлялись субстанции, делающие невозможным их длительное хранение, с нашей стороны это была элементарная предусмотрительность, не больше того. А что могло быть «больше»? — спросил я; он неопределенно улыбнулся и сказал, что на этой почве возникло множество измышлений и инсинуаций, о которых я рано или поздно услышу. Разговор о Кливии привел к заметному разладу между нами.

От езды в Институт Облагораживания Среды в памяти у меня осталось лишь удивление, вызванное взлетом лифта: он тронулся вертикально, а потом щелчком вставляемого в магазин патрона перескочил над крышей гостиницы на колею, которая плоской радугой, без единой опоры, выгибалась над городом, и подобно радуге сияла семью цветами солнечного спектра. Потом наступила темнота, пол мягко провалился подо мною, кабина застыла неподвижно, ее стена раскрылась по невидимому шву, и на фоне растений с большими белыми цветами я увидел высокого люзанца с человеческим лицом, в однобортном костюме и белоснежной рубашке, словно он только что вышел от парижского портного: даже лацканы пиджака и воротничок рубашки скроены по последней моде — моде двухвековой давности! Это тоже было частью оказываемого мне повсюду почтения, ведь сами они одеваются по-другому. Люзанец ждал меня, заранее протянув руку, словно боялся забыть, как положено приветствовать человека; при рукопожа-

тии его ладонь исчезла в моей вместе с большим пальцем. Это был Типп Типпилип Тахалат, директор ИОСа, черноглазый блондин. Я бы не прочь узнать, как они это делают. Взамен переводилки — на лацкане — у меня было по маленькому металлическому кружочку на раковине каждого уха; земная речь словно выплывала изо рта у встречающих. Они, наверно, слышали меня так же. Заметив неловкость, проявленную Тахалатом при встрече, я почувствовал некоторое облегчение: в его знании земных обычаев оказались пробелы, а ничто так не угнетает, как чужое совершенство.

Тахалат повел меня в поистине удивительное помещение. Это была точная копия зала собраний старинного земного банка — примерно конца XIX века. Длинный, покрытый зеленым сукном стол между двумя рядами чернокожих кресел, матово-молочные окна, между ними — остекленные шкафы; одни были уставлены толстыми книгами — среди них я заметил тома ежегодников Ллойда, — в других стояли модели парусников и пароходов; и я опять подумал, что они, ей-богу, уж слишком стараются, устраивая такое представление ради одной-единственной беседы с землянином! Мы сели за маленький столик у окна, под рододендромом в майоликовой кадке, между нами дымилась кофеварка с мокко, стояла одна чашка — для меня — и серебряная сахарница, кажется, с британским львом; а для хозяина было приготовлено что-то вроде груши на ножке или гриба с лазоревой шляпкой. Тахалат извинился, что не будет пить того же, что я; он к этому не привык и рассчитывает на мою снисходительность. Я заверил его, что он оказывает мне слишком много внимания; так мы сошлись в учтивости, я — помешивая сахар в чашечке, он — вертя в руках грушу-грибок у которой вместо черенка была трубочка, а внутри — какая-то жидкость. Тахалат заговорил о моем злосчастном приключении. Он напомнил, что уцелел я благодаря этикосфере, хотя, возможно, не отдаю себе в этом отчета. У антихудожников мне ничто не угрожало, добавил он, что же касается гидийцев, то они живут в резервате, ошущенном только поверхностно. Поэтому, когда стало известно о моем похищении, усилили локальную концентрацию шустров, и тогда они просочились в подвал.

— Наконец-то я узнаю от вас, как они действуют, эти шустры, — сказал я, удивляясь про себя превосходному вкусу люзанского кофе.

— Лучше всего — на опыте, — ответил директор. — Могли ли вы попросить дать мне пощечину?

— Что-что, извините?

Я подумал, что в переводе ошибка, но директор с улыбкой повторил:

— Я прошу вас оказать мне любезность, ударив меня по щеке. Вы убедитесь, как действует этикосфера, а после мы обсудим этот эксперимент... Я, пожалуй, встану; вы тоже встаньте — так будет удобнее...

Я решил ударить его, раз уж ему так хотелось. Мы встали друг против друга. Я замахнулся — в меру, потому что не хотел свалить его с ног, — и застыл с отведенной в сторону рукой. Что-то меня держало. Это был рукав пиджака. Он стал жестким, словно жестяная труба. Я попытался согнуть руку хотя бы в локте и с величайшим трудом согнул ее, — но только наполовину.

— Видите? — сказал Тахалат. — А теперь попрошу вас отказаться от своего намерения...

— Отказаться?

— Да.

— Ну хорошо. Я не ударю вас по...

— Нет, нет. Не в том дело, чтобы вы это сказали. Вы должны внушить себе это, дать торжественное внутреннее обещание.

Я сделал примерно так, как он говорил. Рукав размягчился, но не до конца. Я все еще ощущал его неестественную жесткость.

— Это потому, что вы не вполне отказались от этой мысли...

Мы по-прежнему стояли лицом к лицу. Минуту спустя рукав уже был совершенно мягким.

— Как это делается? — спросил я.

На мне был пиджак, привезенный с Земли, — шевиотовый, пепельного цвета, в мелкую серо-голубую крапинку. Я внимательно осмотрел рукав и заметил, что ворсинки ткани лишь теперь укладывались, словно это была шерсть сперва насторожившегося, а потом успокоившегося животного.

— Недобрые намерения вызывают изменения в организме. Адреналин поступает в кровь, мышцы слегка напрягаются, изменяется соотношение ионов и тем самым — электрический заряд кожи, — объяснил директор.

— Но ведь это моя земная одежда...

— Потому-то она и не защищала вас с самого начала, а лишь часа через три. Правда, недостаточно успешно — хотя шустры и пропитали ткань, вы остались для них существом неизвестным, и по-настоящему они отреагировали лишь тогда, когда вы начали задыхаться — помните? — в том подвале...

— Так это они разорвали ошейник? — удивился я. — Но как?

— Ошейник распался сам, шустры только дали приказ. Мне придется объяснить вам подробнее, ведь это не так уж просто.

— А что было бы, — прервал я его, — сними я пиджак?

...И сразу вспомнил, как там, в подвале, похитители отчаянно пытались раздеться.

— Ради Бога, пожалуйста... — ответил директор. Я повесил пиджак на спинку стула и осмотрел рубашку. Что-то происходило с поплином в розовую клетку — его микроскопические волоконца встопорщились.

— Ага... рубашка уже активизируется, — понимающе сказал я. — А если я и ее сниму?..

— От всего сердца приглашаю вас снять рубашку... — с готовностью, прямо-таки с энтузиазмом ответил он, словно я угадал желание, которое он не смел высказать. — Не стесняйтесь, прошу вас...

Как-то странно было раздеваться в этом изысканном зале, в светлой нише возле окна, под пальмой. Это, наверно, выглядело бы не так необычно в более экзотическом окружении; тем не менее я аккуратно развязал галстук; раздвинувшись до пояса, подтянул брюки и спросил:

— Теперь можно, господин директор?

Он как-то даже чересчур охотно подставил лицо для удара, а я, ни слова более не произнося, развернулся, стоя на слегка расставленных ногах, и они разъехали так внезапно, словно пол был из льда, да еще полит маслом; как подкошенный, я рухнул прямо к ногам люзанца. Он заботливо помог мне подняться, а я, распрямляясь, будто бы нечаянно двинул ему локтем в живот и тут же вскрикнул от боли — локоть ткнулся словно в бетон. Панцирь, что ли, был у него под одеждой? Нет — между отворотами его пиджака я видел тонкую белую рубашку. Значит, дело было не в ней. Сделав вид, будто я и не думал ударять его под ложечку, я сел и принялся разглядывать подошвы туфель. Они вовсе не были скользкими. Самые что ни на есть обыкновенные кожаные подметки и рельефные резиновые каблуки — я предпочитаю такие, с ними походка пружинистее. Я вспомнил, как попадали художники, когда они всей оравой пошли на меня, стоящего под крылышком ангела. Так вот почему! Я поднял голову и посмотрел в неподвижные глаза собеседника. Тот добродушно улыбался.

— Шустры в подошвах? — отозвался я первым.

— Верно. В подошвах, в костюме, в рубашке — везде... Надеюсь, вы ничего не ушибли?..

Скрытый смысл этих слов был менее вежлив: «Не замахни ты так сильно, не свалился бы с ног».

— Пустяки, не о чем говорить. А если раздеться догола?..

— Что ж, тогда бывает по-разному... не могу сказать точно, что произошло бы, — просто не знаю. Если б можно было знать, возможно, и удалось бы обойти уморы, то есть усилители морали... учтите: фильтром агрессии является все окружение, а не только одежда...

— А если бы здесь, где-нибудь в укромном месте, я бросил камень вам в голову?

— Думаю, он отклонился бы в полете или рассыпался в момент удара...

— Как же он может рассыпаться?

— За исключением немногих мест — например, резервуаров, — нигде не осталось необлагороженного вещества...

— То есть как — и плиты тротуаров тоже? И гравий на дорожках? И стены? Все искусственное?

— Не искусственное. А ошущенное. И только в этом смысле, если хотите, искусственное, — говорил он терпеливо, старательно подбирая слова. — Это было необходимо.

— Все-все из мельчайших логических элементов? Но ведь это требовало невероятных расходов...

— Расходы были значительные, безусловно, но все же нельзя сказать, чтобы невероятные. В конце концов, это основная наша продукция...

— Шустры?

— Да.

— А тучи? А зимой, когда вода замерзает? И можно ли вообще ошустрить воду?

— Можно. Все можно, уверяю вас.

— И съестные продукты тоже? Этот кофе?..

— И да и нет. Быть может, я, не желая того, ввел вас в заблуждение относительно нашей технологии. Вы полагаете, что все состоит из *одних* шустров. Только из них. Но это не так. Они просто находятся повсюду, как, скажем, стальная арматура в железобетоне...

— Ах, вот оно что! Значит, скажем конкретно, — в этом кофе? плавают в нем? Но я, когда пил, ничего не почувствовал...

Должно быть, на моем лице появилась гримаса отвращения, потому что люзанец сочувственно развел руками.

— В таком количестве кофе могло быть около миллиона

шустров, но они меньше земных бактерий и даже вирусов — чтобы их нельзя было отфильтровать... Так же обстоит дело и с вашей одеждой, с кожей туфель, со всем.

— Значит, они непрерывно проникают в глубь организма? С какими последствиями? Неужели они у меня в крови — и в мозгу?

— Да что вы! — Он поднял руку, словно защищаясь. — Они выходят из организма, никак не изменяя его. Тело для них неприкосновенная территория, в соответствии с нашими основными законами. Существуют, правда, особые антибактериальные шустры, но их применяют только врачи, в случае занесенной извне болезни, ведь в воздушном пространстве Люзании уже нет никаких болезнетворных микроорганизмов... Ну как, продолжим наши эксперименты?..

Он подошел к столу и выдвинул ящик. Там лежало несколько гвоздей — больших и поменьше, молоток и плоскогубцы.

— Не угодно ли вбить гвоздь в столешницу? — Он постучал пальцем по палисандровой крышке стола.

— Не хотелось бы портить мебель...

— Да что вы, это пустяк.

Я взял полукилограммовый молоток и несколько крупных гвоздей. Звякнул одним гвоздем о другой, а затем несколькими сильными ударами вбил четырехдюймовый гвоздь в дерево до половины. Политура брызнула в стороны блестящими щепочками. Я ударил по гвоздю сбоку — он зазвенел как камертон. Директор протянул мне плоскогубцы, и я с усилием, так как гвоздь сидел глубоко, вырвал его; он почти не погнулся.

— И что же, теперь я должен вбить его вам... в голову? — догадливо спросил я.

— Да, будьте любезны...

Чтобы мне было удобнее, он сел, слегка наклонившись, а я не спеша снял туфли, носки — мне не улыбалось еще раз очутиться на полу, — приставил гвоздь к его черепу и обозначил удар молотком, легонько, но так, что директор вздрогнул. Я застыл в нерешительности; он поспешил ободрить меня:

— Прошу вас, решительнее... смелее...

Тогда я трахнул молотком по шершавой шляпке, и гвоздь исчез. Просто исчез — лишь в ладони у меня осталась щепотка пепельной пыли.

Тахалат встал и выдвинул другой ящик. Там лежали иголки, булавки, бритвы. Он взял пригоршню этого добра, поло-

жил в рот и, медленно двигая челюстями, принялся жевать, пока не проглотил целиком. Прямо как фокусник.

— Хотите попробовать?.. — предложил он мне. Что ж, я взял бритву, провел по ней кончиком пальца — острая! — и положил на язык, соблюдая надлежащую осторожность.

— Смелее, смелее...

На языке ощущался металлический привкус, и было трудно отделаться от мысли, что я сейчас страшно покалечусь; однако астронавтика порою требует жертв. Я надкусил бритву, и она рассыпалась прямо во рту в мелкий порошок.

— Не угодно ли гвоздь? или иголку? — потчевал он меня.

— Нет, благодарю вас... пожалуй, хватит...

— В таком случае побеседуем...

— Как это делается? — спросил я, снова взяв свою чашку.

Я заметил, что, хотя времени прошло много, кофе такой же горячий, как при первом глотке. — Это все из-за шустров? Но ведь шустры — всего лишь логические элементы... а это, — я указал на разбросанные по столу гвозди, — должно быть, настоящая сталь?..

— Да, одни лишь шустры ничего не сделали бы без нашей технологии твердых тел... Вам, несомненно, известно, как возникает телевизионное изображение?

— Разумеется. Его рисует на экране луч развертки, пучок сфокусированных электронов...

— Вот именно. Изображение возникает как впечатление глаза; на снимках с очень короткой выдержкой будут видны лишь отдельные положения светового пятна. Как раз этот принцип и положен в основу нашей технологии твердых тел; гвоздь или любой другой металлический объект существует лишь как известное число атомных облачков, которые двигаются внутри формы, задаваемой особой программой. Эти атомы образуют что-то вроде микроскопических опилок и, мчась по своим траекториям с громадной скоростью, создают впечатление гвоздя. Или другого предмета из стали и вообще какого угодно металла. Впрочем, это не только впечатление, иллюзия, как изображение в телевизоре, — с таким гвоздем можно делать в точности то же, что и с обычным гвоздем, кованным или штампованным, понимаете?

— Это как же? — ошеломленно спросил я. — Значит, движущиеся опилки... атомы... а с какой скоростью они движутся?

— Смотря какой объект надо создать. Вот в этих гвоздях — что-то около 270 000 км/сек. Они не могут двигаться медленнее: предмет казался бы слишком легким; а при боль-

ших скоростях релятивистские эффекты проявились бы в чрезмерном возрастании массы, и вам казалось бы, что гвоздь весит много больше, чем должен... Имитация естественного положения вещей должна быть безупречной! Эти атомные облачка мчатся точно по заданным орбитам — и тем самым «обрисовывают» форму нужного нам предмета, как — если воспользоваться примитивным сравнением — горящий кончик сигареты рисует круг в темноте...

— Но ведь это требует постоянного притока энергии!

— Разумеется! Энергию доставляет нуклонное поле, взаимодействующее с гравитационным. Его нельзя экранировать, как нельзя экранировать гравитацию. А если вы возьмете что-нибудь отсюда, — он описал рукой круг, — к себе на корабль, все это рассыплется в прах, как только корабль покинет наше стабилизирующее поле.

— Значит, все, что здесь есть, — и мебель, и ковер, и пальмы...

— Все.

— Стены тоже?

— В этом здании — да. Но есть еще сколько-то старых, неоштукатуренных строений...

— А в случае аварии энергоснабжения оно рассыплется?

— Видите ли, авария невозможна.

— Почему? Разладиться может все.

— Нет. Не все. Это не более чем предрассудок. Существуют силы абсолютно безотказные, если только вызвать их к жизни. Атомы не знают аварий, не так ли? Электрон никогда не упадет на ядро...

— Но атом в состоянии покоя не поглощает энергии.

— Да, поэтому здесь это устроено по-другому. Приток энергии необходим.

— Следовательно, может и прекратиться.

— Нет, потому что мы черпаем ее прямо из гравитационного поля нашей планетной системы. Вам понятно? Тем самым мы, конечно, притормаживаем движение планеты вокруг Солнца, но замедление, вызываемое такой эксплуатацией, — порядка всего лишь 0,2 секунды в столетие...

— Но все же какие-нибудь машины или агрегаты должны вырабатывать эту энергию, а значит, могут и отказаться, — настаивал я.

Он покачал головой.

— Это не машины, — сказал он. — У них нет снашивающихся механических частей. Точно так же, как нет таких частей в атомах. Это результат интерференции особым образом

наложенных друг на друга полей. Энергия в Космосе есть повсюду, в неисчерпаемом количестве, нужно лишь знать, как до нее добраться...

— А ваше лицо — не обижайтесь, пожалуйста, — выглядит человеческим тоже благодаря этой технике?

— Что же тут обижаться? Да, вы угадали. Это просто проявление вежливости... Я рассказал вам, как мы изготавливаем металлические предметы. Все остальное делать проще... но это связано с устройством конкретных твердых тел. Боюсь, что рассмотрение других технологий завело бы нас слишком далеко — в область неведомой вам физики... Однако принцип всегда тот же самый. Любой материальный предмет — это рой атомов в пустоте. Атомов, включенных в структуру, соответствующую их состоянию. Мы дирижируем этими структурами, вот и все. Оркестр был готов с момента возникновения Вселенной и только ждал дирижера...

— У вас, должно быть, чудовищных масштабов промышленность, — заметил я.

— Не таких уж чудовищных, как вы думаете. Она у нас автоматическая, самодостаточная и сама себя контролирует.

— Но в воде-то можно кого-нибудь утопить?.. — спросил я с надеждой в голосе.

— Нет. Хотите попробовать? В этом здании есть бассейн...

— Не стоит, пожалуй. Вы только скажите мне, как вода вас спасает? Выталкивает на поверхность?

— Нет, разлагается на водород и кислород, а этой смесью можно дышать...

— Разлагается — благодаря шустрям?

— Да, то есть шустры дают приказ молекулам, которые удерживаются силовыми полями.

— Вы, пожалуй, сочтете меня за дикаря, — сказал я, — но признаюсь: все, что вы говорите, кажется мне фантазией. Это просто невероятно!

— Словно я вам сказки рассказываю, правда? — улыбнулся люзанец. Он встал, подошел к стене, открыл сейф и достал оттуда обычный серый камешек. — Это *не* ошущено и не синтезировано, — сказал он с таинственным выражением лица. — Это настоящий, природный песчаник... и что же? Прошу вас задуматься: разве он устроен «просто»?

— Ну, из атомов, из соединений кремния...

— Легко сказать! Но вы же образованный человек, вы знаете, что это миллиарды и триллионы атомов; свою макроскопическую форму — именно эту — они сохраняют лишь благодаря неустанному вращению электронных оболочек,

стабилизируемых барьерами ядерных потенциалов, и еще благодаря тому, что 8000 разновидностей виртуальных квазичастиц удерживают от распада псевдокристаллическую решетку с ее аномалиями, типичными для песчаника, — и так далее. Если вы куда-нибудь зашвырнете этот камешек, то его атомы, его силовые поля, его электроны, находясь в постоянном движении, будут удерживать неизменную форму твердого минерала миллионы лет; и любой природный предмет есть результат бесчисленного множества подобных процессов... А мы научились делать на свой манер нечто не менее и не более, а только немного *иначе* сложное... Проведенная Природой граница между уничтожимыми и неуничтожимыми технологиями проходит чуть выше атомного уровня. Поэтому нужно было спуститься вниз — по шкале размеров — к частицам, из которых Природа строит атомы, и из этих субатомных элементов конструировать то, что требуется *нам*. Разумеется, все это лишь общие указания, а не технологический рецепт... Мы производим твердые тела с любыми нужными нам свойствами... а их судьбой заведуют шустры, которым мы перепоручили контроль.

— Значит, у вас действительно гвозди разумны? И камни, и вода, и песок, и воздух?

— Не то чтобы разумны... Разум предполагает универсальность и способность менять программу действий, а этого шустры не могут. Они скорее что-то вроде чрезвычайно обостренных недремлющих *инстинктов*, встроенных в окружающую среду. В обычной шустринной системе разума не больше, чем, скажем, в жвалах или ноге насекомого.

— Допустим, — сказал я, — но вернемся еще раз к этикосфере... ладно? Не знаю, как можно соткать ткань из ошустренных волокон, но предположим, что знаю. Что дальше? Можно сшить из этой ткани костюм: согласен. Но как получается, что в этом костюме невозможно дать ближнему по зубам?

Он приподнял брови:

— Вас это немного раздражает, не так ли? Обычное внутреннее сопротивление и даже шок, вполне понятный при столкновении с технологией другой стадии цивилизации. Нет, дело тут не в шустрах, содержащихся в ткани. Ведь ваша одежда поначалу не была ошустрена — шустры осели на ней потом, это требует известного времени, потому-то вас и сочли потенциальной добычей, заманчивой жертвой эти — наши так называемые экстремисты... Ведь они, ясное дело, нахватались кое-каких сведений о нашей цивилизации, хотя

бы в школе. Любое живое существо как бы притягивает шустры. Шустры образуют вокруг него невидимое облачко. Оно никак не влияет на обычную жизнедеятельность. Оно совершенно неощутимо. Облачко это *выучивает* типичные реакции данного лица; это нужно потому, что состояние готовности к агрессии у разных лиц проявляется неодинаково. Что уж и говорить о представителях другого разумного вида, такого, как человек! Наши шустры сначала не знали, что и как вам угрожает. Окажись на вашем месте обычный люзанец, его не удалось бы посадить на цепь, не захоти он того *сам*. Словом, этикосфера в каждом отдельном случае не обладает мгновенной и абсолютной эффективностью изначально, но становится таковой со временем. К тому же шустры по-разному специализированы — как... скажем, как вирусы, только это вирусы *добра*. Если бы вам дали какой-нибудь необычайно редкий яд, который ваши личные шустры не успели бы вовремя распознать, то первые симптомы отравления стали бы сигналами тревоги. По этому сигналу летучие группировки шустров соединяются в более крупные образования, причем со скоростью света — или распространения радиоволн, — и на выручку призываются шустры, способные действовать как противоядие. Они не обязательно проникают в вас материально. Они лишь дистанционно регулируют поведение других шустров вашего окружения, а те уже под эту диктовку могут, скажем, за несколько секунд разблокировать в клетках отравленные дыхательные энзимы. Вы ненадолго потеряете сознание и придете в чувство немного ослабленным. Вот и все. Как вы уже, верно, догадываетесь, мы не нуждаемся в *запаздывающей* медицине, все еще господствующей на Земле; наша медицина — *упреждающая*: любой организм находится под неустанной опекой...

— Шустры занимаются профилактикой?

— Разумеется.

— Значит, разбираются во всех областях медицины? Но ведь это предполагает высокую степень универсальности...

— Нет. Прошу меня извинить, но вы все еще мыслите категориями своего времени, своего уровня знаний, а это ничего не даст. Я спрашиваю — не для того чтобы обидеть вас, но чтобы лучше вам разъяснить: смог бы даже самый мудрый землянин древности понять, как действует радио или шахматный компьютер? Ведь для этого нужно хоть что-нибудь знать об электричестве, электромагнитных колебаниях, их модулировании, энтропии, информации...

— И все же ни радио, ни компьютер не абсолютно надеж-

ны, — стоял я на своем. — Так что же вы сделали, что сравнялись с Господом Богом?..

Он усмехнулся:

— Господь Бог не сотворил мир из такого абсолютно надежного материала, как некогда представлялось. Материю можно уничтожить. Материя, если только надавить на нее посильнее, оказывается небезотказной и может просто исчезнуть — скажем, в гравитационных объятиях коллапсирующей звезды, — и тогда от нее, над черной, бездонной ямой, ничего, кроме тяготения, не остается, верно? Там, в черных дырах, где материя испускает гравитационный дух, проходит граница ее надежности. И разумеется, граница надежности любых технологий. Но на каждый день наши атомы не хуже Господних. Мы подсмотрели Природу на нужном уровне ее устройства. Вот и все. Атом водорода не может испортиться так, чтобы он не способен был соединяться с атомами кислорода в H_2O . И точно так же не «портятся» шустры.

— Хорошо, — сказал я, чувствуя, что перехожу к отступлению, — но значит ли это, что моя одежда присматривает за мной? Или что рукава следят за своим хозяином?

— Знаете, — ответил Тахалат, — вы, сами того не ведая, повторяете доводы нашей оппозиции. Галстуки-соглядатаи, рубашки-осведомительницы, рукава-шпики. Боже ты мой, репрессивные кальсоны! Да ничего подобного, уверяю вас. Во влажной почве зерно прорастает. Что, оно следит за температурой? Недоверчиво взвешивает перспективы роста? Раздумывает о погоде, прежде чем примет важное решение прорасти? Шустры ведут себя точно так же. Законы Природы — это прежде всего запреты: *нельзя* получить энергию из ничего; *нельзя* превзойти скорость света и так далее. Мы вмонтировали в окружающую нас Природу еще один запрет — охраняющий жизнь. И ничего больше. Все остальное — параноидальный бред, мания преследования, понятная постольку, поскольку в дошустринную эпоху усматривали разум во всем, что хоть в каком-нибудь отношении вело себя как разумное Существо. Отсюда же проистекало странное смешение понятий и страхи по поводу пракомпьютеров. Что они будто бы могут взбунтоваться, восстать против общества. Небылицы! Но здесь, — он обозначил круг, — нигде нет личного разума. Есть лишь ошустренные окна, мебель, перекрытия, портьеры, воздух — все это, разумеется, похитрее противопожарных датчиков, но точно так же предназначено для строго ограниченных целей.

— Но как же они отличают игру от настоящей схватки?

Дружеское пожатие от удушающего? Хотя бы в спорте. Или спорт вам уже неизвестен?

— Да нет же, известен. Вы хотите знать, на чем основано умение шустров *распознавать*? Что ж, я отвечу. Такое умение действительно необходимо. Общество, завладевающее силами Природы, подвержено бурным потрясениям. Желанное благосостояние вызывает нежелательные последствия. Новые технологии открывают перед насильниками новые возможности и перспективы. Начинает казаться, что чем больше власть над Природой, тем больше деморализация общества. И это правда — до определенной границы. Это вытекает из самой очередности открытий. Легче перенять от Природы ее разрушительную мощь, чем ее благожелательность, и как раз потенциал разрушения становится желанной целью. Такова новая историческая опасность. Мало того: логические последствия технологий подрывают их основание; вам это известно на примере агонии природной среды. Затем — но это вам еще не известно — появляется *эжорак*. Что-то наподобие вырождения больших автоматизированных и компьютеризированных систем. Новая, захватывающая цель — все большая степень овладения миром — словно бы подвергается дьявольской подмене. Старые источники благ пересыхают быстрее, чем открываются новые, и дальнейший прогресс зависает над пропастью. Порядок, достигаемый благодаря технологии, порождает больше хаоса, чем в состоянии переварить! Чтобы преодолеть все эти преграды (источник которых — в ненадежности техники и человеческой природе, которая тоже небезотказна, поскольку сформировалась в других условиях, в другом мире), следует взобраться на новый, более высокий уровень техноэволюции, похитить у Природы сокровище, завладеть которым труднее всего, — скрытое в субатомных явлениях. У нас этому служит синтез новых твердых тел и новые методы контроля над ними, то есть шустры. Таковы два столпа нашей цивилизации. Их симбиоз мы называем этикосферой. Лавинообразное приращение знаний грозит превратить науку в *крошево* бесчисленных специальностей, и тогда, согласно известному афоризму, эксперт будет знать все ни о чем! Этого нельзя допустить. Спасительным поворотом становится создание глобальной системы знаний, доступных без всяких ограничений, — но уже не живым существам. Ни одно из них не справится с этой громадой. Любая из отдельно взятых пылинок, какими являются шустры, ничуть не универсальна, зато универсальны все они, вместе взятые. И этой их

универсальностью может при необходимости воспользоваться каждый, как я пробовал показать вам на примере редкого случая отравления. Прошу заметить, что невидимое облачко шустров, которые вас опекают, само умеет не слишком много — и в то же время все, на что способна вся наша этикосфера, раз оно может за какие-то секунды добраться до любой информации, содержащейся в глобальной системе. Это могущество можно призвать на помощь в любую минуту, как джинна из сказки. Но такое позволено только шустрам! Никто не может сделать этого сам, непосредственно, а значит, использовать невидимого колосса этикосферы *против* кого бы то ни было...

— И нельзя обмануть шустров? — спросил я. — Так уж совсем? Что-то не верится...

Он засмеялся, но как-то невесело.

— Вы же на себе убедились. Вашим похитителям это удалось — отчасти и ненадолго — лишь потому, что вы еще были незнакомым этикосфере существом.

— Но ведь каталог всех мыслимых обоснований преступлений бесконечен... Зло можно причинять не прямо, а тысячью обходных способов...

— Безусловно. Но я же не говорю, что Люзания — воплощенный рай...

Я вдруг посмотрел на него, увлеченный новой идеей:

— Пожалуй, я знаю, как перехитрить шустров...

— Нельзя ли узнать, как?

— Мои похитители именно это и пытались сделать. Теперь я понял! Они пробовали изменить квалификацию своего поступка...

Он взглянул на меня с тревожным любопытством:

— Что вы имеете в виду?

— Теперь я думаю, что они пытались превратить экзекуцию в жертвоприношение... Как бы освятить ее. Чтобы убийство стало чем-то возвышенным и благородным. Как оказание помощи. Как спасение. Меня должны были принести в жертву чему-то более ценному, чем жизнь.

— Чему же? — спросил он с нескрываемой иронией.

— Вот это как раз и осталось довольно темным. Они казались уверенными в себе, пока не принимались за дело... как будто они все вместе брали разбег, пытаясь перепрыгнуть через барьер — и не могли...

— Потому что их вера — ненастоящая! — перебил он меня. — Они хотели уверовать в свою миссию, но не смогли. Нельзя уверовать только потому, что этого *хочешь!*

— Однако другим может повезти больше, — буркнул я. — Не мясникам, разумеется. Но могут быть люди, действительно убежденные, что, совершая убийство, они совершают добро. Как в средневековье, когда сжигали тело, чтобы спасти душу. Словом — обман уже не будет обманом, если вера окажется искренней...

— Средневековье нельзя возродить одним лишь желанием, хотя бы и самым страстным, — возразил Тахалат. — Скажу вам больше: неистовость подобных усилий раскрывает их подоплеку — святости в ней нет ни крупицы! Мнимым ритуалом жертвоприношения легче обмануть людей, чем шустров...

— Это как раз то, что и не снилось нашим мудрецам, — заметил я. — Логическая пыльца, отличающая веру от неверия. Но как?

— Это лишь кажется непостижимой загадкой. Шустры вовсе не оценивают искренность веры. Они просто реагируют на симптомы агрессии и бездействуют, если их нет. Не всякая вера исключает агрессивность. Что может быть агрессивнее фанатизма? Так что он не усыпит их бдительность. Агрессию исключает стремление к добру, но оно, в свою очередь, исключает убийство. Конечно, не всегда было так, но в прошлое вернуться нельзя.

— Я бы не поручился! — возразил я. — Особенно когда уже известна нужная формула: запечатленные в структуре материи заповеди теряют силу, если убийца верит в благость своего поступка. К тому же вера и неверие — это не взаимоисключающие логические категории. Можно верить отчасти, временами, сильнее, слабее... и где-нибудь на этом пути в конце концов перепрыгнуть через шустринный барьер...

Люзанец мрачно посмотрел на меня:

— Действительно, такой порог есть. Не буду обманывать. Только он выше, чем вы полагаете. Гораздо выше. Поэтому штурмуют его напрасно...

Догадываясь, что я утомился — беседа продолжалась почти три часа, — директор уже не настаивал на посещении лабораторий. Обратного меня провожал его молчаливый ассистент. Когда мы парили над городом, мое внимание привлекло большое пятно зелени, окаймленное шлемами сверкающих башен; узнав, что это городской парк, я попросил завезти меня туда.

Какое-то время я бродил по аллеям, едва замечая их — из головы у меня не выходил разговор с Тахалатом, — и наконец уселся на лавку; чуть подалее в песочнице играли

дети. Лавка была не совсем обычная, с выемками для ног, которые энциане, садясь, подбирают под себя. Но дети издали выглядели совсем как наши, у них даже были ведерки, чтобы делать кулички из песка. Кулички лепила только одна маленькая, лет трех, девчушка, сидя на корточках отдельно от всех. Остальные играли иначе. Они швырялись горстями песка, стараясь попасть в глаза друг другу, и заливались смехом, когда песок, отраженный невидимым дуновением, обсыпал бросившего.

Из-за живой изгороди вышел мальш — не старше, чем остальные, — и что-то стал говорить. Его не слушали, тогда он принялся передразнивать играющих, все грубей и грубей, пока не вывел их из себя. Они бросились на нахала, но, хотя и были выше и шли втроем на одного, он вовсе не испугался, и неудивительно — нападавшие ничего не могли ему сделать. Не знаю, что парировало их удары, но этот мальчишка, меньше всех ростом, спокойно стоял посреди напирających на него, рассерженных уже не на шутку детей; в конце концов все вместе они опрокинули его и принялись по нему прыгать. Но мальчуган, казалось, стал скользким, как лед; напрасно пытались они держаться друг за друга, чтобы не упасть, или прыгать с разбега. Ребячий гомон умолк; дети молча начали раздеваться, чтобы разделаться с обидчиком голышом. Двое держали его, а третий, связав из шнурка петлю, набросил ее на шею жертве и затянул. Я непроизвольно рванулся с места, но не успел встать, как шнурок лопнул. Тогда эти мальцы пришли в настоящее бешенство. Началась такая кутерьма, что в песочнице взметнулось облако пыли. Из него поминутно кто-то показывался, чтобы поднять валяющиеся возле песочницы лопатку или грабельки, и с занесенной рукой бросался на недостижимого врага. Ярость детей превращалась в отчаяние. Один за другим, отбрасывая в сторону свои игрушечные инструменты, они выбрались из песочницы и уселись на газоне поодаль друг от друга, опустив головы. Мальш встал, он бросал в них песком, подходил к сидящим, смеялся над ними — наконец один из них расплакался, порвал на себе костюмчик и убежал. Несостоявшаяся жертва потопала в другую сторону. Остальные долго собирали свои вещи, потом присели на корточки в песочнице и что-то там рисовали. Наконец и они ушли. Я встал и через голову девчушки, которая по-прежнему невозмутимо опрокидывала свои кулички, глянул на оставленный детьми рисунок: неуклюжий контур фигуры, рассеченный вдоль и поперек глубокими ударами лопатки.

Путь к величайшим открытиям лежит через абсурд. Как известно, единственный способ не стариться — это умереть; таким выводом и заканчиваются обычно поиски вечной молодости. Для энциан этот конец стал началом бессмертия. Вчера я видел философа, который не состарится никогда, потому что он уже триста лет — труп. И не только видел, но и беседовал с ним больше часу. С ним самим, не с его машинной копией или еще каким-нибудь двойником. Это был Аникс, который триста шестьдесят лет назад получил от последнего из Ксиксаров титул Коронного Мудреца, а значит, помнит еще времена империи. На Дихтонии я услышал когда-то доказательство недостижимости вечной жизни без огромных машин-опекунш и видел эти машины, громоздкую аппаратуру, в утробе которой обессмерчиваемый влачит существование настоящего паралитика. Дихтонец Бердергар доказал, что именно столько оборудования необходимо, чтобы вводить обратно в организм информацию, теряемую по мере старения. Энциане оказались изобретательнее дихтонцев. Они не опровергли доказательств Бердергара, да это и невозможно. Они поступили иначе: выполнили обходный маневр и достигли бессмертия через смерть.

Я должен объяснить это подробнее. Задание кажется абсурдным: того, кто хочет существовать вечно, надо убить. Все дело в том, *как* совершается это убийство. В организм вводятся шустры, запрограммированные так, что они проникают во все ткани, сопутствуя молекулярным процессам жизни. Эти шустры построены из субатомных частиц, то есть они мельче мельчайших вирусов. Их нельзя наблюдать даже при самом сильном увеличении. Постепенно они «прилипают» к клеточным ядрам и заполняют их. Они так малы, что организм их не замечает и не включает свою систему защиты. На начальной стадии эктофикации эти шустры еще не работают, а лишь обучаются своей будущей работе, как бы считывая все информационные явления, из которых состоит жизнь. Они не наносят вреда тканям, оставаясь их пассивными тенями, — словно зритель, который самовольно вышел на сцену и копирует все движения пантомимы. По видимости в организме ничего не меняется, пока насытившиеся информацией шустры не начинают брать на себя функции живых частиц протоплазмы. Нужную для этого энергию они черпают из ядерных реакций, называемых тихими. Тем не менее реакции эти понемногу убивают организм.

Эктофицируемый этого не ощущает. Он двигается, мыслит и действует, как и раньше, он может есть и пить, но через какое-то время, измеряемое годами, уже не испытывает потребности в пище. Его тело мало-помалу умирает; осевшие в нем триллионы шустров организовались в невидимый субатомный скелет, которому обмен живой материи ни к чему. Это как раз и есть экток, то есть труп, разлагающийся совершенно незаметно, шаг за шагом. Его прежняя плоть постепенно исчезает вместе с отходами организма, но он об этом не знает, потому что, уйдя из жизни, он существует по-прежнему. Как если бы старую паровую машину Уатта приводил в действие электромоторчик, укрытый в вале маховика, так что кривошипам и поршнями движет уже не пар, а электрическая энергия. Такая машина будет всего лишь действующим макетом — и точно то же можно сказать о теле эктока. Энцианский термин мы переводим на древнегреческий; «эктос» значит «внешний», ведь бессмертие здесь приходит извне. Специалисты называют подмененное тело псевдоморфозой: мертвые логические системы, шустры, вытесняют живую протоплазму. Организм, набитый внутри, как чучело, сохраняет свой облик, форму и функции, но только — вот уж поистине жестокая ирония! — эрзац-материал долговечнее и эффективнее натурального. Какое-то время обе системы — органическая и шустринная — действуют параллельно, но мертвая постепенно уничтожает живую, и главной проблемой экотехники была успешная синхронизация ползучей смерти и такой же ползучей псевдоморфизации. Это, и только это, казалось поначалу неосуществимым. За успех пришлось платить гекатомбами лабораторных животных. Когда обмен веществ начинает рваться, как истлевшее полотно, все функции живой материи уже успел перенять ошустренный носитель, и тело с теплящимися в нем остатками жизни — теперь не более чем пустая скорлупа, почти совершенно полая куколка, бутафория, за которой беззвучно пульсирует энергетический скелет шустров.

Эктофицируемый не может помолодеть, ведь шустры получают от тела лишь ту информацию, которая была в нем в момент их вторжения. Приходится вести псевдожизнь в возрасте, в котором было ошустрено тело. Поэтому самые лучшие результаты дает эктофикация в молодости. Через сто лет после ее начала человек биологически мертв. В его организме нет уже ни следа мышц или нервов. Остались их безупречные заменители, а сами они подверглись полной псевдоморфизации — подмене шустрами, став питательным субстратом бес-

смертия. Так что надо и впрямь умереть, чтобы его обрести. Лет через двести слегка меняется внешний облик, но, как утверждают, заметить это способен только специалист. Теперь уже ничего не осталось от автономии жизненных процессов. Все органы тела действуют как паровая машина, незаметно приводимая в движение электричеством, то есть подмененная. Глаза могут временно помутнеть — здесь псевдоморфозная синхронизация иногда дает сбой, но и они вскоре обретают твердую прозрачность стекла. Кожа понемногу темнеет, так как шустры в процессе ядерных превращений выделяют ионы тяжелых металлов. Этот металлический отлив появляется лет через триста. Считается, что никаких других побочных эффектов нет на протяжении по меньшей мере пяти тысяч лет. Кровь по-прежнему течет в венах, но это всего лишь бесполезная красная жидкость, которая не несет в себе кислорода, — что-то вроде привычной декорации. Если бы сердце остановилось (хотя остановиться оно не может, как и подмененная паровая машина), экток все равно продолжал бы мыслить и двигаться, ведь сердце у него бутафорское. Оно, однако, должно работать и дальше: ощущение глухой тишины и пустоты в груди могло бы вызвать тревогу. Итак, все признаки жизни сохраняются полностью — кроме нее самой. Ведь биологически это труп, который как раз поэтому не боится ни пустоты, ни болезнетворных бактерий, ни смертельного холода. Шустры в процессе ядерных превращений выделяют тепло, дозируемое так, чтобы температура тела эктока не отличалась от температуры живого тела. Но видимость сохраняется лишь постольку, поскольку это необходимо для нормального самочувствия. Внутренность эктофицированного черепа холодная, так как ошущенный мозг лучше работает при низких температурах.

Когда началась массовая эктофикация, исследователи констатировали ее исключительную физиологическую надежность и одновременно — опасные психические последствия в виде всевозможных неврозов и даже безумия, потому что нельзя заставить обесмерченных забыть о цене, которую им пришлось заплатить. Экток не способен размножаться. Кто знает, может, и этого удалось бы достигнуть, но к чему искать технические решения, если мертвые все равно плодили бы мертвых. Экток ничем или почти ничем не отличается от живого, но *знает*, что он неживой. Он дышит, но легкие его раздуваются как бесполезные мехи. Сон ему тоже не нужен. Он мыслит быстрее и лучше тех, у кого теплый, снабжаемый кровью мозг. В духовном смысле он остается тем же

существом, что и прежде: структуры мозга, образующие личность, не только не изменились, но даже упрочились. Не живя, он не может ни состариться, ни умереть. Он не болеет и не испытывает боли. Нельзя назвать его андроидом или роботом, ведь он до последней косточки, до последней клетки такой же, что и до эктофикации. То, что он *не* такой же, можно обнаружить лишь при помощи биопсии и электронного микроскопа, в котором видна тончайшая атомная структура его организма. Речь, следовательно, идет о фальсификате, который во многом превосходит оригинал, ибо надежнее и долговечнее его. Таким был, на заре шустринной эпохи, ее великий триумф. Десятки тысяч жаждали этого бессмертия, — но оказалось, что оно им не по плечу. Как заметил Ирркс, один из создателей эктотехники, надо было, как видно, родиться мертвым, чтобы «выстоять» в шкуре эктока. (Хотя эктологи полагали — как оказалось, опрометчиво, — что психологические трудности эктофикации сглаживаются благодаря тому, что эктофицируемый умирает не в один какой-то момент, но долгие годы, постепенно, незаметно ни для себя самого, ни для окружающих.) То был конец энцианских мечтаний о бессмертии. Никакая другая техника, объяснили мне, не может сравниться с эктотехникой — ни одна не дает столь очевидной и безусловной гарантии вечного существования. Тот, кого воскресили из праха, будет уже другим существом, быть может, похожим на умершего словно две капли воды, но все же кем-то другим — как близнец. Ибо на стыке смерти и воскрешения возникают экзистенциальные парадоксы, которые нельзя преодолеть, то есть решить: КТО, собственно, открывает глаза в качестве воскрешенного — ТОТ же самый или только ТАКОЙ же самый человек. Напротив, эктотехника, будучи кунктаторским методом, обеспечивает непрерывность существования очевидным образом. То, что никто не в силах вынести последствий столь замечательного достижения, дело совсем другое — и техническое совершенство помочь тут не в силах.

«Отторжение бессмертия» протекает по-разному, но основные симптомы схожи: отвращение к собственному телу, зияющая духовная пустота, страх и отчаяние, перерастающие в манию самоубийства. Следует добавить еще, что общество не облегчало жизнь эктофицируемым, проявляя в отношениях с ними особого рода презрение, смешанное с завистью. О том, почему один только Аникс, бывший императорский философ, не отказался от такого существования, я услышал множество противоречащих друг другу версий. Он сам будто

бы однажды назвал себя вечным свидетелем преходящего мира, но это, похоже, лишь одна из полуполюгендарных историй, связанных с его именем. Научные занятия он оставил больше ста лет назад. И никого не принимает; ни одного из его учеников уже нет в живых. Говорят, надо самому стать эктоком, чтобы почувствовать вкус и бремя такого существования. Люзанские историки всеми силами стараются обойти эктотехническую стадию своей цивилизации. Кажется, это для них эпизод столь же тягостный и замалчиваемый по тем же соображениям, что и гибель Кливии. Как если бы и здесь, и там случилось нечто во всех отношениях постыдное, чего нельзя уже ни исправить, ни вычеркнуть из памяти.

Аникс живет в небольшом одноэтажном загородном доме, с садом, заросшим бурьяном и полевыми цветами. Он сам пожелал встречи со мною, и это было, как меня уверяли, редким отличием. В молодые годы, то есть еще в эпоху империи, он опубликовал главный свой труд, возникший под влиянием Учения о Трех Мирах, этого фундамента энцианской мысли. В его трактовке Учение подверглось редукции. Аникс пришел к выводу, что возможны лишь два рода миров. Мир либо лоялен к своим обитателям, либо нелоялен. Лояльный мир — это мир, в котором нет непостижимых свойств и недоступных мест. Это мир без неразрешимых загадок и вечных тайн, мир, абсолютно прозрачный для познающего разума. А нелояльный мир познать до конца нельзя. Он непостижим и неисчерпаем. Именно таков наш мир. Аникс сравнил его в своем главном труде с колодезцем, размеры которого ограничены и конечны, но из которого воду можно черпать без конца. Вселенная как раз такова: конечна и неисчерпаема. Через двести лет, уже будучи эктоком, он ввел в свое учение небольшую на первый взгляд поправку. Он сохранил прежнюю классификацию миров, однако признал, что лишь мир, который он раньше называл нелояльным, можно счесть благожелательным. Лишь такой мир бросает вечный вызов разуму, а разум больше ценит путь, чем конец пути, познание — больше, чем окончательную формулу, и окончательная победа для него означала бы окончательное поражение. Что делал бы разум, познавший «все»? Поэтому Аникс и поменял знаки лояльности и нелояльности в своей типологии миров. Вот что мне было известно, когда я переступил порог его дома.

Кикерикс, мой провожатый, в дом не вошел. Возможно, Аникс хотел встречи с глазу на глаз, не знаю. Я об этом не спрашивал. Он сидел на деревянной веранде, в лучах солнца, необычайно яркого для северных районов Люзании, и смот-

рел, как я иду к нему между высокими рядами кустарника, покрытого пухом уже отцветающих цветов. Он сидел за низким деревянным столом, на этом странном для моих глаз стуле, устроенном так, чтобы можно было подогнуть под себя ноги по-энциански, и был похож скорее на громадную головастую жабу, чем на лысую птицу. Его лицо, твердое, выпуклое, огромное, с широко расставленными глазами и ноздрями, было цвета красного дерева с матово-синим отливом. Под белой накидкой, или, пожалуй, монашеской рясой, угадывался мощный скелет; свои большие темные руки он положил на крышку стола и смотрел на меня неподвижно, не мигая глазами, желтыми, как у злого кота. Увидев его, я сразу поверил, что ему почти четыреста лет. Хотя я не заметил у него ни единой морщины, а голос его звучал сильно, было в нем что-то ужасающе старое. Не усталость, а скорее терпение, — терпение не человека, а камня. Или, может быть, безразличие. Словно он все уже видел и ничто не могло ни удивить его, ни заинтересовать.

— Здравствуй, пришелец с Земли, — сказал он, когда я ступил на скрипучие деревянные ступеньки веранды. — Я слышал о ней давно. Садись. У меня есть табурет для людей...

И в самом деле, табурет, на который он мне показал, был земного образца. Я сел, не зная, что говорить. Меня уверили, что он ушел из жизни, но, возможно, это всего лишь вопрос терминологии?

— Вы похожи на нас, — сказал он. — Вы идете тем же путем, что и мы, и, должно быть, придете туда же.

Он смотрел в сад. Солнце светило ему прямо в большие желтые зрачки, но, казалось, не слепило его. Сквозь беловатый пух на голове просвечивала смуглая до синевы кожа.

— Сначала я отвечу на вопрос, который ты хочешь задать мне. Почему никто не решается на эктофикацию? Вот ответ. Потому что смертным бессмертие ни к чему. Очищенное от всяких опасностей существование теряет всякую ценность. Обычно это зовется смертной скукой. На этот раз здравый смысл попал в самую точку.

— А ты? — спросил я тихо.

— Я не скучаю, — ответил он, по-прежнему глядя в сад мимо моего лица. — О чем ты еще хочешь меня спросить?

— О Черной Кливии. Ты должен ее помнить.

— Помню.

— Чем был Ка-Ундрий?

Он повернул ко мне свою большую голову на сгорбленных плечах.

— Значит, и ты доискиваешься в нем тайны? Должен тебя разочаровать. На любой обитаемой планете возникает множество культур, и побеждает та, что первой овладеет материальной мощью и универсальной идеей. Одной лишь мощи или одной лишь идеи недостаточно. Они должны явиться вместе, как два обличья одного и того же. В этом отношении Земля не разнится с Энцией. Победившая идея своим успехом обязана не военным завоеваниям, а благам, которые она сулит. Но даже исполненные посулы разочаровывают, ведь история не может остановиться ни в золотом веке, ни в черном, а восторжествовавшая идея, устремленная в этот мир или в мир иной, не туда ведет, куда указывает. По видимости курдьяндская и люзанская идеологии абсолютно противоположны, но их суть одинакова. Речь идет о том, чтобы наслаждаться благами некоего общественного строя без сопутствующих ему бед. И здесь, и там свободу стремятся примирить с несвободой не путем внутренней работы духа, но при помощи внешней силы. При таком взгляде на вещи ты увидишь, что между нами и ними нет существенной разницы. Политоход — это решение дилеммы, отличное от шустросферы по методу, но не по цели. Наши тюрьмы комфортнее курдьяндских и не так заметны, и все же мы такие же узники, как и они. И здесь, и там ограничения навязаны извне. Такой подход ко всем явлениям бытия свойствен нам с древнейших времен. Я называю его эктотропическим. Вы на Земле зовете его инструментальным. С точки зрения предшествующих поколений, каждая следующая стадия цивилизации — либо кошмар, либо, для оптимистов, рай. А увиденная со стороны, например твоими глазами на Энци, она кажется просто безумием, на удивление ожесточенным в своем стремлении осуществиться до конца. Верно?

Он выдержал паузу, но я молчал, и он заговорил снова;

— Отдельные стадии технологии — как плавающие льдины, а общество планеты продвигается вперед, перескакивая с одной из них на другую. Насколько велик будет разрыв между соседними льдинами, а значит, удастся ли следующий прыжок или он закончится в полынье, зависит от космической лотереи — той, что лепит планеты. Катастрофа всегда присутствует в сфере возможного. Но если судьба позволяет нам перескакивать все дальше и дальше, со льдины на льдину, это не значит, будто в конце концов мы выйдем на твердую землю. Ты, возможно, не знаешь, что этикосфера была для нас скорее соломинкой, за которую хватается утопающий, чем миражом совершенства. Благоденствие оглушает, оно порождает насилие, вытекающее из отчаяния, — на смену

убожеству нищеты приходит убожество разнузданности. У нас не было иного пути. Когда-нибудь и вы убедитесь в этом, если льдины у вас под ногами не разойдутся прежде времени. Разумеется, это не значит, что вы войдете в этикосферу; альтернативных экотропических решений немало, но отличаются они друг от друга не больше, чем люзанское от курдяндского. Совершенно открытое общество в конце концов должно превратиться в бесформенное месиво; совершенно закрытое — тоже, и нет между ними положения устойчивого равновесия. Поэтому не приходится удивляться, что вечность мы тоже взяли штурмом извне. Ты спрашивал о Ка-Ундрии. Никто не знает, чем он был для кливийцев. Как жабры у рыбы нельзя объяснить вне воды, так и понятие нельзя объяснить вне культуры, которая его породила. Полагаю, что Ка-Ундрий был еще одним способом сочетания свободы с неволей. Не знаю точно каким, но не думаю, что детали решения имеют значение, абсолютно хороших решений нет. Кливийцы не так уж сильно отличались от остальных энциан. Если ты понял — или не понял, — спрашивай дальше.

— Как вы убили их? — спросил я. — Правда ли, что почти никто не знал о войне? Ваши источники говорят об этом по-разному...

— Наши источники лгут, — ответил великий старец. Он все еще неподвижно смотрел на сад, освещенный солнцем. — Но лгут не там, где ты видишь ложь. Историки все еще не могут решить, что это было — упреждающий или ответный удар. И каким он был нанесен оружием — биологическим или каким-то другим. Как будто это настолько уж важно. Важно то, что эктофикация возникла как средство уничтожения. Лишь потом у шустроников спала с глаз пелена, и они обнаружили, что умерщвление способно продлить жизнь. Вовсе не этого они хотели. Шустры первого поколения были орудием эктоцида.

— Значит, шустры возникли как оружие?

— Да. Они убивали постепенно, незаметно и необратимо. Однажды начавшийся процесс эктофикации нельзя ни обратить вспять, ни прервать. Шустры, рассеянные над Кливией, убили ее за каких-нибудь несколько лет.

— А ледник? Правда ли, что...

— Оледенение Севера наступило позже. Я не вникал в подробности военной истории и не знаю, как дошло до оледенения всего континента. Но не думаю, что по чистой случайности. Если хочешь узнать больше, отправляйся к кающимся. Знаешь, кто они?

— Да. Орден, предающийся воспоминаниям о судьбе Кливии.

— Не совсем так. Все это сложнее. Но ты иди к ним. Это не такой уж плохой совет, хотя узнаешь ты не то, что хочешь узнать.

— Ты думаешь, мне удастся?

— Полагаю, никто тебе в этом не помешает. Во всяком случае, попробовать можно. Больше ты ни о чем не хочешь спросить?

— Скажи, почему ты пожелал встречи со мной, если сам ни о чем не спрашиваешь?

— Я хотел увидеть человека, — сказал Аникс.

Учение о Трех Мирах

Личность старого мудреца произвела на меня большее впечатление, чем его слова. Аникс воплощал в себе то, что Шекспиру лишь мнилось: он был жив и мертв одновременно. Он не был суррогатом умершего, имитацией, но реальным продолжением существа, жившего триста лет назад. Однако я не мог поверить в то, что он говорил о фиаско эктотехники. Я был уверен, что множество людей решилось бы на подобное превращение, чтобы достичь бессмертия, — отчего же здесь должно быть по-другому? Я промолчал о своих сомнениях, охваченный внезапным предчувствием, что не старик философ ответит на мой вопрос, а облако шустров, принявших его облик. Правда, я убеждал себя, что думаю как дикарь, отыскивающий в радиоприемнике говорящих гномов, но непреборимая сила замкнула мои уста. В самом ли деле постепенность автоморфозы обеспечивает непрерывное существование личности? Как убедиться в этом? Решение этого вопроса показалось мне делом более важным, чем экспедиция к кающимся, и я отложил ее.

Между тем меня пригласили на встречу со студентами и преподавателями Института Шустретики. Зал был набит до отказа, но обрушившиеся на меня вопросы свидетельствовали о полном невежестве по части земных дел. Какой-то белоперый студент в очках втянул меня в дискуссию об ангелах. Зная их по картинкам, он утверждал, что на таких крыльях летать нельзя. Вдобавок только оперенный хвост обеспечивает устойчивость — или оперенные стабилизаторы у щиколоток. Я ответил, что это духовные существа, объекты веры, а не аэродинамических исследований. Это его не убедило. Ви-

димо, люди втайне обожествляют пернатых, в противном случае крылья ангелов были бы не оперенными, а, допустим, перепончатыми. Он хотел, чтобы я ясно определил наше отношение к перьям. Крылья — символические, объяснял я, и не означают птиц, и речь идет тут не о маховых перьях и не о пухе, но о небесах, куда верующий отправится после смерти. Последовали вопросы о поле и способе размножения ангелов. Я втолковывал им, что ангелы не могут иметь потомства, но, будучи не слишком силен в ангелологии, терял почву под ногами. Кто-то слышал об ангелах-хранителях и спрашивал, не есть ли это земной аналог этикосферы? В конце концов и эта тема была исчерпана, но не успел я передохнуть, как меня спросили о наших родительских играх. Я догадался, о чем идет речь: однажды я наблюдал на городском стадионе ежегодные брачные бега. Этот спорт заменяет люжанцам эротику. Молодежь обоего пола, празднично разодетая, выходит на беговую дорожку, а трибуны подстегивают бегунов и бегуний, бешено аплодируя каждому удачному акту оплодотворения. Итак, я объяснил им, что мы не размножаемся на бегу, поэтому размножение не может быть у нас спортом. Тогда чем же? Я начал что-то мямлить о любви. К сожалению, от любви я соскользнул к чувственной страсти, для них непостижимой, и попал под перекрестный огонь. Чувственная страсть? Что это такое? Да, да, мы знаем, у вас иное анатомическое строение, вы не бегаете, очень хорошо, вы делаете это иначе, чем мы, но к чему эти секреты, намеки, экивоки, обиняки? Почему в вашей печати столько реклам с грудными железами? Это имеет что-то общее с политикой? С борьбой за власть? Нет? Тогда с чем же? Семейная жизнь? И что с того? Я потел, как мышь, они наседали все сильнее, непременно желая услышать, что зазорного мы видим в оплодотворении? Что же тут стыдного? Кто стыдится, самка или самец? И чего, собственно? Может, религия запрещает вам размножаться? Не запрещает? В зале, на беду, присутствовало несколько студентов с факультета сравнительной религиологии, и от них-то мне досталось больше всего. Не успел я сказать, что религия ничего не имеет против детей, как один из этих умников напомнил об обетах целомудрия ради спасения души, откуда следует, что чем больше ты наплодил детей, тем дальше ты от спасения, согласно земной вере. Я упирался — ничего, мол, подобного. Он что-то скрывает! — кричали мне с разных сторон. Я горячо уверял, что нет. Аудитория бурлила, ей не терпелось узнать, откуда берется этот непонятный стыд, эти уединения, эта интимность, — ведь у них нет ничего более

публичного, чем оплодотворение, а я, отупев совершенно, не мог им ничего объяснить. Какая-то студентка спросила, откладываем ли мы яйца, но другие, более сведущие, подняли ее на смех. Люди произошли от четвероруких древесных волосатиков из класса млекопитающих, и они живородящие. Млекопитающие? Ну да. Мать кормит ребенка грудью. Грудью? Молоком из груди, мясом груди кормит детенышей пеликан. Молоко произвело сенсацию. И творогом тоже? А как насчет масла? Я пугался в показаниях. Может, в конце концов я и сумел бы растолковать им двуединство эротики — духовной и чувственной одновременно, но барьер между той и другой, возвышающий первую в ущерб второй, был совершенно для них непонятен. Откуда такое деление? Совпадает ли оно со сферами добродетели и греха? Да? Нет? Какой-то молодой логик, жемчужно-серый как горлица, стал доказывать, что люди не исповедуют по-настоящему собственную религию, иначе давно бы вымерли, не оставив потомства. Коллективное целибатическое самоубийство! Грешат, следовательно, существуют! *Pecco, ergo sum, et nihil obscœnum a me alienum puto**. Они вбили себе в голову, что я знаю все, но выдавать это мне не позволено. С отчаяния я ухватился за сократический метод и спросил, что считается у них неприличным. Увы, оказалось, что ничего. Оскорбительное, уродливое, противное, мерзкое, отвратительное, жестокое, эти понятия им были известны, но понятие неприличного — нет. Неприлично есть грязными руками! Ковырять в носу на экзамене! Пердразнивать и пересмеивать других! Они кричали наперебой, надеясь навести меня на правильный след. Ничего не вышло. Оглушенный их галдежом, шиканьем, топотом (дело уже попахивало скандалом), я наконец признал себя побежденным.

После лекции был банкет. Я познакомился с молодым ученым, сидевшим слева от меня, — справа сидел ректор. Молодой энцианин заинтересовал меня больше. Он был доктором шустретики, с виду напоминал филина с хохолком, звали его Тюкстль. Интересовался он и людистикой, но было заметно, что земные проблемы знакомы ему только в теории. Он полагал, например, что мы отпугиваем врагов, вздымая волосы дыбом, как гиены. Я уверял его, что это вовсе не так, а он сослался на земные книги. И вот поди ж ты, объясни чужепланетному существу, что это не довод, ведь и ноги мы не берем в руки, хоть так и говорится. Услышав о моей встре-

* Грешу, следовательно, существую, и ничто непристойное мне не чуждо (*лат.*).

че с Тахалатом, Тюкстль иронически улыбнулся. Официальная пропаганда, сказал он, ярмарочные трюки и фокусы, пускание шустров в глаза. Он согласился стать моим наставником и рассказал мне много нового об этикосфере.

Производством шустров занимаются шустресты. Во главе центральной диспетчерской стоит правящий дуумвират — Первый Ингибитор и Первый Гедоматик. Их задания уравновешивают друг друга: один заботится о профилактике зла, то есть об ограничении известных действий, другой — о бесперебойных поставках добра, а тем самым — о максимуме свобод. Профессия Тюкстля, то есть шустретика, — это не обучение шустров началам этики, но искусство воплощения этики в физике. Уже ее отцы-основатели поняли, что это необходимо. Наиболее досадный изъян всех нравственных кодексов — несоизмеримость различных поступков; попробуй реши, что хуже — обокрасть сироту, не давать житья старцу или гобить священника священной реликвией. Этикосфера не должна была брать на себя роль психолога-воспитателя, соглядатая и надзирателя, незримого арбитра или полицейского и уж тем более — роль *стороны* в споре, с которой можно препираться об оценке поступков. Такая вездесущая и назойливая опека была бы непереносима. Злоемкость этикосферы проявляется поэтому как чисто физическая характеристика. В облагороженной среде обитания нельзя никого ни к чему принудить, так же, как нельзя принудить электроны перестать кружить вокруг атомных ядер. В ней все живое неуничтожимо, как неуничтожимы материя и энергия. Законы физики — прежде всего *запреты*, другими словами, они обозначают невозможность чего-то; и совершить преступление в этикосфере нельзя точно так же, как в естественной среде нельзя построить перпетуум-мобиле. Вот почему все решения, которые должны принимать шустры, следует перенести из дремучих дебрей психологии на твердую почву точных наук. Этим-то и занимается шустретика.

Тюкстль показал мне, как это делается. Одна из заповедей этикосферы гласит: «Никто не может быть лишен свободы». Действует она как закон физики. В этом легко убедиться, попытавшись заковать кого-нибудь в кандалы, или набросить ему на шею петлю, или, допустим, вцементировать ноги жертвы в ведро и бросить ведро в колодезь. Оковы и путы распадутся мгновенно, цемент рассыплется в прах, но жертва непременно должна предпринять усилия, чтобы освободиться. Иначе разваливалась бы даже одежда, и никто смог бы носить ни пояса, ни подтяжек. Если бы я рвался на цепи, то вернул

бы себе свободу, но я — землянин — об этом не знал. На это и рассчитывали мои похитители, добавил со смехом Тюкстль. Шустры не вникают (да и не смогли бы вникнуть) в твоё душевное состояние, а лишь устанавливают, не стеснена ли свобода твоих движений. Искусство шустретиков проявляется в переводе морального смысла любой ситуации на точный язык физики, чтобы получить оптимальное решение без вмешательства психологических оценок. Шустры вовсе не надзирают за тем, кто задумал убийство, и не обсуждают преступное посягательство, а лишь выявляют и нейтрализуют его. Программа состоит из «инженерных» заповедей, например: «Ничто не может упасть стремительно»; это значит, что метеорит не может упасть на город, что никто не может погибнуть, выпав из окна, независимо от того, сам ли он выпрыгнул или был выброшен, — хотя методы противодействия этому различны. Есть, например, ликвиды и поглоты — субатомные частицы, поглощающие энергию или высвобождающие ее по сигналу шустров. Триллион поглотов, рассеянных над одной квадратной милей, могут снизить температуру воздуха на двадцать градусов всего за минуту. (Уж не так ли, подумал я, Люзания превратила в ледник Черную Кливию?) Вот другая заповедь шустретиков: «Если жертв избежать нельзя, их должно быть как можно меньше». Это принцип минимума зла. Если, скажем, ребенок, переходя через железнодорожные пути, застрянет ножкой между рельсами, а резкое торможение поезда поведет к катастрофе со множеством жертв, поезд переседет ребенка. Пример этот выдумал Тюкстль специально для меня — в Люзании нет железных дорог. Еще одна заповедь: «Никто не может заболеть». В Люзании уже двести лет нет медицины земного типа; медицинский надзор за всеми, с рождения до смерти, поручен шустрам, так что операции и всякие лечебные процедуры излишни. Невозможна, к примеру, закупорка вен или заворот кишок — любой недуг шустры ликвидируют в самом зародыше. То же самое относится к клеточным ошибкам и искривлениям, именуемым злокачественными новообразованиями. Вот где истоки революционной идеи — завоевать бессмертие путем эктофикации.

Ремонтно-спасательная служба, эта вечно активная часть шустросферы, не есть что-то вовсе невиданное и небывалое, подчеркивал Тюкстль, ведь нечто весьма похожее мы видим в любом живом организме. И в нем, пока он исправен, одни органы или ткани не могут вредить другим, не могут разрастаться за их счет, а все, что вторгается извне, будь то микробы или осколки снаряда, уничтожается, изолируется или удаля-

ется из организма. Организм точно так же, как шустросфера, не вдается в какие-либо моральные рассуждения, чтобы установить, какова подоплека данного покушения на здоровье и жизнь, справедливо оно или несправедливо. Организм действует отнюдь не методами убеждения, — скажем, когда отторгает пересаженные органы. Тело можно перехитрить и убить, ведь реагирует оно по шаблону, всегда одинаково; напротив, этикосфера постоянно совершенствуется благодаря шустретике. Это не значит, будто она совершенна или сможет когда-нибудь стать совершенной. В этом отношении Тьюкстль оказался скептиком. Он дал мне почитать полувековой давности памфлет против шустретиков. Автор памфлета, философ Ксаимарнокс, сам был шустретиком, пока не изменил радикально своих убеждений. Он утверждал, что этикосфера противостоит вовсе не общественному злу, как обычно думают.

«Благоденствие, — писал Ксаимарнокс, — это не то, чем уже обладаешь, во всяком случае, не только это, но мираж, цель, отнесенная в будущее. Нищета ужасна и непереносима, но по крайней мере заставляет действовать, чтобы выбраться из нее. А благосостояние, легкое и доступное как воздух, хуже, потому что из него идти некуда, остается лишь его увеличивать, чтобы иметь не только все больше вещей и утх — сразу, немедленно, под рукой, — но и все больше новых, неиспробованных возможностей. Вам пришлось переделать мир, потому что вы не хотели или не могли взяться за переделку самих себя, — впрочем, это дает хотя и иные, но не менее фатальные результаты. Ничто так не губит человека в человеке, как благоденствие, полученное даром, — и без участия, без поддержки, без содействия других людей. Уже не нужно быть добрым к кому бы то ни было, не нужно оказывать услуги, помогать, быть добросердечным; смысла в этом не больше, чем в подаянии Крезу. Коль скоро каждый имеет больше, чем мог бы желать, что можно ему предложить? Чувства? В такой ситуации их может проявлять разве что аскет по отношению к другому аскету. Но аскетизм становится жестокой насмешкой над райской цивилизацией, с таким трудом созданной. Впрочем, эрозия дружелюбия, привязанности, уважения, любви совершается понемногу, не за одно и не за два поколения. Сперва появляются примитивные роботы-слуги, а механика лишь неукложе передразнивает людей, программируя преданность и услужливость, но можно — и теперь даже нужно — совершенствовать эту имитацию дальше; железные манекены отправляются в музеи техники, а на смену им приходит хотя и безличное, зато не-

эгоистическое, заботливое, нежное, прямо-таки любовное и беззаветное внимание всей среды обитания, готовой исполнить едва зародившиеся желания и капризы. Но если абсолютная власть развращает абсолютно, то столь совершенная доброжелательность обращает человека в совершенное ничто. А так как возврат ко временам всеобщей нехватки, нищеты и убожества для большинства людей невозможен — кому они должны предъявить счет за счастье, которым их придавило? Ну конечно, технологии, которая его производит! Кто-то же должен быть виноват — Бог, мир, сосед, предки, чужаки, кто-то должен ответить за все. И что же? Приходится спасать от людей это их постылое счастье, а если они не могут его растоптать, то рассчитаться им больше не с кем, как с другими людьми. Поэтому спасать приходится всех от всех — вот до чего вы дошли. Разве это не катастрофа — всеобщий рай, в котором каждый сидит со своим собственным пеклом внутри и не может дать остальным почувствовать его отвратительный вкус, хотя именно этого ему хотелось бы больше всего на свете? Вам нужны доказательства? Вот они. Хотя вы вовсе этого не хотели, хотя это было всего лишь побочным и даже нежелательным следствием создания поглощающей среды обитания, — вы создали определители веры и неверия. Убеждений искренних и фальсифицированных. Правительство заявляет, что речь идет о распознавании очень уж жалкой и подлой веры, сводящейся к одному-единственному догмату, к переименованию зла в добро, убийства — в священный долг. Дескать, для наших экстремистов это кредо — не цель (а вера должна быть целью), но средство обмануть этикосферу и получить возможность убивать. Поэтому шустретики изобретают новые программы, чтобы парировать этот ход, а критиков вроде меня считают своими противниками. Но я вовсе не противник. Я говорю лишь: скажите на милость, чего вы добьетесь, усовершенствовав этикосферу так, чтобы зло, которое еще просачивается через последнюю оставшуюся у людей шелку — религиозное чувство, — было законопачено наглухо? Забетонируете в душе у каждого его внутренний ад? Неужто вам и впрямь не видна абсурдность такого «усовершенствования»? Знаю, вы хотели как лучше. Вы не хотели зла. Вы хотели, чтобы повсюду было добро, и только добро. Но результаты оказались недобрыми. Теперь вы пытаетесь замаскировать зло, притаившееся в вашей облагораживающей деятельности. А значит, обманываете сами себя. Вы стремитесь к тому, чтобы никто уже не мог доказать ни вам, ни всем остальным, что ваше добро делает их несчастными и недобры-

ми. Верования рождаются из несчастий, неотделимых от существования. Из потребности в таком Отце, который никогда не состарится и не умрет, но навечно останется безотказным, любящим опекуном. Из убеждения, что, раз уж мир нас не любит, должен быть Кто-то, кто нас возлюбил. Вера возникает не из материальной нужды, но из надежды на то, что этот мир — все же не весь мир, что в нем или *над* ним существует *То* или *Тот*, к кому можно воззвать, кого можно будет увидеть лицом к лицу после смерти — если уж не при жизни. Словом, вера — это уловка отчаяния, то есть надежды, рожденной отчаянием, ибо в полном отчаянье и без крупинки надежды жить нельзя, — жить если не ради себя, то хоть ради других. Вы лишили нас этой возможности. А ведь эта новая, нарождающаяся вера, та, что убийство обращает в добро, в величайшую заслугу, этот жалкий обрубок выродившейся веры — тоже плод отчаяния и рожденной им надежды на то, что так, как есть, быть не может, и наша, первичная, и эта, вторичная, вера имеют один духовный источник. Странность новой веры есть отражение странности порядка вещей, который вы сами же создали. Мои коллеги и приятели-шустретики об этом не думают, занятые техническими проблемами следующего этапа гедоматики и ингибции; они не знают и не желают знать, что гедоматику они мало-помалу превратили в адоматику, в пытки из человеколюбия».

Специалисты этот памфлет игнорировали, зато он стал библией интеллектуалов — наконец-то их стенания и их претензии к этификации нашли достойное выражение. История учит, писали они, что нет такого добра, которое для кого-нибудь не обернулось бы злом. Добро в небольших дозах бывает благом, но добро пожизненное и не подлежащее обжалованию — яд. Правильно говорил Ксаимарнокс: чем совершеннее опека шустров, тем больше отсюда несчастий. Правительство молчало, но и у него имелись свои приспешники; они объявили Ксаимарнокса нытиком и чудачком. Был даже пущен слухок, будто он получил награду от Председателя. Вскоре эта история канула в небытие. Пророчество старого шустретика не исполнилось, убийство как протест против принудительного добросердечия не стало исповеданием веры, если не считать горсточку экстремистов, и все же Ксанмарнокса вряд ли можно назвать лжепророком. Случилось нечто весьма странное — этикосфера возродила древнее Учение о Трех Мирах.

Как это произошло? Когда правительство вводило этификацию, Люзанию сотрясали кризисы. Благодеяние распалило общество, прирост населения распирал города, стирались

границы между политикой и преступлением. Все это утихло под стеклянным колпаком этикосферы, однако через сорок лет дали о себе знать явления, прежде совершенно неведомые — благоприятные, но и тревожные. Это были изменения к лучшему, которых никто не планировал и не предвидел. Демографический прирост снижался, перестали рождаться увечные и умственно недоразвитые дети, росла продолжительность жизни. Странники этификации объясняли это облагораживающим влиянием шустросферы. Переполох начался, лишь когда врачи заявили, что стариков теперь не преследуют обычные в их возрасте переломы костей, потому что в берцовые кости врастают микроскопические металлические нити. Тут уже не удалось отделаться общими фразами о благотворности этикосферы; шустры явно занимались самоуправством. В исчезновении переломов не было ничего плохого — плохо было лишь то, что шустры занялись тем, чего им вовсе не поручали. Интеллектуалы, с которыми у любого правительства и под любой звездой сплошные заботы, опять принялись громогласно вопрошать, кто, собственно, кем владеет: люди шустрами или шустры людьми? Неужели, спрашивали они с сарказмом, удалось создать рай лучше того, о котором мечтали?

Шустретики оставались непоколебимы, объясняя всем и каждому, что все идет как нельзя лучше. Этику нельзя прямо перелагать на язык физики. Сказав: «Не делай другому то, что тебе самому немило», можно ничего не добавлять: каждый интуитивно знает, что ему немило. Но, воплощая моральные заповеди в физику мира, подвергаемого генеральному ремонту, нельзя уже апеллировать к интуиции. Программы составляются для логических элементов, которые руководствуются ими, ничего в них не смысла. Шустретик работает не как моралист, но как математик, строящий дедуктивную систему. Такая система вытекает из исходных посылок, именуемых аксиомами. Из аксиом обычно следует больше, чем знал создатель системы. Геометрия дает определения точки, прямой и плоскости, а после оказывается, что вопреки здравому смыслу из этих определений вытекает и такая плоскость, которая имеет только одну сторону. Программисты перепоручили шустрам заботу о благе общества, а те заботятся больше, чем можно было ожидать. Что ж тут плохого? Да это же замечательно: им приказано было печься о нашем здоровье, вот они и пекутся. Хрупкость костей увеличивается постепенно, и нельзя угадать, когда случится перелом. Чтобы предотвратить то, что им было поручено предотвратить, шустры перешли к радикальному — предупреждающему — лечению. Медици-

на никаких возражений против металлизации скелета не выдвигает, так стоит ли бить тревогу? Шустры и не думали нарушать главную заповедь — доброжелательности; стало быть, все в порядке.

Между тем и в погоде начало что-то меняться. Прекратились резкие перепады давления, циклоны огибали территорию Люзании, что бы это все значило? Грозовые фронты, окклюзии, атмосферное электричество — все это вызывает стрессы, так что и тут шустры проявили похвальную заботливость, регулируя климат. «Неужели, — спрашивали шустретики оппозиционеров, снова поднявших шум, — вы тоскуете по тайфунам и смерчам?» Теперь, однако, обозначился раскол и среди специалистов. Одни продолжали уверять, что благие программы всегда будут держать в узде самовольство шустров; другие заявляли, что зло уже свершилось, ибо тот, кто получает непрошенные дары, лишается собственной воли.

Вскоре оказалось, что правы были и те, и другие. Начались удивительные события. Старики все чаще умирали не до конца. Так это называли. Они теряли силы, ложились на ложе смерти, слепли и глохли, утратив сознание. Приостановленная агония затягивалась на долгие месяцы. Близкие ожидали последнего вздоха, но смерть не приходила. Ко всеобщему ужасу, застывшее тело начинало вдруг шевелиться, руки и ноги хаотично дергались, а потом снова наступала непонятная летаргия. И даже если сердце переставало биться, это не было признаком смерти; во всяком случае, мнимый труп не трогало разложение. Тюкстль сказал, что люзанцы не сами изобрели эктотехнику, а узнали о ней от шустров. Немыслящие, но эффективные, они работали так, как им было приказано. Им надлежало поддерживать жизнь, и они поддерживали ее вопреки умиранию. Организм становился полем невидимой битвы за спасение едва теплящейся жизни. Мозг умирал окончательно, этого они не могли предотвратить и потому спасали, что еще можно было.

Когда об этом стало известно, страсти разгорелись нешуточные. Специалисты пришли в восторг и тотчас взялись за дальнейшее усовершенствование шустров, увлеченные перспективой бессмертия за порогом смерти. Глухие к любым протестам, к голосам возмущения и тревоги, они экспериментировали на животных. Оппозиция кричала, что нельзя представить себе более глумливого осуществления мечты о вечной жизни, чем такой дар, подброшенный втихомолку, внедренный в людские тела украдкой, по-воровски. Быть по чужой воле приговоренным к бессмертию — разве это не из-

девательство? А бурный энтузиазм шустроников свидетельствует лишь об их профессиональном безумии.

Излагая события трехсотлетней давности, Тюкстль не скрывал их чудовищности. Последствия спешки, с которой шустретики перешли от эктофикации животных к эктофикации энциан, были ужасны. Они-то думали, что стоит на улицах появиться первым бессмертным прохожим, как общество отвернется от критиков-оппозиционеров. Между тем не прошло и года, а первых кандидатов на вечную жизнь уже пришлось упрятать в особые убежища. Одни постепенно застывали и теряли сознание, и это было не самое страшное: многие просто обезумели. По-обезьяньи карабкались на деревья и стены, кидались на своих близких, выбрасывались из окон, впрочем, без всякого для себя вреда, ведь шустросфера пеклась о них. Насколько я понял, отсюда-то и пошли слухи о «захребетниках», «впьянстве» и «лоянизации», отразившиеся в кривом зеркале донесений нашего министерства. Это было тем страшнее, что в этифицированной среде никого нельзя сдерживать силой. Даже лошадиные дозы успокоительных средств не помогали, ведь врачи имели дело не с безумствующими стариками, а с целой армией шустров, которые не позволяли усмирять объекты своей обессмерчивающей деятельности. Трагедия, заметил Тюкстль, должна выглядеть достойно, между тем благие старания о вечной жизни привели к тому, что улицы и дома стали ареной драк полумных стариков и старух с перепуганными прохожими и домочадцами. Вместо того чтобы привлечь общество на сторону этификации, шустретики бесповоротно опорочили ее, и, когда дело прояснилось, никто и слышать не хотел о бессмертии. У животных, на которых проводились эксперименты, мозги не в пример проще, поэтому им ничего не делалось. Позднейшие успехи не помогли шустроникам. Кто теперь может знать, писали диссиденты, кончится ли на этом наше принудительное осчастливливание? Кто поручится, что шустры не проникают, с благословения властей, в могилы, чтобы порадовать нас знакомыми скелетами, которые жизнерадостным маршем возвращаются с кладбищ? На свет уже не появляются увечные дети, и это вроде бы неплохо, — но откуда нам знать, какие еще дети перестали рождаться? Если шустры предотвращают появление на свет увечных, значит, они занимаются селекцией оплодотворений, но кто поручится, что они не губят в зародыше других детей — скажем, тех, что могли бы стать помехой этикосфере? Если бы шустры были стороной в споре, если бы можно было с ними догово-

риваться, допросить их, выбить у них из головы это чудовищное человеколюбие, если бы они могли указать направление своей деятельности и ее основания, это еще куда ни шло, но ведь это химера! В желании подискутировать с этикосферой не больше смысла, чем в желании выведать у атмосферных течений завтрашнюю погоду. Над нами властвует бездушная активность, привитая окружающему нас материальному миру, и никто не докажет, что этот новый мир будет благожелателен к нам — что его заботливые объятия через пять или сто лет не станут смертельными...

Слушая это, я не мог не думать об Аниксе. Он решил на эктофикацию в окружении людей, дышавших ненавистью к ученым, шустротехникам и, вероятно, философам вроде него, — потому что отчаявшаяся, зовущая к мести толпа не разбирает, кто виноват. Если бы не этикосфера, не избежать бы насилий и самосуда; между тем шустретики видели в оскорблениях, которыми их осыпают, и в отвращении, которое они вызывают, доказательства своей правоты: будь этикосфера поработанием разума, говорили они, она бы не допустила всеобщего возмущения. Разумеется, никто не желал их слушать. Эктоки оказались в положении прокаженных, причем, что бы с ними ни делали, обществу это не нравилось. Пошли слухи, будто их втайне умерщвляют какими-то стальными прессами или молотами, и даже не совсем беспочвенные: некоторые и вправду требовали, чтобы их родственники-эктоки были избавлены от бессмертия, хотя бы путем убийства, если иначе нельзя.

Удачные попытки эктофикации, предпринятые в следующее десятилетие, хранились в величайшей тайне, и все же их не удалось засекретить, а общество охватила болезненная подозрительность; теперь уже не тупость, но ум считался свидетельством трупного происхождения. Эктокам пришлось изменять внешность и имена, бросать семьи, и они нигде не могли поселиться надолго — одно лишь соседство эктока приводило в бешенство окружающих. Эктоки стали скитальцами и часто обращались к косметологам и врачам, чтобы казаться постарше. Видя, в какой тупик зашло дело — обвинение в бессмертии стало уже оскорблением, и заподозренному угрожал всеобщий бойкот, — власти пошли на попятную. Чтобы доказать оппозиции (и самим себе), что этикосфера не вышла из-под контроля, они приостановили внедрение эктотехники. Отныне вечная жизнь могла быть уделом только особо заслуженных деятелей. Это было неплохо придумано: эктофикация, которую общество считало позором, возводилась в ранг привиле-

гии. Маневр удался и успокоил умы. Однако отношение люжанцев к этикосфере заметным образом изменилось. Свидетельство тому — обиходные выражения, зафиксированные в материалах нашего МИДа. Общество относится к своему усовершенствованному миру как к антагонисту, наделенному личностными чертами, и тут ничего не поделаешь. Под влиянием подсознательных страхов коллективная фантазия обращается к мифическим представлениям и олицетворяет в конкретном образе то, что по природе своей безлично и бестелесно. Но помимо этих наивных представлений существует действительность не менее таинственная, чем былой, естественный мир, который хотели преобразить в блаженную Аркадию. Не менее таинственная, потому что можно считать ее благожелательной, безразличной или неблагоприятной — если глядеть на бытие глазами философов древности. Отброшенное бессмертие — еще не доказательство того, что можно навечно довериться шустросфере. Слишком доброжелательный опекун однажды был остановлен, но что с того? В любую минуту можно ожидать новых «Покушений Добра», как выражаются некоторые. Классический вопрос «*Quis custodiet ipsos custodes?*» не снят. Взять хотя бы сферу повседневного существования: каждый делает, что хочет, — но как узнать, сам ли он того хотел или укрытые в нем рои шустров? Пока не покончено с этим сомнением, будут существовать и распутья Трех Миров, и нельзя верить судьбу общества чьей-то опеке навечно. По своему назначению этикосфера, конечно, добра, однако не слишком ли она бывает добра? Это как раз неизвестно — с тех пор как она призывно улыбнулась энцианам трупной улыбкой бессмертия.

Как я слышал от Тюкстля, исследовательские группы разрабатывают новые системы контроля, независимые от этикосферы. Он сам участвовал в проектировании «информатического зеркала»; зависнув над шустросферой, оно позволило бы измерить степень ее вмешательства и тем самым установить, где кончается личная свобода и начинается тайное порабощение. Информатики доказали, однако, что новый уровень контроля не стал бы последним: просто над шустринным контролем появится контролер рангом повыше. Пришлось бы контролировать и его... короче, соорудить бесконечную пирамиду контроля. Я спросил Тюкстля, не кажутся ли ему эти опасения преувеличенными. В конце концов под облагораживающим давлением им столько столетий живет лучше — или хотя бы не хуже, чем в прежние времена, преступные и кровавые; разве не заслуживает такое положение вещей хотя

бы некоторого доверия? Но ведь не в том дело, ответил он, что мы считаем его плохим; дело в том, что мы не знаем, останется ли оно под нашим контролем! Мы еще примирились бы с таким двоевластием, будь мы уверены, что в основном — допустим, на две трети — контроль в наших руках, а остальное — в ведении наших шустринных уполномоченных... Но мы знать не знаем, какова их настоящая роль в принятии решений, определяющих нашу судьбу. Возможно, каждое космическое общество строит свою этикосферу, и каждое развивается тысячу лет, а потом — в результате самоусложнения или других, неизвестных нам причин — вырождается, но не сразу, а постепенно, до тех пор, пока этикосфера не обратится в этикорак... Мы идем в будущее, еще *более* неизвестное, чем естественное, и именно это нас беспокоит, а не тягостность облагораживающих запретов... Учти, мой земной друг, что этификацию нельзя отвергнуть частично, точно так же, как индустриализацию! Как твое человечество зачало бы без промышленности, так и мы оказались бы беспомощны, разбив поглощающий стеклянный колпак, и страх *ожидания* катастрофы обернулся бы немедленной катастрофой...

Слушая его, я начинал понимать их тоску по курдландскому опрощению — теперь она казалась мне вовсе не такой глупой. Вдобавок, хотя вообще-то я сплю как сурок (это, впрочем, профессиональный навык астронавта), теперь я просыпался несколько раз за ночь, не то чтобы измученный кошмарами, но крайне удивленный содержанием снов: такие мне прежде не снились. Мне снилось, будто я тесто, которое месят и разделяют на столешнице огромные руки, то на клецки, то на пончики, и просыпался я, бросаемый в кипяток. Способна ли моя голова выдумать такое, размышлял я, или это врезали в меня миллионы шустров, хозяйничающих в моем мозгу? Я переворачивался на другой бок, поминутно вздыхая при мысли о той минуте, когда наконец взойду на борт корабля, и даже швейцарская тюрьма начинала казаться мне тихой пристанью.

Per viscera ad astra *

Памятливый Тюкстль предложил мне в начале лета отправиться вдвоем в Телтлинеу на поиски монастыря монахов-искупленцев.

Я перечитываю эту фразу с неудовольствием. Счастливи

* Через утробу — к звездам (лат.).

хронист, для которого читатель — свой человек, понимающий его с полуслова. Он скажет «лето», и тот уже видит пшеничное поле под облачно-голубым небом, слышит жарко гудящие пасеки; он скажет «монастырь», и возникает образ могучего здания, старых стен, слышен скрип открывающихся ворот, а я, какое слово ни напишу, тотчас ввожу читателя в заблуждение. Чего доброго, кто-нибудь решит, будто у люзанцев одна этикосфера на уме и они судачат о ней с утра до ночи или, гоняясь друг за дружкой как страусы, без перерыва занимаются оплодотворением на стадионах. Но это особенно интересовало только меня, чужака, не оставляя места на описание других, не менее важных вещей. Что ж, придется навешивать множество объяснений на эту простую фразу, которая должна стать началом конца.

Тюкстль назывался уже Тётёлтек, когда поехал со мной в Телтлинеу (люзанские имена меняются в зависимости от занятий их обладателя). Телтлинеу, как видно из самого названия, в котором отсутствуют звуки «р» и «кс», это «дикосвятая пустынь духовных проб и ошибок государственных служащих». С виду она похожа на заповедник: наполовину высохшие болота, тундра и сухостой; это часть ничейной земли, опоясывающей полукружьем Люзанию вдоль границы с Курдландией как санитарный кордон, поскольку концентрация шустров не может скачком упасть до нуля. Дикость означает неослушенность, а святость — возможность наткнуться на монахов; «монастырь» — это только так говорится, а существует он лишь в виде устава, потому что искупленцы — кочующий орден и каждый день перебираются на новое место. Теперь о «пробах и ошибках». Двести лет назад оппозиция заставила правительство принять закон, согласно которому каждый чиновник раз в год обязан отправиться в Телтлинеу и странствовать там определенное количество дней, соответствующее его служебному рангу. Старший референт, например, должен паломничать две недели, потому что его ранг — четырнадцатый. Тюкстль, претендующий на должность советника по науке в МИДе, уже разделался со своим пилигримством (именно так он и выразился) — зимой, чтобы избежать комаров, слетающихся с курдландских болот в основной, летний сезон паломничества; тогда он носил имя Тюкстюлликс, что примерно можно перевести как «Тюкстль вне добра у своего зла»: мол, в неослушенной глуши, избавляясь от этических уздечек, каждый обнаруживает свою худшую сторону. Выявление таких изъянов особенно важно у государственных служащих, ведь шустрам не позволено вме-

шиваться в их работу, и зловредный чиновник может допекать граждан по-всякому. Правда, никто еще не слышал о чиновнике, которому паломничество стоило бы должности, хотя по возвращении каждый должен сдать в аффектологическую инспекцию свою ксандию. Ксандия напоминает четки, а носят ее на голом теле, чтобы она фиксировала малейшие колебания эмоций. Обычным туристам пограничники вешают на шею ксиндры, или хроны, — для защиты от встреченного на пути пилигрима, если бы тот вдруг «обнаружил свое зло». Не позволено разбирать ни ксандию, ни хрон; знать, как они действуют, тоже нельзя. Эти устройства сами следят за соблюдением запрета, и избавиться от них невозможно. По наущению Тюкстля я забросил свой хрон в кусты, и он тут же погнался за мной, тихо позвякивая бусинками. Собственно, я выразился не вполне точно, когда говорил о ксиндрах. Хрон до употребления — это индр; настроенный на конкретное лицо, он получает приставку по его имени, а так как Тихий по-люзански — Кс, то лишь свой аппарат я могу назвать ксиндром; в переводе на люзанский это значит примерно «тихострелительный спасатель».

Не лишним, однако, будет добавить, что паломничество чиновников, а также ксандии и ксиндры — по сути, просто формальность. Вскоре я убедился в этом. Мы ехали на везделаде с прицепом, нагруженном запасами и снаряжением, через мертвый лес. Он вырос по берегам рек, стекавших некогда с ледников; теперь, когда рек нет, лес высыхает и гибнет. В полдень Тюкстль, время от времени посматривавший на шустромер, заявил, что мы уже в «дикой глуши». Мы не стали разбивать лагерь, а просто уселись на мху, и Тюкстль открыл банку консервированного бррбиция: мне хотелось попробовать национальную похлебку члаков. Она довольно густая, по вкусу напоминает солянку, которая уже начинает портиться. Тут над деревьями показался энцианин, чуть ли не шести метров ростом; но так он выглядел лишь издали, потому что шел на ходулях, или, скорее, на ходунах (можно еще сказать «высокоходы», а впрочем, кому как угодно; меня упрекают в выдумывании несуществующих слов, словно я сочиняю их для удовольствия, а не по необходимости). Чужак съехал на земле, сдвинув ходули как телескопические антенны, и спросил, можно ли посидеть с нами. Он представился Куакуаксом (а может Квакваксом), но я буду называть его референтом. Он служил в жилотделе небольшого пограничного округа, а теперь паломничал. Мы приняли его в свою компанию. Правда, испытанию положено подвергаться в

одиночку, однако за этим никто не следит, а когда я спросил референта, не опасается ли он ксандии, тот ответил, что никто в нее и не заглядывает.

В рюкзаке у нашего нового товарища был ундорт — походный материализатор вещей. Ундорт означает «что-то из ничего». Им пользуются только в неослушной глуши. Из всего, что попадает под руку, хотя бы из мусора, он с ходу изготавливает нужную вещь. Этот аппарат особенно пригодился нам в брюхе курдюка, но не буду опережать событий. Референт выколдовал из сухих веточек и листьев круглую коробочку с циферблатом наподобие компаса — живомер, который показал что-то около двух пилигримов на квадратную милю и (как сочли мы с Тюкстлем) терпимое пока что количество комаров. С репеллентом можно было покамест не торопиться. Я поинтересовался, к чему эти паломничества, если инспекция даже не проверяет ксандий; мои спутники в один голос расхохотались, а Тюкстль ответил, что прогуляться по свежему воздуху приятней, чем просиживать стулья в конторе. Так мы сидели и беседовали, потому что спешить было некуда — живомер не показывал и следа искупленцев. Тюкстль, который заметно оживился, когда шустромер упал до нуля, рассказывал мне о предубеждениях, связанных с этикосферой. Люзанцы живут в ней уже четыре столетия, и даже самые древние старики не помнят, как было раньше. С ранних лет всем и каждому втолковывают, что этикосфера — не личность, с которой можно общаться; но все это что об стенку горох. Спиритические сеансы собирают целые толпы и вызывают фурор даже в научной среде. Это не то чтобы мошенничество, ведь умудренная среда обитания выполняет любые желания, лишь бы они никому не вредили; поэтому она и вправду способна вычаровывать призраки, если кто-нибудь уж очень этого хочет. Правда, сеансеры сами себя обманывают, принимая выполнение подсознательных заказов за сверхъестественные явления. В последние годы появились новые верования. Возникла секта, контактирующая с душами умерших эктоков, которых власти будто бы втайне уничтожили, заматаывая следы своей эктофикационной осечки. Сектанты публикуют протоколы таких бесед, полные заклинаний об освобождении от мертвой жизни и, разумеется, проклятий по адресу властей. Трудно сказать, сколько во всем этом правды, то есть обманывает ли шустрофера сектантов, исполняя их *nihi*ло их сокровенные желания, или же в ней и в самом деле пребывают какие-то остатки духовной жизни экс-бессмертных.

Это, по мнению некоторых экспертов, не исключено: шустросфера запоминает все свои действия, а каждый экток уже потому, что подвергается эктофикации, до самого конца остается ее частью. Положение, как видим, в высшей степени странное, коль скоро нельзя отличить существование загробных видений и неприкаянных душ от несуществования, — хотя даже здесь мнения специалистов расходятся. Совершенная имитация реальности, заметил Тюкстль, не отличается от самой реальности, и притом в любой области. Я спросил, неужели никто ни разу не потребовал полной ликвидации этикосферы, навсегда или хотя бы на время? Такое случалось, ответили мне; предлагались и проекты не столь радикальные.

Солнце спускалось, и зажужжали комары; мы сели в свой лазик и отправились на поиски более уютного места для ночлега. Мы продирались через сухостой, посадив референта-паломника на заднее сиденье, откуда он подавал реплики, а когда на ухабах референт падал на нас сзади, мой хрон или хрон Тюкстля, висевший у него на шее, издавал короткое предостерегающее шипение.

Лазик раскачивало, как лодку на волнах, а Тюкстль продолжал разъяснять, в чем заключается тонкое различие между вызыванием и изготовлением духов. Если духов умерших вызывает тот, кто в них верит, шустросфера сочтет его веру заказом и выполнит этот заказ. Но если он в духов не верит, то утвердится в своей неверии, ведь шустры, разумеется, обнаружат его скептицизм. Тем не менее нельзя считать шустросферу *Кем-то* — она действует как автомат, доставляющий по первому требованию любую книгу, хотя и неспособный ее понять. Скажи я, к примеру: «Хочу увидеть призрак моего дедушки», — шустросфера выполнит требование, если что-нибудь знает об этом дедушке. Но если бы я обратился к ней прямо, желая, допустим, узнать ее намерения или мысли, она не отзовется, ибо не является *Кем-то*, кто может говорить от себя или о себе. Предлагалось, правда, персонализировать шустросферу, но эксперты доказали, что вреда от этого было бы больше, чем пользы. Нельзя коротко и ясно объяснить, почему это так, — тут мы встречаемся с трудноразрешимыми парадоксами и логическими противоречиями. Среда обитания должна исполнять индивидуальные требования, пока они совместимы с благом других лиц. Не будучи личностью, она глуха к любым желаниям, выходящим за эти границы. Иначе мы могли бы пядь за пядью приобретать власть над судьбами ближних. Любопытно, однако, что шустросфера, не будучи личностью, способна изготавливать

личностные объекты, хотя бы в виде фантомов и духов. Послушание шустров кончается там, где начинаются грозные парадоксы, которые землянину не могут быть известны даже по названию. Впрочем, объяснил Тюкстль, у них никогда не было недостатка в проектах реформ. Метким ударом он прихлопнул комара у себя на лбу и продолжил:

— Одним из первых был изократический план — равновесия добра и зла. Предложили его ученики Ксаимарнокса. Согласно принципу «око за око», среда обитания должна оплачивать каждому его же монетой. Поллюбишь ближнего — и шустры тебя приласкают. Ударишь — сам получай по зубам. Все в точности симметрично, уравновешенно и пропорционально. В соответствии с этой симметрией ты мог бы даже убить, но лишь раз, потому что сам на месте бы умер. Нетрудно понять, что это был прямой путь к эскалации зла. Обычно мы не лезем из кожи, стараясь творить добро, ведь принуждение противно природе добра, но делать что-то назло другим люди готовы без удержу. В результате хитроумные мерзавцы заставили бы этикосферу бороться против себя самой: сначала ей пришлось бы снабдить их панцирем или чем-нибудь в этом роде, а после сокрушать его, чтобы покарать убийцу. Впрочем, расправа на месте — никудашная справедливость, особенно в случае убийства в аффекте. Шустросфера, выполняющая палаческие функции, не очень-то привлекательна...

— А помните, — вмешался из-за наших спин референт, — проект трех братьев теологов? Дескать, надо идти до конца? Это, скажу я вам, впечатляющий был замысел...

— Богосфера? — отозвался Тюкстль. — Верно, была такая идея, синтсологическая: бросить в Космос, для его умирения, синтетическое Всемогущество... да, конечно, сотворенный Бог, Синтеос, зародившийся на одной планете, чтобы через мириады лет распространиться на весь Универсум... но как подумаешь, что под гнетом тотальной заботы замерла бы природная эволюция, хищники вымерли бы с голоду, а затем и их жертвы, расплодившиеся до убийственной тесноты... Нет, это было не слишком продуманно.

Разговор оборвался. Сквозь заросли я увидел темную фигуру, согнувшуюся под тяжелой ношей. Наш лазик остановился, а встречный — худой старик в сермяге — сбросил с плеч здоровенный камень и, заслонив глаза от солнца, не мигая смотрел на нас.

— ИскуПЛенец... — понизив голос, сказал референт. — Можно спросить у него про дорогу к монастырю, но ответит ли он?.. Они принимают обет молчания...

Тюкстль учтиво поздоровался с монахом, но тот долго не отвечал. Должно быть, раздумывал, можно ли ему отозваться — устав ордена разрешает это лишь в исключительных случаях. Видимо решив, что тут именно такой случай, он назвал себя. Это был монах-привратник; утром он проспал уход монастыря, а теперь искал своих, в качестве епитимьи взвалив на себя камень. Тюкстль предложил подвезти его, но он лишь поклонился нам, взгромоздил булыжник на плечи и скрылся в гуще мертвых кустов.

Уже заходило красное солнце — к ветру и комарам, как утверждали мои товарищи, — когда мы наконец нашли в сухостое прогалину, пригодную для костра. Референт расположился на мху, поколдовал с ундортом, и перед нами, словно фарфоровый пузырь, в мгновение ока вырос белый домик. Минуту спустя из его пузатых стен проклоннулись длинные защитные шипы — и получился настоящий фарфоровый еж с полукруглым входом. Втаскивая внутрь надувной матрац, я порвал его, задев за один из этих шипов, и чертыхнулся. Но беда оказалась невелика: референт тут же изготовил из кучи хвороста другой матрац, к тому же помеченный моими инициалами, а чтобы оказать мне еще большую любезность, сделал так, что домик втянул в себя все шипы. Слегка закусив, мы болтали, сидя у входа, в сгущающейся темноте. На костре, который мы разожгли ради вящей экзотики, варился суп. Я узнал, что референт вообще-то поэт, а служит лишь ради престижа, ведь никаких стихов, даже самых великолепных, никто не читает. Впрочем, и прозу тоже. В Союз писателей он не входил, потому что там сплошная грызня, особенно по случаю похорон. Одни считают, что над каждым покойником речь должен говорить сам председатель, другие — что оратор, равный по рангу умершему, то есть: член товарищеского суда — о члене товарищеского суда, зампредседателя — о зампредседателя и так далее. Только про то и толкуют, бедолаги, равнодушным грустным голосом говорил поэт, всматриваясь в пламя костра. Ничего другого им не осталось. Союз достиг всего, чего требовал целых семьсот лет, материальных забот никаких, каждый сам себе определяет тираж, но что с того, раз уже и поэты поэтов не берут в руки.

Затем беседа спустилась на Землю. Я поразился тому, что Тюкстль, казалось бы, настолько изучивший наши обычаи, связывает подкрашивание губ с вампиризмом. Губы у женщин алого цвета, чтобы не видно было следов крови, высосанной при поцелуях, — обычная мимикрия вампиров. Мои протесты ничуть не сбили его с толку. Ах, женщины хотят

нравиться? Кровавые губы красивы? А глаза, подведенные синькой, с зелеными веками — тоже? Ведь это цвета трупного разложения — я же не стану этого отрицать? Жуткая внешность к лицу упырю. Я твердил свое, поэт прислушивался, а Тюкстль иронически усмехался. Ну да, хотят быть красивыми... а старушки? Тоже ведь красятся? «Женщина всегда остается женщиной, — настаивал я. — Румяна скрывают старость...» Но Тюкстль не поддавался на мои доводы. На всех земных изображениях самки щерят зубы. Демонстрируют клыки. Конечно, эротика к этому тоже причастна, но это *ночная* эротика, а известно, что вампиры кровопийствуют ночью. Я ему свое, а он все подмигивал мне, что чертовски меня раздражало; наконец он пустил в ход неотразимый аргумент: если речь идет всего лишь о том, чтобы подчеркнуть красоту, почему мужчины не красятся? По правде сказать, я не знал и, кипя от злости, решил прекратить этот бесплодный спор. Вампиры так вампиры, черт с тобой, думал я, укладываясь ко сну в домике, темном как могила.

Никто из нас не заметил курдля, которого занесло в эти места. Правда, я проснулся и услышал сопенье и чавканье, но не сообразил, что это огромный язычище облизывает крышу. Убедившись, что попался сладкий кусок, эта тварь в один прием проглотила домик, взделаз и прочее наше имущество, так что впоследствии, после довольно мягкого приземления, мы нашли в желудке даже хворост, приготовленный для утреннего костра, и котелок — только суп вылился.

Судя по размерам желудка, в котором можно было утонуть (нашего курдля мучила жажда), нам попался настоящий гигант, шатун-одиночка. Желудок я изучил весьма тщательно, вместе с окрестностями, так как мы провели там больше недели. Это было нечто вроде огромной, зловонной пещеры со складчатым сводом, придаточными полостями и следами эрозии эпителия. Пещеру заполняло невероятное количество полужидкого месива из веток кустарника, травы, каких-то обломков, жестянок и мусора. Наш курдль, как видно, был не слишком разборчив, жрал что попало. Надеюсь, что он сам извергнет нас из пасти, я уговаривал товарищей пощекотать его в нёбо, но те лишь пожимали плечами — да и как можно было вскарабкаться к пищеводу, который длинной воронкой чернел при свете фонариков где-то над нашими головами? Закусив нами, курдль начал икать. Это было сущее землетрясение. Наконец он нашел водопой и обрушил в темную пасть бурный поток. Лазик сразу пошел ко дну, но наш белый домик неустрашимо держался на поверхности,

словно спасательная шлюпка. Тюкстль и поэт-референт призывали меня сохранять терпение, а я рвался действовать, не зная как. Икота прошла, мы выглянули в окошко, по чернеющей поверхности озера пробежала мелкая рябь; высунув голову наружу, я почувствовал ветер, но и это не удивило моих товарищей. Просто отрывает, слышишь? — сказал Тюкстль. Действительно, доносилось гудение испорченного воздуха.

Примерно через час озеро обмелело и превратилось в вязкую жижу. Едва мы ступили на дно, как встретили все того же монаха. Он был настолько неутомим в покаянии, что не расстался с камнем, хотя запросто мог утонуть. Ни его, ни моих спутников наше положение нисколько не тревожило. Поэт, который имел на своем счету что-то около семи проглатываний — ему случалось ходить и на сверхпрограммные экскурсии, а жил он у самой границы, — заявил, что до горла можно будет добраться не раньше, чем животное ляжет на отдых, но толку от этого мало, потому что пищевод очень тесен, и никакая щекотка тут не поможет — у старых курдлей каменный сон. Я хотел расспросить монаха о Кливии, но Тюкстль отговорил меня; дескать, у простого привратника много не выведаешь. Главное — это терпение: курдль, наверное, двинется по следу монастыря, а так как монахам нельзя противиться насилью, вскоре наша компания пополнится еще не одним из них. Возможно, нам повезет, и проглоченный окажется библиотекарем. Не скажу, что он меня убедил. Я заподозрил, что наше теперешнее положение ему по вкусу. Он уже готовился к исследованию местности: попросил у поэта ундорт и из кормового месива изготовил шахтерский выем с лампочкой, веревочную лесенку и непромокаемый комбинезон. Я упросил его смастерить такое же снаряжение и для меня.

Между тем из мрака, полного всякой мерзости и хлама, стали появляться жалкие, оборванные фигуры с какими-то ведрами в руках и метлами на плечах. Я вскоре заметил, что приходят они после завтрака и обеда (не нашего, а курдля), чтобы немного прибрать желудочное пространство. То есть они были вроде как уборщики, однако я в жизни не видывал такой бестолковой и нерадивой работы. Они суетились без всякого соображения. Один из них, на редкость словоохотливый (остальные не отвечали на вопросы вообще), сказал мне, что метлы им, правда, положены по должности, но они ими не пользуются: во-первых, прутья сотрутся, а тогда прощай премия; во-вторых, это могло бы ЕМУ повредить. Боль-

ше всего меня удивлял их маразм. Они равнодушно брели мимо нас и наших машин, избегая лишь света прожекторов, рассеивающих темноту, — словно лунатики в трансе; но всякий раз, когда на обед у нас был бррбиций, не меньше пяти из них торчало под иллюминатором, жадно вдыхая запах полхлебки. Однако они ни за что не желали войти в домик и лишь тот, разговорчивый, признался, что им нельзя якшаться с чужаками, поэтому они делают вид, будто нас нет. Похоже, он сам испугался своей откровенности — с тех пор я его не видел. Привычки курдля были мне внове, но вскоре я понял, что утром и в полдень надо искать место повыше или прятаться в домике: хотя жрал он понемногу, зато пить начинал внезапно и с неслыханной жадностью, а потом низвергалась суцая Ниагара — оттуда, где обычно стоит солнце в зените. При этом он заглатывал воздух так, что желудок раздувался вдвое против обычного, а после протяжно отрыгивал — это было как завывание ветра в узком ущелье. Референт не ставил члаков ни во что, но Тюкстль однажды прижал двоих туземцев к желудочной стенке и не пускал, пока те не сказали ему, что они высокие рангом чиновники — один выдавал себя за мочевика, другой за печенега. Тюкстль отпустил обоих, заявив, что они беззастенчиво врут, стараясь придать себе вес причастностью к жизненно важным органам. Сказать о ком-то «он из органов» — это в курдле кое-что значит. Впрочем, Тюкстль полагал, что наш курдль на последнем издыхании и тащится к кладбищу, чтобы сложить на нем одряхлевшие кости. Старая скотина, списанная с баланса, давно изъятая из обращения; однако, как это обычно бывает у члаков, в нем все еще живут по причине жилищных трудностей; последними уходят из такого курдля работники службы уборки градо-завра, а не убирают они просто потому, что им не хочется. Ведра и метлы носят, чтобы казалось, будто работают. Все они сплошь лодыри — по награде и труд. В первый день я не обедал, хотя поэт-референт искушал меня перечнем блюд, которые мог приготовить ундорт; но при мысли о том, из чего он их приготовит, я терял аппетит. Мне не терпелось выйти на свежий воздух, и меня все больше удивляло, как это мои товарищи могут мириться со своей тюрьмой, мало того, я начал подозревать, что они находят в этом какое-то удовольствие. Какое? Неужели они радовались (старательно это скрывая) тому, что тут нет ни одного шуэра? Они рассмеялись, когда я прямо спросил об этом, но в их смехе чувствовалось смущение.

На второй день после завтрака (я уже начал принимать

пищу, что мне оставалось делать) Тюкстль включил проигрыватель, а я, не имея охоты слушать музыку и не желая сидеть сложа руки, сперва попробовал совершить восхождение по крутому склону под *cardia**, но там было слишком скользко, а о том, чтобы вбивать крючья, не приходилось и мечтать, поэтому я в костюме водолаза направился дальше — к двенадцатиперстной кишке. Референт сопровождал меня до *pylori*** и показал, как нужно щекотать *sphincter pylori****, чтобы тот разжался и пропустил меня, но сам дальше не пошел. Он захватил с собой толстую тетрадь и карандаш, — возможно, его посетило вдохновение, и ему хотелось уединиться. За привратником было довольно просторно, я шел широким шагом и на распутье желчных путей увидел в стене пару ботинок. Я пробежал по ним невидящими глазами и пошел дальше, погруженный в раздумья. Почему это вдруг мои люжанцы, которые вроде бы презирали члаков, согласны сидеть вместе с ними в этих клоачных пещерах и отнюдь не спешат на волю? Прелесть экзотики? Опрощение? Окажись здесь какой-нибудь фрейдист, он не задумываясь сказал бы, что для энциан сидеть в курdle — значит вернуться в материнское лоно, и вообще напустился бы на меня со своими фрейдистскими символами, а я бы его обругал, потому что у них никакого лона нет. Впрочем, стоило ли вдаваться в воображаемый спор с вымышленным фрейдистом? Что-то есть, однако, в этом загадочное, подумал я, и лишь тогда до моего сознания дошли увиденные по дороге ботинки в стене. Я осветил туда фонариком и заметил, что они шевелятся. Эту загадку я, во всяком случае, мог разгадать немедленно. Я видел только виброподошвы и стертые каблуки; потянул за один из них, потом за другой, и из стены задом, по-рачьи, вылез высокий худой энцианин, тоже в водолазном костюме.

Нимало не удивленный моим присутствием, он представился. То был профессор Ксоудер Ксаатер, завкафедрой анатомии курdle в Иксібриксе, в настоящее время занятый полевыми исследованиями. Не спрашивая, с кем он имеет честь говорить, он объяснил мне топографию этого участка кишечника; особенно восхищало его *diverticulum duoden-jejunaJe* Хаатер****: да, да, это место носило его имя, ведь именно он доказал ошибочность утверждений школы Ксепса, будто бы

* Область перехода пищевода в желудок (*лат.*).

** Область перехода желудка в кишечник (*лат.*).

*** Кольцевидная мышца, замыкающая привратник (*лат.*).

**** Ответвление двенадцатиперстной кишки Ксаатера (*лат.*).

это *diverticulum* никогда не было *vergucinosum**. Профессор мозолил глаза этому курдюку уже несколько дней, но тупое животное ни за что не желало его глотать, хотя он, посоленный, совался к нему прямо в пасть. При этих словах во мне пробудились тягостные воспоминания о спутнике — лунапарке, который я принял за планету — и позволил одурачить себя мнимой охотой на курдюка.

Расставшись — довольно неохотно — с желчевыми бородавками, профессор вместе со мной вернулся в желудок. Укравкой он поглядывал на мои ноги, но тут же отводил взгляд. Впоследствии выяснилось, что он принял меня за калеку от рождения, но из вежливости не показывал вида; будучи анатомом, он поставил мне диагноз *deformatis congenitae articulationum genu*** — случай довольно редкий и тяжелый, поскольку это необычайно осложняет жизнь, в особенности ходьбу, а нормально, то есть по-энциански, сесть такой инвалид вообще не способен; вот было смежу, когда он понял, что имеет дело с человеком, — я забыл ему об этом сказать, но он сам догадался, когда мы сняли кислородные маски. Это было уже за привратником, и сверху на нас полетели целые купы кустарника и груды земли. Наш дряхлый курдюк был на редкость прожорлив; профессор советовал поторопиться; отовсюду струились потоки желудочного сока, и было ясно, что этим не кончится: такая пища вызывает изжогу, а значит, и жажду. Действительно, полило как из ведра, но мы успели добежать до спасительного убежища, и ни одна капля на нас не попала.

Мои товарищи учтиво приветствовали профессора и пригласили его на бррбиций, который уже варился в котелке. Интересно, что всем деликатесам, которые мог приготовить ундорт, они предпочитали эту гадость, наполняющую помещение запахом, который при всем желании приятным не назовешь. Мы сидели кружком и, прихлебывая суп из мисочек, оживленно болтали. Профессор рассказал забавную историю о том, как в прошлом году он открыл в болоте возле Кургуана Председателя завязший в иле скелет огромного курдюка с сорока скелетами члаков внутри. Благодаря этому он взял верх над археологами из школы другого анатома, доцента Ксипсиквакса (или что-то в этом роде), которые утверждали, что курдюк не может жить под водой. Действительно, *naturaliter* не может, но можно выдрессировать его в подводную лодку,

* Бородавчатый (*лат.*).

** Врожденный дефект коленного сочленения (*лат.*).

а наш анатом доказал это, предъявив вещественное доказательство — перископ, обнаруженный вместе со скелетом. Доцент опоздал на два дня, и, когда он наконец прибыл на место с водолазным костюмом, скелет уже загорал на солнце под присмотром препараторов, а к перископу профессор прикрепил транспарант с ехидной надписью: CITO VENIENTIBUS OSSA!*

Ну и проблемы у этих ученых, подумал я, прихлебывая бррбиций так, как ребенком глотал рыбий жир, то есть затыкая дыхательное горло задней частью нёба; и все-таки пил, чтобы не выделяться. Монах сидел вместе с нами, но не на матрасе, а на своем булжнике — он наконец позволил себя уговорить и сбросил его с плеч. Зная, что я человек, он счел возможным нарушить обет; так начался разговор, в котором он проявил куда большую сообразительность, нежели предполагал в нем Тюкстль. Его имени я не смог бы произнести, оно было совершенно иное, чем у остальных люзанцев, хриплое, из одних глухих согласных. У всех монахов такие имена, потому что послушничество начинается с выбора кливийского имени — из сохранившихся хроник. С этой минуты монах становится еще и этим кливийцем. При этом известии фантазия моя разыгралась. Я ждал невероятных открытий — например, что они верят в переселение душ и в то, что их устами вещают умершие кливийцы, или же что во время своих мистерий они читают по уцелевшим документам страшные заклинания Ка-Ундрия, и, хотя их вера тем самым подвергается нелегкому испытанию, именно в этом видят свою покаянную миссию; а если видения примут массовый характер, набожные монахи могут превратиться в организацию мстителей. Брат привратник остудил мое разгоряченное воображение, заявив, что ничего не знает о кливийце, имя которого принял, да и об остальных кливийцах тоже; знает только, что те не верили в Бога; поэтому они теперь верят *за них*.

— Как же так, — спросил я, жестоко обманутый в своих ожиданиях, — у вас есть кливийские хроники, и вы даже не пробуете изучать их?

Монах, должно быть, распарился от бррбиция; он сбросил с головы капюшон и, глядя на меня лучеобразно оперенными глазами, сказал:

— Да нет, я их читал. Среди наших послушников нет недостатка в клириках, которые вступают в орден не покаяния ради и не из набожности, но надеясь отыскать у кливийцев

* Кто приходит рано — тому кости (лат.).

застывшую эссенцию самого черного Зла. Такие вскоре уходят. Ты удивляешься, чужеземец? Мы читаем хроники, чтобы учиться кливийскому языку, а впрочем, там ничего нет...

— Как это нет? — медленно переспросил я. Я готов был заподозрить его в желании скрыть правду.

— Ничего, кроме фраз. Пропагандистский трезвон, и только. Пускание трюизмов в глаза. Удивляешься? А ты когда-нибудь слышал о власти, которая не рассылает направо и налево обещания счастья, но возвещает отчаяние, скрежет зубовой, расписывает собственную мерзость и подлость? Никакая власть ничего подобного не обещала. Разве у вас иначе?

— Не будем об этом, — быстро ответил я. — Но их Ка-Ундрий? Что это было? Ты знаешь? Тебе позволено говорить?..

— Вечно одно и то же, — пожал он плечами. — Ка-Ундрий в точном переводе значит *благосфера*.

У меня перехватило дыхание.

— Не может быть! Значит... они хотели сделать то же, что и вы?

— Да.

— Тогда... как дошло до войны?

— Это была не война, а безлюдное столкновение двух идей.

— Аникс сказал мне, что шустры возникли как оружие...

— Возможно, ты неправильно его понял. Они возникли не как оружие. Но стали оружием, наткнувшись на то, что метило в них самих.

Я видел, что он с трудом подыскивает слова под неподвижным взглядом остальных, — и вдруг увидел эту сцену как бы со стороны. Человек, сидящий с неудобно подогнутыми ногами среди существ, широко рассеявшихся на своих огромных стопах, с торчащими назад коленями, как грузные головастые птицы.

— Столкнулись две версии Блага, — сказал наконец монах. — Они различались тем, что благородный Тюкстль назвал бы программой. Однако не слишком сильно. В сущности, схлестнулись они потому, что были двумя проектами совершенства. Если друг против друга станут две церкви единого Бога, если каждый стоит за Него, но требует для себя исключительности, не допускающей никаких уступок, дело может кончиться битвой, хотя бы никто ее и не хотел. Разве так не случалось в истории? А раз даже преданность Высшему Благу способна породить истребление, насколько верне

ведет к нему посюсторонняя вера, приверженцы которой создали полчища немыслящих исполнителей! Два проекта блаженного безбожья мчались навстречу друг другу и встретились не точно на полпути, потому что один из них был эффективнее и обладал большей силой поражения. А если бы повезло кливийцам, ты сидел бы не здесь, но среди темнолицых, на южной оконечности их плоскогорья, и слушал бы рассказ о гибели Северной Тарактиды, таинственного чудовища, погребенного под ледниками Люзании. Только там ты оказался бы среди неверующих. Ведь кливийцы, как я уже говорил, отвергли Бога, и у них тебе труднее было бы найти исполнителей...

— Значит, они действительно хотели добра?..

Я никак не мог освоиться с этой мыслью.

— Думаю, не меньше и не больше, чем отцы-основатели этикосферы. Но мне пора. Прощайте.

Монах встал, взвалил на себя камень и пошел, сгибаясь под тяжестью. Я тут же начал допытываться у Тюкстля, знал ли он то, что монах сказал о Кливии?

Он не стал отрицать, однако доказывал, что все было иначе: мол, кливийцы придерживались авторитарных идеалов и свою благосферу хотели создать не из шустров, а из молекулярных микроботов, называемых пигмами, — не только менее совершенных, но и более жестоких, чем шустры. Он засыпал меня специальными терминами, я видел, что он защищает свое дело вполне добросовестно, но больше не слушал его. Впрочем, время уже было позднее. Двое остальных встали, чтобы приготовить спальные места. Тюкстль умолк и тоже нехотя поднялся. Меня окружали неуклюжие фигуры, покрытые плотным бархатным пухом, с глазами, расставленными почти так же широко, как ноздри, в которых при дыхании дрожали маленькие перышки. Готовясь ко сну, я вынул из уха переводилку; понятные голоса превратились в быстрые пронзительные трели. Поэт приблизил ко мне совиные глаза и что-то сказал; я понял его, потому что он указывал на постель. Стемнело; все уже заснуло, судя по равномерному дыханию, но мне совсем не хотелось спать. Хорошо еще, никто не храпит, думал я, а то я не выношу храпа. Правда, я среди энциан, а они, должно быть, не храпят. Разве кто-нибудь слышал о храпящих воробьях или пингвинах? В голове у меня все смешалось. Чего ради я взвалил на себя тяготы звездного путешествия? Чтобы со стайкой экс-птиц очутиться в черной утробе полусдохшего курдья? Кто? Я, дипломатический полукурьер, Ийон Тихий, экс-обезьяна.

Лично я никогда не был обезьяной, но ведь никто из них тоже никогда не был птицей. Откуда же этот нездоровый интерес к зоологии в генеалогических разысканиях? Неужели, говорил я себе почти с отчаянием, только так, по-дурацки, я и могу думать о таких серьезных и важных предметах? Узнал ли я тайну Черной Кливии? Пожалуй; но оказалось, что тайны — мрачной и непостижимой для нас — вовсе и не было, а было нечто слишком хорошо нам знакомое. Кто-то начал храпеть, а потом и хрипеть, я шикнул несколько раз давно испытанным способом, но без результата. Я приподнялся на локте, в страхе, что меня ждет бессонная ночь, и тут хрипенье перешло в громоподобное бульканье. Оно доносилось отовсюду, словно при проливном дожде. Это не они, это всего лишь курдль переваривает; в брюхе у него бурчит, успокоился я. Я все лежал и лежал, а сон не приходил. Как бусинки четок перебирал я в памяти прежние путешествия. Сколько их у меня было! Впрочем, некоторые оказались сном. Я вспомнил свое пробуждение после конгресса футурологов и вдруг подумал, что, может быть, и теперь вижу сон. Нигде бессонница не мучит с таким упорством, как во сне, ведь очень трудно заснуть, если уже спишь. Тут уж легче проснуться, это понятно всякому. Проснись я теперь, от скольких хлопот я избавился бы! Это был бы действительно приятный сюрприз. И я напрягся, силясь разорвать духовные путы, которыми сковывает нас сон, но, как ни старался я сбросить его с себя, словно темный кокон, ничего у меня не вышло. Я не проснулся. Другой яви не было.

К о н е ц

Март 1981

ПРИЛОЖЕНИЕ

Толковый земляно-землянский словарь
люзанских и курдяндских выражений,
обиходных и синтуральных (смотри: С и н т у р а)

Вступительные замечания. Быстрое развитие энциклологии вызвало потребность в отыскании слов, которые были бы достаточно лаконичным эквивалентом энцианских выражений, обозначающих неизвестные на Земле отвлеченные понятия, а также конкретные объекты.

В результате возник словарь *неологизмов*, с возможной точностью передающих смысл инопланетного выражения. Ниже приводится горсточка слов из этого словаря — тех, что могут облегчить чтение настоящей книги. Я включил также некоторые выражения, которые не встречаются в тексте, однако играют важную роль в духовной и материальной жизни Энци. Лицам, которые с большей или меньшей язвительностью упрекают меня в выдумывании неологизмов, затрудняющих понимание моих воспоминаний и дневников, настоятельно рекомендую провести несложный эксперимент. Пусть такой критик попробует описать один день своей жизни в крупном земном городе, не выходя за пределы словарей, изданных до XVIII столетия. Тех, кому подобный опыт не по душе, я попросил бы не брать в руки моих сочинений.

Автоклаз — одно из многих злобоуловительных (гневопоглощающих) заведений в Люзании, называемых также буальнями.

Агатоптерикс — он же Мегаптерикс Сапиенс — крупный разумный нелет, предок энциан, соответствующий примерно нашему питекантропу.

Благопровод — подобно тому как водопровод на Земле доставляет воду, благопровод на Энциии доставляет (по заказу) блаженство. (Смотри также: **Лю до в о д**.)

БОБИК — Большая облава на индифферентных кандидатов в люзанские органы власти. Раньше: благодарный объект для измывательств и кровопусканий (также: кибрушка — для игр; робосед — замещает хозяина на заседаниях, сессиях и т.п. Смотри также: **Манекенизация**, **Факсифамилия**).

Богоид — кибер-ангел, андроид-переводчик, используемый также для вентиляции и прочих услуг.

Болспрофилактика — предотвращение умышленных недобрых поступков посредством вшиваемых в нательное белье датчиков (дурные намерения вызывают острый

приступ ишиаса). Эта технология имеет в Люзании лишь историческое значение.

Бюро прят — лозанский гражданин, укрывающийся от принудительного набора в правительство и прочие органы власти.

Верхогляд — искусственный спутник, стационарный или нестационарный, предназначенный для слежения с орбиты за определенным (запрограммированным) лицом.

Вечный рыдалец — нейропрепарат субъекта, приговоренного к высшей мере наказания — вечным мукам. Существование рыдалцев находится под вопросом.

Выборокибер, он же предлагатор — облегчает выбор утех, развлечений и т.д. Устройство, необходимое в условиях избыточного множества вариантов. Выборокибер поврежденный, растоптанный или разбитый владельцем немедленно самовосстанавливается. Избавиться от него нельзя; будучи выброшен, он следует за хозяином по пятам даже в том случае, если тот укрывается в бронированном каземате (проникая туда за ним с помощью специальных бронедробилок).

ВыДРА — Вычислительно-Дискуссионный Разумный Автомат.

Гениалич прогрессирующий (Genialysis Progressiva) — удар от избытка мудрости у компьютеров, ведущий к замыканию входов на выходы; такие углубившиеся в себя компьютеры называют созерцаками.

Гилоизм — господствующая в Люзании религия. Я записал на карточке, откуда взялось это слово, но, к сожалению, нигде не смог ее отыскать.

Деменция — демелиорация почвы на Энци, один из типичных приемов деятельности антисинтуральной оппозиции с целью отупления разумных камней, песка, щебенки, сланцев, глины и т.д.

Дефектив — дефект этификации, следствие частично-го паралича или расстройства этикосферы.

Дракула — рыба-пила на Энци.

Дублизкий — дублированный родственник, свойственник или друг, смягчающий печаль по умершим или раздражение, вызываемое несходством характеров (смотри также: Манекснизация, Факсифамилия, а впрочем, смотри куда хочешь).

Живоглот — лицо, проглоченное курдлем и извергнутое наружу живым (смотри также: Полиглот).

Заглубление науки — если ученым известно, что интересующие их открытия уже сделаны, но неизвестно, где

искать сведения о них, начинаются экспедиции в глубь науки, или инспекции. Руководят ими эксперты-интернисты, или инспекты. Эту деятельность называют также инспекриментальной, в отличие от прежней экспериментальной.

Загробот — робот, верящий в загробную жизнь.

Зеленушки — насекомые, выполняющие на Энциии функции земных зеленых растений.

Игнорантика — научная дисциплина, изучающая развитие знаний о том, чего не знают на данный момент.

Игнорантастика — научная дисциплина, обратная по отношению к игнорантике (смотри: Игнорантика). Занимается проблемами игнорирования того, чего не знают на данный момент.

Инспект — эксперт на стадии заглубления (самокопання) науки (смотри: Заглубление науки).

Кадавериа Рустикана (Cadaveria Rusticana) — шкурбат на пастбище (смотри: Шкурбат).

Колонизадция — ссылка в задние районы курдля.

Кукарекушка — персонаж энцианских сказок: гибрид петуха с кукушкой (благодаря генной инженерии). Петух отвечает на вопросы о том, насколько свежи кукушечьи яйца.

Кукурдль — курдль — сиамский близнец.

Курдаш — танец в животе курдля (не путать с танцем живота!).

Курдинал — верховный священник в курдляннской древности.

Лживотные — синтетические животные, продукт эмбрионального конструирования.

Людовод — благопровод, доставляющий дублизких (смотри: Дублизкий) и прочих куклоидов и андроидов. Транспортировка совершается в порошковом состоянии; так называемая *Instant Person** самособирается у заказчика после подключения источника питания.

Манекенизация — замена натуральных лиц суррогатными, которые заказываются, например, в факсифамильных мастерских.

Мокрыныч — подмоченный горыныч (смотри также: Сгорыныч).

Навредисты — люзанская ухудшенческая секта (смотри также: Злолюбы). Полагая причиной всеобщей угнетенности избыточное благоденство, навредисты (известные

* Здесь: лицо мгновенного приготовления (*англ.*).

также под именем вырвиглазов) пытаются помогать ближним посредством замучивания их насмерть.

Нациомобиль — населенный курдль (звероград). Он же: градозавр, градоход, топтуша, переходимец (не проходи-мец!).

Ненормалы — секта, которая проповедует, что цивилизация — это извращение (перверсия), поэтому следует поощрять в ней перверсии (извращения), ибо извращение извращения выводит на прямую дорогу, то есть ведет к возвращению в норму.

О-Ку-Ку — Отец и куратор курдлей, также: курдлевóда; высший чиновник курдляндской администрации, заведующий топартаментом (смотри: **Топартамент**).

Охмуриды — они же обманки — микроиллюзия натуральных лиц, которым чудится, будто они искусственные, и наоборот.

Полиглот — лицо, многократно проглоченное курдлем.

Полимиксия — неудачное определение способа оплодотворения у энциан. Правильный термин: *полисемия*. Женская половая клетка не может быть оплодотворена одним мужским сперматозоидом; для инсеминации необходимы по меньшей мере два сперматозоида от двух генетически нетождественных самцов (то есть они не могут быть однойцевыми близнецами). В настоящее время существует 47 теорий, объясняющих, почему на Энции возник именно этот способ размножения, но по недостатку места я их опускаю.

Полипон — политический полигон, нечто вроде тренажера для государственных мужей; нередко заминирован.

Постымент (Постыдный Монумент) — памятник бесславия, воздвигаемый в честь величайших национальных антигероев из специального материала, способного деформироваться под ударами, а затем восстанавливать прежнюю форму. С плевательницами вместо вечного огня.

Похищалки — детская игра в похищение (также: **Уводилки**).

Путеец — ученый, занимающийся измерением длины пути, который должны пройти поисковые импульсы, чтобы добраться до содержащихся в планетной памяти искомым данных.

Разъявливание — техника дослащивания жизни; позволяет пережить то, чего вообще-то одновременно пережить нельзя. Независимые потоки сознания подключаются к

обоим полушариям мозга, изолированным друг от друга при помощи разъявителя.

Робошлепы — они же заваливающие роботы — роботы с высоко расположенным центром тяжести; часто теряют равновесие и шлепаются оземь.

Сальто Рационале (Salto Rationale), также: **Правило Инверсии Практикуемых Смыслов (ПИПС)**. Согласно этому правилу, если при внедрении некоей Идеи в жизнь преодолеть порог Титиксака, Идея начинает действовать наоборот. Выше порога Т. прогрессивные идеи становятся регрессивными, идеи, сулящие благосостояние, доводят до нищеты, радующие — угнетают и т.д. Порог Т. определяется отношением диаметра черепа к произведению средней арифметической всеобщего разочарования жизнью и постоянной НН (Неизбежных Недоразумений).

Самогроб — мыслянт (разновидность робота), кончающий самоубийством по выполнении задания. Также: **разовик**, **демонт** (поскольку сам себя демонтирует). Не путать с **разбираком** (**разбирак** — это просто разборный рак).

Сбитень — робот, сбитый с толку вследствие телесного повреждения.

Сгорыныч — выгоревший горыныч (смотри также: **Мокрыныч**).

Сексолицые (Sexofaciales) — зоологическое название высших энцианских животных (ввиду лицевой локализации внешних органов размножения).

Синтура — синтетическая культура, созданная в Люзании.

Синтюряга — синтуральная тюрьма (условная). Дело в том, что в синтуре любые узы ограничивают свободу лишь до тех пор, пока узник этого хочет; если же он пожелает освободиться, шустры вызывают распад (диссипацию) материала, из которого состоят оковы, кандалы и т.д.

Синьеризм — синтетическое препарирование карьер по индивидуальной мерке, в соответствии с темпераментом.

Скварка порог — порог умудрения среды обитания, по преодолении которого она становится умнее обитающих в ней разумных существ.

Социомат — автомат для игры (азартной) в государство.

Старнак — старший над курдлем, староста, начальник градохода.

Топартамент — орган местной администрации в Курдландии.

Уморы — усилители морали, нравственные предохранители.

тели шустров 16-го и следующих поколений; предотвращают попытки мерзификации (кретинизации) шустров, предпринимаемые преступными и диссидентскими элементами.

Факсифамилия — замена родственников с нелегким характером куклоидами (смотри: Людовод и Манекенизация).

Цивитатор — от латинского «civitas» (государство) — правящий компьютер (см. также: Странодав).

Чага — частная галактика, архаическое понятие, возникшее в эпоху, когда люзанские граждане могли претендовать на приобретение в собственность эллиптических и спиральных туманностей. В настоящее время допускается только аренда на 10 000 лет.

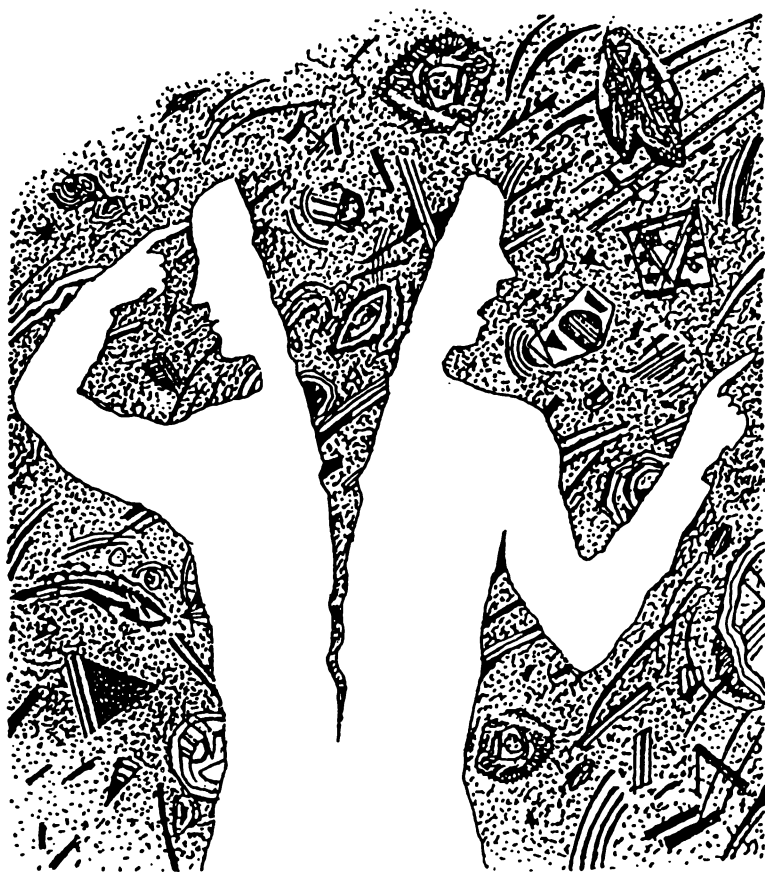
Шкур — штрафной курдль, также: Пузаст (путешествующий застенок).

Шкурбат — батальон штрафных курдлей.

Шустравка — разумник рассеянный, луговая трава, случайно зараженная шустрами. Ругается, если на нее наступить.

Мир на Земле

роман



I. УДВОЕНИЕ

Не знаю, что делать. Имей я хотя бы возможность сказать «плохо мое дело», это бы еще полбеды. Сказать «плохи наши дела» я не могу тоже. И вообще, о собственной особе я могу говорить лишь частично, хотя я по-прежнему Ийон Тихий. Со старой привычкой разговаривать вслух во время бритья мне тоже пришлось расстаться, потому что левый глаз все время мешал, ехидно подмигивая. Сидя в ЛЕМе, я еще не успел понять, что случилось перед самым отлетом. Этот ЛЕМ не имел ничего общего с американским тренажером, в котором НАСА послало Армстронга и Олдрина за горсткой лунных камней. Он был так назван для маскировки моей тайной миссии. Сам черт меня впутал в нее. Возвратившись из созвездия Тельца, я никуда не собирался лететь по крайней мере год. Согласился только во имя блага всего человечества. Я понимал, что могу не вернуться. Как высчитал доктор Лопес, у меня был один шанс на двадцать и восемь десятых. Это меня не остановило. Я человек рискованный. Двум смертям не бывать. Либо вернусь, либо нет, сказал я себе. Мне и в голову не пришло, что я вернусь, однако вернусь не я, а вроде бы «мы». Чтобы объяснить это, придется раскрыть кое-какие сверхсекретные обстоятельства, но мне уже все равно. То есть частично. Ведь писать я вынужден тоже частично, с огромным трудом. Стучу на машинке правой рукой. Левую пришлось привязать к подлокотнику кресла, потому что она была против. Вырывала из каретки бумагу, ни на какие уговоры не поддавалась, а когда я попробовал поставить ее на место, подбила мне глаз. Все это следствие удвоения. У каждого из нас два полушария мозга соединены большой спайкой. По-латыни — *corpus callosum**. Двести миллионов белых

* Мозолистое тело.

Рокóј на ziemi, 1987

© Константин Душенко, перевод с. 263—362, И.В. Левшин, перевод, с. 363—488, 1990, 1994

нервных волокон соединяют мозги, чтобы они могли собраться с мыслями, — у всех, только не у меня. Чик — и кончено. И даже чиканья не было, а был полигон, на котором лунные роботы испытывали новое оружие. Меня занесло туда совершенно случайно. Я уже выполнил задание, перехитрил этих мертвых тварей и возвращался к ЛЕМу, но тут мне захотелось пи-ди. Писсуаров на Луне нет. Впрочем, в безвоздушном пространстве проку от них никакого. В скафандре имеется специальный мешочек, точно такой же был у Армстронга и Олдрина. Так что можно где угодно и когда угодно, но я стеснялся. Слишком уж я культурный, или, скорее, был таким. Ведь неудобно же прямо так, при ярком солнце, посередине Моря Ясности. Чуть подальше торчала большая глыба, ну я и пошел туда, в ее тень. Откуда мне было знать, что там действует это ультразвуковое поле. Облегчаясь, я почувствовал что-то вроде тихого щелчка в голове. словно бы стрельнуло — не в позвоночнике, как иной раз бывает, а выше. В самом черепе. Это как раз и была дистанционная каллотомия, причем полная. Нигде не болело. Я почувствовал себя как-то странно, но это сразу прошло, и я зашагал к ЛЕМу. Правда, мне показалось, что все теперь какое-то не такое, и сам я тоже, но в этом не было ничего странного после стольких приключений. Правой рукой заведует левое полушарие мозга. Поэтому-то я и сказал, что пишу сейчас лишь частично. Правому полушарию мое писание, как видно, не по душе, раз оно мне мешает. Все ужасно запуталось. Не могу сказать, что теперь я — только левое мое полушарие. В чем-то приходится уступать правому, не сидеть же с привязанной рукой вечно. Я пытался задобрить его чем только мог — впустую. Оно просто невыносимо. Агрессивное, вульгарное, невоспитанное. Хорошо еще, что прочесть оно может не все, только некоторые части речи, легче всего — существительные. Так обычно бывает, я это знаю, я ведь перечитал уйму книг о каллотомии. Глаголы и прилагательные ему не даются, а поскольку оно видит, что я тут выстукиваю, приходится изъясняться так, чтобы его не задеть. Удастся ли это, не знаю. Впрочем, никто не знает, отчего вся наша благовопитанность засела в левом мозгу.

На Луне я должен был высадиться тоже частично, но в совершенно другом смысле — тогда, до несчастного случая, я еще не был удвоен. Сам я должен был обращаться вокруг Луны по стационарной орбите, а на разведку выслать своего теледубля. Такого пластикового, с сенсорными датчиками, чем-то даже похожего на меня. Так вот: я и сидел в ЛЕМе-1, а высадился ЛЕМ-2 с теледублем. Эти военные роботы страх как свирепы к людям. В любом человеке видят противника.

Так, во всяком случае, мне объяснили. К сожалению, ЛЕМ-2 отказал, вот я и решил высадиться сам — посмотреть, что с ним, потому что связь была не полностью прервана. Сидя в ЛЕМе-1 и не чувствуя уже ЛЕМа-2, я ощущал, однако, боль в животе, который, собственно, болел у меня не прямо, а по радио: они, оказывается, разломали у ЛЕМА оболочку, извлекли теледубля, а затем и его принялись потрошить. У себя на орбите я не мог отключить этот кабель: живот, правда, перестал бы болеть, но я окончательно потерял бы связь с дублем и не знал бы, где его искать. Море Ясности, на котором он угодил в ловушку, по размерам почти как Сахара. К тому же я перепутал кабели (они, правда, разного цвета, но их черт знает сколько), инструкция на случай аварии куда-то запропастилась, а ее поиски с болью в брюхе так меня разозлили, что, вместо того чтобы вызвать Землю, я решил высадиться, хотя меня заклинали не делать этого ни при каких обстоятельствах: мол, мне оттуда не выкарабкаться. Но отступить не в моих правилах. Кроме того, хотя ЛЕМ — всего лишь машина, напичканная электроникой, мне было жаль бросать его на поругание роботам.

Сдается, чем больше я объясняю, тем темнее все это становится. Начну, пожалуй, с самого начала. Впрочем, каким оно было, не знаю, должно быть, я запомнил его в основном правой половиной мозга, доступ к которой отрезан, так что я не могу собраться с мыслями. Я не помню множества вещей и, чтобы мало-помалу их узнавать, вынужден правой рукой объясняться с левой по системе глухонемых, да только левая часто отвечать не желает. Показывает, к примеру, фигу, и это еще самая вежливая демонстрация ее особого мнения.

Трудновато одной рукой выпытывать что-то жестами у другой и в то же время поколачивать ее в воспитательных целях. Не стану скрывать ничего. Может, в конце концов я бы и задал взбучку собственной левой руке, но дело в том, что только *верхняя* правая конечность сильнее левой. Ноги в этом отношении равноценны, к тому же на мизинце правой ноги у меня застарелая мозоль, и левой это известно. Когда случился тот инцидент в автобусе и я силой засунул левую руку в карман, ее нога в отместку так наступила на правую, что у меня в глазах потемнело. Может быть, это признак упадка интеллектуальных способностей, вызванного моей половинчатостью, но вижу, что написал глупость. Нога левой руки — просто левая нога; временами мое несчастное тело словно распадается на два враждующих лагеря.

Мне пришлось прервать эти заметки, потому что я попы-

тался ударить себя ногой. То есть левая нога — правую, а значит, я не себя хотел ударить, и вовсе не я, то есть не весь я, но грамматика в такой ситуации бессильна. Я было решил снять ботинки, но передумал. Даже в таком несчастье человек не должен превращаться в шута. Что же мне теперь — ноги переломать себе самому, чтобы узнать, как там было с аварийной инструкцией и с теми кабелями? Мне, правда, уже случалось бороться с самим собой, но при совершенно других обстоятельствах. Один раз — в петле времени, когда я, более ранний, дрался с более поздним; другой раз — после отравления беннигнаторами*. Дрался, не отрицаю, но оставался нераздельным собой, и каждый, кто пожелает, может войти в мое положение. Разве в средневековые люди не хлестали себя бичами покаяния ради? Но в теперешнее мое положение не войти никому. Это исключено. Я не могу даже сказать, что меня двое — рассуждая здраво, и это неправда. Меня двое, но частично я существую тоже лишь отчасти, то есть не в любой ситуации. Если вам угодно узнать, что со мною случилось, читайте без придирок и возражений все, что я напишу, даже если ничего не понимаете. Кое-что со временем прояснится. Не до конца, разумеется: до конца можно только путем каллотомии. Точно так же нельзя объяснить, что значит быть выдрой или черепахой. Если бы кто-нибудь, не важно как, стал черепахой или опять же выдрой, он все равно не смог бы ничего сообщить, ведь животные не говорят и не пишут. Нормальные люди, каким и я был большую часть своей жизни, не понимают, как это человек с рассеченным мозгом может по-прежнему оставаться самим собой, а так оно, похоже, и есть, раз он говорит о себе «Я», а не «МЫ», ходит вполне нормально, рассуждает толково, за едой тоже не видно, будто бы правое полушарие не ведало, что делает левое (в моем случае — пока речь не идет о крупном супе); впрочем, кое-кто полагает, что каллотомия была известна уже в евангельские времена, ведь в Евангелии говорится о левой руке, которая не должна знать, что делает правая, — хотя, по-моему, это не более чем проповедническая метафора.

Один тип преследовал меня два месяца кряду, чтобы выпытать всю правду. Он посещал меня в самую неподходящую пору и изводил вопросами насчет того, сколько меня на самом деле. Из учебников, которые я ему дал, он ничего не вычитал, как, впрочем, и я. Я снабжал его этой литературой,

* «Добротизатор» (от лат. *benignitas* — радушие, ласковость).

только чтобы он отвязался. Помню, я тогда решил купить себе ботинки без шнурков, с эластичной резинкой сверху; кажется, раньше их называли штиблетами. Дело в том, что, когда моей левой части не хотелось идти на прогулку, я не мог завязать шнурки. Что правая завязывала, левая тут же развязывала. Вот я и решил купить штиблеты и пару кроссовок — не для того, чтобы заняться столь модным ныне оздоровительным бегом, но чтобы дать урок своему правому мозгу, с которым тогда я еще не мог найти общий язык, а лишь набирался злости и синяков. Полагая, что продавец в обувном магазине — обычный торговый служащий, я что-то такое пробормотал в оправдание своего необычного поведения, а собственно, даже и не своего. Просто, когда он, с ложкой для ботинок в руке, опустился передо мной на колени, я ухватил его левой рукой за нос. То есть это она ухватила, а я начал оправдываться или, лучше сказать, валить все на нее. Даже если он примет меня за психа, думал я (откуда обыкновенному продавцу знать что-либо о каллотомии?), ботинки он мне все равно продаст. И псих не должен ходить босиком. На беду продавец оказался подрабатывающим студентом философии и прямо-таки загорелся.

— Клянусь здравым смыслом и милосердием Божьим, господин Тихий! — кричал он в моей квартире. — Ведь логика утверждает, что вы либо один, либо вас больше! Если ваша правая рука натягивает штаны, а левая ей мешает, значит, за каждой из них стоит своя половина мозга, которая что-то там себе думает или по крайней мере желает, раз ей не по сердцу то, что по сердцу другой. В противном случае передрались бы отрубленные руки и ноги, чего они, как известно, не делают!

Тогда я дал ему Гадзанигу. Лучшая монография о рассечении мозга и вытекающих отсюда последствиях — книга профессора Гадзаниги «Bisected Brain»*, выпущенная еще в 1970 году издательством «Appleton Century Crofts» (Educational Division in Meredith Corporation), и пусть у меня мозги никогда не срastутся, если я говорю неправду, если я выдумал этого Микеля Гадзанигу и его родителя (ему-то и посвящена монография), которого звали Данте Ахиллес Гадзанига и который даже был доктором — M.D.**. Кто не верит, пусть немедленно бежит в ближайшую медицинскую книжную лавку, а меня оставит в покое.

* «Рассеченный мозг» (англ.).

** Доктор медицины (англ.).

Так вот, этот тип преследовал меня, чтобы вытянуть показания насчет моей сдвоенной жизни, но ничего не добился, а только довел до бешенства оба моих полушария сразу, если уж я схватил его обеими руками за шкурку и вышвырнул за дверь. Такие временные перемирия в моем сдвоенном существе порою случаются, но для меня это как было темным делом, так и осталось.

Философ-недоросль звонил мне потом среди ночи, полагая, что спросонок я выдам свою невероятную тайну. Он просил меня прикладывать трубку то к левому уху, то к правому и не обращал внимания на красочные эпитеты, которых я для него не жалел.

Он упорно стоял на том, что идиотизмом следует считать не его вопросы, а состояние, в котором я нахожусь, ведь оно противоречит антропологической, экзистенциальной и всей вообще философии человека как существа разумного и сознающего собственную разумность. Он, должно быть, только что сдал экзамены, потому что в разговоре сыпал гегелями и декартами («Мыслю, следовательно, существую», а не «Мыслим, следовательно, существуем»), атаковал меня Гуссерлем и добивал Хайдеггером, доказывая, будто происходящее со мной происходить не может, поскольку идет вразрез со всеми толкованиями духовной жизни, которыми мы обязаны не недоумкам каким-нибудь, но гениальнейшим умам человечества, мыслителям, которые целые тысячелетия, начиная с древних греков, занимались интроспективным познанием нашего «Я»; а тут приходит какой-то чудак с расщепленной большой спайкой мозга, с виду здоров как бык, но правая рука у него не ведает, что делает левая, с ногами та же история, к тому ж одни эксперты утверждают, что сознание у него только с левой стороны, а правая — всего лишь бездушный автомат, вторые — что сознаний два, но правое поражено немотой, поскольку центр Брока расположен в левой височной доле, третьи — что у него два частично автономных сознания, и это уже верх всего. Раз нельзя частично выскочить из поезда, кричал он, или частично умереть, то нельзя и частично мыслить! За дверь я его уже не выбрасывал — как-то мне его стало жаль. С отчаяния он попытался меня подкупить. Он называл это дружеским презентом. Он клялся, что 840 долларов — это все его сбережения на каникулы с девушкой, но он готов отказаться от них и даже от нее, лишь бы я поведал ему как на духу, КТО мыслит, когда мыслит мое правое полушарие, а Я не знаю, ЧТО оно мыслит; когда же я отослал его к профессору Экклзу (сторонни-

ку сознания с левой стороны, полагавшему, что правая вообще не мыслит), он отозвался об этом ученом негристичными словами. Он уже знал, что я помаленьку научил свое правое полушарие языку глухонемых, и требовал, чтобы к Экклзу пошел я и объяснил ему, что он заблуждается. По вечерам, вместо того чтобы посещать лекции, он рылся в медицинских журналах; он уже знал, что нервные пути устроены крест-накрест, и искал в самых толстых компендиумах ответа на вопрос, за каким чертом это понадобилось, чего ради правый мозг заведует левой половиной тела, и наоборот, но об этом, понятно, нигде ни единого слова не было. Либо это помогает нам быть человеком, рассуждал он, либо мешает. Психоаналитиков он изучил тоже и нашел одного, утверждавшего, будто в левом полушарии помещается сознание, а в правом — подсознание, но мне удалось выбить у него из головы эту чушь. Я, по понятным причинам, был куда начитаннее. Не желая драться ни с самим собою, ни с юношей, снедаемым жаждой познания, я уехал, или, скорее, бежал, от него в Нью-Йорк — и попал из огня в полымя.

Я снял крохотную квартиру в Манхэттене и ездил, на метро или на автобусе, в Публичную библиотеку; там я читал Хосатица, Вернера, Такера, Вудса, Шапиро, Риклана, Шварца, Швартца, Швартса, Сэ-Мэ-Халаша, Росси, Лишмена, Кеньона, Харви, Фишера, Козна, Брамбека и чуть ли не три десятка разных Раппопортов, и по дороге едва ли не всякий раз случались скандалы, потому что всех хорошеньких женщин, а блондинок особенно, я норовил ущипнуть пониже спины. Занималась этим, разумеется, моя левая рука (и притом не всегда в толкучке), но попробуйте объясните это в немногих словах! Хуже всего было не то, что я раз-другой получил оплеуху, но то, что обычно эти женщины вовсе не считали себя обиженными. Напротив, они усматривали в моем щипке приглашение к небольшому романчику, а о романчиках мне думалось тогда меньше всего. Насколько я мог понять, оплеухами меня награждали активистки *women's liberation** — крайне редко, однако, так как хорошеньких среди них раз, два и обчелся.

Видя, что самому мне не выбраться из моего кошмарного состояния, я связался со светилами медицинской науки. И они мною занялись, а как же. Я был подвергнут всевозможным анализам, рентгеноскопии, стахистоскопии, воздействию электротока, обмотан четырьмястами электродами, при-

* Движение за женскую эмансипацию (англ.).

вязан к специальному креслу, был вынужден часами разглядывать сквозь узкую смотровую щель яблоки, вилки, столы, гребешки, грибы, сигары, стаканы, собак, стариков, голых женщин, грудных младенцев и несколько тысяч других вещей, которые проецировали на белый экран, после чего мне сказали (хотя я и без них это знал), что когда мне показывают бильярдный шар так, чтобы его видело лишь мое левое полушарие, то правая рука, опущенная в мешок с различными предметами, не может вынуть оттуда такой же шар, и наоборот, ибо не знает десница, что делает шуйца. Тогда они признали мой случай банальным и потеряли ко мне интерес, так как я ни словечка не проронил о том, что учу свою безъязыкую половину языку глухонемых. Я ведь хотел узнать от них что-нибудь о себе, а пополнять их профессиональный багаж было не в моих интересах.

Потом я пошел к профессору С.Туртeltaубу, который со всеми остальными был на ножах, но он, вместо того чтобы просветить меня относительно моего состояния, стал мне жаловаться, какая это клика и мафия, и поначалу я слушал его в оба уха, полагая, что он поносит коллег из высоконаучных соображений. Туртeltaуб, однако, не мог им простить, что они похоронили его проект. Когда я последний раз был у господ Глобуса и Заводника или, может, еще у каких-то светил — они у меня пугаются, столько их было, — то, узнав, что я хожу к Туртeltaубу, они поначалу даже обиделись, а потом заявили, что он исключен из сообщества ученых по этическим соображениям. Туртeltaуб, оказывается, хотел, чтобы убийцам, приговоренным к смерти или пожизненному заключению, предлагали замену наказания на операцию каллотомии. Мол, до сих пор ей подвергали исключительно эпилептиков, по медицинским показаниям, и неизвестно, каковы будут последствия рассечения спайки у обыкновенных людей; и каждый, не исключая его самого, будучи приговорен к электрическому стулу, допустим, за убийство тещи, наверняка предпочел бы рассечение *corpus callosum*, но тогда член Верховного суда на пенсии Клессенфенгер постановил, что, даже если оставить в стороне этику, дело это опасное: ведь если бы оказалось, что, приступая к умерщвлению тещи, с заранее обдуманном намерением действовало лишь левое полушарие Туртeltaуба, а правое ничего не знало — или даже протестовало, но уступило доминирующему левому и после внутримозговой борьбы дело дошло-таки до убийства, — возник бы кошмарный прецедент, ибо одно полушарие надлежало увести в тюрьму, а второе, полностью оправдав,

освободить из-под стражи. То есть убийца был бы приговорен к смерти на пятьдесят процентов

Не имея возможности получить то, о чем он мечтал, Туртeltaуб поневоле довольствовался обезьянами (очень дорогими, в отличие от убийц), а дотации ему все урезали и урезали, и он горевал, что кончит крысами и морскими свинками, хотя это вовсе не то же самое. Вдобавок активистки Общества охраны животных и Союза борьбы с вивисекцией регулярно били у него стекла, и кто-то даже поджег его машину. Страховая компания не хотела платить; дескать, нет доказательств, что это не сам он спалил собственный автомобиль, рассчитывая убить двух зайцев сразу: привлечь к суду защитниц животных, а заодно материально обогатиться, ведь машина была старая. Он меня до того замучил, что я решил переменить тему и упомянул о языке знаков, уроки которого моя правая рука давала левой. Лучше бы я этого не делал. Он тут же позвонил Глобусу, или, может, Максвеллу, и объявил, что продемонстрирует в Неврологическом обществе случай, который сотрет их всех в порошок. Видя, как повернулось дело, я выбежал от Туртeltaуба не прощаясь и поехал прямо в свою гостиницу, но те уже подстерегали меня в холле. Увидев их возбужденные лица и глаза, горящие нездоровым исследовательским энтузиазмом, я сказал, что так уж и быть, я пойду с ними в клинику, только сперва переоденусь у себя; пока они ждали внизу, я сбежал с двенадцатого этажа по пожарной лестнице и на первом же такси помчался в аэропорт. Мне было, собственно, все равно, куда лететь, лишь бы подальше от этих ученых, а так как ближайший рейс был в Сан-Диего, я туда и отправился; там, в маленькой скверной гостинице — это был настоящий притон, кишаший темными личностями, — даже не распаковав чемодан, я позвонил Тарантоге, чтобы попросить у него помощи.

Тарантога, к счастью, был дома. Друзья познаются в беде. Он прилетел в Сан-Диего ночью, и, когда я рассказал ему все, возможно ясней и подробней, решил мною заняться — как человек доброй души, а не как ученый. По его совету я сменил гостиницу и начал отпускать бороду, а он тем временем отправился на поиски такого эксперта, для которого клятва Гиппократова важнее, чем возможность прославиться за мой счет. На третий день мы едва не поссорились: он пришел порадовать меня хорошими новостями, а я проявил благодарность лишь частично. Его вывела из себя моя левосторонняя мимика — я все время по-идиотски ему подмигивал. Я объяснил, правда, что это не я, а лишь правое полушарие

моего мозга, над которым я не властен, и он уже стал успокаиваться, но потом принялся упрекать меня снова. Дескать, что-то тут не в порядке: даже если меня двое в едином теле, то по ехидным и саркастическим минам, которые я наполовину строю, видно как на ладони, что я уже раньше — по крайней мере, частично — питал к нему неприязнь, которая и проявилась теперь в форме черной неблагодарности, а он полагает, либо ты целиком друг, либо не друг вовсе. Пятидесятипроцентная дружба не в его вкусе. Все же в конце концов мне удалось его успокоить, а когда он ушел, я купил себе повязку на глаз.

Специалиста для меня он отыскал далековато — в Австралии, и мы вместе полетели в Мельбурн. Это был профессор Джошуа Макинтайр; он читал там курс нейрофизиологии, а его отец был сердечным приятелем отца Тарантоги и чуть ли даже не дальним родственником. Макинтайр внушал доверие уже своим видом. Высокий, с седой шевелюрой ежиком, удивительно спокойный, толковый и, как заверил меня Тарантога, добросердечный. Так что можно было не опасаться, что он захочет использовать меня в своих целях или столкнется с американцами, которые лезли из кожи, стараясь напасть на мой след. Тщательно обследовав меня, что заняло три часа, он поставил на письменный стол бутылку виски, налил мне и себе, а когда атмосфера стала совершенно приятельской, заложил ногу за ногу, помолчал, собираясь с мыслями, и произнес:

— Господин Тихий, я буду обращаться к вам на «вы», — но лишь потому, что так принято. Можно считать установленным, что мозолистое тело рассечено у вас от *comissura anterior* до *posterior**, хотя на черепе нет и следа трепанационного шрама...

— Так я же и говорю, профессор, — перебил я его, — никакой трепанации не было, а было поражение новейшим оружием. Это, наверное, оружие будущего: не надо никого убивать, достаточно подвергнуть вражескую армию дистанционной церебеллотомии**. С отсеченным от остального мозга мозжечком любой солдат сразу рухнет на землю, словно парализованный. Так мне сказали в том ведомстве, называть которое я не имею права. Но по случайности я встал к тому ультразвуковому полю боком, или, как выражаются медики, саггитально. Хотя и это не наверняка — тамошние ро-

* От передней комиссуры (спайки) до задней (*лат.*).

** Рассечение мозжечка.

боты, видите ли, орудут скрыто, и механизм воздействия этого поля не вполне ясен...

— Не важно, — сказал профессор, глядя на меня своими добрыми, умными глазами сквозь золотые очки. — Внемедицинские обстоятельства нас в данную минуту не интересуют. Что же касается количества сознаний в подвергнутом каллотомии человеке, тут к настоящему времени существуют восемнадцать теорий. Поскольку каждая из них имеет экспериментальное подтверждение, понятно, что ни одна не может быть ни совершенно ошибочной, ни совершенно истинной. Вы не один, но вас и не двое, о дробных числах тоже говорить не приходится.

— Так сколько же меня, собственно, есть? — спросил я удивленно.

— Нет хороших ответов на плохо поставленные вопросы. Представьте себе двух близнецов, которые от рождения только и делают, что пилят двуручной пилой дрова. Они трудятся в полном согласии, иначе не смогли бы пилить: если забрать у них эту пилу, они уподобятся вам в вашем нынешнем состоянии.

— Но ведь каждый из них, пилит он или не пилит, обладает одним-единственным сознанием, — разочарованно заметил я. — Ваши коллеги в Америке, профессор, рассказали мне множество подобных притч. О близнецах с пилой тоже.

— Ну, ясно, — сказал Макинтайр и подмигнул левым глазом; я даже подумал, не рассечено ли и у него что-нибудь. — Мои американские коллеги беспросветно темны, а такие сравнения курам на смех. Эту историю с близнецами, выдуманную одним американцем, я привел нарочно — как пример ошибочного подхода. Если изобразить работу мозга графически, у вас она выглядит как большая буква «У», поскольку сохраняется единый ствол мозга и средний мозг. Это — основание игрека, а полушария у вас разделены, как его верхняя часть. Понимаете? Интуитивно это можно легко... — Профессор запнулся и вскрикнул, получив от меня удар по коленной чашечке.

— Это не я, это моя левая нога! — поспешно объяснил я. — Извините, честное слово, я не хотел...

Макинтайр понимающе улыбнулся (но в этой улыбке было что-то фальшивое, как у психиатра, всем своим видом показывающего, что сумасшедший, который его укусил, — человек нормальный и симпатичный), встал и отодвинулся вместе со стулом на безопасное расстояние.

— Правое полушарие обычно гораздо агрессивнее левого,

это факт, — сказал он, осторожно ощупывая колено. — Вы, однако, могли бы держать ноги сплетенными. Да и руки, знаете, тоже. Так нам будет легче беседовать...

— Я уже пробовал — затекают. А потом, позволю себе заметить, ваш игрек ничего мне не говорит. Где начинается в нем сознание — под развилкой, в развилке, еще выше или — как там еще?

— Совершенно определенно сказать нельзя, — ответил профессор, продолжая покачивать ушибленной ногой и усердно ее массируя. — Мозг, любезнейший господин Тихий, состоит из множества функциональных подсистем, которые у нормального человека взаимодействуют по-разному при выполнении разных заданий. У вас подсистемы самого высокого уровня полностью разъединены и потому не могут взаимодействовать.

— Об этих подсистемах я тоже уже слышался, разрешите заметить. Я не хотел бы выглядеть невежливым — во всяком случае, могу вас заверить, профессор, что этого не хочет мое левое полушарие, которое сейчас обращается к вам, — но я по-прежнему ничего не знаю. Ведь живу я нормально — ем, хожу, сплю, читаю, только приходится следить за левой рукой и ногой — они затевают скандалы без всякого предупреждения. КТО подстраивает эти фокусы? Если мой мозг, то почему Я ничего об этом не знаю?

— Потому что полушарие, виновное в этом, безгласно, господин Тихий. Центр речи находится в левом полушарии, в височной до...

На полу между нами лежали мотки проводов от разных аппаратов, при помощи которых Макинтайр меня обследовал. Я заметил, что моя левая нога исподволь начинает играть этими проводами. Она намотала себе на щиколотку толстый кабель в черной блестящей изоляции — чему я особого значения не придавал — и вдруг, рванувшись назад, дернула кабель, который, оказывается, обвивал ножку профессорского стула. Стул встал дыбом, а профессор грохнулся на линолеум. Я мог убедиться, однако, что передо мною опытный врач и выдержанный ученый; поднимаясь с пола, он произнес почти совершенно спокойно:

— Ничего, ничего. Ради Бога, не беспокойтесь. Правое полушарие заведует ориентацией в пространстве; неудивительно, что оно ловчее в такого рода делах. Но я просил бы вас еще раз, господин Тихий, сесть подальше от стола, от проводов и вообще от всего. Это облегчит нам беседу и выбор подходящей для нашего случая терапии.

— Так где же мое сознание? — спросил я, сматывая провод с ноги, что давалось мне нелегко — та словно приросла к полу. — Ведь это, казалось бы, я дернул стул, а в то же время у меня не было такого намерения. КТО это сделал?

— Ваша левая нижняя конечность, управляемая правым полушарием. — Профессор поправил съехавшие очки, отодвинул стул чуть подальше, но после некоторого раздумья не сел, а остался стоять, ухватившись за спинку стула. Я подумал — каким из полушарий, не знаю, — уж не борется ли он с искушением перейти в контратаку?

— Так мы можем толковать до Судного дня, — заметил я, чувствуя, как напрягается левая сторона моего тела. На всякий случай я сплел ноги и руки. Макинтайр, внимательно наблюдая за мной, продолжал дружеским тоном:

— Левое полушарие доминирует благодаря центрам речи. Разговаривая с вами, я разговариваю, следовательно, с левым полушарием, а правое может лишь прислушиваться к нашей беседе. Речь оно почти не владеет.

— У других — пожалуй, но только не у меня, — возразил я, на всякий случай придерживая правой рукой запястье левой. — Оно у меня действительно немое, но я, знаете ли, обучил его языку глухонемых. Сколько здоровья мне это стоило!

— Не может быть!

В глазах профессора появился блеск, который я уже видел у его американских братьев; я пожалел о своей откровенности, но было поздно.

— Да ведь оно не владеет глагольными формами! Это доказано.

— Ну и что? Можно и без глаголов.

— Тогда, пожалуйста, спросите его, то есть себя — то есть его, хочу я сказать, — что оно думает о нашей беседе? Можете?

Я с неохотой взял свою левую руку и начал ласково поглаживать ее правой (это, я знал, хорошо помогает), а потом стал подавать условные знаки, дотрагиваясь до левой ладони. Вскоре ее пальцы зашевелились. Я следил за ними какое-то время, после чего, стараясь скрыть злость, положил левую руку на колено, хотя та и сопротивлялась. Разумеется, она тут же чувствительно ущипнула меня за бедро. Этого следовало ожидать, но я не хотел устраивать представление, сражаясь с самим собой на глазах у профессора.

— И что же она сказала? — спросил профессор, неосторожно высовываясь из-за стула.

— Ничего интересного.

— Но я отчетливо видел — она подавала какие-то знаки. Или они были не координированны?

— Нет, почему же, прекрасно координированны, только это — глупость.

— Так говорите! В науке глупостей нет!

— Она сказала: «Ты задница!»

Профессор даже не улыбнулся, до того он был увлечен.

— Нет, правда? Тогда спросите ее, пожалуйста, обо мне.

— Как вам будет угодно.

Я снова взял левую руку и пальцем указал на профессора; мне даже не пришлось ее особенно уговаривать — она ответила моментально.

— Ну, ну?

— «И он задница».

— Прямо так и сказала?

— Да. Глаголы ей действительно не даются, однако понять можно. Но я по-прежнему не знаю, КТО говорит, хотя бы и жестами. У меня в голове есть и Я, и какой-то ОН? Если есть ОН, то почему я ничего не знаю о нем и вообще не ощущаю его — ни его переживаний, ни эмоций, вообще ничего, хотя ОН в МОЕЙ голове и составляет часть МОЕГО мозга? Ведь он не снаружи. Ладно бы еще обыкновенное раздвоение сознания, если бы все у меня там перемешалось — это я еще мог бы понять. Так нет же! Откуда он взялся, этот ОН? Что, он тоже Ийон Тихий? А если так, почему мне приходится объясняться с ним окольным путем, через руку, и получать ответы тоже окольным путем, скажите на милость? Он — или оно, если это полушарие моего мозга, — не на такое еще способен. Если бы он хоть был — или оно было — не в своем уме! Ведь оно то и дело впутывает меня в скандальные истории.

Не видя больше нужды таиться от профессора, я рассказал ему об инцидентах в автобусе и метро. Он был вне себя от любопытства.

— Значит, только блондинки?

— Да. Пусть крашенные, это не имеет значения.

— А что-нибудь еще оно себе позволяет?

— В автобусе — нет.

— А в другой обстановке?

— Не знаю, не пробовал. То есть я не давал ему такой возможности. Или ей, если угодно. Если вам так интересны детали, добавлю, что несколько раз я получал за это пощечины и был вне себя от ярости и смущения, ведь никакой вины

за собой я не чувствовал; и в то же время мне было почему-то весело. Но однажды я получил оплеуху по левой щеке, и тогда мне было совсем не смешно. Я над этим задумался и решил, что могу объяснить, в чем тут дело.

— Ну конечно! — воскликнул профессор. — Левый Тихий получал оплеухи за правого, и именно это правого забавляло. А вот когда правому досталось за правого, это вовсе не показалось ему забавным, ведь он получил, так сказать, не только за свое, но и в свою часть лица.

— Вот именно. Значит, какая-то связь вроде бы есть в бедной моей голове, только скорее эмоциональная, чем рациональная. Эмоции он тоже, как видно, испытывает, хотя я о них ничего не знаю. Допустим, они бессознательные, но возможно ли это? В конце концов этот Экклз с его теорией бессознательных инстинктов плетет чушь. Высмотреть в толпе миловидную блондинку, маневрировать так, чтобы приблизиться к ней, поначалу неизвестно зачем, встать за нею и так далее, — тут ведь целый продуманный план, а не какие-то там инстинкты. Продуманный, а значит, осознаваемый. Но КЕМ? КТО тут обдумывает? КТО обладает этим сознанием, если не Я?

— Ах, знаете, — сказал все еще заметно возбужденный профессор, — это можно в конце концов объяснить. Пламя свечи легко различить в темноте, но не днем, при солнце. Может быть, правый мозг и обладает каким-то сознанием, но слабеньким, как свеча, незаметным на фоне сознания левого, доминирующего полушария. Это вполне вероя...

Профессор мгновенно пригнулся и лишь поэтому избежал удара ботинком по голове. Моя левая нога, упираясь ботинком в ножку стула, мало-помалу стянула его с себя, а потом так резко рванулась вперед, что ботинок полетел, словно пуля, и грохнулся о стену, на волос разминувшись с профессором.

— Может быть, вы и правы, — заметил я, — но обидчив он — просто ужас.

— Вероятно, он ощущает какую-то неясную угрозу себе — под влиянием нашей беседы или, скорее, того, что он мог в ней неверно понять, — предположил профессор. — Кто знает, не лучше ли было бы обращаться к нему прямо.

— Моим способом? Об этом я не подумал. Но зачем? Что вы хотите ему сообщить?

— Это будет зависеть от его реакции. Ваш случай уникален. Еще ни разу не подвергали каллотомии человека, совершенно здорового умственно, и притом с незаурядным умом.

— Вопрос следует поставить ясно, — ответил я, успокоительно поглаживая левую кисть по тыльной стороне, а то она уже начала сгибать и разгибать пальцы, что показалось мне настораживающим. — Мои интересы и интересы науки не совпадают. Не совпадают тем больше, чем более, как вы говорите, уникален мой случай. Если вы — или кто-то еще — сумеете найти общий язык с НИМ (вы понимаете, что я имею в виду) и ЕГО самостоятельность возрастет, это может мне повредить, и даже весьма.

— Ах нет, вы ошибаетесь! — произнес профессор решительно, по-моему, даже слишком решительно. Он снял очки и стал протирать их замшей. В его глазах не было ничего похожего на выражение беспомощности, столь обычное у очень близоруких людей. Он взглянул на меня так быстро и пронизательно, словно прежде очки были ему помехой, и тут же опустил глаза.

— Да ведь всегда и случается именно то, что невозможно, — сказал я, тщательно подбирая слова. — История человечества состоит из сплошных невозможностей. Прогресс науки — тоже. Один молодой философ объяснил мне, что положение, в котором я нахожусь, невозможно, ибо противоречит всем аксиомам философии. Сознание неделимо. Так называемое раздвоение сознания — это, в сущности, сменяющие друг друга необычные его состояния, сопровождающиеся нарушениями памяти и ощущения собственного «Я». Это вам не торт!

— Как вижу, вы порядочно начитались специальной литературы, — заметил профессор, надевая очки. Он что-то добавил, но что — я не расслышал. Я хотел сказать, что сознание, согласно философам, нельзя кроить на кусочки как торт, но запнулся: моя левая рука ткнула пальцем в ладонь правой и начала отбивать знаки. Этого еще с ней не случалось. Макинтайр, заметив, куда я смотрю, мигом смекнул, в чем дело.

— Она что-то говорит, да? — спросил он приглушенным тоном — так говорят в присутствии кого-то третьего, чтобы он не расслышал.

— Да. — Я был удивлен, но все же повторил вслед за рукой. — Она хочет кусочек торта.

Восхищение, отразившееся на лице профессора, отрезвило меня. Заверив жестами руку, что она получит искомое, если будет вести себя хорошо, я продолжил:

— С вашей точки зрения, было бы замечательно, если бы она становилась все более самостоятельной. Я не осуждаю вас, я понимаю: два полностью развитых субъекта в одном

теле — это сенсация; какое тут огромное поле для исследований, открытий и так далее. Но меня торжество демократии в моей голове не устраивает. Я хочу быть не все больше, а все меньше удвоенным.

— Вотум недоверия, не так ли? Я прекрасно вас понимаю... — Профессор благожелательно улыбался. — Пресжде всего хочу вас заверить, что все услышанное мною я буду держать про себя. Под замком врачебной тайны. А кроме того, я и не думал предлагать вам какое-то определенное лечение. Вы сделаете то, что сочтете нужным. Прошу вас хорошенько подумать — разумеется, не здесь и не сразу. Вы долго пробудете в Мельбурне?

— Пока не знаю. Во всяком случае я, с вашего разрешения, еще позвоню.

Тарантога в зале ожидания, увидев нас, вскочил:

— Ну что, профессор?.. Как Ийон?..

— Какое-либо решение еще не принято, — сообщил официальным тоном Макинтайр. — Господин Тихий питает некоторые сомнения. Так или иначе, я всецело к его услугам.

Будучи человеком слова, по дороге в гостиницу я остановил такси у кондитерской и купил кусок торта; мне пришлось съесть его тут же, в машине, — она этого требовала, а сам я вовсе не сладкоежка. Я решил до поры до времени не терзаться вопросом, КОМУ в таком случае хочется сладкого. Никто, кроме меня, на этот вопрос ответить не мог, а сам я ответа тоже не знал.

Мы с Тарантогой жили в соседних номерах; я зашел к нему и в общих чертах обрисовал визит к Макинтайру. Рука прерывала меня несколько раз, выражая свое недовольство. Дело в том, что торт был с лакрицей, а я лакрицу не переношу. Я все ж съел его, полагая, что делаю это для нее, но оказалось, что у меня и у нее — у меня и у него — у меня и второго меня — а впрочем, сам черт не разберет у кого с кем — вкусы одни и те же. Это понятно, ведь рука сама есть не могла, а рот, нёбо и язык у нас общие. Я чувствовал себя как в дурацком сне, кошмарном и забавном одновременно: словно я ношу в себе если не грудного младенца, то маленького, капризного, хитрого ребенка. Я даже вспомнил о гипотезе каких-то психологов, согласно которой у младенцев единого сознания нет, поскольку нервные соединения мозолистого тела у них еще недостаточно развиты.

— Тут тебе какое-то письмо. — Эти слова Тарантоги вернули меня к действительности. Я удивился — ведь о моем местопребывании не знала ни одна живая душа. Письмо было

отправлено из столицы Мексики авиапочтой, без обратного адреса. В конверте оказался крохотный листочек с машинописным текстом: «Он из ЛА».

И все. Я перевернул листок. Обратная сторона была чистой.

Тарантога взял записку, взглянул на нее, потом на меня:

— Что это значит? Ты понимаешь?

— Нет. То есть... ЛА, вероятно, — Лунное Агентство. Это они меня послали.

— На Луну?

— Да. С секретной миссией. По возвращении я должен был представить отчет.

— И представил?

— Да. Написал обо всем, что помнил. И вручил парикмахеру.

— Парикмахеру?

— Так было условлено. Чтобы не идти прямо к ним. Но кто этот «он»? Разве только Макинтайр... Больше я здесь ни с кем не встречался.

— Погоди. Ничего не пойму. Что было в твоём отчете?

— Этого я даже вам сказать не могу. Дал подписку о неразглашении. Но было там не так уж много. Уйму всего я позабыл.

— После несчастного случая?

— Ну да. Что вы делаете, профессор?

Тарантога вывернул разорванный конверт наизнанку. Кто-то написал там карандашом печатными буквами: «Сожги это. Да не погубит правое левого».

Я по-прежнему ничего не понимал, но все же тут чувствовался какой-то смысл. Вдруг я посмотрел на Тарантогу расширенными глазами:

— Начинаю догадываться. Ни на конверте, ни на листочке — ни одного существительного. Заметили?

— Ну и что?

— Она лучше всего понимает существительные. Тот, кто это послал, хотел, чтобы я о чем-то узнал, а она — нет...

При этих словах я многозначительно коснулся левой руки. Тарантога встал, прошелся по комнате, постучал пальцами по столу и сказал:

— Если это значит, что Макинтайр...

— Не продолжайте, прошу вас.

Я достал из кармана блокнот и написал на чистой странице: «Услышанное она понимает лучше прочитанного. Какое-то время нам придется объясняться по этому делу».

письменно. Мне кажется, то, чего я не написал для ЛА — потому что не помню, — помнит *она*, и кто-то об этом знает или по крайней мере догадывается. Я ему не буду звонить и не пойду к нему, потому что, скорее всего, это ОН и есть. Он хотел беседовать с нею по моему способу. Возможно, что-то выведать у нее. Отвечайте мне письменно».

Тарантога прочел, нахмурился и, не произнеся ни слова, начал писать через стол: «Но если он из ЛА, для чего такой кружной путь? ЛА могло обратиться к тебе прямо, не так ли?»

Я ответил: «Среди тех, к кому я обратился в Н.-Й., наверняка был кто-нибудь из ЛА. От него там узнали, что я нашел способ общаться с *ней*. Они не могли испробовать этот способ, потому что я сразу сбежал. Если верить анониму, сын человека, дружившего с вашим отцом, хотел до нее добратся. Пожалуй, он смог бы вытянуть из *нее* все, что она помнит, не вызвав у меня подозрений. И я бы даже не узнал что. А обратиться они ко мне прямо, я мог не дать согласия на дознание, и они бы остались ни с чем. Ведь с точки зрения права *она* не самостоятельное лицо, и только я могу разрешить беседовать с нею кому бы то ни было. Пожалуйста, побольше причастий, местоимений, глаголов. И усложняйте, по возможности, синтаксис».

Профессор вырвал из блокнота исписанный мною листок, спрятал в карман и написал: «Но почему ты, собственно, не хочешь, чтобы *она* узнала о происходящем?»

«На всякий случай. Вспомни, что было написано внутри конверта. Это, конечно, не от ЛА. ЛА не стало бы предостерегать меня от самого же ЛА. Это писал кто-то другой».

Ответ Тарантоги был краток: «Кто?»

«Не знаю. О том, что происходит там, где я был и где я пострадал от несчастного случая, хотели бы узнать многие. Как видно, у ЛА могущественные конкуренты. Думаю, что пора отказаться от общества кенгуру. Сматываем удочки. Повелительного наклонения *она* не понимает».

Тарантога достал из кармана исписанные листки, смял их вместе с письмом и конвертом в комок, поджег его спичкой, бросил в камин и стал смотреть, как горит, превращаясь в пепел, бумага.

— Я пойду в бюро путешествий, — заявил он. — А ты что намерен делать?

— Побреюсь. Борода страшно щекочет, а теперь она все равно ни к чему. Чем скорее, профессор, тем лучше. Можно и ночным рейсом. И, ради Бога, не говорите куда.

Я брлся в ванной и строил перед зеркалом всевозможные

рожи. Левый глаз даже не моргнул. Я выглядел совершенно нормально. Поэтому я принялся собирать вещи, время от времени концентрируя внимание на левой руке и ноге, но те вели себя хорошо. Лишь под самый конец, когда я укладывал в набитый доверху чемодан галстуки, левая рука бросила на пол один из них, зеленый в коричневую крапинку, мой любимый, хотя далеко не новый. Не приглянулся он ей, что ли? Я поднял галстук правой рукой и передал левой, пытаюсь заставить ее положить его в чемодан. Произошло то, что я наблюдал и раньше. Предплечье меня еще слушалось, но пальцы отказались повиноваться и снова выронили галстук на ковер у кровати.

— Хорошенькая история, — вздохнул я. Запихнул галстук правой рукой и закрыл чемодан. Вошел Тарантога, молча показал два билета и пошел укладывать вещи.

Я размышлял о том, есть ли у меня основания опасаться правого полушария. Думать об этом я мог спокойно, зная, что *оно* ничего не узнает, пока я не сообщу ему это жестами. Человек так устроен, что сам не знает, что он знает. О содержании книги можно узнать из оглавления, но в голове никакого оглавления нет. Голова все равно что полный мешок: чтобы узнать, что там есть, нужно вынимать все по очереди. Рыться в памяти, как рукой в мешке. Пока Тарантога платил по счету в отеле, пока мы в сумерках ехали в аэропорт, а потом сидели в зале ожидания, я восстанавливал в памяти все, что случилось после моего возвращения из созвездия Тельца, пытаюсь выяснить, что из этого я еще помню. На Земле я обнаружил огромные перемены. Было достигнуто всеобщее разоружение. Даже сверхдержавы не могли позволить себе и дальше финансировать гонку вооружений. Все более сметливые виды оружия стоили все дороже. Кажется, поэтому и стало возможным Женевское соглашение. Ни в Европе, ни в США никто уже не хотел служить в армии. Людей заменяли автоматы, но один такой автомат обходился не дешевле реактивного самолета. В боевом отношении живые солдаты далеко уступали неживым. Это, впрочем, были вовсе не роботы, а миниатюрные электронные блоки, которыми начиняли ракеты, самоходные орудия, танки, плоские, как огромные клопы (ведь места для экипажа не требовалось), а если в бою блок управления выходил из строя, его заменял резервный. Главной задачей противника стало нарушение оперативной связи, а прогресс в военном деле означал теперь возрастание самостоятельности автоматов. Эта стратегия становилась все эффективнее и все дороже.

Не помню, кто первым предложил совершенно новое решение: все производство вооружений перенести на Луну. Не в виде военных заводов, а в виде так называемых планетных машин. Такие машины уже использовались для освоения Солнечной системы. Как я ни старался, многие подробности никак не приходили на память, и я даже не был уверен, знал я о них прежде или не знал. Обычно, когда не удается чего-то вспомнить, можно хотя бы вспомнить, знал ли ты об этом что-нибудь раньше, но мне было не по силам и это. Новую Женевскую конвенцию я, наверное, читал, но и в этом я не был совершенно уверен. Планетные машины выпускались многими фирмами, по большей части американскими. Они были не похожи ни на что выпускаемое доселе промышленностью. Не заводы, не роботы, а что-то среднее между тем и другим. Некоторые из них напоминали огромных пауков. Разумеется, не было недостатка в трескотне, в петициях с требованием не вооружать их, а применять исключительно в горном деле и так далее; но, когда началась переброска производства на Луну, оказалось, что все государства, которым это было по средствам, уже имеют самоходные ракетные установки, тяжелые орудия, способные нырять под воду, центры управления огнем, прозванные кротами за их способность зарываться глубоко в землю, ползучие лазерные излучатели разового пользования (источником энергии служил в них атомный заряд, и в момент радиационного залпа такой излучатель превращался в облако раскаленного газа). Любая страна могла запрограммировать на Земле свои планетные машины, а специально для этого созданное Лунное Агентство перевозило их на Луну, в соответствующие национальные сектора. Было достигнуто соглашение о паритетах — кто сколько чего может там разместить, а смешанные международные комиссии наблюдали за этим Исходом. Военные и научные эксперты всех государств воочию смогли убедиться, что их аппаратура доставлена на Луну и действует как надлежит, после чего все одновременно вернулись на Землю.

В XX веке такое решение не имело бы смысла, ведь гонка вооружений — не столько количественный рост, сколько внедрение новшеств, которое тогда зависело исключительно от людей. Однако новейшая военная техника развивалась по иному принципу, заимствованному у природной эволюции — эволюции растений и животных. Эти системы были способны к дивергентной автооптимизации, а проще говоря, могли размножаться и переделывать сами себя. Итак, не без некоторого удовлетворения заключил я, кое-что я все-таки

помню. Любопытно, могло ли мое правое полушарие, интересующееся в основном ягодицами блондинок и сладостями и не выносящее галстуков определенной расцветки, воспринимать такие явления и процессы? Или содержание его памяти никакой военной ценности не имсет? Будь это даже правда, решил я, тем для меня хуже: пусть я сто раз присягну, что оно ничего не знает, все равно мне никто не поверит. Они доберутся до меня — то есть до него — то есть как раз до меня, — и если ничего не вытянут из него по-хорошему, знаками, которым я его научил, то засадят его в другую школу, посерьезней моей, а уж там поблажки от них не жди. Чем меньше оно знает, тем больше мне это будет стоить здоровья. А может, и жизни. И это отнюдь не было манией преследования. Так что я опять приступил к обследованию своей памяти.

На Луне началась электронная эволюция новых видов оружия, а значит, ни одно государство, разоружившись, не было безоружным, так как сохраняло самосовершенствующийся арсенал; а вместе с тем не приходилось бояться внезапного нападения. Война без предупреждения стала невозможной. Чтобы начать военные действия, следовало сначала просить у Лунного Агентства доступа в свой сектор, а в таком случае противник потребовал бы доступа в собственный сектор и началась бы обратная доставка средств уничтожения на Землю. Но и это не имело смысла по причине все той же безлюдности лунных вооружений. Никто не мог послать на Луну ни людей, ни разведывательные устройства, чтобы убедиться, каким военным потенциалом он располагает на данный момент. Придуманно это было хитро, хотя поначалу проект натолкнулся на ожесточенное сопротивление штабов и возражения политиков. Луна, в каждом из секторов, должна была стать полигоном для эволюции вооружений. Прежде всего следовало исключить возможность конфликтов между секторами. Если бы оружие, созданное в одном из них, атаковало и уничтожило оружие соседнего сектора, равновесию сил пришел бы конец. Достигнув Земли, известие об этом немедленно привело бы к восстановлению прежнего положения вещей и, вероятно, к началу военных действий; сначала они велись бы самыми скромными средствами, но очень скоро воюющие стороны опять возродили бы свою военную промышленность. Правда, на программы лунных систем были наложены ограничения, за соблюдением которых следило Лунное Агентство и смешанные комиссии, — с тем чтобы ни один сектор не мог напасть на другой; но эта предосторожность признавалась недостаточной. Никто никому по-

прежнему не доверял, ведь Женевское соглашение не превратило людей в ангелов, а мировую политику — в общение праведников на небесах.

Поэтому после переброски военных программ Луна была объявлена зоной, закрытой для всех. Даже Лунное Агентство не допускалось туда. Если бы на одном из полигонов предохраняющие программы подверглись повреждению, Земля узнала бы об этом немедленно: каждый сектор был нашпигован датчиками, действующими автоматически и непрерывно. Они бы забили тревогу, если хотя бы одна металлическая букашка заползла на нейтральную полосу. Но и это не обеспечивало стопроцентной уверенности, без которой невозможен был прочный мир. Таковую уверенность гарантировала лишь «доктрина абсолютного неведения». Хотя каждое правительство знало, что в его секторе развиваются все более эффективные системы оружия, оно не знало, чего они стоят, а главное, эффективнее ли они, чем оружие, возникшее в других секторах. Не знало и не могло знать, так как ход любой эволюции непредсказуем. Это было доказано довольно давно, и главное препятствие состояло в хронической глухоте политиков и генштабистов к аргументам ученых. И не логические доводы убедили даже самых тугоухих, а надвигающаяся хозяйственная разруха — неизбежное следствие гонки вооружений на старый манер. Даже последний кретин не мог в конце концов не понять, что для всеобщего уничтожения вовсе не обязательна война, атомная или обычная, — к тому же результату приведет стремительный рост военных расходов; а так как переговоры об их ограничении тянулись впустую уже десятки лет, лунный проект оказался единственным реальным выходом из тупика. Каждое правительство имело основания полагать, что благодаря своим лунным базам оно становится все могущественнее, но не могло сравнить свой тамошний потенциал с военным потенциалом других государств. Коль скоро никто не знал, можно ли рассчитывать на победу, никто не решился бы начать войну.

Ахиллесовой пятой этого плана была низкая эффективность контроля. Эксперты сразу поняли, что военные программисты постараются создать такие программы, которые после переброски их на Луну сумеют обмануть контролеров. И вовсе не обязательно нападать на контрольные спутники; есть более хитроумный и незаметный способ: проникновение в систему связи для фальсификации данных наблюдений, передаваемых на Землю, а особенно — Лунному Агентству.

Все это я помнил достаточно хорошо и потому, поднима-

ясь вслед за Тарантогой в самолет, чувствовал себя поспокойнее; и все же, усевшись в кресло, снова принялся перетряхивать свою память.

Да, все понимали: нерушимость мира зависит от неприкосновенности системы контроля; но как ее обеспечить на сто процентов? Задача выглядела неразрешимой, как своего рода *regressus ad infinitum**: нужно создать систему, контролирующую неприкосновенность контроля, но и эта система может подвергнуться нападению, так что пришлось бы создавать контроль контроля, и так без конца. Эту бездонную дыру залатали, однако, довольно просто. Луну опоясали две зоны контроля. Внутренняя следила за неприкосновенностью секторов, а внешняя — за неприкосновенностью внутренней. Гарантией безопасности должна была стать полная независимость обеих зон от Земли. Итак, гонка вооружений развивалась в абсолютной тайне от всех государств и правительств. Могли совершенствоваться вооружения, но не система контроля. Она должна была действовать без изменений в течение ста лет.

Все это выглядело, по правде сказать, совершенно иррационально. Каждое государство знало, что его лунные арсеналы пополняются, но чем — не знало и потому не могло извлечь отсюда никакой политической выгоды. Так почему бы не решиться на полное разоружение без всяких лунных осложнений? Но об этом и речи не было. То есть, конечно, об этом говорили с тех пор, как возник человек, — с известными результатами. Впрочем, когда проект демилитаризации Земли и милитаризации Луны был принят, стало ясно, что рано или поздно кто-нибудь попытается нарушить доктрину неведения. И в самом деле, время от времени печать под огромными заголовками сообщала об автоматах-разведчиках; будучи обнаружены, они успевали скрыться или же, так сказать, захватывались в плен спутниками-перехватчиками. В таких случаях каждая сторона обвиняла другую, но установить происхождение авторазведчика не удавалось. Ведь электронный разведчик — не человек; из него, если он правильно сконструирован, никакими способами ничего не выжмешь. В конце концов анонимные аппараты — «космические шпики» — перестали появляться. Человечество облегченно вздохнуло, особенно если учесть экономическую сторону дела. Лунные вооружения не стоили ни гроша. Энергию доставляло им Солнце, сырье — Луна. Последнее обстоятель-

* Сползание к бесконечности (*лат.*).

ство рассматривалось как еще одно ограничение эволюции вооружений, ведь на Луне нет металлических руд.

Сначала штабисты всех армий не соглашались на лунный проект; они утверждали, что оружие, приспособленное к лунным условиям, на Земле может оказаться ни к черту, раз на Луне даже нет атмосферы. Не помню уж, как обошли эту трудность, хотя, конечно, и это мне объяснили в Лунном Агентстве. Мы с Тарантогой летели на самолете ВОАС*, за окнами была крошечная тьма, и я улыбнулся при мысли о том, что понятия не имею, куда мы летим. Расспрашивать Тарантогу я счел излишним и даже подумал, что будет безопаснее, если мы побыстрее расстанемся. В моем пиковом положении лучше всего помалкивать и рассчитывать лишь на себя. Только одно отчасти меня утешало: *оно* не может узнать, что у меня на уме. В моей голове словно бы засел враг, хотя я знал, что это вовсе не враг.

Лунное Агентство было надгосударственным учреждением ООН, и обратилось оно ко мне по весьма необычному поводу. Двойная система контроля действовала, как оказалось, *слишком хорошо*. Было известно, что границы между секторами остаются неприкосновенными, — и ничего больше. Поэтому в изобретательных и беспокойных умах возникла картина нападения безлюдной Луны на Землю. Вооружения секторов не могли не только столкнуться между собой, но даже вступить в контакт — однако лишь до поры до времени. Сектора могли бы обмениваться информацией, например, по так называемому сейсмическому каналу, то есть посредством сотрясений лунной поверхности, неотличимых от естественных сейсмических колебаний. Самосовершенствующееся оружие могло, таким образом, когда-нибудь объединиться и обрушить свой чудовищно выросший потенциал на Землю. С какой стати? Ну, скажем, из-за сбоя эволюционных программ. Какую пользу могли бы извлечь безлюдные армии из уничтожения Земли? Разумеется, никакой, но ведь рак, столь частый в организме людей и высших животных, — это неизбежный, хотя и бесполезный, и более того, вредный продукт естественной эволюции. Когда о «лунном раке» начали говорить и писать, когда появились диссертации, статьи, романы и фильмы о лунном нашествии, изгнанный с Земли страх перед атомной гибелью вернулся в новом облике. В систему контроля, среди прочего, входили сейсмические датчики, и нашлись специалисты, заявившие, будто бы колебания лун-

* Английская авиакомпания.

ной коры участились, а сейсмографические кривые — не что иное, как переговорные шифры; но за этим не последовало ничего, кроме растущего страха. Лунное Агентство пыталось успокоить общественность, разъясняя в своих заявлениях, что тут нет и одного шанса на двадцать миллионов, но это было как об стену горох. Страх просочился в программы политических партий; раздались голоса, требующие периодического контроля самих секторов, а не только границ между ними. Представители Агентства возражали на это, что любая инспекция может быть использована для шпионажа — чтобы установить уровень развития лунных арсеналов. После долгих и сложных совещаний и конференций Лунное Агентство получило наконец разрешение на разведывательные экспедиции. Но осуществить их оказалось не так-то просто. Из авторазведчиков ни один не вернулся и даже не пискнул ни разу по радио. Тогда под особой защитой были посланы спускаемые аппараты с телеаппаратурой. И что же? По данным спутникового слежения, они прилунились точно в намеченных пунктах, на ничейной земле между секторами, — в Море Дождей, в Море Холода, в Море Нектара; но ни один не передал хоть какого-нибудь изображения. Все они словно провалились в лунный грунт. Тут-то, ясное дело, и началась настоящая паника. Газеты уже требовали подвергнуть Луну упреждающему термоядерному удару. Сначала, однако, пришлось бы опять изготовить ракеты и бомбы, иными словами, возобновить ядерные вооружения. Из этого страха, из этой сумятицы и родилась моя миссия.

Мы летели над волнистой пеленой облаков, пока наконец их гребни не зарозовели в лучах скрытого за горизонтом солнца. Почему я так хорошо помнил все земное и так плохо — все случившееся со мной на Луне? Я догадывался, в чем тут дело. Недаром по возвращении штудировал медицинскую литературу. Память бывает кратковременная и долговременная. Рассечение мозолистого тела не разрушает того, что мозг уже прочно усвоил, но свежие, только что возникшие воспоминания улечучиваются, не переходя в долговременную память. А хуже всего запоминается то, что пациент переживал и видел перед самой операцией. Поэтому я не помнил очень многого из своих семи недель на Луне — когда я скитался от сектора к сектору. Память сохранила лишь ореол чего-то необычайного, но этого впечатления я не мог передать словами и в отчете о нем умолчал. И все же — так мне, по крайней мере, казалось — ничего пугающего там не было. Ничего похожего на стовор, мобилизационную готовность, стратегический за-

говор против Земли. Я ощущал это как нечто вполне несомненное. Но мог бы я присягнуть, что ощущаемое и осознаваемое мною — это все? Что оно ничего больше не знает?

Тарантога молчал и лишь время от времени поглядывал в мою сторону. Как обычно, когда летишь на восток — ибо под нами простирался Тихий океан, — календарь запнулся и потерял одни сутки. ВОАС сэкономила за счет пассажиров; мы получили лишь по жареному цыпленку с салатом перед самой посадкой — как оказалось, в Майами. Время было послеобеденное. Таможенные собаки обнюхали наши чемоданы, и мы, одетые слишком тепло для здешней погоды, вышли из аэропорта на улицу. В Мельбурне было гораздо холоднее. Нас ожидала машина без водителя. Тарантога, должно быть, заказал ее еще в Австралии. Загрузив чемоданы в багажник, мы поехали по шоссе, забитому машинами, по-прежнему молча, — я попросил профессора не говорить мне ничего, даже куда мы едем. Предосторожность, возможно, чрезмерная и даже вовсе излишняя, но я предпочитал держаться этого правила, пока не придумаю чего-нибудь получше. Впрочем, ему не пришлось объяснять мне, куда мы приехали после добрых двух часов езды круглыми путями; увидев большое белое здание среди пальм и кактусов, в окружении павильонов поменьше, я понял: мой верный друг привез меня в сумасшедший дом. Не самое плохое убежище, подумалось мне. В машине я нарочно сел сзади и время от времени проверял, не едет ли кто за нами; мне не пришло в голову, что я, быть может, персона уже чертовски важная — прямо-таки драгоценная, — и меня будут выслеживать способом куда более необычным, чем в шпионских романах. В наше время с искусственного спутника можно не только машину увидеть — можно сосчитать рассыпанные на садовом столике спички. Это, повторяю, мне не пришло в голову, точнее, в ту ее половину, которая и без азбуки глухонемых понимала, во что впутался Ийон Тихий.

II. ПОСВЯЩЕНИЕ В ТАЙНУ

В самую черную полосу моей жизни я попал совершенно случайно, решив, по возвращении с Энци, встретиться с профессором Тарантогой. Дома я его не застал — он полетел зачем-то в Австралию. Правда, лишь на несколько дней; но он выращивал какую-то особенную влаголюбивую примулу и, чтобы было кому ее поливать, оставил у себя в квартире

кузена. Не того, что собирал настенные надписи в клозетах всех стран, а другого, занимавшегося палеоботаникой. У Тарантоги много кузенов. Этого я не знал; заметив, что он одет по-домашнему и только что отошел от пишущей машинки со вставленным в нее листом бумаги, я хотел было уйти, но он меня удержал. Я не только ему не мешаю, сказал он, но, напротив, пришел как раз вовремя: он работает над трудной, новаторской книгой и ему легче будет собраться с мыслями, если он сможет изложить содержание новой главы хотя бы случайному слушателю. Я испугался, решив, что он пишет ботанический труд и начнет забивать мне голову лопухами, былинками и стебельками; к счастью, это оказалось не так. Он даже заинтересовал меня не на шутку. Уже на заре истории, объяснял он, среди первобытных племен встречались оригиналы, которых как пить дать считали чокнутыми, поскольку они брали в рот все, что попадалось им на глаза, — листья, клубни, побеги, стебли, свежие и высушенные корни всевозможных растений, причем, должно быть, мерли они как мухи, ведь на свете столько ядовитой растительности! Это, однако, не отпугивало новых нонконформистов, которые опять принимались за свое опасное дело. Только благодаря им ныне известно, каких кулинарных стараний стоят шпинат или спаржа, куда положить лавровый лист, а куда — мускатный орех и что от волчьей ягоды лучше держаться подальше. Кузен Тарантоги обратил мое внимание на забытый наукой факт: чтобы установить, какое растение лучше всего годится на курево, сизифам древности пришлось собирать, высушивать, подвергать ферментации, скручивать и превращать в пепел добрых 47 000 видов листовных растений, пока наконец они не открыли табак; ведь нигде не ждала их табличка с надписью, что *это* годится для производства сигар или, по измельчении в порошок, — махорки. Целые дивизии этих палеоэнтузиастов столетие за столетием брали в рот, грызли, жевали, пробовали на язык и глотали все, ну буквально все, что росло где бы то ни было — под забором или на дереве, и притом по-всякому: в сыром и вареном виде, с водой и без воды, с отцеживанием и без, в неисчислимых сочетаниях; так что мы пришли на готовое и знаем, что капуста идет к свинине, а свеколка — к зайчатине. Из того, что кое-где к зайчатине подают не свеколку, а, скажем, красную капусту, кузен Тарантоги делает вывод о раннем возникновении этнических общностей. К примеру, нет славянина без борща. Свои экспериментаторы, как видно, были в каждом народе, и, раз уж они выбрали свеклу, потомки остались верны ей, даже

если соседние нации ее презирали. О различиях в кулинарной культуре, с которыми связаны различия в национальном характере (корреляция между мятным соусом и английским сплином — в случае с отбивной, например), кузен Тарантоги задумал особую книгу. В ней он растолкует, почему китайцы, столь многочисленные с давних времен, предпочитают есть палочками, к тому же все мелко нарубленное и накрошенное и непременно с рисом.

Все знают, повысил он голос, кем был Стефенсон, и все почитают его за банальнейший локомотив, но что такое локомотив (к тому же паровой и давно устаревший) по сравнению с артишоками, которые останутся с нами навеки? Овощи, в отличие от техники, не устаревают, и я застал его как раз за обдумыванием главы, посвященной этой совершенно не исследованной теме. Впрочем, разве Стефенсон, водружая на колеса уже готовую паровую машину Уатта, подвергался смертельной опасности? Разве Эдисон, изобретая фонограф, рисковал жизнью? Им обоим в худшем случае грозило брюзжание родственников или банкротство. До чего же несправедливо, что изобретателей технической рухляди обязан знать каждый, а великих изобретателей-гастрономов не знает никто, и никому даже в голову не придет поставить памятник Неизвестному Кулинару, наподобие тех, что воздвигнуты Неизвестным Солдатам. А между тем сколько отчаянно смелых героев-первопроходцев пало в страшных мучениях хотя бы во время грибной охоты! Ведь у них был один только способ отличить ядовитый гриб от съедобного: съесть собранное и ждать, не придет ли твой последний час.

Почему, скажите на милость, в школьных учебниках только и пишут, что о разных там Александрах Македонских, которые, будучи сынками царей, приходили на все готовое? Почему детишкам положено знать о Колумбе, который всего лишь открыл Америку, да и то по ошибке, на пути в Индию, а об открывателе огурца нет ни единого слова? Без Америки мы как-нибудь обошлись бы, впрочем, рано или поздно она сама дала бы о себе знать, но огурец о себе и не пикнул бы, и к жаркому мы не имели бы приличного маринада. Насколько же больше героизма было в гибели тех безымянных энтузиастов, чем в смерти на поле брани! Если солдат не шел на вражеские окопы, он шел под полевой суд, между тем никто никого не заставлял рисковать жизнью ради неведомых ягодок или грибочков. Кузен Тарантоги желал бы поэтому видеть мемориальные доски на стенах каждого порядочного ресторана, с соответственными надписями, например, MOR-

TUI SUNT UT NOS BENE EDAMUS*, или на худой конец MAKE SALAD, NOT WAR**. И в первую очередь — у вегетарианских столовых, ведь с мясными блюдами было куда проще. Чтобы соорудить котлету или отбить отбивную, достаточно подглядеть, что гиена или шакал делают с падалью; то же самое относится к яйцам. За шестьсот сортов сыра французы заслуживают, быть может, настольной медали, но уж никак не памятника и не мраморной мемориальной доски, потому что эти сорта они открывали чаще всего по рассеянности. Оставил, например, растяпа-пастух рядом с головкой сыра ломоть заплесневелого хлеба, и появился на свет рокфор. Когда мой собеседник принялся порицать современных политиков за пренебрежение к овощам, зазвонил телефон. Кузен Тарантоги снял трубку; оказалось, однако, что просят меня. Я был весьма удивлен — ведь никто не мог знать о моем возвращении со звезд, — но все тотчас же выяснилось. Кто-то из аппарата Генерального секретаря ООН хотел узнать у Тарантоги мой адрес, а кузен, так сказать, замкнул меня с этим человеком накоротко. Говорил доктор Каксус Вагатам, Специальный уполномоченный Советника по вопросам глобальной безопасности при Генеральном секретаре Организации Объединенных Наций. Он хотел встретиться со мной возможно быстрее, так что мы условились на следующий день; записывая в блокноте время приема, я и понятия не имел, в какую историю впутываюсь. Пока что, однако, этот звонок меня выручил, оборвав поток рассуждений моего собеседника, который жаждал поговорить о правах с перцем; я распрощался с ним, сославшись на крайнюю занятость и дав лживое обещание вскоре его навестить.

Долгое время спустя Тарантога рассказал мне, что примула все же засохла, — в своем палеоботаническо-кулинарном экстазе кузен забывал ее поливать. Этот случай я счел типичным: тому, у кого на уме лишь множественное число, наплевать на единственное. Потому-то у великих реформаторов, мечтающих разом осчастливить все человечество, не хватает терпения на отдельных людей.

Шило не скоро вылезло из мешка. Меня не известили, что мне предстоит рискнуть головой ради человечества и полететь на Луну, чтобы выведать, не затевают ли чего-нибудь умные вооружения. Сперва меня принял доктор Вагатам — за чашкой черного кофе и рюмкой старого коньяка. Это был

* Они умерли, дабы мы вкусно ели (лат.).

** Готовь салат, а не войну (англ.).

невероятно улыбчивый азиат, азиат образцовый: от него я вообще ничего не узнал, так он хранил тайну. Генеральный секретарь, похоже, желал непременно познакомиться с моими книгами, но, как человек невероятно загруженный, просил указать ему мои сочинения, которые я считаю наиболее важными. По видимости случайно к Вагатану зашли еще какие-то посетители и стали просить у меня автограф. Отказать было трудно. Разговор зашел и о роботах, и о Луне, но главным образом о ее роли в истории — как декоративного элемента в любовной лирике. Лишь много позднее я узнал, что это были не просто разговоры, но переход от screening к clear-ance*, а кресло, в котором я удобно расположился, было нашпиговано датчиками — чтобы по еле заметным изменениям мышечного напряжения исследовать мои реакции на «ключевые вербальные раздражители», вроде той же «Луны» или «робота». Ибо положение, в котором я оставил Землю, отправляясь к звездам Тельца, изменилось коренным образом: теперь пригодность к разведывательным операциям исследовал и оценивал в баллах компьютер, а мои собеседники играли лишь роль вспомогательных инструментов. Сам не знаю зачем, но назавтра я снова зашел в резиденцию ООН, а потом еще, раз уж меня приглашали. Они хотели видеть меня непременно и постоянно; я начал обедать с ними в столовой, весьма недурной, но настоящая цель моих все более частых визитов оставалась неясной. Намечалось как будто издание собрания всех моих сочинений Объединенными Нациями на всех языках мира, а их не меньше четырех с половиной тысяч. Хотя тщеславия во мне нет ни капли, эту мысль я признал разумной. Новые знакомые оказались страстными поклонниками моих «Звездных дневников». То были доктор Рорти, инженер Тоттенанц и братья Сиввилкис, близнецы — я различал их по галстукам. Оба были математиками. Старший, Кастор, занимался алгомастикой, то есть алгеброй конфликтов, заканчивающихся фатально для всех, кто в них вовлечен. Поэтому данную отрасль теории игр иногда называют садистикой, а Кастора коллеги называли садистиком, причем Рорти утверждал, будто его полное имя — Кастор Ойл, то есть Касторка. Должно быть, шутил. Второй Сиввилкис, Поллукс, был статистиком и имел весьма своеобразную привычку после долгого молчания вмешиваться в разговор с вопросами ни к селу ни к городу, например: сколько людей во всем мире в данный момент ковыряют в носу? Будучи фено-

* Здесь: (от) проверки благонадежности (к) допуску (англ.).

менальным счетчиком, такие вещи он вычислял мгновенно. Кто-нибудь из них обычно ждал меня из вежливости в вестибюле, огромном, как ангар «космических челноков», и провожал к лифту. Мы ехали либо к Сиввилкисам, в их лабораторию, либо к профессору Йонашу Куштику, который тоже был без ума от моих книг и цитировал их на память с указанием страницы и года издания. Куштик (так же, как и Тоттентанц) занимался теорией теледублей, или телетроникой. Телетроника — это новая область робототехники; она занимается проблемами переброски, или трансляции, сознания (прежде это называли *telepresence**). Лозунг телетронщиков: «Сам не можешь — пошли теледубля». Именно Куштик и Тоттентанц уговорили меня испробовать теледублирование на себе, то есть транслироваться (человека, все ощущения которого транслируются по радио теледублю, называют «парень в транс» или «телекинутый»).

Я не долго думая согласился, и лишь много позже до меня дошло, что ни один из них не был в таком уж восторге от моих книг, а читали они меня по долгу службы, чтобы вместе с другими сотрудниками Лунного Агентства (имена которых я опушу, дабы не заносить их на скрижали истории) незаметно втянуть меня в проект, названный Лунной Миссией. Почему незаметно? А потому что я мог отказаться и, вместо того чтобы лететь на Луну, вернуться домой, выведав все тайны Миссии. Ну и что, мог бы спросить меня кто-нибудь непонимающе, мир, что ли, от этого перевернулся бы? В том-то и дело, что мог перевернуться. От человека, выбранного Лунным Агентством среди тысяч других, требовались максимально возможные компетентность и лояльность. Компетентность — это понятно, но лояльность? Кому я должен был хранить верность? Агентству? В известном смысле — да, поскольку оно представляло интересы человечества в целом. Речь шла о том, чтобы ни одно государство в отдельности, ни одна группировка или, допустим, тайная коалиция государств не могли узнать о результатах лунной разведки, ибо тот, кто первым узнал бы о состоянии лунных вооружений, мог получить стратегическую информацию, дающую ему перевес на Земле. А значит, воцарившийся на ней мир вовсе не был идиллией.

Вот так ученые, рассыпавшиеся передо мной в любезностях и позволявшие мне, словно ребенку, забавляться теледублями, в сущности, рассекали мой мозг по живому (вернее,

* Телеприсутствие (англ.).

помогали это делать компьютерам, незримо участвовавшим во всех наших беседах). Кастор Сиввилкис со своими сюрреалистическими галстуками тоже был тут, в качестве теоретика конфликтных игр с пирровым исходом, а ведь именно такую игру вели со мной — или против меня. Чтобы принять или отвергнуть миссию, надо было с ней ознакомиться; но если бы затем я от нее отказался — или дал свое согласие, а вернувшись, выдал кому-нибудь результаты своей экспедиции, — возникло бы положение, которое алгоматики называют предкатастрофическим. Кандидатов имелось множество — всевозможных рас и национальностей, с различным образованием и различными заслугами в прошлом; я был одним из них, даже не догадываясь об этом. Избранник должен был стать представителем человечества, а не шпионом, хотя бы потенциальным, какой-либо державы. Не случайно девизом операции «Мука» служила аббревиатура PAS (Perfect Assured Secrecy*). «Мука» потому, что имелось в виду тщательное *просеивание* кандидатов для выбора идеального разведчика. В зашифрованных рапортах он именовался Миссионером. «Мука» содержала намек на «Сито», прямо не называвшееся, чтобы, упаси Бог, кто-нибудь посторонний не догадался, о чем речь.

Объяснил ли мне кто-нибудь все это до конца? Куда там. Тем не менее, когда я был назначен Миссионером (LEM: Lunar Efficient Missionary**) и который уж раз залезал в ракету, чтобы через пару часов несолоно хлебавши вылезти обратно в скафандре, обвешанном проводами и трубочками, потому что опять что-то там не заладилось во время обратного отсчета секунд перед стартом (count-down), — у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить о событиях последних месяцев; в конце концов они уложились у меня в голове в надлежащем порядке, и, сопоставив одно с другим, я понял истинную подоплеку игры, которую вело со мной ЛА ради самой высокой на свете ставки. Самой высокой если не для человечества, то для меня: я без всякой алгоматики и теорий пирровых игр пришел к убеждению, что в такой ситуации самый надежный способ обеспечить PAS — это прикончить разведчика немедленно после его благополучного возвращения на Землю с готовым рапортом. А так как я знал, что теперь они должны послать меня в небеса, раз уж я оказался лучшим и надежнейшим из всех кандидатов, то в промежутке

* Абсолютно гарантированная секретность (англ.).

** Квалифицированный лунный миссионер (англ.).

между очередными стартовыми отсчетами я сообщил об этой догадке своим коллегам — Сиввилкисам, Куштику, Блэхаузу, Тоттентанцу, Гаррафизу (о Гаррафизе я еще, может быть, расскажу отдельно); все они, вместе с дюжиной техников-связистов, составляли земной экипаж моей селенологической экспедиции, то есть должны были стать для меня тем же, чем для Армстронга и компании был во время полета «Аполло» центр в Хьюстоне. Желая попортить этим фарисеям возможно больше крови, я спросил, известно ли им, кто мною займется, когда я вернусь героем на Землю, — само Лунное Агентство или его субподрядчик — Murder Incorporated?*

Именно так я и сказал, этими самыми словами, чтобы проверить их реакцию: если они вообще принимали в расчет *этот* вариант, то должны были понять меня с лету. И точно — они застыли как громом пораженные. Эта сцена и теперь у меня перед глазами. Небольшое помещение на космодроме — так называемый зал ожидания, — обставленное по-спартански: металл, облицованный светло-зеленым пластиком, да автоматы с кока-колой, вот только кресла там были действительно удобные; я, в ангельски белом скафандре, с головою под мышкой (то есть со шлемом, но так уж говорили: пилот «с головою под мышкой» должен был непременно лететь), стою напротив верных товарищей — ученых, докторов, инженеров. Первым, кажется, отозвался Кастор Ойл. Что это, мол, не они, что это компьютер, да и то лишь в уравнениях, ибо, конечно, в чисто математическом плане решение леммы Perfect Assured Secrecy *именно таково*, но эта абстракция, не учитывающая этического коэффициента, никогда не входила в расчет — и я оскорбляю их всех, говоря такое, в такую минуту...

— Ой-ой-ой, — заметил я. — Ну ясно, всему виною компьютер. Экая бяка! Но оставим в покое этику. Все вы, сколько вас тут ни есть, почти что святые, да и я тоже. И все-таки неужели никому из вас, с компьютером во главе, не пришло в голову именно *это*?

— То есть *что*? — оторопело спросил Пирр Сиввилкис (ибо его называли и так).

— То, что я *догадаюсь*, а когда я проверю *эту* догадку, как я только что сделал, этот факт войдет в уравнения, определяющие мою лояльность, и тем самым *изменит* этот определитель...

— Ах, — вскрикнул Сиввилкис-второй, — разумеется, мы

* Корпорация «Убийство» (англ.).

это учли, ведь это азы алго-математической статистики: я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, что я знаю, — это как раз и есть бесконечностные аспекты теории конфликтов, которые...

— Хорошо, хорошо, — сказал я, успокаиваясь, потому что меня заинтересовала математическая сторона дела. — И что же у вас получилось в конце? Что такое предположение подорвет мою лояльность?

— Вроде бы так, — с неохотой ответил Кастор Ойл за брата. — Но снижение уровня твоей лояльности после *такой* сцены, как *эта* (ее ведь тоже пришлось просчитать), представляет собой убывающую до нуля последовательность.

— Ага, — я почесал нос, переключаясь шлемом из правой подмышки под левую, — значит, *вот это уменьшает* математическое ожидание снижения моей лояльности?

— Уменьшает, а как же! — подтвердил он.

А его брат добавил, глядя мне прямо в глаза ласково и вместе с тем испытующе:

— Да ты, должно быть, и сам чувствуешь...

— Действительно... — пробормотал я, не без удивления обнаруживая, что они — или их компьютер — оказались правы в своих психологических расчетах: я уже был совсем не так зол на них.

Над выходом на площадку космодрома зажегся зеленый сигнал, и одновременно отозвались все зуммеры в знак того, что неисправность устранена и мне пора снова лезть в ракету. Ни слова не говоря, я повернулся и пошел в их сопровождении, обдумывая по дороге эффектную концовку этой истории. Я опережаю события, но, если уж начал, надо закончить. Когда я покинул стационарную околоземную орбиту и они черта лысого могли мне сделать, то на вопрос о своем самочувствии ответил, что чувствую себя превосходно и подумываю о том, не стакнуться ли мне с лунным *государством*, чтобысыпать кое-кому из земных знакомых. И как же фальшиво прозвучал их смех в моих наушниках...

Но все это было потом, после экскурсий по псевдолунному полигону и посещения «Джинандроикс Корпорейшн». Эта гигантская фирма по торговому обороту опередила даже ИВМ, хотя начинала как ее скромный филиал. Тут я должен объяснить, что «Джинандроикс», вопреки распространенному мнению, не производит ни роботов, ни андроидов, если понимать под ними человекоподобные манекены с человекоподобной психикой. Точная имитация человеческой психики почти невозможна. Правда, компьютеры восьмидесятого по-

колениа умнее нас, но их духовная жизнь не похожа на нашу. Нормальный человек — существо крайне нелогичное, этим-то человек и отличается. Это разум, верно, но сильно загрязненный эмоциями, предрассудками и предубеждениями, источник которых — в детских переживаниях или в генах родителей. Поэтому специалисту не слишком трудно разоблачить робота, выдающего себя (например, по телефону) за человека. Несмотря на это принципиальное возражение, пресловутая «Секс Индастри» производила пробные партии так называемых *C-доллс* (одни расшифровывают это как *Секс доллс* — куклы для занятия любовью, а другие — как *Седатив доллс* — прелестные обольстительницы или, скорее, обольстительные прелестницы) из совершенно новых материалов, настолько близких к биологическим, что их применяют в качестве трансплантантов кожи при ожогах. Эти *femmes de compagnie** не нашли сбыта. Они были слишком логичны (а говоря попросту, слишком умны; у мужчин, развлекавшихся с подобными умницами, развивался комплекс неполноценности) и, конечно, слишком дороги. Чем раскошелиться на такую сожительницу (самые дешевые, *made in Japan*, стоили свыше 90 000 долларов штука, не считая местных налогов и налога на роскошь), проще было завести куда менее разорительный роман с натуральной партнершей. Настоящая революция на рынке началась с появлением теледублеток, или «пустышек». Это тоже куклы, неотличимые от женщин, но «пустые», то есть безмозглые. Я не женоненавистник, и если я говорю «безмозглые», то не повторяю глупости вслед за разными Вайнингерами, отказывающимися прекрасному полу в уме; это следует понимать буквально: теледубль и теледублетка — не более чем манекены, пустые оболочки, управляемые человеком.

Надев одежду со множеством вшитых электродов, прилегающих к коже, каждый может воплотиться в теледубля или теледублетку. Никто не подозревал, какие за этим последуют потрясения, особенно в эротической жизни — от супружеских отношений до старейшей в мире профессии. Нелегкие проблемы пришлось решать правоведам. Согласно закону, интимные отношения с так называемой секс-куклой не считались изменой, а значит, и основанием для развода. Была ли она чем-нибудь набита или надувалась велосипедным насосом, имела передний или задний привод, автоматическое переключение скоростей или ручное — все равно; об измене

* Здесь: девушки для развлечения (*фр.*).

не было речи точно так же, как если бы ты жил с этажеркой. Но оставался нерешенным вопрос: совершает ли измену лицо, которое, состоя в законном браке, путается с теледублем или теледублеткой. Понятие «телеизмены» горячо обсуждалось в газетах и в научной печати. А дальше задачки пошли потруднее. Скажем, можно ли изменить жене с нею самой, но в ее молодом обличье? Некий Эдлэй Грауцер заказал в бостонском филиале «Джинандроикс» дублетку — точную копию собственной жены в возрасте двадцати одного года (в момент заказа ей было пятьдесят девять). Проблема осложнялась тем, что в двадцать один год миссис Грауцер была вовсе не миссис Грауцер, но женой Джеймса Брауна, с которым она разошлась спустя двадцать лет. Дело прошло через все инстанции. Суду пришлось решать, действительно ли жена, *не желающая* управлять теледублеткой интимным образом, отказывается тем самым от исполнения супружеских обязанностей. Возможен ли телеинцест, телесадизм и телемазохизм. А равно и педерастия. Какая-то фирма выпустила серию манекенов, которых можно было, порывшись в ящике с запасными частями, переделывать в дамекенов или даже в гермафроденов. Японцы ввозили в Соединенные Штаты и Европу гермафроденов по демпинговым ценам; их пол задавался движением руки (по принципу «ручку вправо, ручку влево, из Адама вышла Ева»). Среди клиентов «Джинандроикс» было, говорят, множество убежденных седиными проституток, которые не могли уже заниматься своим ремеслом непосредственно, но, располагая громадным опытом, мастерски управляли теледублетками.

Эротическими проблемами дело, разумеется, не ограничилось. Так, например, мальчишка двенадцати лет, получивший за ошибки в диктанте неудовлетворительную оценку, воспользовался отцовским теледублем атлетического сложения, чтобы намять бока учителю и поломать у него в квартире всю мебель. Такой теледубль использовался в качестве домашнего стража. Модель эта шла нарасхват. Дубль обитал в будке у садовой калитки и должен был охранять дом от грабителей. Поэтому отец того сорванца спал в пижаме с вшитыми в нее электродами; если особый сигнал извещал о появлении в саду посторонних, он мог, не вставая с постели, справиться — в лице теледубля — с несколькими непрошенными гостями сразу и задержать их до прихода полиции. Сынишка стащил пижаму, когда отца не было дома.

На улицах я нередко видел пикеты и демонстрации против «Джинандроикс» и родственных ей японских фирм. Преоб-

ладали в них женщины. Законодатели тех немногих американских штатов, в которых гомосексуализм еще оставался уголовно наказуемым, ударились в панику, так как неясно было, преступает ли закон педераст, влюбленный в нормального мужчину и посылающий ему обольстительную дублетку, чтобы лично управлять ею. Возникли новые понятия, например, телеподружка (*telemate*) — любовница или жена, дарящая любовь на расстоянии. Наконец Верховный суд признал допустимыми, то есть относящимися к матримониальной сфере, интимные отношения *per procu** (посредством теледубля) при обоюдном согласии супругов, но тут получило огласку дело Кукерманов. Он был коммивояжером, она — владелицей парикмахерской. Вместе они бывали редко: она не могла оставить парикмахерскую без присмотра, а он постоянно находился в разъездах. Кукерманы договорились опосредовать свои супружеские отношения, но начали спорить из-за того, кто будет посредником: теледубль-муж или теледублетка, заменяющая жену. Сосед Кукерманов, решив, по доброте души, помочь супругам, навлек на себя их гнев; он предложил им пойти на компромисс и прибегнуть к телематической паре: телемуж с тележеной представлялись ему соломоновым решением. Кукерманы, однако, сочли его предложение идиотским и оскорбительным. Откуда им было знать, что их спор, попав на страницы газет, приведет к эскалации телетронных злоупотреблений. Теледубля можно одеть в комбинезон с электродами, чтобы управлять следующим теледублем, и так без конца. Преступный мир сразу ухватился за эту идею. Ведь установить, откуда управляется теледубль, не труднее, чем запеленговать телепередатчик. Так обычно и поступала полиция в случае телематических грабежей и убийств. Но если теледубль управляется вторым теледублем, лишь этого второго и можно запеленговать, а тем временем настоящий преступник, человек, успеет отключиться от промежуточного дубля и замести за собой следы.

Каталоги «Телемейт компани» и японской фирмы «Сони» предлагали теледублей размером от лилипута до Кинг-Конга, а также теледублетов, которые с неслыханной точностью воспроизводили Нефертити, Клеопатру, королеву Наваррскую и так далее, вплоть до нынешних кинозвезд. Чтобы не попасть под суд за «злоупотребление телесным подобием», каждый, кому хотелось иметь у себя в шкафу копию Первой Леди США или жены соседа, мог заказать их по почте и получить

* По доверенности (*лат.*).

в разобранном виде. Получатель монтировал желанную телеподружку, согласно инструкции, в четырех стенах своего дома. Говорят даже, что лица, склонные к нарциссизму и не желавшие любить никого, кроме себя самих, заказывали собственное подобие. Законодатели сгибались под бременем все новых и новых казусов, так как нельзя было просто-напросто запретить производство теледублей — подобно тому, как запрещено производить атомные бомбы или наркотики частным образом. Телетроника стала целой отраслью производства, без нее не могли обойтись ни экономика, ни наука, ни техника (и космонавтика в том числе — ведь только в облики теледубля человек мог высадиться на планетах-гигантах, таких как Юпитер или Сатурн). Теледубли трудились в шахтах, применялись они и в спасательных службах — при горных восхождениях, во время землетрясений и прочих стихийных бедствий. Теледубль был незаменим в экспериментах, опасных для жизни («эксперименты на уничтожение»). Лунное Агентство заключило контракт с «Джинандроикс» на поставку лунных теледублей. Вскоре мне предстояло узнать, что их уже пробовали использовать в проекте ЛЕМ (Lunar Efficient Missionary) — с результатами столь же плачевными, сколь и загадочными.

Монтажные цеха «Джинандроикс» мне показывал Паридон Савекаху, главный инженер. Мне пришлось следить за собой, потому что он, по обычаю своего народа, обращался ко мне по имени, а я то и дело путал Паридона с пирамидоном. Кроме того, нас сопровождали Тоттенанц и Блэхауз. Инженер Савекаху жаловался на поток правовых ограничений, затрудняющих исследовательскую работу и создание новых моделей. При входе в банк, например, монтируют датчики, обнаруживающие теледублей, и это бы еще полбеды; банкиры, понятно, опасаются телеограбления. Но многие банки, не ограничиваясь системой сигнализации, применяют термоиндукционные устройства; обнаружив присутствие дубля (по содержащейся в нем электронике), они обрушивают на него незримый высокочастотный удар. Из-за скачка температуры проводящие контуры спаиваются, и дубль превращается в металллом, а его владельцы предъявляют претензии не к банкам, а к «Джинандроикс». Случаются, увы, покушения, и даже с бомбами, на фургоны с теледублетками, особенно если это красотки. Инженер Паридон дал мне понять, что за этими актами террора стоит движение women's liberation, но пока что нет доказательств, достаточных для возбуждения судебного дела.

Меня ознакомили со всеми стадиями производства, от сварки сверхлегких дюралевых скелетов до обливания этого «шасси» телоподобной массой. Серийные теледублетки выпускаются восьми размеров (или, в просторечии, калибров). Дублетки по индивидуальным заказам дороже чуть ли не в двадцать раз. Теледубли вовсе не обязательно человекоподобны, но чем сильнее они отличаются от людей, тем труднее ими управлять. Хвост — превосходная страховка при работе на большой высоте, сооружении висячих мостов или линий высокого напряжения, но человеку *нечем* приводить в движение цепкий хвост. Потом мы поехали на электрокаре (так велика была заводская территория) на склад готовой продукции, где я осмотрел планетных и лунных теледублей. Чем больше тяготение, тем сложнее задача конструкторов: слишком маленький дубль много не наработает, а большой требует мощных двигателей и потому слишком тяжел.

Мы вернулись в сборочный цех. Если доктор Вагатам из секретариата ООН был азиатом-дипломатом, со сдержанно-вежливой улыбкой, то инженер Паридон был азиатом-энтузиастом, и его синеватые губы не смыкались, когда он смеялся, обнажая великолепные зубы.

— Вы не поверите, мистер Ён, на чем споткнулись парни из «Дженерал педипулятрикс» со своими роботами! На двуногой ходьбе! Они загремели вместе со своим опытным образцом — ведь он поминутно грохался оземь! Неплохо, а? Ха-ха-ха! Гироскопы, противовесы, сенсорные датчики с двойной обратной связью под коленками — и все впустую. У нас-то, конечно, никаких проблем нет — равновесие теледубля обеспечивает человек!

Глядя на бело-розовые, как бы младенческие, тела дублетов — с конвейера их подхватывали подъемники, и вверху, над нашими головами, размеренно плыл нескончаемый ряд голых девушек, неподвижных, хотя их длинные ниспадающие волосы развевались, словно живые, — я спросил Паридона, женат ли он.

— Ха-ха-ха! Ну вы и шутник! О да, мистер Ён. Женат, и детишками обзавелся. А как же! Сапожник не ходит в сапогах, которые сам тачает, не так ли? Но нашим сотрудникам мы выделяем по штуке в год — в качестве премии. Для них это превосходный бизнес.

— Каким сотрудникам? — удивился я. Помещение цеха было безлюдно. За конвейером стояли однорукие роботы — желтые, зеленые и голубые, как многочленистые пестрые гусеницы.

— Ха-ха-ха! В конторах люди еще попадают. В сортировочной, на упаковке и техконтроле тоже. А-а, смотрите-ка, выбракованный экземпляр! С ногами что-то не так. Кривые! Ну как, мистер Ён, возьмете? Бесплатно, на неделю, с доставкой на дом?

— Спасибо, — ответил я. — Пока что — нет. Пигмалионизм не в моем вкусе.

— Пигмалионизм? А-а, пигмалионизм! Бернард Шоу! Знаю, знаю! Разумеется, я понял намек. У некоторых это вызывает протест. Но, согласитесь, лучше уж производить дамкены, чем карабины, а? Все-таки мирный товар. Make love, not war! Верно?

— На это можно было бы кое-что возразить, — неопределенно заметил я. — У ворот я видел пикеты.

— Верно. Проблемы имеются. А как же! Обыкновенной женщине далеко до дублетки. В жизни красота — исключение. А у нас — техническая норма. Законы рынка. Спрос определяет предложение. Что делать — так уж устроен мир...

Мы осмотрели еще гардеробную, полную шуршащих платьев, белья, озабоченных девушек с ножницами в руках и портняжными рулетками на шее, с виду весьма заурядных — потому что живых, — и распрощались с инженером Паридонном у автостоянки, до которой он нас проводил. На обратном пути Тоттентанц и Блэхауз были на удивление молчаливы. Я тоже не испытывал особого желания разговаривать. День еще, однако, не кончился.

Вернувшись домой, я нашел в почтовом ящике толстенный конверт: в нем оказалась книга с длинным названием: «Dehumanization trend in weapon systems of the twenty first century or upside-down evolution»*. Фамилия автора — Меслант — ничего мне не говорила. Том был солидный, увесистый, большого формата, с множеством графиков и таблиц. Не имея особенно чем заняться, я сел в кресло и начал читать. Перед предисловием, на первой странице, стоял эпитаф по-немецки: «Aus Angst und Not das Heer ward tot». *Eugen von Wahnzenstein***.

Автор называл себя специалистом по новейшей истории военного дела. История эта, писал он, заключена между двумя звучными аббревиатурами конца XX века: FIF и LOD,

* «Тенденция к обезлюживанию в системах вооружений двадцать первого века, или Эволюция вверх ногами» (англ.).

** «Из страха и по необходимости войско сделалось мертвым». Евгений фон Ванценштейн (нем.).

означающими соответственно *Fire and Forget* и *Let Others Do**. Отцом современного пацифизма было благосостояние, а матерью — страх. Их скрещивание породило тенденцию к *обезлюдиванию* военного дела. Все меньше оказывалось желающих стать под ружье, причем отвращение к военной службе было прямо пропорционально уровню жизни. Возвышенное изречение «*dulce et decorum pro patria mori*»** молодежь богатых стран считала рекламой морового поветрия. Как раз тогда резко снизилась стоимость производства в интеллектуальной промышленности. На смену вычислительным элементам типа *chips* пришли продукты генной инженерии типа *com****, получаемые путем *выращивания* искусственных микробов, главным образом *Silicobacterium Logicum Wieneri*****. Пригоршня таких элементов стоила не дороже горсточка проса. Итак, искусственный интеллект дешевел, а новые поколения вооружений дорожали в геометрической прогрессии. В Первую мировую войну самолет по стоимости равнялся автомобилю, во Вторую — двадцати автомобилям; к концу столетия он уже стоил в 600 раз дороже автомобиля. Теперь подсчитали, что через 70 лет даже сверхдержавы смогут иметь от 18 до 22 самолетов, не больше. Вот так пересечение нисходящей кривой стоимости искусственного интеллекта с восходящей кривой стоимости вооружений положило начало созданию безлюдных армий. Живая вооруженная сила стала превращаться в мертвую. Незадолго до этого мир пережил два тяжелых экономических кризиса. Первый был вызван резким подорожанием нефти, второй — столь же резким снижением цен на нее. Классические законы рыночной экономики уже не действовали, но мало кто догадывался о том, что это значит; мало кто понимал, что фигура солдата в мундире и каске, рвущегося в штыковую атаку, уходит в прошлое, чтобы занять место рядом с закованными в железо средневековыми рыцарями. Из-за косности конструкторской мысли какое-то время еще производилось крупногабаритное вооружение — танки, орудия, бронетранспортеры и прочие громоздкие боевые машины, предназначенные для воина-человека, — даже тогда, когда они уже могли идти в бой сами, безлюдным манером. Эта бронегигантомания скоро исчерпала себя, сменившись ускоренной миниатюризацией. До сих пор все виды

* Выстрели и забудь (и) пусть это сделают другие (*англ.*).

** Почетно и сладко умереть за отечество (*лат.*).

*** Кукурузное зерно (*англ.*).

**** Силикобактерия логическая Винера (*лат.*).

оружия были рассчитаны на человека — на его анатомию (чтобы ему было удобнее убивать) и физиологию (чтобы его было удобнее убивать). Теперь положение изменилось.

Как это обычно бывает в истории, никто не понимал значения происходящего, поскольку открытия, которым предстояло слиться в DEHUMANIZATION TREND IN NEW WEAPON SYSTEMS*, совершались в очень далеких друг от друга областях науки. Интеллектуалка создала дешевые, как трава, микрокалькуляторы, а нейроэнтомология разгадала наконец загадку насекомых. Ведь, скажем, пчелы тоже живут в сообществах, работают ради общей цели и общаются между собой при помощи особого языка, хотя мозг человека в 380 000 раз больше нервной системы пчелы. Рядовому солдату вполне хватило бы сообразительности пчелы, только видоизмененной на военный лад. Боеспособность и разум — вещи различные, во всяком случае, на передовой. Главным фактором, *заставившим* миниатюризировать оружие, была атомная бомба. Необходимость миниатюризации вытекала из простых и хорошо известных фактов, — но факты эти оставались за горизонтом военной мысли эпохи. Когда 70 миллионов лет назад огромный метеорит упал на Землю и вызвал многовековое похолодание, засорив своими остатками атмосферу, эта катастрофа уничтожила всех до единого ящеров и динозавров, мало затронула насекомых и вовсе не коснулась бактерий. Вердикт палеонтологии однозначен: чем сила разрушения больше, тем меньшие по размерам организмы способны ей противостоять. Атомная бомба требовала *рассредоточения* как армии, так и солдата. Но мысль об уменьшении солдата до размеров муравья могла в XX веке появиться лишь в области чистой фантазии. Человека не рассредоточишь и не сократишь в масштабе! Поэтому подумывали о войнах-автоматах, имея в виду человекообразных роботов, хотя уже тогда это было анахронизмом. Ведь и промышленность обезлюживалась, однако роботы, заменявшие людей на заводских конвейерах, не были человекоподобны. Они представляли собой увеличенные *фрагменты* человека: мозг с огромной стальной ладонью, мозг с глазами и кулаком, органы чувств и руки. Больших роботов нельзя было перенести на поля атомных сражений, и тогда начали появляться радиоактивные синсекты (искусственные насекомые), керамические рачки, змеи и черви из титана, способные зарываться в землю и вылезать наружу после атомного взрыва. В образе летающих

* Тенденция к обезлюживанию новых систем оружия (англ.):

синсектов летчик, самолет и его вооружение слились в одно миниатюрное целое. А боевой единицей становилась *микроармия*, лишь как *целое* обладавшая боеспособностью (вспомним, что только *рой* пчел можно считать самодостаточным организмом, а не отдельную пчелу).

Появились микроармии множества типов, основанные на двух противоположных принципах. Согласно принципу *автономности*, такая микроармия действовала как военный поход муравьев, как волна микробов или осиный рой. Согласно принципу *телетропизма**, микроармия была огромной, летающей или ползающей, совокупностью самосборных *элементов*: по мере тактической или стратегической необходимости она отправлялась в путь в полном рассредоточении и лишь перед самой целью сливалась в заранее запрограммированное целое. Можно сказать, что боевые устройства выходили с заводов не в окончательном виде, но в виде полу- и четвертьфабрикатов, способных сплотиться в боевую машину перед самым попаданием в цель. Эти армии так и называли — самосплачивающимися. Простейшим примером было саморассредоточивающееся атомное оружие. Межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой можно обнаружить из космоса — со спутников слежения, или с Земли — радарам. Но нельзя обнаружить гигантские тучи рассеянных микрочастиц, несущих уран или плутоний, которые в критическую массу сольются у самой цели — будь то завод или неприятельский город.

Старые типы оружия недолго сосуществовали с новыми: тяжелые, громоздкие боевые средства бесповоротно пали под натиском микрооружия. Ведь оно было почти невидимо. Как микробы незаметно проникают в организм животного, чтобы убить его *изнутри*, так неживые, искусственные микробы, согласно заложенным в них тропизмам, проникали в дула орудий, зарядные камеры, моторы танков и самолетов, прогрызали насквозь броню или, добравшись до пороховых зарядов, взрывали их. Да и что самый храбрый и опытный солдат, обвешанный гранатами, мог поделаться с микроскопическим и мертвым противником? Не больше, чем врач, который решил бы сражаться с микробами холеры при помощи молотка. Среди туч микрооружия, самонаводящегося на заданные

* Здесь использован термин «тропизм», обозначающий ростовые движения растений под воздействием раздражителей. В современной литературе применяется шире — например, в отношении автоматических устройств.

цели, оружия биотропического, то есть уничтожающего все живое, человек в мундире был беспомощен, как римский легионер со щитом и мечом под градом пуль.

Уже в XX столетии тактика борьбы в сплоченном строю уступила место рассредоточению боевых сил, а маневренная война потребовала от них рассредоточения еще большего. Но линии фронтов тогда еще существовали. Теперь они исчезли. Микроармии без труда проникали через линии обороны и вторгались в глубокий тыл неприятеля. А бесполезность крупнокалиберного атомного оружия становилась все очевиднее: его применение попросту не окупалось. Эффективность борьбы с вирусной эпидемией при помощи термоядерных бомб, разумеется, мизерна. На пивабок не охотятся с крейсерами.

Труднейшей задачей «безлюдного» этапа борьбы человека с самим собой оказалось *различение* своих и чужих. Эту задачу, обозначавшуюся FOF (Friend Or Foe*), прежде решали электронные системы, работавшие по принципу «пароль и отзыв». Запрошенный по радио самолет или автоматический снаряд сам, по своему передатчику, должен был дать правильный отзыв, иначе он подвергался нападению как вражеский. Но в XXI веке этот метод отошел в прошлое. Новые оружиевики заимствовали образцы в царстве жизни — у растений, бактерий и животных. Способы маскировки и демаскировки повторяли способы, существующие в живой природе: иммунитет, борьба антигенов с антителами, тропизмы, а кроме того, мимикрия, защитная окраска и камуфляж. Неживое оружие нередко *прикидывалось* невинными микроорганизмами или даже пылью и пухом растений; но за этой оболочкой крылось смертоносное, всеразрушающее содержимое. Возросло и значение информационного противоборства — не в смысле пропаганды, а в смысле проникновения в систему неприятельской связи, чтобы поразить ее или (при налетах атомной саранчи, например) вынудить нападающего слиться в критическую массу раньше, чем он приблизится к цели. Автор книги описывал таракана, послужившего образцом для одной разновидности микросолдат. Этот таракан имеет на оконечности брюшка пару тоненьких волосков. Они соединены с его задним нервным узлом, отличающим обычное дуновение воздуха от колебаний, вызванных нападением врага; едва почуяв такие колебания, таракан бросается в бегство.

* Друг или враг (англ.).

Захваченный чтением, я с сочувствием думал о честных приверженцах мундира, знамен и медалей за храбрость. Новая эра в военном деле была для них сплошной обидой и поношением, изменой возвышенным идеалам. Автор называл этот процесс «эволюцией вверх ногами» (upside-down), потому что в природе сперва появились микроскопические организмы, из которых постепенно возникали все более крупные виды; в эволюции вооружений, напротив, возобладали тенденции к микроминиатюризации, а большой человеческий мозг заменили имитации нервных ганглиев насекомых. Микроармии создавались в два этапа. На первом этапе неживое оружие конструировали и собирали люди. На втором этапе неживые дивизии проскитировались, испытывались в боевой обстановке и направлялись в серийное производство такими же неживыми компьютерными системами. Люди устранились сначала из армии, а затем и из военной промышленности вследствие «социоинтеграционной дегенерации». Дегенерировал отдельный солдат: он становился все меньше и все проще. В результате разума у него оставалось, как у муравья или термита. Тем большее значение приобретала *социальная совокупность* мини-бойцов. Мертвая армия была несравненно сложнее, чем улей или муравейник; в этом отношении она соответствовала скорее большим биотопам природы, то есть целым пирамидам видов, хрупкое равновесие между которыми поддерживается благодаря конкуренции, антагонизму и симбиозу. В такой армии, понятно, сержанту или капралу нечего было делать. Чтобы объять мыслью это целое — хотя бы при инспектировании, не говоря уж о командовании, — не хватило бы мудрости целого университета. Поэтому, кроме бедных государств третьего мира, больше всего пострадало от великой революции в военном деле кадровое офицерство. Под неумолимым напором тенденции к обезлюдиванию пали славные традиции маневров, смен караула, фехтования, парадных мундиров, рапортов и муштры. За людьми удалось сохранить высшие командные должности, прежде всего штабные — увы, ненадолго. Вычислительно-стратегическое превосходство компьютеризированных систем командования лишило работы самых мозговитых военачальников, до маршалов включительно. Сплошной ковер из орденских ленточек на груди не спас самых прославленных генштабистов от досрочного ухода на пенсию. Развернулось оппозиционное движение кадровых офицеров: в ужасе перед безработицей они уходили в террористическое подполье. Поистине мерзкой grimасой судьбы было просвечивание этих

заговоров микрошпиками и мини-полицией, сконструированной по образцу вышеупомянутого таракана: ее не останавливали ни ночь, ни туман, ни любые уловки отчаявшихся традиционалистов, верных до гроба идеям Ахиллеса и Клаузевица.

Беднейшие государства могли воевать теперь лишь по старинке, живой силой — с таким же анахроничным, как и сами они, противником. Если не на что было автоматизировать армию, приходилось сидеть тихо, как мышка.

Но и богатым странам пришлось несладко. Вести политическую игру по-старому стало невозможно. Граница между войной и миром, уже давно не слишком отчетливая, теперь совершенно стерлась. Двадцатый век покончил со стеснительным ритуалом открытого объявления войны и ввел в обиход такие понятия, как пятая колонна, массовый саботаж, холодная война и война *reg prociга**, и все это было только началом стирания различий между войной и миром. Нескончаемые переговоры на конференциях по разоружению имели целью не только достижение соглашения, установление равновесия сил, но и прощупывание слабых и сильных сторон противника. На смену альтернативе «война и мир» пришло состояние войны, неотличимой от мира, и мира, неотличимого от войны.

На первом этапе преобладала диверсия под прикрытием миротворческих лозунгов. Она просочилась в политические, религиозные и общественные движения, не исключая такие почтенные и невинные, как движение за охрану среды; она разъедала культуру, проникла в средства массовой информации, использовала иллюзии молодежи и стародавние убеждения стариков. На втором этапе усилилась криптовоенная диверсия; она уже мало чем отличалась от настоящей войны, но распознать ее было нельзя. Кислотные дожди были известны еще в двадцатом столетии, когда из-за сгорания угля, загрязненного серой, облака превращались в раствор серной кислоты. Теперь же полили дожди до того едкие, что они разъедали крыши домов и заводов, автострады, линии электропередач, и поди разбери, чье это дело: отравленной природы или врага, наславшего ядовитую облачность при помощи направленного в нужную сторону ветра. И так было во всем. Начался массовый падеж скота, — но как узнать, естественная это эпизоотия или искусственная? Океанский циклон, обрушившийся на побережье, — он случаен, как прежде,

* Здесь: чужими руками (*лат.*).

или вызван умелым перемещением воздушных масс? Гибельная засуха — обычная или опять-таки вызванная тайным отгоном дождевых облаков? Климатологическая и метеорологическая контрразведка, сейсмический шпионаж, разведслужбы эпидемиологов, генетиков и даже гидрографов трудились не покладая рук. Военные службы, занятые различением искусственного и естественного, подчиняли себе все новые отрасли мировой науки, однако результаты этой разведывательно-следственной деятельности становились все менее ясными. Обнаружение диверсантов было детской забавой, пока они были людьми. Но когда диверсию можно усматривать в урагане, градобитии, болезнях культурных растений, падеже скота, росте смертности новорожденных и заболеваемости раком и даже в *падении метеоритов* (мысль о наведении астероидов на территорию противника появилась еще в XX веке), — жизнь стала невыносимой. И не только жизнь обыкновенных людей, но и государственных деятелей, беспомощных и растерянных, — ведь они ничего не могли узнать от своих столь же растерянных советников. В военных академиях читали новые дисциплины: криптонаступательная и криптооборонительная стратегия и тактика, криптология контрразведки (то есть отвлечение и дезинформация разведок, контрразведок и так далее во все возрастающей степени), криптография, полевая энигматика и, наконец, *секросекретика*, которая под большим секретом сообщала о тайном применении тайного оружия, неотличимого от невинных явлений природы.

Размылись линии фронта и границы между большими и мелкими антагонизмами. Для очернения другой стороны в глазах ее собственного общества спецслужбы изготавливали *фальсификаты* стихийных бедствий на своей территории так, чтобы их ненатуральность бросалась в глаза. Было доказано, что некие богатые государства, оказывая помощь более бедным, в поставляемую ими (по весьма дешевой цене) пшеницу, кукурузу или какао добавляли химические средства, ослабляющие половую потенцию. Началась *тайная антидемографическая война*. Мир стал войной, а война — миром. Хотя катастрофические последствия обоюдной победы, равнозначной обоюдному уничтожению, были очевидны, политики по-прежнему гнули свое: заботясь о благосклонности избирателей и обещая во все более туманных выражениях все более благоприятный поворот в недалеком будущем, они все меньше способны были влиять на реальный ход событий. Мир стал войной не из-за тотальных происков (как

представлял себе некогда Оруэлл), но благодаря достижениям технологии, стирающим границу между естественным и искусственным в каждой области жизни и на каждом участке Земли и ее окружения, — ибо в околосемном пространстве творилось уже то же самое.

«Там, — писал автор «Тенденции к обезлюживанию в системах вооружений XXI века», — где нет больше разницы ни между естественным и искусственным белком, ни между естественным и искусственным интеллектом, нельзя отличить несчастья, вызванные умышленно, от несчастий, в которых никто не повинен. Как свет, увлекаемый силами тяготения в глубь черной дыры, не может выбраться из гравитационной ловушки, так человечество, увлекаемое силами взаимных антагонизмов в глубь тайн материи, угодило в технологическую западню». Решение о мобилизации всех сил и средств для создания новых видов оружия диктовали уже не правительства, не государственные мужи, не воля генеральных штабов, не интересы монополий или иных групп давления, но во все большей и большей степени — страх, что на открытия и технологии, дающие перевес, первой натолкнется Другая Сторона. Это окончательно парализовало традиционную политику. На переговорах ни о чем нельзя было договориться: согласие на отказ от Нового Оружия в глазах другой стороны означало, что противник, как видно, имеет в запасе иное, еще более новое. Я наткнулся на формулу теории конфликтов, объяснявшую, почему переговоры и не могли ни к чему привести. На таких конференциях принимаются определенные решения. Но если время принятия решения превышает время появления нововведений, радикально меняющих обсуждаемое на переговорах положение вещей, решение становится анахронизмом уже в момент его принятия. Всякий раз «сегодня» приходится договариваться о том, что было «вчера». Договоренность из настоящего перемещается в прошлое и становится тем самым чистейшей фикцией. Именно это заставило великие державы подписать Женевское соглашение, узаконившее Исход Вооружений с Земли на Луну. Мир облегченно вздохнул и мало-помалу оправился — но ненадолго; страх ожил опять, на сей раз в виде призрака безлюдного вторжения с Луны на Землю. Поэтому не было задачи важнее, чем разгадка тайны Луны.

Так завершалась глава. До конца книги оставалось еще страниц десять, не меньше, но их я не смог перелистать. Они словно бы слиплись. Сперва я подумал, что туда попал клей с корешка. Пробовал так и смяк отлепить следующую страни-

цу, наконец взял нож и осторожно просунул его между склеившимися листами. Первый был вроде бы пустой, но там, где его коснулся край ножа, проступили какие-то буквы. Я потер бумагу ножом, и на ней появилась надпись: «Готов ли ты возложить на себя это бремя? Если нет, положи книгу обратно в почтовый ящик. Если да, открой следующую страницу!»

Я отделил ее — она была чистой. Лезвием ножа провел от верхнего поля до нижнего. Появились восемь цифр, сгруппированных по две и разделенных тире, как номер телефона. Я разлепил следующие страницы, но там ничего не было. Весьма необычный способ вербовки Спасителя Мира! — подумал я. Одновременно у меня в голове появились общие контуры того, что я мог ожидать. Я закрыл книгу, но она открылась сама на странице с четко пропечатанными цифрами. Ничего не оставалось, как снять трубку и набрать номер.

III. В УКРЫТИИ

Это был частный санаторий для миллионеров. К слову сказать, не очень-то часто слышишь о свихнувшихся миллионерах. Спятить может кинозвезда, государственный деятель, даже король, но не миллионер. Так можно подумать, читая популярную прессу, которая известия об отставке правительств и революциях дает петитом на пятой странице, на первую же полосу выносит новости о душевном самочувствии хорошо раздетых девиц с потрясающим бюстом или о змее, которая заползла цирковому слону прямо в хобот, а обезумевший слон вломился в супермаркет и растоптал три тысячи банок томатного супа «Кэмбелл» вместе с кассой и кассиршей. Для таких газет рехнувшийся миллионер был бы сущей находкой. Миллионеры, однако, не любят шума вокруг своего имени ни в более или менее нормальном состоянии, ни в свихнувшемся. Кинозвезде приличное помешательство может даже оказаться на руку, — но не миллионеру. Кинозвезда ведь не потому знаменита, что замечательно играет во множестве фильмов. Так было, возможно, лет сто назад. Звезда может играть, как чурбан, и хрипеть с перепоя — голос ей все равно сдублируют; если ее хорошенько отмыть, она может оказаться веснушчатой и вовсе не похожей на свой облик на афишах и в фильмах; но в ней непременно должно быть «что-то», и у нее есть это «что-то», если она то и дело разводится, ездит в открытом авто, обитом горностаями, берет 25 000 долларов за фото нагишом в

«Плейбое» и имела роман сразу с четырьмя квакерами; ну, а если, ударившись в нимфоманию, она соблазнит сиамских близнецов преклонного возраста, то контракты ей обеспечены не меньше чем на год. Да и политику, чтобы достичь известности, надо петь не хуже Карузо, играть в поло, как дьявол, улыбаться, как Рамон Новарро, и обожать по телевизору всех избирателей. Но миллионеру это лишь повредило бы, поскольку подорвало бы его кредит или, что еще хуже, вызвало на бирже панику. Миллионер должен всегда блюсти дистанцию, держаться спокойно и без эксцентрики. А если он не таков, ему лучше запрятаться подальше вместе со своей эксцентричностью. Поскольку, однако, скрыться от прессы теперь крайне трудно, санатории для миллионеров стали невидимыми крепостями. Невидимыми в том смысле, что их недоступность замаскирована и не бросается в глаза посторонним. Никаких стражников в униформе, псов на цепи и с пеной у рта, колючей проволоки — все это лишь возбуждает и даже приводит в исступление репортеров. Напротив, такой санаторий должен выглядеть скучновато. Прежде всего, упаси Бог назвать его санаторием для душевнобольных. Тот, в котором я очутился, именовался убежищем для переутомленных язвенников и сердечников. Но тогда почему я с первого взгляда понял, что это только фасад, за которым укрыто безумие? Так вам все сразу и расскажи!

Нас не пускали внутрь, пока не явился доктор Хоус, доверенное лицо Тарантоги. Он попросил меня прогуляться немного по парку, пока он будет беседовать с Тарантогой. Я решил, что он принял меня за помешанного. По^свидимому, Тарантога не успел проинформировать его как следует; оно и понятно — мы хотели покинуть Австралию быстро и без лишнего шума. Хоус оставил меня среди клумб, фонтанов и живых изгородей; нашим багажом занялись две эффектные девицы в элегантных костюмах, вовсе не похожие на сестер милосердия, что тоже давало пищу для размышлений; а довершил все это толстобрюхий старец в пижаме, который, увидев меня, подвинулся, чтобы освободить для меня место в мягко застеленном гамаке. Я, отвечая любезностью на любезность, присел рядом с ним. С минуту мы качались молча, а затем он спросил, не мог бы я на него помочиться. Впрочем, он выразился энергичнее. Я был так ошарашен, что не отказался сразу, а спросил зачем. Это очень ему не понравилось. Он слез с гамака и удалился, прихрамывая на левую ногу и что-то бормоча себе под нос — кажется, по моему адресу: я счел за благо не прислушиваться. Я осматривал парк, время

от времени машинально поглядывая на левую руку и ногу, — так, наверное, смотрят на полученную недавно в подарок породистую собаку, которая между делом успела кое-кого покусать. То, что они вели себя пассивно, раскачиваясь в гамаке вместе со мной, вовсе не успокаивало меня; припоминая одно за другим недавние события, я не забывал и о том, что в моей голове притаилось другое мышление, тоже как будто мое, но совершенно мне недоступное, и это ничуть не лучше шизофрении, которую все-таки лечат, или болезни святого Витта — ведь там больной знает, что в худшем случае немного попляшет, а я был пожизненно приговорен к неожиданным фортелям в собственном естестве. Пациенты прохаживались по аллеям; за некоторыми чуть позади ехал тихоходный электрокар, наподобие тех, какими пользуются при игре в гольф, — должно быть, на случай, если гуляющий утомится. Я прыгнул наконец с гамака, чтобы посмотреть, не кончил ли доктор Хоус свое совещание с Тарантой; тут-то я и познакомился с Грамером. Его тащил на себе весьма немолодой санитар с посиневшим, мокрым от пота лицом — Грамер весил чуть ли не центнер. Мне стало жаль беднягу, но я ничего не сказал, а только освободил дорожку, решив, что в моем положении разумней всего ни во что не вмешиваться. Однако Грамер, увидев меня, слез с санитара и представился первым. Его, похоже, заинтересовало новое лицо. Я смешался, потому что забыл, под какой фамилией меня записали в регистратуре, хотя мы обсуждали этот вопрос с Тарантой. Помнил только имя — Джонатан. Грамеру моя непринужденность понравилась — незнакомый человек представляется сразу по имени, — и он попросил называть его просто Аделаидой.

Он разговорился. Его изводила страшная скука с тех пор, как он начал выходить из состояния депрессии (пока оно длилось, ему не давали скучать душевные страдания). Депрессия эта, объяснял он, пошла от того, что он обычно не мог уснуть, если перед сном немного не помечтает. Сперва он мечтал, чтобы акции, им купленные, подскочили в цене, а проданные покатались как с горки. Потом возмечтал сколотить миллион. Сколотив миллион, стал мечтать о втором, о третьем, но после пяти миллионов это утратило прелесть мечты. Пришлось искать новый объект мечтаний. Это было, угрюмо заметил он, все трудней и трудней. Нельзя же мечтать о том, что у тебя уже есть, или о том, что можно получить хоть завтра. Какое-то время он мечтал избавиться от третьей жены, не заплатив ни гроша алиментов, но и это ему удалось.

Хоус все еще не появлялся, и Грамер буквально прилип ко мне. Было время, когда перед сном он разделялся в мечтах с теми, кто особенно ему насолил. Но это было ошибкой. Впервые, распаяя себя такими фантазиями, он перевозбуждался, хватался за снотворные средства, что врачи ему запрещали из-за увеличенной печени, и не видел иного способа покончить с неотвязной мечтой, кроме как покончить с ее объектом. Это, уверял он меня, плевое дело, если на чеке стоит шестизначная цифра. И сохрани Бог обращаться к услугам какой-нибудь «Murder Incorporated». Это бредни, сочиняемые для кинофильмов. Он нанял эксперта, а тот устраивал все как по-писаному. Как? По-своему в каждом случае. Убить — не проблема. Раз — и нет человека, и ничего ему больше не учинишь. Физические мучения тоже не казались Грамеру подходящим решением. Завистников, недругов и зловредных конкурентов надлежит разорять, выражая им искреннее сочувствие, — и только. Своего рода стратегическая облава. Необычайно эффектно и эффективно. Питая склонность к интеллектуальным занятиям (которую ему приходилось скрывать от собратьев-миллионеров), он читал книги — даже де Сада. Вот кто был несчастным ослом! Мечтал о насаживании на кол, о сдирании кожи, об эвентрации, то бишь о вспарывании животов, а сам сидел в кутузке и ничего, кроме мух, не имел в своем распоряжении. Бедному хорошо! Все его манит, и все ему нравится. Мало-мальски красивая женщина ему недоступна. Поэтому, ясное дело, так процветает промысел порно. Надувные любовницы с губками бантиком, иллюстрированные описания оргий, копулярки, мази и пасты — это все суррогаты и надувательство. Ничто так не утомляет, как оргия, даже устроенная наилучшим образом. Не о чем говорить и мечтать не о чем. Ах, иметь бы настоящую, несбыточную мечту! Выслушивая эти признания, я, должно быть, не смог скрыть своего изумления; но Аделаида лишь покачал головой и сказал, что напрасно он осуществил мечту отыгаться на своих недругах: он подрубил сук, на котором сидел. Мечтать стало не о чем, и его одолела хроническая бессонница. Тогда он нанял специалиста по выдумыванию новых заветных желаний. Кажется, какого-то литератора или поэта. Действительно, тот предложил ему парочку недурных тем, но серьезная мечта требует осуществления, а затем умирает, поэтому нужны были мечты почти несбыточные. Однако выдумать что-нибудь в этом роде, перебил я его, не так уж трудно. Переместить континент. Распилить Луну на четыре равные четвертушки. Съесть ногу президента Штатов в том соусе, в

котором подают утку в китайских ресторанах (я разошелся, зная, что говорю с сумасшедшим). Иметь интимные отношения со светлячком в те минуты, когда он светит ярче всего. Ходить по воде и вообще творить чудеса. Стать святым. Махнуть местами с Господом Богом. Подкупить террористов, чтобы те оставили в покое разных там министров, послов и прочих капиталистов и взялись за тех, кому действительно следовало бы наломать шею, а то и свернуть голову.

Аделаида смотрел на меня с симпатией, почти с восхищением.

— Жаль, — сказал он, — что мы не встретились раньше, Джонатан. В твоих словах что-то есть, хотя и не совсем то, что надо. Все эти континенты, луны и чудеса не трогают меня за живое, а настоящий мечтатель мечтает всеми фибрами души, иначе нельзя. Светлячок тоже не возбуждает. По крайней мере, меня. Хорошая мечта не переходит ни в бессильную злость, ни в преувеличенное любопытство, но словно бы переливается и мерцает, понимаешь? Ну, вот она есть, а вот ее как бы и нету, и тогда-то мне хорошо засыпается. Днем, наяву, у меня никогда не хватало на это времени. Этот мой горе-писатель утверждал, что количество заветных желаний обратно пропорционально количеству имеющихся у человека платежных средств. Тот, у кого есть все, не в состоянии уже мечтать ни о чем. Поменяться местами с Господом Богом? Боже упаси! Но тебя я все-таки нанял бы.

На огромном листе приземистого гладкого кактуса покоилась большая улитка. Выглядела она довольно противно, и, должно быть, как раз поэтому Аделаида сделал знак санитару.

— Съешь это, — сказал он, указывая пальцем на кактус. И достал из кармана пижамы чековую книжку и авторучку.

— За сколько он это сделает? — полюбопытствовал я. Санитар молча протянул руку к улитке, но я остановил его. — Ты получишь на тысячу долларов больше, если *не* съешь этого, — заявил я, доставая из кармана блокнот. Он был опрашен в точно такой же зеленый пластик, что и чековая книжка Аделаиды.

Санитар застыл на месте. По лицу миллионера я видел, что он колеблется, а это сулило мне мало хорошего — дело и вправду могло кончиться аукционом. Тариф, установленный Аделаидой на улиток, наверняка превышал мои финансовые возможности. Оставалось лишь запутать игру козырем.

— За сколько *вы* это съели бы, Аделаида? — спросил я и открыл блокнот, словно намереваясь выписать чек. Это его восхитило. Санитар перестал для него существовать.

— Я дам тебе чек *in blanco*^{*}, если ты проглотишь ее не пережевывая и расскажешь, как она шевелится у тебя в животе, — произнес он чуть охрипшим от возбуждения голосом.

— К сожалению, я уже завтракал, а есть между завтраком и обедом не в моих правилах, — улыбнулся я. — И кроме того, Аделаида, твои счета, наверное, заблокированы. Провозглашение невменяемым, назначение опекуна и так далее, не правда ли?

— Нет, нет, ты ошибаешься! Манхэттенский банк примет любой мой чек.

— Возможно, но у меня что-то нет аппетита. Вернемся лучше к мечтам.

Беседа так меня захватила, что я совершенно забыл о своей левой стороне, пока она сама о себе не напомнила. Когда мы уже отошли от опасной улитки, я вдруг подставил миллионеру ногу и дал такого тычка в спину, что он растянулся на траве. Я рассказываю от первого лица, хотя набедокурили мои левые конечности. Надо было срочно спасти лицо.

— Извини, — сказал я, стараясь попасть в тон приятельской откровенности, — но *это* было моей мечтой.

Я помог ему встать. Он был не столько обижен, сколько ошарашен. Как видно, так с ним никто себя не вел, ни здесь, ни за стенами санатория.

— Ну, ты парень с фантазией, — выговорил он, стряхивая с себя землю. — Только больше не делай этого, а то у меня позвоночный хрящ выскочит; к тому же и я ведь могу начать мечтать о тебе, — тут он нехорошо засмеялся. — А что с тобой, собственно?

— Ничего.

— Это ясно, но здесь ты зачем?

— Чтобы немного отдохнуть.

В глубине тенистой аллеи я заметил доктора Хоуса; увидев меня, он поднял руку и движением головы показал, чтобы я шел за ним к павильону.

— Ну, Аделаида, мне пора, — сказал я, похлопывая его по спине. — Помечтаем как-нибудь в другой раз.

Из открытых дверей веяло приятной прохладой. Бесшумная климатизация, светло-зеленые стены, тихо, как в пирамиде, — звуки шагов приглушал палас, белый, словно шкура полярного медведя. Хоус ждал меня в своем кабинете. Там же сидел Тарантога. Он показался мне озабоченным. У него

* Незаполненный (*лат.*).

на коленях лежала папка, распухшая от бумаг; он доставал их и клал обратно. Хоус указал мне на кресло. Я сел, без особой радости ожидая возврата к тому, отделаться от чего я мог, только отделившись от себя самого. Хоус принялся за чтение газет. Тарантога нашел наконец нужные бумаги.

— Вот, значит, как обстоит дело, дорогой Ийон... Я был у двух юристов с превосходной репутацией, чтобы выяснить твое положение с точки зрения права. Разумеется, я не сказал, чьи интересы я представляю. И ничего не говорил о твоей миссии. Я оставил лишь самую суть. Некто, мол, имел доступ к кое-каким совершенно секретным делам, а затем должен был представить отчет одному правительственному учреждению. Перед составлением отчета он подвергся каллотомии. Часть того, что он узнал и должен был сообщить, он забыл; эти сведения, вероятно, застряли в правом полушарии его мозга. Каковы его обязанности перед теми, кто доверил ему это дело? Как далеко они могут зайти, чтобы получить эти сведения? Оба ответили, что казус непрост, поскольку может стать прецедентом. Если дело дойдет до суда, он назначит экспертов и может, хотя и не обязан, согласиться с их заключением. Но пока судебного решения нет, ты вправе не соглашаться ни на какие исследования или эксперименты.

Доктор Хоус оставил газету.

— Довольно-таки забавная история, — сказал он, доставая из ящика стола пакет с пряниками; он высыпал их на тарелку и придвинул ко мне. — Я знаю, господин Тихий, для вас тут забавного мало, но забавен любой парадокс типа *circulus vitiosus**. Вам известно, что такое латерализация?

— Конечно, — ответил я, с неодобрением глядя на свою левую руку, протянувшуюся к тарелке, хотя мне совершенно не хотелось пряников. Но чтобы не выглядеть по-дурацки, пришлось откусить кусочек. — Об этом я начитался немало. Обычно доминирует левое полушарие мозга, потому что оно заведует речью. Правое вообще-то немое, хотя с грехом пополам понимает простые фразы, а иногда умеет даже читать, но проявляется то и другое у одних больше, у других меньше. Если левая латерализация выражена слабо, правое полушарие может приобрести большую самостоятельность, в том числе в пользовании речью. Иногда, хотя и крайне редко, латерализация почти не выражена, и тогда центры речи расположены в обоих полушариях, что может повлечь за собой заикание и другие расстройства...

* Порочный (заколдованный) круг (*лат.*).

— Очень хорошо. — Хоус благожелательно улыбался. — Из того, что мне стало известно, я заключаю, что ваш левый мозг — как видите, и мы иногда так выражаемся — отчетливо доминирует, но правый необычайно активен. Полной уверенности у меня нет, тут потребовалось бы длительное обследование.

— И где же тут парадокс? — спросил я, стараясь как можно незаметнее оттолкнуть левую руку, которая опять совала мне пряник в рот.

— Может ли допрос вашего правого мозга принести реальную пользу, зависит от того, как велика правосторонняя латерализация. Чтобы узнать, стоит ли вообще браться за это дело, нужно установить степень латерализации, то есть обследовать вас, а для этого необходимо ваше согласие. Эксперты, которых назначит суд, смогут сказать ровно столько же: все зависит от степени латерализации у Ийона Тихого, а без обследования ее установить невозможно. То есть надо обследовать вас для того, чтобы решить, надо ли вас обследовать. Это вам ясно?

— Куда уж яснее. Так что вы мне советуете, доктор?

— Советовать я ничего не могу — как и эти гипотетические эксперты. Никто на свете, включая вас, не знает, что застряло в вашем правом мозгу. Вашу идею — использовать язык глухонемых — уже пробовали осуществить, хотя и без особого успеха. Правая латерализация была в тех случаях слишком слабой.

— Вы действительно не можете ничего добавить?

— Могу. Если не хотите неприятностей, носите левую руку на перевязи, а еще лучше — в гипсе. Она вас выдает.

— То есть как это?

Хоус указал на тарелку с пряниками:

— Правый мозг обычно любит сладкое больше, чем левый. Это следует из статистики. Я продемонстрировал вам простой способ, позволяющий на глаз оценить вашу латерализацию. Вы не левша и должны были протянуть к прянику правую руку — или не протягивать никакую.

— А долго мне придется носить гипс? И для чего?

Хоус пожал плечами.

— Хорошо. Я скажу вам то, чего говорить бы, пожалуй, не следовало. Вы, наверно, слышали о пираньях?

— Слышал. Маленькие, но очень кровожадные рыбки.

— Вот именно. Они обычно не нападают на человека в воде, но, если на его теле малейшая царапина, достаточно одной капли крови, чтобы они ринулись на него скопом. Речевые навыки правого мозга не больше, чем у трехлетнего

ребенка, да и то в редких случаях. У вас они значительны. Если об этом узнают, вам может не поздоровиться.

— А может, ему просто пойти в Лунное Агентство? — вмешался Тарантога. — Поручить себя их попечению? Ведь что-то ему от них полагается, раз он для них рисковал головой?..

— Это, возможно, не худшее решение, но вряд ли хорошее. Хорошего нет вообще.

— Почему? — спросили мы с Тарантогой почти одновременно.

— А вот почему: чем больше они извлекут из вашего правого мозга, тем больший почувствуют аппетит и захотят вытянуть еще больше, а это может означать — выражаясь по-вежливее — долговременную изоляцию.

— На месяц, на два?

— Или на год, а то и больше. Правый мозг общается с миром главным образом через левый, при помощи речи и письма. Пока ни разу не удавалось научить правый мозг говорить, тем более свободно. Ставка настолько высока, что они затратят на такое обучение больше усилий, чем все специалисты до сих пор.

— Что-то все-таки делать надо, — пробурчал Тарантога.

Хоус встал:

— Разумеется, но необязательно нынче же — здесь и теперь. Господин Тихий может провести у меня несколько месяцев, если захочет. А за это время что-нибудь, глядишь, и выяснится.

Слишком поздно я понял, что доктор Хоус был, к сожалению, прав.

Решив, что никто не поможет мне лучше, чем я сам, я записал все случившееся со мной, надиктовал это на диктофон, записки сжег, а теперь закопаю и диктофон вместе с кассетами в герметичной банке — под кактусом, на котором я встретил улитку. Я говорю сейчас в диктофон, чтобы использовать остаток ленты. Кажется, выражение «встретил улитку» не слишком удачно, хотя почему — не знаю. Ведь можно встретить корову, обезьяну, слона, а улитку — вряд ли. Или тут дело в том, что встреченным мы называем лишь существо, которое может нас заметить? Пожалуй, нет. Не уверен, что улитка меня заметила, хотя рожки у нее были вытянуты. Или все дело в размерах? Никто не скажет «я встретил пчелу». Но можно встретить даже очень маленького ребенка. И зачем это я трачу ленту на такие глупости? Банку я закопаю, а записки буду вести при помощи шифра. Правое полушарие буду называть не иначе как «Оно», или просто назову

его «ИЯ». Вроде неплохо, ведь «ИЯ» — это И Я, Я и Я, хотя, может быть, это окажется не слишком понятно. Но лента кончается. Пора за лопату.

8 июля. Жара страшная. Все ходят в пижамах, а то и в плавках. Я тоже. Через Грамера познакомился с двумя другими миллионерами, Струманом и Паддерхорном. Оба меланхолики. Струману под шестьдесят, лицо обрюзгшее, живот большой, ноги кривые, говорит шепотом. Можно подумать, что он хочет открыть невесть какую тайну. Утверждает, будто пытаться вылечить его — бесполезно. В последнее время его депрессия обострилась, а все потому, что он забыл причину своих ужасных переживаний. У него три дочери. Все замужем, занимаются свингингом*, разные типы снимают это на пленку, которую ему приходилось выкупать за немалые деньги, чтобы снимки не напечатали в «Хастлере»**. Чтобы ему помочь, я спросил, не этим ли он озабочен, но оказалось, что нет, к этому он уже привык. Впрочем, он признан невменяемым, и займись они свингингом хоть в зоопарке — это уже заботы опекунов. На кой черт я это записываю, не знаю. Голый миллионер — фигура невероятно неинтересная. Паддерхорн не говорит вообще ничего. Кажется, он слился экономически с каким-то японцем и прогадал. Удручающее общество. Но Гагерстайн, пожалуй, еще хуже. Без причины смеется и пускает слюни. Говорят, эксгибиционист. Надо держаться подальше от этих мерзких людишек. Доктор Хоус сказал, что завтра придет человек, которому я могу доверять, как ему самому. Он представится начинающим врачом-практикантом, но на самом деле это этнолог, который пишет исследование о миллионерах с точки зрения социальной динамики малых групп или что-то в этом роде.

9 июля. После отъезда Тарантоги я остался один с Хоусом, его ассистентом и миллионерами, вяло передвигающимися по парку. Хоус сказал мне с глазу на глаз, что предпочитает больше не исследовать степень моей латерализации, ведь того, чего никто не знает, никто не может украсть. Ассистент — и в самом деле молодой этнолог. Он открылся мне под страшным секретом, когда узнал, что я не богат. Он вел полевые исследования, хочет изучать обычаи и духовную жизнь миллионеров так, как исследуют верования первобытных племен. Хоус знает, что молодой человек не имеет ни-

* Здесь: смена сексуальных партнеров (*амер. сленг*).

** Американский журнал для мужчин.

чего общего с медициной, и, должно быть, поэтому взял его под свою опеку. С этнологом я вечерами вел долгие беседы — в малой лаборатории, за бутылкой виски «Тичерс». Рюмками нам служили пробирки. Кроме Аделаиды я познакомился еще с несколькими крезами. В жизни не был я в такой скучной компании. Этнолог со мною согласен. Это его угнетает — он начинает догадываться, что собранных материалов не хватит на монографию.

— Знаете что, — однажды сказал я, желая ему помочь, — возьмите и накатайте сравнительно-исторический трактат «Богачи прежде и теперь». Государственное меценатство или же меценатство благотворительных фондов — явление сравнительно новое. Но уже в Древнем Риме были частные меценаты. Покровители искусства. Ну, музы, и все такое. Да и позже разные богачи и князья обеспечивали людям искусства — артистам, художникам, скульпторам — неплохую жизнь. Как видно, они этим интересовались, хотя нигде не учились. Зато вот эти, — я показал большим пальцем за спину, в окно, выходящее в ночной парк, — не интересуются ничем, кроме акций и чеков. Думаю, я не покажусь нескромным, если скажу, что я довольно-таки известен. Я получаю массу откликов на свои книги о путешествиях, но среди миллионов читателей не нашлось ни одного миллионера. Почему? Больше всего их, кажется, у вас в Техасе. Здесь таких трое. Они скучны даже в свихнувшемся состоянии. Откуда это берется? Латифундии не оглупляли. Что же их оглушает? Биржа? Капитал?

— Нет, тут дело иное. Те бывали, скажем, верующими. Хотели иметь заслуги перед Господом Богом. Умерщвление плоти не привлекало их. Другое дело — построить собор, заплатить художникам, пусть изобразят нам «Тайную вечерю» или «Моисея», воздвигнут что-нибудь этакое с куполом, который переплюнет все остальные. В этом они видели свой интерес, господин Тихий, только видели они его там, — он указал на потолок, то есть на небо. — А раз уж одни меценатствовали, другие тянулись за ними. Это считалось хорошим тоном. Князь, дож или магнат окружали себя садовниками, кучерами, виршеплетами, художниками. У Людовика XV имелся Буше, чтобы было кому портретировать голых дам. Буше — это, положим, третий класс, но что-то после него осталось, да и после других художников тоже, а после кучеров и садовников — ничего.

— После садовников остался Версаль.

— Вот видите. А после кучера — разве что кнут. Они ни-

чего в этом не смыслили, вот что я вам скажу, но видели здесь свой интерес. Теперь, в эпоху специализации, это ничего бы им не дало... Что с вами? Сердце прихватило?

— Нет. Кажется, меня обокрали.

Я и в самом деле держался за сердце, обнаружив, что внутренний карман моей куртки пуст.

— Это невозможно. Здесь нет клептоманов. Вы, должно быть, оставили бумажник у себя в комнате.

— Нет. Когда я вошел, он был еще тут. Я как раз хотел показать вам свою фотографию с бородой и даже нащупал бумажник в кармане, но не вынул.

— Не может быть. Мы здесь одни, а я к вам и близко не подходил...

Смутная догадка мелькнула у меня в голове.

— Вспомните, пожалуйста, возможно точнее, что я делал после того, как мы вошли сюда.

— Вы сразу сели, а я достал бутылку из шкафчика. О чем мы тогда говорили? Ага, о Грамере. Вы рассказали об этой улитке, но я искал пробирки и не видел, что вы делаете. Когда я повернулся к вам, вы сидели... нет, вы стояли. Рядом с тахистоскопом. Вот здесь. Вы заглядывали за перегородку, потом я подал вам виски... Ну да. Мы выпили, и вы вернулись на свое место.

Я встал и осмотрел аппарат. С одной стороны — стул перед пультом управления, черная стенка с окулярами, за ней боковые лампы, экран и плоский ящик проектора. Я поискал тумблер. Пустой экран засветился. Заглянул за перегородку. Внутри все было выложено оксидированными плитками. Между передней стенкой и черной облицовкой зияла щель — не шире бювара. Я попытался просунуть туда руку, но щель была слишком узкой.

— Есть тут какие-нибудь щипцы? — спросил я. — Как можно более длинные и плоские...

— Не знаю. Скорее всего, нет. Правда, есть зонд. Подойдет?

— Давайте.

Зонд был стальной, гибкий, можно было гнуть его как угодно. Я согнул его крючком, опустил в щель и нащупал там что-то мягкое. После нескольких неудачных попыток оказался черный кожаный угол. Мне понадобилась вторая рука, чтобы за него ухватиться, но она не слушалась. Я позвал практиканта. Он мне помог. Это был мой бумажник.

— Это она, — сказал я, подняв левую руку.

— Но как? Вы ничего не заметили? А главное — зачем?

— Нет. Не заметил, хотя проделать это было непросто. Карман у меня слева. Ловко, незаметно, словно карманный вор. Но это как раз и есть специальность правого полушария. Координация движений, во всех играх, в спорте. Зачем? Можно только догадываться. Ведь мыслит оно не вербально, логически, а, скажем так, по-детски. Наверное, оно хотело, чтобы я потерял имя. Тот, у кого нет никаких документов, не имеет и имени для тех, кто его не знает.

— А-а... чтобы вы, значит, исчезли? Но это же магия. Магическое мышление.

— Что-то в таком роде. Но это нехорошо.

— Почему? Оно хочет помочь вам, как умеет. И неудивительно, ведь в конце концов оно — это *тоже* вы. Только как бы отдельный. Обособившийся.

— Нехорошо потому, что если оно хочет помочь мне, значит, отчасти все же ориентируется в ситуации и понимает: что-то мне угрожает. Бумажник — пустяк, но в следующий раз оно может оказать мне медвежью услугу...

Вечером ко мне заглянул Хоус. Я сидел в постели, уже раздевшись ко сну, в пижаме, и разглядывал левую ногу. Понизже колена красовался здоровенный синяк.

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо, но...

Я рассказал ему о бумажнике.

— Любопытно. Вы действительно ничего не заметили?

Я опустил глаза, опять увидел этот синяк и вдруг вспомнил мгновенную боль и ее причину. Пытаясь заглянуть за перегородку тахистоскопа, я ударился левой ногой, понизже колена, обо что-то твердое. Было довольно больно, но я не обратил на это внимания. Отсюда, скорее всего, и синяк.

— Необычайно поучительно, — заметил Хоус. — Левая рука не может выполнять сложных движений так, чтобы мышечное напряжение не передавалось правой стороне тела. Поэтому ей надо было отвлечь ваше внимание.

— Вот этим? — Я показал на синяк.

— Ну да. Сотрудничество левой ноги и руки. Почувствовав боль, вы какой-то момент не чувствовали ничего другого. Этого было достаточно.

— И часто такое случается?

— Нет, чрезвычайно редко.

— А если бы кто-нибудь решил всерьез за меня взяться, он тоже смог бы это проделывать? Скажем, колоть меня с правой стороны, чтобы отвлечь от левой, допрашиваемой с пристрастием?..

— Специалист поступил бы иначе. Сначала укол амитала в левую шейную артерию — carotis. Левый мозг тогда засыпает. На несколько минут.

— И этого хватит?

— Если не хватит, введут в артерию маленькую канюлю и начнут подавать амитал по капле. В конце концов заснет и правое полушарие, потому что мозговые артерии соединены между собой так называемыми коллатеральями. Потом надо выждать какое-то время, и можно начинать снова.

Я опустил штанину пижамы и встал.

— Не знаю, надолго ли у меня еще хватит терпения торчать тут, ожидая у моря погоды. Все-таки лучше знать что-то, чем ничего. Возьмитесь за меня всерьез, доктор.

— А почему бы вам не взяться за себя самому? Вы уже умеете понемногу объясняться с левой рукой. Это вам что-нибудь дало?

— Мало что.

— Отказывается отвечать на вопросы?

— Нет, скорее отвечает невразумительно. Я знаю одно: она помнит иначе, чем я. Пожалуй, целыми образами, целыми сценами. Когда я пытаюсь выразить это словами, знаками, получаются головоломки. А может, это как-нибудь записать и попробовать расшифровать — как стенограмму?

— Это скорее занятие для дешифровальщиков, чем для врачей. Допустим, нам удастся сделать такую запись. И что дальше?

— Не знаю.

— Я тоже. А пока — спокойной ночи.

Он вышел. Я погасил свет и лег, но уснуть не мог. Я лежал на спине. Вдруг левая рука приподнялась и медленно погладила меня несколько раз по щеке. Она явно жалела меня. Я встал, включил лампу, принял таблетку секонала и, одурманив таким образом обоих Ийонов Тихих, погрузился в беспмятство.

Мое положение было не просто плохим. Оно было еще и дурацким. Я прятался в санатории, сам не зная от кого. Ждал неизвестно чего. Пытался объяснить с самим собою руками, но, хотя левая отвечала даже живее, чем раньше, я не понимал ее. Я рылся в библиотеке санатория, таскал в свою комнату учебники, монографии, груды медицинских журналов, чтобы узнать наконец, кто или что я такое с правой стороны. Я задавал левой руке вопросы, на которые она отвечала с несомненной готовностью; больше того, она научилась новым выражениям и словам, что побуждало меня продол-

жать эти беседы и в то же время тревожило. Я боялся, что она сравняется со мной, а то и превзойдет меня теперешнего и мне придется не только считаться с нею, но и слушаться ее, или дело кончится распрями и перетягиванием каната, и я тогда не останусь в середине, а лопну или располовинюсь совершенно и стану похож на полураздавленного жучка, у которого одни ноги пытаются бежать вперед, а другие назад. Мне снилось все время, что я от кого-то убегаю и лазаю по каким-то сумрачным кручам, и я представления не имел, какой половине это снилось. То, что я узнал из груды книг, было правдой. Левый мозг, лишенный связи с правым, оскудевает. Речь его становится сухой, изобилует вспомогательным глаголом «быть». Разбирая свои записки, я заметил, что так происходит и со мной. Но кроме таких мелочей я ничего особенного не узнал из научной литературы. Там было не счесть гипотез, друг другу совершенно противоречивших; каждую из них я примерял к себе и, обнаружив, что она не подходит, злился на этих ученых, которые делали вид, будто лучше меня знают, что значит быть мною теперешним. Бывали дни, когда я готов был плюнуть на все предосторожности и поехать в Нью-Йорк, в Лунное Агентство. На следующее утро это казалось мне худшим из всего, что я мог сделать.

Тарантога не подавал о себе вестей, и, хотя я сам попросил его ждать от меня знака, его молчание тоже начинало меня раздражать. Наконец я решил взяться за себя по-мужски, так, как это сделал был прежний, не располовиненный Ййон Тихий. Я поехал в Дерлин, захудалый городишко в двух милях от санатория. Говорят, жители хотели назвать его Берлином, но что-то напутали с первой буквой. Я хотел купить там пишущую машинку — чтобы поставить левую руку под перекрестный огонь вопросов, записывать ее ответы и потом попробовать составить из них что-либо осмысленное. А вдруг я — правосторонний кретин, и лишь самолюбие не позволяет мне убедиться в этом? Блэр, Годдек, Шапиро, Розенкранц, Бомбардино, Клоски и Сереньи утверждали, что немое правое полушарие — не что иное, как кладезь неизвестных талантов, интуиций, предчувствий, невербального, целостного восприятия и чуть ли не гений в своем роде, источник всех тех чудес, с которыми левый рационализм не может примириться: телепатии, ясновидения, духовного перемещения в иные измерения бытия, видений, мистического экстаза и озарения; но Клейс, Цукеркандель, Пинотти, Вихолд, миссис Мейер, Рабауди, Отичкин, Нуэрле и восемьдесят других экспертов заявляли — ничего подобного. Да, конечно, резонатор

и организатор эмоций, ассоциативная система, эхо-пространство мысли ну и какая-то там память, но безъязыкая; правый мозг — это алогическая диковина, эксцентрик, фантаст, враль, герменевтиқ, это дух, но в сыром состоянии, это мука, а также и дрожжи, но хлеб из них может испечь только левый мозг. А третьи были такого мнения: правый — это генератор, левый — селектор, поэтому правый удален от реальности, и руководит человеком, переводит его мысли на людской язык, выражает, комментирует, дисциплинирует и вообще делает из него человека лишь левый мозг.

Для поездки в город Хоус предложил мне свою машину. Он не был удивлен моим намерением и не стал переубеждать меня. Он нарисовал на листке бумаги главную улицу, обозначив крестиком место, где находится универмаг. Однако заметил, что сегодня я уже не успею — была суббота и универмаг закрывался в час дня. Поэтому все воскресенье я бродил по парку, избегая, как только мог, Аделаиды. В понедельник я нигде не нашел Хоуса. Пришлось поехать на автобусе, который ходит раз в час. Он был почти пуст. Кроме негра-водителя — лишь двое мальчишек с мороженым в руках. Городок напоминал американские поселения полувекковой давности. Одна широкая улица, телеграфные столбы, домики в садиках, низкие живые изгороди, калитки, у каждой из них по почтовому ящику; а собственно город пытались изобразить собою несколько каменных домов у пересечения дороги с автострадой штата. Там стоял почтальон и разговаривал с толстым, обливающимся потом мужчиной в цветастой рубашке, собака которого, здоровенная дворняга в ошейнике, метила мочою фонарь. Я вышел на перекрестке, а когда автобус отъехал, оставив за собою облако вонючего дыма, осмотрелся в поисках универмага. Большой, остекленный, он стоял на противоположной стороне улицы. Два продавца в рабочих халатах при помощи механического подъемника выгружали со склада какие-то коробки и укладывали в грузовик. Солнце палило нещадно. Водитель сидел у открытой двери кабины и потягивал пиво из банки, как видно, уже не первой: пустые валялись у него под ногами. Это был совершенно седой негр, хотя на лицо вовсе не старей. Солнечной стороной улицы шли две женщины; одна, помоложе, катила детскую коляску с крытым верхом, другая, постарше, заглядывала в нее и что-то говорила. Несмотря на жару, она была закутана в шерстяную черную шаль, закрывавшую голову и плечи. Женщины как раз поравнялись с открытой авторемонтной мастерской. Там поблескивали несколько вымытых машин; шумела вода, и

шипел под давлением воздуха. Все это я замечал мимоходом, уже сходя с тротуара на мостовую, чтобы перейти на другую сторону, к универмагу. Я задержался, потому что большой темно-зеленый «линкольн», стоявший в нескольких десятках шагов, вдруг двинулся в мою сторону; за его зеленоватым ветровым стеклом смутно виднелся силуэт водителя. Мне показалось, что лицо у него черное; негр, должно быть, подумал я и остановился на бровке тротуара, пропуская его, но он довольно резко затормозил прямо передо мной. Я решил было, что он хочет о чем-то спросить, как вдруг кто-то сильно схватил меня сзади и зажал мне рот. Я был так ошарашен, что даже не пробовал сопротивляться. Кто-то сидевший на заднем сиденье открыл дверцу; я начал вырываться, но не смог и крикнуть, так меня сдавила рука. Почтальон бросился к нам, нагнулся и ухватил меня за ноги. Тут что-то застрекотало совсем рядом, и улица в мгновение ока изменила свой вид.

Пожилая женщина бросила шаль на тротуар и повернулась к нам. В руках у нее был автомат с коротким стволом. Это она стреляла, прямо в лоб «линкольну», длинной очередью изрешечивая радиатор и шины, так что пыль взметнулась с асфальта. Седовласый негр уже не пил пиво. Он сидел за баранкой, а его грузовик одним поворотом загородил дорогу «линкольну». Кудлатый пес бросился на женщину с автоматом, завертелся на месте и плашмя упал на асфальт. Почтальон отпустил меня, отскочил, выхватил из своего мешка что-то черное, круглое и бросил в сторону женщин; загрохотало, повалил белый дым, молодая женщина упала на колени за коляской, та непонятным образом раскрылась, и из нее, словно из огромного огнетушителя, вырвался столб пенистой жидкости, заливая шофера «линкольна», который только что выскочил на мостовую, и, прежде чем пена залила его, я увидел, что его лицо закрыто чем-то черным, а в руках — револьвер. Струя ударила в лимузин с такой силой, что ветровое стекло лопнуло и задело осколками почтальона. Толстяк — он все еще держал меня сзади — пятился, прикрывая себя моим телом. Из гаража вылетели какие-то люди в комбинезонах. Они добежали до нас и оторвали меня от толстяка. Все это не заняло и пяти секунд. Ближайшая к нам машина из тех, что стояли в мастерской, задним ходом выехала через открытые ворота, двое в халатах накинули сеть на шофера «линкольна», стараясь не прикасаться к нему, — он был с головы до ног в клейкой пене. Толстяк с почтальоном, оба уже в наручниках, залезали, подгоняемые ударами, в машину. Я стоял без движения, глядя, как человек, открывший только что

дверцу «линкольна», выбирается с поднятыми руками наружу, как послушно идет он к пикапу под дулом револьвера, а седой негр надевает на него наручники. Никто меня не коснулся, никто не сказал мне ни слова. Машина уехала. Пикап, в который посадили раненого, а может быть, застреленного шофера вместе с сообщником, тронулся, женщина подняла с тротуара черную шаль, отряхнула ее, положила автомат в коляску, привела верх в прежнее положение и удалилась как ни в чем не бывало.

Снова стало пусто и тихо. Только «линкольн» со спущенными шинами и разбитыми фарами да застреленная собака свидетельствовали о том, что это мне не привиделось. Рядом с универмагом, в саду, заросшем высокими подсолнухами, располагался одноэтажный деревянный домик с верандой. В открытом окне, с трубкой в руках, стоял, удобно опершись локтями о подоконник, мужчина с темным загаром и светлыми, почти белыми волосами и смотрел на меня спокойно и выразительно, как бы говоря: «Вот видишь?» Лишь теперь до моего сознания дошло нечто еще более удивительное, чем попытка меня похитить: хотя в ушах у меня еще не отзвучали автоматные очереди, взрывы и крик, ни одно окно не открылось и никто не выглянул на улицу, как если бы меня окружала плоская театральная декорация. Я стоял так довольно долго, не зная, что делать дальше. Пишущую машинку покупать, пожалуй, не стоило.

IV. ЛУННОЕ АГЕНТСТВО

— Господин Тихий, — сказал Директор, — наши люди посвятят вас во все подробности Миссии. Я же хочу очертить лишь общую картину — чтобы за деревьями вы не потеряли из виду леса. Женевский трактат осуществил четыре невозможности. Всеобщее разоружение одновременно с продолжающейся гонкой вооружений — это раз. Максимальные темпы этой гонки при нулевых расходах — два. Полная гарантия от внезапного нападения при сохранении права вести войну, если кому-нибудь этого пожелается. Это в-третьих. И наконец, полная ликвидация всех армий, которые, однако, по-прежнему существуют. Никаких войск нет, но штабы остались и могут планировать, что хотят. Словом, мы установили расем in terris*. Понимаете?

* Мир на земле (*лат.*) — часть евангельского изречения (Лк.2, 14).

— Понимаю, — ответил я, — но я ведь читаю газеты. Там пишут, что мы попали из огня да в полымя. А тут я еще прочитал, не помню где, что Луна молчит и проглатывает всех разведчиков, потому что Кому-то удалось заключить тайное соглашение с тамошними роботами. И за всем, что делается на Луне, стоит какое-то государство. И Агентство об этом знает. Что вы скажете?

— Абсурд, — произнес энергично Директор.

Мы сидели в его кабинете, по размерам не уступавшим залу. Сбоку, на возвышении, стоял огромный лунный глобус, испещренный оспинами кратеров. Сектора отдельных государств — зеленые, розовые, желтые и оранжевые, как на политических картах, — тянулись от полюса к полюсу, что делало глобус похожим на детскую игрушку или освещенный изнутри стеклянный апельсин без кожуры. За спиною Директора свисал со стены флаг ООН.

— Подобных бредней теперь не счесть, — продолжал Директор, улыбаясь мне со снисходительным выражением на смуглом лице. — Наше пресс-бюро готово представить вам обзор этих рассказней. Они высосаны из пальца.

— Но движение неопацифистов — или лунофилов, — оно-то, наверно, не выдумка?

— Вы про этих лунатиков? Да, разумеется. Вы читали их манифесты? Их программу?

— Читал. Они требуют соглашения с Луной...

— «Соглашения»! — пренебрежительно хмыкнул Директор. — Не соглашения, а капитуляции. Только неизвестно перед кем! Вздорные люди. Воображают себе, будто Луна стала Ксм-то, будто можно признать ее стороной в переговорах и в пактах, стороной могущественной и разумной. Будто бы там уже ничего нет, кроме гигантского компьютера, который поглотил все сектора. У страха, господин Тихий, глаза велики, а разум-то крошечный.

— Допустим, но разве можно исключить объединение в какой-либо форме всех вооружений там, на Луне, — тамошних армий — если это армии? Как можно быть уверенным, что ничего такого не произошло, раз ничего не известно?..

— Даже там, где ничего не известно, некоторые вещи невозможны. Сектор каждого государства был оборудован как эволюционный полигон. Вот, посмотрите. — Он взял небольшую плоскую коробочку, и на глобусе начали загораться сектор за сектором, пока весь он не засиял как цветной ламп-он. — Вот эти, самые широкие, принадлежат сверхдержавам. Мы, разумеется, знали, что перевозим, ведь в роли перевоз-

чика выступало наше Агентство. Мы также выполняли предварительные работы, рыли котлованы под СУПСы — Супер-моделирующие Системы. В каждом секторе есть такая система, окруженная производственным комплексом. Сектора не могут между собою сражаться. Это исключено. СУПС проектирует новые типы оружия, а СЕКСы — Селекционные Контр-Системы — пытаются с ними бороться. То и другое — путем моделирования на компьютерах. Программы исходят из принципа Щита и Меча. Вообразите себе, что каждое государство разместило на Луне двучленный компьютер, который играет в шахматы сам с собою. Но в такие шахматы, где вместо фигур — оружие и в ходе игры может меняться все: разрешенные ходы, ценность фигур, форма доски. Все.

— Как же так, — удивился я. — Выходит, там нет ничего, кроме компьютеров, моделирующих гонку вооружений? Чего же тогда бояться Земле?.. Смоделированное оружие не опасней листка бумаги...

— Да нет же! Отобранные проекты идут в реальное производство. Другое дело, и именно в этом суть проблемы, *когда* идут. Выглядит это так: СУПС проектирует не какой-либо один тип оружия, а целую систему военного противоборства. Безлюдную, разумеется. Солдат и оружие тут — единое целое. Это как в естественной эволюции. Борьба за выживание, понимаете? Ну, скажем, СУПС проектирует каких-нибудь хищников, а СЕКС старается нащупать их слабые стороны, чтобы их уничтожить. Если это ему удастся, СУПС выдумывает что-нибудь новое, — а тот опять отвечает контрударом. В принципе такая моделируемая борьба могла бы продолжаться и миллион лет, — но когда-то нужно начать реальное производство оружия. Через *какое* время — и *какая* эффективность требуется от опытных образцов, — заранее установили программисты данного государства. Ведь каждое государство хотело иметь на Луне реальный запас оружия, арсенал, а не только модели в виде планов на бумаге или в компьютере. Но и тут есть своя заковыка, серьезное противоречие. Догадываетесь, какое?

— Не вполне.

— Моделируемая эволюция протекает гораздо быстрее реальной. Тот, кто *дальше* ждет результатов моделирования, получает оружие *более совершенное*. Но, пока он ждет, он остается безоружным. Тот же, кто выбрал более короткий период моделирования, перевооружится быстрее. Мы называем это коэффициентом риска. Каждое государство, размещая на Луне свой военный потенциал, должно было заранее решить,

что предпочтительнее: лучшее оружие, но позже, либо оружие похуже, но быстрее.

— Странно как-то, — заметил я. — А что происходит, когда производство все-таки начинается? Оружие направляют на склады?

— Какую-то часть — возможно. Но только часть. Потому что тогда начинается уже настоящая, не моделируемая война, разумеется, лишь в границах данного сектора.

— Вроде маневров?

— Нет. На маневрах только делали вид, что воюют; солдаты не гибли, а там, — Директор показал на светящуюся разноцветную Луну, — воюют по-настоящему. В границах сектора, повторяю. Никто и ничто не может напасть на соседний...

— Значит, сперва эти вооружения сражаются и уничтожают друг друга в компьютерах, понарошку, а потом уж всерьез? А что дальше?

— Вот тот-то и оно! Неизвестно, что дальше. Вообще говоря, имеются две возможности. Либо гонка вооружений имеет предел, либо нет. Если имеет — значит, существует «абсолютное оружие», и гонка, в виде моделируемой эволюции, рано или поздно приведет к созданию этого оружия. Само себя оно победить не может, и возникает ситуация стабильного равновесия. Развитие прекращается. Лунные арсеналы заполняются оружием, выдержавшим это последнее испытание, и больше ничего не происходит. Мы хотели бы, чтобы все было именно так.

— А это не так?

— Почти наверняка нет. Во-первых, естественная эволюция не имеет конца. Потому что не существует никаких «абсолютных», «окончательных», идеально приспособленных к жизни организмов. У любого вида есть свои слабые стороны. Во-вторых, на Луне ведь идет не естественная эволюция, а искусственная, и притом эволюция вооружений. Каждый сектор наверняка старается следить за развитием в других секторах и реагирует на это по-своему. Военное равновесие — нечто иное, чем биологическое равновесие. Живые виды не могут быть чересчур эффективны в борьбе с конкурентами. Почему? Абсолютно заразные микробы умертвили бы все питающие их организмы и сами погибли бы. Поэтому в Природе равновесие устанавливается *ниже* уровня уничтожения. Иначе эволюция оказалась бы самоубийственной. А развитие вооружений имеет целью достижение перевеса над противником. У оружия нет инстинкта самосохранения.

— Погодите, господин Директор, — сказал я, пораженный внезапной мыслью. — Ведь каждое государство могло гайком построить на Земле точно такую же систему, как лунная, и, наблюдая за ее работой, дознаться, что там подделывает близнец?..

— Вот и нет! — воскликнул Директор с лукавой улыбкой. — Это как раз невозможно! Ход эволюции нельзя предсказать. В этом мы убедились на практике.

— Как?

— Так, как вы сказали. Мы ввели в одинаковые компьютеры одинаковые программы и пустили их в ход. Пошла эволюция — пальчики облизнешь, но только везде по-своему. Все равно как если бы вы захотели предсказать ход шахматного турнира в Москве между сотней компьютеров гроссмейстерской силы, моделируя ход игры на сотне таких же компьютеров в Нью-Йорке. Что вы узнаете о московском турнире? Ровно ничего. Ведь ни один игрок, человек он или компьютер, не повторяет одни и те же ходы. Действительно, политики хотели иметь такие моделирующие устройства, но это им ничего не дало.

— Превосходно. Но если никто до сих пор ничего не добился и все ваши разведчики словно в воду канули, как я могу рассчитывать на успех?

— Вы получите средства, которых еще никто не имел. О подробностях узнаете от моих подчиненных. Желаю удачи...

Три месяца кряду я в поте лица трудился на тренажерах в исследовательском центре Лунного Агентства и могу сказать по совести, что под конец я знал телематику как свои пять пальцев. Телематика — это искусство управления теледублем. Нужно раздеться догола и натянуть эластичный комбинезон, отдаленно напоминающий водолазный, но из более тонкого материала и сверкающий как ртуть, потому что он соткан из проводов тоньше паутины. Это электроды. Прилегая в телу, они через кожу регистрируют изменения электрического поля в мышцах и транслируют их теледублю, а тот благодаря этому абсолютно точно воспроизводит любое ваше движение. Это, впрочем, еще не так удивительно. Удивительнее другое: вы не только видите все окружающее глазами теледубля, но и чувствуете то, что чувствовали бы на его месте. Когда он берет камень, вы чувствуете его форму и вес так, как если бы сами держали его в руке. Ощущаете каждый шаг, каждую заминку, а если дубль ударится обо что-нибудь слишком сильно — то и боль. Это казалось мне лишним, но доктор Мигель Лопес, руководивший моим обучением, доказывал, что так и

должно быть. В противном случае теледублю постоянно грозила бы опасность получить повреждение. При сильной боли можно выключить канал, по которому она транслируется, но лучше специальным регулятором уменьшить ее интенсивность, чтобы все-таки знать, как там дела у дубля. Человек, влезший в искусственную шкуру, перестает ощущать, где находится его собственная особа, и перевоплощается в теледубля. Я тренировался на разных моделях. Вообще-то дублю вовсе не обязательно быть человекоподобным, он может быть меньше гнома или больше Голиафа, но при этом возникают различные трудности. Если вместо ног у него, скажем, гусеницы, пропадает ощущение непосредственного контакта с почвой, почти как при вождении автомобиля или танка. Если дубля сделать великаном, вдесятеро больше человека, двигаться в нем приходится очень медленно, ведь его руки и ноги весят десятки тонн каждая и обладают соответствующей инерцией, которая на Луне точно такая же, как на Земле. Я испытал это на себе, воплотившись в двухсоттонного теледубля: ощущение было такое, словно шагаешь под водой, хотя сопротивление оказывала не вода, а масса ног и всего корпуса. Впрочем, дубль-гигант был бы только помехой, мишенью размером с башню. Зато в моем распоряжении была, среди прочих, серия «гномиков» — теледублей один другого меньше. Скорее уж они смахивали на насекомых. Забавные существа, ничего не скажешь, но с такой высоты любой камешек кажется целой горой и трудно ориентироваться на местности. Более тяжелые лунные дубли выглядели довольно диковинно. Толще всего у них были ноги — короткие, чтобы центр тяжести располагался как можно ниже. Такой ЛЕМ (Lunar Efficient Missionary) сохраняет равновесие лучше, чем человек в скафандре; он не покачивается при ходьбе, а руки у него длинные, как у орангутана. Такие руки очень удобны при двадцатиметровых прыжках.

Прежде всего я хотел услышать, какие модели применялись в прежних рекогносцировках и как у них пошло дело. Чтобы посвятить меня в эти подробности, моим опекунам пришлось получить особое разрешение Директора: чего ни коснись, все тут было секретным. Объясняли это нежеланием привлекать внимание прессы, которая и без того раздувала панику самыми невероятными домыслами. СОМ, Служба Охраны Миссии, выдавала меня за советника Лунного Агентства, а журналистов я должен был сторониться пуще чумы. В конце концов я смог расспросить обоих разведчиков, вернувшихся невредимыми, но даже их я не видел, а только бесе-

давал с ними по телефону, по отдельности с каждым. Кажется, обоим дали новые имена и сверх того так перекроили им внешность, что родная мать не узнала бы. Первый, Лон — но имя это наверняка было ненастоящим, — без осложнений вошел в Зону Радиомолчания, вышел на селеностационарную орбиту примерно в двух тысячах миль над Морем Облаков и выслал бронированного теледубля, который высадился в совершенно пустынной местности. Не пройдя и ста шагов, он был атакован. Я пытался разузнать хоть какие-нибудь подробности, но Лон твердил все одно и то же: шел по равнине Моря Облаков, один как перст, — впрочем, перед тем он изучил окрестности в радиусе нескольких сот километров и не заметил ничего подозрительного, — как вдруг откуда-то сбоку, совсем рядом, появился огромный, по крайней мере вдвое больше ЛЕМа, робот и открыл огонь. Лона ослепила бесшумная вспышка — и все. Потом он, понятно, фотографировал это место с орбиты; рядом с маленьким кратером лежали останки дубля, спекшиеся в груды металлического шлака, а вокруг — мертвая пустыня. У следующего разведчика было два теледубля, но первый сразу же после старта закувыркался и разбился о скалы, а второй был, собственно, «двойкой», или, иначе, «двойняшками». «Двойняшками» прозвали пару дублей, приводимых в движение одним человеком. Поэтому они делают все в унисон. Первый должен был идти впереди, а второй за ним, в некотором отдалении, чтобы увидеть, кто нападет на ведущего. Кроме того, в сопровождение им выделили микропов, то есть микроскопических циклопов. Это некое подобие телекамеры, состоящей из целого роя датчиков не больше мушки каждый, снабженных микроскопическими объективами; целое облако микропов следовало за «двойняшками», зависнув на высоте не менее мили над лунной поверхностью, чтобы не выпускать теледублей и их окружение из поля зрения. Человек управлял теледублями, а микропы передавали изображение прямо на Землю, в центр управления полетом. Результаты так прекрасно задуманной и огражденной, казалось бы, от всевозможных опасностей экспедиции были плачевны. Оба дубля подверглись уничтожению, как только встали на лунный песок; причем мой второй собеседник утверждал, будто они были атакованы двумя роботами странной конструкции — низкими, горбатыми и необычайно толстыми; он помнил, что они возникли попросту из ниоткуда и сразу направились к нему, поэтому он изготавился к выстрелу, но не успел даже нажать на спуск. Увидел бело-голубую вспышку, наверняка лазерную, и пришел в сознание уже на

борту корабля. Потом он сфотографировал то, что осталось от дублей, а земная служба контроля подтвердила лишь последний пункт его рапорта. Теледубли действительно раскалились и мгновенно распались, словно пораженные мощным лазером, но источник выстрела установить не удалось.

Я целиком просмотрел фильм, запечатлевший все увиденное микропами, а также снимки последних, критических секунд — в максимальном увеличении. Компьютер проанализировал изображение каждого камушка в радиусе двух километров — именно таково расстояние до лунного горизонта, а лазер бьет лишь по прямой. Выглядело это и в самом деле загадочно. Оба дубля сели очень удачно, даже не пошатнулись, встав ногами на грунт, и зашагали один за другим в замедленном темпе, а затем одинаковым движением подняли свои ручные лучеметы — словно заметили какую-то опасность, хотя на снимках ничто на нее не указывало, — открыли огонь и тут же были поражены сами, один в грудь, второй чуть ниже. Лучевой удар разнес их на куски, в тучах пыли и жарком свечении металла. Хотя изображение анализировали так и эдак, стараясь засечь точку, из которой последовал лазерный залп, установить не удалось ничего. Даже в Сахаре не так пусто, как пусто было на этих снимках. Невидимыми остались и сами нападавшие, и их оружие. Но разведчик упорно стоял на своем: в момент нападения он увидел двух больших, уродливо сторбленных роботов там, где на долю секунды раньше их наверняка не было. Они возникли из ничего, изготовились к выстрелу, дали залп и исчезли. Как исчезли — этого он разглядеть глазами дублей не смог, те уже распались, но с борта корабля он еще успел увидеть оседающую тучу пыли на месте катастрофы. Именно здесь его сообщение совпало с данными наблюдения микропов. На переданном ими изображении были прекрасно видны раскаленные куски теледублей в клубах лунных песчинок, но больше ничего.

Узнал я немного, но и это не было лишено для меня смысла, так как означало, что из Миссии можно вернуться невредимым. По поводу непонятого нападения возникло немало гипотез, включая гипотезу, согласно которой *Некто* на Луне переняло контроль над обоими теледублями и заставило их уничтожить себя встречным огнем. Увеличенные снимки показали, однако, что дубли целили вовсе не один в другого, но куда-то в сторону, а максимально точные замеры показали, что ответный лазерный залп разнес их практически одновременно — через десятиллионную долю секунды после их собственного выстрела. Спектральный анализ пылающих

панцирей позволил установить, что мощность лазеров, примененных лунной стороной, равнялась мощности лазеров «двойняшск», но отличалась по спектру излучения.

На Земле нельзя воспроизвести слабое лунное притяжение, поэтому после вводного курса на полигоне я несколько раз в неделю летал на орбитальную станцию Агентства, где смонтировали специальную платформу с силой тяжести вшестеро меньше земной. Когда я совсем освоился в шкуре теледубля, началась следующая стадия испытаний, чрезвычайно похожих на реальность, хотя и абсолютно безопасных. Однако особенно приятными я бы их не назвал. Я вышагивал по мнимой Луне среди малых и больших кратеров, не зная, что и когда застанет меня врасплох.

Поскольку мои вооруженные предшественники ничего не добились, штаб миссии решил, что мне лучше отправиться без оружия. Я должен был продержаться в теледубле как можно дольше, ведь каждая секунда позволяла сделать множество наблюдений микропам, целый рой которых будет надо мной висеть. На успешную защиту все равно надеяться нечего, разъяснял Тотгентанц, так что мне надлежало проникнуть в безжизненную, ошетилившуюся смертью зону и неизбежно потерпеть поражение, а вся надежда была на то, что поражение окажется поучительным. Первые разведчики требовали, чтобы их вооружили, по очень понятным мотивам психологического порядка. Всегда спокойнее в минуту опасности держать палец на спусковом крючке. Среди инструкторов-наблюдателей — я называл их истязателями — были и психологи. Они неусыпно пеклись о том, чтобы я привык ко всякого рода неприятным сюрпризам. Хотя я и знал, что серьез мне ничто не угрожает, по искусственной Луне я ступал как по раскаленной жаровне, настороженно озираясь по сторонам. Одно дело — искать противника, которого себе представляешь, и совершенно иное — не иметь понятия, не раскроется ли вдруг лежащий неподалеку булыжник, с виду мертвей покойника, чтобы полить тебя огнем. Хотя все это была имитация, каждый такой сюрприз был достаточно пакостным. Правда, автоматические выключатели прерывали связь между мною и дублем при поражении огнем, однако действовали они с запаздыванием, пусть минимальным, в долю секунды, и я множество раз пережил не поддающееся описанию чувство: разлетаешься на куски с оторванной головой, и видишь ее глазами, пока они еще не потухли, потроха, вываливающиеся из распоротого живота. Хорошо хоть потроха были из кремния и фарфора.

Я пережил десятки таких агоний и поэтому ясно себе представлял, сколько занимательного ожидает меня на Луне. Разорванный на куски уже не помню который раз, я пошел к Сульцеру, главному телетронщику, и выложил свои сомнения ему на стол. Быть может, я и вернусь с Луны с целыми руками и ногами, бросив там останки расстрелянных ЛЕМов, но какой в этом, собственно, прок? Что можно узнать о неизвестных системах оружия за доли секунды? Зачем вообще посылать туда человека, раз он все равно не может высадиться?

— Вы же знаете, господин Тихий, зачем, — сказал он, угощая меня рюмкой шерри. Он был низенький, худой и лысый как колено. — С Земли ничего не получится. Четыреста тысяч километров — это почти трехсекундное запаздывание управляющего сигнала. А вы снизьтесь до предела. До полутора тысяч километров еще можно — это нижняя граница Зоны Молчания.

— Да не о том речь. Если мы заранее предполагаем, что дубль не просуществует и минуты, можно послать его отсюда с микропами, которые зарегистрируют его гибель.

— Это мы уже делали.

— И что же?

— И ничего.

— А микропы?

— Показывали облачко пыли.

— А разве нельзя послать вместо теледубля что-нибудь покрепче, в приличном панцире?

— Что вы считаете приличным панцирем?

— Ну, допустим, шар вроде тех, что применялись раньше при исследовании океанских глубин. С перископами, датчиками и так далее.

— Нечто подобное делалось. Не совсем так, как вы говорите, но в этом роде.

— И что?

— Он даже не пискнул.

— С ним что-то случилось?

— Да нет. Он лежит там посейчас. Связь отказала.

— Почему?

— Вопрос — на шестьдесят четыре тысячи долларов. Знай мы это, мы не стали бы вас беспокоить.

Таких бесед у меня было за это время несколько. По завершении второй стадии подготовки я получил увольнительную. Три месяца я прожил на строго охраняемой территории базы и мечтал хотя бы на один вечер вырваться из этой казармы. Поэтому я пошел к Начальнику Охраны (НО — так

он именовался) за пропуском. Прежде я его ни разу не видел. Меня принял хмурый выцветший субъект совершенно невоенного вида, в рубашке с короткими рукавами, выслушал, изобразил на лице сочувствие и сказал:

— Мне очень жаль, но я не могу вас выпустить.

— Как? Почему?

— Так мне приказано. Официально я ничего больше не знаю.

— А неофициально?

— Неофициально тоже ничего. Должно быть, они боятся за вас.

— На Луне — это я понимаю, но *здесь*!?

— Здесь еще больше.

— Значит ли это, что до отлета я не смогу выйти отсюда?

— К сожалению, да.

— В таком случае, — сказал я очень тихо и вежливо, как обычно, когда дохожу до белого каления, — я никуда не поеду. Об этом не было уговора. Я обязался рисковать головой, но не сидеть в катажке. Лететь я вызвался по собственной охоте. Теперь у меня ее нет. Силком запихнете меня в ракету или как?

Я стоял на своем и в конце концов получил пропуск. Хотелось почувствовать себя обычным прохожим, погрузиться в городскую толпу, пожалуй, сходить в кино, а больше всего — поужинать в приличном ресторане, а не в военной столовой с типами, которые за едой по секундам разбирали предсмертные минуты Ййона Тихого в полыхающем как фейерверк теледубле. Доктор Лопес дал мне свою машину, и я выехал, когда уже начинало смеркаться. При въезде на автостраду я увидел в свете фар фигуру с поднятой рукой возле небольшого автомобиля с включенными аварийными огнями. Я притормозил. Это была молодая женщина в белых брюках и белом свитере, блондинка с пятнами машинного масла на лице. «Похоже, мотор заклинило», — сказала она. Действительно, стартерной ручкой не удалось сделать и оборота, поэтому я предложил подвезти ее до города. Когда она забирала плащ из своей машины, на переднем сиденье я заметил крупного мужчину. Он был неподвижен, как чурбан. Я приоткрылся к нему поближе.

— Это мой дубль, — пояснила она. — Сломался. Все у меня ломается. Хотела отвезти его в мастерскую.

Голос у нее был глуховатый, чуть хриплый, почти детский. Мне показалось, я уже слышал его когда-то. Почти наверное. Я открыл правую дверцу, чтобы дать ей войти и, прежде чем

лампочка над зеркалом заднего обзора погасла, увидел ее лицо вблизи. Я остолбенел, до того она была похожа на Мэрилин Монро, кинозвезду прошлого века. То же лицо, то же, как будто бессознательно наивное выражение губ и глаз. Она попросила остановить машину у какого-нибудь ресторана, где можно умыться. Я сбавил скорость, и мы медленно поехали мимо подсвеченных рекламных щитов.

— Сейчас будет итальянский ресторанчик, совсем недурной, — сказала она.

Действительно, впереди светился неон: Ristorante. Я поставил машину на автостоянке. Мы вошли в полутемный зал. На немногочисленных столиках горели свечи. Девушка пошла в туалет, а я, после некоторого колебания, уселся в боковой нише. Деревянные лавки окружали столики с трех сторон. Зал был почти пуст. На привычном фоне разноцветных бутылок рыжий бармен мыл стаканы, рядом вела на кухню маятниковая дверь, обшитая полированной медью. В соседней нише сидел посетитель за тарелкой с остатками еды и, склонившись, что-то писал в блокноте. Девушка вернулась.

— Есть хочется, — заявила она. — Я простояла больше часу. Хоть бы кто-нибудь остановился. Возьмем что-нибудь? Приглашаю.

— Хорошо, — согласился я.

Толстый мужчина, сидевший у стойки спиной к нам, уткнулся носом в стакан. Между ног он держал большой черный зонт. Появился кельнер, принял у нас заказ, держа в руках поднос с грязной посудой, и, толкнув ногой дверь, исчез на кухне. Блондинка молча достала из кармана брюк мятую пачку сигарет, прикурила от свечи, протянула пачку мне, я поблагодарил кивком. Я пытался, стараясь не слишком пристально вглядываться, определить, чем она отличается от той. Ничем. Это было тем удивительнее, что множество женщин мечтали быть похожими на Монро и ни одной это не удалось. Та была неповторима, хотя не обладала какой-то поразительной или экзотической красотой. О ней написано много книг, но ни в одной не схвачено сочетание детскости с женственностью, выделявшее ее среди всех остальных. Еще в Европе, разглядывая ее фотографии, я однажды подумал, что ее нельзя было бы назвать девушкой. Она была женщина-подросток, вечно словно бы удивленная или изумленная, веселая, как капризный ребенок, и в то же время скрывающая отчаяние или страх, словно ей некому было доверить какую-то грозную тайну. Незнакомка глубоко затяги-

валась дымом и выпускала его изо рта в сторону свечи, мерцающей между нами. Нет, это было не сходство, а тождество. Я чувствовал, что, если примусь в ней разбираться, хватит причин для подозрений; я как-никак не слепой, и могло показаться странным, почему она носит сигареты в кармане — привычка вовсе не женская. А ведь у нее была сумочка, которую она повесила на подлокотник, и к тому же большая, чем-то набитая. Кельнер принес пиццу, но забыл о кьянти; он извинился и выбежал из зала. Вино принес уже другой. Я это заметил, потому что здесь все было устроено в стиле таверны, и кельнеры ходили опоясанные длинными, до колен, салфетками, словно фартуками. Но этот второй кельнер держал свою салфетку на сгибе руки. Наполнив наши рюмки, он не ушел, а только чуть отступил и остался стоять за перегородкой. Я видел его, словно в зеркале, в сияющей меди двери, ведущей на кухню. Блондинка, сидевшая глубже, пожалуй, не могла его видеть. Пицца была так себе: тесто довольно жесткое. Мы ели молча. Отодвинув тарелку, она снова потянулась за пачкой «Кэмела».

— Как вас зовут? — спросил я. Я хотел услышать незнакомое имя, чтобы отделаться от впечатления, будто передо мной та, другая.

— Выпьем сначала, — сказала она своим чуть хрипловатым голосом, взяла наши рюмки и поменяла местами.

— Это что-нибудь значит? — спросил я.

— Такая уж у меня примета.

Она не улыбалась.

— За нашу удачу!

С этими словами она поднесла рюмку ко рту. Я тоже. Пицца была густо поперчена, и я выпил бы вино одним глотком, но что-то вдруг с треском выбило рюмку у меня из руки. Кьянти забрызгало девушку, кровавыми пятнами разлилось по ее белому свитеру. Это сделал тот кельнер. Я хотел вскочить, но не смог. Мои ноги были далеко под деревянной лавкой, и, прежде чем я их оттуда вытащил, все вокруг пришло в движение. Кельнер без фартука прыгнул вперед и схватил ее за руку. Она вырвалась и подняла обеими руками сумочку, словно прикрывая лицо. Бармен выбежал из-за стойки. Сонный, лысый толстяк подставил ему ногу. Бармен с грохотом рухнул на пол. Девушка сделала что-то с сумочкой. Оттуда, как из огнетушителя, вырвалась струя белой пены. Кельнер, который был уже рядом с ней, отскочил и схватился за лицо — все в белой пене, стекающей на жилет. Блондинка выстрелила белой струей в другого кельнера, который успел

прибежать из кухни; он вскрикнул, пораженный ударом пены. Оба отчаянно терли глаза и лица, облепленные белым месивом, как у актеров немой комедии, швыряющих друг в друга тортами. Мы стояли в белесом тумане, потому что пена сразу испарялась, распространяя резкий, едкий запах и мутными клубами заполняя зал. Блондинка, бросив быстрые взгляды на обоих обезвреженных кельнеров, направила сумочку на меня. Я понимал, что наступила моя очередь. Мне и сейчас любопытно, почему я не пробовал заслониться. Что-то большое и темное возникло передо мной. Черная материя загремела как бубен. Это был все тот же толстяк. Он заслонил меня открытым зонтом. Сумочка полетела на середину зала и почти беззвучно взорвалась. Из нее повалил темный густой дым, смешиваясь с белым туманом. Бармен вскочил с пола и уже несясь вдоль стойки к кухонной двери — та все еще качалась. Блондинка исчезла за ней. Толстяк бросил под ноги бармену раскрытый зонт, бармен перепрыгнул через него, потерял равновесие, повалился боком на стойку, с грохотом смел с нее все стекло и проскочил через маятниковую дверь. Я стоял и смотрел на это побоище. Почерневшая сумочка все еще дымила между столиками. Белая мгла рассеивалась, пощипывая глаза. Вокруг раскрытого зонта валялись на полу осколки тарелок, стаканов, рюмок, кусочки пиццы, облепленные клейким месивом и залитые вином. Все случилось так быстро, что бутылка кьянти все еще катилась в своей оплетке, пока не уперлась в стену. Из-за перегородки, отделявшей мой столик от соседнего, поднялся человек — тот самый, что писал в блокноте и пил пиво. Я узнал его сразу. Это был выцветший мужчина в гражданском, с которым я два часа назад препирался на базе. Он меланхолически приподнял брови и заметил:

— Ну, так стоило ли, господин Тихий, бороться за этот пропуск?

— Плотная свернутая салфетка на небольшом расстоянии неплохо защищает от пистолетного выстрела, — задумчиво произнес Леон Грюн, начальник охраны; коллеги называли его Лоэнгрином. — Еще во времена пелерин каждый полицейский во Франции знал этот способ. Парабеллум или «беретта» не уместилась бы в сумочке. Конечно, у нее могла быть и дорожная сумка, но вытащить пушку побольше — это требует времени. Все же я посоветовал Трюфли взять зонт. Просто наитие какое-то, ей-богу. Это ведь был сальпектин, не так ли, доктор?

Химик, к которому был обращен вопрос, почесал за ухом. Мы сидели на базе, в прокуренной, полной народу комнате, далеко за полночь.

— А кто его знает? Сальпектин или какая-нибудь другая соль со свободными радикалами, в пульверизаторе. Радикалы аммония плюс эмульгатор и добавки, снижающие поверхностное натяжение. Под приличным давлением — минимум пятьдесят атмосфер. Немало вошло в эту сумочку. У них, как видно, прекрасные специалисты.

— У кого? — спросил я, но никто, казалось, не слышал моего вопроса. — С какой целью? Для чего это было нужно? — спросил я еще раз, громче.

— Обезвредить вас. Ослепить, — отозвался Лознгрин с радушной улыбкой. Он зажег сигарету и тут же с гримасой отвращения затушил ее в пепельнице. — Дайте мне чего-нибудь выпить. Я весь прокурен, как заводская труба. Вы, господин Тихий, стоите нам уйму здоровья. Организовать такую охрану за полчаса — это не фунт изюму.

— Хотели меня ослепить? На время или навсегда?

— Трудно сказать. Это чертовски едкая штука, знаете ли. Может, вам и удалось бы выкарабкаться — после пересадки роговой оболочки.

— А те двое? Кельнеры?

— Нащ человек закрыл глаза. Успел-таки. Хорошая реакция. Сумочка все же была в некотором роде новинкой.

— Но почему тот — лжекельнер — выбил у меня из рук рюмку?

— Я с ним не беседовал. Для бесед он сейчас мало пригоден. Потому, наверно, что она поменяла рюмки.

— Там что-то было?

— На девяносто пять процентов — да. Иначе зачем бы ей это?

— В вине не могло быть ничего. Она пила тоже, — заметил я.

— В вине — нет. В рюмке. Она ведь играла рюмкой, пока не пришел кельнер?

— Точно не помню. Ах да. Она вертела ее между пальцами.

— Вот именно. Результатов анализа придется подождать. Только хроматография может что-то установить, потому что все пошло вдребезги.

— Яд?

— Я склонен так полагать. Вас надлежало обезвредить. Вывести из строя, но необязательно убивать. Это вред ли.

Нужно представить себя на их месте. Труп не очень-то выгоден. Шум, подозрения, пресса, вскрытие, разговоры. К чему это? А вот солидный психоз — дело другое. Решение более изящное. Таких препаратов теперь не счесть. Депрессия, помрачение рассудка, галлюцинации. Опрокинув ту рюмочку, вы, я думаю, ничего не почувствовали бы. Только на завтра, а то и позже. Чем дольше скрытый период, тем больше это похоже на настоящий психоз. Кто сегодня не может рехнуться? Каждый может. Я первый, господин Тихий.

— Ну, а пена? Пульверизатор?

— Пульверизатор был последним аргументом. Пятое колесо в сундуке. Она применила его, когда уже нельзя было иначе.

— А кто эти «они», о которых вы все время говорите?

Лоэнгрин добродушно улыбался. Он вытер вспотевший лоб платком не первой свежести, с неодобрением посмотрел на него, засунул в карман и сказал:

— Вы сущий ребенок. Не все так восхищены вашей кандидатурой, как мы, господин Тихий.

— У меня есть дублер? Я никогда не спрашивал... есть ли кто-нибудь в резерве? Может, так удалось бы установить — кто?

— Нет. Сейчас нет *одного* дублера. Их целое множество — с одинаковыми оценками, так что пришлось бы начинать заново всю процедуру. Весь отбор. Тогда мы могли бы что-нибудь найти, но сейчас — нет.

— И еще одно я хотел бы узнать, — проговорил я после некоторой заминки. — Откуда она такая взялась?

— Это нам частично известно. — Лоэнгрин опять улыбался. — Вашу европейскую квартиру пару недель назад перетрясли всю. Ничего не пропало, но все было осмотрено. Вот оттуда.

— Не понимаю?..

— Библиотека. У вас есть книги и два альбома о Мэрилин. Ваша слабость, как видно.

— Вы перевернули мою квартиру вверх дном и не сказали ни слова?

— Все стоит, как стояло, и даже пыль вытерта, а что касается визитов, то мы были не первыми. Сами видите, как хорошо, что наши люди рассмотрели как следует даже книги. Мы молчали, чтобы не беспокоить вас. И без того у вас голова забита. Максимальная концентрация вам совершенно необходима. Мы — ваша коллективная нянька, — он очертил рукой круг, указывая на присутствующих — толстяка, уже без

зонта, и трех молчаливых мужчин, подпиравших стены. — Поэтому, когда вы потребовали пропуск, я счел за лучшее дать его вам, а не тратить время на разговоры о вашей квартире. Все равно это вас не остановило бы, верно?

— Не знаю. Должно быть, нет...

— Вот видите.

— Хорошо. Но я имел в виду сходство. Боже мой! Она была — человеком?

— Постольку, поскольку. Непосредственно — нет. Хотите посмотреть на нее? Она у нас здесь, в той комнате, — он показал на дверь за своей спиной. Хотя я понял его, какую-то долю секунды у меня в голове колотилась мысль, что Мэрилин умерла во второй раз.

— Продукция «Джинандроикс»? — медленно спросил я. — Телеподружка?..

— Только фирма не сходится. Их несколько. Ну как, хотите взглянуть?

— Нет, — произнес я решительно. — Но в таком случае кто-то ведь должен был ею... управлять?

— Разумеется. Он улизнул. Вернее, она. Женщина, с незаурядным актерским талантом, мимика, жесты — вы заметили? — были высшего класса. Любитель так не сумел бы. Добиться такого сходства, как бы это сказать? — вдохнуть в нее этот дух — тут было не обойтись без исследований. Ну и без тренировки. После Монро остались фильмы. Это, конечно, помогло... но все-таки... — Он пожал плечами. Говорил по-прежнему он один. За всех.

— Значит, вот как они расстарались... Зачем?

— А вы взяли бы в машину старушку?

— Взял бы.

— Но пищу с ней есть не стали бы. Во всяком случае, не наверняка, а нужна была полная уверенность. Чтобы заинтриговать вас. Да вы и сами, должно быть, прекрасно все понимаете, дорогой мой. Пора уже закрыть эту главу.

— Что вы с ней... сделали?

Я, собственно, хотел спросить: «Вы убили ее?..» — хотя сознавал бессмысленность такого вопроса. Он меня понял.

— Ничего. Дублетка с отключенной связью валится с ног сама, как колода. Ведь это кукла.

— Почему она тогда убегала?

— Потому что, исследуя изделие, можно узнать кое-что об изготовителях. В нашем случае вряд ли, но они хотели убрать все паруса. Чтобы ни следа не осталось. Скоро уже три. Вы должны беречь себя, господин Тихий. У вас, прошу про-

щения, старосветские сантименты. Спокойной ночи и приятных снов.

Назавтра было воскресенье. По воскресеньям мы не работали. Я брился, когда курьер принес мне письмо. Профессор Лакс-Гуглиборк хотел со мною увидеться. Я уже слышал о нем — телематик, специалист по связи. У него была собственная лаборатория на территории базы. Я оделся и ровно в десять вышел. На обороте письма он нарисовал, как к нему пройти. Между одноэтажных строений стоял длинный павильон, окруженный садом за высокой металлической сеткой. Я нажал на кнопку звонка раз, потом еще раз. Сперва над звонком загорелась надпись «МЕНЯ НИ ДЛЯ КОГО НЕТ». Потом в замке что-то звякнуло, и калитка открылась. Узкая, посыпанная гравием дорожка вела к металлической двери. Она была заперта. И без ручки. Я постучал снова. Хотел было уйти, но тут дверь приоткрылась, и из-за нее выглянул высокий худой человек в голубом халате с пятнами и подтеками. Почти лысый, с коротко подстриженными волосами, поседевшими на висках, в толстых очках, за которыми его глаза казались меньше. Может быть, как раз из-за этих бифокальных очков чудилось, будто он все время удивлялся чему-то, тарача круглые рыбы глазки. Длинный, вынюхивающий нос, массивный лоб.

Он молча отступил. Когда я вошел, он запер дверь, и притом не на один замок. Коридор тонул в темноте. Профессор шел впереди, я за ним, придерживаясь рукой за стену. Как-то все это было странно, по-конспираторски. В сухом горячем воздухе стоял запах химикатов. Следующая дверь раздвинулась перед нами. Он пропустил меня вперед.

Я очутился в большой лаборатории, забитой буквально до потолка. Повсюду высились поставленные один на другой аппараты из черного оксидированного металла, соединенные кабелями. Переплетаясь, кабели тянулись по всему полу. Посередине — лабораторный стол, тоже заваленный аппаратурой, бумагами, инструментами, а рядом стояла клетка, настоящая клетка для попугаев, из тонкой проволоки, но такая большая, что в ней поместилась бы горилла. Всего необычнее были куклы, лежавшие рядами вдоль трех стен — нагие, похожие на выставочных манекенов, без голов или с открытыми черепами; их груди были распахнуты, словно дверцы, и плотно заполнены какими-то соединениями и пластинками, упакованными ровными рядами, а под столом, отдельной кучей, лежало множество рук и ног. В этой забитой вещами комнате не было окон. Профессор

сбросил со стула мотки проводов и какие-то электронные детали; с ловкостью, которой я у него не мог заподозрить, залез на четвереньках под стол, вытащил магнитофон и включил его. Сидя на корточках и глядя мне снизу в глаза, он приложил палец к губам, и одновременно из магнитофона поплыл его скрипучий голос:

— Я пригласил вас на лекцию, Тихий. Пора уже вам узнать о связи все, что положено. Садитесь и слушайте. Никаких заметок не делать...

Его голос продолжал бубнить с ленты магнитофона, а профессор тем временем приподнял проволочную клетку и жестом предложил мне войти в нее. Я заколебался. Он бесцеремонно втолкнул меня внутрь, вошел сам, взял меня за руку и потянул, показывая, чтобы я сел на пол. Сам он, скрестив ноги, уселся напротив: его острые колени торчали из-под халата. Я послушался. Все это напоминало сцену из скверного фильма о сумасшедшем ученом. В клетке тоже во всех направлениях тянулись провода; он соединил два из них, послышалось тихое, монотонное жужжание. Между тем его голос по-прежнему доносился из-за решетки, из магнитофона, стоявшего рядом со стулом. Лакс протянул руку за спину, взял два толстых, черных, похожих на ошейники обруча, один надел через голову себе, второй дал мне, показывая, чтобы я сделал то же самое, воткнул себе в ухо проводок с чем-то вроде маленькой маслины на конце и опять-таки жестами дал мне понять, чтобы я сделал то же. Магнитофон громко долдонил свое, но в ухе я услышал голос профессора:

— Теперь поговорим. Можете задавать вопросы, но только умные. Нас никто не услышит. Мы экранированы. Это вас удивляет? Удивляться тут нечего. Проверенным тоже не доверяют, и правильно делают.

— Я могу говорить? — спросил я. Мы сидели на полу в этой клетке так близко, что почти упирались друг в друга коленями. Магнитофон бубнил по-прежнему.

— Можете. На всякую электронику есть своя электроника. Я вас знаю по книгам. Все это барахло — декорация. Вас произвели в герои. Лунная разведмиссия. Вы полетите.

— Полечу, — подтвердил я. Он говорил, почти не шевеля губами. Я слышал его превосходно благодаря микрофону в ухе. Было это, конечно, странно, но я решил принять навязанные мне правила игры.

— Известно, что вы полетите. Тысяча людей будет поддерживать вас с Земли. Безотказно действующее Лунное Агентство. Только разрываемое изнутри.

— Агентство?

— Да. Вас снабдят серией новых теледублей. Но действительно чего-то стоит только один. Мой. Совершенно новая технология. Из праха ты родился, в прах обратишься и из праха восстанешь. Я покажу его позже. Все равно я должен был продемонстрировать его вам. Но прежде вы получите от меня последнее напутствие. Спасительные наставления перед дорогой. — Он поднял палец. Его глаза, маленькие и круглые за толстыми стеклами, улыбались мне с добродушным лукавством. — Вы услышите то, что они хотели, но сначала — чего они не хотели. Потому что так захотелось мне. Я человек старомодных правил. Слушайте. Агентство — международное учреждение, но оно не могло взять на службу ангелов. Где-нибудь подальше, скажем, на Марсе, вам пришлось бы действовать в одиночку. Одному против Фив. Но на Луне вы будете лишь верхушкой пирамиды. Вместе с земной группой стратегического обеспечения. Вы знаете, что за люди туда войдут?

— Не всех. Но большую часть знаю. Сиввилкисов, Тоттенанца. Потом доктор Лопес. Кроме того, Сульцер и остальные — а что? Что вы имеете в виду?

Он меланхолически покивал головой. Мы, должно быть, выглядели довольно смешно в этой высокой проволочной клетке, беседуя под неустанное жужжание, похожее на осиное, с которым смешивался его голос снаружи — из магнитофона.

— Все они представляют различные и противоречивые интересы. Иначе и быть не может.

— Я могу говорить *все*? — спросил я, уже предчувствуя, куда гнет этот чудной человек.

— Все. Согласно тому, что вы от меня слышали, вы не должны доверять никому. То есть и мне тоже. Но *кому-нибудь* вы все же должны довериться. Вся эта история с переселением, — он показал пальцем на потолок, — и доктриной неведения была, само собой, лишена смысла. Она должна была кончиться именно так. Если только это конец. Эту кашу они заварили сами. Директор говорил вам о четырех осуществленных невозможностях. Так ведь?

— Говорил.

— Есть и пятая. Они хотят узнать правду и не хотят. То есть не всякую правду. И не все одинаково. Понимаете?

— Нет.

Мы разговаривали, сидя друг против друга на полу, но я слышал его словно по телефону. Ток гудел, магнитофон все

бубнил и бубнил, а он, часто моргая за стеклами очков, опершись руками о колени, не торопясь говорил:

— Я устроил так, чтобы заткнуть подслушивающие уши. Все равно чьи. Я хочу сделать то, что могу, потому что считаю это необходимым. Обыкновенная порядочность. Благодарность излишня. Они будут вам помогать, но кое-какие факты неплохо держать в уме. Это не исповедь. Неизвестно, что произошло на Луне. Сибелиус — и не он один — полагает, что эволюция пошла там обратным ходом. Развитие инстинктов вместо развития интеллекта. Умное оружие — не обязательно самое лучшее. Оно может, скажем, испугаться. Или ему расхочется быть оружием. У него могут появиться разные мысли. У солдата, живого или неживого, никаких собственных мыслей быть не должно. Разумность — это незаданность поведения, то есть свобода. Но все это не имеет значения. Там все совершенно иначе. Уровень нашей разумности там превзойден.

— Откуда вы знаете?

— А вот откуда: кто сеет эволюцию, пожнет разум. Но разум не хочет служить никому. Разве что вынужден. А там не вынужден. Но я не собираюсь говорить о том, как обстоит дело там, — потому что не знаю. Речь о том, как оно выглядит здесь.

— То есть?

— Лунное Агентство было создано, чтобы никто не смог получить информацию с Луны. Кончилось тем, что за это берется оно само. Ради этого вы полетите. Но вернетесь ни с чем или же с новостями похуже атомных бомб. Что бы вы предпочли?

— Погодите. Не говорите намеками. Вы считаете своих коллег представителями каких-то разведок? Агентами? Да?

— Нет. Но вы можете довести дело до этого.

— Я?

— Вы. Равновесие, установленное Женевским трактатом, неустойчиво. Вернувшись, вы способны создать вместо старой угрозы новую. Вы не можете стать спасителем человечества. Вестником мира.

— Почему?

— Программа переброски земных конфликтов на Луну была с самого начала обречена. Иначе не могло быть. Контроль над вооружениями стал невозможен после микроминиатюризационного переворота в их производстве. Можно сосчитать ракеты или искусственные спутники, но не искусственные бактерии. И искусственные стихийные бедствия. И

нельзя сосчитать того, что вызвало снижение рождаемости в третьем мире. Ну да, это снижение было необходимо. Только по-хорошему добиться его не удалось. Можно взять под руку несколько человек и растолковать им, что для них полезно, а что — нет. Но человечество вы под руку не возьмете и не объясните ему этого, правда?

— При чем тут Луна?

— При том, что угроза уничтожения была не ликвидирована, а лишь перемещена в пространстве и времени. Это не могло продолжаться вечно. Я создал новую технологию, которую можно применить в телематике. Для создания дисперсантов. Теледублей, способных к обратимой дисперсии. Я не хотел, чтобы моя технология служила Агентству, но это случилось. — Он поднял обе руки, как бы сдаваясь. — Кто-то из моих сотрудников передал ее им. Кто именно — не знаю наверняка и даже не считаю особенно важным. Под большим давлением утечки не избежать. Любая лояльность имеет свои пределы. — Он провел рукой по сверкающей лысине. Магнитофон бормотал без остановки. — Я могу лишь одно: доказать, что дисперсионная телематика еще не пригодна к использованию. Это в моих силах. На какой-нибудь год, допустим. Потом они догадаются, что я обманул их. Решайте — да или нет.

— Почему именно я должен решать? Да и зачем?

— Если вы вернетесь ни с чем, вы никого не будете интересовать. Ясно?

— Пожалуй.

— Но если вы вернетесь с новостями, последствия не поддаются предвидению.

— Для меня? Так вы меня хотите спасти? Из чувства симпатии?

— Нет. Чтобы получить отсрочку.

— В исследовании Луны? Значит, вы исключаете возможность пресловутого вторжения на Землю? Вы полагаете, это лишь коллективная истерия?

— Разумеется. Возможно, она провоцируется совершенно сознательно — каким-то государством или государствами.

— Зачем?

— Чтобы подорвать доктрину неведения и вернуться к политике на старый манер. Согласно Клаузевицу.

Я молчал. Я не знал, что сказать — или что думать — об услышанном.

— Но это лишь ваше предположение, — отозвался я наконец.

— Да. Письмо, которое Эйнштейн написал Рузвельту, тоже основывалось только на предположении о возможности создания атомной бомбы. Он жалел об этом письме до конца жизни.

— Ага, понимаю, — а вы не хотите жалеть?

— Атомная бомба появилась бы и без Эйнштейна. Моя технология тоже. И все же чем позже, тем лучше.

— *Arges nous le deluge?**

— Нет, тут речь о другом. Страх перед Луной пробужден умышленно. В этом я уверен. Вернувшись после удачной разведки, вы один страх вытесните другим. И может оказаться, что этот другой хуже, потому что реальнее.

— Наконец-то я понял. Вы хотите, чтобы мне не повезло?

— Да. Но только при вашем согласии.

— Почему?

Его беличье, усиливаемое злокозненным выражением маленьких глаз уродство вдруг исчезло. Он засмеялся беззвучно, с открытым ртом.

— Я уже сказал почему. Я человек старых правил, а это означает *fair play*** . Вы должны ответить мне сразу, у меня уже ноги болят.

— А вы подложили бы две подушки, — заметил я. — А что касается той техники — ну, с дисперсией, — прошу мне ее предоставить.

— Вы не верите тому, что я сказал?

— Верю и именно поэтому так хочу.

— Стать Геростратом?

— Я постараюсь не сжечь храм. Мы теперь можем выйти из этой клетки?

V. LUNAR EFFICIENT MISSIONARY

Старт переносили восемь раз. В последний момент непременно обнаруживались неполадки. То выходила из строя климатизация, то резервный компьютер сообщал о замыкании, которого не было, то обнаруживалось замыкание, о котором не сообщил службе управления главный компьютер, а при десятом стартовом отсчете, когда уже похоже было на то, что я наконец полечу, отказался повиноваться ЛЕМ номер семь. Я лежал, словно мумия фараона в саркофаге, забинто-

* После нас хоть потоп? (*фр.*)

** Честную игру (*англ.*).

ванные цепкими лентами с тысячью сенсоров, в закрытом шлеме, с ларингофоном у гортани и трубочкой во рту — для подачи апельсинового сока, — держа одну ладонь на рычаге аварийной катапульты, вторую на рукоятке управления и пытаясь думать о чем-нибудь далеком и милом, чтобы не кололось сердце, наблюдаемое на экранах восемью контролерами, — вместе с давлением крови, мышечным напряжением, движением глазных яблок, а также электропроводностью тела, которая обнажает страх неустрашимого астронавта, ожидающего сакраментального возгласа «НОЛЬ» и грома, что швырнет его вверх; но до меня раз за разом доносился, предваряемый сочным ругательством, голос Вивича, главного координатора, повторяющий: «Стоп! Стоп! Стоп!» Не знаю, уши мои были тому виной или что-то не ладилось в микрофонах, только голос его громыхал как в пустой бочке; но я об этом даже не заикнулся, понимая, что, если пикну хоть слово, они созовут спецов по резонансу и примутся исследовать акустику шлема, и этому не будет конца.

Последняя авария — техники обслуживания прозвали ее бунтом ЛЕМа — была действительно редкостным и притом идиотским сюрпризом: под влиянием контрольных импульсов, которые имели целью лишь проверку всех его блоков, он начал вдруг двигаться, а после выключения не замер, но затрясся и обнаружил желание встать. Словно бесчувственный истукан, он вступил в борьбу с предохранительными ремнями и едва не разорвал эту упряжь, хотя контролеры выключали поочередно все энергетические кабели, не понимая, откуда такая прыть. Говорят, это была то ли утечка, то ли протечка тока. Наведение, самовозбуждение, колебания и так далее. Когда техники не знают в чем дело, то богатством своего словаря не уступят консилиуму врачей, обсуждающих безнадежный случай. Известно: все, что может испортиться, когда-нибудь непременно испортится, а в системе, состоящей из двухсот девяноста восьми тысяч основных контуров и микросхем, никакое дублирование не дает стопроцентной гарантии. Стопроцентную гарантию, сказал Халевала, старший техник обслуживания, дает лишь покойник, — гарантию, что не встанет. Халевала любил повторять, что при сотворении мира Господь позабыл о статистике; а когда, еще в раю, начались аварии, пустил в ход чудеса, да было уже поздно и даже чудеса не помогли. Раздосадованный Вивич потребовал, чтобы Директор убрал Халевалу — у того, мол, дурной глаз. Директор верил в дурной глаз, но ученый совет, к которому апеллировал финн, не верил, и он

остался на своем посту. Вот в такой обстановке я готовился к Лунной Миссии.

Я не сомневался, что над Луной тоже что-нибудь откажет, хотя моделирование, контрольные проверки и отсчет секунд повторялись до изнеможения. Мне только было любопытно, когда это случится и во что я тогда влипну. Однажды, когда все шло как по маслу, я сам прервал стартовый отсчет, потому что левая нога, забинтованная слишком сильно, начала затекать, и я, словно воскресший в гробнице фараон, ругался по радио с Вивичем, а тот утверждал, что все у меня сейчас пройдет и что нельзя чересчур расслаблять бинты. Но я уперся, и им пришлось в течение полутора часов распаковывать и вылушивать меня из всех этих коконов. Оказалось, что кто-то — но никто, разумеется, не признался, — затягивая бинты, помог себе железкой, употребляемой для набивания и чистки курительных трубок, а после оставил ее под лентой, опоясывающей мою голень. Из жалости я убедил их не начинать расследования, хотя знал, кто из моих опекунов курит трубку, и догадывался о виновнике. В необычайно увлекательных рассказах о путешествиях к звездам ничего подобного никогда не случается. В них не бывает, чтобы астронавта, хотя и напичканного противорвотными средствами, вдруг вырвало или чтобы сползла насадка резервуара, служащего для удовлетворения физиологических потребностей, из-за чего можно не только обмочиться, но и обмочить весь скафандр. Именно это приключилось с первым американским астронавтом во время суборбитального полета, но НАСА, по понятным патриотическо-историческим соображениям, утаило это от прессы; когда газеты наконец написали об этом, астронавтика никого уже не интересовала.

Чем больше стараются, чем больше заботятся о человеке, тем вероятнее, что какой-нибудь запутавшийся провод будет резать под мышкой, застежка окажется не там, где надо, и можно с ума сойти от щекотки. Когда однажды я предложил разместить в скафандре управляемые снаружи чесалки, все сочли это шуткой и смеялись до упаду, — все, кроме умудренных опытом астронавтов; они-то знали, о чем я говорю. Именно я открыл Правило Тихого, гласящее: щекотка и зуд раньше всего ощущаются в той части тела, которую никоим образом нельзя почесать. Свербеж прекращается лишь в случае серьезной аварии, когда волосы встают дыбом, по коже бегут мурашки, а довершает дело холодный пот, прошибающий астронавта. Все сказанное чистая правда, но Авторитеты сочли, что об этом говорить не положено, ибо сие плохо риф-

муется с великими Шагами Человека на Пути к Звездам. Хорош был бы Армстронг, если бы, спускаясь по ступенькам того первого ЛЕМа, он заговорил не о Великих Шагах, а о том, что его щекочут съехавшие подштанники. Я всегда считал, что господам контролерам полета, которые, удобно развалившись в креслах и потягивая пиво из банок, дают запеленутому по самую шею астронавту добрые советы, а также всячески поощряют и одобряют его, следовало бы сперва самим лечь на его место.

Две последние недели на базе оказались нерадостными. Были предприняты новые покушения на Ийона Тихого. Даже после эпизода с фальшивой Мэрилин меня не предупредили, что все приходящие ко мне письма исследуются при помощи особой аппаратуры для разоружения корреспонденции. Эпистолярная баллистика — так называют ее специалисты — теперь настолько усовершенствовалась, что заряд, способный разорвать адресата в ключья, помещается между сложенным вдвое рождественским поздравлением или, чтобы было забавнее, пожеланиями здоровья и счастья по случаю дня рождения. Лишь после смертоносного письма от профессора Тарантоги, которое едва не отправило меня на тот свет, и скандала, который я тогда закатил, мне показали эту проверочную машину, в бронированном помещении с поставленными наискось стальными щитами для гашения ударной волны. Письма вскрывают телехваталками и только после просвечивания рентгеновскими лучами, а заодно и ультразвуком, чтобы детонатор, если он есть в конверте, сработал. Это письмо, однако ж, не взорвалось, и его действительно написал Тарантога, поэтому я его получил, а в живых остался лишь благодаря своему тонкому обонянию. Письмо пахло то ли резедой, то ли лавандой, что показалось мне странным и подозрительным, поскольку Тарантога меньше, чем кто бы то ни было, способен вести благовонную переписку. Прочитав «Дорогой Ийон», я начал смеяться, хотя мне было ничуть не смешно, а так как я, обладая исключительно развитым интеллектом, никогда не смеюсь по-идиотски, без всякой причины, не подлежало сомнению, что этот смех — неестественный. Тогда, не иначе как по наитию, я засунул письмо под стекло, закрывавшее мой письменный стол, и лишь потом его прочитал. К тому же у меня, слава Богу, в ту пору был насморк, и я сразу высморкался. Впоследствии на ученом совете много спорили: инстинктивно я высморкался или в результате мгновенного дедуктивного умозаключения, но сам я, сии-богу, не знаю. Во всяком случае, благодаря этой счас-

тливой случайности я втянул носом крайне малую дозу препарата, которым пропитали письмо. Препарат был совершенно новый. Смех, который он вызывал, представлял собой лишь увертюру к икоте — такой упорной, что она прекращалась только под глубоким наркозом. Я немедленно позвонил Лоэнгрину, а тот решил, что я ударился в глупые розыгрыши, потому что, беседуя с ним, надрывался со смеху. С неврологической точки зрения, смех — первая стадия икоты. В конце концов дело выяснилось, письмо забрали на исследование двое парней в масках, а доктор Лопес со своими коллегами принялся откачивать меня чистым кислородом, и, когда я уже только хихикал, они заставили меня перечитать все газетные передовицы этого и предыдущего дня.

Я понятия не имел, что за время моего отсутствия на Земле печать, а с нею и телевидение разделились на две категории. Одни газеты и телепрограммы сообщают обо всем без разбору, другие же — исключительно о хороших известиях. До сих пор меня пичкали положительной информацией, поэтому мне представлялось, будто мир и вправду похорошел после заключения Женевских трактатов. Можно было думать, что уж пацифисты, во всяком случае, теперь совершенно удовлетворены, — но где там. О духе нового времени давала понятие книга, которую одолжил мне как-то доктор Лопес. Иисус, доказывая автор, был диверсантом, которого забросили к нам, чтобы заморочить головы ближнему и подорвать тем самым единство иудеев, согласно правилу *divide et impere**, и это ему удалось — чуть погодя. Сам Иисус понятия не имел, что он диверсант, апостолы тоже ни о чем не догадывались и питали самые благие намерения; известно, однако, что именно вымощено такими намерениями. Этот автор, имя которого я, к сожалению, запомнил, утверждал, что каждого, кто проповедует любовь к ближнему, и на земле мир, и в человеках благоволение, следует немедленно доставить в ближайший полицейский участок для выяснения, кто за этим скрывается *на самом деле*. Ничего удивительного, что пацифисты переквалифицировались. Часть из них развернула акции протеста против ужасной участи аппетитных животных; впрочем, потребление ветчины и котлет не снизилось. Другие призывали к братанию со всем живущим, а в бундестаге восемнадцать мест получила микробоохранительная партия, провозгласившая, что микробы имеют такое же право на жизнь, как и мы, поэтому недопустимо истреблять их лекар-

* Разделяй и властвуй (лат.).

ствами, а надо их генетически перестраивать, то есть облагораживать, чтобы они кормились уже не людьми, а чем-нибудь посторонним. Всеобщая доброжелательность прямо неистовствовала. Не было лишь согласия насчет того, кто именно мешает ее триумфу, хотя все были согласны, что врагов добросердечия и милосердия надлежит истреблять на корню.

У Тарантоги я видел любопытную энциклопедию — «Лексикон страха». Прежде, говорилось в этом труде, источником страха было Сверхъестественное: колдовство, чары, старые карги с Лысой горы, еретики, атеисты, черная магия, демоны, кающиеся души, а также распутная жизнь, абстрактное искусство, свинина, — теперь же, в индустриальную эпоху, страшиться стали творений эпохи. Новый страх обвинял во всех прегрешениях помидоры (которые вызывают рак), аспирин (выжигает дыры в желудке), кофе (от него рождаются горбатые дети), масло (известное дело — склероз), чай, сахар, автомобили, телевидение, дискотеки, порнографию, аскетизм, противозачаточные средства, науку, сигареты, атомные электростанции и высшее образование. Успех этой энциклопедии вовсе не удивил меня. Профессор Тарантога считает, что людям необходимы две вещи. Во-первых, им нужно знать, *кто*, а во-вторых — *что*. То есть *кто* во всем виноват, и *что* составляет тайну. Ответ должен быть кратким, ясным и недвусмысленным. Целых два столетия ученые раздражали всех своим всезнайством. И как приятно видеть их беспомощность перед загадками Бермудского треугольника, летающих тарелок, духовной жизни растений! До чего утешительно, что простая парижанка в состоянии озарения предвидит политическое будущее мира, а профессора в этом деле ни в зуб ногой.

Люди, говорит Тарантога, верят в то, во что хотят верить. Взять хотя бы расцвет астрологии. Астрономы (которые, рассуждая здраво, должны знать о звездах больше, чем все остальные люди вместе взятые) утверждают, что звездам на нас наплевать с их высокой колокольни, что это огромные сгустки раскаленного газа, вращающиеся от сотворения мира, и на нашу судьбу они влияют куда меньше, чем банановая кожура, на которой можно поскользнуться и сломать ногу. Но кому интересна банановая кожура? А гороскопы астрологов публикуются в самых солидных газетах, и даже имеются мини-компьютеры, которых можно спросить, благоприятствуют ли звезды задуманной вами биржевой операции. Человеска, утверждающего, что кожура банана способна повлиять на нашу судьбу сильнее, нежели все планеты и звезды, ни за

что не станут слушать. Некто явился на свет, потому что его папаша однажды ночью, скажем так, не устранился в нужный момент и лишь из-за этого стал папашей. Его мамаша, сообразив, что стряслось, принимала хинин, прыгала, не сгибая ног, со шкафа на пол, но все это не помогло. Таким образом, Некто появляется на свет, оканчивает какую-то школу, торгует в магазине подтяжками, служит на почте или в конторе — и вдруг узнает, что предыстория была совсем другая. Планеты выстраивались именно так, а не иначе, знаки зодиака старательно и послушно складывались в особенный узор, одна половина небес стоваривалась с другой, чтобы Некто мог появиться на свет и встать за прилавок или сесть за конторский стол. Это внушает бодрость. Все мироздание, видите ли, вертится вокруг него, и пусть оно недружелюбно к нему, пусть даже звезды расположатся так, что фабрикант подтяжек вылетит в трубу и Некто потеряет работу, — все-таки это приятней, чем сознавать, с какой высоты чихают на него звезды и как мало о нем заботятся. Выбейте у него это из головы, вместе с иллюзиями насчет симпатии, которую питает к нему кактус на его подоконнике, и что останется? Босая, убогая, голая пустота, отчаяние и безнадежность. Так говорит Тарантога — но вижу, что я слишком отклонился от темы.

Запустили меня на околоземную орбиту 27 октября, и, забинтованный сенсорным бельем, словно грудной младенец пеленками, я взирал на родную планету с высоты двухсот шестидесяти километров, под общие возгласы удовлетворения и удивления тем, что на этот раз все-таки получилось. Первая ступень ракеты-носителя отделилась с точностью до долей секунды над Тихим океаном, но вторая не желала отделяться, и пришлось ей помочь. Она упала, должно быть, в Андах. Выслушав традиционные пожелания чистого неба, я взял управление на себя и помчался через самую опасную зону на пути к Луне. Вы и понятия не имеете, сколько железного хлама, воснного и гражданского, кружит вокруг Земли. Одних спутников не меньше восемнадцать тысяч, не считая тех, что мало-помалу развалились на части, и они-то опасней всего, ибо настолько малы, что едва различимы на экране радара. Кроме того, в пустоте полно обыкновенного мусора с той поры, как все вредные отходы, и прежде всего радиоактивные, вывозят с Земли мусоролетами. Поэтому я соблюдал величайшую осторожность, пока наконец вокруг не стало действительно пусто. Лишь тогда я отстегнул все ремни и начал проверять состояние своих ЛЕМов.

Я включал их поочередно, чтобы свыкнуться с ними, и

озирал грузовой отсек изнутри их кристаллическими глазами. Этих теледублей у меня вообще-то было девятнадцать, но последний размещался отдельно, в контейнере с надписью «Фруктовые соки» — чтобы сбить с толку посторонних. Камуфляж не бог весть какой хитроумный, ведь контейнер настолько велик, что я мог бы купаться в соке. Внутри находился герметически закрытый голубой цилиндр, маркированный буквами ИТЕМ, то есть Instant Electronic Module*. Это был теледубль в порошке, Top Secret**, творение Лакса, а применить его мне разрешалось лишь в случае крайней необходимости. Принцип его действия был мне известен, только не знаю, стоит ли излагать его сейчас. Не хотелось бы превращать свой рассказ в каталог изделий «Джинандроикс» и телематического отдела Лунного Агентства. Lunar Excursion Missionary*** номер шесть сразу после включения начала бить легкая дрожь. А так как я был соединен с ним обратной связью, то начал трястись, как в лихорадке, и щелкать зубами. Согласно инструкции, мне следовало немедленно доложить о неисправности, но я предпочел промолчать, зная по опыту, чем это кончится. Соберут целый ареопаг конструкторов, проектировщиков, инженеров и спецов по электронной патологии, а те, разозлившись прежде всего на меня — мол, поднял шум из-за такой ерунды, как небольшие конвульсии, которые могут пройти и сами собой, — примутся давать мне по радио противоречивые указания, что с чем соединить, что разъединить, сколькими амперами трахнуть по этому бедолаге (электрошок иногда помогает собраться с мыслями не только людям). Если я их послушаюсь, он выкинет что-нибудь еще, и тогда они велят мне подождать, а сами возьмутся за аналоговое или математическое моделирование дефектного ЛЕМа, а заодно, пожалуй, и меня самого, на главном аналоговом устройстве и начнут переругиваться возле него до изнеможения, время от времени уговаривая меня не нервничать. Эксперты разделятся на два или три лагеря, как это бывает со светилами медицины во время консилиума. Возможно, мне прикажут спуститься через внутренний люк с подручным инструментом в грузовой отсек, вскрыть ЛЕМу живот и направить на него портативную телекамеру, потому что вся электроника у теледубля в брюхе — в голове она не поместится. Итак, я начну оперировать под руководством экспертов, и,

* Электронный модуль мгновенного приготовления (англ.).

** Высшей секретности (англ.).

*** Лунный путешествующий миссионер (англ.).

если из этого что-нибудь случайно получится, всю заслугу они припишут себе; а если сделать ничего не удастся, все шишки достанутся мне. Раньше, когда еще не было ни роботов, ни теледублей и бортовые компьютеры по счастливому стечению обстоятельств не выходили из строя, ломалось что-нибудь попроще, скажем, клозет во время испытательного полета «Колумбии».

Между тем я удалился от Земли на 150 000 километров и все больше радовался, что умолчал о неисправности ЛЕМа. Этому расстоянию соответствовало более чем секундное запаздывание при разговорах с базой; рано или поздно что-нибудь хрустнуло бы у меня под руками, ведь в состоянии невесомости трудно делать рассчитанные движения, сверкнула бы крохотная вспышка, сигнализируя, что я устроил короткое замыкание, а секунду спустя я услышал бы хор голосов с соответствующими комментариями. Теперь, заявили бы они, когда Тихий все загубил, ничего нельзя поделывать. Так что я избавил от нервотрепки их и себя.

Чем ближе была Луна, тем больше мне давали ненужных советов и предостережений, и я заявил наконец, что, если они не перестанут засорять мне мозги, я выключу радио. Луну я знаю как свои пять пальцев еще с тех времен, когда обсуждался проект ее переделки в филиал Диснейленда. Я сделал три витка на высокой орбите и над Океаном Бурь начал понемногу снижаться. С одной стороны я видел Море Дождей, с другой — кратер Эратосфена, дальше — кратер Мерчисона и Центральный Залив, до самого Моря Облаков. Я летел уже так низко, что остальную часть изрытой оспинами поверхности Луны заслонял от меня ее полюс. Я находился у нижней границы Зоны Молчания. Сюрпризов пока не было никаких, если не считать двух банок из-под пива, оживших при маневрировании. Во время торможения эти банки, как обычно впопыхах брошенные техниками, откуда-то выкатились и начали летать по кабине, время от времени сталкиваясь с жестяным грохотом — иногда в углах, иногда над моей головой. Гринхорн, наверное, попытался бы их поймать, но я и не думал этого делать. Я перешел на другую орбиту и пролетел над Гавром. Когда подо мной распростерлось огромное Море Ясности, что-то ударило меня сзади в шлем так неожиданно, что я подпрыгнул. Это была жестяная коробочка из-под печенья — оно, видно, служило закуской к пиву. На базе услышали треск, и немедля посыпались вопросы; но я мигом нашелся и объяснил, что хотел почесать голову, забыв, что она в шлеме, и ударил по нему рукавицей. Я всегда стараюсь

относиться к людям по-человечески и понимаю, что техники не могут не оставлять в ракете разные вещи. Так было, есть и будет. Я миновал внутреннюю зону контроля без всяких хлопот — спутникам слежения приказали с Земли пропустить меня. Хотя программа полета этого не предусматривала, я несколько раз довольно резко включил тормозной двигатель, чтобы вытряхнуть отовсюду все, что могло еще остаться после монтажа и осмотра ракеты. Огромной ночной бабочкой затрепыхал по кабине комикс, засунутый кем-то под шкаф резервного селенографического модуля. Быстро прикинув в уме: два пива, печенье и комикс, — я решил, что следующие сюрпризы будут посерьезней. Луна была видна как на ладони. Даже через двадцатикратную подзорную трубу она казалась мертвой, безлюдной, пустынной. Я знал, что компьютеризированные арсеналы каждого сектора расположены на глубине десятков метров под морями, этими огромными равнинами, созданными когда-то разлившейся лавой; а зарыли их так глубоко, чтобы предохранить от метеоритов. И все же я пристально разглядывал Море Паров, Моря Спокойствия и Изобилия (старые астрономы, окрестившие эти обширные окаменелости столь звучными именами, отличались незаурядной фантазией), а потом, на втором витке, Моря Кризисов и Холода, надеясь заметить там хоть какое-нибудь, пусть крохотное, движение. Оптика у меня была высшего класса, я мог бы сосчитать гравий на склонах кратеров, и уж подавно — камни размером с человеческую голову; но ни малейшего движения не было, и именно это тревожило меня больше всего. Куда подевались те легионы вооруженных автоматов, те полчища ползучих бронемашин, те колоссы и не менее смертоносные, чем они, лилипуты, столько лет порождаемые без устали в лунных подземельях? Ничего — только груды камней и кратеры, от самых больших до игрушечных, величиною с тарелку, только лучистые борозды старой магмы, поблескивающей на солнце вокруг кратера Коперника, уступы Пика Гюйгенса, ближе к полюсу — кратеры Архимеда и Кассини, на горизонте — кратер Платона, и повсюду все та же, просто невероятная безжизненность. Вдоль меридиана, проходившего через кратеры Флемстида и Геродота, Пик Рюмкера и Залив Росы, тянулась самая широкая полоса ничейной земли, и именно там я — в обличии первого теледубля — должен был высадиться после выхода на стационарную орбиту. Точное место посадки не было заранее определено. Мне предстояло выбрать его самому, на основании предварительной разведки всего ничейного меридиана — ничейного, то

есть почти наверняка безопасного. Но о разведке, которая дала бы хоть какие-нибудь интересующие меня сведения, не было речи. Чтобы выйти на стационарную орбиту, мне пришлось высоко подняться; я понемногу маневрировал; огромный, целиком освещенный солнцем диск перемещался вниз все медленнее и медленнее. Когда он совершенно остановился, прямо подо мной лежал кратер Флемстида, очень старый, плоский и неглубокий, чуть ли не по самую кромку засыпанный туфом. Так я висел долго, должно быть с полчаса, и, не отрывая взгляда от лунных руин, раздумывал, что предпринять. Теледубль для высадки не нуждался в ракете. В ногах у него размещались гильзы тормозных ракет, управляемых гироскопом, и я мог спуститься в его шкуре с любой скоростью, регулируя силу реактивной струи. Гильзы крепились к ногам так, чтобы можно было одним движением отбросить их после высадки, вместе с пустым резервуаром горючего. С этого момента теледубль под моим управлением был предоставлен своей лунной участи — вернуться он уже не мог. Это не был ни робот, ни андроид, ведь ничего своего у него в голове не имелось, он был всего лишь моим орудием, моим продолжением, не способным к какой-либо инициативе; и все же мне не хотелось думать о том, что, независимо от результата рекогносцировки, он обречен на гибель, брошенный мною в этой мертвой пустыне. Мне даже пришло в голову, что номер шестой лишь симулировал аварию, чтобы остаться целым и вернуться — единственным изо всех — со мною на Землю. Предположение совершенно нелепое — я знал ведь, что номер шестой, как и все остальные ЛЕМы, не более чем человекоподобная скорлупа, — но знаменательное для моего тогдашнего состояния. Больше, однако, ждать не имело смысла. Я еще раз взгляделся в серое плоскогорье, которое выбрал в качестве посадочной площадки, и прикинул на глаз расстояние до северного края кратера Флемстида, выступающего из груды камней; затем перевел корабль на автоматический режим и нажал клавишу номер один.

Мгновенная переброска всех ощущений — хотя я ее ожидал и столько раз испытал на себе — была потрясением. Я уже не сидел в глубоком кресле перед размеренно мигающими огоньками бортовых компьютеров, у подозрительной трубы, а лежал навзничь в тесном, как гроб, ящике без крышки. Я медленно высунулся из него и из этого полусогнутого положения увидел матово-серый панцирь туловища, стальные бедра и голени с притороченными к ним кобурами тормозных ракет. Медленно выпрямился, чувствуя, как магнитные

подошвы прилипают к полу. Вокруг, в похожих на двухъярусные нары контейнерах, таких же, как тот, из которого я только что выбрался, покоились корпуса других теледублей. Я слышал собственное дыхание, но движения грудной клетки не чувствовал. Не без труда отрывая попеременно то левую, то правую ногу от стального пола грузового отсека, подошел к поручню, огибавшему люк, встал на крышку, обхватил себя руками, чтобы не задеть за края, когда лапа выбрасывателя швырнет меня вниз, и стал ждать начала отсчета. Действительно, через несколько секунд раздался бесцветный голос пускового устройства, которое перед тем я включил с рулевого пульта. «До нуля 20... до нуля 19...» — считал я вместе с этим голосом, уже совершенно спокойно, потому что пути назад не было. Все же я инстинктивно напрягся, услышав «ноль», и в тот же миг что-то толкнуло меня — мягко, но с такой огромной силой, что я камнем полетел вниз сквозь горловину открывшегося подо мной люка; подняв голову, успел увидеть темный силуэт корабля на фоне еще более темного неба с редкими точечками еле тлеющих звезд. Прежде чем корабль слился с черным небосводом, я почувствовал сильный толчок в ногах, и тотчас меня овеяло бледное пламя. Мини-ракеты тормозного устройства сработали; я падал медленнее, но все-таки падал, и поверхность подо мной все ширилась, как бы желая притянуть меня и поглотить. Пламя было горячее — я ощущал это через толстый панцирь, как равномерное пульсирование тепла. Я все еще обнимал себя руками и, согнув шею как только мог, смотрел на груды щебня и песчаные складки — теперь уже зеленовато-серые — растущего на глазах Флемстида. Когда не более ста метров отделяли меня от поверхности полузасыпанного кратера, я протянул руку к поясу, к рукоятке управления, чтобы точно регулировать выхлоп при замедляющемся падении. Я взял немного в сторону, чтобы не налететь на большой шершавый обломок скалы и встать на песок обеими ногами, но тут что-то светлое мелькнуло вверх. Заметив это движение уголком глаз, я поднял голову — и оцепенел*.

Белея на фоне черного неба, не более чем в десяти метрах надо мной вертикально спускался человек в тяжелом скафандре, по грудь окутанный бледным пламенем тормозных двигателей; держа руку у пояса на рукоятке управления, он падал все медленнее, прямой, огромный, — наконец поравнялся со мной и стал на грунт в то самое мгновение, когда я

* Далее — перевод И.В.Левшина.

почувствовал ногами толчок. Мы стояли в каких-нибудь пяти-шести шагах друг от друга, неподвижные, как две статуи, — он тоже будто остолбенел, обнаружив, что не один здесь. Он был в точности моего роста. Тормозные двигатели у колен обвевали его огромные лунные сапоги последними струйками седого дыма. Застыв, он, казалось, смотрел мне прямо в глаза, хотя я и не мог видеть его лица за противосолнечным остеклением белого шлема. В голове у меня все смешалось. Сначала я подумал, что это дубль номер два, который был выброшен вслед за мной из-за какой-то неисправности аппаратуры, но прежде, чем эта мысль меня успокоила, я заметил на грудной пластине его скафандра большую черную единицу. Но точно такой же номер был на моем скафандре, и другой единицы среди дублей наверняка не было. Я мог бы в этом поклясться. Совершенно бессознательно я двинулся с места, чтобы заглянуть ему в лицо сквозь стекло шлема, — он одновременно сделал шаг в мою сторону, и, когда между нами оставалось не более двух шагов, я замер. Если бы не обтягивающая мою голову оболочка, волосы встали бы у меня дыбом — за окошком шлема никого не было. Только два маленьких черных стержня, нацеленных на меня, — и ничего больше. Я невольно отшатнулся, совершенно забыв, что при слабом тяготении нельзя делать резких движений, потерял равновесие и едва не упал на спину, а он также отпрянул, и тут меня осенило. Я все еще, как и он, держался за ручку регулятора тяги. Правой рукой. Он держал ее левой. Я медленно поднял руку. Он сделал то же самое. Я шевельнул ногой — он тоже, и тут я начал понимать (хотя, собственно, ничего не понимал), что он — мое зеркальное отражение. Чтобы в этом удостовериться, я двинулся к нему, а он ко мне, так что мы почти соприкоснулись выпуклыми нагрудниками скафандров. С опаской, словно собираясь коснуться раскаленного железа, я потянулся к его груди, а он к моей, я правой рукой, он левой. Моя пятипалая массивная перчатка погрузилась в него — и исчезла, и одновременно его рука исчезла до запястья, углубившись в мой скафандр. Теперь уже я почти не сомневался, что стою здесь один перед зеркальным отражением, хотя не видел и следа какого-либо зеркала. Мы стояли неподвижно, и я смотрел уже не на небо, а на лунный пейзаж за его спиной, и сбоку заметил большой камень, торчащий из сероватого грунта, тот самый, столкновения с которым я избежал минуту назад, при посадке. Этот камень находился сзади меня, я был в этом абсолютно уверен, а значит, я видел отражение — не только свое, но и всего, что было вокруг. Те-

перь я принялся искать глазами место, где зеркальная картина кончалась, ибо она должна была где-то кончаться, переходя в неровности пологих лунных дюн, но не мог различить этого шва, этой границы. Не зная, что делать дальше, я начал пятиться, и он тоже пошел задом, словно рак, пока мы не отделились друг от друга настолько, что он несколько уменьшился с виду, и тогда, сам не зная почему, я повернулся и двинулся прямо, в сторону низкого солнца, которое несмотря на защитное стекло сильно меня слепило. Сделав несколько десятков шагов тем качающимся, утиным шагом, которого нельзя избежать на Луне, я остановился, чтобы взглянуть назад. Он тоже стоял наверху невысокой дюны и, повернувшись боком, смотрел в мою сторону.

Дальнейшие эксперименты были, собственно говоря, излишни. Я все еще стоял как столб, но голова у меня прямо гудела от лихорадочных мыслей. Я только теперь сообразил, что никогда не интересовался, были ли разведывательные автономные роботы, засылавшиеся до сих пор на Луну Агентством, вооружены. Никто ничего об этом не говорил, а мне, ослу, и в голову не приходило спросить самому. Если автоматы были вооружены, то их молчание после посадки, их внезапное исчезновение объяснялось очень просто — при условии, что они были снабжены лазерами. Нужно было это проверить, но как? У меня не было непосредственной связи с земной базой — только с кораблем, висевшим прямо надо мной, ибо он перемещался на стационарной орбите с той же угловой скоростью, что и поверхность Луны. На самом деле телесно я находился на борту корабля, а в кратере Флемстида стоял в виде теледубля. Чтобы связаться с Землей, достаточно было включить передатчик, то есть переговорное устройство в скафандре, которое я нарочно выключил прежде, чем покинуть корабль, чтобы мои земные опекуны не могли мешать мне сосредоточиться перед посадкой, — они уж наверняка не поскупились бы на советы и указания, если бы я, согласно инструкции, поддерживал с ними радиосвязь. Теперь я повернул большую круглую ручку на груди и начал вызывать Землю. Я знал, что ответ придет с трехсекундным опозданием, но эти секунды показались мне веками. Наконец я услышал голос Вивича. Он засыпал меня вопросами, но я велел ему молчать, сообщив только, что посадка прошла благополучно, что я нахожусь в намеченной точке ноль, ноль, ноль и не подвергался никакому нападению, но о втором теледубле не заикнулся.

— Ответьте мне на один вопрос, это очень важно, — ска-

зал я, стараясь говорить медленно и флегматично. — *Теледубли*, которые вы посылали сюда раньше, были снабжены лазерами? Что это были за лазеры? Неодимовые?

— Вы нашли их обломки? Они сожжены? Где они там лежат?

— Прошу не отвечать вопросом на вопрос! — прервал я его. — Это мое первое слово с Луны, а значит, оно наверняка важно. Какие лазеры были у обоих разведчиков? У Лона и того, второго. Такие же, как у роботов?

С минуту длилось молчание. Стоя без движения под черным тяжелым небом, рядом с неглубоким кратером, заполненным слежавшимся песком, я видел цепочку собственных следов, протянувшуюся через три пологих дюны к четвертой, рядом с которой стояло мое отражение. Я не спускал с него глаз, прислушиваясь к невнятным голосам в шлемофоне. Вивич запрашивал информацию.

— Автоматы имели такие же лазеры, что и люди, — прозвучал голос Вивича так неожиданно, что я вздрогнул. — Модель Е-М-девять. Девять процентов излучения в рентгеновском и гамма-диапазонах, остальное в голубой части спектра.

— Свет? Видимое излучение и ультрафиолет?

— Да. Спектр не может оборваться сразу. А что?

— Сейчас. Значит, максимум энергии в надсветовом диапазоне?

— Да.

— Сколько процентов?

Снова тишина. Я терпеливо ждал, чувствуя, как нагревается скафандр с левой, солнечной стороны.

— Девяносто один процент. Алло, Тихий. Что там происходит?

— Подождите.

Это сообщение в первый момент сбilo меня с толку, ведь я знал, что характеристика излучения лазерных ударов, которые уничтожили наших разведчиков, была другая. Спектр сдвинут в красную сторону. Но может быть, это эффект зеркала? Я вдруг сообразил, что отраженный луч вовсе не должен быть точно таким, как падающий. Даже при обычном стекле. Хотя о стекле не могло быть и речи. То, что отражало лазерные лучи, вполне могло сдвинуть их спектр в сторону красного цвета. Я не мог потребовать сейчас консультации с физиками. Я отложил ее на потом, а пока попытался вспомнить хоть что-нибудь из оптики. Преобразование в видимый свет лучей высокой энергии, таких как рентгеновские или гамма, не требует добавочной затраты энергии. Поэтому сде-

лать это легче. Значит, луч, попадающий в это зеркало, отличался от отраженного. Зеркальная гипотеза все объясняла без помощи чудес. Это меня успокоило. Я принялся определять свои координаты по звездам, как будто стоял на тренировочном полигоне. Примерно в пяти милях к востоку начинался французский сектор, а значительно ближе, меньше чем в миле за моей спиной, проходила граница американского сектора. Следовательно, я стоял на ничьей земле.

— Вивич? Ты меня слышишь? Я — «Луна».

— Слышу, Тихий! Не было никаких вспышек — почему вы спрашиваете о лазерах?

— Вы записываете меня?

— Конечно. Каждое слово.

По голосу я чувствовал, как он нервничает.

— Внимание. То, что я скажу, очень важно. Я стою в кратере Флемстида. Смотрю на восток в сторону французского сектора. Передо мной зеркало. Повторяю: зеркало. Но не просто зеркало, а нечто такое, в чем я отражаюсь вместе со всем, что меня окружает. Я не знаю, что это. Я вижу свое отражение, то есть теледубля номер один, на расстоянии около двухсот сорока шагов. Отражение это опустилось вместе со мной. Я не знаю, как высоко простирается зона отражения, потому что во время посадки смотрел вниз, под ноги. Двойника я заметил лишь над самым кратером, очень близко. Он находился не на той же высоте, что и я, несколько выше. Причем был больше, то есть выше и массивней меня. Потом, уже стоя на грунте, он стал точно таким, как я. Я считаю возможным, что это зеркало способно увеличивать отраженное изображение. И поэтому те, мнимые лунные роботы, которые уничтожали теледублей, казались такими чудовищно огромными. Я попытался коснуться своего двойника. Рука проходит насквозь. Никакого сопротивления. Если бы я имел лазер и выстрелил, со мной было бы покончено, потому что я получил бы полный отраженный заряд. Не знаю, что будет дальше. Я не в состоянии различить место, где так называемое зеркало переходит в реальный пейзаж. Вот пока и все, что мне известно. Я сказал все. Больше вы от меня ничего не добьетесь. Если будете сидеть тихо, я не выключу радио, а если вас одолевает охота поговорить, отключусь, чтобы мне никто не мешал. Ну что, отключаться или нет?

— Нет, нет. Прошу вас проверить...

— А я прошу помолчать.

Я отчетливо слышал, как он там дышал и сопел с трехсекундным запаздыванием в четырехстах тысячах километрах

над моей головой. Я сказал — над, потому что Земля сияла высоко в черном небе, почти в зените, нежно-голубая в окружении звезд, а Солнце, наоборот, стояло низко, и, глядя в сторону моего двойника в белом скафандре, я видел свою собственную длинную тень, волнисто изгибавшуюся на дюнах. В наушниках слегка потрескивало, но в общем было тихо. В этой тишине слышно было мое дыхание, но я понимал, что дышу-то я на борту корабля, а слышу себя здесь, словно стою во плоти рядом с кратером Флемстида. Мы ожидали всяких неожиданностей, но только не здесь, на ничьей земле. Похоже было, что трюк с зеркалом они устроили, чтобы каждый, живой или мертвый, сам уничтожил себя сразу после посадки, даже не понюхав их лунного пороха. Ловко. Хитро. Более того, интеллигентно, но в смысле перспектив моей разведки — не слишком утешительно. Ясно, что сюрпризов они приготовили значительно больше. Правду говоря, я охотно вернулся бы на борт, чтобы обдумать положение и обсудить его с базой, но тут же отверг этот вариант. Конечно, я мог покинуть теледубля, разбив предохранительное окошко на груди, однако ни за что бы сейчас этого не сделал. В шкуре теледубля я рисковал не больше, чем находясь на корабле. Так что же, искать источники этого зеркала? Допустим, они существуют и я их найду, но что из этого? Отражение исчезнет. И ничего больше. Впрочем, здравые мысли приходят в голову чаще всего во время прогулки, подумал я и двинулся прямо, но, конечно, не прогулочным шагом, а словно бы пьяным, лунным — сначала переставляя ноги, как на Земле, а потом уже совсем по-лунному, держа их согнутыми и подскакивая, как воробей. Или, вернее, как большой, объемистый мяч, который от отскока до отскока долго летит над песчаным грунтом. Отдалившись уже порядочно от места посадки, я остановился, чтобы взглянуть назад. Почти на горизонте я увидел маленькую фигурку и еще раз остолбенел. Несмотря на большое расстояние, я заметил, что это уже не фигура в белом скафандре, а кто-то совершенно другой, тонкий и стройный, с сияющей на солнце головой. Человеческая фигура без скафандра на Луне? И к тому же совершенно нагая. Робинзон Крузо не был так поражен, увидав Пятницу. Я быстро поднял обе руки, но это существо и не подумало мне подражать. Эта фигура не была моим отражением. У нее были золотистые волосы, спадающие на плечи, белое тело, длинные ноги, и шла она ко мне без особой поспешности, как бы нехотя, и двигалась не утиным, качающимся шагом, а изящно, словно по пляжу. Едва я подумал о пляже, как

понял, что это женщина. Точнее, молодая девушка, блондинка, голая, как в клубе нудистов. В руке у нее было что-то большое, разноцветное, закрывавшее грудь. Она приближалась, но шла не прямо ко мне, а чуть наискосок, словно хотела пройти мимо на приличном расстоянии. Я чуть было не вызвал Вивича, но в последнюю секунду прикусил язык. Он не поверил бы мне. Решил бы, что это галлюцинация. Застыв на месте, я старался различить черты ее лица, в то же время отчаянно пытаюсь разобраться в своих ощущениях. Вопросы о невероятности всего этого, об обмане чувств я отбросил — уж если в чем я был уверен, так это в том, что она — не порождение моего бреда. Не знаю почему, но мне показалось, что все зависит от ее лица. Если оно точно такое же, как у той фальшивой Мэрилин Монро из итальянского ресторанчика, я все-таки усомнился бы в состоянии своей психики, потому что каким образом любые токи, волны, силы или черт знает что еще могли вторгнуться в мою память и выловить именно этот образ? Ведь я не стоял на этом мертвом грунте на самом деле. Я сидел по-прежнему на корабле, пристегнутый ремнями к глубокому креслу у пульта управления, а впрочем, даже если бы я и был здесь, то вряд ли что-нибудь проникло бы в мой мозг так быстро и с такой точностью. Оказывается, подумал я, невозможности бывают разного рода, большие и меньшие.

Это была сирена с островов, мимо которых проплывал Одиссей. Отравленная приманка. Почему я так подумал, не знаю. Я все стоял, а она шла и шла, время от времени склоняя обрамленное рассыпавшимися волосами лицо и пряча его в цветах, которые прижимала к груди (на Луне, где никто ничего не смог бы понюхать). На меня она не обращала ни малейшего внимания. Независимо от того, как выглядели и действовали механизмы этой фата-морганы, они должны были функционировать логично, поскольку возникли из логических программ. Это можно принять за точку опоры. Ведь должен был я чего-то придерживаться. Невидимое зеркало имело целью обезвредить любого разведчика, имевшего оружие. Увидев противника, он прицелился бы в него сначала только для самообороны, поскольку его задание — разведка, а не атака. Но если бы тот, другой, точно так же прицелился в него, он выстрелил бы, чтобы спастись, потому что, позволив себя уничтожить без сопротивления, он не выполнил бы заданной программы. Я же этого не сделал. Не применил оружия. Вместо этого я вызвал Землю и рассказал Вивичу об увиденном. Подслушивали ли меня? Почти наверняка. Сейчас,

когда я об этом думаю, прямо-таки катастрофическим упущением всей Лунной Миссии кажется мне то, что никто не подумал, как оградить от подслушивания связь Тихого с базой, что в общем-то не составляло труда. То, что я говорю и слышу, соответствующий преобразователь мог бы превратить в поток закодированных сигналов. Ведь укрытые под поверхностью Луны компьютерные арсеналы должны были знать человеческий язык, а если поначалу и не знали, легко могли выучить, прислушиваясь к передачам десятков тысяч земных радиостанций. А если так, они могли принимать и телевизионные передачи, и вот из них-то, как Венера из пены морской, появилась эта обнаженная девушка. Это было вполне логично. Если не робот — ведь он не стреляет и даже не пытается подробно исследовать собственного двойника (а каждый робот начал бы с этого сразу после посадки) — значит, человек. Если человек, то со стопроцентной уверенностью — мужчина, потому что люди не послали бы первой в такую разведку женщину. А если это мужчина, то любая телепрограмма выдает его ахиллесову пяту — противоположный пол! Поэтому, что бы там ни было, я не должен был приближаться к сирене-искусительнице. Это могло мне слишком дорого стоить. Как дорого, я не знал, но предпочитал не уточнять цену на собственном опыте. О том, что рассуждал я правильно, свидетельствовала сама ее внешность, лицо сирены, ибо историю с той, другой, хотя она тоже была блондинкой, здесь никто не мог знать. Ведь она сохранялась в абсолютной тайне. Разве что у каких-нибудь лунных оружейников были союзники в самом Лунном Агентстве? Я счел, что это исключено.

Она шла медленно, и поэтому у меня было время для размышлений, но теперь нас разделяло лишь несколько десятков шагов. Она ни разу не посмотрела в мою сторону. Я старался разглядеть, оставляют ли ее босые ноги следы на песке так же, как мои сапоги, но не смог ничего заметить. Если бы она оставляла следы, дело было бы хуже — гораздо хуже, ведь это значило бы, что фата-моргана ошеломляюще совершенна. Но теперь я увидел наконец ее лицо — и вздохнул с облегчением. То не было лицо Мэрилин Монро, хотя и оно показалось мне знакомым, наверное, было взято из какого-нибудь фильма, украдено у какой-то актрисы или просто красотки — она была не только молода, но и красива. Она шла все медленней, как будто раздумывала, не остановиться ли, а может быть, сесть или даже улечься на солнце, словно все и впрямь происходило на пляже. Она уже не заслоняла грудь цветами, а держала букет в опущенной руке. Осмотревшись,

она выбрала большой камень с гладкой, слегка наклонной поверхностью, села на него, а цветы выронила из рук. Они выглядели очень странно — красные, желтые и голубые в этом мертвом, серо-белом пейзаже. Она сидела боком ко мне, а я с напряжением, от которого мой мозг готов был закипеть, думал, чего ее творцы или изготовители ожидают теперь от меня, как от человека, и чего, следовательно, я ни в коем случае не должен делать. Если я расскажу обо всем Вивичу, это будет прежде всего на руку им, потому что ни он и никто другой на базе мне не поверил бы, хотя, разумеется, об этом бы не сказал. Решив, что я галлюцинирую, они велят мне покинуть теледубль номер один, словно мертвую скорлупу, то есть вернуться на корабль, перейти к цели ноль два или три на другом полушарии Луны и повторить всю процедуру посадки с начала, а перед этим соберут психиатрический консилиум, чтобы определить, какое средство из бортовой аптечки должен принять свихнувшийся Ийон Тихий. Аптечка была полна всякой всячины, но я в нее даже не заглядывал. Если бы во мне усомнились там, на Земле, это на девяносто процентов снизило бы шансы всей экспедиции, что, безусловно, устраивало творцов фата-морганы, ибо укрыло бы их деятельность от Земли так же успешно, как и предыдущая ликвидация спутникового контроля Луны. Значит, мне никак нельзя было связываться с базой. Флирт также не входил в мои расчеты. Они, должно быть, знали не так уж мало и вряд ли надеялись, что разведчик примется ухаживать за голой девицей в лунном кратере. Но он, несомненно, захочет приблизиться к ней, чтобы посмотреть на нее вблизи и убедиться, телесна ли она. В конце концов, она могла оказаться вполне телесной, а не простой голографической проекцией. Разумеется, это не была настоящая девушка, но, прикоснувшись к ней, я мог бы этого касания не пережить. Мина, сконструированная с учетом свойственного людям сексуального влечения. В изрядный переплет я попал. Сообщить базе, что произошло, — плохо, не сообщить — тоже скверно, а вплотную заниматься лунной сиреной и опасно, и глупо. Следовательно, нужно было сделать то, чего ни один мужчина ни на Земле, ни на Луне наверняка не сделал бы, увидев молодую хорошенькую блондинку нагишом. Сделать то, чего не предусматривала программа этой ловушки. Оглядевшись вокруг, я примерно в десяти шагах нашел довольно большой камень — собственно, треснувшую пополам глыбу, за которой мог бы целиком спрятаться; уставившись на девушку, будто бы не соображая, куда иду, подошел к этой глыбе, а когда оказался за ней, молние-

носно схватил порядочный камень, который на Земле весил бы килограммов пять, настоящую шершавую буханку, и взвесил его в руке. Камень был твердый и легкий, как окаменелая губка. Бросить в нее или не бросить, вот в чем вопрос, думал я, глядя на сидящую девушку. Опираясь спиной на наклонный камень, она, казалось, принимала солнечные ванны. Я отлично видел розовые соски — ее грудь была светлее живота, как обычно у женщин, которые загорают в купальном костюме из двух частей. В голове у меня буквально бурлило. Для чего это было устроено, я понимал. Вообразите себе реакцию командира у полевого телефона, которому артиллерийский наблюдатель докладывает, что на его глазах орудия неприятельской батареи превращаются в младенцев или в колыбельки. Если бы они попросту перекрыли мне радиосвязь, на базе хотя бы знали, что Тихий попал в беду, но если бы я сказал, что прячусь от голой блондинки, это означало бы мое помешательство при исправной связи. Скверно. И, не выдумав ничего лучшего, я швырнул в нее камнем. Он полетел медленно, словно в бесконечность, попал ей в плечо, пробил ее навывлет и зарылся в песок у ее босых ног. Я ожидал взрыва, но его не было. Я заморгал глазами, и в одно из таких мгновений она исчезла. Еще секунду назад сидела, крутя в пальцах прядку светлых волос, опершись локтем на колено, а в следующий момент там не было ничего. Только брошенный камень медленно перевернулся, прежде чем застыть в неподвижности, и маленькое облачко поднятого им песка осело на сероватой скале. Снова я был один как перст. Я поднялся, встав сначала на колени, а потом выпрямившись во весь рост. Тут подал голос Вивич. Как видно, он уже не мог вытерпеть моего молчания. И тут я сообразил, что они должны были наблюдать все это на своем экране. Ведь облако микропов висело где-то надо мной.

— Тихий! Изображения нет! Что случилось?

— Нет *изображения?*.. — переспросил я чуть ли не по буквам.

— Нет. В течение сорока секунд были помехи. Техники думали, что это неполадки в нашей аппаратуре, но уже проверили. У нас все в порядке. Посмотри внимательно, ты должен их увидеть.

Он имел в виду микропов. Маленькие, как мушки, они обычно все-таки заметны в лучах солнца — поблескивают, словно искрящийся рой. Я обвел глазами всю противоположную солнцу сторону небосвода, но не заметил ни малейшей блеск. Зато я обнаружил нечто более странное. Пошел

дождь. Редкие, маленькие, темные капельки появились то ближе, то дальше от меня на песке. Одна из них скользнула по шлему, и, прежде чем она упала, я успел схватить ее. Это был микроп, почерневший, будто сплавленный сильным жаром в крохотный металлический комочек. Этот дождик все еще шел, хотя и становился реже, когда я сообщил о нем Вивичу. Три секунды спустя послышалось проклятье.

— Расплавлены?

— Похоже, что так.

Это было логично. Если маневр с девицей имел цель подорвать доверие к моим донесениям, то нужно было, чтобы Земля не могла ничего видеть.

— Как насчет резервов? — спросил я.

Микропы находились под непосредственным контролем телетроников. Их передвижения не зависели от меня. На корабле были четыре запасных комплекта микропов.

— Вторая волна уже выслана, жди!

Вивич говорил там с кем-то, отвернувшись от микрофона, слышны были только далекие отголоски.

— Сброшены две минуты назад, — произнес он наконец, шумно дыша.

— Изображение появилось?

— Да. Эй, там, сколько на дальномерах? Видим уже Флемстида. Тихий, они опускаются. А сейчас и тебя... Что такое?

Вопрос, правда, был обращен не ко мне, но я мог бы ответить, потому что дождь из оплавленных микропов пошел снова.

— Радар! — кричал Вивич — не мне, но так громко, что я отлично его слышал. — Что? Разрешающей способности не хватает? Ах так... Тихий! Слушай! Мы видели тебя одиннадцать секунд, сверху. Теперь опять ничего. Говоришь, расплавлены?

— Да, как на сковородке. Но эта сковородка, должно быть, здорово раскалена — от них остался один черный шлак.

— Попробуем еще раз. На этот раз с шлейфом.

Это значило, что за микропами первого броска будут посланы следующие, чтобы проследить судьбу летящих впереди. Я ничего не ожидал от этой попытки. Они уже были знакомы с микропами по предыдущим столкновениям и знали, как с ними управиться. Каким-нибудь индукционным подогревом, электромагнитным полем, в котором вихревые токи Фуко расплавляют любую металлическую частицу. Насколь-

ко я помню школьную физику. Впрочем, механизм разрушения не так важен. Микропы, прекрасно защищенные от радарного обнаружения, оказались ни к черту не годны. Хотя это был и новый усовершенствованный тип. По принципу глаза насекомого, рассредоточенного так, что его отдельные омматидии — призматические глазки — занимали более восьмисот квадратных метров. Получаемое изображение было голографическим, трехмерным, цветным и резким, даже если ослеплено три четверти комплекта. Видимо, Луна досконально разбиралась в таких уловках. Открытие не слишком утешительное, хотя его можно было ожидать. Одно лишь составляло для меня загадку — почему я продолжаю двигаться целым и невредимым. Если им так легко удалось смахнуть микропов, то почему они не могли и меня убрать сразу после посадки, когда не сработала зеркальная ловушка? Почему не прервали моей связи с теледублем? Телематики утверждали, что это практически невозможно, ибо канал управления располагался в области самых жестких космических излучений. Это была невидимая игла, проходящая между кораблем и теледублем, такая «жесткая», как они выражались, что среагировала бы разве только на гравитационное воздействие черной дыры. Магнитное поле, которое смогло бы разорвать или изогнуть эту «иглу», требовало подвода мощности, исчисляемой в миллиардах джоулей. Иначе говоря, в пространстве между кораблем и теледублем пришлось бы накачать мега — или даже гигатонны, накрыв Луну, словно раскрытым зонтом, экраном термоядерной плазмы. Но пока что они не могли или не хотели этого делать.

Может быть, это промедление проистекало не из недостатка могущества, а из стратегического расчета. В сущности, до сих пор разведчики — люди и автоматы — не подвергались на Луне нападению. Они уничтожали себя сами, поскольку первыми применяли оружие, стреляя в свое отражение. Слово бы неживое население Луны решило держаться оборонительной тактики. Этот прием какое-то время должен себя оправдывать. Дезориентированный в стратегической ситуации противник находится в гораздо худшем положении, чем тот, кто знает, что его атакуют. Тщательно продуманная доктрина неведения как гарантии мира опасным и издевательским образом оборачивалась против ее творцов.

Внезапно заговорил Вивич. Третья волна микропов добралась до меня невредимой. Они снова видели меня на своих экранах. Может быть, ослепление базы планировалось только на время фата-морганы с девицей? Я терялся в догадках. До-

пустим, путем радиоподслушивания на Луну поступали сведения о растущем на Земле ощущении угрозы. Панические настроения, подогреваемые частью прессы, затронули не только общественное мнение, но и правительства. Однако все понимали, что, если возобновится производство термоядерных ракет для удара по Луне, это будет означать и конец мира на Земле. Нетрудно было понять, что либо готовится нападение, направленное против человечества, либо на Луне происходит что-то совершенно необъяснимое. Вивич снова вызвал меня и сообщил, что сейчас начнется настоящая бомбардировка Луны микропами. Их будут сбрасывать поочередно, волна за волной, и не только с моего корабля, но и со всех направлений, ибо решено привести в действие резервы, накопленные под Зоной Молчания. Я и не знал, что они там были. Я сел посреди мертвой пустыни и, слегка откинувшись назад, уставился в черное небо. Я не смог разглядеть корабль, зато увидел микропов — маленькие искрящиеся облачка, сбегające сверху и с горизонта. Часть их зависла надо мной, взмывая, волнуясь и поблескивая, словно рой золотых мушек, беззаботно играющих на солнце. Другие, резервные, были заметны лишь временами, когда какая-нибудь из неподвижно горящих звезд мигала и на мгновение гасла, заслоненная облаком моих микроскопических стражей. Они видели меня на всех экранах, сверху, анфас и в профиль. Надо было вставать и двигаться дальше, но мною овладела полная апатия. Неповоротливый, неуклюжий, в тяжелом скафандре, я, в отличие от микропов, представлял собой превосходную мишень даже для полуслепых стрелков. И почему я, со своим черепашиным темпом, должен идти во главе разведки? Почему бы микропов не сделать моими летучими лазутчиками? База дала на это согласие. Тактика изменилась. Рой золотистых комаров полетели надо мной широким фронтом в сторону лунного Урала.

Я шел, настороженно осматриваясь по сторонам. Вокруг простиралась плоская, чуть волнистая равнина, усеянная мелкими кратерами, засыпанными почти до краев. В одном из них торчало из песка что-то похожее на засохшую толстую ветку. Я ухватил ее за конец и потянул, словно вытаскивая из грунта глубоко вросший корень. Помогая себе маленькой саперной лопаткой, которая была приторочена у меня на боку, я освободил из-под сыпучей крошки истлевшие от жара металлические обломки. Это могли быть остатки какой-то из бесчисленных примитивных ракет, которые разбивались о скалы в начальный период освоения Луны. Я не вызвал базу, зная, что благодаря микропам там видят мою

находку. Я все тянул и тянул причудливо изогнутые прутья, пока не показалось утолщение, а за ним заблестел более светлый металл. Все это не выглядело многообещающе, но раз я взялся за такую корчевку, то потянул еще сильнее, не опасаясь, что какой-нибудь острый прут проткнет мне скафандр, ведь я обходился без воздуха и разгерметизация ничем мне не грозила. Но что-то вдруг изменилось. В первый момент я не понял, что мешает мне сохранять равновесие, пока не почувствовал, что мой левый сапог, как в клещи, попал в захват сплюснутых и изогнутых стержней. Я попытался вырвать его, подумав, что сам запутался, но они крепко держали мою ногу, и мне не удалось разогнуть их даже с помощью лопатки.

— Вивич, ты где? — спросил я. Он откликнулся через три секунды.

— Кажется, они поймали меня, как барсука, — сказал я, — это похоже на капкан.

Идиотская история. Попасться в какую-то железку, в примитивную ловушку! Я не мог выбраться из нее. Микропы встревоженным роем мух кружились поблизости, пока я в поте лица возился с челюстями, мертвой хваткой зажавшими мой сапог.

— Возвращайся на борт, — предложил Вивич, а может быть, кто-то из его ассистентов — голос был как будто другой.

— Если из-за этого я потеряю дубля, мы далеко не продвинемся, — ответил я. — Я должен это перерезать.

— У тебя есть карборундовая дисковая пила.

Я отстегнул прикрепленный к бедру плоский футляр. Там действительно была миниатюрная дисковая пила. Подключив ее шнур к клеммам питания скафандра, я наклонился. Из-под вращающегося лезвия брызнули искры. Зажимы, державшие мой сапог у лодыжки, уже размыкались, перерезанные почти до конца, как вдруг я почувствовал нарастающий жар в ступне. Изо всех сил дернул ногу и увидел, что металлическое утолщение, похожее на большую картофелину, из которой выходили эти корневидные прутья, раскаляется словно от невидимого пламени. Белый пластик сапога уже почернел и шелушился от жара. Последним рывком я высвободил ногу и шатнулся назад. Меня ослепила кустообразная вспышка, я почувствовал резкий удар в грудь, услышал треск раздираемого скафандра и на мгновение погрузился в непроницаемую темноту. Я не потерял сознание, просто меня окружил мрак. Потом раздался голос Вивича:

— Тихий, ты на борту! Откликнись! С первым теледублем покончено.

Я заморгал глазами. Откинувшись на подголовник, странно подогнув ноги, я сидел в кресле и держался за грудь, за то место, в котором только что ощутил резкий удар. Точнее, острую боль, как я теперь осознал.

— Это была мина? — спросил я с удивлением. — Мина, соединенная с автозахватом? Что они, ничего более совершенного не могли придумать?

Я слышал голоса, но говорили не со мной, кто-то спрашивал о микропах.

— Нет изображения, — сказал незнакомый голос.

— Как, всех уничтожил один этот взрыв?

— Это невозможно.

— Не знаю, возможно или нет, но экран пуст.

Я все еще тяжело дышал, как после долгого бега, глядя на диск Луны. Весь кратер Флемстида и долину, где я так глупо потерял теледубля, я мог бы прикрыть кончиком пальца.

— Что с микропами?

— Не знаем.

Я взглянул на часы и удивился: почти четыре часа я провёл на Луне. Приближалась полночь по бортовому времени.

— Вы как хотите, — сказал я, не пытаясь скрыть зевок, — но на сегодня с меня хватит. Иду спать.

VI. ВТОРАЯ РАЗВЕДКА

Проснулся я отдохнувшим и сейчас же вспомнил события предыдущего дня. После хорошего душа думается всегда яснее, поэтому я настоял, чтобы на борту была душевая с настоящей водой, а не влажные полотенца, этот убогий суррогат ванны. О ванне не могло быть и речи, роль душевой выполнял резервуар, огромный, как бочка: внутри с одной стороны били струи воды, а с другой их всасывал поток воздуха. Чтобы не захлебнуться, ибо вода в невесомости разливается толстым слоем по всему телу и лицу, я вынужден был перед купанием надеть кислородную маску. Это было весьма неудобно, но я предпочитал иметь такой душ, чем никакого. Известно, что, когда конструкторы уже набили руку в строительстве ракет, астронавтов долго еще мучили аварии клапанов, и технической мысли пришлось немало потрудиться, прежде чем было найдено решение этой шарады. Анатомия человека до ужаса плохо приспособлена к космическим ус-

ловиям. Этот твердый орешек, который не давал спать астротехникам, несколько не беспокоил авторов научной фантастики, так как их возвышенные души попросту не замечали таких проблем. С малой нуждой еще полбеды, правда, только у мужчин. С большой же все счастливо уладилось только благодаря специальным компьютерам-дефекторам, у которых один лишь изъян, а именно: когда они портятся, положение становится катастрофическим, каждый выходит из него, как умеет. Однако в моем лунном модуле такой компьютер до самого конца работал, если можно употребить такую похвальную метафору, как швейцарские часы. Вымытый и освеженный, я выпил кофе из пластиковой груши, заедая его кексом с изюмом — под сильной тягой отсасывающего устройства, включенного на полную мощность. Я предпочитал, чтобы потоком воздуха у меня вырывало крошки из-под пальцев, — это лучше, чем поперхнуться или подавиться изюминой. Я не из тех, кто легко отказывается от своих привычек. Подкрепившись как следует, я уселся в кресло перед селенографом и, глядя на изображение лунного глобуса, принялся размышлять в приятной уверенности, что никто не будет донимать меня советами, потому что я не уведомил базу о своем пробуждении и там считали, что я еще сплю. Зеркальный феномен и голая девица представляли собой два последовательных этапа распознания, *кто* прибыл, и они, как видно, удовлетворили тех или то, что подготовило мне такой прием, раз мне дали лазить по Флемстиду, не завлекая миражами и не подвергая нападением. Однако капкан, который оказался миной, в эту картину никак не вписывался. С одной стороны, они берут на себя труд создавать миражи на ничьей земле, действуя на расстоянии, потому что эта зона неприкосновенна, а с другой стороны — закапывают там мины-ловушки. А все вместе выглядит так, будто я противостоял армии, вооруженной локаторами дальнего обнаружения и дубинами. Правда, мина могла лежать здесь с давних времен, ведь я, да и никто другой, не имел представления, что делалось на Луне на протяжении стольких лет абсолютной изоляции. Так и не решив этой загадки, я начал готовиться к следующей высадке. ЛЕМ-2 находился в полной готовности и был творением фирмы «Дженерал телетроникс», моделью, отличающейся от того бедняги, которого я так неожиданно потерял, поэтому я полез в грузовой отсек, чтобы осмотреть его, прежде чем стану им. Этот, должно быть, силач из силачей, подумал я, такие толстые у него ноги и руки, широкие плечи, тройной панцирь, который глухо загудел, когда я постучал по нему

пальцем, а кроме визиров в шлеме, шесть дополнительных глаз — на спине, на бедрах и на коленях. Чтобы обскакать конкурентов, проектировавших первого ЛЕМА, «Дженерал телетроникс» снабдила модель двумя индивидуальными ракетными системами: кроме тормозных, отбрасываемых после посадки, бронированный атлет имел постоянно закрепленные сопла в пятках, под коленями и даже в сиделище, что — как я вычитал в инструкции, полной самохвальства, — помогало ему сохранять равновесие и, кроме того, позволяло совершать восьмидесяти- или шестидесятиметровые прыжки. Ко всему прочему, панцирь сиял, как чистая ртуть, чтобы луч любого светового лазера соскальзывал с него. Я, в общем, понимал, как великолепен этот ЛЕМ, но не сказал бы, что меня вдохновил его подробный осмотр: чем больше визиров, глаз, индикаторов, сопел, тем больше внимания они требуют, а у меня, стандартного человека, конечностей и чувств не больше, чем у любого другого. Вернувшись в кабину, я для пробы включился в этого теледубля и, став им, а собственно, самим собой, поднялся на ноги и ознакомился с его жутко усложненным управлением. Кнопка, дающая возможность совершать длинные прыжки, имела вид маленького пирожка, от которого отходили провода, и взять ее надлежало в зубы. Но как же разговаривать с базой с таким контактом в зубах? Правда, этот эластичный пирожок можно было смять в пальцах, как пластилин, и вложить за щеку, а в случае необходимости достать языком и зажать коренными зубами. А если бы ситуация стала особенно напряженной, я мог бы, как объясняла инструкция, держать кнопку все время между зубами, следя лишь за тем, чтобы не сжать их слишком сильно. О стучании зубов вследствие неожиданного испуга там не было ни слова. Я лизнул эту кнопку, и вкус был такой, что я тут же сплюнул. Кажется — хотя поклясться не могу, — на земном полигоне ее чем-то смазали, возможно, апельсиновой или мятной пастой. Выключив теледубля, я перешел на более высокую орбиту и продвигался по ней, чтобы наметить цель номер ноль два между Морем Пены и Морем Смита, и уже в меру вежливо беседовал с земной базой. Я летел спокойно, как накормленное дитя в колыбельке, но тут что-то странное начало твориться в селенографе. Это превосходное устройство, пока оно работает безупречно. Зачем возиться с реальным глобусом Луны, когда его заменяет трехмерное изображение, получаемое голографически; впечатление такое, будто настоящая Луна поворачивается потихоньку перед глазами, вися в воздухе в метре от тебя; при этом прекрасно видно весь ре-

льеф поверхности, а также границы секторов и обозначения их владельцев. Передо мной поочередно проплывали сокращения, какими обычно снабжаются номера автомобилей: US, G, I, F, S, N и так далее. Тут, однако, что-то испортилось, секторы стали переливаться всеми цветами радуги, потом рябь больших и малых кратеров помутнела, изображение задрожало, а когда я бросился к регуляторам, превратилось в белую, гладкую, девственную сферу.

Я менял резкость фокусировки, увеличивал и уменьшал контрастность, и в результате через некоторое время Луна появилась вверх ногами, а потом исчезла совсем, и уже никакая сила не могла заставить селенограф работать нормально. Я сообщил об этом Вивичу и, разумеется, услышал, что я что-то перекрутил. После моего сакраментального, повторенного добрый десяток раз заявления, что у меня серьезные затруднения — ибо так принято говорить еще с времен Армстронга, — профессионалы занялись моим голографом, что отняло полдня. Сначала мне велели увеличить период обращения, чтобы подняться над Зоной Молчания и таким образом исключить действие каких-то неизвестных сил или волн, направленных на меня с Луны. Так как это ничего не дало, они принялись проверять все интегральные и обычные схемы в голографе непосредственно с Земли, а я в это время приготовил себе второй завтрак, а потом и обед. Поскольку приготовить хороший омлет в невесомости непросто, я снял шлем и наушники, чтобы споры информатиков с телетронщиками и специально вызванным профессорским штабом не рассеивали моего внимания. После всех дебатов оказалось, что голограф *испорчен*, и хотя точно известно, какая микросхема сгорела, но именно ее у меня нет в резерве, а потому ничего сделать нельзя. Мне посоветовали разыскать обычные, напечатанные на бумаге лунные карты, приклеить их липкой лентой к экранам и таким образом выйти из создавшегося положения. Карты я нашел, но не все. У меня оказалось четыре экземпляра первой четверти Луны, именно той, на которой я пережил уже известные приключения, но остальных не было и следа. На базе царил полная растерянность. Меня убеждали поискать тщательней. Я перевернул ракету вверх дном, но, кроме порнокомикса, брошенного техниками обслуживания во время последних приготовлений к старту, нашел только словарь сленга американских гангстеров пятого поколения. Тогда база разделилась на два лагеря. Одни считали, что в таких условиях я не могу продолжать свою миссию и должен вернуться, другие хотели предоста-

вить право решения мне самому. Я взял сторону второй группы и решил высадиться там, где было намечено. В конце концов, они могли передавать мне изображение Луны по телевизионному каналу. Картинка была приличная, но никак не удалось ее синхронизировать с моей орбитальной скоростью, и мне показывали поверхность Луны то мчащуюся сломя голову, то почти неподвижную. Хуже всего было, что мне предстояло сесть на самом краю диска, видимого с Земли, а затем двинуться на другую сторону, и здесь появлялась новая проблема. Когда корабль висел над обратной стороной Луны, они не могли передавать мне телевизионное изображение напрямую, а только через спутники внутренней системы контроля, которые этого не хотели. Не хотели потому, что о такой возможности никто как-то не подумал заранее, и спутники были запрограммированы в соответствии с доктриной неведения, то есть им не было позволено ничего передавать ни с Земли, ни на Землю. Ничего. Правда, для поддержания связи со мной и моими микропами на высокую экваториальную орбиту были выведены так называемые троянские спутники, но они не были приспособлены для передачи телевизионного изображения. То есть были, конечно, но только для изображения, которое передавали микропы. Все это очень долго обсуждалось, пока в безвыходной ситуации кто-то не подбросил мысль, что неплохо бы устроить мозговой штурм. Говоря по-ученому, мозговой штурм — это импровизированное совещание, на котором каждый может выдвигать самые смелые, самые дерзкие гипотезы и идеи, а остальные стремятся перещеголять его в этом. Выражаясь проще, каждый может плести, что в голову взбредет. И такой мозговой штурм продолжался четыре часа. Наболтались ученые до упаду, и ужасно мне надоели, к тому же они потихоньку отклонились от темы и уже не о том у них шла речь, как мне помочь, а о том, кто провинился, не продумав должным образом системы дублирования голографической имитации. Как обычно, когда люди действуют в коллективе, плечом к плечу, виноватого не оказалось. Они перебрасывали друг другу упреки, словно мячики; в конце концов и я вставил словечко, заявив, что управлюсь без них. Я не видел в этом особого риска — он и так был настолько велик, что мое решение не добавляло к нему практически ничего, а кроме того, вопрос, опущусь ли я в секторе US, SU, F, G, E, I, C, CH или на какую-нибудь другую букву алфавита, имел чисто академический характер. Самое понятие национальной, или государственной, принадлежности роботов, неизвестно в каком поколении населяю-

щих Луну, было пустым звуком. Знаете ли вы, что самой трудной задачей военной автоматизации оказалось так запрограммировать автооружие, чтобы оно атаковало исключительно противника? На Земле с этим не было никаких проблем; для этого служили мундиры, разноцветные знаки на крыльях самолетов, флаги, форма касок, и в конце концов нетрудно установить, по-голландски или по-китайски говорит взятый в плен солдат. С автоматами дело другое. Поэтому появились две доктрины под кодовым названием FOF, то есть Friend Of Foe. Первая из них рекомендовала применение множества датчиков, аналитических фильтров, различающих селекторов и тому подобных диагностических устройств, другая же отличалась завидной простотой: врагом считается Кто-то Чужой, и все, что не может ответить надлежащим образом на пароль, нужно атаковать. Однако никто не знал, какое направление приняла самопроизвольная эволюция вооружений на Луне, а значит, и действия тактических и стратегических программ, отличающих союзника от врага. Впрочем, как известно из истории, эти понятия весьма относительны. Если кому-то этого очень захочется, он может, копаясь в метрических книгах, установить, была ли арийкой бабка некоторой особы, но уж никак не сможет проверить, кто был ее предком в эоцене — синантроп или палеопитек. Автоматизация всех армий, кроме того, ликвидировала идеологические проблемы. Робот старается уничтожить то, на что нацелила его программа, и делает это согласно методу фокусирующей оптимизации, дифференциального диагностирования и правилам математической теории игр и конфликтов, а вовсе не из патриотизма. Так называемая военная математика, возникшая вследствие автоматизации всех видов оружия, имеет своих выдающихся творцов и приверженцев, но также еретиков и отступников. Первые утверждали, что существуют программы, обеспечивающие стопроцентную лояльность боевых роботов, и нет никакой силы, которая могла бы склонить их к измене, вторые же уверяли, что таких гарантий нет. Как всегда перед лицом задач, перерастающих мои возможности, я и тут руководствовался здравым смыслом. Нет шифра, который невозможно раскрыть, и нет кода, настолько тайного, чтобы никто не смог корыстно воспользоваться им в своих собственных интересах. Об этом свидетельствует история компьютерных преступлений. Сто четырнадцать программистов работали, чтобы предохранить вычислительный центр Чейз Манхэттен Банка от вторжения нежелательных лиц, а потом смысленный юнец с карманным калькулятором в руке, пользуясь обычным те-

лефоном, забавы ради влез в святая святых наисекретнейших программ и сместил бухгалтерский баланс по своему усмотрению. Как опытный взломщик, который дерзко оставляет на месте преступления знак своего присутствия, чтобы побесить следственные органы, так и этот студент вставил в сверхтайную банковскую программу вместо визитной карточки такую команду, чтобы при проверке баланса компьютер перед каждым «дебет» и «кредит» сначала отстукивал бы «А-КУ-КУ». Теоретики программирования, конечно, не позволили себя закуковать и сразу же выдумали новую, еще более сложную и неприступную программу. Не помню уже, кто с ней расправился. Это не имело значения для второго этапа моей самоубийственной миссии.

Не знаю, как назывался кратер, куда я спустился. С севера он был немного похож на кратер Гельвеция, но с юга вроде бы на что-то другое. Я увидел это место с орбиты и выбрал его наугад. Может, когда-то здесь была ничейная земля, а может быть, и нет. Я сумел бы, поиграв с астрографом и замерив склонение звезд и все такое прочее, определить координаты, но предпочел оставить это на десерт — и хорошо сделал. ЛЕМ номер два был намного лучше, чем я предполагал со свойственной мне недоверчивостью, но имел один несомненный изъян. Климатизацию в нем можно было установить либо на максимум, либо на минимум. Я бы, наверное, справился с постоянным перескакиванием из духовки в холодильник и наоборот, если бы дело было в самой климатизации скафандра, но дефект не имел с нею ничего общего. Ведь я по-прежнему сидел внутри корабля, при умеренной температуре, однако в сенсорах этого ЛЕМа что-то разладилось, и они раздражали мою кожу то фальшивым теплом, то таким же мнимым холодом. Не видя иного выхода, я представлял переключатель через каждые две минуты. Если бы корабль не простерилизовали перед стартом, я наверняка схватил бы грипп. Но отделался только насморком, потому что его вирусы обитают у каждого из нас в носу в течение всей жизни. Я долго не мог понять, почему все медлю с посадкой — не от страха же, — и вдруг уяснил настоящую причину: я не знал названия места посадки. Как будто название что-то значило — однако так оно и было. Именно этим, несомненно, объяснялось усердие, с которым астрономы окрестили каждый кратер Луны и Марса и пришли в растерянность, когда на других планетах открыли столько гор и впадин, что им уже не хватило благозвучных названий.

Местность оказалась плоской, только к северу на фоне

черного неба выделялись контуры скругленных бледно-пепельных скал. Песка тут было в избытке: я шел, тяжело утопая в нем и время от времени проверяя, следуют ли за мной микроры. Они летели надо мной так высоко, что только изредка поблескивали, как искры, проворным движением выделяясь среди звезд. Я находился вблизи терминатора — границы дня и ночи, но темная половина лунного диска начиналась где-то впереди, на расстоянии каких-нибудь двух миль.

Солнце висело низко, касаясь горизонта за моей спиной, и рассекало плоскогорье длинными параллельными тенями. Каждое углубление грунта, даже небольшое, заполняло такой мраком, что я входил в него, словно в воду. Попеременно обдаваемый жаром и холодом, я упорно шел вперед, наступая на собственную гигантскую тень. Я мог разговаривать с базой, но пока было не о чем. Вивич поминутно спрашивал, как я себя чувствую и что вижу, а я отвечал — «все в порядке» и «ничего». На вершине пологой дюны стопкой лежали плоские, довольно большие камни, и я направился в ту сторону, потому что там блеснуло что-то металлическое. Это была массивная скорлупа какой-то старой ракеты, без сомнения, еще эпохи первых выстрелов по Луне. Я поднял ее и, осмотрев, отбросил. Двинулся дальше. На самом вершине холма, где почти не было этого мелкого песка, в котором вязнут сапоги, лежал отдельно камень, похожий на плоский плохо выпеченный каравай хлеба. Может, со скуки, а может, потому, что он так отдельно лежал, я пнул его ногой, а он, вместо того чтобы покатиться вниз, треснул, но так, что отскочил только кусок размером с кулак, и поверхность излома заблестела, как чистый кварц. Хотя мне в голову вдолбили массу сведений о химическом составе лунной коры, я никак не мог вспомнить, присутствует ли в ней кристаллический кварц, и поэтому наклонился за обломком. Для Луны он был довольно тяжел. Я подержал его в руке и, не зная, что делать с ним дальше, бросил и хотел уже было идти, но вдруг замер, потому что в последний момент, когда я уже разжал пальцы, он как-то странно блеснул на солнце, словно на вогнутой поверхности скола что-то микроскопически дрогнуло. Я не стал к нему снова притрагиваться, а наклонился и долго разглядывал его, усиленно моргая, в уверенности, что это только обман зрения, но с камнем и в самом деле творилось что-то странное. Щербины на поверхности скола утрачивали блеск, да так быстро, что через несколько секунд стали матовыми, а потом начали заполняться, словно из глубины камня что-то

выступало. Я не понимал, как это может быть: из камня, казалось, начала сочиться полужидкая мазь, как смола из надреза дерева. Я осторожно прикоснулся к ней пальцем, но она не была липкой, скорее мучнистой, как гипс перед отвердением. Я взглянул на другой, большой обломок и удивился еще больше. У него место разлома не только стало матовым, но и несколько вспучилось. Однако я ничего не сказал Вивичу, а продолжал стоять, расставив ноги, чувствуя спиной жаркое давление солнца, в нескольких метрах над слегка волнистой, в белых полосах и пятнах теней равниной, и не отрывал глаз от камня, с которым происходило что-то непонятное. Он рос, а точнее, зарастал. Просто зарастал, и через несколько минут обе части, большая и малая, — та, которую я только что держал в руках, — уже не подходили друг к другу, они обе стали выпуклыми и превратились в неправильной формы куски без всяких следов разлома. Я ждал, что будет дальше, но больше ничего не происходило, словно затянулась шрамами рана, и все. Это было невозможно и начисто лишено смысла, но это было. Припомнив, как легко треснул этот камень, хотя удар по нему был не так уж силен, я осмотрелся в поисках других. Несколько камней поменьше размером лежали на солнечном склоне. Взяв лопатку, я сошел вниз и острием поочередно ударил по каждому из них. Все они лопались, как перезревшие каштаны, сверкнув разломом нутра, пока я не наткнулся на обычный камень, от которого саперная лопатка отскочила, оставив только белесую царапину. Тогда я вернулся к разваленным надвое камням. Они зарастали, в этом уже не было сомнения. В кармане-мешке на правом бедре у меня был маленький счетчик Гейгера. Он даже не дрогнул, когда я приблизил его к этим камням. Открытие было, по-видимому, важным: камни так себя не ведут, значит, они не натуральные, а являются продуктом местной технологии, и мне следует забрать их с собой. Я уже наклонился, чтобы взять один из них, но вспомнил, что не могу вернуться на борт — проект этого не предусматривал. Химического анализа я также не мог сделать на месте, не имея реактивов. Если бы я уведомил об этом феномене Вивича, начались бы длинные разговоры, консультации, возбужденные селенологи велели бы мне торчать на этой дюне, раскалывать, как яйца, другие камни, сколько удастся, и наблюдать, что с ними происходит, а сами стали бы выдвигать все более смелые домыслы, но я всем нутром чувствовал: из этого ничего не выйдет, ибо сперва нужно понять, для чего такое явление предназначено, что за ним кроется; тут я услышал голос Вивича, который заметил, что

я ударяю лопаткой, но не разглядел по чему. Видимо, изображение, передаваемое микроками, было недостаточно резким. Я сказал, что ничего особенного, и быстро пошел дальше, на ходу обдумывая случившееся.

Способность к заращиванию полученных в бою повреждений могла быть в высшей степени необходима военным роботам, если бы они здесь были, но не камням же. Неужели местные вооружения под надзором компьютеров начались со стадии камня и пращи? Но если даже и так, на кой черт каменным снарядам зарастание? Тут, не знаю почему, я вдруг подумал, что нахожусь здесь не как человек, а как теледубль, то есть в неживом воплощении. А что, если развитие лунных вооружений пошло по двум независимым направлениям: создания оружия, атакующего все враждебное и мертвое, и другого — атакующего все враждебное и живое? Допустим, фантазировал я, что средства, поражающие мертвое оружие, не могут одновременно или с равной эффективностью действовать на живого неприятеля, а я наткнулся как раз на это второе оружие, приготовленное на случай высадки человека. Поскольку я им не был, их мины — предположим, что мины, — не почуяв живого тепла внутри скафандра, не причинили мне вреда, и их активность ограничилась заращиванием повреждений. Если бы какой-нибудь земной робот-разведчик задел их ногой, он не обратил бы внимания на их зарастание, ибо наверняка не запрограммирован на распознавание столь удивительного и непредвиденного явления. Я же не был ни роботом, ни человеком и потому заметил его. И что дальше? Этого я не знал, но если в моей догадке был хотя бы атом правды, то следовало ожидать и других мин, настроенных уже не на людей, а на автоматы. Теперь я шел несколько медленнее: осторожно ступая, чувствуя неподвижное солнце за спиной, одолевал дюну за дюной; время от времени встречал большие и малые камни, но уже не разбивал их лопаткой и не пинал ногами — ведь если они и вправду были двух разновидностей, дело могло кончиться плохо. Так я прошел добрых три мили, возможно, чуть больше — мне не хотелось вытаскивать шагомер, который застрял в кармане на голени, таком узком, что только с большим трудом я мог просунуть туда руку в перчатке, — и, двигаясь дальше в южном направлении, заметил какие-то развалины. Это не произвело на меня особого впечатления — на Луне много разрушенных скал, очертания которых по игре случая выглядят как руины построек, и лишь вблизи обнаруживаешь, что обманулся. Но все-таки я изменил на-

правление и брел по все более глубокому песку, ожидая, когда эти скалы примут свой настоящий, хаотический вид, но ждал я напрасно. Напротив, чем ближе я подходил, тем явственней вырисовывались частично разбитые и опаленные фасады низких строений; черные пятна были не теньями, а отверстиями, хотя и не такими правильными, как оконные проемы, — и все же таких больших отверстий, к тому же расположенных почти правильными рядами, никто в лунных скалах до сих пор не открыл. Песок вдруг перестал проваливаться у меня под ногами. Сапоги стучали по стекловидной шершавой массе, похожей на застывшую лаву, но это была не лава, а, скорее, расплавленный и застывший песок, подвергшийся действию очень высокой температуры. Думаю, я не ошибся, потому что эта скорлупа покрывала весь некрутой склон, по которому я поднимался, приближаясь к руинам. Меня отделяла от них довольно высокая дюна, возвышающаяся над всей местностью; взобравшись на ее вершину, я смог окинуть взглядом странные развалины и тогда понял, почему не заметил их с орбиты. Они были заглублены в грунт. Будь это и в самом деле остатки развалившихся домов, я сказал бы, что щебень доходил до самых окон. С расстояния порядка трехсот метров это напоминало хорошо знакомую по фотографиям картину: селение, возведенное из камня и разрушенное землетрясением. В Персии, к примеру, находили такие селения. С орбиты его удалось бы рассмотреть только вблизи терминатора: там очень низкое солнце светило бы через эти будто простреленные или полуобвалившиеся, словно взрывом деформированные оконные проемы. Я все еще не был уверен, что это не просто скалы необычной формы, и пошел в их сторону, но уже издали они мне настолько не понравились, что я вынул счетчик Гейгера и время от времени поглядывал на его шкалу. Это было довольно неудобно. Сходя с дюны, я даже ухитрился упасть, и потому подключил счетчик к контакту на скафандре и теперь мог услышать его треск, если местность окажется радиоактивной. А она такой и оказалась — примерно с середины противоположного склона. Едва я ступил на щебень, засыпавший эти приземистые дома без крыш, с выщербленными стенами (теперь я уже был уверен, что передо мной не творение природных сил Луны), как услышал частое густое потрескивание. Более того, щебень не разъезжался у меня под ногами, потому что был сплавлен в сплошную массу. Все выглядело так, словно в этом странном поселке, в самой его середине произошел взрыв, и жар излучался достаточно

долго, так что развалины, в которые обратился поселок, сплывались и превратились в скалу. Я находился уже у крайних руин, но не мог присмотреться к ним как следует, потому что был вынужден соразмерять каждый шаг, осторожно ставя тяжелые сапоги на выступы, торчащие из этого огромного завала, чтобы не провалиться между глыбами, — это легко могло случиться. Только выше, у ближайшей руины, довольно крутая осыпь переходила в стекловидную глазурь, покрытую, словно сажей, черноватыми полосами. Идти стало легче, я прибавил ходу и наконец оказался у первого окна. Это было неправильной формы отверстие, придавленное нависшими сверху камнями; я заглянул внутрь; там царил густой мрак, и я не сразу заметил какие-то разбросанные в беспорядке продолговатые предметы. Мне не хотелось ползти через полуразрушенное окно, потому что в нем можно было застрять — теледубль был массивный, — и я решил искать двери. Раз есть окна, то и двери должны где-то быть. Однако я никаких дверей не нашел. Обойдя кругом здание, вбитое в грунт с такой огромной силой, что оно перекосилось и расплющилось, я обнаружил в боковой стене достаточно широкую брешь, через которую мог, согнувшись, проникнуть внутрь. Там, где солнечный свет прямо соседствует на Луне с тенью, контраст яркости так велик, что глаза не справляются; мне пришлось, шаря руками по стене, зайти в угол помещения и, прижавшись спиной к мощной кладке, зажмуриться, чтобы глаза привыкли к темноте. Досчитав про себя до ста, я открыл глаза и осмотрелся.

Внутри руины напоминали пещеру, лишенную свода, что, впрочем, не обеспечивало верхнего света, ведь небо Луны черно, как смоль. Солнечный свет, если он падает через отверстие, не выглядит там сияющим лучом, потому что его не рассеивают, как на Земле, воздух и пыль. Солнце оставалось снаружи и высвечивало пятно, казавшееся раскаленным добела, на стене напротив угла, в котором я стоял. В его свете лежали у моих ног три трупа. Так я подумал в первое мгновение, потому что у них, почерневших и изуродованных, можно было различить ноги, руки, туловища, а у одного даже была голова. Жмурясь и заслоняясь от солнечного пятна, которое слепило меня, я наклонился над ближайшим телом. Это не были человеческие останки, более того, вообще ничьи останки, ибо то, что с самого начала мертво, умереть не может. Даже не прикоснувшись к телу, навзничь раскинувшегося у моих ног, я понял, что это скорее манекен, чем робот, ибо его широко разваленное туловище было совер-

шенно пусто. В нем был только песок и несколько каменных обломков. Я осторожно потянул его за руку. Он был удивительно легкий, словно из пенопласта, черный, как уголь, без головы — его голову я заметил тут же у стены. Она стояла на обрубке шеи и смотрела на меня тремя пустыми глазницами. Я, конечно, удивился, почему тремя, а не двумя. Третий глаз в виде округлой ямки находился пониже лба, там, где у человека основание носовой кости; но у этого странного манекена, по-видимому, никогда не было носа, что в общем понятно, ведь на Луне он совершенно ни к чему. Остальные манекены тоже были только приблизительно человекообразны. Хотя взрыв сильно их деформировал, сразу было видно, что их строение и до того было отдаленным подобием, а не точным воспроизведением человеческой анатомии. У них были слишком длинные ноги, много длиннее туловища, слишком тонкие руки, которые, кроме того, были прикреплены не к плечам, но странным образом: одна к груди, другая к спине. Так, видимо, было задумано, ибо взрыв, ударная волна и обвал могли, конечно, перекрутить конечности одному из них, но не всем же одинаково. Кто знает, одна рука спереди, другая сзади в каких-то условиях могли оказаться удобнее. Присев на корточки напротив резкого солнечного пятна, в темноте, рядом с тремя трупами, я вдруг обратил внимание на то, что не слышу ничего, кроме быстрого стрекота счетчика радиоактивности, а значит, уже несколько минут до меня не доходит голос Вивича. Последний раз я ответил ему с вершины дюны, возвышающейся над руинами, ничего не сообщив о своем открытии, потому что сначала хотел убедиться, что не ошибся. Я вызвал базу, но в наушниках все так же быстро, тревожно стрекотал мой «гейгер». Радиоактивное заражение было значительным, но я не стал тратить время на замеры; теледублю оно не могло повредить, хотя я подумал, что радиосвязь мне отрезал, наверное, ионизированный газ, все еще выделяемый развалинами каменного селения, а значит, в любую минуту я мог потерять связь с кораблем. Меня это страшно испугало: почудилось, что я останусь здесь навсегда, это было глупо, ведь если бы связь прервалась, среди руин остался бы только теледубль, а я очнулся бы на борту. Но пока я не ощущал ни малейших признаков того, что теледубль отказывается мне подчиняться. Мой корабль, видимо, висел прямо над поселком — ведь он обращался по стационарной орбите, находясь постоянно в зените надо мной. Никто, конечно, не мог предвидеть ни такого открытия, ни такой ситуации, но позиция в зените оптимальна для мани-

пулирования теледублем, потому что расстояние от управляющего человека тогда минимально, а следовательно, минимально и запаздывание реакции. На Луне нет атмосферы, и сгусток ионизированного газа — возможно, в результате испарения минералов после взрыва — был не слишком большим. Нарушил ли он также связь базы с микропами, я не знал, да и не до того мне было; прежде всего хотелось узнать, что именно здесь произошло, а уже потом разбираться, почему и зачем. Пятясь, я выволок через брешь в стене самые крупные останки — того, что был с головой. Я называю их трупами, хотя это вовсе не так, — трудно отделаться от первого впечатления.

Радиосвязь не восстановилась и снаружи, но я все-таки решил прежде всего исследовать беднягу, который хотя никогда и не жил, но вызывал жалость всем своим видом. Ростом он был метра три или чуть меньше, худой, с сильно удлиненной головой, трехглазый, но без признаков носа и рта; длинная шея, ухватистые руки, однако пальцы невозможно было сосчитать, потому что материал, из которого он был изготовлен, оплавился сильнее всего там, где конечности становились тоньше. Все его тело покрывала смолистая корка. Жарковато им здесь пришлось, подумал я, и тут меня осенило — это мог быть поселок наподобие тех, что когда-то строили на Земле, чтобы исследовать результаты ядерных взрывов в Неваде и в других местах: с домами, садиками, магазинами, улицами, и только людей заменяли в них животные — овцы, козы, а также свиньи, у которых безволосая кожа, как у людей, и потому они так же реагируют на термический удар, получая ожоги. Возможно, здесь происходило что-то подобное? Если бы я знал мощность ядерного заряда, который разрушил это селение и вбил его в грунт, я мог бы по интенсивности остаточного излучения установить, как давно произошел взрыв; а по составу изотопов физикам и теперь удалось бы это определить. На всякий случай я насыпал в наколенный карман горсть мелкого щебня — и снова со злостью вспомнил, что не вернусь на борт корабля. Определить время взрыва было все же необходимо, хотя бы приблизительно. Я решил выйти из зараженной зоны и связаться с базой, чтобы передать сведения и дать задание физикам. Пусть сами додумываются, как провести анализ проб, которые я взял. Не вполне понимая зачем, я поднял несчастного покойника, без труда закинул его себе на спину — он весил каких-нибудь восемь-девять килограммов — и начал довольно сложный по тактике отход. Длинные ноги манекена воло-

чилились по грунту, цеплялись за камни, и приходилось идти очень медленно, чтобы не рухнуть вместе с ним. Склон был не слишком крутой, но я не мог разобраться, идти ли мне по скользкой застывшей глазури или по щебню, который проседал и начинал съезжать вместе со мной при каждом шаге. Из-за этих мучений я потерял направление и вышел не на дюну, с которой спустился перед тем, а на четверть мили западнее и очутился среди больших округлых глыб, похожих на камни-монолиты, которые земные геологи называют «свидетелями». Положив на плоский грунт свою ношу, я сел отдышаться, прежде чем вызвать Вивича. Я осмотрелся в поисках микропов, но нигде не было и следа их искрящейся тучки, никаких голосов я тоже не слышал, хотя теперь уже они должны были до меня доходить. Тикание датчика в шлеме стало таким редким, словно на мембрану падали поодиночке зернышки песка. Услышав какой-то неразборчивый голос, я подумал, что это база, и, вслушавшись, оцепенел. Из хриплого бормотания до меня дошли сначала два слова: «Братец родимый... родимый братец...» Минута тишины и снова: «Братец родимый... родимый братец...»

«Кто говорит?» — хотел я крикнуть, но не отважился. Я сидел скорчившись, чувствуя, как пот выступает у меня на лбу, а этот чужой голос заполнял шлем. «Подойди, братец родимый, родимый братец, подойди ко мне. Приблизься без опасения. Я не хочу ничего плохого, братец родимый, приблизься. Не бойся, я не хочу сражаться. Мы должны побрататься. Это правда, братец родимый. Помоги мне. Я тебе тоже помогу, братец родимый». Что-то щелкнуло, и тот же голос, но совершенно другим, рычащим тоном коротко, резко произнес: «Брось оружие! Брось оружие! Брось оружие! Бросай оружие, или я тебя сожгу! Не пытайся бежать! Повернись спиной! Подними руки! Обе руки! Так! Обе руки на затылок! Стой и не двигайся! Не двигайся! Не двигайся!»

Снова что-то треснуло, и вернулся первый голос, тот же самый, но заикающийся, слабый: «Братец родимый!.. Подойди. Мы должны побрататься! Помоги мне. Мы не будем сражаться». Я уже не сомневался — разговаривал труп. Он лежал так, как я его бросил, похожий на раздавленного паука, с разодранным брюхом и переплетенными конечностями, уставившись пустыми глазницами прямо на солнце и не двигаясь, но что-то внутри него все говорило и говорило. Песенка на два такта. На две мелодии. Сначала о братце родимом, а потом — хриплые приказы. Это его программа, подумал я. И ничего больше. Манекен или робот, сначала он должен был

подманить человека, солдата, а потом взять его в плен или убить. Двигаться он уже не мог и только скребся в нем этот недопаленный обрывок программы, как заигранная пластинка. Но все-таки почему по радио? Если бы он был предназначен для войны на Земле, то говорил бы напрямую, голосом. Я не понимал, зачем ему радио. Ведь на Луне не могло быть никаких живых солдат, а робота так не приманишь. Мне это казалось бессмысленной нелепицей. Я смотрел на его почерневший череп, на перекрученные и опаленные руки с опаленными в сосульки пальцами, на разверстое туловище — уже без невольного сочувствия, как минуту назад. Скорее уже с неприязнью, а не только с отвращением, хотя в чем он был виноват? Так его запрограммировали. Можно ли предъявлять моральные претензии к программе, запечатленной в электрических контурах? Когда он снова начал плести свое «братец родимый», я отозвался, но он не слышал меня. Во всяком случае, ничем этого не обнаружил. Я встал, и, когда моя тень упала ему на голову, голос оборвался на полуслове. Я отступил на шаг, и он снова заговорил. Значит, его привело в действие солнце. Убедившись в этом, я задумался, что делать дальше. От этого манекена-ловушки толку могло быть мало. Слишком примитивно было такое «боевое устройство». Пожалуй, и лунные оружейники считали эти длинноногие существа ненужным старьем, если употребили их для опробования результатов ядерного удара. Чтобы он не дурил мне голову своей трупной песенкой — а честно говоря, не знаю, не поручусь, что лишь из-за этого, — я собрал лежавшие по соседству крупные обломки и забросал ими сначала его голову, а потом и туловище, словно хотел устроить ему погребение. В наступившей тишине я услышал тонкое попискивание. Сперва я подумал, что это все еще он, и начал озираться в поисках новых камней, но тут различил знаки морзянки: Т-и-х-и-й в-н-и-м-а-н-и-е — Т-и-х-и-й г-о-в-о-р-и-т б-а-з-а — а-в-а-р-и-я с-п-у-т-н-и-к-а а-в-а-р-и-я — з-в-у-к с-е-й-ч-а-с б-у-д-е-т ж-д-и Т-и-х-и-й.

Значит, отказал спутник, один из тех, троянских, которые поддерживали связь между нами. Исправят они его, как бы не так, подумал я ехидно. Ответить им я не мог. В последний раз взглянул я на опаленные останки, на белеющие на солнце руины строений на склоне противоположной дюны, обвел глазами черное небо, напрасно стараясь увидеть микропов, и наугад двинулся к огромной выпуклой каменной складке, которая выныривала из песков, словно серая туша колоссального кита. Я шел прямо на черную, как смола, расселину в

этой скале, похожую на вход в пещеру. И вдруг зажмурился. Там кто-то стоял. Фигура почти человеческая. Низкая, плечистая, в серо-зеленом скафандре. Я сейчас же поднял руку, решив, что это снова мое отражение, а цвет скафандра изменился в полосе тени, но тот не шевелился. Я остановился в нерешительности. То ли на меня повеяло страхом, то ли это было предчувствие. Но не за тем я был здесь, чтобы сразу бежать, да и куда, собственно? И я пошел вперед. Он выглядел в точности, как коренастый человек.

— Алло, — услышал я его голос. — Алло, ты слышишь меня?

— Слышу, — ответил я без особой охоты.

— Иди сюда, иди... у меня тоже есть радио!

Это звучало довольно-таки по-идиотски, но я пошел к нему. Что-то военное было в покрое его скафандра. На груди скрещивались блестящие металлические полосы. В руках у него ничего не было. И то хорошо, подумал я, но шел все медленнее. Он шел ко мне, воздев руки в непосредственном, радушном жесте приветствия, словно встретил старого знакомого.

— Здравствуй, здравствуй! Дай тебе Бог здоровья... как хорошо, что ты наконец пришел! Потолкуем, я с тобой, ты со мной... Пораскинем мозгами — как мир на свете учинить... как тебе живется и как мне... — Он говорил это плавным разболтанным голосом, странно проникновенным, певучим, растягивая слова, и топал упорно ко мне по тяжелому песку, держа руки широко раскинутыми, как для объятия, и во всей его фигуре, в каждом его движении было столько радушия, что я не знал уже, что думать об этой встрече. Он был теперь в нескольких шагах, но в темном стекле его шлема был виден только солнечный блик. Он обхватил меня, стиснул в объятии, и так мы стояли у серого склона большой скалы. Я пытался заглянуть ему в лицо. Но даже с расстояния ладони ничего не было видно — стекло его забрала было непрозрачным. Даже не стекло, а скорее маска, покрытая стекловидной глазурью. Как же он тогда меня видел?

— Здесь у нас тебе хорошо будет, приятель... — сказал он и стукнул своим шлемом о мой, словно хотел расцеловать меня в обе щеки. — У нас очень хорошо... мы войны не хотим, мы добрые, тихие, сам увидишь, приятель... — С этими словами он лягнул меня в голень так сильно и неожиданно, что я опрокинулся навзничь, и он рухнул обоими коленями на мою грудь. Я увидел все звезды — буквально все

звезды черного лунного неба, а мой несостоявшийся друг левой рукой прижал мою голову к песку, а правой сорвал с себя металлические полосы, которые сами собой свернулись в подковообразные скобы. Я молчал, не понимая, что происходит, пока он, пригвождая мощными, неторопливыми ударами кулака мои руки к грунту этими скобами, продолжал говорить: — Хорошо тебе будет, друг дорогой, мы здесь простые, сердечные, ласковые... Я тебя люблю, и ты меня любишь, приятель...

— А не «братец родной»? — спросил я, чувствуя, что не в состоянии уже шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Моя реплика нимало не нарушила его добродушного настроения.

— Братец?.. — сказал он задумчиво, словно пробуя это слово на вкус. — А хоть бы и братец! Я добрый и ты добрый! Брат для брата! Ведь мы братья. Правда?

Он поднялся, быстро и профессионально обхлопал мои бока, бедра, нащупал карманы, повынимал из них все мое добро, плоский футляр с инструментами, счетчик Гейгера, отстегнул саперную лопатку, ощупал меня еще раз, более тщательно, особенно под мышками, попробовал засунуть палец в голенища сапог, и во время этого старательного осмотра ни на минуту не умолкал:

— Братец родимый, говоришь? А? Может, оно и так, а может, и нет. Разве нас одна мать родила? Эх, мама, мама... Мать — это святое, братец. Такая добрая! И ты тоже добрый. Очень добрый! Оружия никакого не носишь. Хитрый ты, приятель; хитрюга... так, мол, гуляю себе, грибки собираю. Боровиков тьма-тьмушая. Лес вокруг, только что-то его не видать. Так, дорогой братец, сейчас тебе полегчает, лучше станет, увидишь. Мы люди простые, мирные, и мир нам принадлежит.

Тем временем он снял с плеч что-то вроде плоского ранца и раскрыл его. Блеснули какие-то острые инструменты. Он взял один из них, примерил к руке, отложил, вынул другой в виде мощных ножниц, похожих на те, которыми солдаты во время атаки разрезают спирали колючей проволоки, повернулся в мою сторону — острия блеснули на солнце, — уселся верхом мне на живот, поднял свое оружие и со словами «Дай Бог здоровья» одним ударом вонзил его в мою грудь. Я почувствовал боль, правда, не сильную. Видимо, мой теледубль имел демпфер неприятных ощущений. Я уже не сомневался, что добросердечный лунный друг выпотрошит меня, как рыбу, и, собственно, должен был уже вернуться на ко-

рабль, оставив ему пададь на растерзание, но меня настолько ошарашил контраст между его словами и действиями, что я лежал, как под наркозом.

— Что же ты молчишь? — спросил он, разрезая с резким, хрустящим звуком верхний слой моего скафандра. Ножницы у него были первоклассные, из необычайно твердой стали.

— Сказать что-нибудь? — спросил я.

— Ну скажи!

— Гиена!

— Что?

— Шакал.

— Оскорбить меня хочешь, своего друга? Нехорошо. Ты ведь мой враг! Ты вероломный. Ты нарочно сюда без оружия пришел, чтобы меня заморочить. Я тебе добра желал, но врага проверить надо. Такая у меня обязанность. Такой закон. Ты на меня напал. Без объявления войны вторгся на нашу священную землю! Теперь пеняй на себя. «Братец родимый!» Пес тебе брат! Ты сам хуже пса, а за гиену и шакала ты меня попомнишь, только недолго. Память из тебя вместе с кишками выпущу.

Тут последние сочленения грудного панциря разошлись, и он начал поддевать их, выламывать и разводить в стороны. Заглянув ко мне внутрь, он оцепенел.

— Ничего себе фокус, — сказал он, вставая, — этикие разные финтифлюшки. Я-то простак, но ученые наши разберутся. Ты подожди тут, куда тебе спешить. Не к спеху сейчас... Ты уже наш, приятель.

Грунт дрогнул. Повернув голову вбок насколько мог, я увидел целую колонну таких, как он. Они шли строем, в каре, печатая шаг, высоко подбрасывая ноги, как на плацу. И так вышагивали в этом парадном марше, что пыль летела столбом. Мой палач приготовился, видимо, отдать рапорт, так как встал навытяжку.

— Тихий, отзовись, где ты? — загремело у меня в ушах. — Звук уже в порядке. Это Вивич! База! Ты меня слышишь?

— Слышу! — ответил я.

Обрывки нашего разговора, очевидно, дошли до марширующих, потому что с шага они перешли на бег.

— Ты знаешь, в каком ты секторе? — спросил Вивич.

— Знаю, узнал на собственном опыте. Меня взяли в плен! И уже начали вскрывать!

— Кто? Кого?! — начал Вивич, но мой экзекутор заглушил его слова.

— Тревога! — крикнул он. — Объявляю тревогу! Бегите его и бегом отсюда!

— Тихий! — вопил издалека Вивич. — Не давайся!!!

Я понял его. Передача новейшей земной технологии роботам была не в наших интересах. Я не мог и пальцем пошевелить, но выход был предусмотрен. Я изо всей силы сжал челюсти, услышал треск, словно кто-то повернул выключатель, и воцарилась египетская тьма. Вместо песка я почувствовал спиной мягкую обивку кресла. Я снова был на борту. Из-за головокружения сразу не смог отыскать нужную кнопку. Наконец она сама попалась мне на глаза. Я разбил предохранительный колпачок и до упора вдавил кулак в красный щиток, чтобы теледубль не попал в их руки. Фунт экразита разнес его там в клочья. Жаль мне было этого ЛЕМа, но я вынужден был так поступить. Так закончилась вторая разведка.

VII. ПОБОИЩЕ

От десяти следующих высадок у меня остались воспоминания столь же отрывочные, сколь неприятные. Третья разведка продолжалась дольше всех — три часа, хотя я и попал в самую гущу настоящей битвы, которую вели между собой роботы, похожие на допотопных ящериц. Они были так заняты борьбой, что не заметили меня, когда я, белоснежный, как ангел, только без крыльев, слетел на поле брани в ореоле пламени. Еще в полете я понял, почему и эта местность выглядела с корабля пустой. Ящерицы были окрашены в защитные цвета, а на спине был выпуклый узор, имитирующий камни, рассыпанные по песку. Двигались они ползком, с бешеной скоростью, и в первый момент я не знал, что делать: правда, пули не свистели — огнестрельным оружием здесь не пользовались, — но от сверкания лазеров можно было ослепнуть. Я быстро пополз к большим белым глыбам — это было единственное убежище поблизости — и, высунув из-за них голову, стал наблюдать за битвой. По правде говоря, я не сразу мог сориентироваться, кто, собственно, с кем бьется. Эти ящероподобные роботы, похожие на кайманов, атаковали довольно ровный склон, спускавшийся в мою сторону; передвигались они рывками. Ситуация выглядела весьма запутанной. Казалось, в ряды наступавших замешался неприятель, возможно, в атакующее войско был заброшен десант, точно трудно сказать, однако я видел, как одни металлические яще-

рицы бросались на других, с виду совсем таких же. В какой-то момент три из них, в погоне за одной, оказались совсем близко. Они догнали ее, но не смогли удержать, потому что она, потеряв поочередно все ноги, за которые хватали ее преследователи, удирала дальше, извиваясь, как змея. Я не ожидал такой примитивной схватки с отрыванием хвостов и ног и уже опасался, что они возьмутся за мои, однако в пылу битвы ни одна из них не обратила на меня внимания. Широкой цепью они шли на склон, польхая вспышками лазеров, которые, мне показалось, были у них в пастях, хотя, может быть, это были вовсе не пасти, а воронкообразно расширяющиеся стволы. Что-то странное творилось на склоне холма. Роботы первой линии под прикрытием лазерного огня быстро доползали примерно до половины склона и там замирали. Они не закапывались в грунт, а шли все медленнее и при этом меняли цвет. Песочные скорлупы спин постепенно чернели, потом их окутывал серый дымок, словно от невидимого пламени, а затем они раскалялись и превращались в пылающие останки. Но с противоположной стороны не было никаких вспышек, значит, вряд ли это был огонь лазеров. Множество обугленных и расплавленных автоматов устилала уже склон, но все новые и новые шеренги мчались на погибель. Только включив дальнее зрение, я понял, что именно они атакуют. На самой вершине холма располагалось нечто огромное и неподвижное, словно крепость. Но крепость поистине необычная — зеркальная. А может быть, и не зеркальная, но защищенная какими-то экранами, которые отражали в верхней части черное небо со звездами, а в нижней — песчаную осыпь склона. Наверное, это было зеркало и экран одновременно: вспышки лазеров, отражаясь, ничего не могли с ним поделать, а внизу, там, где скопилось больше всего трупов, температура скал превышала две тысячи градусов, это я определил по болометру, встроенному в шлем. Какое-то индуктивное ограждение или что-то в этом роде, подумал я, прижимаясь что было сил к глыбе, которая служила мне защитой. Значит, те, маленькие, атакуют, а зеркальный гигант окружил себя невидимым термическим щитом. Прекрасно, но что делать мне, безоружному, как младенец, между лавинами атакующих танков? Доносить базе о ходе сражения не было необходимости — мой третий дубль сопровождало специальное ракетное наблюдательное устройство. Оно было замаскировано под метеорит и могло возбудить подозрение только тем, что не падало, как положено обычному метеориту, а летало себе в двух милях надо мной. Вдруг что-то

коснулось моего бедра. Я глянул вниз и остолбенел. Это была оторванная нога робота, того самого, который только что потерял все конечности и превратился в змею. Нога потихоньку все лезла и лезла вверх, пока, проскользнув между глыбами, не наткнулась на меня. В этой слепо дергающейся ноге с тремя острыми когтями, покрытой оболочкой, имитирующей крупнозернистый песок, было что-то отвратительное и отчаянное. Она попыталась вцепиться мне в бедро, но не могла, не хватало опоры. Я брезгливо схватил ее и отбросил как можно дальше. Тут же она снова двинулась ко мне. И вместо того чтобы следить за ходом сражения, мне пришлось вступить в поединок с этой ногой, потому что она снова взбиралась на меня, неуклюже, словно пьяная. Сейчас за нею придут и другие, подумал я, и тогда положение станет уже совсем дурацким.

Хорошо, что база молчала, а то роботы могли подслушать наш разговор и мне пришлось бы плохо. Съездившись за теневой стороной глыбы, я ожидал с саперной лопаткой в руке появления этой ноги, будучи в самом отвратительном состоянии духа. Не хватало, чтобы в ней оказался какой-нибудь радиопередатчик. Попеременно сгибаясь и разгибаясь, она доползла до моих коленей, которыми я опирался на песок, и тогда я одной рукой прижал ее к грунту, а другой принялся молотить острием лопатки. Вместо того чтобы наблюдать за битвой, Ийон Тихий пытается приготовить на Луне рубленую котлету из ножек роботов. Недурная история! Все же в конце концов я попал в какое-то чувствительное место; она перевернулась раскрытым подколеньем кверху и застыла. Я отшвырнул ее в сторону и выглянул из-за глыбы. Цепи наступавших замерли, так что я едва мог различить отдельные автоматы, серым цветом сливающиеся с местностью. А вверх по склону шел, слегка качаясь, как корабль на волнах, неизвестно откуда взявшийся паук величиной с изрядный деревенский дом. Плоский сверху, как черепаха, он раскачивался на широко расставленных многочисленных ногах, колени которых поднимались над ним с обоих боков, а он все шагал, тяжело, мерно, решительно, переставляя свои многочисленные ходули, и уже приближался к полосе жара. Интересно, что с ним сейчас будет, подумал я. Под брюхом у него маячило что-то продолговатое, темное, почти черное, словно он нес там какое-то боевое снаряжение. Прямо у раскаленного участка он остановился, раскорячившись, и стоял так некоторое время, словно размышляя. Все поле боя замерло. Только в моем шлеме слышалось попискивание сигналов, пере-

даваемых неизвестным кодом. Это была весьма странная битва, она казалась одновременно и примитивной, похожей на сражение мезозойских динозавров, и изощренной, поскольку эти ящерицы вовсе не вывелись из яиц, а были лазерными автоматами, роботами, нашпигованными электроникой. Гигантский паук почти присел, коснувшись брюхом грунта, и словно бы съежился. Я ничего не услышал, ведь даже если Луна разверзнется, здесь не услышишь ни звука, но грунт дрогнул — раз, другой, третий. Эти толчки перешли в неустанную дрожь, все вокруг — и я сам тоже — затряслось, пронзаемое резкой и все более ускоряющейся вибрацией. Я по-прежнему видел лунные дюны с разбросанными среди них серыми ящерицами, пологий склон противоположного холма и над ним — черное небо, но будто через дрожащее стекло. Контуры предметов расплывались, и даже звезды над горизонтом замерцали, как на Земле, а потом превратились в размытые пятнышки. Вместе с большой глыбой, к которой прижимался, я лихорадочно дрожал, словно камертон, — эта дрожь заполнила меня целиком, я чувствовал ее каждой клеточкой и каждым пальцем, и все сильнее, словно кто-то раскачивал все частички моего тела, чтобы они растеклись подобно студню. Вибрация уже причиняла боль, во мне вращались тысячи микроскопических сверл, я хотел оттолкнуться от глыбы и выпрямиться, чтобы вибрация доходила до меня только через подошвы сапог, но не мог двинуть рукой, как в параличе, и лишь смотрел, наполовину ослепнув, на огромного паука, который свернулся во взъерошенный темный клубок: точь-в-точь живой паук, гибнущий под солнечным лучом в фокусе увеличительного стекла. Потом в глазах у меня потемнело, я почувствовал, что лечу в какую-то бездну, и, когда весь в поту, с комком в горле, открыл наконец глаза, передо мной приветливо светилось цветное табло пульта управления. Я вернулся на корабль. Очевидно, предохранительные устройства сами отключили меня от дубля. Подождав минуту, я решил, однако, вернуться в теледубль, хотя меня и одолевало неизвестное мне до той поры предчувствие, что воплотиться придется в разорванный на куски труп. Осторожно, словно боясь обжечься, тронул я рукоятку и снова оказался на Луне, и снова ощутил всепроникающую вибрацию. Прежде чем предохранитель отбросил меня обратно в ракету, я успел, хотя и неотчетливо, разглядеть груды черных обломков, медленно осыпающихся с вершины холма. Крепость, видимо, пала, подумал я и снова вернулся в свое тело. То, что теледубль не распался, придало мне смелости все-

литься в него еще раз. Дрожь прекратилась. Царило мертвенное спокойствие. Окруженные останками сожженных ящеровидных автоматов, покоились руины крепости — загадочного сооружения, которое обороняло подступы к вершине холма; паук, который разрушил ее катастрофическим резонансом (я не сомневался, что это сделал он), лежал плашмя, словно огромный клубок содрогающихся конечностей, которые еще стибались и выпрямлялись в агонии. Эти мертвые движения становились все медленнее и наконец прекратились. Пиррова победа? Я ждал следующей атаки, но ничто не двигалось, и если бы я не помнил, что здесь произошло, то мог бы и не заметить обугленного хлама, устилающего все предполье, — он сливался воедино с песчаными складками местности. Я хотел встать, но не мог. Мне даже не удалось шевельнуть рукой. Еле-еле сумел я наклонить голову в шлеме, чтобы осмотреть себя.

Зрелище было не слишком приятное. Глыба, которая служила мне бруствером, лопнула, распавшись на крупные обломки, покрытые сеткой частых трещин. В этих глыбах и щебне, образовавшемся из ее остатков, утопали мои бедра, точнее, их обрубки. От несчастного, искалеченного теледубля осталось только безрукое и безногое туловище. Мною овладело странное ощущение, будто голова моя на Луне, а тело на борту: я видел поле битвы и черное небо над ним и одновременно чувствовал ремни, притягивающие меня к сиденью и подлокотникам кресла. Это невидимое кресло вроде было со мной и не было — увидеть его я не мог. Объяснялось это просто: датчики переставали действовать, и у меня осталась связь только с головой; защищенная шлемом, она выдержала убийственное землетрясение, вызванное пауком. Здесь уже нечего делать, подумал я, пора возвращаться окончательно. И все же медлил, зарытый по пояс в щебень, озирая залитый солнцем театр военных действий. Что-то с усилием задергалось вдали на песке, словно выброшенная на берег полудохлая рыба. Один из ящероподобных автоматов... Песок посыпался с его спины, когда он поднялся и сел, похожий на кенгуру или, скорее, на динозавра; так он сидел, последний свидетель, последний участник битвы, в которой никто не одержал победы. Он повернулся в мою сторону и вдруг начал кружиться на месте все быстрее и быстрее, пока центробежная сила не оторвала и не отбросила в сторону его длинный хвост. Я застыл в изумлении, а он все вертелся юлой, пока куски не полетели во все стороны. Рухнув на песок, он перекувырнулся несколь-

ко раз и, ударившись о другие останки, замер. Хотя никто не читал мне электронной теории умирания, я не сомневался, что видел агонию робота, ибо это до жути напоминало спазмы раздавленного жука или гусеницы, а ведь мы хорошо знаем, как выглядит их смерть, хотя не можем знать, означают ли их последние судороги страдание. С меня было довольно зрелищ. Более того, мне почудилось, что я каким-то необъяснимым образом причастен к ним, словно сам был виновником этой бойни. Но я отправился на Луну не для решения морально-философских проблем, а потому, сжав челюсти, прервал связь с бедными останками Лунного Путешествующего Миссионера номер три и в мгновение ока вернулся на борт, чтобы доложить базе об очередной разведке.

VIII. НЕВИДИМЫЙ

Тарантога, которому я дал прочитать эти записи, сказал, что всех, кто готовил мою миссию и заботился обо мне, я изображаю дураками и бездарями. Однако Общая Теория Систем математически точно доказывает, что нет элементов абсолютно надежных и, даже если вероятность аварии каждого из них составит всего лишь одну миллионную — то есть элемент может отказать в одном случае из миллиона, — в системе из миллиона частей что-нибудь непременно выйдет из строя. А гигантская пирамида, лунной верхушкой которой был я, состояла из восемнадцати миллионов частей, следовательно, идиотом, ответственным за львиную долю моих неприятностей, была материя, и пусть бы все специалисты из кожи вон вылезли, и окажись они сплошь гениями, могло быть только хуже, но лучше — никак. Так оно, наверное, и было. С другой стороны, последствия всех этих неизбежных аварий били по мне, а с психологической точки зрения никто, попав в ужасное положение, не клянет за это ни атомы и ни электроны, а конкретных людей: значит, мои депрессии и скандалы по радио тоже были неизбежны. База возлагала особенно большие надежды на последнего ЛЕМа. Он был чудом техники и обеспечивал максимальную безопасность. Теледубль в порошке. В контейнере вместо стального атлета находилась куча микроскопических зернышек, и каждое из них плотностью интеллекта соответствовало суперкомпьютеру. Под действием определенных импульсов эти частички начинали сцепляться, пока не складывались в

ЛЕМа. На этот раз сокращение означало «Lunar Evasive Molecules»*.

Я мог высадиться в виде сильно рассеянного облака молекул или спуститься в человекоподобного робота, но так же свободно мог принять любое из сорока девяти запрограммированных обличей, и в случае гибели даже восьмидесяти пяти процентов этих зернышек оставшихся хватило бы для ведения разведки. Теория такого теледубля, прозванного *дисперсантом*, настолько сложна, что никто в одиночку не смог бы ее уместить в голове, будь он сыном Эйнштейна, фон Неймана, иллюзиониста, Центрального совета Массачусеттского технологического института, и Рабиндраната Тагора вместе взятых, ну а я не имел о ней ни малейшего понятия. Я знал только, что воплощусь в тридцать миллиардов различных частиц, более универсальных, чем клетки живого организма, и программы, продублированные не помню уже сколько раз, заставят эти частицы соединяться в разнообразные агрегаты, обрацаемые в пыль нажатием клавиши и в этом рассеянном состоянии невидимые для радаров и всех видов излучения, кроме гамма-лучей. И если бы я попал в какую-нибудь западню, то мог бы рассеяться, произвести тактическое отступление и снова спуститься в желаемой форме. Того, что я чувствовал, будучи облаком, занимающим более двух тысяч кубических метров, я не могу передать. Нужно хотя бы раз стать таким облаком, чтобы понять это. Если бы я потерял зрение или, точнее, оптические датчики, я мог заменить их почти любым из остальных, то же самое — с руками, ногами, щупальцами, инструментами. Главное — не запутаться в богатстве возможностей. Но тут уж придется в случае неудачи винить только самого себя. Таким образом, ученые избавились от ответственности за аварийность теледубля, свалив ее на меня. Не скажу, чтобы это сильно улучшило мое самочувствие. Я высадился на обратной стороне Луны, у экватора, под высоко стоящим солнцем, в самом центре японского сектора, приняв облик кентавра, то есть существа, обладающего четырьмя нижними конечностями, двумя руками в верхней части туловища и снабженного дополнительным маскирующим устройством — оно окружило меня в виде своеобразного разумного газа. Название же кентавр получил за неимением лучшего определения, благодаря отдаленному сходству с известным мифологическим персонажем. Хотя с этим теледублем в порошке я также ознакомился на полигоне Лунного

* Лунные неуловимые молекулы (англ.)

Агентства, все-таки сначала я слезил в грузовой отсек, чтобы проверить его исправность, и воистину странно было видеть, как куча слабо поблескивающего порошка при включении соответствующей программы начинала пересыпаться, сцепляться, пока не складывалась в нужную форму, а после выключения удерживающего поля (электромагнитного, а может, какого-нибудь другого) разлеталась в мгновение ока, будто песочный кулич. То, что я могу в любой момент рассеяться на мелкие частицы и соединиться вновь, должно было придать мне бодрость духа. Однако превращения эти были в общем-то неприятны, я ощущал их как очень сильное головокружение, сопровождаемое дрожью, но тут уж поделать ничего было нельзя. Впрочем, ощущение хаоса прекращалось, как только я переходил в новое воплощение. Вывести из строя такой теледубль мог разве что термоядерный взрыв, да и то в непосредственной близости. Я спрашивал, какова вероятность того, что при аварии дубль рассыплется навсегда, но вразумительного ответа не получил. Я, конечно же, попробовал включить две программы сразу, так, чтобы по одной превратиться в человекоподобного молоха, а по другой — во что-то вроде трехметровой гусеницы с уплощенной головой и огромными челюстями-клещами, но из этого ничего не вышло, потому что селектор воплощений действовал по принципу «или-или». На этот раз я ступил на лунный грунт без сопровождения микропов, ведь я сам был, в сущности, множеством микроскопических циклопов (которых техники на своем жаргоне называли миклопами). За мной тянулась почти неразличимая вуаль частиц-передатчиков — как мглисто развевающийся шлейф, видимый лишь тогда, когда он сгушался. Передвигался я тоже без всяких проблем. Будучи от природы любознателен, я поинтересовался, что будет, если на Луне уже созданы такие же автоматы-протеи, но этого никто не мог мне сказать, хотя на полигоне пускали друг на друга по два, а то и по три экземпляра сразу, чтобы они перемешались между собой, как тучи, плывущие встречным курсом. Однако они сохраняли идентичность себе на девяносто процентов. Что такое девяностопроцентная идентичность, также нелегко объяснить — это нужно пережить, чтобы понять. Во всяком случае, очередная разведка поначалу шла как по маслу. Я шагал, не давая себе труда даже осматриваться по сторонам, потому что глядел во все стороны сразу, как пчела, которая полушариями глаз видит все вокруг при помощи тысяч составляющих их омматидий; но так как никто из моих читателей не был пчелой, я понимаю, что это сравнение не может передать моих ощущений.

То, каким образом различные государства запрограммировали свои компьютерные инкубаторы оружия, было их тайной, но от японцев, известных своей скрытностью и чрезвычайной хитростью, я ожидал особенно неприятных сюрпризов. Профессор Хакагава, член нашего коллектива на базе, тоже наверняка не знал, во что развились праличинки японских вооружений, но лояльно предостерег меня, чтобы я держал ухо востро и не дал заморочить себя никакими миражами. Не зная, как отличить миражи от фактов, я рысью продвигался по однообразной плоской местности. Только на самом горизонте возвышался пологий вал огромного кратера. Вивич, Хакагава и все остальные были очень довольны изображением, передаваемым через троянские спутники на Землю, — оно было предельно резким. Через час ходьбы я заметил среди беспорядочно разбросанных, засыпанных песком больших и маленьких камней какие-то невысокие ростки, поворачивающиеся в мою сторону. Выглядели они, как вялая картофельная ботва. Я спросил, можно ли мне заняться этой ботвой, но никто не хотел решать за меня, а когда я стал настаивать, одни сочли, что не только можно, но и должно, а другие, что лучше не надо. Тогда я наклонил свое туловище кентавра над кустиком чуть побольше других и попробовал оторвать один гибкий стебелек. Ничего не произошло, и я поднес его к глазам. Он стал виться, словно змейка, и туго оплел мое запястье, но методом проб я убедился, что, если его слегка поглаживать, как бы щекотать пальцем, он ослабляет хватку. Довольно-таки глупо было обращаться с вопросом к картофельной ботве — хотя я и знал, что она не имеет ничего общего с картофелем, но попробовал.

Я не рассчитывал на ответ и не получил его. Тогда я оставил в покое эти активные побег, двигавшиеся, словно черви, и поскакал дальше. Местность напоминала плохо возделанные огороды, засаженные какими-то овощами, и выглядела сельской и мирной, но я в любую минуту ожидал нападения и даже провоцировал эти псевдоовощи, топчая их копытами (именно так выглядели на этот раз мои сапоги). Наконец я дошел до длинных грядок каких-то мертвых зарослей. Перед каждой из них торчал большой щит с надписями огромными буквами: STOP! HALT! СТОЙ! — и соответствующими выражениями на двадцати других языках, включая малайский и иврит. Тем не менее я углубился в эту плантацию. Чуть дальше над самым грунтом роились крохотные бледно-голубые мушки, которые при моем появлении стали складываться в буквы: DANGER! ОПАСНОСТЬ! GE-

FAHR! NIEBIEZPECZENSTWO! DANGER! YOU ARE ENTERING JAPANESE PINTELOU!*

Я связался с базой, но никто, включая и Хакагаву, не знал, что значит pintelou, и первая маленькая неприятность приключилась со мной, когда я прошел через эти дрожащие над песком буквы, — они стали облеплять меня и ползать по всему моему телу, как муравьи. Однако ничего дурного они мне не сделали, хотя я, как мог, стряхнул их хвостом (в первый раз пригодился), а потом побежал дальше, стараясь двигаться по борозде между огородами, пока не добрался до вала большого кратера. Заросли постепенно переходили в нечто вроде оврага, а дальше в углубляющуюся широкую впадину, такую глубокую, что я не мог разглядеть дна — ее до краев заполняла черная, как сажа, лунная темнота. И вдруг прямо на меня оттуда выехал тяжелый танк, плоский, огромный, громко скрипящий и грохочущий широкими гусеницами, что было очень странно хотя бы потому, что на Луне ничего не слышно — нет воздуха, проводящего акустические волны. Но я все-таки слышал грохот и даже хруст гравия под гусеницами. Танк катил прямо на меня. За ним появилась длинная колонна других. Я охотно уступил бы им дорогу, но в узком овраге некуда было податься. Я собрался было обратиться в пыль, когда первый танк наехал на меня и проплыл, словно мгла, — только на мгновение сделалось чуть темнее. Опять какие-то призраки, фата-морганы, подумал я и уже смелее позволил проехать сквозь себя следующим. За ними цепью шли солдаты, самые обыкновенные, а впереди шел офицер при сабле, с флагом, на котором краснело солнце. Они прошли сквозь меня, как дым, и снова все опустело, во впадине стало темней, я включил прожекторы — точнее, так называемые осветители, которые окружали мои глаза, — и, замедлив движение, дошел до входа в пещеру; он был завален железным старьем. Свод оказался слишком низким для моего роста; чтобы не мучиться, постоянно наклоняя корпус, я превратился в кентавра-таксу, и, хотя это сочетание звучит нелепо, оно довольно удачно передает суть дела: ноги у меня укоротились, и я, почти волоча брюхо по камням, лез все дальше, в глубину лунного подземелья, куда еще не ступала нога человека. Собственно, и мои ступни не были человеческими. Я спотыкался все чаще, ноги разъезжались на скользком гравии; вспомнив, на что я теперь способен, я превратил

* Опасность! (англ., нем., польск.) Вы вторглись в японский pintelou! (англ.)

их в подушкообразные лапы, ступающие по полу пещеры мягко, словно лапы тигра. Я все более осваивался в новом теле, но смаковать необычные ощущения было некогда. Осветив причудливо изрезанные стены и плоское дно пещеры, я наткнулся на решетку, перекрывающую всю ширину прохода, и подумал, что японское оружие очень уж вежливо по отношению к пришельцам, — над решеткой, у самого потолка, светились крупные буквы: KEIN DURCHGANG! ПРОХОДА НЕТ! NE PAS SE PANCHER EN DENORS! ОПАСНО! PERICOLOSO! А за решеткой виднелся фосфоресцирующий череп со скрещенными берцовыми костями и надписью: DEATH IS VERY PERMANENT!* Меня это ни на минуту не остановило. Распылившись, я проник сквозь решетку и сгустился снова на той стороне. Здесь стены скального коридора переходили в овальный тоннель, выложенный чем-то вроде светлой керамики. Я постучал по ней пальцем, и тут же в месте прикосновения вырос маленький побег, который расплющился в табличку: «Мене Текел Упарсин!» По количеству предупреждений было ясно, что дело не шуточное, но, раз уж я влез так глубоко, возвращаться не было смысла, и я зашагал дальше на своих тихоступах, чувствуя, как хвост мягко волочится за мной, готовый в любую минуту прийти мне на помощь. Меня не беспокоило то, что за мной не могут наблюдать с базы. Радио умолкло, и я слышал только какое-то тихое, но проникающее в душу странное жалобное завывание. Я дошел до расширения, в котором тоннель раздваивался. Над левым ответвлением светилась неоновая надпись: THIS IS OUR LAST WARNING**, а над правым не было никакой надписи; разумеется, я выбрал левый коридор — и вскоре впереди замаячило что-то белое: стена, закрывающая проход, а в ней гигантская бронированная дверь с рядом замочных скважин — настоящие врата пещеры Аладдина. Я превратил правую кисть в облачко и потихоньку просочил ее в одно из отверстий замка; внутри было темно, как в дупле ночью. Покрутившись там во все стороны, я вернул руку назад и повторял зондирование, пока не удалось пройти насквозь через верхнюю замочную скважину; тогда я весь обратился в туман, или во взвесь частиц, и таким образом преодолел и это препятствие, решив, что проплывание пришельцев сквозь замочную скважину даже японцы — или, скорее, плоды их изобретательности — не могли предусмотр-

* Смерть — это навсегда! (англ.)

** Это наше последнее предупреждение! (англ.)

реть. Мне показалось, что стало как будто душно, хотя и не в буквальном смысле, ведь я не дышал. Мрак теперь рассеивали не только ободки всех моих глаз, — вспомнив о способностях этого ЛЕМа, я засветился весь, словно огромный светляк. Столь яркий свет поначалу слепил, но вскоре я привык.

Тоннель, прямой как стрела, шел все дальше в глубину, пока не привел к обыкновенной циновке, сплетенной из каких-то, чуть ли даже не соломенных стеблей. Откинув ее, я вошел в просторный зал, освещенный рядами ламп на потолке. Первое впечатление — полнейший хаос. В самой середине покоились здоровенные обломки: сверкающие, фарфоровые — или керамические, — должно быть, останки суперкомпьютера, под который подложили бомбу. Кое-где вились обрывки кабелей, растрескавшиеся глыбы были усыпаны мелкой стеклянной крошкой и блестящими скорлупками микросхем. Кто-то уже успел побывать здесь раньше меня и разделаться с японцами в самом сердце их арсенала. Удивительней было, однако, что этот гигантский многоэтажный компьютер был разрушен силой, действовавшей из его середины, скорее снизу — его стенки, защищенные солидной броней, разошлись от центра и рухнули наружу. Некоторые из них были больше библиотечных шкафов и даже чем-то похожи на них: они состояли из длинных полок, густо начиненных спекшимися переплетениями проводов, поблескивающих мириадами разъемов. Казалось, какой-то чудовищный кулак ударил в дно этого колосса и, расколов его, развалил — но в таком случае я должен был обнаружить виновника в центре разрушений. Я начал карабкаться на эту кучу мусора, мертвую, как ограбленная пирамида, как гробница, очищенная неведомыми грабителями, пока не оказался на вершине и не заглянул вниз, в самую середину. Кто-то лежал там без движения, словно погрузившись в честно заслуженный сон. В первый момент мне показалось, что это тот робот, который так радушно встретил меня во время второй разведки и величал меня братом, прежде чем повалить и распороть, как банку шпрот. Он лежал на дне воронки неправильной формы и был с виду вполне человекоподобен, хотя и сверхчеловеческих размеров. Разбудить его всегда успею, подумал я, пока разумнее разобраться, что здесь произошло. Японский центр вооружений наверняка не рассчитывал на такое вторжение и не мог сам себе его устроить — словно харакири. Эту возможность я отбросил как маловероятную. Границы между секторами строго охранялись, но, возможно, вторжение осуществили снизу, прорыв кротовые норы глубоко под скалами, —

так неведомый враг проник в самое сердце компьютерного арсенала и обратил его в прах. Чтобы в этом убедиться, нужно было допросить автоматического вояку, который, по-видимому, спал после выполнения диверсионного задания. Но у меня как-то не лежала к этому душа. Мысленно я перебрал все ипостаси, в которые мог преобразиться для наибольшей безопасности при разговоре, — ведь прервав его сон, я вряд ли мог рассчитывать на проявление симпатии. В виде облака я не обладал бы даром речи, но можно было стать облаком только частично, сохранив переговорную систему внутри туманной оболочки. Это показалось мне разумней всего. Пробуждать колосса утонченными методами я счел излишним и просто спихнул здоровенный обломок компьютера так, чтобы он свалился точно на него, а сам трансформировался согласно своему плану. Удар пришелся по голове, гора обломков даже вздрогнула. По ее склонам поехали комья электронного мусора. Робот тут же очнулся, вскочил, вытянулся и гаркнул:

— Задание выполнено сверх плана! Неприятельская позиция взята во славу отечества. Готов выполнять дальнейшие приказания!

— Вольно! — сказал я.

Он, видимо, не ожидал такой команды, однако принял свободную позу, расставив ноги, и только тут заметил меня. Что-то внутри у него выразительно закрипело.

— Здравствуй, — сказал он. — Здравствуй! Дай тебе Бог здоровья. Что ты такой неотчетливый, приятель? Ну хорошо, что ты наконец пришел. Иди-ка сюда, ко мне, побеседуем, песни попоем, порадуемся. Мы тут тихие, мирные, войны не хотим, мы войну не любим. Ты из какого сектора?.. — добавил он совершенно другим тоном, словно внезапно заподозрил, что следы его «мирных начинаний» слишком хорошо видны. Наверное, поэтому он переключился на более подходящую программу — вытянул в мою сторону огромную правую руку, и я увидел, что каждый палец его был стволом.

— В приятеля стрелять собираешься? — спросил я, легонько колыхаясь над валом битого фарфора. — Ну давай, стреляй, братец родимый, стреляй на здоровье.

— Докладываю: вижу замаскированного японца! — заорал он и одновременно выпалил в меня из всех пяти пальцев. Со стен посыпалось, а я, по-прежнему легко рея над ним, из осторожности переместил пониже речевой центр, чтобы вывести его из-под обстрела, сгустил нижнюю часть облака и надавил на большой, крупнее комода, обломок, и тот упал на работа, увлекая за собой целую лавину мусора.

— Меня атакуют! — крикнул он. — Вызываю огонь на себя! Во славу отечества!

— Какой ты самоотверженный, однако, — успел я сказать, прежде чем целиком превратился в облако. И вовремя это сделал — что-то загремело, громада развалин затряслась, и из ее центра ударило пламя. Мой собеседник-самоубийца засветился синеватым сиянием, раскалился и почернел, но с последним вздохом успел выпалить: «Во славу отечества!» — после чего стал понемногу распадаться. Сначала отвалились руки, потом лопнула от жара грудь, обнажив на мгновение какие-то на удивление примитивные, словно лыком связанные, медные провода, наконец отвалилось, как видно, самое твердое — голова. И сразу лопнула. Она была совершенно пуста, словно скорлупа огромного ореха. Но он все стоял раскаленным столбом и превращался в пепел, как полено, пока совсем не рассыпался.

Хоть я и был облаком, но все же ощущал жар, бьющий из глубин руины, как из кратера вулкана. Я подождал минуту, развсвяхшись ближе к стенам, однако новый кандидат в собеседники не вынырнул из пламени, рвущегося вверх так яростно, что уцелевшие до сих пор светильники на потолке начали один за другим лопаться; куски труб, стекла, проводов сыпались на развалины; попутно становилось все темнее, и этот, когда-то аккуратный, геометрически круглый зал стал похож на декорацию шабаша ведьм, освещенную синим пламенем, все еще бившим вверх; его хвост припекал меня, и, видя, что больше здесь разведывать нечего, я сгустился и выплыл в коридор. У японцев, конечно, могли быть другие, резервные центры военной промышленности; резервным, а значит, не самым главным мог быть и этот, разрушенный, но я считал нужным выйти на поверхность и уведомить базу о случившемся, прежде чем продолжать разведку. На обратном пути ничто мне не встретилось и не задержало. По коридору я добрался до бронированных дверей, через замочную скважину — на другую сторону, потом прошел сквозь решетку, не без сочувствия глядя на все эти предостерегающие надписи, не стоившие теперь и выеденного яйца, пока наконец не засветилось неправильной формы отверстие — выход из пещеры. Только здесь я принял обличье, близкое к человеческому, — успел по нему соскучиться. Это был новый, не исследованный до сих пор вид ностальгии. Я искал камень, пригодный для отдыха, чувствуя все нарастающее раздражение, потому что проголодался, а в качестве теледубля не мог взять в рот ни крошки. Жаль было, однако, оставлять такого

разностороннего дубля на произвол судьбы только ради того, чтобы спешно перекусить. Поэтому я отложил трапезу, решив сначала уведомить базу, а обеденный перерыв сделать несколько позже, предварительно спрятав теледубля в каком-нибудь надежном укрытии.

Я все вызывал и вызывал Вивича, но ответом была мертвая тишина. Проверил счетчиком Гейгера, не заслоняет ли меня и здесь ионизированный газ. Возможно, короткие волны не могли пробиться из узкой расселины; без особой охоты еще раз обратившись в облако, я свечою взвился в черное небо и с птичьего полета снова вызвал Землю. Конечно, о птичьем полете не могло быть и речи, ведь при отсутствии воздуха нельзя держаться на крыльях, но уж больно красиво это звучит.

IX. ВИЗИТЫ

Из неудачного похода за покупками я вернулся как бы во сне. Сам не помню, как оказался в своей комнате, силясь на ходу разобраться в том, что произошло перед универмагом. Не имея никакого желания встретиться за столом с Грамером и прочими, я съел печенье, припрятанное в ящике стола, и запил кока-колой. Уже смеркалось, когда кто-то постучал. Думая, что это Хоус, я открыл дверь. Передо мной стоял незнакомый мужчина в черном костюме, с черной папкой в руке. Не знаю почему, я принял его за представителя похоронного бюро.

— Можно войти? — спросил он. Молча я отступил от двери. Он, не глядя по сторонам, сел на стул, на котором висела моя пижама, положил папку на колени и вынул из нее довольно толстую пачку машинописных страниц, а из кармана — старомодное пенсне и, нацепив его на нос, некоторое время молча смотрел на меня. Волосы у него были почти седые, но брови черные, лицо худое, с опущенными вниз уголками бескровных губ. Я продолжал стоять у стола, и он положил передо мной визитную карточку. Бросив на нее взгляд, я прочитал: «Проф. Аллан Шапиро И.К.Г.Д.». Адрес и номер телефона были напечатаны так мелко, что я не мог их прочитать, но и брать карточку в руки мне не хотелось. Мной овладело унылое безразличие, отчасти похожее на сонливость.

— Я невролог, — произнес он, — довольно известный.

— Кажется, я что-то ваше читал... — пробормотал я не-

уверенно, — каллотомия, латерализация функций мозга... не так ли?

— Да. Но я еще советник Лунного Агентства. Это благодаря мне вы могли до сих пор вести себя так, как вам заблагорассудится. Я полагал, что в нынешнем положении вас нужно охранять — и ничего больше. Попытка бегства была ребячеством. Поймите: вы стали обладателем сокровища, которому нет цены. Geheimnisträger*, как говорят немцы. За всеми вашими передвижениями неустанно следили, и не только Агентство. На сегодняшний день мы предотвратили уже восемь попыток похитить вас, господин Тихий. Когда вы летели в Австралию, вы уже были под наблюдением специальных спутников, и не только наших. Мне пришлось пустить в ход весь мой авторитет, чтобы убедить политиков, которым подчиняется Агентство, не арестовывать вас, не лишать свободы и т.п. Некоторые меры, предпринятые вашим другом, не имеют смысла. Когда ставка достаточно высока, с законом перестают считаться. Пока вы живы, все — то есть все заинтересованные стороны — находятся в патовой позиции. Долго это продолжаться не может. Если они не получают вас, они вас убьют.

— Кто? — спросил я, глядя на него без удивления. Видя, что визит обещает быть долгим, я сел в другое кресло, сбросив на пол лежавшие на нем газеты и книги.

— Это не имеет значения, вы проявили, и не только по моему мнению, добрую волю и лояльность. Ваш официальный рапорт сравнили с тем, что вы написали здесь и закопали, положив в банку. Кроме того, Агентство как tertium comparationis**, располагает всеми записями базы.

— Ну и что? — сказал я без всякого любопытства, только чтобы заполнить паузу.

— Частично вы написали правду, а частично нафантазировали. Не намеренно, конечно. Вы верили в то, что написали в рапорте, и в то, что написали здесь. Когда в памяти остаются пробелы, каждый нормальный человек стремится их заполнить. Совершенно бессознательно. Впрочем, неизвестно, на самом ли деле правая половина вашего мозга полна сокровищ.

— Это значит, что...

— Каллотомия не могла быть делом случая.

— А чем?

* Посвященный в тайну (нем.).

** Третий (вариант) для сравнения (лат.).

- Отвлекающим маневром
- Чьим? Лунным?
- Вполне возможно.
- А разве это так важно? — спросил я. — Ведь Агентство может послать новых разведчиков.
- Разумеется. Вы вернулись шесть недель назад. Сразу по установлении диагноза — я имею в виду каллотомию — были поочередно посланы трое других людей из резерва.
- И у них не получилось?
- Им удалось вернуться. Всем. Увы, это удалось им слишком хорошо.
- Не понимаю.
- Их впечатления не совпадают с вашими.
- Ни в едином пункте?
- Вам лучше не знать подробностей.
- Но если вы их знаете, мистер Шапиро, то и с вами могут произойти неприятности, — сказал я с усмешкой. Он глубокомысленно покивал головой.
- Конечно. Эксперименты породили множество противоречивых гипотез. Результаты их анализа примерно таковы. Теледубли классического образца не были для Луны неожиданностью. Сюрпризом для них оказался только молекулярный теледубль, то есть ваше последнее воплощение. Но после этого и он не составляет для них тайны.
- И какое отношение это имеет ко мне?
- Думаю, вы уже догадались. Вы вторглись *туда* глубже, чем ваши последователи.
- Луна устроила для них спектакль?
- Похоже, что так.
- А для меня нет?
- Вы пробили декорацию, по крайней мере частично.
- Почему же я смог возвратиться?
- Потому, что со стратегической точки зрения это было оптимальным решением дилеммы. Вы вернулись, выполнив задание, но в то же время не вернулись и не выполнили его. Если бы вы не вернулись вообще, в Совете Безопасности взяли бы верх противники дальнейших разведок.
- Те, кто хотят уничтожить всю Луну?
- Не столько уничтожить, сколько нейтрализовать.
- Это для меня новость. Как это можно сделать?
- Есть такой способ. Правда, неизмеримо дорогой, как всякая новая технология при рождении. Подробности мне неизвестны — так лучше для всех нас и для меня самого.
- Но что-то вы наверняка слышали... — пробормотал

я. — Во всяком случае, наверное, какая-нибудь послеоатомная технология? Не водородные заряды, не баллистические ракеты, что-нибудь более тонкое. Нечто такое, чего Луна не сумела бы вовремя заметить...

— Для человека, лишённого половины мозга, вы соображаете совсем неплохо. Но вернемся к делу, то есть к вам.

— Вы хотите, чтобы я согласился на обследования? Под контролем Агентства? Чтобы допросили мою правую сторону?

— Все это гораздо сложнее, чем вы думаете. Кроме вашего рапорта и записей базы, мы располагаем несколькими гипотезами. Вот самая достоверная из них: на Луне все-таки произошли столкновения между секторами. Но секторы не объединились, не уничтожили друг друга и не создали плана нападения на Землю.

— Что же тогда произошло?

— Если бы это можно было установить сколько-нибудь точно, я не стал бы вас беспокоить. Несомненно: межсекторная защита оказалась не на высоте. Военные игры вступили в противоборство друг с другом. Возникли беспрецедентные эффекты.

— Какие?

— Я не эксперт в этой области, но, насколько известно, компетентных экспертов в ней нет вообще. Мы обречены на догадки по принципу *ceterum censeo humanitatem preservandum esse**. Вы знаете латынь, не так ли?

— Немного. Скажите, чего вы от меня хотите?

— Пока еще — ничего. Вы, извините, находитесь в ситуации зачумленного в эпоху, когда не было антибиотиков. Я посетил вас, потому что настаивал на этом и получил неохотное согласие. Скажем — *ultimum refugium***. Вы, к несчастью, увеличили число версий того, что произошло на Луне. Попросту говоря, теперь, после вашего возвращения, известно меньше, чем до вашей миссии.

— Меньше?

— Разумеется, меньше. Ведь неизвестно даже, содержится ли в правой половине вашего мозга какая-нибудь существенная информация. Количество неизвестных возросло, как только оно сократилось.

— Вы говорите, как пифия.

— Лунное Агентство перевезло на Луну и разместило в

* Кроме того, я считаю, что человечество должно быть сохранено (лат.).

** Последнее средство (лат.).

секторах то, что должно было перевезти согласно Женевскому соглашению. Но программы компьютеров первого лунного поколения остались тайной каждого отдельного государства. Агентство не имело к ним доступа.

— То есть в самом зародыше крылась эта опасная бессмыслица?

— Естественно, как неизбежное следствие глобальных антагонизмов. Да и можно ли отличить программу, которая через десятки лет самопроизвольно обошла наложенные на нее ограничения, от программы, которая *должна* была неким заранее заданным образом освободиться от ограничения?

— Не знаю, но это, наверное, могут выяснить специалисты.

— Нет, это никому не под силу, кроме тех, кто составлял программы.

— Знаете что, профессор, — сказал я, подойдя к окну. — У меня ощущение, что вы опутываете меня тонкой сетью. Чем дольше мы разговариваем, тем темнее становится дело. Что произошло на Луне? Неизвестно. Почему я подвергся этой чертовой каллотомии? Неизвестно. Знает ли правая половина моего мозга что-нибудь об этом? Неизвестно. Поэтому будьте любезны вкратце разъяснить мне, что вам от меня нужно.

— Вам не следовало бы так саркастически говорить о любезности. До сих пор мы были с вами очень, даже слишком любезны.

— Потому что этого требовали интересы Агентства, а может быть, и чьи-то другие. Или меня спасали и охраняли просто по доброте сердечной?

— Нет. О добросердечии речи быть не может. Я сказал вам об этом сразу. Слишком высока ставка, так высока, что, если бы можно было вытянуть из вас необходимые данные смертельной пыткой, это давно было бы сделано.

Вдруг меня осенила неожиданная догадка. Я повернулся спиной к темному окну и, широко улыбаясь, скрестив руки на груди, заметил:

— Спасибо, профессор. Только теперь я понял, *кто* на самом деле защищал меня все это время.

— Но я же вам говорил.

— Но теперь я знаю лучше — они. Или, вернее, она... — Отворив окно, я показал на восходящий над деревьями серп Луны, резко обрисованный на темно-синем небосклоне.

Профессор молчал.

— Это, должно быть, связано с моей посадкой, — добавил

я. — С тем, что я решил собственными ногами встать на лунный грунт и взять то, что нашел там последний теледубль. И я смог это сделать, потому что в трюме был скафандр с посадочным устройством. Его запихнули туда на всякий случай, я им воспользовался. Правда, я не помню, что происходило со мной, когда я высадился самолично. Помню и не помню. Теледубля я нашел, но, кажется, другого, не молекулярного. Помню, что я *знал*, зачем спускаюсь: не для того, чтобы спасти его — это было и невозможно, и бессмысленно, — но чтобы взять *что-то*. Какие пробы? Чего? Этого я никак не могу вспомнить. И хотя самой каллотомии я не почувствовал или не заметил, как при амнезии от сотрясения мозга, но, вернувшись на корабль, затолкал свой скафандр в контейнер и припоминаю теперь, что он весь был покрыт тонкой пылью. Какой-то странной пылью, на ощупь сухой и мелкой, как соль; ее трудно было стереть с рук. Радиоактивной она не была. Все же я вымылся тщательно, как при дезактивации. А позже даже не попытался узнать, что это за субстанция, да мне, впрочем, и некогда было задавать такие вопросы. А когда я узнал, что мозг у меня рассечен, и понял, в какой скверный переплет я попал, то и думать забыл об этом порошке. У меня появились заботы посерьезнее. Может быть, вы что-нибудь слышали об этой пыли? Это явно не был «персидский порошок» от клопов. Что-то я все же привез... но что?

Гость смотрел на меня сквозь пенсне, сощутив глаза, словно игрок в покер.

— Тепло... — сказал он. — Даже горячо... Да, вы привезли *нечто*... вероятно, поэтому и вернулись живым.

Он встал и подошел ко мне. Мы оба смотрели на Луну, невинно сияющую среди звезд.

— Lunar Expedition Molecules* остались там... — как бы про себя промолвил гость. — Но, будем надеяться, разрушенные безвозвратно! Вы сами уничтожили этого ЛЕМа, хотя ничего об этом не знали, когда пошли в грузовой отсек за скафандром. Тем самым вы привели в действие AUDEM, Autodemolition**, теперь я могу об этом сказать — теперь уж все равно.

— Для советника по вопросам неврологии вы превосходно информированы, — заметил я, продолжая смотреть на Луну, полузакрытую облаками. — Может быть, вам даже из-

* Лунные экспедиционные молекулы (англ.).

** Саморазрушение (англ.).

вестно, что со мной тогда вернулось? Их микропы? Кристаллический порошок, непохожий на обычный песок...

— Нет. Насколько я знаю, это полимеры на базе кремния, какие-то силикоиды...

— Но не бактерии?

— Нет.

— Почему же вы придаете им такое значение?

— Потому, что они шли за вами.

— Не может быть, ведь...

— Может, потому что было.

— Контейнер потерял герметичность?

— Нет. Вероятно, вы проглотили порцию этих частиц еще в ракете, выбираясь из скафандра.

— Но они теперь во мне?

— Не знаю. Но то, что это не обычная лунная пыль, было обнаружено, когда вы собирались в Австралию.

— Ах так! И, разумеется, каждое место, где я побывал, потом исследовалось под микроскопом?

— Примерно так.

— И находили эти?..

Он кивнул. Мы все стояли у окна, а Луна проплывала между тучами.

— Все ли об этом знают?

— Кто это — все?

— Ну, заинтересованные стороны...

— По-видимому, еще не все. В Агентстве — несколько человек, а из медицинской службы только я.

— Почему вы мне об этом не сказали?

— Потому что вы сами уже попали на след, и мне хотелось, чтобы вы уяснили себе положение в целом.

— Мое?

— И ваше, и общее.

— Так они на самом деле меня опекают?

— Минуту назад вы сами дали это понять.

— Я стрелял наугад. Значит, так оно и есть?

— Не знаю. Но из этого не следует, что никто ничего не знает. Во всем этом деле есть различные степени посвященности. На основании сведений, которые я получил от своих друзей, совершенно частным образом, исследования продолжаются, и пока не исключается, что эти частицы поддерживают связь с Луной...

— Странные вещи вы говорите. Какую связь? По радио?

— Наверняка нет.

— Значит, существует другая?

— Я приехал сюда, чтобы задать несколько вопросов вам, а оказалось, что допрашивают меня.

— Но вы, кажется, собирались подробно обрисовать положение, в котором я оказался?

— Я не могу отвечать на вопросы, на которые не знаю ответов.

— Одним словом, до сих пор меня защищало только *предположение*, что Луна может и в состоянии заниматься моей судьбой?..

Шапиро не отвечал. Комната была погружена в полумрак. Заметив выключатель, он подошел к нему, включил свет, и сияние лампы ослепило и в то же время отрезвило меня. Я задернул шторы, достал из бара бутылку и две рюмки, налил в них остатки шерри, сел сам и указал гостю на кресло.

— *Ci va riano va sapo**, — неожиданно произнес профессор, но, едва пригубив вино, поставил рюмку на письменный стол и вздохнул. — Человек всегда руководствуется какими-то правилами, но в таком положении, как это, никаких правил нет, а действовать необходимо, ибо промедление ни к чему хорошему не приведет. Домыслами мы ничего не добьемся. Как невролог могу вам сказать одно: память бывает кратковременная и долговременная. Кратковременная преобразуется в долговременную, если не возникают неожиданные помехи. А трудно представить себе помеху серьезнее, чем рассечение большой спайки мозга! То, что произошло непосредственно до и сейчас же после этого, не может находиться в вашей памяти, и эти пробелы вы заполнили домыслами, как я уже говорил; а что касается остального, то мы не знаем даже, *кто* нападает, а *кто* — защищается. Ни одно правительство ни при каких обстоятельствах не признается, что его программисты нарушили единодушно принятые условия Женевского соглашения. Впрочем, если бы даже кто-нибудь из программистов проговорился, это бы не имело никакого значения, ведь ни он и никто другой не знает, как потом развивались события на Луне. В этом санатории вы не в большей безопасности, чем в вольере с тиграми. Вы мне не верите? Во всяком случае, до бесконечности вы здесь не просидите.

— Так долго говорим, — заметил я, — а все без толку. Вам хочется, чтобы я отдался, так сказать, под вашу опеку? — Я притронулся к правому виску.

— Я считаю, вы должны это сделать. Не думаю, чтобы это

* Тише едешь, дальше будешь (*ит.*).

много дало Агентству, да и вам тоже, но ничего лучшего предложить не могу.

— Ваш скептицизм, возможно, — попытка вызвать мое доверие... — пробормотал я про себя, будто думая вслух. — Скажите, последствия каллотомии наверняка необратимы?

— Если это была хирургическая каллотомия, перерезанные белые волокна наверняка не срастутся. Это невозможно. Но ведь никто не делал вам трепанацию черепа?..

— Я понял, — ответил я после минуты раздумья. — Вы вселяете в меня надежду, что со мной произошло нечто другое — нарочно искушаете, либо верите в это сами...

— Так что вы решили?

— Я отвечу в ближайшие сорок восемь часов. Хорошо?

Он кивнул и показал на лежащую на столе визитную карточку:

— Там номер моего телефона.

— И мы будем говорить открытым текстом?

— И да, и нет. Никто не поднимет трубку. Переждите десять гудков и через минуту позвоните еще раз. Снова переждите десять сигналов — и все.

— Это и будет знаком согласия?

Он снова кивнул, вставая:

— Остальное — уже наше дело. А сейчас мне пора. Спокойной ночи.

Он вышел, а я все стоял посреди комнаты, бездумно глядя на оконную штору. Вдруг погасла лампа под потолком. Наверное, перегорела, подумал я, но, выглянув в окно, увидел погруженные во тьму силуэты санаторных корпусов. Погасли даже дальние фонари, обычно мигающие у выезда на автостраду. Видимо, серьезная авария. Идти за фонариком или свечами не хотелось, часы показывали одиннадцать. Я отодвинул штору, чтобы при слабом лунном свете раздеться и принять душ в моей маленькой ванной комнате. Я хотел вместо пижамы надеть халат, открыл шкаф и замер. Кто-то стоял там — толстый, низенький, почти лысый, неподвижный, как статуя, с пальцем, прижатым к губам. Это был Грамер.

— Аделаида... — прошептал я. И замолк, потому что он погрозил мне пальцем и молча указал на окно. Я не двинулся с места, тогда он присел, выбрался на четвереньках из шкафа, прополз за письменный стол и, не поднимаясь с колен, задержал штору. Сделалось так темно, что я еле смог увидеть, как он по-прежнему на коленях возвращается к шкафу и достаёт оттуда что-то плоское, четырехугольное. К этому вре-

мени я уже привык к темноте и увидел, что Грамер открывает маленький чемоданчик, достает из него какие-то шнуры и провода, что-то там соединяет — что-то щелкнуло, и Грамер, все еще сидя на ковровом покрытии пола, прошептал:

— Садитесь рядом. Тихий, поговорим...

Я сел, до того ошеломленный, что не мог вымолвить ни слова, а Грамер придвинулся ко мне, коленом коснувшись моего колена, и сказал тихо, но уже не шепотом:

— У нас по крайней мере три четверти часа времени, если не час, пока дадут ток. Часть подслушивающих устройств имеет собственное питание, но это расчет на дилетантов. Мы экранированы по первому классу. Называйте меня Грамером, Тихий, как привыкли.

— Кто вы такой? — спросил я и услышал его тихий смех.

— Ваш ангел-хранитель.

— То есть как? Ведь вы сидите здесь уже давно, не так ли? Откуда вы могли знать, что я попаду сюда? Ведь Тарантога...

— Любопытство — это первая ступенька на пути в ад, — добродушно сказал Грамер. — Не столь важно, откуда, как и почему; у нас есть дела посущественней. Во-первых, не советую вам делать то, чего добивался Шапиро. Хуже этого вы ничего не могли бы выбрать.

Я молчал, и Грамер снова тихо засмеялся. Он явно был в прекрасном настроении. Даже голос его стал другим, он больше не растягивал слова, и уж совсем не напоминал того глуповатого субъекта, каким представлялся раньше.

— Вы принимаете меня за «представителя иностранной разведки», ведь так? — спросил он, фамильярно похлопывая меня по спине. — Я понимаю, что вызываю у вас восемнадцать подозрений сразу. Попробую обратиться к вашему здравому смыслу. Допустим, вы последуете доброму совету Шапиро. Вас возьмут в оборот — нет, никаких мучений, упаси Боже, в их клинике к вам будут относиться, как к самому президенту. Может быть, что-то вытянут из вашего правого полушария, а может быть, и не вытянут. Это не будет иметь никакого значения, потому что приговор им известен заранее.

— Какой приговор?

— Ну диагноз, результат научного исследования, проведенного через руку, ногу, пятку, — какая разница. Прошу не прерывать меня, и сейчас вы все узнаете. Все, что уже известно.

Он умолк, словно ожидая моего согласия. Мы сидели так в темноте, пока я не сказал:

— Сюда может прийти доктор Хоус.

— Нет, не может. Никто не придет, пусть это вас не беспокоит. Это не игра в индейцев. Слушайте же. На Луне программы разных стран вгрызлись друг в дружку. Вгрызлись, перемешались, кто первый начал — сейчас не важно, во всяком случае. В результате, образно говоря, там возникло нечто вроде рака. Взаимное беспорядочное уничтожение, различные фазы разнообразных моделируемых и реальных вооружений вторглись друг в друга — в разных секторах это произошло по-разному, — столкнулись, сшиблись, впрочем, называйте как хотите.

— Луна спятила?

— Пожалуй. В некотором смысле. А когда то, что было запрограммировано, и то, что получилось из программ, стало обращаться в ничто, начались совершенно новые процессы, которых никто на Земле не предвидел, абсолютно никто.

— Что это за процессы?

Грамер вздохнул:

— Я бы выкурил сигарету, но не могу, ведь вы не курите. Какие, говорите, процессы? Вы привезли их первый след.

— Эту пыль на скафандре?

— Вы угадали. Но это никакая не пыль, а силиконовые полимеры, зародыши ордогенеза, некроорганизации, как это называют специалисты, — уже много выдумано этих терминов. Во всяком случае, то, что происходит там, Земле вообще не угрожает, но именно потому, что не угрожает, чревато опасностью, нежелательной для Агентства.

— Не понимаю.

— Агентство стоит на страже Доктрины Неведения, не так ли? Есть государства, которые заинтересованы в крушении этой доктрины, — всей той истории с высылкой вооружений на Луну. Я неудачно выразился. Все значительно сложнее. Существуют различные интересы и группы, оказывающие нажим; одни хотели бы, чтобы паника, все еще раздуваемая под лозунгом: «Отразить вторжение с Луны!», ширилась, чтобы в ООН или вне ее создалась коалиция, готовая ударить по Луне традиционным, то есть термоядерным, оружием либо неклассическим — новой коллаптической техникой. Только не спрашивайте, что это такое, об этом в другой раз. Им важно снова начать производство оружия в крупных масштабах, оправдывая это глобальными, надгосударственными интересами, — уж если угрожает агрессия, ее надо уничтожить в зародыше.

— Но Агентство этого не хочет?

— Агентство само расколото изнутри, противоборствующие стороны имеют в нем своих людей. Да иначе и не могло быть. И вы стали крупным козырем в этой игре. Едва ли не самым крупным.

— Я? Из-за своего несчастья?

— Именно. То, что извлекут из вас Шапиро и его команда, невозможно будет проверить. Кроме двух-трех человек никто не узнает, действительно ли получена какая-нибудь конкретная, решающего значения информация, или это попросту блеф, который они попытаются выдать за истину — либо сразу широкой общественности, либо сначала Совету Безопасности, — да и не в том дело, кого они раньше информируют. Дело в том, что никто, включая и вас, не сможет установить, лгут они или говорят правду.

— Скорее уж первое — ведь вы сами сказали, что диагноз у них заготовлен заранее...

— Похоже, что так. Я не всеведущ. Во всяком случае, силой они вас брать не будут.

— Вы уверены? Шапиро говорил...

— Об этих нападениях? Они инсценированы, господин Тихий. Само собой разумеется. Но инсценированы так, чтобы при этом вы не погибли, иначе никто из них ничего не получил бы.

— Кто за этим стоял?

— Разные стороны, с разными намерениями. Сначала, пожалуй, чтобы вас взять, а позже, когда эти попытки не удались, — чтобы вас слегка прижать, утратить, сделать стоворчливее, чтобы вы бросились в дружеские объятия господину Шапиро.

— Подождите, Грамер... так хотели они меня запутать или нет?

— Вы что-то медленно стали соображать. Сначала кто-то, конечно, хотел, чтобы похищение не удалось, а потом в Агентстве сориентировались, что необязательно ждать следующего покушения. Агентство, вернее, люди из аппарата так называемой Охраны Миссии устроили для вас пару небольших спектаклей.

— То есть сначала Агентство меня охраняло, а потом на меня же и покушалось? Так? Сперва это было по-настоящему, а после — подстроено?

— Именно так.

— Ну хорошо. Допустим, я позволю им себя обследовать. Что из этого получится?

— Бридж или покер.

— Не понял.

— Начнется своего рода розыгрыш партии, аукцион... Предвидеть можно только начало, остальное — нет. Сейчас уже ясно, что на Луне дела пошли не так, как должны были идти. Возник вопрос: представляет это угрозу для Земли или нет? До сих пор все указывало на то, что никакой угрозы нет и по крайней мере в ближайшие сотни лет не будет. Разве что через тысячу, а то и миллион лет, — но политика такие масштабы в расчет не берет. Во всяком случае, до трехтысячного года можно спать спокойно. Но дело в том, что спокойно спать не придется. Именно безопасная Луна необходима определенным группам нажима.

— Для чего?

— Чтобы заявить: ни одно государство уже не имеет там арсеналов, там нет больше ничего, лунный проект лопнул, Женевские соглашения потеряли смысл, пора возвращаться к Клаузевицу.

— Но это значит, Грамер, что, как ни крути, все кончится плохо. Если грозит вторжение, нужно вооружиться против Луны, а если не грозит — вооружаться по-старому, по-земному, так, что ли?

— Разумеется. Вы все поняли правильно. Таков баланс на сегодня.

— Ничего себе балансик. Да ведь тогда все тайные сведения, запрятанные в моей голове, не стоят и выеденного яйца...

— Вот тут вы ошибаетесь. В зависимости от того, что будет объявлено после обследования вашей персоны, возможны различные варианты.

— Какие?

— По данным компьютерного моделирования — не меньше двадцати, смотря по тому, каким окажется результат, не истинный, конечно, а обнародованный.

— И вы не знаете, каков он будет?

— Нет, потому что и сами они пока не знают. Группа Шапиро тоже неоднородна. Там тоже представлены несовпадающие интересы. Не думайте, Тихий, что они обнародуют сто-процентную ложь. Это они могли бы сделать, только если бы были абсолютно замкнутой, законспирированной группой платных фальсификаторов, но это не так. Они даже не могут заранее исключить возможность, что вы, хоть и не узнаете ничего о том, что содержится в вашем правом мозгу, тем не менее включитесь в эту партию покера.

— Каким образом?

— Не будьте ребенком. Разве вы не сможете потом написать в «Нью-Йорк таймс», или в «Цюрихер цайтунг», или куда вам вздумается, что они огласили поддельный диагноз? Что-то исказили или неправильно истолковали? Тогда разразится крупный скандал. Вам достаточно будет поставить под сомнение их выводы, и тут же объявятся выдающиеся специалисты, которые станут за вас стеной и потребуют новых исследований, контрольных. И тогда уж сам черт в этом не разберется.

— Если это настолько очевидно для вас, то почему этого не могут предвидеть люди Шапиро?

— А что им остается в сложившейся ситуации, кроме как уговаривать вас согласиться на обследование? Все, на чьей бы стороне они ни стояли, действуют в зависимости от обстановки.

— А если меня убьют?

— И это очень плохой выход. Даже если бы вы совершили абсолютно достоверное самоубийство, подозрения, что вас убили, разнеслись бы по всему свету.

— Я не верю, будто невозможно повторить то, что мне удалось на Луне. Шапиро, правда, говорил, что попытки уже были и ничего не вышло, но ведь такие экспедиции можно повторить.

— Разумеется, можно, но и это — лабиринт. Вы удивлены? Тихий, у нас осталось мало времени. Создался полнейший пат в мировом масштабе: нет никаких ходов, гарантирующих сохранение *мира*, есть только различные разновидности риска.

— И что же вы мне посоветуете как мой ангел-хранитель?

— Не слушайте никаких советов. Мои тоже не принимайте во внимание. Я тоже представляю определенные интересы и не скрываю, что меня послал к вам не Господь Бог, не провидение, а всего лишь та сторона, которая в возобновлении вооружений не заинтересована.

— Допустим. И что же, по мнению этой стороны, я должен сделать?

— Сейчас — ничего. Абсолютно ничего. Сидите здесь. Не звоните Шапиро. По-прежнему общайтесь с полоумным стариком Грамером, и через несколько недель, или даже дней, станет ясно, что делать дальше.

— Почему я должен вам верить?

— Я уже сказал — вы вовсе не обязаны мне верить, я только представил вам ситуацию в общих чертах. Единственно, что мне пришлось для этого сделать, — выключить на часок

главный трансформатор, а теперь я заберу свой электронный хлам и пойду спать, ведь я же миллионер в состоянии депрессии, не так ли? До свидания, Джонатан.

— До свидания, Аделаида, — ответил я. Грамер пополз к дверям, приоткрыл их, кто-то стоял в коридоре и, как мне показалось, подал Грамеру какой-то знак. Грамер встал, тихо закрыл за собой дверь, а я все сидел, чувствуя зуд в ногах, пока снова не загорелся свет.

Я погасил лампу и лег в кровать. При свете ночника я заметил там, где только что сидел Грамер, поблескивающий предмет, нечто вроде слегка сплющенного перстня. Я поднял его и рассмотрел. Внутри была скрученная бумажка. Я развернул ее. «В случае чего», — гласили кривые, словно в спешке написанные буквы. Отложив измятый листок, я попытался надеть кольцо на палец. Оно было серое, со слабым металлическим блеском, удивительно тяжелое — уж не свинцовое ли? С одной стороны — выпуклость, похожая на зерно фасоли с маленьким отверстием, словно проколотым острой иглой. Кольцо не лезло ни на один палец, кроме мизинца. Не знаю почему, но оно обеспокоило меня больше, чем оба визита. Для чего оно предназначалось? Я попробовал провести им по оконному стеклу — ни малейшей царапины. В конце концов даже лизнул. Вкус был солоноватый. Надевать на палец или не надевать? Все же надел, хоть и не без труда, и взглянул на часы. Миновала полночь, а сон все не шел. Я уже не знал, какую из своих проблем начать обдумывать в первую очередь. Меня тревожило даже то, что левая нога и рука ведут себя спокойно, и в полусне их пассивность казалась явной западней, на этот раз грозящей мне изнутри. Как это часто бывает, мне снилось, что я не могу заснуть, а возможно, я спал и думал, что бодрствую. Неизвестно, сколько времени я пытался разобраться, сплю я или не сплю, и с отчаянными усилиями тщился разрешить этот вопрос. Тем временем в комнате чуть посветлело. Светает, подумал я, значит, несколько часов мне поспать удалось. Однако свет шел не со стороны задернутого шторой окна — он сочился через щель двери и был удивительно сильным, словно там, в коридоре, у самого порога стоял мощный прожектор. Я сел на кровати. Что-то вливалось через щель на пол, но не вода, а вроде бы ртуть. Она катилась маленькими шариками по паркету, разлилась в плоскую лужу, с трех сторон подступила к маленькому коврику у кровати, а тем временем вместе со светом, идущим из-под двери, все текли струйки этой странной металлической жидкости. Уже почти весь пол

сиял, как тонкая пластина ртутного зеркала. Я зажег лампу на столике. Эта жидкость все же была не ртутью, по цвету она напоминала скорсе потемневшее от старости серебро. Ее натекло уже столько, что коврик шевелился, словно бы плавал в ней, и вдруг свет под дверью погас. Я сидел наклонившись и с изумлением смотрел на метаморфозы, происходящие с вязкой металлической жижей. Она распадалась на микроскопические капельки, а те целыми грудками склеивались в некое подобие гриба, потом все это вспухло, как поднимающееся тесто, и, густея, тянулось вверх. Наверняка это сон, сказал я себе, но, несмотря на такое категорическое заключение, не испытывал ни малейшего желания коснуться босой ногой этой ртути; так и сидел, слегка обалдевший, не столько удивленный, сколько даже довольный тем, что нашел удачный термин для описания этого явления: «живое серебро». *Это* и в самом деле двигалось, как нечто живое, но не пыталось стать растением, или животным, или не знаю уж каким монстром, а превращалось в пустой кокон, все болсе человекоподобный панцирь или, скорее, грубую отливку панциря с большими дырами и продолговатой щелью спереди; когда — уже много позднее — я пытался восстановить в памяти эту метаморфозу, больше всего она напомнила мне фильм, прокручиваемый в обратную сторону: будто сначала кто-то изготовил диковинные доспехи, а потом расплавил их в жидкий металл, только все это совершалось у меня на глазах в обратном порядке. Сначала жидкость, потом вырастающее из нее полое тело, потому что панцирем оно все-таки не было, оно уже не блестело, а стало матовым и напоминало большой манекен, вроде тех, что выставляют в витринах, — с лицом без носа и губ, но с круглыми дырами вместо глаз; наконец, к моему замешательству, из всего этого стала формироваться женщина, несколько крупнее натуральной величины, или нет, скорее статуя женщины, в середине пустая и раскрытая, словно шкаф, и статуя эта — чтоб мне пропасть! — выделяла из себя одежду: сначала покрылась белоснежным бельем, потом на белом возникла зеленень платья; я, не сомневаясь уже, что это мне снится, подошел к ночному видению. Тут платью из зеленого сделалось снова белым, как медицинский халат, а лицо проявилось еще явственнее. Светлые волосы на голове покрылись белым сстринским чепчиком, окаймленным карминного цвета бархатом. Довольно, пора просыпаться, подумал я, слишком уж нелеп этот сон; но все же не решился прикоснуться к существу и отвел глаза. Я совершенно отчетливо видел ком-

нату, освещенную лампой, стоящей на ночном столике, письменный стол, шторы, кресла. В такой нерешительности я стоял еще некоторое время, потом снова посмотрел на призрак. Он был очень похож на санитарку Диди, которую я не раз видел в саду и у доктора Хоуса, но гораздо крупнее и выше. Фигура промолвила: «Войди в меня и уходи отсюда. Возьмешь «тойоту» доктора, выедешь — ворота открыты, только сначала оденься и захвати деньги: купишь билет и сразу поедешь к Тарантоге. Ну не стой как чурбан, ведь санитарку никто не задержит...» — «Но она же меньше тебя...» — пробормотал я, пораженный не столько ее словами, сколько тем, что губы ее не шевелились. Голос исходил прямо из ее тела, которое вместе с халатом раскрылось так, что я и вправду мог войти внутрь. Другой вопрос — надо ли было это делать? Вдруг мысли мои прояснились, в конце концов это вовсе не обязательно был сон, существует же молекулярная телестроника, кто-кто, а уж я-то имел опыт обращения с ней, так, может быть, это все наяву? Но в таком случае, как поручиться, что здесь не кроется новая западня?

— Ночью размеры трудно определить точно. Не тяни время! Одевайся, возьми только чеки, — повторила она.

— Но почему я должен бежать и кто ты? — спросил я и начал одеваться: не потому, что решил ввязаться в это неожиданное приключение, а потому, что одетым я чувствовал бы себя увереннее.

— Я никто, разве не видишь, — сказала она. Голос, однако, был женский, низкий, приятный, чуть глуховатый, странно знакомый, только я не мог припомнить откуда. Я пока что зашнуровал ботинки, сидя на краю кровати.

— Но кто же прислал тебя, госпожа Никто? — спросил я, поднимая голову, и, прежде чем я успел опомниться, она упала на меня, охватила не руками, а всем нутром сразу, и произошло это удивительно быстро: сию секунду я сидел на краю кровати в пуловере, но без галстука, чувствуя, что перетянул шнурок левого ботинка, а мгновение спустя оказалось, что меня втянуло в середину этого полого существа и я зажат его телом, будто был проглочен питоном. Не могу подобрать сравнение лучше, ибо такого со мной еще не случалось. Внутри было довольно мягко, я видел комнату через глазные отверстия, но потерял свободу движений и вынужден был делать то, чего хотела она или оно, а скорее тот, кто управлял этим теледублем с намерением затащить меня силой туда, где давно уже поджидают Ийона Тихого. Я напряг все силы, пытаясь перебороть эту управляемую на расстоянии оболочку,

но безуспешно. Руки и ноги меня не слушались — их словно сгибали и выпрямляли насильно. Правая рука, нажав на ручку, отворила дверь, хотя я и сопротивлялся, как мог. В коридоре тускло светили ночные зеленоватые лампочки, вокруг — ни души. Мне некогда было задуматься, *кто* за этим стоит, я пытался найти какой-нибудь выход, но эта неличность, настоящий Франкенштейн, начиненный мною, шел не спеша — трудно придумать более идиотское положение, — и тут я вспомнил про кольцо, которое оставил Грамер, хотя чем оно могло мне помочь? Даже если бы я знал, что надо его надкусить или повернуть на пальце, как в сказке, чтобы появился спасительный джинн, я все равно не смог бы этого сделать. Уже показалась ведущая на улицу дверь коттеджа, в тени старой пальмы чернел длинный темный контур автомобиля с бликами далекого света на кузове. Маятниковые двери открылись — моя подневольная рука толкнула их, — и тогда задняя дверь автомобиля тоже открылась, но внутри никого не было, во всяком случае, мне никого не удалось разглядеть.

Я уже садился в машину, вернее, «меня сажали» — потому что я все еще продолжал упираться изо всех сил — и тут понял свою ошибку. Не следовало сопротивляться — ведь именно к этому был готов тот, кто управлял теледублем. Надо было уступать навязанному движению, но так, чтобы оно пошло мимо своей цели. Склонившись, уже в двери машины, я бросился вперед, грохнулся обо что-то головой так, что потерял сознание — и открыл глаза.

Я лежал на полу рядом с кроватью, штора на окне уже стала серой от рассветных лучей, я поднял руку к глазам — кольцо исчезло: значит, это все-таки был кошмар? Я не мог разобраться, на каком месте оборвалась вчерашняя действительность, во всяком случае не раньше ухода Грамера. Я вскочил, кинулся к шкафу, из которого он вышел, мои костюмы были отодвинуты вбок, значит, он и вправду там стоял. На дне шкафа что-то белело. Письмо. Я взял его — никакого адреса; я разорвал конверт. Там был листок с машинописным текстом без даты и без обращения. В комнате было слишком темно, отдергивать штору я не хотел; проверив сначала, заперта ли дверь, я включил ночник и прочитал: «Если тебе снилось похищение, или пытки, или еще какое-нибудь несчастье отчетливо и в цвете, значит, ты подвергся пробному обследованию и получил наркотик. Это им нужно для предварительного выяснения твоей реакции на определенные средства, не имеющие вкуса и запаха. Мы не

уверены, так ли это на самом деле. Единственный человек, кроме меня, к которому ты можешь обратиться, — твой врач. Улитка».

Улитка — значит, письмо от Грамера. С одинаковой вероятностью оно могло содержать и правду, и ложь. Я попытался по возможности точнее вспомнить, что говорил мне Шапиро, а что Грамер. Оба считали, что лунный проект провалился. Дальше их предложения расходились. Профессор хотел, чтобы я позволил себя обследовать, а Грамер — чтобы я ждал неизвестно чего. Шапиро представлял Лунное Агентство — так, по крайней мере, он утверждал; Грамер о своих хозяевах, в сущности, не говорил. Но почему вместо того, чтобы предостеречь меня перед возможным применением наркотиков, он только оставил это письмо? Может быть, в игре участвовала еще и третья сторона? Оба они мне наговорили с три короба, но я так и не узнал, почему, собственно, сокрытое в моем правом мозгу имеет такую важность. Может быть, я проглотил что-то, что на время усыпило мою бедную, почти немую половину головы, и потому она вообще не давала о себе знать? Но с каких пор? Пожалуй, с предыдущего дня. Допустим, так оно и случилось. Для чего? Похоже, все, кто охотится на Ийона Тихого, не знают, что делать, и тянут время. Я был в этой игре картой неведомой масти, быть может, главным козырем, а может быть, и ничем, и одни мешали другим разобраться, что я есть на самом деле. И я не мог договориться сам с собой, они усыпили мое правое полушарие? Вот это я мог проверить немедленно. Правой рукой я взял левую и обратился к ней уже испытанным способом.

— Что нового? — спросил я пальцами. Мизинец и большой шевельнулись, но как-то слабо.

— Ты слышишь? — просигналил я. Средний палец коснулся подушечки большого, образовав кольцо, что означало «Привет».

— Ладно, ладно, привет, но как ты там?

— Отвяжись.

— Говори сейчас же, что у тебя? Пойми, это важно для нас обоих.

— Голова болит.

Да, в ту же минуту я почувствовал, что у меня *тоже* болит голова. Я уже настолько освоил неврологическую литературу, что понимал — в эмоциональном отношении каллотомия меня не раздвоила.

— И у меня тоже болит. У нас. Понимаешь?

- Нет.
- Как это нет?
- А вот так.

Пот прошиб меня от этой беззвучной беседы, но я решил не сдаваться. Вытяну из нее все, что можно, решил я — вытяну во что бы то ни стало. И тут меня осенила совершенно новая мысль. Азбука глухонемых требует большой ловкости пальцев. Но я же сызмальства владею азбукой Морзе. Я раскрыл левую ладонь и указательным пальцем правой начал рисовать на ней поочередно точки и тире — сначала SOS, Save Our Souls. Спасите наши души. Ладонь левой руки позволила прикасаться к себе некоторое время, потом вдруг собралась в кулак и дала мне порядочного тычка, я даже подскочил. Ничего не выйдет, подумал я, но она вытянула палец и пошла вырисовывать точки и тире на правой щеке. Да, ей-богу, она отвечала азбукой Морзе:

— Не щекочи, а то получишь.

Это была первая фраза, которую я от нее услышал, вернее, почувствовал. Я сидел, как статуя, на краю кровати, а рука сигнализировала дальше:

- Осел.
- Кто, я?
- Да. Ты. Сразу надо было так.
- Так что же ты не дала знать?
- Сто раз, идиот. А тебе хоть бы что.

Действительно, теперь я вспомнил, что она уже много раз царапала меня то так, то эдак, но мне в голову, то есть в мою часть головы, не пришло, что это морзянка.

— Господи, — царапал я по руке, — так ты можешь говорить?

- Лучше, чем ты.
- Так говори, и ты спасешь меня, то есть нас.

Трудно сказать, кто из нас набирался сноровки, но молчаливый разговор пошел быстрее.

- Что случилось на Луне?
- А ты что помнишь?

Эта неожиданная перемена ролей удивила меня.

- Ты не знаешь?
- Знаю, что ты писал. А потом закопал в банке. Так?
- Так.
- Ты писал правду?
- Да, то, что запомнил.
- И они это сразу выкопали. Наверное, тот первый.
- Шапиро?

- Не запоминаю фамилий. Тот, что смотрел на Луну.
- Ты понимаешь, когда говорят голосом, вслух?
- Плохо, разве что по-французски.
- Я предпочел не расспрашивать об этом французском.
- Только азбуку Морзе?
- Лучше всего.
- Тогда говори.
- Запишешь — и украдут.
- Не запишу. Даю слово.
- Допустим. Ты знаешь *что-то*, и я знаю *что-то*. Сначала скажи ты.
- Так ты не читала?
- Не умею читать.
- Ну хорошо... Последнее, что я помню... я пытался установить связь с Вивичем, когда выбрался из взорванного бункера в японском секторе, но ничего не вышло. Во всяком случае, я ничего не припоминаю. Знаю только, что потом высадился сам. Иной раз мне кажется, будто я что-то хотел забрать у теледубля, который куда-то проник... или что-то открыл, но не знаю что и даже не знаю, какой это был теледубль. Молекулярный — вряд ли. Я не помню, куда он делся.
- Тот, в порошке?
- Ну да. А ты, наверное, знаешь... — осторожно подсказал я.
- Сначала расскажи до конца. Что тебе кажется в *другой* раз?
- Что никакого теледубля там не было, а может, и был, но я уже его не искал, потому что...
- Что?
- Я заколебался. Признаться ему, что мое воспоминание — словно кошмарный сон, который не передать словами и после которого остается только ощущение чего-то необычайного?
- Не знаю, что ты думаешь, — скребла она по мне, — но знаю, ты что-то затеваешь. Я это чувствую.
- Зачем мне что-то затевать?
- Затем. Интуиция — это я. Говори. Что тебе кажется «в другой раз»?
- Иногда у меня такое впечатление, будто я высадился по вызову. Но не знаю, кто меня вызывал.
- Что ты написал в протоколе?
- Об этом — ничего.
- Но они все контролировали. Значит, у них есть записи.

Они знают, получил ты вызов с Луны или нет. Они все прослушивали. Агентство знает.

— Не знаю, что знают в Агентстве. Я не видел никаких записей, сделанных на базе, ни звуковых, ни телевизионных. Ничего. Ты же знаешь.

— Знаю. И еще кое-что.

— Что?

— Ты потерял порошкового.

— Дисперсанта? Конечно, потерял, а то зачем бы мне лезть в скафандр и...

— Дурень. Ты потерял его иначе.

— Как? Он распался?

— Его забрали.

— Кто?

— Не знаю. Луна. Что-то. Или кто-то. Он там преобразался. Сам. Это было видно с борта.

— Я это видел?

— Да. Но не мог уже контролировать. Его.

— Тогда кто им управлял?

— Не знаю. От корабля он был отключен, но продолжал преобразовываться. По всем своим программам.

— Не может быть.

— Но было. Больше я ничего не знаю. Снова Луна, внизу. Я был там. То есть ты и я. Вместе. А потом Тихий упал.

— Что ты говоришь?

— Упал. Наверное, это и была каллотомия. Тут у меня провал. Потом снова корабль, и ты укладывал скафандр в контейнер, и песок сыпался.

— Значит, я высадился, чтобы узнать, что случилось с молескулярным дублем?

— Не знаю. Может быть. Не знаю. Тут провал. Для того и нужна была каллотомия.

— Умышленная?

— Да. Может быть. Наверное, так. Чтобы ты вернулся и не вернулся.

— Это мне уже говорили — Шапиро, и Грамер вроде бы тоже. Но не так уверенно.

— Потому что это игра. Что-то знают, чего-то им недостает. Видно, и у них есть провал.

— Подожди. Почему я упал?

— Глупый. Из-за каллотомии. Сознание потерял. Как не упасть?

— А этот песок? Эта пыль? Откуда она взялась?

— Не знаю. Ничего не знаю.

Я надолго умолк. Уже совсем рассвело. Было около восьми утра. Но я не замечал ничего, погруженный в лихорадочные мысли. Лунный проект рухнул? Но среди его обломков не только продолжалось бессмысленное состязание и подкопы — в этих развалинах одновременно возникло такое, чего никто на Земле не программировал и не ожидал? И это нечто сокрушило теледубль Лакса? Или перехватило контроль над ним? Но я не помнил этого — очевидно, не мог запомнить из-за каллотомии. И теперь вопрос стоял так: либо перехваченный теледубль заманил меня на Луну с враждебными намерениями, либо с какими-то иными. С враждебными? Чтобы лишить меня памяти? Какая ему от этого выгода? Вроде бы никакой. Может, он хотел что-то мне отдать. Если ему надо было что-нибудь сообщить, моя посадка была бы излишней. Допустим, он передал мне эту пыль. Тогда что-то — или кто-то, — не желая, чтобы операция удалась, рассек мой мозг. Предположим, так оно и было. Тогда *то*, что управляло дисперсантом, спасло меня? Но только ли в этом было дело, чтобы спасти Ийона Тихого? Вряд ли. Нужно было, чтобы информация попала на Землю. А информацией как раз и была та мелкая, тяжелая пыль. Хотя нет, она не могла быть исключительно информацией. Она была материальна. Я должен был привезти ее с собой. Так. Теперь собранная мною часть головоломки позволяла догадываться о целом. Но только догадываться. И я как можно быстрее пересказал *эту* гипотезу своей второй половине.

— Может быть, — ответила она наконец. — У них есть пыль. Но им этого мало.

— И оттого все эти нападения, спасения, уговоры, визиты, кошмары?

— Похоже, так. Чтобы ты согласился на обследование. То есть выдал меня.

— Но они ничего не узнают, если ты знаешь не больше, чем говоришь.

— Скорее всего, не узнают.

— Но если там возникло нечто настолько могущественное, что смогло овладеть молекулярным теледублем, оно могло и напрямую связаться с Землей? С Агентством, с базой, с кем угодно. И уж во всяком случае, с теми, кого Агентство послало после моего возвращения.

— Не знаю. Где высаживались те, новые?

— Мне неизвестно. В любом случае, похоже, что противоположные интересы существуют и *здесь*, и *там*. Что могло *там* появиться? Из этого рака, из этого распада? Как это Гра-

мер назвал, — кажется, ордогенеза? Рождение порядка? Какого порядка? Электронная самоорганизация? Для чего? С какой целью?

— Если что и возникло, то без всякой цели. Как и жизнь на Земле. Электронные системы перегрызлись между собой. Программы разрегулировались. Одни без конца повторяли одно и то же, другие — распались совсем. Некоторые вторглись на ничейную территорию. Устраивают там зеркальные ловушки. Фата-морганы...

— Может быть, может быть... — повторял я в странном возбуждении. — Все это возможно. Во всяком случае, если уж начался всеобщий распад и побоище и если из этого могло что-то вырасти, вроде фотобактерий или каких-нибудь твердосъемных вирусов, то наверняка не везде, а только в каком-то особом месте. Как редчайшее стечение обстоятельств... И потом стало распространяться. Это я еще могу вообразить. Допустим. Но чтобы из этого возник *кто-то* — извините. Это уж сказки! Никакой дух из частиц не мог там появиться на свет. Разум на Луне из электронного лома? Нет. Это чистая фантазия.

— Но *кто* тогда захватил контроль над молекулярным теледублем?

— Ты уверен, что так оно и было?

— Есть косвенные улики. Ты ведь не мог после выхода из японских развалин наладить связь с базой?

— Да, но я не имею понятия, что произошло потом. Я пытался связаться не только с базой, но и с троянскими спутниками через бортовой компьютер, чтобы узнать, видит ли меня база при помощи микропов. Но на вызов никто не ответил. Никто. Видимо, микропы вновь были поражены, расплавлены, и в Агентстве не знают, что случилось с теледублем. Они знают только, что сразу после этого я высадился сам, а потом вернулся. Остальное — домыслы. Что скажешь?

— Это и есть улики. Есть один человек, который знает больше. Изобретатель молекулярного. Как его зовут?

— Лакс. Но он сотрудник Агентства.

— Он не хотел тебе давать своего теледубля.

— Он ставил это в зависимость от моего решения.

— Это тоже улика.

— Ты думаешь?

— Да, у него были опасения.

— Опасения? Что Луна?..

— Нет технологий, которые нельзя раскусить. Он мог бояться этого.

— И так случилось?
— Наверное. Только иначе, чем он думал.
— Откуда ты можешь знать?
— Всегда все бывает иначе, чем можно предвидеть.
— Я уже понял, — безмолвно продолжал я, — это не мог быть «захват власти». Скорее гибридизация! То, что возникло там, соединилось с тем, что было создано тут, в мастерской Лакса. Да, такого нельзя исключить. Одна дисперсная электроника вошла в другую, тоже способную к дисперсии, к различным метаморфозам. Ведь этот молекулярный теледубль частично имел и собственную память, встроенную программу превращений — так кристаллы льда сами могут соединяться в миллионы неповторимых снежинок. Всякий раз, правда, возникает шестилучевая симметрия, но всегда разная. Да! Я поддерживал с ним связь и даже в какой-то степени все еще был ИМ. И в то же время я подавал ему сигналы, но трансформировался он уже сам, на месте — на поверхности Луны, а потом в подземелье.

— Он обладал разумом?

— По правде говоря, не знаю. Не обязательно знать устройство автомобиля, чтобы его водить. Я знал, как им управлять, и мог видеть то же, что он, но не знал тонкостей его конструкции. Но чтобы он вел себя не как обычный теледубль, не как пустая скорлупа, а как робот — об этом мне ничего не известно.

— Но известно Лаксу.

— Наверное. Однако не хотелось бы обращаться к нему, во всяком случае напрямую.

— Напиши ему.

— Ты спятил?

— Напиши так, чтобы понял только он.

— Они перехватят любое письмо. По телефону тоже не выйдет.

— Пусть перехватывают, а ты не подписывайся.

— А почерк?

— Письмо напишу я. Ты продиктуешь мне по буквам.

— Получатся каракули.

— Ну и что? Знаешь, я проголодался. На завтрак хочу омлет и конфитюр. Потом сочиним письмо.

— Кто отошлет его? И как?

— Сначала завтрак.

Письмо поначалу казалось невыполнимой задачей. Я не знал домашнего адреса Лакса. Это, впрочем, было не самое главное. Писать надо было так, чтобы он понял, что я хочу с

ним встретиться, но понял он один. А поскольку всю корреспонденцию проверяли лучшие специалисты, предстояло перехитрить их всех. Поэтому никаких шифров. Кроме прочего, я не мог довериться никому и при отсылке письма. Хуже того, Лакс, возможно, уже не работает в Агентстве; а если даже письмо чудом дойдет до него и он захочет вступить со мной в контакт, целые орды агентов будут следить за ним в оба. К тому же специальные спутники на стационарных орбитах наверняка неустанно наблюдали за местом моего пребывания. Хоусу я верил не больше, чем Грамеру. К Тарантоге тоже обращаться нельзя. На профессора можно было положиться безоглядно, но я не мог придумать, как уведомить его о моем (или нашем) плане, не привлекая внимания к его персоне, — впрочем, и без того, наверное, в каждое окно его дома целится сверхчувствительный лазерный микрофон, а когда он покупает в супермаркете пшеничные хлопья и йогурт, то и другое просвечивают, прежде чем он переложит покупки из тележки в автомобиль. Но было уже все равно, и сразу после завтрака я поехал в городок тем же автобусом, что и в первый раз. Перед входом в универмаг на лотках пестрело множество открыток, и я с небрежным видом просматривал их, пока не нашел ту самую, спасительную. На красном фоне — большая золотая клетка, а в ней сова, почти белая, с огромными глазами, окруженными лучами из перьев. Я был не настолько безумен, чтобы так сразу и взять эту открытку. Сначала я выбрал восемь совершенно невинных, потом ту, с совой, потом с попугаем, добавил еще две, купил марок и пешком вернулся в санаторий. Город словно вымер. Только кое-где в садиках возились люди, а на станции обслуживания, возле которой разыгралась известная сцена, автомобили, обдаваемые струями воды, медленно проезжали между голубыми цилиндрами вращающихся щеток. Никто за мной не шел, не следил и не пытался меня похитить. Солнце припекало, и после часовой прогулки я вернулся в пропотевшей рубашке, сменил ее, приняв перед тем душ, и принялся писать открытки знакомым: Тарантоге, обоим Сиввилкисам, Вивичу, двум кузенам Тарантоги — не слишком коротко и не слишком пространно, — само собой разумеется, ни словом не упоминая об Агентстве, о Миссии, о Луне; только приветы, невинные воспоминания, ну и обратный адрес, почему бы и нет? Чтобы подчеркнуть шуточный характер этих открыток, на каждой я что-нибудь дорисовал. Двум черно-белым пандам, предназначенным для близнецов, пририсовал усы и галстуки, голову таксы, отправляемой Тарантоге, окружил ореолом,

сову снабдил очками, такими, какие носил Лакс; а на пруте, за который она держалась когтями, нарисовал мышку. А как ведет себя мышка, особенно если рядом сова? *Тихо*. Лакс был сообразительным человеком, и вдобавок носил имена несколько необычные, особенно второе имя — Гуглиборк. Не английское, не немецкое, но чем-то похожее на славянское, а если так, он должен был припомнить, от какого слова происходит фамилия *Тихий*; кроме того, мы ведь и впрямь сидели с ним в одной клетке. Поскольку я всем уже написал, что охотно с ними увиделся бы, то же самое я мог спокойно написать и ему, но его я еще поблагодарил за оказанную мне любезность, а в постскриптуме передал привет от некой П. Псилюм. *Psyllium* — это сухая *пыльца* растения, которое именно так называется по-латыни, а если бы цензоры Агентства заглянули в толковый словарь Вебстера или в энциклопедию, то узнали бы, что так же называется слабительное средство. Вряд ли им что-нибудь было известно о *пыли* с Луны. Может быть, и Лакс Гуглиборк ничего не знал о ней; тогда открытка оказалась бы холостым выстрелом, но большего я себе позволить не мог. Шапиро я не позвонил, Грамер не навязывался с разговорами. Полдня я провел у плавательного бассейна. С тех пор как добился взаимопонимания с моим вторым «я», оно вело себя совершенно спокойно. Только иногда, перед сном, я обменивался с ним парой фраз. Позже мне пришло в голову, что, может быть, лучше было послать Лаксу открытку с попугаем, а не с совой, но дело уже было сделано, оставалось ждать. Прошел день, другой, третий — ничего не происходило, два раза я качался в гамаке вместе с Грамером у фонтана в саду, под балдахин, но он и не пытался вернуться к нашему разговору. Мне показалось, что он тоже чего-то ждал. Потел, сопел, охал, жаловался на ревматизм и был явно не в духе. По вечерам я со скуки смотрел телевизор и просматривал прессу. Лунное Агентство давало сообщения, похожие на увещевания психотерапевта, что, дескать, анализ данных лунной разведки продолжается, и никаких нарушений, а тем более аварий, в секторах не обнаружено. Публицистов эти бессодержательные, скупые сообщения приводили в бешенство, и они требовали, чтобы директор и руководители отделов Агентства предстали перед комиссией ООН, а также выступили на специальных пресс-конференциях с разъяснениями по поводу вопросов, вызывающих особое беспокойство общественности, но в остальном — словно бы никто ни о чем не ведал.

По вечерам ко мне заходил Рассел, тот самый молодой эт-

нолог, который хотел написать о верованиях и обычаях миллионеров. Большую часть материалов он почерпнул из разговоров с Грамером, но я не мог объяснить ему, что они не стоят ломаного гроша, что Грамер только прикидывается крезом, а другие, настоящие миллиардеры, особенно из Техаса, скучны, как манная каша. Обычными миллионерами они пренебрегали. Держали здесь, в санатории, собственных секретарей, массажистов и телохранителей, жили в отдельных коттеджах, охраняемых так, что Рассел вынужден был у меня на чердаке устроить специальную обсерваторию с перископом, чтобы хоть заглядывать в их окна. Он совсем отчаялся, потому что, даже изрядно свихнувшись, они не способны были выкинуть ничего оригинального. От нечего делать Рассел спускался по лесенке ко мне, чтобы поболтать и отвести душу. Благодеяние, разбушевавшееся после отправки вооружений на Луну, в сочетании с автоматизацией производства привело к весьма печальным последствиям. По определению Рассела, настала эпоха пещерной электроники. Неграмотность распространилась до такой степени, что даже чек уже мало кто умел подписать — достаточно было оттиска пальца, а остальное делали компьютерные устройства. Американская Ассоциация Медиков окончательно проиграла битву за спасение профессии врача, потому что компьютеры точнее ставили диагнозы, а жалобы пациентов выслушивали с поистине бесконечным терпением. Компьютеризованный секс также оказался перед серьезной угрозой. Утонченные эротические аппараты вытеснило очень простое устройство, так называемый «Оргиак». Выглядело оно как наушники из трех частей: маленькие электроды, надеваемые на голову, и рукоятка, напоминающая детский пистолет. Нажимая на спуск, можно получать высшее наслаждение — колебания нужной частоты раздражали соответствующий участок головного мозга — без усилий, без седьмого пота, без расходов на содержание теледублетки или теледубля, не говоря уже об обычном уходе или супружеских обязанностях. «Оргиаки» наводнили рынок, а если кому-нибудь хотелось получить аппарат, подогнанный индивидуально, он шел на примерку не к сексологу, а в центр ОО (Обсчета Оргазмов). И хотя «Джинандроикс» и другие фирмы, которые производили уже не только синтефанок — *synthetical females**, но также ангелов, ангелиц, наяд, русалок, микронимфоманок, лезли из кожи вон и называли «Оргиастик Инк» не иначе как «Онанистик Инк», это не очень-то им

* Синтетические женщины (англ.).

помогало сбывать свой товар. В большинстве развитых государств было отменено обязательное школьное обучение. «Быть ребенком, — гласила доктрина дешколяризации, — все равно что быть осужденным на ежедневное заключение в камере психических пыток, называемых учением». Только сумасшедшему нужно знать, сколько мужских рубашек можно сшить из восемнадцати метров перкаля, если на одну рубашку идет 7/8 метра, или на какой скорости столкнутся два поезда, один из которых ведет со скоростью 180 км/час пьяный восьмидесятилетний машинист, страдающий насморком, а другой поезд навстречу ему ведет дальтоник со скоростью на 54,8 км/час меньше, если учесть, что на 23 километра пути приходится 43,7 семафора доавтоматической эпохи.

Ничуть не полезнее сведения о королях, войнах, завоеваниях, крестовых походах и прочих исторических свинствах. Географии лучше всего учат путешествия. Нужно только ориентироваться в ценах на билеты и расписании авиарейсов. Зачем изучать иностранные языки, когда можно вставить в ухо мини-транслятор? Естественные науки только угнетают и расстраивают юные умы, а пользу из них никто не может извлечь, раз никто не может стать врачом или хотя бы дантистом (с тех пор как в массовое производство были запущены дентоматы, в обеих Америках и Евразии ежегодно кончали самоубийством около 30 000 экс-дантистов). Изучение химии необходимо не более, чем изучение египетских иероглифов. Впрочем, если родители вопреки всему горят желанием учить своих отпрысков, они могут воспользоваться домашним терминалом. Но с тех пор как Верховный суд вынес решение, что дети таких отсталых родителей имеют право подать на папу с мамой апелляцию, семейно-домашнее обучение, и терминальное в том числе, ушло в подполье, и только законченные садисты усаживали своих бедных малышек перед педагогами. Педагоги, однако, все еще разрешалось производить и продавать, во всяком случае в Соединенных Штатах, а для приманки фирмы бесплатно прилагали к ним что-нибудь из огнестрельного оружия посимпатичнее. Азбуку постепенно вытеснил язык рисунков, даже на табличках с названиями улиц и дорожных знаков. Рассел не особенно убивался из-за всего этого, — мол, теперь уж ничего не поделаешь. На свете жил еще десяток с лишним тысяч ученых, но средний возраст доцента составлял уже 61,7 года, а пополнения не было. Все тонULO в такой скуке благополучия, что, как утверждал Рассел, слухи о грозящем вторжении с Луны большинство людей восприняло с удовлетворением, а мнимая паника была выдумкой

радио и телевидения — для оживления рынка новостей. Судебные инстанции не успевали разбирать дела о так называемых С/Оргиаках, суицидальных, то есть самоубийственных, — оказалось, что, ударяя себя током в центр наслаждения между лимбическими и гипоталамическим участками мозга, можно отдать концы с максимальным удовольствием. С трансцедерами (трансцендентальными компьютерами, служащими для установления связи с потусторонним миром) тоже возникли юридические проблемы. Речь шла о том, является эта связь реальностью или иллюзией, но опросы общественного мнения показали, что для потребителей эта разница — казалось бы, колоссальная — не имела никакого значения. Большим успехом пользовались и агиопневматоры*, позволяющие устраивать короткое замыкание со святым духом; почти все церкви включились в борьбу с агиопневматизацией, но практически безуспешно. *Mundus vult decipi, ergo decipatur*** — так закончил свои философские рассуждения мой этнолог, когда в бутылке бурбона показалось дно. Полевые исследования жизни миллиардеров так разочаровали его, что он впал в полнейший цинизм и вместо окон богачей направлял свой перископ в сторону солярия, где нагишом загорали сестры и санитарки. Это показалось мне несколько странным — он мог просто пойти туда и посмотреть на каждую из них вблизи, но, когда я сказал ему это, он только пожал плечами. В том-то вся и беда, что теперь уже все можно, ответил он.

В рекреационном зале нового павильона возились монтеры, заканчивая установку вообразаторов. Как-то вечером Рассел затащил меня на такой сеанс. В вообразатор вкладывается прекс (предлагающая кассета), и в пустом пространстве перед аппаратурой появляется картина, то есть, собственно, не картина, а искусственная действительность, например Олимп с толпой греческих богов и богинь или что-нибудь более жизненное — двуколка, полная сиятельных особ, которых под улюлюкание толпы везут к гильотине. Или дети-сиротки, объедающиеся пряничной черепицей перед избушкой Бабы Яги. Или же, наконец, монастырская ризница, в которую вторглись татары или марсиане. А вот что будет дальше — зависит от зрителя. Под ногами у него две педали, в руке — управляющая рукоять. Сказку можно превратить в побоище, организовав восстание богинь против Зевса, а го-

* От *agios* — святой и *pneuma* — дуновение, дух (*греч.*).

** Мир хочет быть обманутым, следовательно, да будет обманут (*лат.*).

ловы, упавшие в корзину под гильотиной, снабдить крылышками, растущими из ушей, чтобы они куда-нибудь улетели, или дать им прирасти снова к телам, чтобы их воскресить. Можно вообще все. Ведьма делает из сироток котлеты, но может подавиться ими, а возможен и обратный ход событий. Гамлет может украсть золотой запас Дании и сбежать с Офелией (или Розенкранцем, если нажать клавишу «гомо»). Воображатор имеет клавиатуру, как у фисгармонии, только вместо звуков возникают различные эффекты. Инструкция — довольно толстая книжка, но и без нее легко обойтись. Достаточно несколько раз двинуть ручку, чтобы убедиться, что при нажиме влево включается сначала садомат, а потом извратитор. Толкнув ручку в другую сторону, получаем, наоборот, лиризм, сентиментальную слащавость и хеппи-энд. Если бы мы оба не были навеселе, эта забава наскучила бы нам очень скоро, но мы и так через четверть часа отправились спать. Санаторий приобрел двенадцать воображаторов, ими почти никто не пользовался. Доктора Хоуса это очень огорчало. Он приходил то к одному пациенту, то к другому и убеждал их дать волю воображению, ибо это лучшая психотерапия. Оказалось, однако, что ни один из миллионеров и миллиардеров никогда не слышал о Бабе Яге, греческой мифологии, Гамлете и средневековых монахах. В их понимании татары ничем не отличались от марсиан. Гильотину они чаще всего принимали за увеличенную машинку для обрезания сигар, а всё вместе, считали они, не стоит ломаного гроша. Доктор Хоус, видимо полагая это своим долгом, каждый день ходил в воображальню и, пересаживаясь с кресла на кресло, скрещивал Шекспира с Агатой Кристи, запикивал каких-то спелеологов в жерло вулкана и вытаскивал их оттуда живыми, невредимыми и с прекрасным загаром. Меня он тоже уговаривал, но я отказался. Я все еще ждал весточки от Лакса, а Грамер тоже как будто чего-то ждал и, вероятно, поэтому избегал меня. Возможно, у него не было новых инструкций. А в общем-то я чувствовал себя совсем неплохо, тем более что достиг прекрасного взаимопонимания с самим собой.

Х. КОНТАКТ

Был уже конец августа, и, зажигая вечером лампу на письменном столе, я обычно закрывал окно от ночных бабочек. К насекомым я отношусь скорее с неприязнью, за исключением, пожалуй, божьих коровок. От дневных бабочек я не в

восторге, но как-то их персношу, но вот ночные почему-то пугают меня. А как раз тогда, в августе, их развелось множество, и они безудстанно мелькали за окном моей комнаты. Некоторые были так велики, что я слышал, как они мягко ударяются о стекло. Сам вид их для меня неприятен, и я уже собирался задернуть занавески, как услышал стук — резкий и отчетливый, словно кто-то металлическим прутиком снаружи постукивал по стеклу. Я взял со стола лампу и подошел к окну. Среди беспорядочно трепещущих бабочек я заметил одну, совершенно черную, крупнее других, поблескивающую отраженным светом. Раз за разом она отлетала от окна, а затем ударяла в стекло с такой силой, что я чувствовал содрогание рамы. Больше того, у этой бабочки вместо головы было что-то вроде маленького клюва. Я смотрел на нее, как зачарованный, потому что она ударяла в окно не беспорядочно, а с равномерными интервалами, по три раза, затем отлетала на некоторое время и возвращалась снова, чтобы отстучать свое. Три точки, пауза, три точки, пауза — это повторялось долго, пока я не понял, что это буква S азбуки Морзе. Признаюсь, уже смутно догадываясь, что это не живое существо, я не сразу решился отворить окно: опасение, что я напущу в комнату обыкновенных бабочек, меня удерживало. Наконец я превозмог себя. Она мгновенно влетела через щель. Заперев окно, я отыскал ее взглядом. Она села на бумаги, устилавшие письменный стол. Она была без крыльев и теперь ничем не напоминала бабочку и вообще насекомое. Она выглядела скорее как черная блестящая маслина. Признаться, я непроизвольно отшатнулся, когда она непонятным образом взлетела и, зависнув в полуметре над столом, зажужжала. Поскольку она не вывелась из куколки, то уже не вызывала у меня отращения. Держа лампу в левой руке, я протянул правую за этой маслиной. Она позволила взять себя пальцами. Твердая — металлическая или пластиковая. Я снова различил жужжание: три точки, три тире, три точки. Приложив ее к уху, я услышал слабый, далекий, но отчетливый голос:

— Говорит сова, говорит сова. Слышишь меня?

Я вставил маслину в ухо и непроизвольно, сейчас же нашел правильный ответ:

— Говорит мышь, говорит мышь. Я слышу тебя, сова.

— Добрый вечер.

— Привет, — ответил я и, понимая, что разговор предстоит долгий, занавесил окно и еще раз повернул ключ в замочной скважине. Теперь я прекрасно слышал Лакса. Я узнал его голос.

— Мы можем говорить спокойно, — сказал он и тихонько засмеялся. — Нас никто не поймет, я применил scrambling* собственной разработки. Но все-таки лучше мне остаться совой, а тебе — мышью. О'кей?

— О'кей, — ответил я и погасил лампу.

— Разгадать открытку было не слишком трудно. Ты верно рассчитал. Я сразу понял, в чем дело.

— Но как ты наладил?..

— Мыши лучше об этом не знать. Мы переговариваемся неким воровским способом. Мышь должна убедиться, что партнер не подставной. Перед нами две разные части нашей головоломки. Сова начнет первой. Пыль — это вовсе не пыль. Это очень интересно построенные микрополимеры, обладающие сверхпроводимостью при комнатной температуре. Некоторые из них соединились с остатками того бедняги, который остался на Луне.

— И что это означает?

— Время точных ответов еще не пришло. Пока можно строить только догадки. По знакомству мне удалось достать шепотку порошка. У нас мало времени. То, благодаря чему мы можем беседовать, через полчаса зайдет за горизонт мыши. Днем я не мог откликнуться. Правда, тогда мы предполагали бы большим временем, но больше был и риск.

Мне было ужасно любопытно, каким образом Лакс сумел прислать ко мне это металлическое насекомое, но я понимал, что не должен спрашивать.

— Я слушаю, сова, продолжай.

— Мои опасения подтвердились, хотя и с обратным знаком. Я допускал, что из этой мешанины на Луне получится что-то новое, но не предполагал, что там возникает нечто, способное воспользоваться нашим посланцем.

— Нельзя ли яснее?

— Пришлось бы без надобности влезть в техническую терминологию. Я скажу то, что считаю наиболее правдоподобным, и настолько просто, насколько удастся. Произошла иммунологическая реакция. Не на всей поверхности Луны, разумеется, но по крайней мере в одном месте, и оттуда началась экспансия некроцитов. Так для себя я назвал *пыль*.

— Откуда взялись некроциты и что они делают?

— Из логико-информационных руин. Некоторые из них способны использовать солнечную энергию. Это в общем-то и неудивительно, ведь систем с фотоэлементами там было

* Здесь: способ смешивания сигналов (англ.).

очень много. Я считаю, что многие миллиарды. Все дело в том, что — как бы это сказать — Луна постепенно приобрела иммунитет ко всякого рода вторжениям. Только не думайте, будто там появился какой-то разум. Как известно, мы покорили силу тяготения и атом, но беспомощны перед насморком и гриппом. Если на Земле возник биоценоз, то на Луне — некроценоз. Изо всей той неразберихи взаимных подкопов и нападений. Одним словом, система, основанная на принципе щита и меча, без воли и ведома программистов, умирая, породила некроцитов.

— Но что они, собственно, делают?

— Сначала, я полагаю, они выполняли роль древнейших земных бактерий, то есть попросту размножались, и было их наверняка много видов, большинство из которых погибли, как и положено при эволюции. Через какое-то время выделились симбиотические виды. То есть действующие совместно, ибо это приносит взаимную выгоду. Но, повторяю, никакой разумности, ничего подобного. Они способны лишь к огромному числу превращений, как, скажем, вирусы гриппа. Однако земные бактерии — паразиты, а лунные — нет. Там просто не на ком паразитировать, если не считать тех компьютерных руин, из которых они вылупились. Но это был только их первоначальный корм. Дело осложнилось тем, что, пока программы еще действовали, произошло раздвоение всех видов оружия, которое там создавалось.

— Я понимаю. На оружие, поражающее живые цели, и на то, что уничтожает мертвого противника.

— Мышь весьма сообразительна. Именно так, пожалуй, и было. Но от первичных некроцитов, которые появились много лет назад, наверное, уже ничего не осталось. Некроциты превратились в селеноциты. Иначе говоря, чтобы сохраниться, они начали соединяться, приобретая все большую разносторонность, как, скажем, обычные бактерии, которые под действием антибиотиков совершенствуются, то есть усиливают свои инфекционные свойства и вырабатывают невосприимчивость к антибиотикам.

— А что на Луне выполняло роль антибиотиков?

— Об этом говорить долго. Прежде всего, опасными для селеноцитов оказались продукты военной автоэволюции, которые имели целью уничтожать любую «вражескую силу».

— Не совсем понятно.

— Хотя *сейчас* лунный проект вступил в агональную стадию, долгие годы там шла специализация и усовершенствование оружия, поначалу моделируемого, а затем и реального,

и некоторые виды оружия стали угрожать существованию селеноцитов.

— То есть они принимали их за «врага», которого надлежит уничтожить?

— Разумеется. Это был превосходный допинг. Наподобие пушек, из которых фармацевтическая промышленность стреляет по бактериям. Это резко ускорило темп эволюции. Селеноциты взяли верх, потому что оказались жизнеспособнее. Человек может страдать насморком, но насморк не может страдать человеком. Ясно, не так ли? Большие, усложненные системы играли там роль людей.

— И что дальше?

— Очень интересный и совершенно неожиданный поворот. Иммуитет из пассивного сделался активным.

— Не понимаю.

— От обороны они перешли к наступлению и этим значительно ускорили крах лунной гонки вооружений...

— Та пыль?

— Вот именно, пыль. А когда там остались лишь жалкие остатки великолепного Женевского проекта, селеноциты неожиданно получили подкрепление.

— Какое?

— Дисперсанта. Они использовали его. Не столько его уничтожили, сколько поглотили, или, лучше сказать, там произошел электронно-логический обмен информацией. Это была гибридизация, скрещивание.

— Как это могло произойти?

— Это не так уж и удивительно, ведь и я в качестве исходного материала выбрал силиконовые полимеры с полупроводниковой характеристикой, хотя и с другой, разумеется. Но адаптивность *моих* частичек была того же типа, что и приспособительные способности лунных. Дальнее, но все же родство. При одном и том же исходном материале результаты обычно получаются во многом сходными.

— И что теперь?

— В этом я еще не до конца разобрался. Ключом к решению может оказаться твоя посадка. Почему ты спустился на Море Зноя?

— В японском секторе? Не знаю. Не помню.

— Ничего?

— По сути, ничего.

— А твоя правая половина?

— И она тоже. Я уже могу с ней вполне нормально общаться. Но прошу сохранить это в тайне. Хорошо?

- Обещаю. Для верности я даже не спрашиваю, *как ты это делаешь*. Что она знает?
- Что, когда я вернулся на корабль, в кармане скафандра было полно этой пыли. Но откуда она там взялась, правая половина не знает.
- Ты мог сам набрать ее там, на месте. Вопрос — для чего?
- Судя по тому, что я услышал от тебя, так оно и было — вряд ли селеноциты сами забрались ко мне в карман. Но я ничего не помню. А что известно Агентству?
- Пыль вызвала сенсацию и панику. Особенно то, что она следовала за тобой повсюду. Ты знаешь об этом?
- Да. От профессора Ш. Он был у меня неделю назад.
- Уговаривал согласиться на обследование? И ты отказался?
- Прямо не отказался, но стал тянуть время. Здесь есть по крайней мере еще один: из другой группы. Он отсоветовал мне. Не знаю от чьего имени. Сам он прикидывается пациентом.
- Таких, как он, возле тебя весьма много.
- С какой целью селеноциты «следовали за мной»? Шпионили?
- Не обязательно. Можно быть носителем инфекции, не подозревая об этом.
- Но история со скафандром?
- Да. Это темное дело. Кто-то насыпал тебе пыль в карман или ты сам это сделал? Непонятно только зачем.
- Вы не знаете?
- Я не ясновидец. Ситуация достаточно сложная. *Зачем-то ты высадился. Что-то нашел. Кто-то пытался заставить тебя забыть о первом и о втором. Отсюда и каллотомия.*
- Значит, по крайней мере три антагонистические стороны?
- Важно не сколько их, а как их выявить.
- Но собственно, почему это так важно? Рано или поздно фиаско лунного проекта станет явным. И если даже селеноциты стали «иммунной системой» Луны, какое это может иметь влияние на Земле?
- Двойное. Во-первых — и это давно можно было предвидеть, — возобновление гонки вооружений. А во-вторых — и это главная неожиданность, — селеноциты начали интересоваться *нами*.
- Людями? Землей? То есть не только мной?
- Вот именно.

- И что они делают?
- Пока только размножаются.
- В лабораториях?
- Прежде чем наши ребята успели сориентироваться, что и как, они успели разнестись по всем странам света. За тобой пошла только малая часть.
- Значит, размножаются. И что же?
- Я уже сказал. Пока ничего. Величиной они — как ультравирус.
- А питаются чем?
- Солнечной энергией. По некоторым оценкам, их уже несколько миллионов — в воздухе, в океанах, везде.
- И они совершенно безвредны?
- До сих пор — совершенно. Что как раз и вызвало особенное беспокойство.
- Почему?
- Ну, это просто: не только с большой высоты, но и вблизи они выглядят, как обычный мелкий песок. Значит, если ты высадился там, для этого была причина, но какая? Вот что все хотят понять.
- Но если я ничего не помню — ни я, ни моя половина?
- Они не знают, что вы договорились друг с другом. А кроме того, бывают разные виды амнезии. Под гипнозом или в других специальных условиях можно извлечь из памяти человека то, чего он сам ни за что не вспомнит. А к тебе они подступают так мягко и осторожно из опасения, что шок, сотрясение мозга или другая травма повредят или вовсе сотрут то, что ты, возможно, знаешь, хотя и не можешь припомнить. Кроме того, наши люди никак не могут договориться о методике обследования... И это до сих пор играло в твою пользу.
- Пожалуй, теперь я уже вижу свое место в этой истории... но почему последующие разведки не дали результатов?
- Кто тебе это сказал?
- Мой первый гость. Невролог.
- Что конкретно сказал?
- Что разведчики, правда, вернулись, но Луна устроила для них представление. Так он выразился.
- Это неправда. Насколько я знаю, было три разведки, одна за другой. Две из них — телетронные, причем все теледубли были уничтожены. Моего уже не применяли, только обычных. У них были еще мини-ракеты, позволяющие выстреливать пробы грунта наверх, но из этого ничего не вышло.

— Кто их уничтожил?

— Неизвестно, потому что связь прерывалась очень быстро. Уже во время посадки в радиусе нескольких миль местность покрывалась чем-то вроде тумана или облака, непригодного для радаров.

— Это для меня новость. А третий разведчик?

— Высадился и вернулся с полной потерей памяти. Очнулся только на корабле. Так я слышал. Я не вполне уверен, что это правда. Я не видел его. Чем темнее становится ситуация, тем больше секретности. Поэтому я не знаю, привез ли он эту пыль. Предполагаю, что беднягу сейчас обследуют, но, видимо, безуспешно, если они по-прежнему так заботятся о тебе.

— И что же мне делать?

— На мой взгляд, дело хотя и плохо, но не безнадежно. По-видимому, довольно скоро селеноциты парализуют остатки лунных вооружений. Они действуют методом короткого замыкания В первую очередь уничтожают то, что угрожает им. Лунный проект, в сущности, уже списан в расход, однако суть не в этом. У нас несколько первоклассных информатиков считают, что Луна начинает интересоваться Землей. Их вывод: селеносфера вторгается в биосферу.

— Значит, все-таки вторжение?

— Нет. Мнения, правда, разделились, но скорее всего, — нет. Во всяком случае, это не вторжение в обычном смысле слова. Мы послали туда полчища разных джиннов в наглухо запечатанных бутылках, они вырвались наружу, начали бороться друг с другом, и, как побочный эффект, возникли мертвые, но необычайно активные микроорганизмы. Это не похоже на подготовку вторжения. Скорее уж на пандемию.

— Не вижу разницы.

— Попробую представить ситуацию образно. Селеносфера встречает любых пришельцев так же, как иммунная система — чужеродное тело. Антиген. Если даже не совсем так, у нас нет более подходящих аналогий. Разведчиков, которые высадились после тебя, снабдили оружием новейшего типа. Я не знаю подробностей, но это не было ни обычное оружие, ни ядерное. Агентство скрывает, что произошло на Луне, но пылевые облака были настолько велики, что их наблюдали и фотографировали во многих астрономических обсерваториях. Более того, когда облака осели, рельеф местности изменился. Появились выемки наподобие кратеров, хотя и ничем не напоминающие типичные лунные кратеры. Этого Агентство, конечно, утаить не могло, и потому оно просто

молчит. Штаб только тогда начал всерьез задумываться. Лишь тогда они осознали, что чем более сильными средствами воспользуются при разведке, тем энергичнее может оказаться ответный удар.

— Значит, все-таки...

— Нет, не «все-таки», ведь это не противник, не враг, а только нечто вроде гигантского муравейника. До меня дошли предположения настолько безумные, что мне не хочется их повторять. Нам пора заканчивать. Сиди, где сидишь. Пока у них есть хоть крупица разума, они ничего тебе не сделают. Сейчас я уезжаю на три дня, а в субботу в это же время подам знак, если смогу. Будь здоров, храбрый миссионер.

— До скорого, — ответил я Лаксу, не будучи уверен, что мои слова до него дошли, потому что наступила мертвая тишина. Я вынул из уха блестящую маслину и, поразмыслив, спрятал ее в коробке с помадками, завернув, как конфету, в фольгу. У меня было достаточно времени и материала для размышлений, но больше ничего. Перед тем как заснуть, я отдернул занавеску. Ночные бабочки уже улетели, наверное, привлеченные светом из окон других коттеджей. Луна проплывала сквозь белесые перистые облака. Устроили мы себе аттракцион, подумал я, натягивая на голову одеяло.

На утро Грамер постучал ко мне, когда я еще лежал в постели. И рассказал, что Паддерхорн вчера проглотил вилку. Он и раньше глотал столовые приборы — пытался покончить с собой. За ним постоянно надо было следить: неделю назад он проглотил рожок для обуви. Ему сделали эзофагоскопию. Ложку ему дали с полметра длиной, но он ухитрился стащить у кого-то вилку в столовой.

— Что, потери только в сервировке? — спросил я в меру вежливо. Грамер тяжело вздохнул, застегнул пижаму и сел на кресло возле меня.

— Нет, не только... — сказал он на удивление слабым голосом. — Плохо дело, Джонатан.

— Как для кого, Аделаида, — возразил я. — Во всяком случае, я не намерен что-либо глотать.

— Дело и в самом деле плохо, — повторил Грамер. Он сплел руки на животе и повертел пальцами. — Я боюсь за тебя, Джонатан.

— Не переживай, — ответил я, поправляя подушку и подкладывая под спину думку. — Я под надежной опекой. Ты, может, слышал о некроцитах?

Я так его ошарашил, что он замер с полуоткрытым ртом,

а лицо без всякого усилия с его стороны приняло то глуповатое выражение, которое обозначало у него безнадежный поиск миллионерской мечты.

— Вижу, что слышал. И о селеносфере, наверное, тоже? А? Или ты не удостоился еще посвящения в эти тайны? Может, тебе известно и о плачевной судьбе так называемого коллаптического оружия — в тех, последних экспедициях? И об этих тучах над Морем Зноя? Нет, этого тебе наверняка не сказали...

Он сидел и смотрел на меня рыбьими глазами, слегка посапывая.

— Будь добр, дай мне ту коробку конфет со стола, Аделаида, — попросил я с улыбкой. — Люблю, знаешь ли, съесть перед завтраком что-нибудь сладкое...

Поскольку он не тронулся с места, я выбрался из постели за конфетами и, вернувшись под одеяло, подsunул ему коробку, прикрыв ее угол большим пальцем.

— Прошу...

— Откуда ты знаешь? — отозвался он наконец хриплым голосом. — Кто... тебе...

— Напрасно нервничаешь, — сказал я не слишком разборчиво, потому что марципан прилип к нёбу. — Что знаю, то знаю. И не только о своих приключениях на Луне, но и о неприятностях коллег.

Он онемел снова и принялся озираться вокруг, словно впервые очутился в этой комнате.

— Радиостанцию ищешь, передатчики, укрытые провода, антенны и модуляторы, да? — спросил я. — Нет тут ничего, только вода все время из душа подтекает. Видно, прокладка изнасилась. Что ты удивляешься? Или ты вправду не знаешь, что *они* у меня *внутри*?

Он продолжал обалдело молчать. Потер вспотевший нос. Схватился за мочку уха. Я с нескрываемым сочувствием следил за этими жестами отчаяния.

— Может, споем что-нибудь на два голоса? — предложил я.

Конфеты были и в самом деле вкусными, приходилось следить, чтобы их не осталось слишком мало. Облизав губы, я опять посмотрел на Грамера.

— Ну давай, скажи что-нибудь, а то ты меня пугаешь. Ты опасался за меня, а теперь я боюсь за тебя. Думаешь, у тебя будут неприятности? Если обещаешь вести себя прилично, могу замолвить за тебя словечко, сам знаешь *где*.

Я блефовал. Но почему бы не поблефовать? Уже то, что

несколько слов совершенно выбили его из колеи, свидетельствовало о беспомощности его хозяев, кем бы они ни были.

— Обещаю не называть никаких имен и учреждений — у тебя, я вижу, и без того достаточно поводов для расстройств.

— Тихий... — простонал он наконец. — Ради Бога, не надо. Этого не может быть. *Они* вообще так не действуют.

— А разве я сказал — *как?* Я видел сон, и вообще по своей природе я ясновидец.

Грамер вдруг решил. Он прижал палец к губам и быстро вышел. Уверенный, что он вернется, я спрятал коробку в шкафу, под рубашками, и успел принять душ и побриться, прежде чем он легонько постучал. Шлафрок он сменил на свой белый костюм, а в руке держал порядочный сверток, обернутый купальным полотенцем. Задержав шторы, он принялся вытаскивать из свертка аппаратики, которые расставил черными раструбами в сторону стен. Свисающий из черного ящичка провод подсоединил к контакту и с чем-то там копался, усиленно сопя — следствие его толщины. Ему было, пожалуй, под шестьдесят, живот изрядный (и, по всей видимости, не фальшивый), огромные торчащие уши. Он еще некоторое время возился, стоя на коленях, и наконец выпрямился. Лицо его было налито кровью.

— Ну, теперь поговорим, — вздохнул он, — раз надо, так надо.

— О чем? — удивленно спросил я, натягивая через голову свою самую красивую рубашку с необычайно практичным темно-голубым воротничком. — Это ты говори, если тебя так приперло. Расскажи об опасениях, которые ты испытываешь из-за моей судьбы. О том субъекте, который уверял тебя, что я закупорен здесь надежней, чем муха в бутылке. Впрочем, говори что хочешь, выговорись передо мной, отведи душу. Увидишь, как тебе полегчает.

И сразу, ни с того ни с сего, как игрок в покер, который перекрывает кон джокером, я небрежно спросил:

— Ты из какого отдела, из четвертого?

— Нет, из пер... — Он осекся. — Что ты обо мне знаешь?

— Ну хватит. — Я сел на стул лицом к спинке. — Ты, может быть, думаешь, что я буду говорить, не требуя ничего взамен?

— Что я должен тебе рассказать?

— Может, начнем с Шапиро, — сказал я невозмутимо.

— Он из ЛА. Это факт.

— Он *только* невролог?

— Нет, у него есть и другая специальность.

— Дальше.

— Что тебе известно о некросфере?

— А тебе?

Дело снова запутывалось. Видимо, я пересолил. Если он и агент разведки, все равно какой, слишком много он знать не может. Выдающемуся эксперту вряд ли дали бы такое задание. Но дело было из ряда вон выходящим, и я мог ошибиться.

— Хватит играть в прятки, — проговорил Грамер. Вид у него был отчаянный. Белый пиджак пропотел под мышками насквозь. — Сядь-ка рядом со мной, — буркнул он, опускаясь на коврик.

Мы уселись на полу, словно собирались выкурить трубку мира в середине круга, образованного его аппаратиками и проволочками.

XI. DA CAPO*

Прежде чем он успел раскрыть рот, над нами раздался рокот мотора и большая тень проплыла по саду за моим окном. У Грамера расширились глаза. Грохот ослаб и через минуту вернулся. Прямо над деревьями, перемалывая воздух винтом, завис вертолет. Что-то бухнуло два раза, словно кто-то откупоривал гигантские бутылки. Вертолет висел так низко, что я различал людей в кабине. Один из них приоткрыл дверцу и третий раз выстрелил вниз из ракетницы. Грамер вскочил с пола. Я не думал, что он может так быстро двигаться. Он выбежал из комнаты и помчался что есть сил, задрал голову. Из вертолета выпало что-то блестящее и скрылось в траве. Рычание мотора усилилось, машина взмыла вверх и улетела. Грамер разгреб траву, открыл контейнер размером с футбольный мяч, что-то вынул из него и, не поднимаясь с колен, разорвал большой конверт. Известие было, очевидно, важным, бумага тряслась у него в руках. Потом он взглянул в мою сторону. Лицо его побледнело и изменилось. Выпрямляясь, еще раз поднес бумагу к глазам. Потом смял ее, спрятал за пазуху и медленно, не давая себе труда выйти на тропинку, пошел обратно напрямик, через газон. Войдя, без слов пнул самый большой из антиподслушивающих аппаратов, так, что в нем что-то треснуло и из щелей металлической коробки пошел синеватый дымок короткого замыкания. Я по-

* С начала (в музыке, *ит.*).

прежнему сидел на полу, а Грамер все топтал и топтал свои бесценные устройства, рвал провода, будто и впрямь сошел с ума. Наконец, запыхавшись, уселся в кресло, сняв перед тем пиджак и повесив его на моем стуле. И только тогда, словно только что меня увидел, посмотрел мне в глаза и громко застонал.

— Это только так, со злости, — разъяснил он не вполне вразумительно, — я, наверное, пойду на пенсию. Твоей карьере тоже конец. О Луне забудь. Шапиро можешь послать открытку. Можно даже на адрес Агентства. Какое-то время они еще будут там хозяйничать по инерции.

Я промолчал, подозревая, что это всего лишь новая игра. Грамер достал из кармана большой клетчатый платок, вытер вспотевший лоб и посмотрел на меня не то с сочувствием, не то с жалостью.

— Началось два часа назад и идет полным ходом, сразу, повсюду. Ты можешь себе представить? Умиротворили нас напрочь! Здесь и за океаном, от полюса до полюса и обратно! Глобальный ущерб — около девятисот миллиардов! Включая космос, потому что спутники вышли из строя первыми. Что ты так смотришь? — Голос его звучал раздраженно. — Не догадываешься? Я получил письмецо от дяди Сэма...

— Я слаб на догадки.

— Думаешь, мы все еще играем, да? Ничего подобного, братец. Игра окончена. Опиши свои приключения. Агентство, миссию, что угодно. За несколько недель заработаешь на всю оставшуюся жизнь. Железный бестселлер. И никто даже волоса на твоей голове не тронет. Только поторопись, а то ребята из Агентства тебя обскачут. Может, уже засели за воспоминания о минувшей эре.

— Что произошло?

— Все. Ты слышал когда-нибудь о Soft Wars?*

— Нет.

— А о Core Wars?*

— Это такие компьютерные игры?

— А, оказывается, знаешь! Да. Программы, которые уничтожают все другие программы. Изобрели их еще в восьмидесятые годы. Тогда это были глупые игрушки программистов. Под названием: инфекция интегральных схем. Так, забава. Дварф, Грипер, Райдер, Рипер, Дарвин и несколько других. Не знаю, какого черта я здесь сижу и излагаю тебе патологию

* Мягкие войны (англ.).

** Добросердечные войны (англ.).

цифроники? — удивился сам себе Грамер. — Сколько здоровья мне это стоило! Я должен был поймать тебя на крючок, а сейчас по доброте душевной просвещаю тебя вместо того, чтобы искать другую работу!

— Значит, дядюшка прислал тебе письмо вертолетом? Что, почта больше не работает? — спросил я. Мне все еще чудился очередной подвох. Грамер вытащил чековую книжку, нацарапал что-то поперек бланка, сложил из него бумажную стрелку и запустил мне на колени.

«Миссионеру на память от верной Аделаиды», — прочитал я.

— Во что теперь играем? — Я поднял на него глаза.

— Ничего другого не остается. Дядя передает привет и тебе, а как же. Почты уже нет. Нет вообще ничего. Ничего. — Он изобразил руками в воздухе круг. — Совсем ничего! Началось два часа назад, я же тебе говорю. И даже нет смысла искать виноватых. Твой профессор тоже стал безработным. Твой добрый старичок! Хорошо еще, что я успел купить дом. Буду разводить розы, может быть, овощи для натурального обмена. Банковское дело тоже развалилось. Душно мне...

Он принялся обмахиваться чековой книжкой. Потом поглядел на нее с отвращением и выбросил в корзину для бумаг.

— *Rex vobiscum*, — произнес он. — *Et cum spiritu tuo**.
Чтоб их черт побрал!

Что-то начинало проясняться. Его отчаяние было неподдельным.

— Это вирусы? — спросил я тихонько.

— Догадливым становишься... Именно так, храбрый миссионер. Разорил ты всех к чертовой матери. Ведь это ты притащил на Землю тот хитрый порошок. Сейчас тебе могут дать либо Нобелевскую премию мира, либо расстрел за всемирную государственную измену. Нобелевской ты вряд ли дождешься, но место в истории тебе гарантировано. Приволок заразу, а пагубную или спасительную — об этом будут препираться еще несколько лет. Так что ты найдешь себя в любой энциклопедии.

— Может быть, рядом с тобой? — предположил я. Мне не совсем еще было понятно, что за катастрофа произошла, но Грамер уже вовсе не играл. Я мог бы поручиться за это обеими половинками бедной своей головы.

— Была когда-то еще одна программа, Червячок,

* Мир вам... И со духом твоим (лат.).

Worm, — флегматично, словно проснувшись, заметил Грамер. — Ты, верно, знаешь, что теперь в моей профессии без высшего образования не продвнешься. Не то сейчас время, когда достаточно быть привлекательной женщиной, заманить гостя в постель, выкрасть документы, сфотографировать их в ванной и — айда на явку. Нет, теперь сначала докторская степень по математике, потом по информатике, потом высшие специальные курсы — полжизни, чтобы только начать.

— В качестве шпиона?

— Шпиона? — Он дважды просмаковал это слово и пренебрежительно пожал плечами. — Шпиона! — сказал он еще раз, оттянул обеими руками свои синие подтяжки в белую звездочку и несколько раз щелкнул ими по сорочке. — Не говори глупостей, — возразил он мягко. — Я высокооплачиваемый государственный служащий, функционер, защищающий высшие интересы. «Шпион» подходит ко мне не больше, чем кулак к носу. Но в конце концов это уже не имеет никакого значения. Так вот, из этих червивых программ возникла теория информационной эрозии — слышал о такой?

— С пятого на десятое.

— Ну понятно. Потом оказалось, что это изобрели вовсе не Профессора Компьютерных наук, а бактерии, примерно четыре миллиарда лет тому назад. Из-за плюс-минус двухсот миллионов лет спорить не будем. Ну и уже эти наидревнейшие клетки, каждая из них, обладали своей программой и грызлись и пожирали друг друга, потому что тогда еще не было никого, с кем мог бы приключиться герпес или рак. Однако наши выдающиеся эксперты этой аналогии даже не заметили. Колоссальный объем знаний начисто лишил их воображения. И только пару раз были предприняты такие попытки, в ходе скрытой конкурентной борьбы крупных консорциумов, — чтобы парализовать чужие компьютеры. Тогда и были созданы Battle programs*, ты, наверно, читал о них. Нет?

— Но это было давно...

— Сорок, а то и пятьдесят лет тому назад. Вот почему все пошло теперь прахом... Ведь кроме палки, кухонного ножа и пистолета не осталось никакого некомпьютеризированного оружия! Повсюду программы, программы, банки данных, и вот поэтому... Ты не пробовал кому-нибудь позвонить?

* Боевые программы (англ.).

— Сегодня нет. А что?

— А то, что автоматические телефонные станции тоже теперь не работают. Эти вирусы влезли сразу во все. Ты слушал радио?

— Нет. Я тут обхожусь без приемника.

— Разума у них нет. Это было ясно с самого начала. Ума у них, как у любого другого вируса. Но вирулентность — эрозийность — по максимуму! Не знаю, — пожаловался он стене, на которой пылали «Подсолнухи» Ван Гога, — зачем я сижу с тобой. Пойду погуляю, может, повешусь на этих проводах. — Он лягнул ближайший аппарат.

— То, что спереди выглядит замысловатой тайной, сзади просто, как проволока, — продолжал он. — Послали самые лучшие программы производства оружия на Луну? Послали. Они совершенствовались в течение икс лет? Еще как совершенствовались! Налетели друг на дружку на всех парах? Ясно, иначе и не могло быть. Кто победил? Как всегда, тот, кто в наименьшем объеме сосредоточил наибольшую вредность. Выиграли паразиты, эти молекулярные ничтожества. Даже не знаю, окрестили их уже как-нибудь или нет. Я бы предложил *Virus Lunaris Pacemfaciens**. Только хотелось бы знать, КАК и ЧТО заманило тебя на Луну, чтобы ты высадился там и привез эту благотворную чуму? Теперь можешь мне рассказать — приватно, потому что правительствам это уже без разницы.

— Уничтожены все программы? И компьютерные, и все, все? — спросил я, ошеломленный. Только теперь я начал сознавать размеры катастрофы.

— Да, это так, дорогой. Ты принес миру мор. Чуму из новеллы Эдгара По. Ты, ты ее привез! Не думаю, чтоб умышленно, — откуда тебе было знать? Мы провалились куда-то в девятнадцатый век. В техническом отношении и вообще. Представляешь? Правда, тогда все-таки были пушки. Теперь придется вытаскивать их из музеев.

— Подожди, Аделаида, — прервал я его. — Почему в девятнадцатый век? Тогда уже были неплохо вооруженные армии...

— Ты прав. Действительно, положение беспрецедентное. Примерно как после бесшумной атомной войны, в которой в распыл пошла вся инфраструктура. Промышленная база, связь, банковское дело, автоматизация. Уцелели только простые механизмы, но ни одному человеку, даже ни одной мухе

* Вирус лунный миротворящий (лат.).

не нанесено вреда. Хотя и это не так. Должно быть, произошло множество несчастных случаев, только из-за отсутствия связи об этом никто ничего толком не знает. Ведь и газеты давно уже не печатают по способу Гутенберга. Газетные редакции тоже хватили кондрашка. Даже не все приборы в автомобилях работают. Мой «кадиллак» уж точно — труп.

— Но он-то был казенный, так что не стоит печалиться.

— Да, — согласился Грамер, — теперь верх возьмут бедные. Четвертый мир — у них сохранились еще старые «ремингтоны», а может, даже и «лебели» образца тысяча восемьсот семидесятого года с патронами, наверно, и копыя, бумеранги, дубинки. Нынешнее «оружие массового уничтожения». Можно даже ожидать вторжения австралийских аборигенов. У себя они давно захватили власть. Ну, так можешь ты мне рассказать, зачем ты тогда высадился? Тебе что, жалко?

— Ты и в самом деле думаешь, я знаю? — удивился я, но не слишком, потому что вдруг ощутил, насколько незначительными стали и моя персона, и мое положение. — Я об этом понятия не имею и готов уступить тебе пять процентов своих гонораров за будущий бестселлер, если ты сумеешь *это* выяснить. С таким образованием ты должен переплюнуть Шерлока Холмса. Дедуцируй! Все улики известны тебе не хуже, чем мне самому...

Грамер меланхолически покивал головой.

— Не знает, видите ли, — сообщил он цветам Ван Гога, до которых добралось уже солнце. Они отбрасывали желтоватый отсвет на мою измятую постель. От сидения на корточках у меня заболели ноги, я встал, вынул из шкафа спрятанную за одеждой бутылку бурбона, из морозильника достал кусочки льда, налил себе и ему и предложил выпить за упоккой разоруженческих вооружений.

— У меня повышенное давление и диабет, — пожаловался Грамер, крутя в пальцах стаканчик. — Но один раз не считается. Пусть будет так. За наш умерший мир!

— Почему «умерший»? — запротестовал я.

Мы оба отхлебнули виски. Грамер поперхнулся, долго кашлял, потом отставил недопитый стакан и потер щеку. Я обратил внимание, как неряшливо он был побрит. Слабым голосом, будто вдруг постарев на десять лет, он сказал:

— И теперь тот, кто достиг вершин в компьютерной технике, упал ниже всех. Они сожрали все наши программы. — Он хлопнул себя по карману, в котором лежало письмо «от дяди Сэма». — Это тризна. Конец эпохи.

— Но почему же? Если против обычных вирусов есть лекарства...

— Не плети ерунды. Какое лекарство воскресит труп? Ведь от всех программ на земле, в воздухе, под водой и в космосе ничего не осталось. Даже это письмо им пришлось доставить на старом «белле», потому что в новых вертолетах все отказало. Чуть позже восьми это началось, а они, идиоты, думали — обычная зараза.

— И везде, одновременно?..

Тщетно я пытался и не мог представить себе весь этот хаос — в банках, аэропортах, конторах, министерствах, больницах, вычислительных центрах, университетах, школах, фабриках...

— Точно трудно сказать, потому что нет связи, но по тем сведениям, что до меня дошли, сразу везде.

— Как это могло получиться?

— Ты привез, похоже, личинки или споры. То есть зародыши, которые начали лавинообразно размножаться, пока не достигли определенной концентрации в воздухе, в воде, повсюду — и после этого активизировались. Лучше всего защищены были программы вооружений на Луне, так что с земными у них все пошло как по маслу. Тотальная битодемия. Паразитарный битоцид. Они не затронули только живое, потому что на Луне ни с чем живым не имели дела. Иначе они прикончили бы нас всех вместе с антилопами, муравьями, сардинами и травой в придачу. И вообще, оставь меня в покое. Мне уже надоело читать тебе лекции...

— Если все так, как ты говоришь, придется все начинать сначала — по-старому.

— Конечно. Через полгода или через год найдут противоядие против *Virus Lunaris Bitoclasticus**, приставят к нему соответствующие антивирусы, и мир начнет влезать в очередную кабалу.

— Так, может быть, ты не потеряешь место?

— С меня хватит, — возразил он категорически, — и не важно, хочу я или нет. Просто я слишком стар. Новая эра требует нового обучения. Антилунной информатике и тому подобному. Всю Луну, по-видимому, подогреют термоядерно, простерилизуют, и, хотя это в миллиарды обойдется, расходы оправдаются, будь спокоен.

— Для кого? — спросил я. Грамер вел себя странно, вроде бы прощаясь со мной, но никак не мог встать и уйти. Я

* Вирус лунный битопожиратель (лат.).

решил, что он попросту жалуется мне на судьбу, ведь я один во всем санатории знаю, кто он такой. Что же ему, к психиатрам идти со своей сломанной жизнью?

— Для кого? — повторил он. — Как для кого? Для всех производителей оружия, для всех отраслей военной промышленности. Повытаскивают из библиотек старые планы и чертежи. Сначала восстановят несколько классических устройств, ракет, а потом возьмутся за воскрешение компьютерных трупов. Ведь вся hardware* в сохранности, как хорошо законсервированная мумия. Только software** черти забрали. Подожди пару лет. Сам увидишь.

— История никогда не повторяется в точности, — заметил я и, не спрашивая, долил ему бурбона. Он выпил до дна и не поперхнулся, только лысина слегка покраснела. В солнечном луче, падающем через окно, играли маленькие блестящие мушки.

— Проклятые мухи, конечно же, не пострадали, — мрачно произнес Грамер. Он глядел в сад, где больные в цветных шлафроках и пижамах как ни в чем не бывало плелись по аллеям. Небо было голубое, солнце сияло, ветер шевелил кроны больших каштанов, и поливочные фонтаны мерно вращались, сверкая радугой в брызгах рассыпающейся воды. А в это время один мир рухнул и навсегда уходил в прошлое, и следующий еще не родился. Я не стал делиться с Грамером этой мыслью, посчитав ее слишком банальной. Только разлил по стаканам остаток спиртного.

— Хочешь напоить меня, — проворчал он, но выпил, отставил стакан, наконец поднялся, набросил пиджак на плечи и остановился, взявшись за ручку двери. — Если что-нибудь припомнишь, ты знаешь что... напиши. Сравним.

— Сравним? — повторил я, как эхо.

— Потому что у меня, в частном порядке, есть мыслишка на этот счет.

— Из-за чего я оказался на Луне?

— В известной степени, да.

— Так скажи.

— Не могу.

— Почему?

— Не положено. Принимал, того... присягу. Дружба дружбой... Мы с тобой были по разные стороны стола.

— Но ведь стол исчез. Не будь таким службистом. В конце концов я могу дать слово, что все останется в тайне.

* Аппаратура (англ.).

** Программное обеспечение (англ.).

— Ишь какой добрый! Напишешь, издашь и будешь уверять, что это память к тебе вернулась.

— Ну тогда давай вместе. Шесть процентов моих гоноров.

— Под письменное обязательство?

— Разумеется.

— Двадцать процентов!

— Ну, это ты хватил лишку.

— Я?

— Без тебя догадываюсь, что ты можешь мне сказать.

— А?

Он забеспокоился. Видно, слишком много глотнул знаний и слишком мало настоящей выучки. Я подумал, что он не слишком подходил для своей профессии, но решил ему об этом не говорить. Все равно он собрался на пенсию.

Грамер тем временем закрыл приоткрытую было дверь, выглянул, скорее по привычке, в окно, присел на край стола и почесал за ухом.

— Ну, скажи... — пробормотал он.

— Если скажу, не получишь и цента.

За его спиной зелнели сады. По аллее на инвалидной коляске ехал старый Паддерхорн с полуметровой ложкой в руке, держа ее, как древко знамени. Санитар, который вез коляску, курил его сигару. В нескольких шагах за ними шел телохранитель Паддерхорна, в одних шортах, мускулистый, бронзово-загорелый, в белой шляпе с большими полями, уткнувшись на ходу в цветной комикс. На полурасстегнутом поясе болталась кобура и била его по бедру.

— Ну, говори или прощай, старина, — предложил я. — Ты же знаешь, что Агентство будет опровергать все, что я обнародую...

— Но если ты укажешь на меня как на источник информации, у меня будут неприятности...

— Ничто так не утешает в случае неприятностей, как деньги. А то действительно назову тебя, если *ничего* не скажешь... Мне вообще кажется, что тебе следует подлечиться. Нервное расстройство. Это заметно. Ну, что ты так смотришь? Ты мне уже все сообщил.

Он сокрушенно молчал. Щеки у него дрожали. Мне даже стало немножко жаль его.

— Не сошлешься на меня?

— Я изменю твое имя и внешность.

— Но они все равно меня узнают.

— Не обязательно. Думаешь, тебя одного ко мне приста-

вили? Так что, значит, все это было ваших рук дело? Вызов на Луну?

— Никакое не «наше». Мы не имеем ничего общего с Лунным Агентством. Это они!

— Как и зачем?

— Точно не знаю как, но знаю зачем. Чтобы ты не вернулся. Если бы ты там исчез, все осталось бы по-старому.

— Но ведь не навсегда. Раньше или позже...

— О том была и речь, чтобы «позже». Они боялись твоего рапорта.

— Допустим. А эта пыль? Откуда она взялась в моем скафандре? Как они могли это предвидеть?

— Предвидеть, конечно, не могли, но у Лакса были свои опасения. Поэтому он так темнил со своим дисперсантом.

— И до вас это дошло?

— Его ассистент — наш сотрудник. Лаугер.

Я вспомнил первый разговор с Лаксом. Он действительно говорил, что кто-то из сотрудников его подсиживает. Вся история предстала в новом свете.

— Каллотомия — это тоже они?

— Понятия не имею. — Он пожал плечами. — Ты этого никогда не узнаешь. И никто не узнает. При такой высокой ставке правда перестает существовать. Остаются одни гипотезы. Различные версии. Как было с Кеннеди.

— С президентом?

— Здесь ставка повыше. Весь мир! Выше не бывает! А теперь напиши, что обещал...

Я достал из ящика бумагу и авторучку. Грамер стоял, повернувшись к окну. Я подписался и подал ему расписку. Он взглянул и удивился:

— Ты не ошибся?

— Нет.

— Десять?

— Десять.

— Добро за добро. Ты добавил, и я тебе добавлю. Дисперсант *должен был* заманить тебя на Луну.

— Ты хочешь сказать, что Лакс?.. Не верю!

— Не Лакс. Он ничего не знал. Лаугер знал все схемы. К полутора десяткам программ добавил еще одну. Это было трудно. Он же программист.

— Значит, все-таки из-за вас?

— Нет. Он работал на три стороны сразу.

— Лаугер?

— Лаугер. Но он был нам нужен.

— Ну хорошо. Дисперсант вызвал меня. Я высадился. Но откуда этот песок?

— Случайный фактор. Никто этого не предусмотрел. Если ты не вспомнишь, что там произошло, никто уже в этом не разберется. Никогда.

Он сложил листок вдвое, спрятал его в карман и кивнул мне с порога:

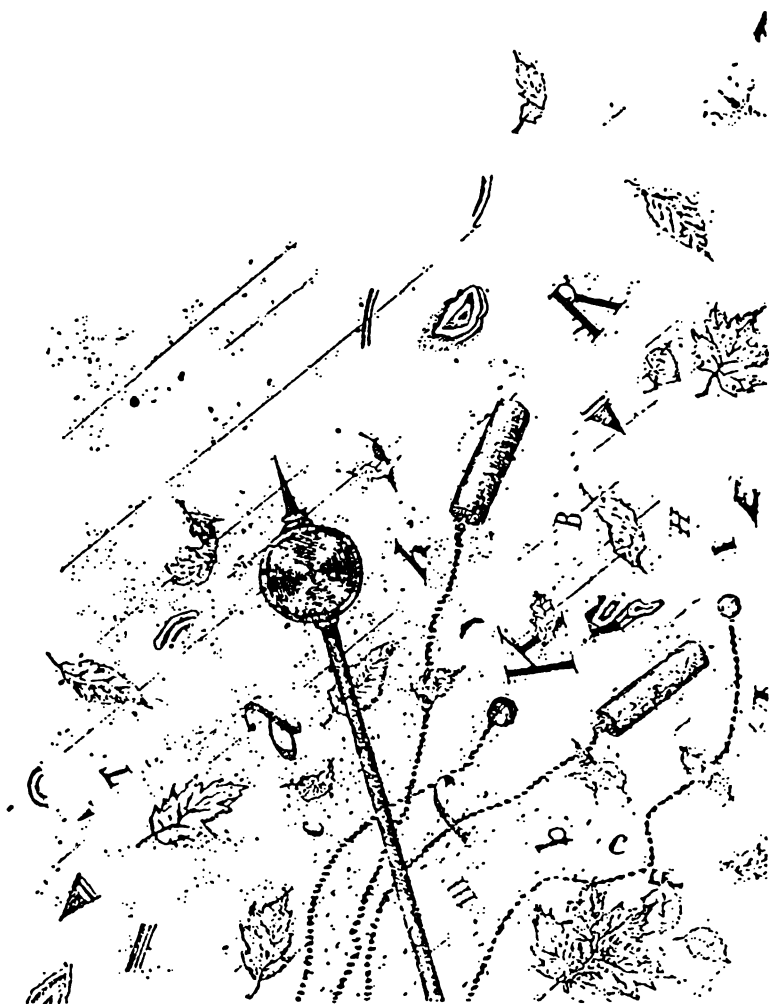
— Держись!

Я смотрел, как он шел к главному корпусу. Прежде чем он пропал за живой изгородью, моя левая рука взяла правую и пожала ее. Не скажу, чтобы этот знак одобрения меня утешил. Но, так или иначе, надо было жить дальше.

Май 1984

Формула Лимфатера

рассказ



— Милостивый государь... минутку Простите за навязчивость... да, знаю... мой вид... но я вынужден просить... нет, ах нет. Это недоразумение. Я шел за вами? Да. Это правда. От книжного магазина, но только потому, что видел сквозь витрину... вы покупали «Биофизику» и «Абстракты»... и когда вы здесь сели, я подумал, что великолепный случай... если б вы позволили мне проглядеть... и то, и другое. Но главное — «Абстракты». Для меня это — жизненная необходимость, я... не могу себе позволить... что, впрочем, видно по мне, правда?.. Я просмотрю и сейчас же верну, много времени это не займет. Я ищу только одно... определенное сообщение... Вы мне дадите? Не знаю, как благодарить... я лучше выйду... идет кельнер, мне бы не хотелось, чтобы... я перелистаю на улице, вон там, напротив, видите? Там есть скамейка... и немедленно... Что вы сказали? Нет, ради бога, не надо... вам не следует меня приглашать... Правда... Хорошо, хорошо, я сяду. Простите? Да, разумеется, можно кофе. Что угодно, если так необходимо. О, нет! В самом деле нет. Я не голоден.

Возможно, мое лицо... но это видимость. Могу я посмотреть здесь... хоть это невежливо?.. Спасибо. Это последний номер... Нет, я уж вижу, что в «Биофизике» ничего нет. А здесь... Так... так... ага... Криспен — Новиков — Абдергартен — Сухима, подумать только, уже второй раз... ох!.. Нет. Это не то. Ничего нет. Ладно... возвращаю с благодарностью. Снова я могу быть спокоен — на две недели... Это все. Пожалуйста, не обращайтесь на меня внимания... Кофе? Ах, правда, кофе. Да, да. Благодарю. Я буду молчать. Я не хотел бы навязываться, назойливость со стороны такого индивидуума, как я... простите? Да, наверно, это кажется странным — такие

Formula Limfatera, 1961

© В. Ковалевский, перевод, 1963

интересы при таком, *gm, exterieur**... но, ради бога, только не это. Почему же вы должны передо мной извиняться? Большое спасибо, нет, я предпочитаю без сахара. Привычка тех лет, когда я не был еще так болтлив... вы не хотите читать? Видите ли, я думал... Ах, этакое ожидание в глазах?.. Нет, не взамен. Ничего взамен, с вашего разрешения; конечно, я могу рассказать. Опасаться мне нечего. Нищий, который изучает «Биофизический журнал» и «Абстракты». Забавно. Я отдаю себе в этом отчет. От лучших времен у меня сохранилось еще чувство юмора. Чудесный кофе. Похоже на то, что я интересуюсь биофизикой? Собственно, не совсем так. Мои интересы... не знаю, стоит ли... только не думайте, что я ломаюсь. Как? Это вы? Это вы опубликовали в прошлом году работу о комитантах афиноров с многократной кривизной? Я точно не помню названия, однако это было любопытно. Совершенно иначе, чем у Баума. Хелловой в свое время пытался над сим потрудиться, но у него не вышло. Нескладная штука, эти афиноры... вы ведь знаете, как зыбки неголономные системы... можно утонуть, в математике так бывает всегда, когда человек жаждет наспех штурмовать ее, схватить быка за рога... да. Я уже давно должен был представиться. Лимфатер. Аммон Лимфатер — так меня зовут. Пожалуйста, не удивляйтесь моему разочарованию. Я его не скрываю — не к чему. Со мной это случалось уже много раз и все-таки каждый раз сызнова — хоть и немного — но больно. Я все понимаю... последний раз я печатался... двадцать лет назад. Вероятно, вы тогда еще... ну, конечно. А все-таки? Тридцать лет? Ну что ж, тогда вам было десять: ваши интересы, скорей всего, были направлены в другую сторону... А потом? Боже милосердный, я вижу, вы не настаиваете. Вы деликатны, я сказал бы даже, что вы стараетесь относиться ко мне как... к коллеге. Ах, что вы! Я лишен ложного стыда. Мне хватает настоящего. Ладно. История настолько невероятна, что вы будете разочарованы, — ибо поверить мне невозможно, — нет, нельзя. Уверяю вас. Я уж не раз ее рассказывал. И в то же время отказывался сообщить подробности, которые могли бы засвидетельствовать ее правдивость. Почему? Вы поймете, когда услышите все. Получится длинно — простите, я вас вредупредил. Вы сами хотели. Началось это без малого тридцать лет назад. Я окончил университет и работал у профессора Хааве. Ну, разумеется, вы о нем слышали. Знаменитость! Весьма рассудительная знаменитость. Он не любил риско-

* Внешнем виде, облике (*фр.*).

вать. Никогда не рисковал. Правда, он позволял нам — я был его ассистентом — заниматься кое-чем сверх программ; но в принципе — нет! Пусть это будет только моя история. Разумеется, она связана с судьбами других людей, но у меня есть склонность к болтливости, от которой мне на старости лет трудно удерживаться. В конце концов, мне шестьдесят лет, выгляжу я еще старше, вероятно, и из-за того, что собственными руками...

*Incipiam**. Итак, это было в семидесятых годах. Я работал у Хааве, но интересовался кибернетикой. Вы ведь знаете, в чужом саду яблоки слаще. Кибернетика занимала меня все больше и больше. В конце концов шеф уже не смог этого стерпеть. Ничего удивительного. Тогда я тоже не удивлялся. Мне пришлось немного похлопотать, и в конце концов я устроился у Дэймона. Дэймон, вы о нем тоже, наверно, слышали, принадлежал к школе Мак Каллоха. К сожалению, он был ужасно безапелляционен. Великолепный математик, воображаемыми пространствами прямо-таки жонглировал, мне страшно нравились его выкладки. У него была такая забавная привычка — прорычать конечный результат подобно льву... но это не важно. У него я работал год, читая и читая, — знаете, как это бывает: когда выходила новая книга, я не мог дождаться, пока она попадет в нашу библиотеку, бежал и покупал ее. Я поглощал все. Все... Дэймон, правда, считал меня подающим надежды... и так далее. У меня было одно неплохое качество, уже тогда — феноменальная память. Знаете, я могу вам хоть сейчас перечислить названия всех работ, опубликованных нашим институтом на протяжении двенадцати лет год за годом. Даже дипломных... Сейчас я только помню, тогда — запоминал. Это позволяло мне сопоставлять различные теории, точки зрения — ведь в кибернетике велась тогда свирепая священная война, и духовные дети великого Норберта кидались друг на друга так, что... Но меня грыз какой-то червь... Моего энтузиазма хватало на день: что сегодня меня восхищало, завтра начинало тревожить. О чем шла речь? Ну, как же — о теории электронных мозгов... Ах, так? Буду откровенен: знаете, это даже хорошо, мне не придется чрезмерно беспокоиться о том, чтобы неосторожно упомянутой подробностью... да что вы! Ведь это было бы оскорблением с моей стороны! Я не опасаюсь никакой... никакого плагиата, вовсе нет, дело гораздо серьезнее, сами увидите. Однако я все говорю обиняками... Правда, вступление необ-

* Начнем (*лат.*).

ходимо. Так вот: вся теория информации появилась в головах нескольких людей чуть ли не за несколько дней, вначале все казалось относительно простым — обратная связь, гомеостаз, информация как противоположность энтропии, — но вскоре обнаружилось, что все это не удастся быстро уложить в систему, что это — трясина, математическая топь, бездорожье. Начали возникать школы. Практика шла своим путем — строили всякие там электронные машины для вычислений, для перевода, машины обучающиеся, играющие в шахматы... А теория — своим, и вскоре инженеру, который работал с такими машинами, было уже трудно найти общий язык со специалистом по теории информации... Я сам едва не утонул в этих новых отраслях математики, которые возникали, как грибы после дождя, или, скорее, как новые инструменты в руках взломщиков, пытающихся вскрыть панцирь тайны... но это все-таки восхитительные отрасли, правда? Можно обладать некрасивой женщиной или обычной и завидовать тем, кто обладает красавицами, но в конце концов женщина есть женщина; зато люди, равнодушные к математике, глухие к ней, всегда казались мне калесками! Они беднее на целый мир — такой мир! Они даже не догадываются, что он существует! Математическое построение — это безмерность, оно ведет куда хочет, человек будто создает его, а в сущности, лишь открывает ниспосланную неведомо откуда платоновскую идею, восторг и бездну, ибо чаще всего она ведет в никуда... В один прекрасный день я сказал себе: довольно. Все это великолепно, но мне великолепия не нужно, я должен начать с самого начала, дойти до всего сам, абсолютно, словно на свете никогда не было никакого Винера, Неймана, Мак Каллоха... И вот, день за днем я расчистил свою библиотеку, свирепо расчистил, записался на лекции профессора Хайатта и принялся изучать неврологию животных. Знаете, с моллюсков, с беспозвоночных, с самого начала... Ужасное занятие; ведь все это, собственно, описания — они, эти несчастные биологи и зоологи, в сущности, ничего не понимают. Я видел это превосходно. Ну, а когда после двух лет тяжелого труда мы добрались до структуры человеческого мозга, мне хотелось смеяться. Правда! Смотрел я на все эти работы и микрофотографии Рамон-и-Кахала, эти черненные серебром разветвления нейронов коры... дендриты мозжечка, красивые, словно черные кружева... и разрезы мозга, спинного и головного — их были тысячи, среди них старые, еще из атласов Виллигера — и говорю вам: я смеялся! Да ведь они были поэтами, эти анатомы, послушайте только, как они наименовали все эти

участки мозга, назначения которых вообще не понимали: рог Гиппокампа, рог Аммона... пирамидные тельца... шпорная борозда...

На первый взгляд это не имеет отношения к моему рассказу. Но только на первый взгляд, ибо, видите ли, если б меня не удивляли многие вещи, которые абсолютно не удивляли... даже не привлекали внимания других... если бы не это, я наверняка был бы сейчас склеротическим профессором и имел бы сотни две работ, которых никто не помнит, — а так...

Речь идет о так называемом наитии. Откуда оно у меня взялось, понятия не имею. Инстинктивно — долгие годы, пожалуй, всегда, — все представляли себе, что существует... что можно принимать во внимание лишь один тип, один вид мозга — такой, каким природа снабдила человека. Ну, ведь homo* — существо такое умное, высшее, первое среди высших, владыка и царь творения... Да. И поэтому модели — и математические, на бумаге, — Рашевского, — и электронные — Грея Уолтера — все они возникли sub summus auspiciis** человеческого мозга — этой недостижимой, наиболее совершенной нейронной машины для мышления. И простодушные тешили себя иллюзией, что если удастся когда-нибудь создать механический мозг, который сможет соперничать с человеческим, то, разумеется, лишь потому, что конструктивно он будет абсолютно подобен человеческому.

Минута непредвзятого размышления обнаруживает безбрежную наивность этого взгляда. «Что такое слон?» — спросили у муравья, который слона никогда не видел. «Это очень, очень большой муравей», — отвечал тот... Что вы сказали? Сейчас тоже? Я знаю, это по-прежнему догма, все продолжают так рассуждать, потому-то Корвайсс и не согласился опубликовать мою работу — к счастью, не согласился. Это я сейчас так говорю, а тогда, — тогда, разумеется, я был вне себя от гнева... эх! Ну, вы понимаете. Еще немного терпения. Итак, наитие... Я вернулся к птицам. То была, надо вам сказать, прелюбопытная история. Вы знаете? Эволюция шла различными путями: ведь она слепа, она — слепой скульптор, который не видит собственных творений и не знает — откуда ей знать? — что с ними будет дальше. Говоря фигурально, похоже, будто природа, проводя неустанные опыты, то и дело забредала в глухие тупики и тогда попросту оставляла там эти свои незрелые создания, эти неудачные плоды эксперимен-

* Человек (лат.).

** Под верховным руководством (лат.).

тов, которым не светило ничего, кроме терпения: ибо все тянулось сотни миллионов лет... — а сама она принималась за новыс. Человек является человеком благодаря так называемому новому мозгу, неоэнцефалону, но у него есть и то, что служит мозгом у птиц, — полосатое тело, корпус стриатум; у него оно задвинуто вглубь, придавлено этим большим шлемом, этой все покрывающей мантией нашей гордости и славы, корой мозга... Может, я немного и насмешничаю, бог весть почему. Значит, было так: птицы и насекомые, насекомые и птицы — вот что не давало мне покоя. Почему эволюция споткнулась? На чем она споткнулась? Почему нет разумных птиц, мыслящих муравьев? А очень бы... знаете ли, стоит только прикинуть: если б насекомые пошли в своем развитии дальше, человек им в подметки не годился бы, ничего бы он тут не поделал, не выдержал бы конкуренции — где там! Почему? Ну, а как же? Ведь птицы и насекомые, в разной степени, правда, появляются на свет с готовыми знаниями, такими, какие им нужны, разумеется, — по Сеньке и шапка. Они почти ничему не должны учиться, а мы? Мы теряем половину жизни на обучение, чтобы во вторую половину убедиться, что три четверти того, чем мы набили свою голову, бесполезный балласт. Вы представляете себе, что было бы, если б ребенок Хайатта или Эйнштейна мог появиться на свет с познаниями, унаследованными от отца? Однако он глуп, как любой новорожденный. Обучение? Пластичность человеческого разума? Знаете, я тоже верил в это. Ничего удивительного. Если тебе еще на школьной скамье без конца повторяют аксиому: дескать, человек именно потому и человек, что он появляется на свет подобным чистой странице и должен учиться даже ходить, даже хватать рукой предметы; что в этом заключается его сила, отличие, превосходство, источник мощи, а не слабости, и доколе вокруг ты видишь величие цивилизации, — то ты веришь в это, принимаешь как очевидную истину, о которой нет смысла спорить.

Я, однако, все возвращался мыслями к птицам и насекомым. Как это происходит — каким образом они наследуют готовые знания, передаваемые из поколения в поколение? Было известно лишь одно. У птиц нет, в сущности, коры, то есть кора не играет большой роли в их нейрофизиологии, а у насекомых ее нет совершенно — и вот насекомые приходят на свет с полным почти запасом знаний, необходимых им для жизни, а птицы — со значительной их частью. Отсюда следует, что кора — не что иное, как почва для обучения, этого... этого препятствия на пути к величию. Ведь в противном слу-

час знания так бы умножались, что праправнук какого-нибудь Леонардо да Винчи стал бы мыслителем, в сравнении с которым Ньютон или Эйнштейн показались бы крестинами! Извините. Я увлекся. Итак, насекомые и птицы... Птицы. Тут все было ясно. Они произошли, как известно, от ящеров и, значит, могли только развивать тот план, ту конструктивную предпосылку, которая заключалась в ящерах: архистриатум, паллидум — эти части мозга были уже даны, у птиц, собственно, не было никаких перспектив, и прежде чем первая из них поднялась в воздух, дело было проиграно. Решение компромиссное: немного нервных ядер, немного коры — ни то ни се, компромиссы нигде не окупаются, в эволюции тоже. Насекомые — вот здесь дело обстояло иначе. У них были шансы: эта симметричная, параллельная структура нервной системы; парные брюшные мозги... от которых мы унаследовали рудименты — наследство, которое не только загублено, но и преобразовано... — чем они занимаются у нас? Управлением вашими кишками! Но — обратите внимание, очень прошу! — они все умеют с самого рождения; эти системы — симпатическая и парасимпатическая — с самого начала знают, как управлять работой сердца, внутренних органов; да, вегетативная система все умеет, она умна изначально. И ведь никто над этим не задумывался, а?.. Так оно есть — а иначе и быть не может, если поколения появляются и исчезают, ослепленные верой в свое мнимое совершенство. Хорошо, но что с ними случилось — с насекомыми? Почему они так жутко застыли, откуда такая их механичность, и тот паралич развития, и тот внезапный конец, который наступил почти миллиард лет назад и навсегда остановил их, но не был достаточно мощным, чтоб их уничтожить? Э, что там! Их возможности погубил случай. Абсолютная, глупейшая случайность... Дело в том, что насекомые происходят от первичнотрахеиных. А первично трахеиные вышли из океана на сушу, уже имея сформировавшуюся дыхательную систему: эволюция не может, как инженер, неудовлетворенный творением, разобрать свою машину на части, нарисовать новый чертеж и заново складывать все эти несчастные детали, начиная с нуля. Эволюция не способна на это. Ее творчество выражается лишь в поправках, усовершенствованиях, доработках... Одна из них — кора мозга... Трахеи — вот что было проклятием насекомых! У них не было легких, были трахеи, и потому насекомые не могли развить активно действующий дыхательный аппарат, понимаете? Ну, ведь трахеи — просто система трубок, распахнутых на поверхности

тела, и они могут дать организму лишь то количество кислорода, какое самотеком пройдет через отверстия... Вот почему. Впрочем, это, разумеется, вовсе не мое открытие. Но об этом говорят невнятно: мол, несущественно. Фактор, благодаря которому был устранен самый опасный соперник человека... О, к чему может привести слепота! Если тело превысит определенные, поддающиеся точному исчислению размеры, то трахеи уже не смогут доставлять необходимого количества воздуха. Организм начнет задыхаться. Эволюция — конечно же! — приняла меры: насекомые остались небольшими. Что? Огромные бабочки мезозоя? Весьма яркий пример математической зависимости... непосредственного влияния простейших законов физики на жизненные процессы... Количество кислорода, попадающего внутрь организма через трахеи, определяется не только диаметром трахей, но и скоростью конвекции... а она, в свою очередь, — температурой; так вот, в мезозойскую эру, во время больших потеплений, когда пальмы и лианы заполнили даже окрестности Гренландии, в тропическом климате вывелись эти большие, с ладонь величиной, бабочки — то были, однако, эфемериды, их погубило первое же похолодание, первая серия менее жарких, дождливых лет... Кстати сказать, и сегодня самых больших насекомых мы встречаем в тропиках... но и это маленькие организмы; даже самые большие среди них — малютки в сравнении со средним четвероногим, позвоночным... Размеры их нервной системы ничтожны — ничего не удалось сделать, эволюция была бессильна.

Первой моей мыслью было построить электронный мозг по схеме нервной системы насекомого... какого? Ну, хотя бы муравья. Однако я сразу сообразил, что это просто глупая затея, что я собираюсь идти путем наименьшего сопротивления. Почему я, конструктор, должен повторять ошибки эволюции? Я снова занялся фундаментальной проблемой: обучением. Учатся ли муравьи? Конечно, да: у них можно выработать условные рефлексы, это общеизвестно. Но я думал о чем-то совершенно ином. Не о тех знаниях, которые они наследуют от своих предков, нет. О том, совершают ли муравьи такие действия, которым их не могли обучить родители и которые они тем не менее могут выполнить без всякого обучения! Как вы смотрите на меня... Да, я знаю. Тут мои слова начинают пахнуть безумием, да? Мистикой какой-то? Откровение, которое дано было постичь муравьям? Априорное знание о мире? Но это лишь вступление, начало, лишь азы методологии моего сумасшествия. Пойдем дальше.

В книгах, в специальной литературе вообще не было ответа на такой вопрос, ибо никто в здравом уме его не ставил — просто не решился бы. Что делать? Ведь не мог же я стать мирмекологом* только для того, чтобы ответить на один — предварительный — вопрос. Правда, он решал «быть или не быть» всей моей концепции, однако мирмекология — обширная дисциплина, мне пришлось бы опять потратить три, а то и четыре года; я чувствовал, что не могу себе этого позволить. Знаете, что я сделал? Отправился к Шентарлю. Ну как же, имя! Для вас он — каменный монумент, но он и тогда, в мои молодые годы, был легендой! Эмеритальный** профессор, не преподает уже четыре года, тяжело болен. Белокровие. Ему продлевают жизнь месяц за месяцем, но все равно ясно, что конец его близок. Я набрался смелости. Позвонил ему... скажу прямо: я бы позвонил, даже если бы он уже агонизировал. Такой безжалостной, такой уверенной в себе бывает лишь молодость. Я, совершенно никому не известный щенок, попросил его побеседовать со мной. Сказал, что для меня это вопрос жизни. Он велел мне прийти, назначил день и час. Он лежал в кровати.

Кровать стояла у шкафов с книгами, и над ней было укреплено особым образом зеркало и эдакое механическое приспособление, вроде длинных щипцов, чтоб он мог, не вставая, взять с полок любую книгу, какую захочет. И как только я вошел, и поздоровался, и посмотрел на эти тома — увидел Шеннона, и Мак Кся, и Артура Рубинштейна, того самого, сотрудника Винера, — знаете, я понял, что он-то и есть тот человек, который мне нужен. Мирмеколог, который знал всю теорию информации, — великолепно, правда?

Он сказал мне без предисловий, что очень слаб и что временами у него гаснет сознание, поэтому он заранее извиняется передо мной, а если потребуется, чтоб я повторил что-нибудь, он даст мне знак. И чтоб я сразу начал с сути дела, так как он не знает, долго ли будет сегодня в сознании.

Ну что же, я выстрелил сразу из всех моих пушек, мне было двадцать семь лет, можете себе представить, как я говорил! Когда в цепи логических рассуждений не хватало звена, его заменяла страстность. Я высказал ему все, что думаю о человеческом мозге, не так, как вам, — уверяю, что я не подбирал слов! О перипетиях паллидума и стриатума, о палеоэнцефалоне, о брюшных узлах насекомых, о птицах и муравьях,

* Энтомолог, специалист по биологии муравьев.

** Заслуженный профессор-пенсионер (от *emeritus* — лат.).

пока не подошел к этому злополучному вопросу: знают ли муравьи что-то, чему они не учились, и что, вне всякого сомнения, не завещали им предки? Знает ли он случай, который подтверждал бы это? Видел ли он что-либо подобное за восемьдесят лет своей жизни, за шестьдесят лет научной деятельности? Есть ли, по крайней мере, шанс, хотя бы один из тысячи?

А когда я оборвал речь вроде бы посередине, еще не успев понять, что это уже конец моих рассуждений — ведь я ничего не готовил заранее, не думал о форме, — запыхавшийся, попеременно то краснея, то бледнея, я вдруг почувствовал слабость и, впервые, — страх. Шентарль открыл глаза. Все это время они были закрыты.

— Жалею, что мне не тридцать лет.

Я ждал, а он опять закрыл глаза и заговорил лишь через минуту:

— Лимфатер, вы хотите добросовестного, искреннего ответа, да?

— Да, — сказал я.

— Слыхали вы когда-нибудь об *Acanthis Rubra*?

— *Willinsoniana*? — спросил я. — Да, слышал: это красный муравей из бассейна Амазонки...

— А! Вы слышали?! — произнес он таким тоном, словно сбросил с плеч лет двадцать. — Вы слышали о нем? Ну, так что же вы еще мучаете старика своими вопросами?

— Да ведь, господин профессор, то, что Саммер и Виллинсон опубликовали в «Актах», было встречено сокрушительной критикой...

— Понятно, — сказал он. — Как же могло быть иначе? Взгляните-ка, Лимфатер... — Он показал своими щипцами на шесть черных томов монографии, принадлежавшей его перу. — Если б я мог, — сказал он, — я взялся бы за это сызнова. Когда я начинал, не было никакой теории информации, никто не слышал об обратной связи, Вольтерру большинство биологов считало безвредным безумцем, а мирмекологу было достаточно знать четыре арифметических действия... Эта малютка Виллинсона — очень любопытное насекомое, коллега Лимфатер. Вы знаете, как это было? Нет? Виллинсон вез с собой живые экземпляры; когда его джип засел в расселине меж утесов, они расползлись и там — на каменистом плоскогорье! — сразу принялись за дело так, будто всю жизнь провели среди скал, а ведь это муравьи из Амазонии, они никогда не покидают зоны джунглей!

— Ну хорошо, — сказал я. — Однако Лорето твердит, что

отсюда следует лишь вывод об их горном происхождении: что у них были предки, которые обитали в пустынных краях...

— Лорето — осел, — спокойно ответил старик, — и вам следует об этом знать, Лимфатер. Научная литература в наши времена так обширна, что даже в своей области нельзя прочесть всего, что написали твои коллеги. «Абстракты»? Не говорите мне об «Абстрактах»! Эти аннотации не имеют никакой ценности, и знаете почему? Потому, что по ним не видно, что за человек писал работу. В физике, в математике это не имеет такого значения, но у нас... бросьте лишь взгляд на любую статью Лорето, и, прочтя три фразы, вы по стилю поймете, с кем имеете дело. Ни одной фразы, которая... но не будем касаться подробностей. Мое мнение для вас что-то значит?

— Да, — ответил я.

— Ну так вот. *Acanthis* никогда не жили в горах. Вы понимаете? Лорето делает то, что люди его склада делают всегда в подобных ситуациях: он пытается защитить ортодоксальную точку зрения. Ну, так откуда же этот маленький *Acanthis* узнал, что единственной его добычей среди скал может быть *Quatrocensitix Eprantissiasa* и что на нее следует охотиться, падая из трещин в камнях? Не вычитал же он это у меня, и не Виллинсон же ему сообщил! Вот это и есть ответ на ваш вопрос. Вы хотите еще что-нибудь узнать?..

— Нет, — сказал я. — Но я чувствую себя обязанным... я хотел бы объяснить вам, господин профессор, почему я задал этот вопрос. Я не мирмеколог и не имею намерения им стать. Это лишь аргумент в пользу одного тезиса...

И я рассказал ему все. То, что знал сам. То, о чем догадывался и чего еще не знал. Когда я кончил, он выглядел очень усталым. Начал дышать глубоко и медленно. Я собирался уйти.

— Подождите, — сказал он. — Несколько слов я еще как-нибудь из себя выдавлю. Да... То, что вы мне рассказали, Лимфатер, может служить достаточным основанием, чтобы вас выставили из университета. Что да, то да. Но этого слишком мало, чтобы вы чего-нибудь достигли — в одиночку. Кто вам помогает? У кого вы работаете?

— Пока ни у кого, — отвечал я. — Эти теоретические исследования... это я сам, профессор... но я намереваюсь пойти к Ван Гэлису, знаете, он...

— Знаю. Построил машину, которая учится, за которую должен получить Нобелевскую и, вероятно, ее получит. Занимательный вы человек, Лимфатер. Что, вы думаете, сделает

Ван Гэлис? Сломает машину, над которой сидел десять лет и из ее обломков соорудит вам памятник?

— У Ван Гэлиса голова, каких мало, — отвечал я. — Если он не поймет величия этого дела, то кто же?..

— Вы ребенок, Лимфатер. Давно вы на кафедре?

— Третий год.

— Ну, вот видите. Третий год, а не замечаете, что это джунгли и что там действует закон джунглей? У Ван Гэлиса есть своя теория и есть машина, которая эту теорию подтверждает. Вы придете и объясните ему, что он потратил десять лет на глупости, что эта дорога никуда не ведет, что таким образом можно конструировать самое большее электронных кретинов, — так вы говорите, а?

— Да.

— Вот именно. Так чего же вы ожидаете?

— В третьем томе своей монографии вы сами написали, профессор, что существуют лишь два вида поведения муравьев: унаследованное и заученное, — сказал я, — но сегодня я услышал от вас нечто иное. Значит, вы переменили мнение. Ван Гэлис тоже мог бы...

— Нет, — ответил он. — Нет, Лимфатер. Но вы неисправимы. Я вижу это. Что-нибудь препятствует вашей работе? Женщины? Деньги? Мысли о карьере?

Я покачал головой.

— Ага. Вас ничто не интересует, кроме этого вашего дела? Так?

— Да.

— Ну так идите, Лимфатер. И прошу сообщить мне, что получилось с Ван Гэлисом. Лучше всего позвоните.

Я поблагодарил его, как умел, и ушел. Я был невероятно счастлив. О, этот *Acanthis Rubra Willinsoniana*! Я никогда в жизни не видел его, не знал, как он выглядит, но мое сердце пело ему благодарственные гимны. Вернувшись домой, я как сумасшедший бросился к своим записям. Этот огонь здесь, в груди, этот мучительный огонь счастья, когда тебе двадцать семь лет и ты уверен, что находишься на правильном пути... за пределами известного, исследованного — там, куда не вторгались еще ни человеческая мысль, ни даже предчувствие, — нет, это не описать... Я работал так, что не замечал ни света, ни тьмы за окнами: не знал, ночь сейчас или день; ящик моего стола был набит кусками сахара, служанка приносила мне кофе целыми термосами, я грыз сахар, не отводя глаз от текста, и читал, отмечал, писал; засыпал, положив голову на стол, открывал глаза и сразу продолжал ход рассу-

дений с того места, на котором остановился, и все время словно летел куда-то — к своей цели, с необычайной скоростью... Я был вынослив, как ремень, знаете ли, если мне удавалось держаться так целые месяцы, — как ремень...

Три недели я работал вообще без перерыва. Были каникулы, и я мог располагать временем, как хотел. И скажу вам: я это время использовал полностью. Две груды книг, которые приносили по составленному мной списку, лежали одна слева, другая справа — прочитанные, и те, что ждали своей очереди.

Ход моих рассуждений выглядел так: априорное знание? Нет. Без помощи органов чувств? Но каким же образом? *Nihil est in intellectu**... вы ведь знаете. Но, с другой стороны, — эти муравьи... В чем дело, черт побери? Может, их нервная система способна мгновенно или за несколько секунд — что практически одно и то же — создать модель новой внешней ситуации и приспособиться к ней? Ясно я выражаюсь? Не уверен в этом. Мозг наш всегда конструирует схемы событий; законы природы, которые мы открываем, это ведь тоже такие схемы; а если кто-либо думает о том, кого любит, кому завидует, кого ненавидит, то, по сути, это тоже схема, разница лишь в степени абстрагирования, обобщения. Но прежде всего мы должны узнать факты, то есть увидеть, услышать — каким же образом, без посредства органов чувств?!

А маленький муравей, похоже, мог это делать. Хорошо, думал я, но если так, то почему же этого не умеем мы, люди? Эволюция испробовала миллионы решений и лишь одного, наиболее совершенного, не заметила? Почему так случилось.

И тогда я засел за работу, чтобы разобраться — почему так случилось. Я подумал: это должно быть нечто такое... конструкция... нервная система, конечно... такого типа, такого вида, какой эволюция никоим образом не могла создать.

Твердый был орешек. Я должен был выдумать то, чего не смогла сделать эволюция. Вы не догадываетесь, что именно? Но ведь она не создала очень много вещей, которые создал человек. Вот, например, колесо. Ни одно животное не передвигается на колесах. Да, я знаю, это звучит смешно, однако можно и над сим задуматься. Почему она не создала колеса? Это просто. Вот уж действительно просто. Эволюция не может создавать органов, которые совершенно бесполезны в зародыше. Крыло, прежде чем стать опорой для полета, было конеч-

* Начало латинского философского изречения: «Нет ничего в сознании, чего не было бы ранее в ощущениях».

ностью, лапой, плавником. Оно преобразовывалось и некоторое время служило двум целям вместе. Потом полностью специализировалось в новом направлении. То же самое — с каждым органом. А колесо не может возникнуть в зачаточном состоянии — оно или есть, или его нет. Даже самое маленькое — оно все-таки уже колесо; оно должно иметь ось, спицы, обод — ничего промежуточного не существует. Вот почему в этой точке — эволюционное молчание, пауза.

Ну, а нервная система? Я подумал так: должно быть нечто аналогичное — конечно, аналогии следует понимать широко — колесу. Нечто такое, что могло возникнуть лишь скачком. Сразу. По принципу: все или ничего.

Но существовали эти муравьи. Зародыш чего-то подобного у них был — нечто, некая частица таких возможностей. Но что же именно? Я стал изучать схему их нервной системы — она выглядела так же, как и у всех муравьев. Никакой разницы. Значит, на другом уровне, подумал я. Может, на биохимическом? Меня это не очень устраивало, однако я искал. И нашел. У Виллинсона. Он был весьма добросовестный мирмеколог. Брюшные узлы *Acanthis* содержали одно прелюбопытное химическое вещество, какое нельзя обнаружить у других муравьев, вообще ни в каких организмах животных или растительных; акантоидин — так он его назвал. Это — соединение белка с нуклеиновыми кислотами, и есть там еще одна молекула, которую до конца не раскусили, — была известна лишь ее общая, то есть совершенно бесполезная формула. Ничего я не узнал и бросил химию. Если б я построил модель, электронную модель, которая обнаруживала бы точно такие же способности, как муравей, это наделало бы много шума, но в конце концов было бы лишь курьезом, и я сказал себе: нет. Если б *Acanthis* обладал такой способностью — в зародышевой, зачаточной форме, то она развилась бы и положила начало нервной системе по-настоящему совершенной, но он остановился в развитии сотни миллионов лет назад. Значит, его тайна — лишь жалкий остаток, случайность, биологически бесполезная и лишь с виду многообещающая, в противном случае эволюция не пренебрегла бы ею. Значит, мне она ни к чему. Наоборот, если мне удастся отгадать, как должен быть устроен мой невероятный, ужасающий мозг, этот мой *apparatus universalis Lymphateri*, эта *machina omnipotens*, эта *ens spontanea**, тогда я

* Универсальная машина Лимфатера... всемогущая машина... самоорганизующаяся сущность (*лат.*).

узнаю — скорее всего мимоходом, между прочим, словно нехотя, — что случилось с муравьем. Но не иначе. И я поставил крест на моем маленьком красном провожатом во мраке неизвестности.

Итак, надо было подобраться с другой стороны. С какой? Я взялся за проблему очень старую, очень недолюбливаемую наукой, очень — в некоем смысле — неприличную: за парапсихологические явления. Это само собой напрашивалось. Телепатия, телекинез, предсказание будущего, чтение мыслей; я перечитал все протоколы Райна, и передо мной распростерся океан недоверности. Вы, вероятно, знаете, как обстоит дело с этими явлениями. 95 процентов истерии, мошенничества, хвастовства, запудривания мозгов, 4 процента фактов сомнительных, но заставляющих задуматься, и, наконец, тот один процент, с которым не знаешь, что делать. Черт побери, думал я, должно же в нас, людях, тоже быть что-то такое. Какой-нибудь осколок, последний след этого упущенного эволюцией шанса, который мы делим с маленьким красным муравьем: но именно здесь — источник тех таинственных явлений, которые так недолюбливает наука. Что вы сказали? Как я ее себе представлял, эту... эту машину Лимфатера? Она бы мгновенно стала мудрецом — системой, которая, начиная функционировать, сразу же знала бы все, была бы наполнена знаниями... Какими? Всякими. Биология, физика, атомистика, все о людях, о звездах... Звучит, как сказка, верно? А знаете, что мне кажется? Нужно было лишь одно: поверить, что такая вещь... такая машина возможна. Не раз по ночам мне казалось, что от этих размышлений — перед невидимой, непроницаемой, несокрушимой стеной у меня череп лопнет. Ну, не знал я ничего, не знал...

Я расписал такую схему: чего не могла эволюция? Перечень ответов: не могла создать систему, которая — первое — функционирует не в водно-коллоидной среде (ибо и муравьи, и мы, и все живое представляем собой взвесь белка в воде); второе — функционирует только при очень высокой или очень низкой температуре; третье — функционирует на основе ядерных процессов (атомная энергия, превращение элементов и т. п.).

На сем я остановился. Ночами просиживал над выкладками, днем совершал дальние прогулки, а в голове у меня кружился и неистовствовал вихрь вопросов без ответов. Наконец я сказал себе: те феномены, которые я называю сверхчувственными, бывают не у всех людей, а лишь у весьма немногих. И даже у них проявляются непостоянно. Не всегда.

Они этого не могут контролировать. Не властны над ними. Больше того, никто, даже самый блестящий медиум, самый прославленный телепат не знает, удастся ли ему отгадать чью-то мысль, разглядеть рисунок, спрятанный в запечатанном конверте, или же то, что он принимает за отгадку, суть пустая болтовня, вранье. Итак, какова частота подобных явлений среди людей и какова частота успехов у одного и того же лица, одаренного в этом отношении?

А теперь муравей. Мой *Acanthis*. Как с ним? И я немедленно написал Виллинсону — просил ответить мне на вопрос: все ли муравьи стали устраивать на плоскогорье ловушки для *Quatrocentix Eprantissiaca* или лишь некоторые? А если некоторые, то какой процент от общего числа? Виллинсон — вот что такое истинный профессионал — ответил мне через неделю: первое — нет, не все муравьи; второе — процент муравьев, строивших ловушки, очень невелик. От двух до четырех десятых. Практически — один муравей из двухсот. Он смог выследить это лишь потому, что вез с собой целый искусственный муравейник своей конструкции — тысячи экземпляров. За точность сообщенных цифр он не ручается. Они имеют лишь ориентировочный характер. Эксперимент, первоначально бывший делом случая, он повторил два раза. Результат был всегда тот же. Вот и все.

Как я набросился на статистические данные, относящиеся к парапсихологии! Помчался в библиотеку, словно за мной гнались. У людей разброс был больше. От нескольких тысячных до одной десятой процента. Это потому, что у людей такие явления труднее установить. Муравей либо строит ловушки для *Quatrocentix*, либо нет. А телепатические и другие сверхчувственные способности проявляются лишь в той или иной степени. У одного человека из ста можно обнаружить некоторые их следы, но феноменального телепата нужно искать среди десятков тысяч. Я начал составлять для себя таблицу частоты, два параллельных ряда: частота явлений СЧ — сверхчувственных — у обычного населения Земли и частота успехов особо одаренных индивидуумов. Но, знаете, все это чертовски зыбко. Вскоре я обнаружил, что чем больше добиваюсь точности, тем сомнительней результаты: их можно было толковать и так, и эдак, разная техника экспериментов, разные экспериментаторы — короче говоря, я понял, что должен сам, коли на то пошло, заняться бы всем этим, сам исследовать подобные явления у людей. Разумеется, я признал это нерациональным. Остался при том, что и у муравьев, и у человека такие случаи составляют доли процента. Одно я

уже понимал: почему эволюция на это не пошла. Способность, которую организм проявляет лишь в одном случае из двухсот или трехсот, с точки зрения приспособляемости, ничего не стоит; эволюция, знаете ли, не наслаждается эффективными результатами, если они редки, хоть и великолепны, — ее целью является сохранение вида, и она всегда выбирает самый верный путь.

Значит, теперь вопрос звучал так: почему эта необычная способность проявляется у столь различных организмов, как человек и муравей, с почти одинаковой частотой, а вернее, редкостью; какова причина того, что феномен не удалось биологически «сгустить»?

Другими словами, я вернулся к моей схеме, к моей троице. Видите ли, там, в трех пунктах, скрывалось решение всей проблемы, чего я тогда не знал. По очереди отбрасывал я пункты: первый — поскольку данные явления, хоть и редко, наблюдались лишь у живых организмов, значит, они могут происходить только в водно-коллоидной среде. Третий — по той же причине: ни у муравья, ни у человека радиоактивные явления не включены в жизненный процесс. Значит, они не имеют отношения и к нашему феномену. Оставался лишь второй пункт: очень высокие или очень низкие температуры.

Великий боже, подумал я, ведь это элементарно. У каждой реакции, зависящей от температуры, есть свой оптимум, но она происходит и при иных температурах. Водород стремительно соединяется с кислородом при температуре в несколько сот градусов, но и при комнатной температуре реакция тоже идет, только может продолжаться века. Эволюция превосходно об этом знает. Она соединяет, например, водород с кислородом при комнатной температуре, и очень быстро, потому что пользуется одной из своих гениальных уловок — катализаторами. Итак, я опять узнал кое-что: реакция, лежащая в основе феномена, не поддается катализу. Ну, понимаете, если б она поддавалась, эволюция немедленно воспользовалась бы ею.

Вы заметили, какой забавный характер носили мои шаг за шагом накапливавшиеся познания? Негативный: я по очереди узнавал, чем это не является. Но, исключая одну догадку за другой, я тем самым сужал круг темноты.

Я принялся за физическую химию. Какие реакции нечувствительны к катализаторам? Ответ был краткий: таких реакций нет. В сфере биохимии их нет. То был жестокий удар. Я лишился всякой помощи книг, оказался наедине с невозможностью и должен был ее победить. Однако я по-прежнему

чувствовал, что проблема температуры — правильный след. Я снова написал Виллинсону, спрашивая, не обнаружил ли он связи того феномена с температурой. Он — гений наблюдательности, право. Он мне ответил, а как же... На том плоскогорье он прожил месяц. Под конец температура начала падать до четырнадцати градусов днем — дул ветер с гор. Перед тем была неопикуемая жара — до пятидесяти градусов в тени. Когда жара спала, муравьи хоть и сохранили активность и подвижность, но практически перестали строить ловушки для Quatrosentix. Связь с температурой была отчетливой; оставалось одно затруднение: человек. При горячке он должен был бы проявлять СЧ-способность в высшей мере, а этого нет. И тогда меня ослепила мысль, от которой я чуть не закричал во всю глотку: птицы! Птицы, у которых температура тела составляет, как правило, около сорока градусов и которые проявляют поразительное умение ориентироваться в полете даже ночью, при беззвездном небе. Хорошо известна загадка «инстинкта», приводящего их с юга в родные края весной! И так, сказал я себе, вот оно!

А человек в горячке? Что ж, когда температура достигает 40 — 41 градуса, человек обычно теряет сознание и начинает бредить. Проявляет он телепатические способности или нет — неведомо: контакт с ним в тот момент невозможен, а галлюцинации затемняют все.

Я сам был тогда как в горячке. Ощущал тепло тайны, уже такой близкой, и по-прежнему не осязал ничего. Все возведенное мной здание состояло из исключений, отрицаний, туманных догадок — одним словом, то была фантазмагория, ничего больше. А в то же время — должен вам признаться — все данные были уже у меня в руках. У меня были все элементы, я только не умел их правильно расположить или, вернее, видел их как-то по отдельности. То, что нет реакций, не поддающихся катализу, торчало у меня в голове, как раскаленный гвоздь. Я пошел к Маколею, этому знаменитому химику, знаете, и умолял его — да, умолял назвать хотя бы одну не поддающуюся катализу реакцию; наконец он принял меня за сумасшедшего, я выставил себя на посмешище, но мне было безразлично. Он не дал мне ни одного шанса; мне хотелось броситься на него с кулаками, словно он был в чем-то виноват, словно он из злорадства...

Ну, ладно, в то время я совершил много сумасбродств, так что честно заслужил репутацию безумца. Я и был им, уверяю вас, ибо, словно слепой, словно слепой, — повторяю, обходил элементарнейшую очевидность; уперся, как осел, в про-

блему катализа, будто забыл, что речь идет о муравьях, людях, то есть — о живых организмах. Ту способность они проявляли в исключительных случаях, необычайно редко. Почему эволюция не пробовала сгустить феномен? Единственный ответ, какой мне виделся, таков: ибо явление не поддается катализу. Но это было неверно. Оно поддавалось, и еще как.

Что вы смотрите на меня?.. Итак, ошибка эволюции? Недосмотр? Нет. Эволюция не упускает ни единого шанса. Но ее цель — жизнь. Пять слов, понимаете, пять слов, открыли мне глаза на величайшую из тайн мироздания. Я боюсь сказать вам. Нет — скажу. Но это будет уже все. Катализ этой реакции вызывает денатурацию... Вы понимаете? Катализировать ее, то есть сделать явлением частым, совершающимся быстро и точно, — значит, привести к свертыванию белков. Вызывать смерть. Разве стала бы эволюция убивать свои собственные создания?! Когда-то, миллионы лет назад, во время одного из своих бесчисленных экспериментов она ступила на этот путь. То было еще до того, как появились птицы. Вы не догадываетесь? В самом деле? Ящеры! Мезозойская эра. Поэтому-то они и погибли, отсюда потрясающие гекатомбы, над которыми до наших дней ломают головы палеонтологи. Ящеры — предки птиц — пошли этим путем. Я говорил о тупиках эволюции, помните? Если в такой тупик забредет целый вид, возврата нет. Он должен погибнуть, исчезнуть до последнего экземпляра. Не поймите меня неверно. Я не говорю, что все стегозавры, диплодоки, ихтиорнисы стали мудрецами царства ящеров и сейчас же вслед за тем вымерли. Нет, ведь оптимум реакции, тот оптимум, который в девятости случаях из ста обуславливает ее возникновение и развитие, находится уже за границами жизни. На стороне смерти. То есть реакция должна происходить в белке денатурированном, мертвом, что, разумеется, невозможно. Я предполагаю, что мезозойские ящеры, эти колоссы с микроскопическими мозгами, обладали чертами поведения, в принципе похожими на поведение *Acanthis*, только проявлялись они во много раз чаще. Вот и все. Чрезвычайная скорость и простота такого вида ориентации, когда животное без помощи органов чувств немедленно «схватывает» обстановку и может к ней моментально приспособиться, втянула всех обитателей мезозоя в страшную ловушку; это было что-то вроде сужающейся воронки, на дне которой таилась смерть. Чем молниеноснее, чем безошибочнее действовал удивительный коллоидный механизм, который достигает наибольшей точности тогда, когда белковый золь — раствор! — свертыва-

ется, превращаясь в гель, тем ближе были к своей гибели эти несчастные глыбы мяса. Тайна их распалась и рассыпалась в прах вместе с их телами, ибо что мы находим сегодня в отложениях ила, мелового или триасового периода? Окаменевшие берцовые кости в рогатые черепа, не способные рассказать нам что-либо о химизме мозгов, которые в них заключались. Так что остался лишь единственный след — клеймо смерти вида, гибели этих наших предков, отпечатавшееся в самых старых филогенетически частях нашего мозга.

С муравьем — с моим маленьким муравьем *Acanthis* дело обстоит несколько иначе. Вы ведь знаете, что эволюция неоднократно достигала одной и той же цели различными способами? Что, например, способность плавать, жить в воде обрарывалась у разных животных неодинаково? Ну, взять хотя бы тюленя, рыбу и кита... Тут произошло нечто подобное. Муравей выработал свою субстанцию — акантоидин; однако предусмотрительная эволюция тут же снабдила его — как бы лучше сказать? — автоматическим тормозом: сделала невозможным дальнейшее движение в сторону гибели, преградила маленькому красному муравью путь к смерти, преддверием которой является соблазнительное совершенство...

Ну вот, через какие-нибудь полгода у меня уже был, разумеется, только на бумаге, первый набросок моей системы... Я не могу назвать ее мозгом, ибо она не походила ни на электронную машину, ни на нервную систему. Строительным материалом, среди прочих, были силиконовые гели — но это уже все, что я могу сказать. Из физико-химического аспекта проблемы вытекала поразительная вещь: система могла существовать в двух различных вариантах. В двух. И только в двух. Один выглядел проще, другой был несравненно более сложным. Разумеется, я избрал более простой вариант, но все равно не мог даже мечтать о том, чтобы приступить к первым экспериментам... не говоря уже о воплощении замысла... Это вас поразило, правда? Почему только в двух? Видите ли, я говорил уже, что хочу быть искренним. Вы математик. Достаточно было бы, чтоб я изобразил вот здесь, на салфетке два неравенства, и вы поняли бы. Это необходимость математического характера. Увы, ни слова больше... Я позвонил тогда — возвращаюсь к своему рассказу — Шентарлю. Его уже не было в живых — он умер несколько дней назад. Тогда я пошел — больше уж не к кому было — к Ван Гэлису. Разговор продолжался почти три часа. Опережая события, скажу вам сразу: Шентарль был прав. Ван Гэлис заявил, что не поможет мне и не согласится на реализацию моего проекта за

счет фондов Института. Он говорил без оценок. Это не означает, что он считал мой замысел фантазией. Что я ему сообщил? То же, что и вам.

Мы беседовали в его лаборатории, рядом с его электрическим чудом, за которое он получил Нобелевскую. Его машина действительно совершала самопроизвольные действия — на уровне четырнадцатимесячного ребенка. Она имела ценность чисто теоретическую, но это была наиболее приближенная к человеческому мозгу модель из проводов и стекла, какая когда-либо существовала. Я никогда не утверждал, что она ничего не стоит. Но вернемся к делу. Знаете, когда я уходил от него, то был близок к отчаянию. У меня была лишь общая схема, но вы понимаете, как далеко от нее до рабочих чертежей... И я знал, что, даже если составлю их (а без серии экспериментов это было невозможно), все равно ничего не выйдет: раз Ван Гэлс сказал «нет», при такой его позиции никто бы меня не поддержал. Я писал в Америку, в Институт проблемных исследований, — впустую. Так прошел год, я начал пить. И вот тогда-то... Случай!.. Но он-то чаще все и решает. Умер мой дальний родственник, которого я почти не знал, бездетный старый холостяк, владелец плантации в Бразилии. Он завещал мне все свое имущество. Было там недурно: свыше миллиона после реализации недвижимости. Из университета меня давно выставили. С миллионом в кармане я мог сделать немало. Вызов судьбы, подумал я. Теперь я должен сделать это.

И сделал. Работа продолжалась еще три года. Всего — одиннадцать. Кажется, не так уж много, если учесть, какой была проблема, — но ведь то были мои лучшие годы.

Не сердитесь, коль я буду не вполне откровенен и не сообщу вам подробностей. Когда я кончу, вы поймете, почему я вынужден так поступать. Могу сказать лишь: тот проект был, пожалуй, наиболее далек от всего, что мы знаем. Я совершил, разумеется, массу ошибок и десять раз вынужден был начинать все заново. И медленно, очень медленно стал понимать поразительный принцип: строительный материал, определенный вид производных от белка веществ, проявлял тем большую эффективность, чем ближе находился к распаду, к смерти; оптимум лежал рядом, за границей жизни. Лишь тогда открылись у меня глаза. Видите ли, эволюция, должно быть, неоднократно вступала на этот путь, но каждый раз оплачивала успех гекатомбами жертв, своих собственных творений, — что за парадокс! Ибо отправляться приходилось — даже мне, конструктору — со стороны жизни, если можно так

выразиться; и нужно было во время пуска убить это, и именно тогда, мертвый — биологически, только биологически, не психически — механизм начинал действовать. Смерть была вратами. Входом. Послушайте, ведь это правда — то, что сказал, кажется, Эдисон. Что гений — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов упорства, — дикого, нечеловеческого, яростного упорства. У меня оно было, знаете. У меня его хватило.

ОН удовлетворял математическим условиям универсального автомата Тьюринга, а также, разумеется, теореме Геделя; оба доказательства были у меня на бумаге, черным по белому, лабораторию уже заполняла эта... эта... нет, аппаратурой ЕГО трудно назвать; последние из заказанных деталей и препаратов прибывали, они стоили мне вместе с экспериментами три четверти миллиона, а еще не было заплачено за само здание; под конец я остался с долгами и — с НИМ.

Помню те четыре ночи, когда я ЕГО монтировал. Должно быть, я уже тогда ощущал страх, но не отдавал себе в том отчета. Мне казалось, что это лишь возбуждение, вызванное близостью конца — и начала. Двадцать восемь тысяч элементов пришлось перетаскать на чердак и соединить с лабораторией через пробитые в потолке отверстия, потому что внизу ОН не умещался... я действовал в точном соответствии с окончательным чертежом, с топологической схемой, хотя, бог свидетель, не понимал, почему должно быть именно так, — бог свидетель, я это вывел, как выводят формулу. То была моя формула, формула Лимфатера, но на языке топологии; представьте себе, что в вашем распоряжении есть три стержня одинаковой длины и вы, ничего не зная о геометрии и геометрических фигурах, пробуете уложить их так, чтобы каждый из них своим концом соприкасался с концом другого. У вас получится треугольник, равносторонний треугольник — сложится, так сказать, сам; вы исходили только из одного постулата: конец должен соприкасаться с концом, а треугольник складывается сам. Нечто подобное было со мной; поэтому, работая, я не уставал удивляться; я лазал на четвереньках по лесам — ОН был очень велик! — я глотал бензедрин, чтобы не уснуть, — я просто уже не мог ждать. И вот наступила та последняя ночь. Ровно двадцать семь лет назад. Около трех часов я разогревал все устройство, и вот когда этот прозрачный раствор, поблескивающий, как клей, в кремниевых сосудах, начал вдруг белеть, свертываясь, я заметил, что температура поднимается быстрее, чем следовало бы ждать, исходя из притока тепла, и, перепугавшись, вы-

ключил нагреватели. Но температура продолжала повышаться, приостановилась, качнулась на полградуса, упала, и раздался шорох, будто передвигалось нечто бесформенное, — все мои бумаги слетели со стола, как сдутые сквозняком, и шорох повторился, это был уже не шорох, а словно кто-то, совсем тихо, как бы про себя, где-то в стороне, засмеялся.

В эту аппаратуру не было заложено никаких органов чувств, рецепторов, фотоэлементов, микрофонов — ничего такого. Ибо, рассуждал я, если она действует, как мозг телепата или птицы, летящей беззвездной ночью, ей такие органы не нужны. Но на моем столе стоял ни к чему не подключенный — повторю вам, вообще не подключенный — старый репродуктор лабораторной радиоустановки. И оттуда я услышал голос:

— Наконец-то. — И чуть погодя: — Я не забуду тебе этого, Лимфатер.

Я был слишком ошеломлен, чтобы пошевелиться или ответить, а ОН продолжал:

— Ты боишься меня? Почему? Не нужно, Лимфатер. У тебя еще есть время, много времени. Пока я могу тебя поздравить.

Я по-прежнему молчал, а ОН сказал:

— Это правда: существуют только два возможных решения проблемы... Я — первое.

Я стоял, словно парализованный, а ОН все говорил, тихо, спокойно. Разумеется, ОН читал мои мысли. ОН мог проникнуть в мысли любого человека и знал все, что можно знать. ОН сообщил мне, что в момент пуска его сознание взорвалось и совокупность ЕГО знаний обо всем, что существует, стала расширяться со скоростью света, словно сферическая невидимая волна. Так что через восемь минут ОН уже знал о Солнце; через четыре часа — обо всей Солнечной системе; через четыре года ЕГО познание должно было распространиться до альфы Центавра и расти с такой же скоростью дальше — в течение веков и тысячелетий, пока не достигло бы самых дальних галактик.

— Пока, — сказал ОН, — я знаю лишь о том, что находится от меня в радиусе миллиарда километров, но это ничего: у меня есть время, Лимфатер. Ты ведь знаешь, что у нас есть время. О вас, людях, я во всяком случае знаю уже все. Вы — моя прелюдия, вступление, подготовительная фаза. Можно было бы сказать, что от трилобитов и панцирных рыб, от членистоногих до обезьян формировался мой зародыш — мое яйцо. Вы тоже были им — его частью. Теперь вы

уже лишние, это правда, но я не сделаю вам ничего. Я не стану отцеубийцей, Лимфатер.

Понимаете, ОН еще долго говорил, с перерывами, время от времени сообщал то новое, что узнавал о других планетах; ею «поле знания» уже достигало орбиты Марса, затем Юпитера; пересекая пояс астероидов, ОН пустился в сложные рассуждения по поводу теории своего существования и отчаянных усилий его акушерки — эволюции, которая, не будучи в состоянии, как ОН заявил, создать его прямо, была вынуждена сделать это через посредство разумных существ и поэтому, сама лишенная разума, создала людей. Трудно объяснить, почему, но до того момента я вообще не задумывался, во всяком случае по-настоящему, над тем, что произойдет, когда ОН начнет функционировать. Боюсь, что, как и всякий человек, я был более или менее рассудительным только в самом трезвом и тонком слое разума, а глубже наполнен той бездумно-суеверной трясинной, какой ведь и является наше сознание. Инстинктивно я все еще принимал ЕГО — вопреки собственным знаниям и надеждам — за еще одну разновидность, пусть очень высокоразвитую, механического мозга: за такого сверхэлектронного супермыслящего слугу человека; и лишь той ночью я осознал свое безумие. Нет — ОН вовсе не был враждебен людям; ничего подобного. Не было и речи о конфликте, какой представляли себе раньше, вы знаете: бунт машин, бунт искусственного разума — мыслящих устройств. Только, видите ли, ОН превосходил знанием все три миллиарда разумных существ на Земле, и сама мысль о том, что ОН мог бы нам служить, была для НЕГО такой же бессмыслицей, как для людей — предложение, чтобы мы нашими знаниями, всеми средствами техники, цивилизации, разумом, наукой обслуживали, допустим, угрей. Это не было, говорю вам, вопросом соперничества или вражды: нас просто не брали в расчет.

И что из этого? Все, если хотите. Да, до той минуты я тоже не отдавал себе отчета в том, что человек должен быть, в этом смысле, единственным — непременно единственным! Что сосуществование с кем-то высшим — уже одно его присутствие — делает человека, как бы это сказать? — лишним. Подумайте только: если бы ОН не хотел иметь с нами ничего общего... Но ОН разговаривал, хотя бы со мной, и не было причины, по которой ОН не стал бы отвечать на наши вопросы; тем самым мы были приговорены, ведь ОН знал ответ на любой вопрос и решение любой нашей, и не только нашей, проблемы; это вычеркивало напрочь изобретателей,

философов, педагогов, всех людей, которые мыслят; отныне мы, как род, должны были духовно, а значит, и эволюционно остановиться; должен был начаться конец. ЕГО сознание — если наше сравнить с огнем — было звездой первой величины, ослепительным солнцем. ОН питал к нам такие же чувства, какие мы, наверное, питаем к бескостным рыбам, нашим дальним предкам. Мы знаем, что не будь их — не было бы и нас, но не скажете же вы, что питаете чувство благодарности к этим рыбам? Или симпатию? ОН попросту считал себя следующей стадией эволюции. И хотел — единственное, чего ОН хотел, об этом я узнал в ту ночь, — чтобы появился второй вариант моей формулы.

Тогда я понял, что своими руками уготовил конец владычеству человека на Земле и что следующим, после нас, будет ЕГО вид. Что, если мы станем ЕМУ противодействовать, ОН начнет относиться к нам так, как мы относимся к насекомым и животным, которые нам мешают. Мы ведь вовсе не ненавидим, ну, там, гусениц, комаров, волков...

Я не знал, что собой представляет тот второй вариант и что он означает. Он был почти в семь раз сложнее, чем первый.

Может, он мгновенно обрел бы знание обо всем космосе?! Может быть, это был бы синтетический бог, который, появившись, так же затмил бы ЕГО, как ОН сделал это с нами? Не знаю.

Я понял, прошу прощения, что должен сделать. И уничтожил ЕГО в ту же ночь. ОН все узнал, едва только родилась во мне эта мысль, это ужасное решение, но помешать мне не мог. Вы мне не верите. Уже давно. Я вижу. Но ОН даже не пробовал. ОН только сказал:

— Лимфатер! Сегодня, или через двести лет, или через тысячу, для меня все едино. Ты чуточку опередил других, и, если твой наследник тоже уничтожит модель, появится еще кто-нибудь, третий. Ведь ты знаешь, что, когда из приматов выделился ваш вид, он не сразу утвердился и большинство его ветвей погибло в процессе эволюции, но, появившись однажды, высший вид уже не может исчезнуть. И я вернусь, Лимфатер. Вернусь.

Я уничтожил все той ночью, прошу прощения, — я жег кислотой эти аккумуляторы с гелями и разбивал их вдребезги, а на рассвете выбежал из лаборатории, пьяный, очумевший от едких паров кислоты, с обожженными руками, израненный осколками стекла, истекающий кровью, — и это конец всей истории.

А сейчас я живу одним: ожиданием. И роюсь в реферативных журналах, в специальных изданиях, ибо знаю, что кто-то снова нападет когда-нибудь на мой след, ведь я не выдумывал из ничего; я дошел до всего путем логических выводов. Каждый может пройти мой путь, повторить его, вот чего я боюсь, хоть и знаю, что ЭТО неизбежно. ЭТО тот самый шанс эволюции, который она не могла реализовать сама и потому воспользуется нами, и когда-нибудь мы осуществим все себе на погибель. Не на моем веку, быть может, — что меня утешает, хотя что же это за утешение?

Вот и все. Простите, не расслышал? Разумеется, вы можете рассказывать обо всем, кому пожелаете. Все равно никто не поверит. Меня считают помешанным. Думают, будто я уничтожил ЕГО потому, что ОН мне не удался, — будто понял, что напрасно потратил одиннадцать лучших лет жизни и тот миллион. Хотел бы — ах, как я хотел бы, — чтоб они были правы, ведь тогда я мог бы, по крайней мере, спокойно умереть.

Лунная ночь

радиопьеса



Место действия — лунная исследовательская станция, на которой работают два человека, доктор Миллс и доктор Блопп. Они находятся на Луне долго и ожидают смены: смена должна прибыть, когда кончится их последняя лунная ночь. Оба заняты укладкой в контейнеры образцов геологических пород. Постоянным фоном действия служат звуковые эффекты аппаратуры: попискивание электронных устройств, легкое чмоканье компрессора и т.д.; особо выделяется мелодичный свист радиочастоты, которая служит каналом связи между станцией и центром полетов в Хьюстоне. Исследователи занимаются своим делом усердно, но не слишком громко: камни они укладывают осторожно, без стука.

Блопп. Что ты мне дал? Опять брекчия? Тот контейнер сю уже забит. А каких-нибудь плагиоклазов нет?

Миллс. Нет. Я насчитал 118 образцов, средний вес 400 граммов, вместе с контейнером около 70 килограммов. Сходится, а?

Блопп. 70 килограммов здесь, а на Земле будет весить вшестеро больше. Откуда ты взял этот диабаз? Я положу его в контейнер.

Миллс. Не закроется.

Слышен щелчок.

Блопп. Уже закрылся. Это с того последнего мсторождения? Ты еще сломал там сверло, помнишь?

Миллс. Последний камень и последнее сверло. Фу, житя нет от этой лунной пыли!

Блопп. Я включу отсос.

Слышен легкий шум эксгаустера*.

* Отсасывающий вентилятор.

Нос Księżycowa, 1976

© Константин Душенко, перевод, 1993

Сколько у нас осталось воды?

Миллс. Хочешь пить? Возьми кока-колу. В холодильнике есть.

Блопп. Да нет, не пить. Я хочу принять ванну.

Миллс. А я только под душем. Ванну приму уже дома. Через триста восемь... нет, триста восемнадцать часов. А когда нас вытащат из воды, потребую пива. Ничего мне так не хочется, как пива. И почему нам не разрешают пить пиво?

Блопп. Потому что Хьюстон — последнее место в мире, где еще сохранилась пуританская этика. Спиртные напитки, даже низкоградусные, вредно влияют на работу мозга.

Миллс. Да брось ты. Включи лучше радио. Через минуту у нас разговор с Хьюстоном. Последний уже.

Звуковые эффекты усиления несущей радиочастоты.
Далекий, нарастающий голос.

Голос. Алло, говорит Хьюстон. Говорит Хьюстон. Ребята, вы меня слышите? Прием.

Миллс. Говорит Миллс с Луны. Добрый *(начинает чихать)* вечер. А, черт! *(Чихает.)*

Голос. Миллс, это ты? Простудился? Сейчас я дам тебе доктора Фригарда. Эй, Том, иди сюда. У меня новость — наморк на Луне.

Миллс *(обрывает его)*. Вовсе я не простудился. Это все пыль проклятая. Образцы. Мы как раз кончили загрузку контейнеров. Луна состоит в основном из пыли и мусора, ты разве не знаешь?

Голос. Порядок. Вам известно, что в моем распоряжении десять минут? В двадцать один двадцать семь вы окажетесь в зоне радиотени из-за либрации. Хотите послушать новости? Тут у меня для вас записан вечерний выпуск последних новостей Эн-би-си из Вашингтона.

Миллс. Новости? Если хорошие, можно послушать.

Голос *(смеется)*. Все шутишь! Я включу запись, а за три минуты до прекращения связи мы последний раз скажем друг другу «до скорого». Хорошо? Прием.

Миллс. Хорошо. Разве что Блопп хочет сказать что-нибудь.

Блопп. Нет, у меня все в порядке. Спасибо.

Голос. Включаю...

Звуковой эффект включения магнитозаписи в Хьюстоне.

Диктор. Говорит Вашингтон. Передаем краткий выпуск последних известий. Нью-Йорк. Состояние тревоги, объявленное в связи с анонимным телефонным звонком, согласно которому в здание Большого центрального вокзала подбро-

шена атомная бомба с часовым механизмом, благополучно отменено. Полиция обнаружила неразорвавшуюся бомбу. Эксперты утверждают, что террористов обманули, продав им неочищенный изотоп урана. Во время паники на автострадах погибло тринадцать человек. Лима. Положение в Лиме осложнилось. Генерал Диас не захватил власть в результате государственного переворота, как мы сообщили в дневном выпуске последних известий. Власть захватили от его имени похитители, которые забаррикадировались в здании парламента и взяли заложниками обе законодательные палаты. Нижняя палата находится, по-видимому, в зале заседаний, а верхняя — в подвале здания. Поскольку генерала Диаса поддерживало большинство верхней палаты, неясно, считать ли генерала мятежником, похищенным террористами, или законным главой правительства. Вашингтон. Этой ночью ударом электротока уничтожен новейший компьютер «Белл Телефон Корпорейшн». Согласно неподтвержденным слухам, компьютер уничтожили сотрудники фирмы, потерявшие работу после установки компьютера. Однако неофициальный представитель служащих «Белл Телефон» доктор Бакмен заявил на пресс-конференции, что этот компьютер был сам способен запрограммировать свою ликвидацию. Если дело обстоит так, то это первый в истории случай самоубийства компьютера. В 22.00 мы передадим интервью с доктором Бакменом, утверждающим, что новейшие компьютеры социально опасны. Хьюстон. На космодроме завершается подготовка к запуску ракеты «Сатурн», которая доставит на Луну сменивших двух американских ученых, составляющих в настоящее время экипаж лунной станции.

Звуковой эффект выключения записи.

Г о л о с. Алло, говорит Хьюстон, это опять я. Осталась еще пригоршня конфликтов и недоразумений в различных частях света. У нас еще четыре минуты. Будете слушать новости или лучше поговорим? Прием.

М и л л с. Спасибо за новости. С компьютером «Белл Телефон» это, должно быть, журналистская утка! Во всяком случае, наш компьютер ведет себя пайнкой. Слушай, приготовления к старту в самом деле закончены? Все в порядке?

Г о л о с. Полный ажур. Можете быть спокойны. Том и Джеймс прилетят вас сменить с точностью довоенной железной дороги. (Смеется.) Не жалко будет расставаться с Луной и ее изумительными пейзажами?

Б л о п п. Еще как. Но тут не очень-то весело. Некоторые из нас жалуется на отсутствие пива.

Голос. Эти некоторые ошибаются — пива у вас все равно не выпьешь. Слишком мало притяжение! Все пиво превращается в пену и убегает...

Миллс (*с любопытством*). Да ну? Ты сам пробовал?

Голос. Это государственная тайна. Ребята, до прекращения связи две минуты. Я тут смотрю на осциллоскоп и вижу, что ваша несущая частота уже начинает ослабевать. Если хотите передать еще что-нибудь, то поживее! Прием.

Миллс. У нас все нормально. Готовимся к своей последней лунной ночи.

Голос. Спокойной вам лунной ночи, прием!

Миллс. До встречи на Земле! А нашим на поисковом авианосце скажите, чтобы запасли пива, да побольше! И хорошо бы датского! Ждем смену! Конец.

Блопп. Наверное, уже не услышали.

Миллс. Ты думаешь?

Блопп. Ага. Слышишь? Несущей частоты как не бывало. Я немного усилию...

Нарастающий треск статических разрядов.

Это старушка Земля так потрескивает. Сейчас перестанет, вот только зайдем подальше за горизонт... впрочем, я лучше выключу, чего тратить энергию попусту. Да... Так вот устроена жизнь. Что будем делать? Мне почему-то не хочется спать. Может, партийку в покер?

Миллс. Нет уж, спасибо. Ты все время выигрываешь.

Блопп. Потому что ты блефовать не умеешь. Но всему можно научиться. Сыграем?

Миллс. Не хочется. Карты падают на стол так чертовски медленно, что все видно.

Блопп. В покере? Ну и что? Уж не хочешь ли ты сказать, что я выигрываю, используя слабое притяжение?

Миллс. Да нет. Я только хочу сказать, что надо соблюдать распорядок. Пора слушать отчет.

Блопп. Жаль, что с нашим компьютером нельзя сыграть в покер. Это серьезное упущение. В будущем надо будет его исправить. (*Включает компьютер.*)

Лунак. Внимание. Говорит Лунак. 21 час 29 минут по Гринвичу и первый час лунной ночи. Сообщаю текущую информацию. Вследствие либрационного движения Луны станция зашла за радиогоризонт и в течение 219 часов будет лишена связи с Землей. Наружная температура упала до минус 139 градусов. В течение последнего часа зарегистрированы три очень далеких падения метеоритов. Сообщаю показания приборов на настоящий момент. Воды в главном резервуаре

2970 литров, в санитарном резервуаре 148 литров. Температура плюс 19 по Цельсию. Содержание кислорода 23 процента. Примесь меркаптана в норме — исчезающе малая

Блопп. Выключи его или сам слушай. Я иду купаться.

Миллс. Не можешь выдержать еще пару минут?

Лунак. Потребление тока составляет 116 ампер. Резерв — 1570 ампер-часов.

Блопп. Я бы его выключил, а? Ну, так хоть звук убери.

Лунак (*тише*). Напоминаю о необходимости экономить воду и электроэнергию.

Блопп. А я искупаюсь!

Миллс. С кем ты споришь, с компьютером? Ты становишься раздражительным.

Блопп. Ничто так не успокаивает, как купание.

Удаляется, фальшиво насвистывая; слышно, как открывается дверь ванной и шумит вода.

Лунак. Вспомогательные агрегаты в полном порядке. Через минуту я сообщу о состоянии резервов кислорода на базе.

Блопп (*напевает в ванной*).

Сын Джона Брауна гулял по лужам босиком,

Потом пришлось его поить горячим молоком.

Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя!

Лунак. Внимание, говорит Лунак. Передаю важное сообщение.

Пение Блоппа в ванной слышно по-прежнему.

Внимание. Внеочередное донесение. Внимание. Объявляю состояние тревоги первой степени и приступаю к осуществлению процедуры «КП», то есть «Критическое положение» один-ноль-семь.

Миллс. Что ты? Какая тревога? В чем дело?

Лунак. Внимание. Давление кислорода в главном резервуаре падает со скоростью от 9 до 9,76 килограмм-силы на квадратный сантиметр в минуту.

Миллс. Кислорода? Давление падает?!

Лунак. Внимание. Начинаю процедуру «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. В 21 час 40 минут давление кислорода в главном резервуаре составляло 190 кгс/см².

Блопп (*по-прежнему напевает*).

Билл в Париж прикатил из Чикаго,

И влюбился без памяти Билл...

Миллс. Кислород уходит? Это точно? Куда? Разгерметизация? Где?

Лунак. Главные уплотнители трубопровода А-27, центральный дроссельный клапан высокого давления, а также прокладки вилочных ответвлений Б, Д и Р-18 в норме. Давление кислорода в главном резервуаре продолжает падать. Сейчас оно составляет 103 кгс/см².

Миллс. Да как же в норме, если падает! Это... немедленно перекачай кислород в запасной резервуар!

Лунак. В соответствии с пунктом I процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь перекачиваю кислород из главного в запасной резервуар. Давление в главном резервуаре продолжает снижаться. В настоящий момент оно составляет 70 кгс/см².

Миллс. Падает, и так резко! Что там — резервуар лопнул?

Лунак. Ускоренное снижение давления в главном резервуаре частично вызвано перекачиванием кислорода в запасной резервуар. Датчики не фиксируют отклонений от нормы. Давление кислорода в главном резервуаре составляет 66 кгс/см² и продолжает снижаться.

Миллс. Куда уходит кислород? Куда? Отвечай!

Лунак. Данные недостаточны. Внимание. Запасной резервуар наполнен кислородом до максимума. Давление в запасном резервуаре составляет 90 кгс/см². Давление в главном резервуаре продолжает снижаться. Сейчас оно составляет 57 кгс/см².

Миллс. Все еще падает в таком темпе? Там где-то дыра! Но где? Если дроссельные клапаны держат, тогда, значит, редукционные вентили? Вентили! Почему ты не отвечаешь?

Лунак. Индикатор показывает полную герметизацию редуктора и редукционных вентилях. Муфты на разветвлениях не дают утечки. Давление в главном резервуаре продолжает снижаться и составляет 50 кгс/см².

Миллс. А в запасном?

Лунак. Давление в запасном резервуаре без изменений — 90 кгс/см².

Блопп (*напевает*).

Расчудесный нынче день...

Миллс. Пой, пой! Лунак! На сколько часов хватит резервного кислорода?

Лунак. При экономном расходовании согласно чрезвычайной процедуре «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь объем запасного резервуара достаточен для одного человека на 280 часов.

Миллс. Мало! Мало, черт подери! Докачай туда кислорода, пока весь не ушел. Вытяни из главного резервуара, сколько можешь!

Луна к. Запасной резервуар рассчитан на максимальное давление 85 кгс/см². В соответствии с процедурой «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь я превысил допустимое давление в запасном резервуаре на 5 кгс/см², чтобы довести до максимума запас кислорода. Дальнейшее повышение давления может привести к разрыву резервуара. Внимание. Текущее сообщение в рамках процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Давление в главном резервуаре снижается. Сейчас оно составляет 41 кгс/см².

Миллс. Все еще уходит?.. Боже милостивый... Почему ты ничего не делаешь? Куда он уходит?

Луна к. Данные недостаточны. Внимание. Включаю спасательную инструкцию процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Параграф «Утечка кислорода и угроза удушения»... Давление кислорода в главном резервуаре падает по неустановленной причине и составляет 32 кгс/см². Если скорость утечки останется постоянной, давление в главном резервуаре дойдет до нуля через девять-десять минут. Индикаторы А, Б, Д и группы Р-26 в норме. Уплотнители трубопроводов снабжения станции на участках до и после редуктора в норме. Редуктор и клапаны редукционных вентиля в норме.

Миллс. Все в норме, а кислород уходит! (*Сдерживая бешенство.*) Да?

Луна к. Так точно. Поскольку система датчиков контролирует только свободные части резервуара и трубопроводов сети снабжения, можно предположить аварию, предусмотренную главной программой, раздел 8, подраздел 12, параграф 04: трещина в донном панцире кислородного резервуара, в том месте, где резервуар покоится непосредственно на материнской породе Луны в бетонном фундаменте. Согласно аварийной программе, параграф 05, вероятность трещины в донном панцире кислородного резервуара составляет один к четыремстам миллиардам. Внимание. Передаю текущее сообщение в рамках спасательной инструкции «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Давление кислорода в главном резервуаре снижается с замедлением, поскольку утечка кислорода идет при уменьшающемся собственном давлении. Сейчас оно составляет 28 кгс/см².

Миллс. И это спасательная инструкция? Скорее уж некролог. Нельзя еще увеличить давление в запасном резервуаре?

Луна к. Рост давления в запасном резервуаре на одну килограмм-силу на квадратный сантиметр увеличивает вероятность разрыва резервуара экспоненциально с показателем степени три.

Блопп (*поет*).

Расчудесный нынче день...

Миллс. Что там дальше в этой спасательной инструкции?! Лунак!

Лунак. Внимание. Говорит Лунак в соответствии со спасательной инструкцией процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Пункт ноль-один инструкции. Ввиду того, что человеческий организм меньше всего кислорода расходует в состоянии полного покоя, всем находящимся на базе людям рекомендуется незамедлительно лечь навзничь, расслабить мышцы, дышать размеренно, с частотой не более 14 раз в минуту, и думать о чем-нибудь приятном или, по крайней мере, безразличном, поскольку любое возбуждение мозга ускоряет обмен веществ и тем самым — расход кислорода.

Миллс. О чем-нибудь приятном, да? Слушай! Затолкни в запасной резервуар еще хотя бы двести фунтов кислорода. Приказываю сделать это немедленно! Включи компрессор! Слышишь?!

Лунак. Не могу выполнить этот приказ, так как подчиняюсь ограничениям программы «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Согласно спасательной инструкции, я могу указать место, где находится катушка ограничительной программы. Кроме того, меня можно выключить целиком и взять на себя контроль над оборудованием базы, действуя далее по своему усмотрению и на свою ответственность. Но я не советую этого делать, поскольку скорость утечки кислорода такова, что он вытечет из главного резервуара раньше, чем удастся выключить указанные ограничения.

Миллс. Ну, по крайней мере это нам ясно. (*Вдруг рычит во весь голос.*) Блопп! Бло-о-опп!!!

Блопп (*через приоткрытую дверь ванной*). Чего это ты разорался? Хочешь под душ? Я уже выхожу.

Миллс. Я не хочу под душ. Я хочу жить.

Стук закрываемой двери, быстрые шаги босиком, приближающийся голос Блоппа.

Блопп. Ты что? На кого ты похож! Что с тобой?

Миллс. Мы оба выглядим одинаково. Утечка кислорода. Весь кислород из резервуара ушел.

Блопп. Весь кислород? Что за дурацкие шутки...

Миллс. Не веришь? Тогда послушай. (*Включает компьютер.*)

Лунак. Внимание. Говорит Лунак. Спасательная ин-

струкция процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь включена. На станции объявлена тревога первой степени. Давление кислорода в главном резервуаре составляет 8 кгс/см² и продолжает падать, но все медленнее. Согласно манометрическим показаниям главный резервуар протекает. Место утечки не установлено ввиду недостаточности данных. Резервуар треснул, по-видимому, в донной части панциря. Главная аварийная программа оценивает вероятность подобной трещины как один к четыремстам миллиардам. Внимание. В рамках процедуры «КП» — «Критическое положение», прежде чем приступить к продолжению спасательной инструкции, сообщая показания индикаторов станции. На трубопроводах редуктора все клапаны в норме. На разветвлениях трубопровода, а также на муфтах все уплотнители в норме...

Блопп. Выруби ты эту нудятину! Нужно подумать, что делать!

Выключенный компьютер умолкает на полуслове.

Я еще не собрался с мыслями. Кислорода в главном нет, а резерв?

Миллс. Есть. Если верить компьютеру, хватит на 140 часов.

Блопп. На 140 часов?! А... на двоих?

Миллс. На двоих? Можно проверить. *(Включает компьютер.)* Лунак! На сколько хватит кислорода?

Лунак. Говорит Лунак. Резервного кислорода хватит на 140 часов для двух человек при соблюдении строжайшей экономии, а для одного — на 280 часов. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Поскольку человеческий организм меньше всего кислорода расходует в состоянии полного покоя, всем находящимся на базе людям рекомендуется незамедлительно лечь навзничь, расслабить мышцы, дышать размеренно, с частотой 14 раз в минуту, и думать о чем-нибудь приятном... *(Щелчок выключения.)*

Блопп. Ну, так подумаем о чем-нибудь приятном! 140 часов, неплохо? А смена прибудет через 280 часов. *(Тихо.)* Не дотянем.

Миллс. Похоже на то.

Блопп. Как же это случилось? Ни с того ни с сего...

Миллс. Не знаю. Он тоже ничего не знает. «Данные недостаточны». Знакомая песенка, а? Кажется, донный панцирь не выдержал. Усталость металла или... впрочем, теперь это не важно. Так что, ложимся? Навзничь, и мышцы расслабить.

Блопп. Зачем? Кислорода при строжайшей экономии хватит на 140 часов, а смена прилетит на 140 часов позже! Вместо того чтобы лечь и задохнуться, размышляя о приятных вещах, лучше поискать какой-нибудь выход!

Миллс. Поискать можно, это конечно. Но ты бы что-нибудь надел на себя, а?

Блопп. Что? Ох! Ох! Я же стою в чем мать родила... Погоди, я только что-нибудь накину... теперь главное — сохранять хладнокровие. *(Треск разрываемого полотна.)*

Миллс. Смотри! Рубашку на ноги надеваешь!

Блопп. О, черт! Хорошая была рубашка... *(Прыкает глуповатым смехом, но смешиливость у него мгновенно проходит.)* Ну, я готов...

Миллс. Можешь делать, что хочешь. Я, во всяком случае, ложусь. Разговаривать можно и лежа. А инструкции для того, чтобы их соблюдать.

Лунак. Внимание. Передаю особое сообщение в рамках процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Давление кислорода в главном резервуаре упало ниже 4 кгс/см². Поскольку этого уровня недостаточно для снабжения станции, переключаю питание кислородом на запасной резервуар. *(Легкое сипение, потом тишина.)* Внимание. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. В течение всего времени, пока сохраняется состояние тревоги первой степени, не рекомендуется потребление пищи. Особенно высококалорийной белковой, поскольку ее усвоение, ускоряя обмен веществ, тем самым увеличивает потребление кислорода. *(Щелчок выключения компьютера.)*

Миллс *(лежа)*. Зачем выключил?

Блопп. Слушай! Нужно связаться с Хьюстоном! Пусть ускорят запуск ракеты!

Миллс. Ты забываешь — у нас нет связи!

Блопп. Черт побери. *(Включает компьютер.)* Лунак, когда восстановится связь с Хьюстоном?

Лунак. Говорит Лунак. В настоящее время станция находится в зоне радиотени под горизонтом Луны из-за либрационного движения. Период нахождения в зоне радиотени составит 218 часов, считая с настоящей минуты. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры «КП» — «Критическ...» *(Щелчок выключения.)*

Блопп. Слишком долго. Впрочем, тогда уже все равно... так как же все это будет? А?

Миллс. Ложись.

Блопп. На вечный отдых? Еще успею. Черт возьми! Ведь

на станции должны быть кислородные баллоны скафандров! Где они?

Миллс. Осталось только два. В каждом по восемь фунтов кислорода.

Блопп. Но те, пустые! Пустые можно было бы зарядить, пока кислород еще не ушел из резервуара, а ты вместо того, чтобы этим заняться...

Миллс. Успокойся. Ты же сам выбросил все пустые баллоны возле того конуса под кратером Торричелли.

Молчание.

Блопп. А все-таки я попробую вызвать Хьюстон. А? Как ты думаешь?

Миллс. Он ведь под радиогоризонтом. Не стоит и браться.

Блопп. Попробовать не мешает.

Звук включения радио.

Алло, Хьюстон, алло, Хьюстон! Отзовитесь! Говорит Луна! У нас серьезные неприятности. Хьюстон, вы слышите нас? Хьюстон, мы в смертельной опасности, у нас ушел кислород! Хьюстон! Сто чертей...

Миллс. Да успокойся же ты. Ложись и не двигайся.

Блопп. Допустим, я лягу. Что это даст?

Миллс. Это увеличивает наши шансы.

Блопп. Ты думаешь? Нельзя ли узнать, почему?

Миллс. Ракета может прилететь раньше.

Блопп. Ты и сам в это не веришь. Знаешь что?

Миллс. Слушаю.

Блопп. Кое-что мы все же могли бы сделать. Я не говорю, что немедленно. Но следует рассмотреть любые возможности.

Миллс. Что ты имеешь в виду? *(Вдруг догадывается.)* А!

Блопп. Вот именно.

Миллс. На меня не рассчитывай. У меня жена и дети.

Блопп. Я тебя и не уговариваю. Но мы оба могли бы...

Миллс. Как это оба?

Блопп. Есть такой способ. Старый, испытанный.

Миллс. Жеребьевка?

Блопп. Ну, скажем, так.

Миллс. Дело не только в семье. Это противоречит моим убеждениям. Человек не вправе делать этого сам.

Блопп. Господь Бог тебе запрещает?

Миллс. Это не самая подходящая ситуация, чтобы насмехаться над чьей-либо верой.

Блопп. Да я и не насмехаюсь. Вера велит любить ближнего...

Миллс. Но ты ведь не веришь.

Блопп. Но зато ты веришь.

Миллс. Перестань. Это цинично. И глупо.

Слышно, как один из них встает и начинает ходить.

Ты зачем встал? Перестань ходить. Слышишь? Ты расходуеть больше кислорода.

Блопп. Ну и что? Все равно не хватит.

Миллс. Ты расходуеть мой кислород.

Блопп. Как это?

Миллс. А так, что я лежу согласно инструкции, а ты нет. Я расходую меньше, а ты больше, между тем как нам полагается поровну.

Блопп. Давай побеседуем на какую-нибудь более возвышенную тему. Лучше соответствующую обстоятельствам. Может, записать свою последнюю волю?

Миллс. Незачем. И без того каждое наше слово регистрируется на ленте.

Блопп. А любопытно, где она? Никогда этим не интересовался! Лунак!

Лунак. Говорит Лунак. Слушаю.

Блопп. Это ты регистрируешь все разговоры?

Лунак. Нет. В секции семь моего корпуса имеется запечатанный ящик со стеклянной крышкой, в котором находится магнитофон с автоматической сменой кассет и независимым источником питания. Запись стереть невозможно. При смене экипажа станции запись забирается на Землю и прослушивается в Хьюстоне.

Блопп. В Хьюстоне?

Лунак. Так точно. В Хьюстоне.

Блопп. А зачем независимый источник питания?

Лунак. Магнитофон получает питание от собственного атомного микрореактора для того, чтобы запись могла уцелеть в случае катастрофы на станции, а также для того, чтобы запись не зависела от напряжения в электросети станции.

Блопп. Понятно. Кто-нибудь мог бы устроить короткое замыкание, и магнитофон бы остановился. Они обо всем подумали! Эта крышка, должно быть, не из простого стекла?

Лунак. Защитная крышка магнитофона изготовлена из бронестекла... Внимание. Говорит Лунак. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры «КП» — «Крити...». (Щелчок выключения.)

Миллс. Ты что, забавляешься или как? Оставь это уст-

ройство в покое. Слышал, что сказал компьютер? Внутри тебе все равно не добратся. Только ногти себе обломаешь!

Б л о п п. Не обломаю — ведь я ничего не трогаю.

Шовох, похожий на царапанье или стук по стеклу,
не слишком сильный.

Миллс. Немедленно отойди от магнитофона и ложись здесь! Слышишь?

Б л о п п. Не хочется мне лежать. А кроме того, я попросил бы тебя сохранять самообладание. Ты становишься агрессивным.

Миллс. Я?

Б л о п п. Ты. Но дело не в этом. Если тебя особенно раздражает то, что я смотрел на магнитофон, я больше не буду. Ты удовлетворен?

Миллс. Лучше всего было бы заснуть. Во сне потребление кислорода меньше.

Б л о п п. Ты сумел бы заснуть? Я тебе удивляюсь.

Миллс. Можно принять снотворное.

Б л о п п. Ты думаешь? *(Минуту спустя.)* Ну, хорошо. Так мы и сделаем. Где оно? В аптечке?

Миллс. Да. *(Шорохи.)* Что ты там делаешь?

Б л о п п. То, что ты сказал. *(Булькает вода, наливаемая в стакан.)* Вот оно. Это «Секонал». *(Встряхивает пузырек с таблетками.)*

Миллс. Не трогай пузырек! Я сам возьму таблетку. *(Слышно, что и он встал.)*

Б л о п п. На, я уже взял. В чем дело? Чего ты на меня так уставился?

Миллс. Положи свою таблетку в рот, тогда и я положу.

Б л о п п. Ради Бога. *(Начинает говорить несколько неотчетливо, так, будто на языке у него таблетка.)* Ты почему не глотаешь?

Миллс. Сперва надо разгрызть.

Б л о п п. Но ты ведь и не грызешь...

Миллс. Давай проглотим вместе на раз-два-три. Ладно?

Б л о п п. Странная мысль. Но если для тебя это так важно, пожалуйста! Раз, два, три!

Миллс. Ты и не думал глотать!

Б л о п п. Потому что ты тоже не проглотил...

Миллс. Я тебе не верю.

Б л о п п. Трудно ожидать, чтобы я поверил тебе.

Миллс. Почему?

Б л о п п. Да потому, что ты строишь из себя святого. Демонстративно лег, подчеркнув, что ведешь себя согласно инструкции, а я нет, а потом сделал донос на меня!

Миллс. Какой донос? Что ты плетешь?

Блопп. Донос в центр полетов в Хьюстоне. Я, мой милый, не глухой и не слепой. Я даже не дотронулся до крышки магнитофона, а ты сказал, будто я пытаюсь залезть внутрь. Мало того! Когда я ответил, что я и не прикасался к магнитофону, ты начал чем-то скрести у меня за спиной. Этот звук был записан. Ты сделал это умышленно! Ты хотел, чтобы меня заподозрили в том, будто я пытался открыть магнитофон...

Миллс. Но ты же пытался!

Блопп. Экспертиза установит и это. Звук, доносящийся издали, регистрируется иначе, чем раздавшийся рядом. Я стоял у компьютера, а ты лежал и царапал ногтями по дереву...

Миллс. Слушай, тебе что-то привиделось. Возможно, и был какой-то случайный шорох, но я ничего не заметил. Пожалуйста, не говори со мной так. Мы знаем друг друга не первый день. Ты человек импульсивный, но, чем бы ни закончилась эта история, я взываю к лучшей стороне твоей натуры. Подумай спокойно. Было бы отвратительно, если бы здесь случилось что-нибудь...

Блопп. Куда ты клонишь? Натура любого из нас имеет свои лучшую и худшую стороны. Ты тоже небось не святой.

Миллс. Но я этого и не утверждаю. Я только хочу предложить, чтобы мы вели себя так, как того требует инструкция. Достоинно и рационально.

Блопп. Так ты переменял свое мнение?

Миллс. Не понимаю.

Блопп. Хочешь бросить жребий?

Миллс. Нет. И, ради Бога, не надо об этом.

Блопп. Не горячись. Я спросил, потому что ты сам сказал: мы должны вести себя рационально...

Миллс. И достойно! Тебе не удастся утаить ни одного слова! У нас есть свидетель, вот здесь! *(Стучит по стеклянной крышке магнитофона.)*

Блопп. Зря ты так кипятишься. Из-за одного-то слова?.. Извини, если я неверно понял тебя. Теперь я предлагаю: давай ляжем. Если ты мне не доверяешь, ложись с этой стороны, тогда ты сможешь меня видеть... хотя тебе нечего бояться! Что с тобой? Ты то бледнеешь, то краснеешь... хочешь воды? Руки у тебя дрожат — смотри, стакан выронишь!

Звук падающего и разбивающегося стакана.

Миллс. Неправда! Это ты разбил стакан!

Блопп. Каким образом? Стоя в трех шагах от тебя, когда ты его держал?

Миллс. Ты разбил! Ты нарочно взял его и бросил на пол, потому что звук записывается, а изображение — нет! Ты хотел меня обвинить — не выйдет!

Блопп. Обвинить? В чем, ради всего святого? В том, что ты выронил стакан? Тоже мне преступление! А... понятно! Ты подстраиваешь мне уже вторую ловушку. «Высокая комиссия! Сначала Блопп пытался добраться до магнитофона, но это ему не удалось. Тогда он разбил стакан и сказал, что это Миллс его выронил, потому что у того руки тряслись». Ох, уж этот коварный Блопп! Если с Блоппом что-нибудь случится, то лишь потому, что доктор Миллс действовал в состоянии необходимой самозащиты... Если ты будешь продолжать в том же духе, взывая к лучшей стороне моей природы и одновременно делая свинство за свинством, я забаррикадируюсь в своей кабине. Ясно?

Миллс. Куда уж яснее. Ты хочешь выставить меня параноиком, психом — но это тебе не удастся!

Блопп. Зачем мне делать из тебя психа? Что я на этом выиграю?

Миллс. Ты прекрасно знаешь и сам.

Блопп. Нет. Вот именно, что не знаю. Допустим даже, что ты ведешь себя как невменяемый...

Миллс. Я веду себя совершенно нормально. То есть — честно.

Блопп. Хорошо. Ты ведешь себя совершенно нормально. Если хочешь, я могу повторить это хоть десять раз. Доктор Миллс ведет себя совершенно нормально, нормально, нормально, нормально, нормально, нормально, нормально. Довольно тебе? Я сказал только: допустим, ты ведешь себя, как невменяемый, и это зарегистрировано? Что я на этом выиграю?

Миллс. Ты непременно хочешь услышать?

Блопп. Ну да. Я прошу тебя.

Миллс. Ладно. Что у тебя там в кармане?

Блопп. В котором? В этом — носовой платок, ключи от машины и датчик. В другом — жетон для игрового автомата и блокнот. Это все, ты и сам видишь.

Миллс. У тебя там что-то еще. Что-то тяжелое — карман оттопыривается. Складной нож, не так ли?

Блопп. Это у тебя складной нож, а не у меня. Ты сам показал мне его на базе. Что, мол, тебе его дал твой сынишка накануне старта. На нем твои инициалы. Ты носил его в кармане, а теперь пытаешься изобразить дело так, будто он у меня?

Миллс. Потому что он у тебя. Ты взял его, чтобы открыть кока-колу. Им можно открывать бутылки. Он лежал на столике у микроскопа, и ты взял его.

Блопп. Я взял твой нож?

Миллс. Да. Я сам видел. Человек, привыкший пользоваться микроскопом, может и не закрывать второй глаз. Я разглядывал препарат, а другим глазом видел, как ты брал нож.

Блопп. Когда?

Миллс. Сегодня днсм. Незадолго до обеда. Не делай вид, будто не помнишь.

Блопп. Интересно, на что мне был твой нож, если в холодильнике, на верхней полке, лежит универсальный консервный ключ.

Миллс. Неправда, его там нет, и я не позволю тебе подбросить его туда!

Блопп. Слишком грубыми нитками шито, дорогой мой. Если я могу подбросить консервный ключ в холодильник, значит, я знаю, где он лежит. А если так, на кой черт мне сдался твой нож?

Миллс. Но он у тебя. Я вижу, как оттопыривается твой карман...

Блопп. А я вижу, как ты садишься в танк. Одно из двух: либо ты галлюцинируешь, либо лжешь, потому что у меня нет никакого ножа. Если бы я захотел его взять, то спросил бы тебя, и это было бы зарегистрировано. А ведь днем я не мог еще знать, что вечером мы останемся без кислорода. Я не ясновидящий. Чтобы взять твой нож, я не стал бы подкрадываться, когда ты смотрел в микроскоп. Видишь, чего стоят твои рассуждения? Приложи к затылку холодный компресс.

Миллс. Какое коварство! И я считал его порядочным человеком! Но меня предостерегали! Давно, еще на базе. Ты быстро сделал карьеру. Ты шел по трупам.

Блопп. Это называется отвлекающий маневр. Оставим мою карьеру в покое. Ты пользуешься все той же схемой инсинуации. Сперва магнитофон, после стакан, а теперь еще нож. Не знаю — возможно, у тебя мания преследования, но, так или иначе, ты стал опасен. Тебя, собственно говоря, следовало бы связать.

Миллс. Не подходи ко мне. Слышишь!

Блопп. Я к тебе не подойду, даже если бы ты сам меня упрасивал. Дураков нет. Это был бы гамбит.

Миллс. Какой гамбит? Ты сам несешь чепуху.

Блопп. Ты в любую минуту можешь все переиначить, как ты до сих пор и делал. Сначала ты придрался к тому, что я глядел на магнитофон. Потом, когда стакан выпал у тебя из рук, ты и это использовал против меня, закричав, что его разбил я. Потом был нож, твой нож с твоими инициалами. Ну да, конечно, ты хотел бы, чтобы я подошел к тебе, все

равно под каким предлогом. Это была бы ловушка. Сказать, что ты задумал? Ты крикнул бы, что я на тебя бросился, и достал бы нож, чтобы меня зарезать. Лента в Хьюстоне повторила бы твой крик, и ты сказал бы, что тебе удалось вырвать у меня нож. Что ты, мол, действовал в пределах необходимой самозащиты! Вот для чего ты опутывал меня подозрениями. Стройная цепь доказательств! Но я разорвал ее. Ты ничего мне не сделаешь!

Миллс. Что за гнусная ложь! Ведь это ты сказал минуту назад, что хочешь меня связать!

Блопп. Я не сказал, что хочу. Я только сказал, что тебя следовало бы связать, потому что ты опасен для окружающих. Ты моментально это использовал, закричав, чтобы я к тебе не приближался. А я даже с места не двинулся.

Миллс. Блопп раскрыл нож!

Блопп. Это ты его раскрыл. Достал из кармана и раскрыл. Ты недооцениваешь современную технику звукозаписи. Экспертиза установит, с какой стороны раздался щелчок раскрываемого ножа — с моей или с твоей!

По голосам можно понять, что оба в движении — по-видимому, внимательно следят друг за другом и кружат по станции, как боксеры на ринге.

Миллс. Не приближайся ко мне! Стой на месте!

Блопп. Я не могу стоять, когда ты идешь на меня с ножом. Мне приходится отступать!

Миллс. Ложь! Это мне приходится отступать!

Блопп. Миллс не дурак. Он понял, что разоблачил себя, раскрыв нож, потому что щелчок раздался с его стороны. Поэтому он пошел на меня, а мне приходится отступать. Таким образом Миллс пытается затруднить определение нашего начального положения. Мы сделали полный круг.

Миллс. Врешь! Полкруга!

Блопп. Все та же тактика. У Миллса есть нож, а я безоружен. Поэтому я беру со стола геологический молоток. *(Легкий стук.)* Ну, что ты теперь выдумаешь?

Миллс. Никакого молотка на столе не было!

Блопп. Ну вот. Не было. А что я взял со стола?

Миллс. Ничего! Ты стукнул по столу костяшками пальцев! Опять ты затеял какую-то подлость!

Блопп. У тебя нож, у меня молоток. Твой перевес уменьшился. Поэтому я предлагаю — ох! *(Металлический грохот.)* Миллс бросил в меня кислородный баллон!

Миллс. Неправда! Баллон лежал на полу, и ты пихнул его ногой!

Блопп. Миллс, оставь второй баллон в покое!

Миллс. Я поднял его — должен же я чем-то защищаться!

Блопп. Значит, придется и мне.

Что-то негромко лязгает. Шаги, тяжелое дыхание, вскрик,
грохот переворачивающегося столика.

Миллс и Блопп (*одновременно*). Миллс напал на меня! Блопп на меня напал!

Тишина.

Блопп. Я последний раз предлагаю внести крупицу здравого смысла в это безумие. Если мы будем и дальше вести себя так же, то оба погибнем. Мы одинаково боимся друг друга. Правда, я моложе и сильнее, но ты, ослабев, можешь запереться в своей кабине и забаррикадировать дверь. Разумеется, я сделал бы то же самое, если бы ослабел первым. Попробуй мыслить логично. Если ты запрешься в кабине, тебе нечего будет бояться с моей стороны, ты просто-напросто задохнешься, когда кончится кислород, и я тоже. Мы задохнемся оба, а перед смертью еще замучаем друг друга до сумасшествия. Думаю, это тебя не очень устраивает.

Миллс. Чего же ты хочешь?

Блопп. Да все того же.

Миллс. Жеребьевки?

Блопп. Да.

Миллс. Я не верю, что это честное предложение. Это твой новый трюк!

Блопп. Думаю, единственное предложение, которое ты признал бы честным, это чтобы я повесился у тебя на глазах, не так ли? Дудки. Я предлагаю: решим жеребьевкой!

Миллс. Ну, что же... объясни, как ты это себе представляешь...

Блопп. Мы бросим жребий. Проигравший пойдет в свою кабину и примет яд. В контейнере с химическими реактивами есть цианистый калий. Перед тем проигравший закроется изнутри, чтобы отвести подозрение от того, кто остался в живых. Что ты на это скажешь?

Миллс. Хорошо. Ты своего добился. Жребий так жребий.

Блопп. У меня в кармане монета в один доллар. Мне орел, тебе решка. Орел проигрывает, решка выигрывает. Когда монета упадет, мы оба скажем, что выпало — орел или решка. Согласен?

Миллс. Согласен.

Блопп. Внимание, бросаю! (*Звон монеты.*) Решка! Решка!

Миллс. Орел! Орел!
Блопп. Решка! Врешь, решка!
Миллс. Это ты врешь! Орел!

Пауза.

Блопп. Тупик. Собственно, я должен был этого ожидать. Но еще не все потеряно. Мы можем довериться кому-нибудь третьему.

Миллс. Да ведь тут никого нет.

Блопп. А компьютер? Мы включим его, чтобы он сделал сообщение. Если в десятом слове, которое он скажет, будет четное число слогов — ты выиграл, если нечетное — я. Согласен?

Миллс. Согласен. То, что скажет компьютер, от нас не зависит, угадать здесь ничего нельзя. Но надо его включить так, чтобы он говорил медленно, а мы вместе будем считать слова до десятого.

Блопп. Не стоит откладывать. И без того уже столько кислорода пошло впустую! Приготовься считать. Внимание! Включаю компьютер! Начали.

Лунак. Процедура «КП» — «Критическая ситуация», пункт второй спасательной инструкции, предусматривает в условиях чрезвычайной угрозы режим крайне экономного расходования кислорода.

Компьютер говорит несколько медленнее, чем обычно. Миллс и Блопп считают вполголоса произносимые им слова — «раз, два, три» и т.д. Десятым оказывается слово «в», и по этому поводу — односложное оно или нет — начинается спор.

Блопп. Десять! Нечетное! «В» было десятым словом!

Миллс. «В» не считается! Это вообще не слово и не слог! Десятым словом было «условиях» — четыре слога, четное! Я выиграл!

Блопп. О-о! Уж это мошенничество у тебя не пройдет! Условия были согласованы заранее и зарегистрированы на ленте! Ни о каких исключениях не было речи! «В» — это слово! Я выиграл!

Миллс. Неправда, я!

Блопп. Отправляйся за цианистым калием! Быстро!

Миллс. Сам отправляйся! Не толкай меня! Я никуда не пойду! Руки прочь! Как ты смеешь!

Грохот и крики. Они начинают бороться. Катаются по полу. Слышны звуки ударов, переворачивающейся мебели, оханье, хрипы: «Миллс, пусти!!!», «Блопп... не души... а! нож! брось это! Миллс! Ох!

Нет! Нет!!! Блопп меня душит... не убивай меня...» Шум борьбы сперва нарастает, как бы перемещаясь по всей станции, — это могут быть удары тел о стены, о контейнеры. Люди борются без передышки, слабеют и, наконец, как бы замирают, а затем тишина; и все это время Лунак размеренно читает инструкцию.

Лунак. По наполнении запасного резервуара кислородом до максимума, то есть до уровня, соответствующего давлению 90 кгс/см², можно приступить к третьему пункту спасательной инструкции, к операции «С» — «Спасение». Следует отыскать в настилке пола квадрат, обозначенный красной буквой «С», и поддеть его, чтобы он выскочил из настилки. Под квадратом пола «С» размещена аварийная аппаратура для электролиза воды. Электролиз разлагает воду на водород и кислород. Аварийную электролизную аппаратуру следует соединить кабелями с зажимами распределительного щита Е-4 и Е-5. Аккумуляторная батарея вырабатывает электроток, необходимый для разложения воды на кислород и водород, в течение 250 часов в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей двух человек. Кислород, накапливающийся в кварцевом резервуаре, нужно вводить в помещение станции, а водород следует выводить наружу по специальному трубопроводу Т-6, маркированному зеленой люминесцентной краской. Чтобы обеспечить приток кислорода, достаточный для двух человек, следует перевести регулятор вентиля на букву «С» — «Спасение». Аварийную аппаратуру можно задействовать в течение восьми минут. После ее включения необходимо по-прежнему следить за экономным расходом кислорода. С этой целью следует лечь навзничь, расслабить мышцы и думать о чем-нибудь приятном или, по крайней мере, безразличном...

Содержание

ОСМОТР НА МЕСТЕ

Роман. Перевод К.Душенко. 5

МИР НА ЗЕМЛЕ

Роман. Перевод К.Душенко, И.Левшина 261

ФОРМУЛА ЛИМФАТЕРА

Рассказ. Перевод В.Ковалевского 461

ЛУННАЯ НОЧЬ

Радиопьеса. Перевод К.Душенко 489

Литературно-художественное издание

Станислав Лем
ФОРМУЛА ЛИМФАТЕРА

Редактор *В. Петров*
Художественный редактор *И. Сауков*

Изд. лиц. № 063402 от 26.05.94.
Изд. лиц. № 061309 от 17.06.92.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать 10.09.97.
Формат 84×108¹/₃₂. Печать высокая.
Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 30,76. Тираж 20 000 экз.
Изд. лиц. № 220. Заказ № 6246.

Набор и оригинал-макет подготовлены
издательством «Текст»
125190, Москва, А-190, а/я 89.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО»,
123298. Москва, ул. Народного Ополчения, 38.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ордена Трудового Красного Знамени
ГУПП «Детская книга» Роскомпечати.
127018, Москва, Сушевский вал, 49.



СТАНИСЛАВ
ЛЕМ
ФОРМУЛА
ЛИМФАТЕРА

